

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

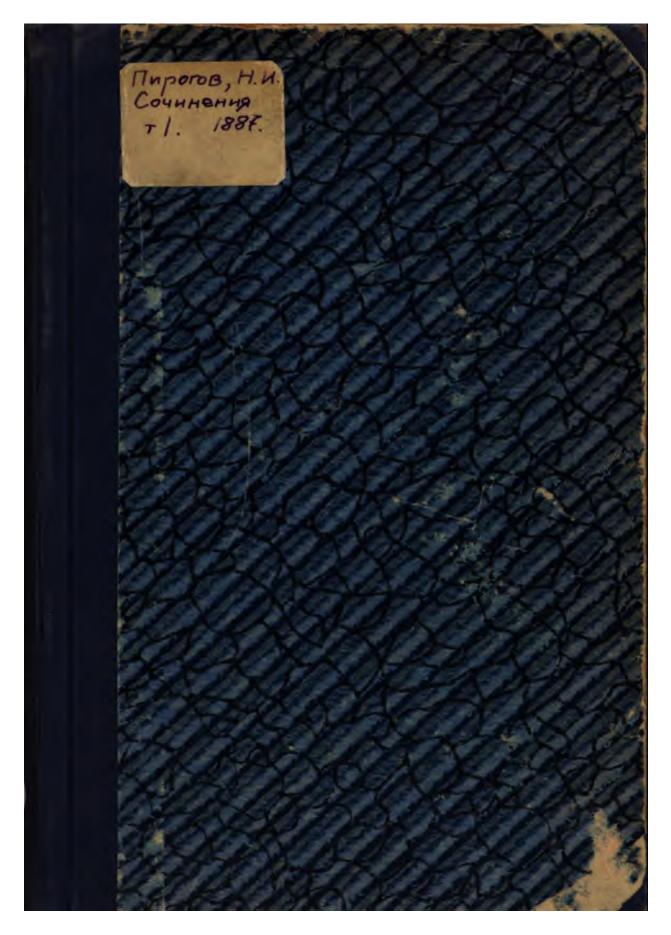
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

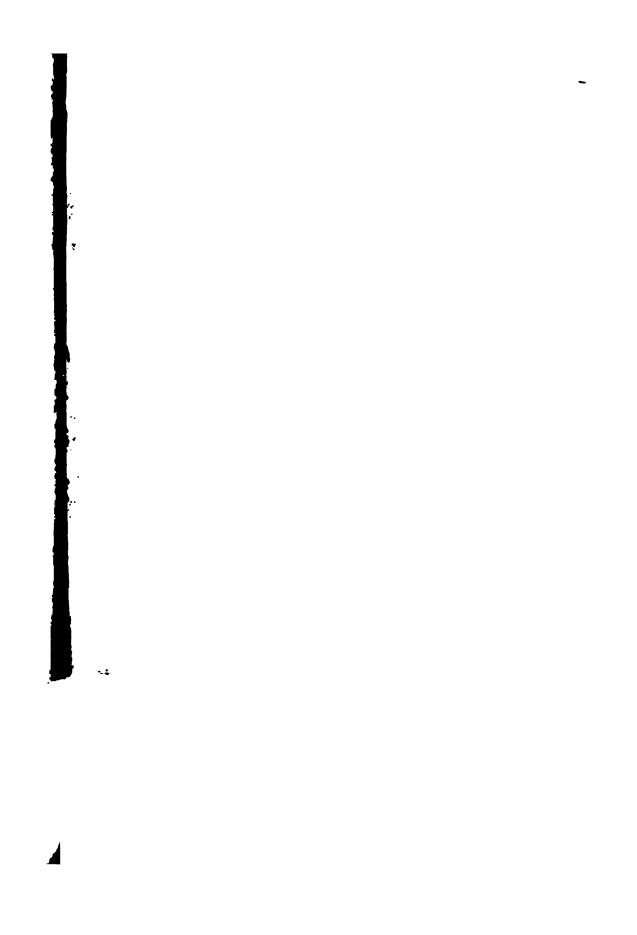
О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/









• . • . i

Ubany Manslary Oproby Ma dos pyro namenos ome 18. Nobamumana

Camerany-Form

Николай Ивановичъ

Лироговъ

The second secon • . . . · •

Pirogov, n. J.

сочиненія

0: _ M M-5:

Н. И. ПИРОГОВА

томъ первый

Съ портретомъ автора и двумя видами: 1) домъ въ с. Вишня; 2) церковь на могилъ Н. И. Пирогова.

		,		
•			•	
			!	
		·		

Whany Whandary Oproby

Ma dos Tryso namerous

omy 18. Mohammune

Corneras-Topa-

Николай Ивановичъ

Лироговъ

LB675
P632
1887
V. 1

Въ составъ настоящаго собранія сочиненій Николая Ивановича Пирогова входять только тъ изъ нихъ, которыя имъють, по преимуществу, общественное значеніе и представляють всеобщій интересъ.

Первый томъ занятъ весь «Дневникомъ стараго врача, писаннымъ — по словамъ покойнаго автора — исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой». Можно думать, что этотъ последній трудъ покойнаго въ его мысляхъ связывался съ однимъ изъ первыхъ его общественно-литературныхъ произведеній, конца 50-хъ годовъ, такъ какъ онъ своему «Дневнику» далъ еще другое заглавіе. полежоторымъ онъ,

КНИГАИМЕЕТ:									
Печати. листов	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Cryness. Nava Nava Crincia ii nopalkobis.			
33			,			3 913			

юфскіе этюды, рача», сверхъ ная его часть о исторіи врегоды жизни—

"—послёднія ять въ рукоій, которыми
ча: строчки

LB675
P632
1887
V.1

(00

14

"Въ составъ настоящаго собранія сочиненій Николая Ивановича Пирогова входять только тъ изъ нихъ, которыя имъють, по преимуществу, общественное значеніе и представляють всеобщій интересъ.

١

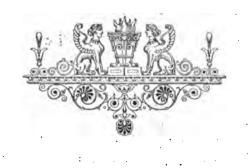
Первый томъ занять весь «Дневникомъ стараго врача, писаннымъ — по словамъ покойнаго автора — исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтеть и кто другой». Можно думать, что этотъ последній трудь покойнаго въ его мысляхь связывался съ однимъ изъ первыхъ его общественно-литературныхъ произведеній, конца 50-хъ годовъ, такъ какъ онъ своему «Дневнику» далъ еще другое заглавіе, подъ которымъ онъ, лъть за двадцать предъ тъмъ, писаль свои философские этюды, а именно: «Вопросы жизни». Но въ «Дневникъ врача», сверхъ тэмъ философскихъ и общественныхъ, значительная его часть посвящена автобіографін и соприкасавшейся съ нею исторіи времени автора. Дневникъ веденъ въ самые последние годы жизниотъ 5-го ноября 1879 г. до 22-го октября 1881 г.; - последнія страницы, писанныя почти наванупъ смерти, носять въ рукописи всв признаки тъхъ предсмертныхъ страданій, которыми завлючилась тяжкая бользнь Николая Ивановича: строчки

идуть неровно, слова не всегда дописаны и мъстами рукопись разбирается съ трудомъ. Относясь, по описываемому въ немъ времени, ко всей эпохъ жизни автора, дневникъ начинается потому воспоминаніями о его дътствъ и школъ, въ 20-хъ годахъ нынъшняго въка, и заключается началомъ сороковыхъ годовъ, когда только-что открылась дъятельность Николая Ивановича въ Петербургъ; послъдняя фраза дневника осталась даже недописанною.

Въ 1884 г., копія «Дневника», вмісті съ подлинникомъ, была доставлена вдовою, Александрой Антоновною Пироговой, и сыновыми покойнаго въ редавцію «Русской Старины», гді и была напечатана въ первый разъ съ нікоторыми выпусками, указанными издателемъ журнала. Настоящее изданіе сділано по печатному тексту, но при этомъ былъ принятъ въ соображеніе и оригиналь, вслідствіе чего «Дневникъ» снова получиль ту внішнюю форму, какую онъ німіль въ рукописи, а именно, онъ не ділится ни на части, ни на главы, какъ то было сділано редакцією въ журнальномъ изданіи, и въ отношеніи содержанія нісколько дополненть. Изъ того же журнальнаго изданія заимствовань одинъ изъ портретовъ Николая Ивановича и два вида—помітіцаемые въ первомъ томіть.

Второй томъ будеть содержать въ себъ «Вопросы жизни», — упомянутый выше философскій этюдъ конца пятидесятыхъ годовъ, — различныя статьи и изслъдованія въ области педагогіи и собраніе циркуляровъ Н. И. Пирогова, изданныхъ имъ при отправленіи должности попечителя кіевскаго учебнаго округа; эти циркуляры обращали на себя большое вниманіе въ свое время, въ началъ 60-хъ годовъ, и, можно сказать, во многихъ отношеніяхъ не утратили своего значенія и по настоящее время.

С.-Петербургъ, 5-го октября 1886 г.



•

- -

١,

вопросы жизни

ДНЕВНИКЪ СТАРАГО ВРАЧА,

писанный исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой.

5 ноявря 1879 — 22 октября 1881.

. . • · .

5 ноября 1879.

Отчего такъ мало автобіографій? Отчего къ нимъ недовіріе?—Вірно, всі согласятся со мною, что нітъ предмета боліве достойнаго вниманія, какъ знакомство съ внутреннимъ бытомъ каждаго мыслящаго человіка, даже и ничіть не отличавшагося на общественномъ поприщі.

Кавой глубовій интересь завлючается для важдаго изъ насъ вт сравненіи собственнаго міровоззрівнія съ взглядами, руководившими другого, намъ подобнаго, на пути жизни. Этого, конечно, нивто и не отвергаеть; но издавна принято узнавать о другихъ чрезъ другихъ. Вірится боліве тому, что говорять о вавой-либо личности другіе или ея собственныя дійствія. И это юридически вірно. Для обнаруженія юридической, т.-е. внішней, правды — и ніть иного средства. И современный врачъ при діагнозі руководствуєтся не разсказами больного, а объективными признавами, тімъ, что самъ видить, слышить и осязаеть.

Да кром'в недов'рія къ автобіографіямъ, есть, я думаю, и другія причины, почему он'в мало въ ходу. Мало охотниковъ писать свои автобіографіи. Однимъ ц'елую жизнь некогда; другимъ вовсе не интересно, а иногда и зазорно огляд'ється на свою жизнь, не хочется вспомнить прошлаго; иные—и изъ самыхъ мыслящихъ—полагають, что, посл'є изданныхъ ими твореній, имъ писать о себ'є бол'єе не нужно; есть и такіе, которымъ д'єйствительно писать о себ'є нечего: все будеть передано другими; наконецъ, многихъ удерживаетъ страхъ и разнаго рода соображенія. Разум'єтся, въ наше скептическое время дов'єріе къ открытой испов'єди еще бол'єе утратилось, т'ємъ во времена Ж.-Ж. Руссо. Съ недов'єрчивою улыбкою читаются теперь его см'єлыя слова (которыми я н'єкогда вос-

хищался): "Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main devant le Souverain-Juge, et je dirai: voila ce que je fais, ce que je fus, ce que je pensais". Но автобіографіи въ наше время и нъть надобности быть исповедью предъ Верховнымъ Судьею; а Ему, Всевъдущему, нътъ надобности въ нашей исповъди. Современная автобіографія не должна быть однако же чемъ-то въ роде юридическаго акта, писаннаго въ защиту или обвинение самого себя предъ судомъ общественнымъ. Не одна внъшняя правда, а раскрытіе правды внутренней предъ самимъ собою —и вовсе не съ цълью оправдать или осудить себя-должно быть назначеніемъ автобіографіи мыслящаго человъка. Онъ не посторонняго читателя, а прежде всего - собственное сознаніе долженъ ознакомить съ самимъ собою; это значитъ, - автобіографъ долженъ уяснить себъ разборомъ своихъ дъйствій ихъ мотивы и цели, иногда глубоко скрываемые въ тайнике души и долго непонятные не только для другихъ, но и для самого себя.

Но вотъ вопросъ: можетъ ли автобіографъ говорить правду о своихъ, для него прошлыхъ, мотивахъ? Можетъ ли онъ справедливо оцфить, что руководило нфкогда его дфиствіями? Можетъ ли онъ навфрное сказать, что его міровозгрфніе было именно такое, какъ онъ пишетъ, а не другое въ данную минуту его бытія?

Я полагаю, что эти вопросы рёшаются различно, смотря по характеру, способностямъ и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для увёреннаго въ себё безъ тщеславія существуеть и непоколебимая увёренность, что именно такое, какъ онъ пишеть, а не иное было его воззрёніе, когда онъ совершаль то или другое дёло. Если же я самъ увёренъ, что онъ говорить правду безъ притворства, то больше отъ человіка нельзя и требовать. Неужели же тотъ, кто хочеть знать мотивы моихъ дёйствій и мое міровоззрёніе того времени, когда я дёйствоваль, повёрить болёе другимъ или самому себё, нежели мнё? Онъ, или кто другой, можеть судить о внутреннемъ механизмё моихъ дёль только по этимъ же самымъ дёламъ или по свидётельствамъ постороннихъ мнё лицъ; а сужденія по нашимъ дёламъ и постороннимъ свидётельствамъ о скры-

томъ внутреннемъ механизмѣ дѣлъ требуютъ извѣстной соотвѣтственности и не признаютъ противорѣчій, хотя всякій изъ насъ знаетъ по опыту, что наши дѣйствія зачастую противорѣчатъ нашимъ собственнымъ міровоззрѣніямъ, вѣрованіямъ и убѣжденіямъ. Весьма часто также случается, что наши грандіозныя дѣла вызываются на свѣтъ весьма слабыми мотивами, и наоборотъ; поэтому и соотвѣтственность не можетъ еще быть порукою за внутреннюю правду.

Критическій анализь собственныхь действій и ихъ мотивовь, столь трудный для нась самихь, неужели доступне для другихь, вовсе незнакомыхь съ нашимь внутреннимь бытомь?

Правда, иногда посторонній намъ сердцеведъ верне насъ самихъ можеть угадать, почему мы въ данномъ случав поступили такъ или иначе; правда, что мы не судьи самимъ себъ; но открыть невъдомый для насъ самихъ мотивъ нашего дъйствія можно только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда мы сами скрытничаемъ или притворяемся предъ нашимъ собственнымъ я; во-вторыхъ, когда мы сдълали что-либо въ минуту забвенія или увлеченія, не справившись, что д'ялалось въ эту минуту внутри насъ, не заглянувъ въ себя. Если же принципъ: никто не можеть быть собственнымъ судьею - и въренъ, то онъ относится только до правды внішней, - юридической; судебный следователь и прокурорь, конечно, могуть изобличить притворщика и лгуна легче, чемъ это сделаль бы онъ самъ. Но для внутренней правды нътъ другихъ болъе върныхъ и компе- / тентныхъ судей, чёмъ мы сами, когда мы не притворщики и не лгуны. Все, следовательно, сводится на то, вто такой тоть, вто обнаруживаеть свой внутренній быть; сужденіе объ этомъ, по малой мъръ, такъ же трудно, какъ и сужденіе о постороннихъ лицахъ, взявшихъ на себя обязанность обнаружить внутреннюю сторону какого-либо деятеля. Даже и тогда, если онъ завъдомо былъ иногда лгуномъ и притворщикомъ, еще не доказано, что онъ быль всегда такимъ. Есть случаи въ нашей богатой противоречіями жизни, что именно лічнъ и притворщикъ, въ известные моменты бытія, делается более способнымъ сказать о себ'в слово правды, чемъ другіе, знавшіе его только извив. Въ этомъ не болве противорвчія, какъ и въ томъ, что подлецъ иногда способенъ бываетъ на честивищее

дівло, а честнівішій человінь дівласть иногда врупную под-

Для кого и для чего пишу я все это?

По совъсти-въ эту минуту только для самого себя, изъ какой-то внутренней потребности, хотя и безъ намеренія скрывать то, что пишу, отъ другихъ. Пришедъ на мысль писать о себъ для себя и ръшившись не издавать въ свъть о себъ ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мнъ читались, вогда меня не будеть на светь, и другими. Этоговорю положа руку на сердце-вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть вритикованнымъ, осменнымъ или вовсе нечитаннымъ. Хотя я не мало самолюбивъ и небезразлично отношусь въ похвалъ, но самое самолюбіе все-тави болъе внутреннее, чемъ внешнее. Притомъ я - эгоистический самовдъ, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описаніе моего внутренняго быта во всеуслышаніе не было принято мною самимъ за тщеславіе, желаніе рисоваться и оригинальничать, а все это, въ свою очередь, не повредило бы внутренней правдъ, которую в желаль бы сохранить въ наичистейшемъ виде въ моихъ записвахъ. Я, какъ самобдъ, знаю однаво же, что нельзя быть совершенно откровеннымъ съ самимъ собою, даже когда живешь въ себъ, такъ-сказать, на-распашку. Иногда, ни съ того ни съ сего, приходять мысли до того низвія и подлыя, что при первомъ своемъ появленіи изъ тайника души невольно бросають въ враску, - иногда даже чувствуень, какъ будто эти мысли не твои, а другого-самаго низкаго существа, живущаго въ тебъ. Апостолъ Павелъ уже давно замътилъ, что не хочешь делать зло, а делаешь его нехотя. Великая правда! И еще чаще замъчаемъ это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь, - и бъда, если въ началъ не убереженься, не подмътишь самого себя и въ пору не остановишься.

Итакъ, я, какъ и другіе, не могу, при всемъ желаніи, выворотить свой внутренній быть наружу предъ собою, сдёлать это начисто, ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ. Въ прошедшемъ я, конечно, не могу предъ собою поручиться, что мое міровозгрёніе въ такое-то время было именно то самое, какимъ оно мив кажется теперь. Въ настоящемъ—не могу ручаться, чтобы мив удалось схватить главную черту, главную

суть моего настоящаго міровоззрѣнія. Это дѣло не легкое. Надо прослѣдить красную нить чрезъ путаницу переплетенныхъ между собою сомнѣній и противорѣчій, возникающихъ всякій разъ, какъ только захочешь сдѣлать для себя руководную нить болѣе ясною.

И воть я, для самого себя и съ самимъ собою, хочу разсмотрёть мою жизнь, подвести итоги моимъ стремленіямъ и мірововзрівніямъ (во множественномъ, - ихъ было нівсколько) и разобрать мотивы моихъ действій. Стой, однаво же! на первыхъ же порахъ! Не притворничаю ли съ самимъ собою? Точно ли хочу писать только для себя? Если я и решиль, чтобы писанное о себь осталось при моей жизни необнародованнымъ, то развъ я не желалъ бы, чтобы оно прочиталось когда-нибудь и другими, хоть бы, напримёръ, моими дътьми и знакомыми? Жена же, върно, уже прочтеть. Если же я этого не хочу, то значить все-таки даю себь поводь, хотя предъ самыми близвими людьми, да все-тави порисоваться и чтонибудь скрыть или подрумянить. Самовду это сейчась же приходить на мысль. И это хорошо, что приходить на мысль. Какъ только это имъется въ виду, то есть надежда и на достаточное противодействіе. Вёдь самобдство не допустить меня, чтобы я не следиль за собою во время моей работы съ самимъ собою; слёдя же, подмёчу; а подмётивь, остановлюсь и не дамъ простору притворству и скрытности. Впрочемъ я заранъе знаю, что цинически откровеннымъ я и предъ самимъ собою не хочу быть. Чистоплотность нужна не на показъ только. Циническіе поступки въ жизни лучше оставить, не трогая и не подвергая анализу, -- это лучше для самого себя; иначе попадешь въ ретирады души и отгуда напустишь вони и въ то, что искренно хотелось бы оставить чистымъ, какъ оно есть на самомъ дълъ. У насъ у всъхъ на див души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее вэбаламутишь. то потомъ самъ не отличишь чистаго отъ грязнаго. Но, разумъется, если цинизмъ и душевная нечисть были мотивами кавого-либо действія, повліявшаго на всю жизнь, то по невол'в не минуешь заглянуть и въ ретирады.

Но способенть им я писать о себъ-для себя? Опять вопросъ-что нужно для этого? Главное-откровенность съ самимъ собою.

Навърное я могу сказать про себя только то, что я не скрытенъ съ собою; въдь есть люди, скрытничающіе болье съ собою, что съ другими; я не принадлежу къ нимъ, котя и со мною случалось, что я открывался себъ только посль того, какъ былъ откровененъ съ другими; случалось, что, сообщая откровенно другимъ что-либо вслухъ, начинаешь какъ будто лучше понимать, что дълается внутри тебя самого. Иногда только тогда узнаешь хорошенько, что дълается у тебя, когда разговоришься о себъ съ другимъ. Иногда стыдишься себъ признаться въ томъ, что на душъ, пока случайно какъ будто (хотя и вовсе не случайно), разскажещь другому вдругъ съ какою-то циническою откровенностью, — вслухъ, что скрывалъ отъ себя.

Записви, которыя веду теперь о себь, замыняють, вы такомы случай неоткровенности сы самимы собою, сообщение или разговоры сы другимы; бумага замыняеты другое лицо; кы запискы, котя и собственной, относишься объективные, чымы кы мысленной бесыды сы собою. Пиша, дылаешься смылые сы собою и притомы не даешь мысли распускаться вы разныя стороны и бродиты; мыслы при записывании превращается вы нитку и ловче тянется изы мозга, чымы при размышлении, безы письма.

Итакъ я надъюсь, ведя мои записки, быть не менъе, а гораздо болъе откровеннымъ съ собою, чъмъ въ задушевныхъ изліяніяхъ съ другими, хотя бы и съ самыми близкими къ сердцу людьми.

Второе условіе, чтобы быть истиннымъ автобіографомъ для самого себя, это—хорошая память. Для безпамятнаго, хотя бы остроумнаго и здравомыслящаго человъва, его прошедшее почти не существуеть. Такая личность можетъ быть весьма глубокомысленная и даже геніальная, но едва ли она можетъ быть неодносторонняя, и уже во всякомъ случать ясныя и живыя ощущенія прошлыхъ внечатлівній безъ памяти невозможны. Но память, какъ я думаю, есть двухъ родовъ: одна—общая, болъе идеальная и міровая, другая— частная и болъе техническая, какъ память музыкальная, память цвътовъ, чиселъ, и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно

и удерживаеть различнаго рода впечатленія, получаемыя въ теченіе всей жизни, и событія, пережитыя каждымъ изъ насъ. Глубовомысленный и геніальный человекъ можеть иметь очень развитую спеціальную память, не обладая почти вовсе общею памятью

Моя память общая и въ прежніе года была острая. Теперь же, въ старости, какъ и у другихъ, яснъе представляется мнъ многое прошлое, нетолько вакъ событіе, но и какъ ощущеніе, совершавшееся во миъ самомъ, и я почти увъренъ, что не ошибаюсь, описывая, что и какъ я чувствовалъ и мыслиль въ разные періоды моей жизни. Но память для прошлыхъ ощущеній и составившихся изъ нихъ уб'єжденій, мыслей и взглядовъ, можетъ быть, и не есть та, которую я называю общею памятью. Она можеть быть также, какъ и память звуковъ, цевтовъ и т. п., спеціальная, такъ-сказать техническая, и не всякій одаренъ ею; память собственныхъ ощущеній требуеть сверхъ того еще и культуры. Такая культура именно и рождаеть въ насъ самобдство. Къ этому, т.-е. къ развитю самовдства, необходимо еще и вниманіе, сосредоточенное на собственныя ощущенія и ихъ дальнівищее развитіе. Вообще, запоминается хорошо только то, на что обращено вниманіе. Внимательность - необходимый аттрибуть памяти. Но и вниманіе, и память, не всегда сознательны; первое, впрочемъ, ръдко не сознательно, тогда какъ память, именно спеціальная (техничесвая), неръдко, и даже зачастую, дъйствуеть для нась безсознательно. Мы многое запоминаемъ и многому внимаемъ невольно и незам'втно для насъ самихъ. Нер'вдко, вспомнивъ что-нибудь, удивляешься, когда успёль это припомнить.

Кавъ остаются въ мозгу почти цёлую жизнь нёкоторыя ощущенія и воспоминанія не только о прошлыхъ событіяхъ, но еще и воспоминанія объ ощущеніяхъ, испытанныхъ нами при давно прошедшихъ событіяхъ, — трудно себё представить. Мозгъ, кавъ и всё органы, подверженъ постоянной смёнё вещества; атомы его тканей постоянно замёняются новыми, и нужно предположить, что атомы его, замёняясь при смёнё вещества другими новыми, передають имъ тё самыя колебанія, которымъ они подвергались при ощущеніи различныхъ впечат-

лёній. И воть мягкая мозговая мякоть ребенка, оплотніваясь и изміняю вь ея физических свойствахь, продолжаєть задерживать отпечатки самых ранних ощущеній и впечатліній и передаєть эти ощущенія нашему сознанію въ старости еще живбе и ясніве, чімь прежде, въ зрідомъ возрасті. Не говорить ли это въ пользу моего взгляда (нісколько мистическаго), что атомистическія колебанія (которыя необходимо предположить при ощущеніяхъ) совершаются не въ однихъ видимыхъ и подверженныхъ изміненіямъ кліточкахъ мозговой ткани, а въчемъ-то еще другомъ, боліве тонкомъ, эфирномъ элементів, проникающемъ чрезъ всів атомы и не подверженномъ органическимъ изміненіямъ.

Замъчательны также и безсознательныя ощущенія, остающіяся и не остающіяся въ памяти. Нашъ внутренній быть составленъ весь изъ постоянныхъ, сознательно и безсознательно для насъ безпрестанно колеблющихъ и волнующихъ насъ ощущеній, приносимыхъ въ намъ извив и изнутри насъ. Съ самаго начала нашего бытія до вонца жизни всё органы и ткани приносять въ намъ и удерживають въ насъ целую массу ощущеній, получая впечатленія то извив, то изъ собственнаго своего существа. Мы не ощущаемъ нашихъ органовъ; мы, смотря на предметь, не думаемъ о глазъ; нивто въ нормальномъ состояніи ничего не знасть о своей печени и даже о безпрестанно движущемся сердце; но ни одинь органь не можеть не приносить отъ себя ощущеній въ общій организмъ, составленный изъ этихъ органовъ. Ни одинъ органъ, какъ часть цълаго, не можеть не напоминать безпрестанно о своемъ присутствін этому целому. И вотъ, эта вереница ощущеній, извив и изнутри. безъ сомнёнія извёстнымъ образомъ регулированныхъ, и потому сважу лучше-сводъ (ensemble) ощущеній и есть наше я, въ теченіе всего нашего земного бытія. Что такое наше я безъ этихъ ощущеній - этого мы не можемъ себ'в представить; но и не можемъ не допустить возможности существованія ощущающаго начала безъ ощущеній. Одно я основано на опыть, другое-на логикъ; есть и третье, основанное на върованіи. Лекартово: cogito, ergo sum можеть быть безь ошибки замёнено: sentio, ergo sum; нбо слово: "ощущаю наше я" — можно свазать и не мысля. "Я есмь" не есть продукть мышленія.

а ощущенія, т.-е. чувства, — не мысли, — что существую. Правда, младенець, дѣлающій первый вздохь, вышедь на свѣть, не говорить еще: я существую, котя, безь сомнѣнія, ощущаеть, вбирая въ себя впервые воздухь, нѣчто для него новое; но болѣе совнательное чувство существованія, приходящее къ ребенку постепенно, безъ сомнѣнія, не есть продукть мышленія, а болѣе регулированное и окрѣпшее ощущеніе, приносимое извнѣ и изнутри его органами.

Декартово я мышленія есть нічто другое; но гораздо прежде, чвиъ произнесется нами это осмысленное и продуманное я: я есмь, мы уже успъваемъ добраться посредствомъ однихъ ощущеній и представленій (но не мышленія) до нашего самоощущенія и выразить его. Д'яло въ томъ, что сознаніе нашего я приходить въ намъ безсознательно; мы до этого сознанія вовсе не додумываемся. Сознаніе бытія собственной личности не есть достояніе одной человіческой натуры; оно обще намъ со всіми животными; какъ бы животное могло защищать себя, отыскивать пищу, вести борьбу за существованіе, если бы въ немъ не было совнанія своей личности? Но полное уясненіе себъ своего я словомъ: sum, есмь, — вонечно, можеть проявиться только въ такомъ существъ, какъ человъкъ, т.-е. одаренномъ словомъ и способностью производить въ умъ членораздъльные звуки и комбинировать ихъ въ умв же въ слова. Эти двв способности и мысль — одно и то же; безъ слова нёть мысли, безъ мысли нёть слова. Ощущение и представление превращаются въ мозгу въ мысль только посредствомъ членораздальныхъ звуковъ слова. Нёть надобности, чтобы способность вомбинировать изъ ощущеній слова была непрем'вню соединена съ способностью говорить, т.-е. произносить слова. Глухо-нёмой мыслить по своему и можеть понимать другихъ, не имъя способности произносить слова; овъ замвняеть ихъ въ головв непремвино подобными же членораздёльнымъ звукамъ знаками; а ощущеніе, необходимое для возбужденія этой способности въ дійствію, доставляется ему, конечно, не органомъ слуха, а зрънія и другими. Но, кром'в органовъ чувствъ, и у насъ, и у животныхъ сознаніе не только личнаго бытія, но и ощущеніе всего пріятнаго и непріятнаго, аффекты и страсти-возбуждаются всёми другими органами. Ансамбль (ensemble) ощущеній, доставляемыхъ всёми нашими органами (сообщающимися и не сообщающимися съ внёшнимъ міромъ, съ нашимъ ме-я) и есть наше бытіе, сущность котораго, какъ и всего другого на свётъ, намъ неизвёстна.

Въ книгахъ старинныхъ анатомовъ находимъ это высказаннымъ чрезвычайно пластически:

Cor ardet, loquitur pulmo, fel promovet ira, Splen rudere facit, cogit amare jecur.

Въ наше время, когда наблюденія доказывають, что дъйствія органовь чувствъ и особливо глаза нельзя иначе объяснить, какъ принявъ безсознательное (инстинктивное) мышленіе, нельзя болье сомнываться и въ томъ, что мы доходимъ до вполнъ сознательнаго грамматическаго я е см ь не иначе, какъ путемъ еще задолго ему предшествующаго безсознательнаго мышленія. Но и это вполнъ сознательное мышленіе имъеть свою безсознательную логику, требующую непремънно, роковымъ образомъ, чтобы мы мыслили такъ, а не иначе, и притомъ, къ нашему счастью, съ полнымъ внутреннимъ убъжденіемъ, что мысль наша свободна. Она дъйствительно свободна только у лишенныхъ ума, да и у нихъ эта свобода—другими словами: ерунда мышленія—въроятно въ зависимости отъ разныхъ не нормальныхъ ощущеній собственнаго бытія, приносимыхъ бользнью органовъ.

Но стараться убъдить себя и другихъ, что наши мысль и воля дъйствительно несвободны, есть также своего рода безуміе.

Противъ дъйствительности ощущеній ничего не подълаешь; если мы всъ галлюцинируемъ, то галлюцинаціи для насъ уже не существуеть; кто будеть тогда разувърять насъ, что мы обманываемся? Да еще есть возможность разубъдиться, когда у всъхъ насъ галлюцинируеть только одинъ органъ чувствъ: другіе нормальные органы могутъ поправить ошибку. Но что подълаешь, когда у всъхъ и всъ ощущенія приводять къ убъжденію, что ихъ мысли и воля свободны, когда на этомъ уже успъли образоваться всъ основы жизни? Упорствовать въ убъжденіи себя и всъхъ въ противномъ поведеть въ этомъ случать убъждающаго мудреца къ тому, что собственныя его мысль и воля сдълаются дъйствительно до того свободными, что онъ бу-

деть готовъ къ поступленію въ домъ умалишенныхъ. Только съ ненормальными ощущеніями мы еще можемъ кое-какъ, да и то съ трудомъ, бороться; съ нормальными же, какъ бы они намъ ни казались безсмысленными, борьба—пагубна.

Между молодежью въ последнее время встречались и такія личности, которыя никакъ не хотёли и настолько закабалить мысль, чтобы остановиться на дважды-два—четыре. "Мысль моя свободна", утверждали они: "я хочу—приму, хочу—нёть какую ни на есть математическую аксіому". Этимъ лицамъ и въ голову никогда не приходило, что распущенность мысли и воли есть страшный недугъ, отъ развитія котораго въ себё долженъ беречься каждый изъ насъ, кто не хочетъ покончить съ собою самоубійствомъ или домомъ умалишенныхъ. Каждый настолько долженъ быть свободенъ, чтобы избрать для себя то или другое міровоззрёніе, но, избравъ, долженъ на немъ остановиться по крайней мёрё до той поры, пока замёнить его другимъ, новымъ.

Установленіе извъстнаго modus vivendi необходимо не только для согласія семействь, обществь и народовь, но и для согласія сь самимъ собою; а этого можно достигнуть только извъстнымъ и болье или менье опредъленнымъ міровоззръніемъ.

Не думаю, что кому-нибудь изъ мыслящихъ людей удалось въ теченіе цёлой жизни руководствоваться однимъ и тёмъ же міровозгрёніемъ; но полагаю, что вся умственная наша жизнь въ концё концовъ сводится на выработку, хотя бы для домашняго обихода, какого-либо возгрёнія на міръ, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мёшаетъ установленію status quo, но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрезъ цёлую жизнь и не перестаетъ руководить, какъ и управлять болёе или менёе нашими дёйствіями. Колебанія и сомнёнія при этой разработкё, конечно, неизбёжны, но они далеко не тё, которыя обременяють человёка, считающаго для себя остановку на чемъ-нибудь опредёленномъ нарушеніемъ свободы мысли и воли.

Разсматривая мою жизнь, я опишу нѣсколько міровоззрѣній, которымъ я слѣдовалъ, останавливаясь на нихъ болѣе или менѣе продолжительное время; полагаю, что мнѣ удастся также выяснить для себя и то, почему я принималь ихъ и слѣдоваль имъ; теперь же постараюсь уяснить себѣ то міровоззрѣніе, на которомъ я, какъ кажется, уже окончательно остановился; приведу покуда только часть моего настоящаго міровоззрѣнія, относящагося до моего взгляда на основы нашего бытія.

Остановиться мыслію на вічно движущихся и вічно существовавшихъ атомахъ я не могу теперь, хотя и могъ прежде. Мой умъ впадаеть въ безъисходное положение въ обоихъ случаяхъ, т.-е. когда онъ хочегъ себъ представить эти атомы безконечно дълимыми и безформенными, или же ограниченными и имъющими извъстный видь. Безконечно-дълимое, движущееся и безформенное само по себѣ какъ-то случайно дълается ограниченнымъ, оформленнымъ и спокойнымъ: это такъ несовивстимо въ моемъ умв, что я не могу на немъ остановиться. Мит невозможно также остановиться на атомахъ, размельченныхъ въ какіе-то крупинки, шарики, математическія точки, и т. п. Если вся вселенная переполнена этими непроницаемыми, т. е. сохраняющими главное свойство вещества, атомами, -- и между темъ они должны находиться въ безпрестанномъ движеній, то гдё же, въ чемъ и вакъ совершается ихъ движеніе? Мой слабый умъ, производя свой анализъ вещества, дъля и разлагая его атомы, никакъ не можеть на нихъ остановиться и незамётно, невольно переходить оть нихъ, въ концъ концовъ, къ чему-то другому, имъющему всъ отрицательныя свойства матеріи; мой умственный анализъ роковымъ образомъ приходить въ необходимости принять внъ атомовъ нъчто проницаемое и все и всюду пронивающее, недълимое, безформенное, въчно движущееся и именно этими своими свойствами сообщающее, движущее, свопляющее, разсвевающее атомы, образующее темъ формы вещества и, само пронивая въ нихъ и чрезъ нихъ, принимающее (такъ-сказать, укладываясь въ нихъ) на себя, хотя бы и временно, тоть или другой видъ, смотря по тому, въ какую и чрезъ какую форму матеріи оно проникаетъ.

Перенося мой анализъ на органическія вещества и на самого себя, я невольно спраниваю себя: откуда могла взяться

способность органическаго міра ощущать и сознавать свое бытіе? Основные его атомы, какъ бы я ихъ себѣ ни представляль, останутся для меня все-таки безконечно дѣлимыми, непроницаемыми, и т. п., то-есть имѣющими такія свойства, которыя не объясняють мнѣ ихъ способности ощущать и сознавать себя; необходимо будеть допустить, что отъ вѣка вѣковъ существують и атомы, одаренные этими свойствами и своимъ скопленіемъ въ одно цѣлое образующіе чувствующіе и сознающіе свое существованіе организмы. Мой умъ не допускаеть, чтобы одна группировка атомовъ въ извѣстныя формы (какъ, напримѣръ, мозговыя клѣточки) могла ихъ сдѣлать, ео ірво, способными ощущать, хотѣть и сознавать, если бы въ нихъ не была вложена способность въ ощущенію и сознанію.

Воть это начало, — этоть-то элементь чувства, воли и сознанія, самый основной бытія, — начало, безъ котораго мірь не существоваль бы для нась, мой умственный анализь и отыскиваеть за предвлами атомовь, — въ томь, что онь по необходимости признаеть существующимъ внв ихъ и имвющимъ отрицательныя, т.-е. противоположныя атомистическимъ, свойства, безъ которыхъ и положительныя свойства матеріи для насъбыли бы несуществующими.

Это отвлеченное, какъ и самые атомы, произведение умственнаго анализа, основанное на природной способности ума переносить свои функціи вив себя, должно содержать въ себв и самое главное отрицательное свойство вещественныхъ атомовъ—самостоятельное жизненное начало съ его главнымъ аттрибутомъ: способностью къ ощущенію и самосознанію, не такимъ, конечно, которымъ одарены мы.

Я представляю себъ, — нътъ, это не представленіе, а грёза, — и вотъ мнъ грезится безпредъльный, безпрерывно зыблющійся и текущій океанъ жизни, безформенный, вмъщающій въ себъ всю вселенную, проникающій всь ся атомы, безпрерывно группирующій ихъ, снова разлагающій ихъ сочетанія и аггрегаты и приспособляющій ихъ къ различнымъ цълямъ бытія.

Къ какому бы разряду моихъ ограниченныхъ представленій я ни отнесъ этотъ источникъ ощущенія и ощущающаго себя бытія—къ разряду ли силъ, или безконечно утонченнаго вещества—онъ для меня все-таки представляетъ нѣчто независимое и отличное отъ той матеріи, которая изв'єстна намъ по своимъ чувственнымъ (подлежащимъ чувственному изсл'єдованію) свойствамъ. У меня н'єтъ другихъ средствъ къ изсл'єдованію этого источнива ощущенія и моего сознательнаго бытія, какъ полученная мною изъ этого же источнива способность ощущенія. А разсл'єдовать и познать что-либо вполн'є мы можемъ только тогда, когда станемъ выше познаваемаго. Но свойство нашего ума искать ц'єли и ц'єлесообразности не можеть не вид'єть ц'єлесообразности въ проявленіяхъ жизни. Н'єть ничего ц'єлесообразнаго, придуманнаго нашимъ умомъ, что не обр'єталось бы готовымъ, такъ-сказать, въ окружающемъ насъ мір'є. Напрасно говорять, что организмъ нашъ есть машина;—наобороть, каждая придуманная нами машина есть не что другое, какъ сколокъ съ существующихъ уже въ природ'є и въ нашемъ организм'є приборовъ и снарядовъ.

Все органическое въ природъ тъмъ и поразительно для насъ, что въ немъ начало или сила жизни приспособила всъ механическіе и химическіе процессы къ извъстнымъ цълямъ бытія. Если же умъ нашъ не можетъ не найти цълесообразности въ проявленіяхъ жизни и творчества различныхъ типовъ по опредъленнымъ формамъ, то этотъ же умъ не можетъ въ этомъ не видъть самого себя, — то-есть, видъть разумное; и вотъ нашъ умъ по необходимости долженъ принять безпредъльный и въчный разумъ, управляющій океаномъ жизни.

21 ноября 1879.

Я началь писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, после промежутка въ несколько дней.

Пишу для себя и не прочитаю, до поры до времени, писаннаго. Поэтому найдется не мало повтореній, недомолвовъ; найдутся и противоръчія, и непослъдовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знакомъ, что я пишу для другихъ.

Я признаюсь самъ себъ, что вовсе не желаю сохранять навсегда мон записки подъ спудомъ; тъ однако же лица, которымъ когда-нибудь будеть интересно познакомиться съ монмъ

внутреннимъ бытомъ, не побрезгаютъ и моими повтореніями; они върно захотятъ узнатъ меня такимъ, каковъ я есть, съ моими противоръчіями и непослъдовательностями.

И вотъ, я сегодня повторяю себъ мое теперешнее міровоззръніе. Повторяя, можетъ бытъ, удастся уяснить его себъ какъ можно болъе.

Спрашиваю себя: что собственно заставляеть меня не остановиться съ моимъ міровоззрѣніемъ на атомахъ вещества, какъ на чемъ-то законченномъ, вѣчномъ, безпредѣльномъ, самостоятельномъ, слѣдовательно абсолютномъ и не допускающемъ существованія ничего другого?

Атомы вещества, — это такое же отвлеченное начало, какъ и предполагаемое мною жизненное міровое начало. Для чего допускать два отвлеченія, когда можно остановиться на одномъ? Почему не принять, что атомы вещества всегда существовали и всегда, вмъстъ съ другими свойствами матеріи, были способны ощущать и сознавать себя? Гдъ и къмъ найдено въ міръ ощущеніе и сознавать себя! Гдъ и къмъ найдено въ міръ ощущеніе и сознаніе безъ присутствія вещества? Кто изъ насъ сознаваль себя и мыслиль безъ мозга? Почему матерія при другихъ свойствахъ не могла бы ощущать, сознавать себя и мыслить? Не потому ли только мы не можемъ допустить это, что мы, по нашему невъдънію, неопытности и близорукости сужденія, слишкомъ, и притомъ произвольно, ограничили наши понятія о свойствахъ вещества, — и, сдълавъ это, принудили себя допустить существованіе какого-то, нами же выдуманнаго, духовнаго (психическаго) начала?

Да, такъ спрашиваль я себя некогда и отвечаль положительно на все эти вопросы.

Неоспоримый факть: нъть сознанія и мысли безъ мозга; и умозаключенія по извъстному и общепринятому шаблону: сиш hoc, ergo propter hoc—казались мит до того естественными и непреложными, что не допускали во мит и тъни сомитнія.

Но тоть же самый умъ, признававшій прежде безъ всякаго сомнѣнія мыслящіе и сознающіе себя мозговые атомы, впослѣдствіи началъ усматривать себя самого не только въ себѣ, но и во всей міровой жизни. Тогда умъ мой не могъ не усмотрѣть, что главныя его проявленія—мышленіе и творчество, согласныя съ законами цѣлесообразности и причинности, ясно

обнаруживаются и во всей міровой жизни безъ участія мозговой мякоти. Не странно ли, что мысль, выходящая изъ мозга, находить себя тамъ, гдъ ни одинъ индивидуальный мозгъ (не открыть нашими чувствами)?

Воть это-то отврытіе собственнымъ своимъ мозговымъ мышленіемъ мышленія мірового, общаго и согласнаго съ его законами причинности и цълесообразности творчества вселенной — и есть то, почему умъ мой не могъ остановиться на атомахъ ощущающихъ, сознающихъ себя, мыслящихъ и дъйствующихъ только посредствомъ себя же, безъ участія другого, высшаго начала сознанія и мысли. Способность творчества нашего ума и свойственное ей стремленіе сообразоваться въ своихъ твореніяхъ съ предначертанными планами и цълями не могутъ не различать въ каждомъ изъ своихъ дъль мысль и цъль отъ средствъ и матеріала, служащихъ для исполненія мысли и цъли.

Цёль и мысль, пойманныя, такъ-сказать, въ сёть матеріала, — на полотно въ краскахъ живописца, въ мраморъ зодчаго, на бумагу въ условные знаки и слова поэта, — живуть потомъ цёлые вёка своею жизнію, заставляя и полотно, и мраморъ, и бумагу сообщать изъ рода въ родъ содержимое въ нихъ творчество. Мысль, проникая въ грубый матеріалъ, дёлаетъ его своимъ органомъ, способнымъ рождать и развивать новыя мысли въ зрителяхъ и читателяхъ.

Если это неоспоримый факть, то для меня не менте неоспоримо и то, что высшая міровая мысль, избравшая своимъ органомъ вселенную, проникая и группируя атомы въ извъстную форму, сдёлала и мой мозгъ органомъ мышленія. Дъйствительно, его ни съ чтыть нельзя лучше сравнить, какъ съ музыкальнымъ органомъ, струны и клавиши котораго приводятся въ постоянное колебаніе извит; а кто-то, ощущая ихъ, присматриваясь, прислушиваясь къ нимъ, самъ приводя и клавиши, и струны въ движеніе, составляеть изъ этихъ колебаній гармоническое цтлое. Этотъ кто-то, приводя мой органъ въ униссонъ съ міровою гармонією, дтлается моимъ я; тогда законы птравется и законами моего я, и я обртаю ихъ въ самомъ себъ, перенося ихъ проявленія извить въ себя и изъ себя въ природу.

Ощущеніе, сознаніе, мысль-процессы, не мыслимые безъ колебаній атомовъ, составляющихъ наше общее чувствилищене могуть состоять изъ однихъ только колебаній и движеній, не достигающихъ до чего-нибудь, что въ нимъ относилось бы такъ же, какъ глазъ къ световимъ и ухо къ звуковимъ колебаніямъ, то-есть, воспринимало бы эти колебанія и превращало бы ихъ въ нёчто другое и сообщало бы ихъ, действуя отъ себя, внішнему міру. Не самыя ли эти колебанія атомовъ органа-и суть нашего я? Принять это, значило бы для меня принять въ веществъ такое невещественное и отвлеченное свойство, которое не имъеть никакихъ чувственныхъ отношеній къ матеріи, обладающей этимъ свойствомъ. Теплота, свётъ, электричество, какъ эффекты колебанія частиць, всв имвють прямыя и непосредственныя отношенія въ нашимъ чувствамъ и способность действовать своими колебаніями непосредственно на сцъпленіе и сродство атомовъ; а самое чувство и мысль, отыскивающія въ природів и світь, и теплоту, и электричество, чисто субъевтивныя по своей натуры, дылаются объевтомъ не прямо, а посредствомъ другихъ силъ, действуя на вещества.

Жизнь, сила, движение и мысль-для меня понятія, такъ неразрывно связанныя между собою, что я ни одного изъ нихъ не могу себь представить безъ другого. Въ жизни есть движеніе, сила и мысль; въ мысли-движеніе и сила, а въ силь-движеніе и мысль. Этому ассоціпрованному представленію о жизни недостаеть почвы, которую мы привыкли имъть подъ ногами; въ немъ нѣть ничего конкретнаго и объективнаго. Но представленіе объ общей міровой жизни и не можеть у насъ быть конкретнымъ или чисто фактическимъ; это фикція, но неизбъжная, неотвратимая для насъ, потому что эта жизнь существуеть, и мы существуемь, мыслимь и действуемь вь ея непостижимомъ для насъ, по своей громадности, круговоротъ. Но въдь и наши объективныя разследованія, намъ кажущіяся имъющими самую твердую почву, въ сущности не что другое, какъ разследование нашей субъективной мысли; иначе они были бы безсмысленны и не заслуживали бы названія разслідованій. Правда, въ нихъ (въ этихъ изследованіяхъ) мысль наша находить себь постоянно матеріальную подкладку или канву, на которой она выдълываеть для себя узоры изъ располагаемаго ею вещественнаго матеріала.

При изследовании отвлеченнаго понятия о міровой жизни мы не въ силахъ сладить съ громоздкимъ веществомъ, которымъ она располагаетъ для своихъ проявленій, а изследованіе частныхъ ея проявленій делаетъ наше представленіе о міровой жизни отрывочнених, одностороннимъ и часто ложнымъ. Одно только неоспоримо для каждаго безпристрастнаго и неблизорукаго наблюдателя,—это целесообразность, причинность, планъ и мысль во всякомъ проявленіи міровой жизни. Это значить не что другое, какъ совпаденіе нашей мысли, нашихъ стремленій къ отысканію целей и причинъ— съ темъ, что мы находимъ въ міровой жизни.

И въ мена невольно вселяется убъжденіе, что мозгъ мой и весь я самъ есть только органъ мысли міровой жизни, какъкартины, статуи, зданія суть органы и хранилища мысли хуложника.

Для вещественнаго проявленія міровой мысли и понадобился приборъ, составленный по опредѣленному плану иль группированныхъ извѣстнымъ образомъ атомовъ, — это мой организмъ; а міровое сознаніе сдѣлалось моимъ индивидуальнымъ, посредствомъ особеннаго механизма, заключающагося въ нервныхъ центрахъ. Какъ это сдѣлалось—конечно, ни я, ни кто другой не знаемъ. Но то для меня несомнѣнно, что сознаніе мое, моя мысль и присущее моему уму стремленіе къ отысканію цѣлей и причинъ не можетъ быть чѣмъ-то отрывочнымъ, единичнымъ, не имѣющимъ связи съ міровою жизнію и чѣмъ-то законченнымъ и заканчивающимъ мірозданіе, то-есть не имѣющимъ ничего выше себя.

Наконецъ, самый отчаянный эмпиривмъ, не признающій, не желающій знать ничего, кром'є фактовъ и чувственныхъ впечатл'єній, въ конціє концовъ, все-таки руководится отвлеченіемъ, то-есть мыслью; кром'є того, что безъ нея не обходится ни одно чувственное впечатл'єніе (основанное на безсознательной логик'є); одни чувственныя впечатл'єнія безъ сознательной руководящей мысли пригодны разв'є для одного эмпирика-эпикурейца, но никакъ не эмпирика-наблюдателя и изслієдователя.

Все въ мыслящемъ мірѣ сводится къ отвлеченію; всѣ наши представленія и понятія, какъ бы они ни основывались на фактахъ и чувственномъ опытѣ, дѣлаются чистыми отвлеченіями, какъ скоро мы подвергнемъ ихъ умственному анализу; а не подвергать—не въ нашей волѣ. Этотъ-то разъѣдающій анализъ и превращаетъ вещество въ силу. Все, что считается свойствомъ вещества, умственнымъ анализомъ превращается въ пѣчто существующее внѣ подверженнаго нашимъ чувствамъ вещества, то-есть опять-таки въ силу или вещество, противоположное веществу.

Атомы, принимаемые умственнымъ анализомъ за основу матеріи, превращаются имъ или въ математическія, то-есть невещественныя, точки, или центры, притягивающіє къ себъ другіе атомы, или же въ безконечно малыя, то-есть безконечно дѣлимыя величины.

И въ томъ, и въ другомъ случав вещество перестаетъ быть тъмъ, чъмъ оно намъ кажется; теряетъ свое чувственное (подверженное нашимъ чувствамъ) существованіе; другими словами, - дълается силою, и потому именно силою, что, разложивъ его на атомы, намъ нельзя уже представить его спокойнымъ и бездъйствующимъ; допустивъ же дъйствіе, мы этимъ и придадимъ ему самый главный аттрибуть силы (--- дъйствіе). А чтобы оставить за веществомъ его самыя характерныя свойства, намъ нужно положить предёль разлагающему его умственному анализу; -- тавъ, если бы мы, продливъ нашъ анализъ безпредъльно, допустили безконечную дълимость матеріи, то превратили бы ее, какъ я сказаль, въ силу, или въ нечто неуловимое, не подверженное нашимъ чувствамъ, и темъ лишили бы ее другихъ ея главныхъ свойствъ-непроницаемости и тяжести. Ограничить же умственный анализъ, не доведя его до конца, значить принять за вещество не последній продукть анализа-атомы, а только скопленіе или скученіе ихъ, и въ такомъ случав нужно будеть допустить возможность образованія вещества изъ скопленія силы. И я не вижу логической невозможности принять этоть конечный результать моего умственнаго анализа матеріи. Правда, я не знаю, что такое сила безъ проявленія ея въ веществь; но въ веществь, подвергнутомъ умственному анализу, я ничего не вижу, кром'в проявленія силы, и вс'є свойства ве-

щества въ моихъ глазахъ-проявленія силы; такъ, вещество сдёлалось бы такимъ же проницаемымъ, если бы частицы его (тоесть скученіе атомовь) не удерживались притягательною, атомистическою силою; безъ этой первобытной силы не было бы ни мальйшихъ вещественныхъ частицъ, и безпредъльно раздъленная матерія исчезла бы изъ нашего чувственнаго міра. Но сила, обнаруживавшаяся моимъ чувствамъ въ свойствахъ и движеніяхъ матеріи, могла бы существовать, и не скопленная въ видъ атомистическихъ частицъ. Насколько бы она осталась, послъ разсвянія матеріи, вещественною, - разум'вя подъ этимъ словомъ не то, насколько бы она осталась чувственною (подверженною чувствамъ), а то лишь, насколько она осталась бы уловимою нашею мозговою мыслію, - этого я не знаю; но, убъжденный, что сверхъ моей мозговой мысли существуеть еще другая, высшая міровая, я вёрю, что сила продолжала бы существовать и действовать въ этой міровой мысли. Мысль же эта и действующая чревъ нее сила, --- это міровая жизнь.

Да, жизнь,—это для меня понятіе коллективное. Это я уже сказаль: жизнь—это осмысленная, безгранично-дъйствующая сила, управляющая всёми свойствами вещества (то-есть его силами), стремясь при томъ непрерывно къ достиженію изв'єстной цёли: осуществленію и поддержкі бытія.

Простое эмпирическое определение жизни, данное Биша и другими, также довольно верно: по этому определению жизнь сводится на собрание отправлений,—ensemble des fonctions,—противодействующихъ смерти,—qui resistent à la mort.

Дъйствительно, въ живомъ организмъ, какъ и во всемъ живомъ міръ, всъ отправленія, всъ функціи направлены къ тому, чтобы сохранить бытіе и противодъйствовать разрушенію; ошибка или лучше недомолька этого опредъленія—только въ томъ, что не отправленія организма сами по себъ стремятся и болье или менье достигають этой цъли, а другое, руководящее ихъ начало,—осмысленное,—то-есть стремящееся къ цъли и дълающее всъ функціи организма цълесообразными,—сила жизни.

Всѣ механическія дѣйствія органическихъ снарядовъ и приборовъ, всѣ химическіе процессы, весь процессъ развитія въ организмѣ, все цѣлесообразно, вездѣ мысль, планъ и стремленіе осуществить, сохранить и поддержать бытіе. Механизмъ устройства органовъ, химизмъ различныхъ функцій, и т. п., все это чёмъ болёе разслёдуется и чёмъ болёе подвергается чувственному анализу, тёмъ яснёе обнаруживаются въ замысловатости устройства цёлесообразность и причинность; но то, что направляетъ механическіе и химическіе процессы организма въ цёли, то остается и останется для насъ сущимъ и первобытнымъ, хотя и сокровеннымъ для чувственнаго представленія.

2 девабря 1879 г.

Прошло опять нѣсколько дней, въ которые я не бесѣдоваль съ собою. Найду-ли опять нить, не прочитавъ записаннаго прежде—нужды нѣть; я не претендую на званіе философа и пишу для себя.

Что для моего склада ума, наклоннаго къ эмпиризму в въ немъ окръпшаго, казалось прежде абсурдомъ, — это мысль безъ органа мышленія.

Да, мозговая мысль немыслима безъ мозга.

Но въдь и міровая — не есть ли одинъ только продукть мозговой? Гдв органъ мышленія для міровой мысли? Гдв ея проявленія безъ мозговой мысли? Въ томъ-то и діло, --- отвічу на это, -- что то же самое чувство, которое убъждаеть насъ въ нашемъ бытіи, неразлучно съ этимъ убъжденіемъ и вселяеть въ насъ и другое-о существованіи міра, то-есть, о проявленіяхъ міровой мысли. И тоть же самый умъ, который убъждается въ целесообразности нашихъ жизненныхъ функцій, видить и целесообразность въ бытіи другихъ міровыхъ функцій; другими словами, нашъ же собственный умъ, какъ бы онъ настроенъ (эмпиризмомъ или идеализмомъ) ни былъ, не можетъ не заметить присутствія мысли внё себя; точно така же, какъ не можеть не убъдиться въ присутствіи вещества въ нашемъ организм' и внъ его. Одно изъ двухъ: онъ (нашъ умъ) долженъ принять-или все существующее одна вив его иллюзія, или существование міра, — нашего не-я, — такъ же непреложно, вакъ и собственное бытіе. Чтобы не помъщаться и не угодить въ домъ умалишенныхъ, необходимо принять последнее, какъ непреложную истину, то-есть такую же, какъ наше собственное ощущение бытія. Принявъ же это, неминуемо нужно признать и существованіе—кром'ть нашей мозговой мысли—другой, высшей, міровой. Постоянное ея проявленіе въ окружающей насъ вселенной тімь непреложніте для насъ, что все проявляющееся въ нашемъ уміть, все изобрітаемое имъ, все, наконецъ, до чего мы только можемъ додуматься, — уже есть существующее, есть готовое въ проявленіяхъ міровой мысли...

Усталъ немного после 2-хъ часовой прогулки по снегу при 9⁰ Реомюра; но, отдыхая, продолжаю разборъ моего міровозгренія. Мне самому любопытно знать, насколько я смогу сделать его себе яснымъ и законченнымъ.

Да, уму, воспитавшему себя на эмпиризм'в, гораздо легче себя представить простою функцією мозга. Въ практической жизни эмпирическій умъ можеть, нисколько не затрудняясь, остановиться на такомъ взглядь, повидимому безупречномъ и основанномъ на безспорныхъ фактахъ. Неминуемымъ слъдствіемъ этого взгляда должно быть то, что міровая цілесообразность и творчество по определенному плану суть произведенія нашего ума, функціи нашего же мозга. А принявъ это, нужно будеть допустить и другое следствіе, -- то именно, что самъ мозгъ, находящій посредствомъ своей функціи (ума) планъ и целесообразность въ міровомъ устройстве, делаеть это только потому, что онъ уже такъ устроенъ, что атомы, составляющіе мозгъ, подъ вліяніемъ внішнихъ условій и случайно, такъ, а не иначе сложились. Нужно будеть допустить, что могло бы быть и иначе. Выйдеть что-то странное: если целесообразность и планъ навязаны вселенной моимъ мозгомъ, а онъ самъ, какъ и все въ міръ, продукть случайнаго сочетанія атомовъ, отъ известной формы группировки и состава которыхъ произопло то, что воздъйствіе на нихъ вившняго міра производить и чувство, и мышленіе; если, говорю, допустить все это, какъ ultimum refugium ума, то все, что я отношу въ творчеству міровой мысли и жизни, должно быть діломъ случая. Случайно, — ибо нъть начала, дъйствовавшаго самостоятельно, цълесообразно и разумно, —случайно, говорю, при безчисленномъ множествъ разныхъ формъ и составовъ, въ которые группировались, посредствомъ собственныхъ своихъ свойствъ, атомы вещества, состоялась и группировка атомовъ мозга; сначала, конечно, въ иномъ первобытномъ видъ, а потомъ, измъняясь и осложняясь подъ вліяніемъ внъшнихъ условій, образовался и нынъ дъйствующій органъ ощущенія и мышленія.

И такъ, случай — вотъ творческое начало; отъ сочетанія его дъйствій съ воздъйствіемъ внішнихъ, также происшедшихъ когда-то отъ случая, силъ, произошелъ тотъ бастардъ, который мы называемъ міромъ.

Въ такомъ міровоззрѣніи необходимо, прежде всего, остановиться на случаѣ, какъ самой мощной силѣ; но о случаѣ я скажу мой взглядъ при случаѣ, потомъ, —полагая, что онъ мнѣ столько же знакомъ и незнакомъ, сколько и другимъ особамъ, приписывающимъ ему такое первостепенное значеніе.

Есть, однако же, въ этомъ крайнемъ взглядѣ доля правды. Изслѣдуя природу хотя бы самымъ эмпирическимъ способомъ, то-есть довѣряя только однимъ чрезъ внѣшнее чувство добытымъ фактамъ, мы все-таки, собственно, ничего другого не дѣлаемъ, какъ только переносимъ наше мышленіе и вообще всѣ наши умственныя способности на внѣшній міръ; и, наоборотъ, мы не можемъ иначе изслѣдовать наше собственное я, какъ сдѣлавъ его внѣшнимъ объектомъ, то-есть перенося его внѣ насъ. Но, принимая это какъ неоспоримый фактъ, я, при моемъ воззрѣніи, не могу не принять въ то же время, что открываемая моимъ мышленіемъ цѣлесообразность мірового устройства была бы чѣмъ-то ему произвольно или непроизвольно мною навязаннымъ, чѣмъ-то не вполнѣ дѣйствительнымъ, то-есть столько же непреложнымъ, какъ и мое собственное бытіе.

Но всего болѣе и яснѣе обнаруживается различіе моего міровозэрѣнія отъ эмпирическаго въ томъ, что уму, принимающему себя за одну органическую функцію мозга, кажется какимъ-то нелѣпымъ абсурдомъ другое, противоположное убѣжденіе въ существованіи другого, первобытнаго, разумнаго, жизненнаго начала, — не функціоннаго и не органическаго, — которое, не завися отъ группировки атомовъ и дѣйствія атомистическихъ силъ, — само организуетъ и приводитъ въ дѣйствіе атомистическія силы; орудіемъ же или органомъ его проявленій служитъ вселенная. Мозговой умъ нашъ и находитъ себя, то-есть свойственное ему стремленіе къ цѣлесообразности и

творчеству, — внѣ себя, только потому, что онъ самъ есть не что иное, какъ проявление высшаго мірового ума.

3 декабря 1879.

Также послѣ долгой прогулки въ прекрасный зимній день, на чистѣйшемъ и, вѣроятно, озонированномъ воздухѣ.

Такому органическому (мозговому) уму, какъ нашъ, конечно, трудно себъ вообразить другой, да еще высшій умъ
безъ органической почвы: а для современнаго склада нашего
ума такое воззрѣніе неминуемо должно казаться нелѣпымъ. Въ
наше время не одни дипломаты мирятся всего скорѣе съ совершившимся и существующимъ уже фактомъ; и дѣйствительно
въ житейской практикъ всего удобнѣе остановиться на томъ,
что видимо и осязаемо; а при разслѣдованіи причинъ и слѣдствій—держаться извѣстнаго всѣмъ по опыту сит еt розт hос,
егдо ргортег hос; какъ ни обветшаль этоть лозунгь, какъ онъ
ни преслѣдуется логивою, но въ сущности онъ неизбѣженъ въ
эмпиризмѣ. Испытывая что-либо и опровергая или подтверждая
одинъ опыть другимъ, мы все-таки ничего другого не дѣлаемъ
съ напими эмпирическими или индуктивными умозаключеніями,
какъ замѣняемъ одно сит еt propter hoс другимъ.

Да, въ пректической жизни и въ эмпиризмѣ нельзя уходить слишкомъ далеко; но гдѣ остановиться?

Вотъ вопросъ, рѣшаемый не иначе, какъ индивидуально различнымъ складомъ ума у каждаго изъ насъ. Но какъ бы мы ни старались ограничиться одними фактами и чисто индуктивными умозаключеніями, все-таки приходится почти на каждомъ шагу считаться съ отвлеченными представленіями и понятіями. Безъ отвлеченія не существуєть и ни одно умозаключеніе, какъ бы оно индуктивно ни было. Пространство—фактъ, время—фактъ, движеніе—фактъ, жизнь—фактъ, и въ то же время и пространство, и время, и движеніе, и жизнь—самыя крупныя и первостепеннъйшія отвлеченія.

Каждый ребенокъ мърнетъ пространство и можетъ довольно легко и правильно судить о немъ, пока оно подвергается тремъ измъреніямъ; но о пространствъ вообще, безмърномъ и безграничнсмъ, и весьма дъльные умы еще не совствъ увърены, сволькими измъреніями оно способно мърнться, — и математики

тольность о возможности четвертаго, — найдуть, можеть быть, необходимымъ или возможнымъ и пятое.

Въроятно, нашъ мозговой умъ доходить до всъхъ этихъ отвлеченныхъ понятій о пространстві, времени, и т. п., путемъ эмпирическимъ, чрезъ ощущение наружными чувствами. Но то не эмпиризмъ, когда мы, всегда и вездъ видящіе и ощущающіе границы пространства, начинаемъ помышлять и о безграничномъ. Кантовы ли это какія-то категоріи или ящики въ конторкъ нашего мозгового ума, или другой какой-то скрытый его механизмъ; но присутствіе отвлеченія въ такихъ фактичесвихъ истинахъ, каковы пространство и время, — такой же факть. Мы роковымъ образомъ, неминуемо, не видя и не ощущая неизмъримаго и безграничнаго, признаемъ фактическое его существованіе; — воть не-факть существуеть такъ же фактически, какъ и факть; и въ существованіи безграничнаго и безм'врнаго мы гораздо болве убъждены, чъмъ быль убъжденъ Колумбъ въ существованіи Америки до ея открытія. Разница только въ томъ, что мы нашу Америку никогда не откроемъ такъ, какъ онъ свою.

4 декабря 1879.

Витьсто вчерашнихъ 15° сегодня 3°, съ сильнымъ западнымъ вътромъ, такъ что гулялъ не болте одного часу.

Нужно зам'єтить, что наши понятія о пространств'я, времени и жизни совершенно отличны отъ обыкновенныхъ обобщеній, какъ, наприм'єръ, понятіе о челов'єкъ. Въ обобщеніи "челов'єкъ" мы понимаемъ не бол'є какъ свойства, несомн'єнно характеризующія челов'єческія особи.

Но въ понятіи о пространствѣ исчезають всѣ свойства отдѣльныхъ пространствъ, какъ-то: ихъ измѣреніе, форма, содержимое и пр.; намъ (по крайней мѣрѣ мнѣ), при размышленіи о пространствѣ, сдается, что всѣ извѣстные намъ по чувственнымъ представленіямъ пространства и предметы заключаются въ чемъ-то иномъ—неизмѣримомъ, безформенномъ, безграничномъ.

То же самое находимъ и въ понятіи о времени: фактически мы судимъ о немъ только по движенію въ пространствъ; но сверхъ этого фактическаго опредъленія времени мы сознаемъ еще, что и безъ движенія, то-есть безъ средства въ изм'вренію времени въ пространств'в, существуетъ наше я въ настоящемъ, подобно тому, какъ оно существовало въ прошедшемъ, и что это же самое настоящее и прошедшее существують не для нашего одного я, а должны существовать и безъ него.

Понятіе о мъръ пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самомъ пространствъ и самомъ времени, намъ служитъ не въ уясненію нашего понятія, а къ убъжденію насъ въ томъ, что измъряемое въ пространствъ и времени не есть еще самое пространство и самое время.

Понятіе о жизни также не есть одно обобщеніе.

Оно относится, по моему, къ той же категоріи, какъ и понятіе о пространствъ и времени.

Первый толчокъ къ образованію въ нашемъ умѣ понятій объ этихъ трехъ иксажь даеть намъ ощущеніе нашего бытія. Это ощущеніе, конечно, фактъ, но какой? Можно ли его причислить къ категоріи фактовъ, добываемыхъ нашими внѣшними чувствами и основанныхъ именно на этомъ главнѣйшемъ фактъ—на ощущеніи бытія, безъ котораго для насъ все другое немыслимо? Это фактъ, sui generis, выходящій изъ ряду вонъ.

Какъ проявляется чувство бытія въ животныхъ—это тайна, такъ же не разрѣшимая, какъ и проявленіе нашихъ понятій о пространствѣ и времени. Первымъ толчкомъ служатъ, конечно, дѣйствія внѣшняго міра на наши чувства, но только толчкомъ, а самая суть и ощущенія бытія, и понятій о времени и пространствѣ—скрываются глубоко въ существѣ самого жизненнаго начала.

Возьмемъ для примъра моментъ рожденія на свътъ тепловровнаго животнаго. Что заставляеть его ощутить свое бытіе первымъ вдыханіемъ воздуха, издать первый звукъ жизни?

Рефлексъ отъ прикосновенія воздуха къ его периферичесвимъ нервамъ или отъ внезапнаго измѣненія въ кровообращеніи новорожденнаго.

Значить, машина такъ устроена, что прикосновеніе внёшняго міра къ периферическимъ нервамъ неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся въ продолговатомъ мозгѣ, которая приводить въ движеніе дыхательный приборъ, заставляя его потянуть въ себя наружный воздухъ; а это первое

вдыханіе, въ свою очередь, должно отразиться на чемъ-то ощущающемъ самого себя и отличающемъ себя отъ внёшняго міра. Но связь-то именно этого чего-то съ механизмомъ животной машины и есть иксъ, потому не разрёшимый, что для фактическаго его разрёшенія необходимо бы было не только подмётить на себё или другомъ животномъ, но и прочувствовать эту связь перваго вдыханія съ ощущеніемъ бытія. Да и такое невозможное наблюденіе было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя сдёдить за ощущеніемъ, не изчёняя и не нарушая его. Мы всякій день видимъ, какъ родятся люди и животныя, какъ выводятся цыплята изъ яицъ, и мы такъ привыкли къ жизни, что можемъ думають, будто мы сами даемъ жизнь другимъ существамъ (такъ думають, пожалуй, и многіе);— не мудрено поэтому, что жизнь намъ кажется вовсе не тайною, а простымъ, обыденнымъ дёломъ.

Жизнь и бытіе едва-ли не кажутся многимъ изъ насъ однимъ и тъмъ же.

И нельзя не согласиться, что различіе между живымъ и неживымъ неуловимо на окраинахъ жизни. Наше понятіе о жизни, какъ о цёломъ, прежде всего основано на нашемъ собственномъ ощущеніи бытія и присущемъ этому ощущенію чувстві мощи или силы жизни; — мы, прежде чёмъ опытъ научаетъ насъ разузнавать жизнь по ея різкимъ проявленіямъ, невольно склонны принимать эти же ощущенія жизни (боліве или меніве) во всемъ насъ окружающемъ и, конечно, всего боліве въ томъ, что обнаруживаетъ движеніе, то-есть силу и мощь. Я полагаю, что ребенокъ, прежде чёмъ онъ дойдетъ опытомъ отличать свое я отъ окружающаго его ме-п, принимаеть все его окружающее въ такой же степени живымъ, какъ и онъ самъ.

Живя, наблюдая и учась, мы, наконецъ, научаемся отличать болъе или менъе раціонально проявленіе жизни отъ простого бытія; но и тогда мы узнаемъ не болъе и не менъе, какъ механизмъ организмовъ, управляемый тъми-же силами, которыми управляется и бытіе: тяготъніемъ, сцъпленіемъ и сродствомъ атомовъ, электричествомъ, теплотою, и т. п.; а начало, цълесообразно направляющее эти силы и механизмъ къ сохраненію организма, индивидуальности и ихъ опредъленныхъ по

предначертанному плану отношеній въ внѣшнему міру, остается для насъ невѣдомымъ и, говоря языкомъ юристовъ, неподлежащимъ обсужденію (разслѣдованію) по существу, а только по формѣ.

Одинъ снашъ мозговой умъ неминуемо убъждается въ существованіи этого начала жизни, находя въ немъ самого себя, то-есть разумное стремленіе къ цёли, самобытности, творчеству по опредёленному плану. Нашъ умъ, находя въ самыхъ разнообразнёйшихъ проявленіяхъ жизни свои собственныя существеннёйшія стремленія въ неизмёримо высшемъ размёрѣ, не можеть не признать первобытнаго и самостоятельнаго бытія высшаго начала, дёйствующаго по тёмъ же, какъ и онъ самъ, законамъ цёлесообразности и творчества. Бытіе этого начала поэтому же самому должно быть для нашего ума независимымъ отъ управляемой имъ матеріи и такъ же точно первобытно и независимо отъ частныхъ его вещественныхъ проявленій (проявленій въ веществе), какъ пространства и время независимы отъ частныхъ пространства и время независимы

Какъ пространство и время, такъ и жизненное начало, въ нихъ существующее, должны быть, по требованію нашего же ума, первобытны, безпредёльны, безформенны. И самобытное, безформенное начало жизни творить въ безграничныхъ и также первобытныхъ пространствъ и времени всъ возможныя формы вещества, направляя всъ другія силы къ борьбъ за существованіе въ оформленномъ и оживленномъ веществъ.

Но какъ бы ни соотвътствовало требованіямъ нашего ума убъжденіе въ необходимости существованія внѣ вещества первобытнаго и самобытнаго жизненнаго начала, управляющаго атомами и присущими имъ силами, мы, конечно, кикогда не будемъ въ состояніи составить себѣ о немъ ясное понятіе. Всегда и неизбѣжно сомнѣніе найдеть мѣсто въ нашемъ умѣ, и чѣмъ болѣе опытъ и наблюденіе знакомять насъ съ устройствомъ и механизмомъ функцій органовъ, необходимыхъ для жизни, тѣмъ болѣе правдоподобнымъ будеть казаться намъ самая жизнь не чѣмъ инымъ, какъ отправленіемъ (функціею) этихъ органовъ; а наши понятія о самобытности и цѣлесообразности дѣйствій жизненнаго начала будуть казаться намъ

одними воображательными отвлеченіями нашего же ума, не существующими фактически.

Дъйствительно, наша умственная дъятельность, получивъ однажды извъстное направленіе, не легко отклоняется отъ него, и тъмъ труднъе, чъмъ болъе она удовлетворится результатами своихъ изслъдованій, въ принятомъ ею направленіи. Не мудрено, что именно тъ результаты, въ достиженіи которыхъ участвовали по преимуществу наши внъшнія чувства, и наиболъе должны казаться намъ ясными и удовлетворительными. Но, къ сожальнію, именно при индуктивномъ или фактическомъ способъ разслъдованія мы обыкновенно упускаемъ изъ виду, что наши чувственныя разслъдованія имъютъ значеніе не сами по себъ, а по тъмъ заключеніямъ, которыя мы выводимъ — сознательно и безсознательно — изъ видъннаго, слышаннаго и вообще прочувствованнаго нами. Заключенія же эти, также какъ и другіе логическіе выводы, все-таки не что иное, какъ отвлеченія, — и также сознательныя и безсознательныя.

Умъ нашъ по необходимости во всякомъ фактъ и во всей вселенной усматриваетъ только самого себя, внъ себя; это онъ дълаетъ и при индукціи, и при дедукціи: и тамъ, гдъ онъ судить по даннымъ, пріобрътеннымъ чувствами, и тамъ, гдъ онъ судить по представленіямъ фантазіи.

Не перенося себя внѣ себя, мы не имѣемъ другого способа умствованія. Мы, не перенося нашего я внѣ насъ, не можемъ убѣдиться умственно и въ существованіи міра, ибо ощущенія чувственныя существующаго внѣ свойственны всѣмъ животнымъ и, можеть быть, и всѣмъ органическимъ тѣламъ,—ощущенія безсознательныя или сознаваемыя, такъ сказать, рег contactum, —конечно, не то, что мы называемъ убѣжденіемъ.

Умъ нашъ, перенося себя внѣ себя и усматривая здѣсь себя самого, то-есть свойственныя ему одному стремленія, какъ творчество, цѣлесообразность, соотвѣтственность причинъ и слѣдствій, не можеть однако же не придти къ заключенію, что все это, имъ усматриваемое внѣ себя, дѣйствительно существуеть, также какъ и онъ самъ, то-есть всѣ стремленія, находимыя имъ въ себѣ, и все узнаваемое и творимое имъ—существують уже внѣ его. Онъ ничего не изобрѣлъ такого, что бы не было предварительно имъ открыто внѣ себя,—въ

окружающемъ его мір \hbar и въ себ \hbar самомъ, какъ частичк \hbar этого вн \hbar шняго міра 1).

16 декабря 1879 года.

 15^{0} R.; отличный воздухъ; немного N. Е.; солнечный день; снъту выпало вчера и третьяго-дня порядочно съ мятелью. Предшествовавшіе два-три листа писалъ между 7 и 16 девабря урывками, при погодъ, переходившей почти въ оттепель, между $0+2^{0}-3^{0}$ R. Занять быль въ это время больными, операціями и продажею пшеницы (по 1 руб. 50 коп. за пудъ). Хотя снътъ выпалъ въ началъ ноября (8-13) на талую землю, но, по изслъдованіямъ на этихъ дняхъ, она замерзла на $3-4^{\prime\prime}$ и только въ низменностяхъ, подъ глубовимъ снътомъ, еще стоитъ талая; всходы, однако же, и тутъ еще зелены и не подмокли.

Да, нашъ мозговой умъ, изследующій свой genesis дедуктивнымъ способомъ, скоро и легко,—слишкомъ скоро и слишкомъ легко, я полагаю,—убъждается, что онъ есть не что другое, какъ функція мозга. Разсматривая свой главный аттрибуть—мышленіе, нашъ умъ убъждается при этомъ, что оно есть коллективная способность, и потому должно быть функціею различныхъ частей и различныхъ гистологическихъ элементовъ мозга.

Въ процессъ мышленія принимають участіє: 1) способность—
сознательная и несознательная—ощущать и воспринимать впечатльнія (регсертіо); 2) сознаніе этихъ впечатльній,—хотя и
не всегда, такъ какъ и при безсознательныхъ ощущеніяхъ
можно еще и мыслить безсознательно; 3) способность удерживать впечатльнія (память), также не всегда сознательная;
4) способность (которую я бы назваль понятливостью) сочетать,
ассоціировать, группировать въ извъстномъ порядкь задержанныя памятью ощущенія и составлять изъ нихъ понятія; а для
этого, въ свою очередь, необходимо еще и 5) conditio sine
qua поп мышленія—способность означать знаками или перемъ-

⁴) Здѣсь въ подлинникѣ (Рукоп., л. 17, стр. 3) на полѣ нѣсколько строкъ, неизвѣстно куда относящихся и разобранныхъ такижъ образомъ: "Но цѣли выше въ жизни. Ноги ходятъ. Что за функціи, убивающія свой органъ произвольно".

щать въ фонетическіе и мимическіе знаки (членораздёльные звуки и слова) ощущаемыя впечатленія, передающія ихъ въ этомъ новомъ виде и памяти. Комбинація, группировка и ассоціація впечатліній, безъ превращенія ихъ въ фонетическіе и мимическіе знаки, хотя и возможны, но отношенія гогда этой способности въ сознанію для насъ непостижимы, и мы называемъ такую группировку и ассоціацію безсознательными или инстинктивными. Мы должны признаться однако же, что названіемъ нисколько не объясняемъ себъ отношеній и роли сознанія въ этомъ случав. 6) Напоследовъ венець въ процессв нашего мышленія составляють стремленіе и способность его различать причину и следствія, цёль и средства (законы причинности и цълесообразности), находить связь между ними, предполагать въ каждомъ дъйствіи цъль и стремленіе къ ея достиженію, словомъ-стремленіе и способность къ творчеству. И все это въ процессъ нашего мышленія соединено съ чувствомъ свободы, воли и произвола.

Всемь намъ кажется, что мы свободны мыслить такъ или иначе и какъ хотимъ; но съ другой стороны всякій изъ насъ чувствуеть и знаеть, что этой кажущейся свободё положень предълъ, вышедъ изъ котораго, мышленіе дълается безуміемъ. Это потому, что мышленіе наше подлежить законамъ высшаго мірового мышленія. Между тімь мозговой умь нашь, не знающій иного мышленія, кром'в своего, и уб'яжденный опытомъ въ зависимости его отъ мозга, при разсматриваніи вибшняго міра можеть дойти до такой иллюзіи, что въ немъ н'еть никакой иной мысли, кром'в нашей собственной. Да если бы мы не были увърены въ бытіи внъшняго міра такъ же твердо, какъ и въ своемъ собственномъ, то все, что наше разследованіе открываеть въ немъ целесообразнымъ и какъ бы намъренно и независимо отъ насъ устроеннымъ, мы могли бы, пожалуй, принять за произведение одного нашего ума и нашей фантазіи.

И вотъ мы находимъ себя запертыми въ волшебный кругъ; съ одной стороны мы фактически не знаемъ другого ума, кромъ своего органическаго; съ другой стороны этотъ же самый умъ указываетъ намъ на внъшнія произведенія творчества, несомнънно свидътельствующія о существованіи другого ума съ аттрибутами не только сходными, но и несравненно болъе превышающими творчество нашего. И воть рождается невольно вопросъ: дъйствительно ли мы не могли бы иначе ходить, какъ съ помощью ногъ, или же мы только ходимъ, потому что у насъ есть ноги? дъйствительно ли только при посредствъ мозга мы могли бы мыслить, или же мы мыслимъ только потому, что есть мозгь? Видя неисчерпаемое множество средствъ, съ которыми въ окружающей насъ вселенной достигаются известныя цёли, можемъ ли мы утверждать, что умъ могь и долженъ быль быть единственно только функцією мозга? Разв'є ичела, муравей и т. п. животныя и безъ помощи мозга позвоночныхъ животныхъ не представляють намъ примъровъ удивительной сообразительности, стремленія къ ціли и даже творчества. И что это за странная функція, держащая въ зависимости отъ себя существованіе своего органа? Выстріль изъ револьвера, направленный этою функцією, —и ея органь разрушень. Что за безпримърная функція, способная разсматривать и анализировать себя и свой органь, какь объекть, какь нечто внешнее? Не потому ли умъ нашъ и находить себя, т.-е. мысль и цълесообразное творчество, внъ себя, что онъ самъ есть проявленіе того же самаго высшаго, мірового, жизненнаго начала, которое присутствуеть и проявляется во всей вселенной. Міровая мысль, присущая этому началу, совпадаеть, тавъ-сказать, съ нашею мозговою мыслію, служащею ея проявленіемъ, и потому тв же стремленія и сходные аттрибуты находими мы въ той и другой. Совпаденіе свидетельствуеть объ одномъ и томъ же источникъ, но различіе неизмъримо велико, несравненно болбе велико, чвить мы, напримвръ, полагаемъ между особью и родомъ или племенемъ. Наша мысль есть, дъйствительно, только индивидуальная, и именно потому, что онамозговая, органическ ая. Другая же мысль, проявляющаяся въ жизненномъ началъ всей вселенной, именно потому, что она міровая, и не можеть быть органическою. А нашъ, хотя бы и общечеловъческій, но все-таки индивидуальный умъ, и именно по причинъ своей индивидуальности, а слъдовательно органичности и ограниченности, и не можеть возвыситься до пониманія тёхъ высшихъ цівлей творчества, которыя присущи только уму неорганическому и неограниченному-міровому. А потому и жизненное начало, какъ одно изъ проявленій этого ума, для насъ останется навсегда тайною. Ignorabinus.

17 декабря 1879.

Морозъ 25°—R.; но тихо, ясно и превосходно на воздухъ. Въ персичной (оранжереъ), подъ стеклами и ставнями, приврытыми навозомъ, 12°—R.

Вселенная, жизнь, сила, пространство и время, — все это какъ бы ихъ назвать? — назову: отвлеченные факты. Названіе, пожалуй, абсурдное, но оно вибщаеть въ себъ именно два противоречія, и потому, мне кажется, выражаеть то, что я хочу сказать. Наше понятіе о жизни, силь, пространствь, времени и о вселенной основано, по моему, прежде всего на ощущеніи, следовательно на факте. Ощущая сознательно (а безсознательное ощущение жизни хотя и существуеть несомивно, но я его не знаю и судить о немъ не могу), мы вивств съ темъ ощущаемъ и силу (мощь), и пространство, и время, и міръ, т.-е. наше не-я. Ощущая все это, мы сначала не анализируемъ нашего ощущенія и принимаемъ все d'emblée, за одинъ и тотъ же факть; несмотря однако же на отсутствіе анализа, мы все-тави сознаемъ (не знаю какъ: сознательно или безсознательно?!) и приходимъ даже къ твердому убъжденію, что, кром'в того ограниченнаго пространства, которое мы сами занимаемъ, и даже вромъ видимой нами границы горизонта, существуеть еще пространство, а за нимъ еще и еще. Такъ и для времени, и для силы, и для жизни мы въ нашемъ ощущении не находимъ опредъленныхъ границъ. Мы не помнимъ начала этого ощущенія, не знаемъ его и конца. Только фантазія и долговременный опыть, показывающій начало и конецъ различныхъ предметовъ и различныхъ дъйствій, приводять нась къ иллюзорнымъ убъжденіямъ, заставляющимъ насъ думать, что есть конецъ свёта, конецъ жизни, и т. п. Ощущеніе же, вакъ факть, переживаемый нами, убъждаеть насъ въ противномъ, т.-е. въ существовани безпредъльнаго и безграничнаго. Въ ощущени, выражаемомъ нами звукомъ или словомъ: "я есмь", заключаются и "я былъ", и "я буду".

Мы живо чувствуемъ, что настоящее — иллюзія, что мы живемъ только въ прошедшемъ, безпрерывно переходящемъ въ будущее. И когда мы хотимъ нъсколько оріентироваться въ нашихъ ощущеніяхъ жизни, силы, пространства, времени и вещества, то-есть довести эти ощущенія до степени понятія, то мы не поступаемъ такъ, какъ при другихъ нашихъ обобщеніяхъ. Понятіе, складывающееся у насъ объ ощущеніяхъ жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтъ-эссенція свойствъ отдёльныхъ предметовъ или особей, какъ наши другія отвлеченныя обобщенія. Ніть; это отвлеченный факть, выведенный изъ ощущенія чего-то безпредъльнаго и безграничнаго. противоречащій тому, что мы называемь действительнымъ фактомъ, т.-е. такимъ, который по своей ограниченности подлежить поверке внешнихь чувствь или вообще какой-либо внёшней (документальной, какъ, напримёръ, историческіе факты) повѣркѣ.

Что бы мы ни говорили о неизбъжности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется намъ какъ бы безконечною; по крайней мъръ конца ея—пока мы не приблизились къ смерти старостью или болъзнью—мы себъ ясно представить не можемъ.

Какъ бы мы ни были знакомы по опыту съ свойствами матеріи, мы убъждаемся, что всь наши знанія этихъ свойствъ недостаточны для опредъленнаго понятія о веществъ или, другими словами, для его ограниченія. Какъ бы ни казалась намъ сила нераздёльною отъ вещества, мы все-таки не можемъ ее понять какъ свойство матеріи, а принуждены допустить ея самостоятельное безпредёльное бытіе, какъ и самаго вещества, въ безграничномъ пространствъ и времени. Да если бы удалось намъ, какъ удалось астрономамъ, опредълить, котя бы приблизительно, границы и мъры того, что нямъ кажется или нами ощущается безпредъльнымъ и безграничнымъ, то и тогда бы, какъ и въ астрономіи, вышли бы такія цифры и числа, представить себъ воторыя наглядно и фактически мы будемъ не въ состояніи; что толку, если бы получились милліарды милліардовъ? — представленія наши о нашихъ числахъ будуть тавъ же неопредъленны, какъ и о безграничномъ и безпредъльномъ.

25 декабря 1879.

Рождество Христово. Не писалъ дневника нъсколько дней, но зато на моихъ утреннихъ прогулкахъ по имънію старался привести въ порядокъ и ясность для себя мои понятія о началъ жизни.

Я долженъ привести себъ въ ясность—насколько я матеріалисть; эта кличка мит не по-нутру, какъ Гессенъ-Кассельском у герцогу, который никакъ не могъ терптъть, чтобы его гессенскаго профессора Либиха считали матеріалистомъ. "Sein Vater war Materialist (т.-е. аптекарь), nicht er", говорилъ герцогъ обвинителямъ Либиха въ матеріализмъ.

Но что за дъло до клички? Главное—сдълать для себя аснымъ свое міровоззръніе. Если я только не слукавлю предъ Богомъ и моей собственной совъстью, излагая мое міровоззръніе, то дъла нъть—буду ли я матеріалисть или глупецъ въ отношеніи къ другимъ.

Я измениль себе и прочиталь написанное несколько дней назадъ. Прочитавъ, вижу, что къ понятіямъ о безпредъльномъ, въ воторымъ я отношу пространство, время, силу и жизнь, я отнесъ и понятіе о веществі. Откровенно сознаюсь, что вещество мив кажется такимъ же безпредвльнымъ, какъ пространство, время, сила и жизнь. Мив кажется, то-есть, моему воображению не представляется невозможнымъ, что вещество могло бы перейти въ силу, и сила-въ вещество. Сила должна быть безформенна, но и матерія въ крайнихъ ся предълахъ едва ли мыслима съ сохранениемъ формы. И жизненное начало, какъ сила, какъ ивчто безпредвльное и безформенное въ моемъ представленіи, должно им'ять свойства силы, переходить въ матеріальные атомы, подобно тому, какъ допускается возможность перехода туманныхъ пятенъ мірового эонра въ небесныя тыла. Сравненіе, правда, самое грубое. Туть переходъ вещества въ вещество, следовательно - одно видоизменение. А переходъ силы въ вещество! - Это что? Ахинея? Но въдь сила не ничто, - и, разсматриваемая мышленіемъ отдёльно оть вещества, она есть нечто отличное отъ матеріи, хотя бы только и отрицательными свойствами. Только одно понятіе о Богв, или-у атеистовъ-понятіе о міръ (ихъ Богъ), можеть быть понятіемъ безъ отрицанія; все другое на свъть, понимаемое или представляемое нами, должно имъть и собственное свое отрицаніе въ нашемъ умъ.

Понятіе о безпредъльномъ пространствъ имъетъ свое отрипаніе въ измеряемыхъ и оформленныхъ предметахъ: понятіе о безконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служить отрицаніемъ смерть; даже для уясненія одного изъ свойствъ Божеской натуры - добра - сделался необходимымъ дьяволъ. Потому и понятіе о веществъ вызвало въ умъ представленіе о противоположномъ началь-силь; безъ нея, безъ ея антагонистическихъ веществу аттрибутовъ, самое вещество съ его инерціею и другими свойствами было бы немыслимо. Но отрицательное (то-есть, не матеріальное) свойство силы можно и для болье яснаго представленія нужно перевести въ положительное, принявъ за исходную точку главный аттрибуть силы — дъйствіе и движеніе. И дъйствительно, съ моимъ представленіемъ безграничнаго пространства и времени соединяется и представление о движении; время-это отвлеченное движение въ пространствъ, то-есть, сила, дъйствующая въ пространствъ и своимъ дъйствіемъ приводящая себя въ вещество. Могу ли я требовать, чтобы представленія мои о такихъ отвлеченныхъ предметахъ были ясны и отчетливы, какъ чувственные факты? — вёдь и о самыхъ наглядныхъ вещахъ нерёдко имбешь одно смутное представленіе. Слёдуеть ли изъ того, что мнв представляется неяснымъ, заключить, что это темное представление ложно и безсмысленно? Не бывають ли, напротивъ, именно галлюцинаціи, то-есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующихъ? Извъстно, что, при неясности представленій, мы приб'ьгаемъ въ сравненіямъ.

И воть мив кажется, что въ моемъ понятіи жизненное начало ни съ чёмъ не можеть быть такъ сравнено, какъ съ свётомъ. Источникъ свёта хотя и извёстенъ намъ фактически, но разстояніе его отъ насъ такъ далеко и дёйствія его на насъ и все окружающее насъ такъ многочисленны и разнообразны, что мы въ обыкновенной жизни называемъ, безъ дальнёйшаго размышленія, свойствами тёль—свойства свёта. Мы говоримъ и думаемъ, что тоть или другой цвётъ принадлежить не солнечнымъ лучамъ, а тому или другому тёлу, хотя это тёло потому только цвётное, что атомы его задерживаютъ,

отражають или преломляють лучи свёта. Лучи же свёта могуть достигать до нась и быть видимыми нами, можеть быть, цёлые вёва послё того, какъ источникъ ихъ свёта уже давно погась. Колебанія свётового эоира,—чего-то непохожаго на вещество, способнаго проникать чрезъ вещества, непроницаемыя для всякой другой матеріи, и вмёстё сь тёмъ сообщающаго имъ новыя свойства,—мнё кажутся подходящими для сравненія съ дёйствіями жизненнаго начала.

26-го декабря 1879.

Бесёда съ самимъ собою заманчива. Какъ я ни уб'єжденъ, что мн'є не удастся уяснить себ'є вполн'є мое міровоззр'єніе, но самая попытка уясненія заключаетъ уже въ себ'є какую-то прелесть.

Погода все время измѣняется: NW и NNW, иногда переходящіе SO, Температура между— 5^0 — 6^0 и + 2^0 R.

Да, мозгъ представляется мнв подобнымъ стеклянной призмв, имьющей свойство разлагать лучь свыта и преломлять его. Если бы я не боялся насмёшки надъ самимъ собою за фантаверство, я бы назваль мозгь призмою мірового ума; воспринимать и пропускать чрезъ себя колебанія или дійствія этой міровой силы — было бы функцією мозга, если бы сравненіе мое было върно. Но, ставя себя на точку зрънія матеріалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между монмъ сравненіемъ и тімь воззрініемь, къ которому неминуемо приводить, -- на первыхъ порахъ и, такъ-сказать, сгоряча, -- скептицизмъ эмпиріи. Не говоря уже о томъ, что comparaison n'est pas raison, есть ли -- спрашивается -- для эмпирика хотя мальйпий смысль въ употребленныхъ мною выраженіяхъ, какъ: колебанія силы, міровой умъ безъ мірового мозга, сила безъ вещества, жизненное начало внъ организма? что это, съ точки зрвнія эмпирика, какъ не идеологическій наборъ словъ?

Да, согласенъ, помирить чистый эмпиризмъ съ существованіемъ силы внѣ матеріи, мысли внѣ мозга, жизненнаго начала внѣ органическихъ тѣлъ—немыслимо. Это contradictio in adjecto. И тѣ чистые эмпирики, которые, останавливаясь на фактахъ, не идутъ далъе своихъ непосредственныхъ (прямыхъ или ближайшихъ) умозаключеній изъ этихъ фактовъ, совершенно правы въ монхъ глазахъ, - я самъ былъ и даже есмь такой; но вакъ своро переступается ими эта граница волшебнаго круга, какъ скоро они берутся за разръщение таинственнаго икса, то туть выводы эмпиризма обазываются нисколько не осмысленные идеологическихъ предположеній. Не забудемъ однаво же, что то, что мы называемъ смысломъ, не есть непоколебимое и безусловно върное мърило истины. Хотя законы мышленія всегда были и будуть одни и тв же, дважды два всегда будеть четыре, но осмысленными и безсмысленными намъ кажутся не всегда и не всёмъ одни и тё же предметы. То. что считалось безспорнымъ и очевиднымъ летъ сто тому назадъ, то можеть быть безсмысленнымъ для живущихъ въ концъ XIX въка. Смыслъ мъняется не отъ одного процентнаго содержанія знанія въ нашемъ ум'в, а часто и отъ психическихъ поветрій и другихъ внешнихъ условій, къ которымъ надо отнести и моду. Мода же является также въ видъ повътрія. Вообще нашъ смыслъ, а витстт съ нимъ вст наши міровоззрвнія подчиняются закону періодичности, играющей въ нашей, какъ и всей міровой жизни, важную роль. Старое и забытое является въ извъстные періоды снова на свъть, но, конечно, всегда въ иномъ видъ; новыя скопившіяся пріобрътенія опыта вызывають на свёть забытое и придають ему свёжесть и новую силу. Ново то только, что хорошо забыто, -- это изреченіе скептика имъетъ свою долю правды. Періодическое и въковое господство различныхъ противоположныхъ одна другой доктринъ въ наукахъ и въ міровоззрвніяхъ различнихъ націй доказываеть намь наглядно, насколько мы можемь доверать нашему смыслу. Современный эмпиризмъ есть также своего рода доктрина, хотя последователи ея и желали бы не быть доктринерами. Всявая же довтрина, хотя бы и претендующая на однъ чисто фактическія основы, какъ это делаеть эмпиризмъ,всегда одностороння; иначе она не господствовала бы, не слъдовала бы одному и тому же направленію, считая его непогрешимымъ, и признавала бы достоинство и другихъ убъжденій, основанныхъ не на однихъ только чисто чувственныхъ

фактахъ. Безсмысленнымъ называется то, что противоръчитъ нашимъ убъжденіямъ, — именно убъжденіямъ, а не знаніямъ, ибо убъжденія вліяють на насъ сильнъе знанія.

28-е декабря 1879.

Мятель и вьюга при сильномъ NW цѣлую ночь и продолжается теперь при $+1^0$ R.; все вокругь занесено снѣгомъ, нельзя высунуть носа, и я принужденъ остаться безъмоей угренней прогулки. Попробую писать, — что-то зыйлеть.

Если смыслъ нашъ зависимъ отъ нашихъ современныхъ убъжденій, — а они, въ свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силь и упорству, соотвытствують нашимь знаніямь, - то ни одна господствующая довтрина, ни одно умственное направленіе не должно смотреть свысова на другія, имъ противоречащія, доктрины и направленія; а умы безпристрастные, не увлекающіеся и не дов'врчивые, не должны пугаться насм'вшекъ, разныхъ кличевъ и обвиненій въ отсталости, нераціональности и безсмыслін. Кто пережиль уже вое-что на своемъ въку, тоть вспомнить, съ какимъ пренебрежениемъ относились въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ нашего столетія гегельянцы и натурфилософы въ скромнымъ и приниженнымъ (въ то время) эмпирикамъ, платящимъ теперь, въ свою очередь, прежнимъ мудрецамъ тою же монетою. Всего върнъе и надежнъе, конечно, было бы остановиться на позитивизм'в, оставить въ поко'в неизъяснимое, принявъ за аксіому, что существують предметы, не подлежащіе нашему знанію. Но это воззрвніе на правтикв дълается, подобно другимъ, доктриною, какъ скоро оно будеть проводиться последовательно и обязательно для его последователей. Доктринерство же-я сказаль, -всегда одностороние и узко. Можно ли требовать отъ каждаго ума, чтобы онъ обязался не затрогивать тогь или другой предметь размышленія; чтобы онъ остановился именно тамъ, гдъ ему назначаеть остановиться другой умъ! Действительно, какъ кажется, утверждаеть позитивизмъ, въ жизни человечества замечается известная последовательность въ направленіи мышленія и міровозарёніяхъ, соотвътствующая степени знаній, пріобрътаемыхъ жизнью человъчества. Но эта послъдовательность не уничтожаетъ возможности періодичныхъ возвратовъ того или другого изъ предшествовавшихъ направленій, такъ какъ уму нашему не суждено окончательно убъждаться въ непреложности истины принятаго имъ направленія. Временныя наши убъжденія, хотя и всегда сильнъе нашихъ знаній, но еще менъе прочны, чъмъ самыя знанія, пріобрътенныя однимъ опытомъ. Поэтому, какъ бы ни было позитивно направленіе современныхъ умовъ, нельзя отвергать наклонность къ возврату другого противопозитивнаго (позитивному) направленія, хотя бы въ огличномъ отъ прежняго видъ. И вотъ я, не оспаривая достоинствъ позитивизма и его пригодности для многихъ высокихъ умовъ, считаю его, однако же, для моего собственнаго ума непригоднымъ, и чтобы я могъ сдълаться позитивистомъ—я долженъ бы изнасиловать себя.

Какъ бы размышленіе и опыть ни убъждали меня, что я не въ состояни выйти изъ очерченнаго вокругъ меня волшебнаго вруга, что я не могу разръшить ни одной изъ занимающихъ меня проблемъ-я не могу осилить мои влеченія и не заниматься тёмъ, что я считаю вопросами моей жизни. Но я съ темъ вместе не доктринеръ. Стараться осмыслить произведеніе фантазіи въ разрёшеніи этихъ вопросовъ для меня не значить отказаться вовсе оть эмпиріи или пренебрегать ею, считать ея выработанные уже наукою и опытомъ методы ложными или малозначащими и не признавать ея заслугъ. Нътъ, я одинъ изъ тъхъ, которые еще въ концъ двадцатыхъ годовъ нашего стольтія, едва сошедь сь студенской свамьи, уже почувли въяніе времени и съ жаромъ предавались эмпирическому направленію науки, несмотря на то, что вокругь ихъ еще простирались дебри натуральной и гегелевской философіи. Прослуживъ върою и правдою этому (тогда еще новому) направленію моей науки слишкомъ пятьдесять лёть, я уб'ёдился, однако же, что для человъка съ моимъ складомъ ума невозможно оставаться по всёмъ занимающимъ меня вопросамъ жизни въ этомъ одномъ направленіи, или, другими словами, сдълаться позитивистомъ и свазать себъ: "стой! ни шагу далье"!

Вотъ я при такомъ убъждении и дозволяю моей фантазіи, при помощи моихъ, какихъ ни на есть, знаній, доказывать, — конечно, мнъ же самому, — что raison d'être всего подвластнаго

чувствамъ, опыту и наблюденію скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазіи), да размышленію, да и то въ самыхъ ограниченныхъ размърахъ. Не бывъ отъявленнымъ позитивистомъ, я не могу искоренить въ себъ желанія заглянуть за кулисы, и не только изъ одного любопытства, но и съ (утилитарною) цълью ограниченія слишкомъ назойливыхъ претензій опыта на самовластіе и вмѣшательство въ ръшеніе вопросовъ, касающихся того закулиснаго резондэтра.

И такъ, начну съ того, на чемъ остановился, и что должно казаться, съ перваго взгляда, безсмысленнымъ.

29 декабря 1879.

Мятель утихла, небольшой $NO-5^{\circ}$ R. После утренней прогулки.

"In's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist". Это великая, глубоко продуманная мысль великаго естествоиспытателя. Да, какъ бы глубоко ни проникали внутрь организма опыть и наблюденіе, внутрь самой натуры имъ входъ запрещенъ. Научный прогрессъ дълаеть опыть и наблюдение болъе утонченными, изощряеть чувства наблюдателя, помогаеть замънять какъ можно лучше одно чувство другимъ, какъ, напримъръ, зръніемъ — осязаніе; раскрываеть механизмъ и химизмъ органической фабрики 1); но то, что заправляеть ею, что направляеть действующія въ ней силы къ охрань и поддержанію бытія въ изв'єстномъ, опред'яленномъ зарантье (типичномъ), видъ, вакъ en gros, во всей органической массъ, такъ и въ частностяхъ, — въ каждой особи, въ каждомъ органъ, въ каждой ткани, --- это неподсудно изысканіямъ и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу-назовите какъ угодно-мы не можемъ, если бы и хотели. Наша мысль и фантавія не могутъ не стремиться привести въ какую-либо связь проявление этого мірового начала съ нашимъ собственнымъ я. Мы и мыслимъ потому, что находимъ мысль во всемъ окружающемъ насъ.

¹⁾ Здѣсь въ подлинникѣ, на полѣ, неизвѣстно куда относящіяся слова: "Что живеть? Поддержаніе цѣли бытія. Зерно и ферменты".

Безъ участія мысли и фантазіи не состоялся бы ни одинъ опыть и всявій факть быль бы безсмысленнымъ. Наши мысль и фантазія, какъ причина, производящая и опыть, и наблюденіе, не могуть, однако же, по особенности своей натуры, ограничнться этими двумя способами знанія. Умъ, употребивъ опыть и наблюденіе, то-есть направивъ и заставивъ дъйствовать извъстнымъ образомъ наши чувства, потомъ разсматриваетъ съ разныхъ сторонъ, связываеть и даеть новое направленіе собраннымъ чувствами впечатлівніямъ, и всегда не иначе, какъ съ участіемъ фантазіи.

80 декабря 1879.

Снъту навалило въ эти два дня (третьяго дня и вчера) мъстами въ человъческій рость.—10° R.

Мнъ хочется доказать себъ, что умственный мой процессъ въ настоящее время, когда я стараюсь уяснить себъ мое міровоззрвніе, двиствуєть, въ сущности, твив же способомъ, какъ и въ то время, когда я ничего другого не хотель знать, кромъ фактовь, и ничего другого не браль въ основу моихъ сужденій, кром'в фактовъ. Мив кажется, что р'язкое различіе, д'ялаемое между сужденіями а priori и а posteriori, или между дедуктивнымъ и индуктивнымъ способами, есть чисто доктринерское, и справедливо развъ въ крайностяхъ, похожихъ на безуміе. Въ сущности, апріористь, также какъ и эмпирикъ, беруть за исходную точку своихъ сужденій факть—factum, нічто для нихъ обоихъ неопровержимое и пріобретенное первоначально чувствами и опытомъ; различіе только въ томъ, что апріористь даеть впоследствіи другое значеніе факту и опыту, и въ пріобретеніи своихъ знаній (которыя безъ опыта невозможны) не ограничивается одними впечатльніями, доставляемыми ему внышними чувствами. У него играютъ болъе важную роль не столько непосредственныя чувственныя впечатлёнія, сколько заключенія, сложившіяся въ ум'в и фантазіи изъ этихъ впечатлівній. Но тавъ называемый раціональный эмпиризмъ, къ послёдователямъ котораго я отношу и себя, также не довольствуется однимъ собираніемъ приносимыхъ чувствами впечатлівній. Изобрітая различные способы наблюденія и опыта, контролируя одинъ опыть другимъ, раціональный эмпиривъ неминуемо пускаеть

въ ходъ фантазію, и умозаключенія его почти никогда не могуть удержаться въ непосредственной (прямой) связи съ чувственными впечатлёніями, доставляемыми прямо опытомъ и наблюденіями. Всегда есть пробълъ между умозаключеніемъ и чувственнымъ фактомъ, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этотъ пробъль—у насъ нътъ другого средства, какъ повтореніе или скопленіе однородныхъ фактовъ; а это средство подвергаетъ насъ заблужденіямъ, которыя неръдко вреднъе увлеченій фантазіи, потому что обманываютъ насъ своею кажущеюся точностью.

Вообще, мит кажется слишкомъ школьнымъ и тотъ анализъ нашего мышленія, которымъ мы обыкновенно руководствуемся. Мы принимаемъ ощущенія, внимательность (perceptio), память, ассоціацію идей, свойство означать ощущенія членораздъльными звуками, сужденіе, фантазію за совершенно отдъльно и какъ бы независимо другь отъ друга дъйствующія способности. Это, вонечно, необходимо для уясненія себ'в умственнаго процесса. Но вполнъ независимыя одна отъ другой функців этихъ способностей я считаю невозможными въ нормальномъ состояніи. Правда, одна изъ нихъ можеть быть сильнъе развита, чъмъ другая, и потому функція одной изъ этихъ способностей можеть быть для нась заметнее другой, но безъ ощущенія немыслима; мышленіе, безъ внимательности и (безъ) памяти ощущаемое, было бы однимъ эфемернымъ и безследнымъ возбужденіемъ; а безъ фантазіи не можетъ обойтись н самый точный математическій пріемъ мышленія. Правда, въ пользу сепаратизма и ловализаціи нашихъ психическихъ способностей говорить тоть неоспоримый факть, что при полномъ почти недостать одной изъ нихъ другія продолжають еще дъйствовать. Самая способность ощущенія нъкоторыми физіологами, посаженная въ зрительные бугры мозга, еще подраздъляется и локализируется на нъсколько другихъ категорій; такъ, зрительное ощущение должно имъть отдъльное мъсто въ мозгу оть ощущенія слухового и т. п., и весьма в'вроятно, что различныя ощущенія, приносимыя внішними чувствами, сосредоточиваются въ различныхъ порціяхъ мозга. Но то, что въ насъ ощущаеть, то ощущающее начало есть нѣчто нераздѣльное, прое и едва ли когда вр теченіе жизни измрняемое; его

нельзя локализировать въ той или другой порціи мозга и врядъ ли можно назвать и самый мозгъ единственнымъ его мъстопребываніемъ. Намъ, конечно, кажется, что, сосредоточивая наше вниманіе на какой-либо предметь, смотря, напримъръ, на него въ микроскопъ или телескопъ, мы только смотримъ и превращаемся, такъ-сказать, всецело въ одно эреніе. Но, вникнувъ глубже въ этотъ процессъ сосредоточеннаго эрвнія, мы убъдимся, во-первыхъ, что обращать внимание на что-либо, значить внимать самого себя, то-есть направлять то ощущаемое начало, называемое я, на впечатленіе, приносимое темъ или другимъ органомъ чувства, смотреть этимъ я въ глазъ, слушать имъ же въ ухо и, воспринимая въ себя эти впечатльнія, въ то же время судить о нихъ, представлять ихъ себь вь томъ или другомъ видь, сравнивать съ прежними ощущеніями, принимаемыми нъкогда тыми же чувствами; а все это необходимо требуеть, чтобы наше я безпрестанно приводило въ дъйствіе то ту, то другую умственную способность и въ одно и то же время.

Хотя въ чувственныхъ ощущеніяхъ, какъ, напримъръ, между слухомъ и зрѣніемъ, можно опредълить краткіе промежутки времени, отдѣляющіе эти ощущенія, если мы смотримъ и слушаемъ (какъ астрономы) въ одно и то же время; но едва ли мы найдемъ средство уловить промежутки, отдѣляющіе ощущеніе, приносимое глазомъ, отъ того процесса, который совершается въ то же самое время нашимъ я и который (процессъ) называется теперь безсознательнымъ мышленіемъ, — названіе, по моему, нелѣпое, хотя и означающее дѣйствительно особый психическій процессъ; мнѣ кажется, что его лучше признать безъимяннымъ или неудобоназываемымъ, чѣмъ давать ему безсмысленное прозвище.

Вотъ это quasi-безсознательное мышленіе, сопровождающее всѣ наши чувственныя ощущенія, въ самый моментъ ихъ проявленія, и есть самое характеристическое свойство нераздѣльности и цѣльности нашего я.

Какъ бы ни были отдъльно локализированы наши чувства зрънія, слуха, осязанія, наша память, воображеніе, способность говорить, мыслить, хотъть, наше я есть въ одно и то же время и нъчто отдъльное оть нихъ, и вмъсть съ тъмъ вмъщающее веть эти чувства и способности въ себт. Наше я играетъ, какъ будто, на клавишахъ тъхъ органовъ, функціямъ которыхъ эмпиризмъ приписываетъ зртніе, слухъ, память, слово и пр.; —и, выражая своею игрою эти функціи, наше я само участвуетъ въ нихъ, какъ нераздъльное цълое, связывая ихъ и проявляя ими свое бытіе.

5 января 1880.

Съ новаго 1880 года по 5-е января морозы въ—10⁰— 16⁰ R. Бури утихли. Ясно и безв'тренно. Вчера и сегодня иней на деревьяхъ.

6 января 1880.

Ясный зимній день съ густымъ инеемъ на деревьяхъ. Утромъ 11^{0} . Послѣ хорошей утренней прогулки.

Прогуливаясь, я вспомниль, что слишкомъ односторонне въ моемъ дневникъ отнесся въ знаменитому: cogito, ergo sum, утверждая, что его нужно бы было заменить: sentio, ergo sum. Обращая себя всего на какой-либо предметь, превращаясь, вакъ говорится, въ зрѣніе или слухъ, наше я, устремленное такимъ образомъ во внъшній міръ, — въ свое не-я, продолжаеть -незамътно, можеть быть (при сильномъ сосредоточении вниманія на внішній предметь), — ощущать свое бытіе; и это ощущеніе сопровождаеть его съ колыбели, съ того момента, когда оно начало отличать отъ себя свое не-я, вплоть до могилы; и даже при потери сознанія, въ бреду, во сить, это ощущеніе не можеть не продолжаться, хотя бы и въ измёненномъ видё. Но, вром' этого, не всегда для насъ зам' тнаго, ощущенія нашего бытія, незам'єтнымъ оно можеть сдівлаться, - какъ и всі другія наши ощущенія, — чрезъ привычку къ бытію; наше я возводится изъ простого ощущенія на степень мысли въ томъ случат, когда оно, воспринимая внешнія (міровыя) и органическія (приносимыя органами) впечатлівнія, приводить ихъ въ связь съ ощущениемъ въ себъ присутствия своихъ умственныхъ способностей: вниманія, памяти, воображенія, слова и мысли.

Тогда наше я дёлается вполнё сознательнымъ, осмысленнымъ и прочувствованнымъ. Кондильявъ утверждалъ, что человёвъ безъ внёшнихъ чувствъ—статуя. Это неправда; дыханіе и безъ содёйствія внёшнихъ чувствъ должно ему сообщить ощущеніе бытія, поддерживая связь съ внёшнимъ міромъ. Ощущеніе бытія непремённо существовало бы и тогда, но было ли бы оно безъ содействія внёшнихъ чувствъ сознательнымъ и осмысленнымъ—это вопросъ. Сознаніе въ себё памяти, мысли, воображенія, безъ сомнёнія, возбуждается и поддерживается внёшними и органическими чувствами; но нётъ причины, мнё кажется, отвергать возможность этого сознанія и при отсутствіи внёшнихъ и органическихъ чувствъ.

Я отвлекся и зашелъ слишкомъ далеко, желая себъ доказать, что хотя я до моего міровоззрънія дошелъ не настоящимъ раціонально-эмпирическимъ (индукціоннымъ) способомъ, но, тъмъ не менъе, я считаю мое міровоззръніе для меня равносильнымъ факту.

10 анваря 1880.

Продолжаются холода въ 16^0-12^0 R. Сегодня 7^0 и снътъ. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговкъ въ ходу.

Да, равносильнымъ факту—фактическимъ—по силъ убъжденія я считаю мое воззръніе. Что такое фактъ? Если держаться буквальнаго смысла, то это то, что сдълано, —factum, что совершено (поэтому fait accompli—плеоназмъ). Въ этомъ смыслъ фактъ долженъ быть чувственнымъ. И дъйствительно, если самое наше бытіе есть ощущеніе, то въ насъ нъть ничего, что бы не зависъло первоначально отъ впечатлъній, приносимыхъ ощущеніями.

Все обнаруживаемое въ насъ бытіемъ обнаруживается посредствомъ ощущеній, т.-е. посредствомъ связи съ внёшнимъ міромъ. Тёмъ не менёе, слёдствія и продукты впечатлёній различны до крайности. Одни изъ нихъ способны возбуждать въ насъ одно чувство бытія, другіе возбуждають безсознательное мышленіе и разнаго рода рефлексы; но есть и такой родъ впечатлёній, можеть быть вёрнёе—представленій, которыя, не

смотря на первоначальное ихъ происхожденіе отъ чувственныхъ ощущеній, приводять въ дёйствіе исключительно сознательныя напіи умственныя способности: память, мышленіе и фантазію (воображеніе, способность сочетать и творить новыя представленія). Хотя мы помнимъ, мыслимъ и воображаемъ при каждомъ дёйствіи нашихъ органовъ чувствъ, но этотъ чувственный и обыкновенно безсознательный процессъ воспоминанія, мышленія и представленія (воображенія) прекращается, какъ скоро то или другое чувство перестаеть дёйствовать; другой же, рёзко отличающійся отъ этого, процессъ воспоминанія, мышленія и воображенія, всегда сознательный, совершается и безъ непосредственной помощи чувствъ.

Итакъ, всякій фактъ долженъ быть произведеніемъ внішнихъ, на насъ дъйствующихъ, впечатлъній и нашихъ чувственныхъ ощущеній, между тімь какь наши внутреннія ощущенія. присутствующія въ насъ и безъ прямого содействія внешнихъ впечатленій, могуть не только представлять намъ факты съ различныхъ точекъ эрвнія, но и открывать намъ истины. Факть хотя и считается вакъ бы за истину, но нивто не называетъ математическія аксіомы фактами. Почему? Казалось бы, такой факть, какъ солнце на небъ, такъ же точно истиненъ и неопровержимъ, какъ и всякая математическая аксіома. Да, есть дъйствительно истинные факты и фактическія истины; но факть все-таки не истина, и истина—не фактъ. Солнце на небъ потому истинный факть, что всякій можеть его повірить чувствами; но такая математическая (астрономическая) истина, что солнце и сегодня, и завтра, и цёлые годы взойдеть и зайдеть въ извъстномъ опредъленномъ мъсть на горизонть, не требуеть вовсе чувственной повърки; это основано и не на одной теоріи въроятности, а на знаніи и соображеніи, при участіи и всвхъ другихъ умственныхъ способностей (памяти, фантазіи); основа этого знанія, правда, также фактическая; не видавъ никогда солнца и звъздъ, намъ не пришло бы на умъ и все устройство нашей планетной системы; но математическія вычисленія до того различны отъ чувственныхъ наблюденій, что могуть определить а priori место для планеть, еще не открытыхъ наблюденіями. Математическая аксіома, что дві величины,

равныя порознь третьей, равны между собою, хотя и наглядна, т. е. можеть быть объяснена чувственнымъ опытомъ, но, въ сущности, она основана на соображеніи, а не на опытъ; чтобы понять ее, нъть надобности имъть предъ глазами извъстныя величины. Фактъ уже и тъмъ отличается отъ истины, что свойства его различны, а неизвъстная намъ сущность истины всегда одна и та же. Только тотъ фактъ, который есть, былъ и будеть, былъ бы истиною. Но такого мы не знаемъ; если же убъждаемся въ необходимости или возможности и не-фактическаго существованія того, что всегда было и будеть, то это убъжденіе и есть для насъ истина, хотя очевидно не-фактическая. Очевидно также, что для убъжденія въ такой истинъ намъ недостаточно одного разсудка, — необходимо еще мощное содъйствіе фантазіи.

Все высовое и прекрасное въ нашей жизни, наукъ и искусствъ создано умомъ съ помощью фантазіи, и многое - фантазіею при помощи ума. Можно сміло утверждать, что ни Коперникъ, ни Ньютонъ, безъ помощи фантазіи, не пріобръли бы того значенія въ наукв, которымъ они пользуются. Между твиъ неръдко и въ жизни, и въ наукъ, и даже въ искусствъ слышатся возгласы противъ фантазіи, и не только противъ ея увлеченій, но и противъ самой нормальной ея функціи. Для современнаго реалиста и естествоиспытателя нътъ большаго упрека, какъ то, что онъ фантазируетъ. Но, въ дъйствительности, только тоть изъ реалистовъ и эмпириковъ заслуживаеть упрека въ непоследовательности, кто хотя на одинъ шагъ отступаеть отъ указаній чувственнаго опыта, направляемаго и руководимаго умомъ и фантазіею. Вообще, доктрина, отделяющая искусственными перегородками функціи нашихъ умственныхъ способностей одну отъ другой, приводить къ тому, что мы и во всвят наших произведеніях стремимся такъ же різко отличать проявленія каждой изъ нихъ, какъ будто бы можно было умствовать, не воображая, и воображать безъ размышленія. Стоить только вспомнить, что самую простую выкладку чисель намъ нельзя сдёлать, не нриводя въ действіе и нашу память, и воображеніе, и разсудовъ, хотя намъ и кажется, что все наше я какъ бы погрузилось въ числа при выкладкъ.

14-го анваря (1880 г.).

Всѣ эти дни морозъ въ 10^0-13^0 R.; только вчера сильная мятель при NW и -4^0 R.; сегодня все еще вътрено (NW) при -8^0-9^0 R., но ясно, и много навъяло снъту.

Все еще хочу себъ доказать, что я не долженъ считать мое міровоззрѣніе однимъ продуктомъ досужей фантазіи, потому только, что оно не основано на прямомъ и непосредственномъ опытъ. Не мнъ, посвятившему всю жизнь, и именно самую лучшую часть жизни, раціональному эмпиризму, не мнъ—говорю—отвергать значеніе опыта; но и не мнъ сомнъваться въ значеніи словъ перваго Иппократова афоризма: "experientia fallax, judicium difficile".

Когда лъта не располагають уже въ увлеченію, то начинаешь понимать, какъ легко можно увлечься не одними мечтами, но и тъмъ, что такъ трезво, точно и положительно, какъ опыть и факть. Есть вещи на свътъ, къ которымъ и такое надежное средство, какъ опыть, непримънимо, а между тъмъ эти вещи—это вопросы жизни, безъ разръшенія которыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется; а къ жизни обращаешься невольно съ упрекомъ, такъ хорошо прочувствованнымъ поэтомъ:

Даръ напрасный, даръ случайный, Жизнь, на что ты мий дана?

Да, оргія, груб'йшія средства самозабвенія и, наконець, самоубійство, неминуемо сгубять желающаго опытомъ разр'вшить загадку жизни. Правда, кр'впкіе, здоровые, положительные умы могуть жить и прекрасно д'вйствовать, отбросивь въ сторону всякую попытку къ разр'вшенію томительнаго вопроса жизни. Но горе той личности, которая возмечтаеть о себ'в, что она-то и есть именно esprit fort, не нуждающійся въ разр'єшеніи подобныхъ вопросовъ. Аскеть Филаретъ прекрасно, съ своей точки зр'внія, возражаль Пушкину на его упрекъ жизни, и именно потому прекрасно, что онъ (Филареть) уясниль себ'в не опытомъ жизненную проблему; и какъ бы это уясненіе ни было односторонне, оно мощитье, а главное—челов'ячнітье безсильнаго ропота на жизнь, что не раскрываеть предъ нами своей тайны такъ, какъ бы мы этого хот'єли. А

мы хотълибы, чтобы это было такъ же наглядно и осязательно, какъ ея чувственныя и индивидуальныя проявленія.

Я полагаю, что всё мы, последователи Веруламскаго Бэкона, придаемъ слишвомъ большое значеніе предложенному имъ (индуктивному) способу изследованія. Этогь способъ вовсе не какое-нибудь новое открытіе особой д'явтельности нашего ума. Въ обыкновенной жизни всѣ всегда и до Бэкона изъисвивали и изследовали индуктивнымъ способомъ; но никто, я полагаю, и ни самъ Бэконъ не считалъ этого способа единственно возможнымъ для открытія истины. Главная заслуга Бэкона это: noli jurare in verba magistri. Теперь же и это перестало быть заслугою, такъ какъ въ наше время не найдется ни одного ученика въ школъ, которому бы понадобилось повторить это правило. Средневъковая въра въ авторитеты замівнена теперь извіріемь; — мы всі извірились въ себя самихъ; дъти наши, сидя на школьныхъ скамьяхъ, глядя на учителей, уже успъвають извъриться. Это нельзи не признать следствіемъ односторонняго упражненія ума по индуктивному способу; но избави насъ Богъ отъ такого дедуктивнаго, которымъ учились jurare in verba magistri!

Такъ вотъ я опять хочу толковать о томъ, что если мы желаемъ сдёлать наше міровоззрёніе вліятельнымъ въ нашемъ нравственномъ быті, — а это именно для меня сдёлалось пеобходимостью, — то мы не должны основывать его на однихъ положительныхъ, чисто фактическихъ и чувственныхъ, данныхъ. Мы не должны ослішлять себя кажущеюся основательностью тамъ, гді идеть дёло объ одномъ представленіи или — вірнісе — только о возможности представленія и о его уясненіи для себя; туть нельзя требовать ничего другого, какъ только того, чтобы въ этомъ представленіи не было явныхъ противорічій и чтобы оно было какъ можно меніе несообразно, то-есть сообразовалось бы, сколько можно, съ нашими фактическими знаніями и не заключало бы въ себі боліе противорічій, чімъ самыя эти знанія.

15-го января (1880 г.).

Вчера вечеромъ я вхаль съ полевого тока. Было морозно и ясно. Я сидълъ въ саняхъ спиною къ заходящему солнцу.

Поля, поврытыя гладкою, какъ скатерть, сивжною пеленою, освыщались изъно-розовымь, переходящимь въ свыто-фіолетовый, свытомъ; полная, еще блыдно-серебристая, луна поднималась изъна лыса на зеленовато-голубомъ фоны. Игра и переливы цвытовь изъ зеленоватаго въ палевый и свыто-голубой на горизонты, и изъ розовато въ блыдно-фіолетовый, со множествомъ блестовъ на сныгу, такъ обворожали меня, мны дышалось студенымъ воздухомъ такъ легко и привольно, что я невольно началь пародировать упрекъ жизни Пушкина и про себя шепталь съ навернувшимися на глазахъ слезами:

Не случайный, не напрасный, Даръ чудесный и прекрасный, Съ тайной цёлью данъ ты мнё!

Потомъ я перемънилъ этотъ экспромтъ такъ:

Не случайный, не напрасный, Даръ таинственный, прекрасный, Жизнь, ты съ цёлью мнё дана!

И оттого что никто не могъ разгадать тебя, чудный даръ жизни, неужели мы должны упрекать тебя въ нелёпой случайности, должны опошлять тебя, играть и не дорожить тобою! Насъ беретъ зло, что не кватаетъ силы раскрыть тайну дара, и мы со зла готовы хоть сейчасъ утверждать, что ни секрета, ни цёли тутъ вовсе нётъ, что ларчикъ жизни открывается просто рег vaginam, закрывается также легко—землею.

Мы привывли съ самой колыбели къ жизни, и смотримъ потому на жизнь и на свътъ какъ на обыкновенныя, вседневныя вещи; это, конечно, наше счастье, хотя легкомысленное и попіленькое счастье. Но что было бы со всёми нами, если бы умъ нашъ постоянно вникалъ и вдумывался въ самую суть насъ самихъ и всего окружающаго насъ? На каждомъ шагу мы встръчались бы лицомъ къ лицу съ непроницаемою, тяготъющею надъ нами, тайною; на каждомъ шагу недоумъніе и сомнъніе отягчали бы наше раздумье. Что это за странное плаваніе и круженіе въ безпредъльномъ пространствъ тяготъющихъ другъ къ другу шаровидныхъ массъ? Что это за непонятное существованіе безчисленныхъ міровъ, составленныхъ изъ однихъ и тъхъ же вещественныхъ атомовъ и отдъленныхъ на

въки одинъ отъ другого едва вообразимыми, по своей громадности, пространствами? Что значитъ эта безконечная разновидность формъ? А сцъпленіе, тяготъніе, сродство, постоянная вибрація атомовъ—развъ всъ эти обыденныя для насъ явленія—не тайны, скрытыя подъ научными именами? А эти такъ называемыя простыя тъла, эти неразлагающіеся элементы, скопленные въ огромныхъ планетныхъ массахъ, развъ они дъйствительно—первобытные элементы? Откуда взялись бы они, откуда взялась бы планетная жизнь, если бы другіе, намъ невъдомые, первобытные элементы не содержались въ общемъ, для насъ недостигаемомъ источникъ — эоирномъ хаосъ? Что онъ такое, этотъ источникъ и вмъстилище невъдомыхъ началъ?

Что удивительнаго, если въ каждомъ изъ насъ, окруженныхъ со всёхъ сторонъ и съ колыбели до могилы міровыми тайнами, существуеть склонность къ мистицизму; если одни изъ насъ, при извъстномъ настроеніи, дълаются легко мистивами и начинають видёть и находить сокровенныя тайны тамъ, гдъ другіе, кружась безъ оглядки и устали въ водоворотъ жизни, -- все находять простымъ и яснымъ? И можно ли требовать отъ обитателей земли, одаренныхъ способностью живо представлять себъ неосязаемое, чтобы они оставались всегда въ будничномъ настроеніи духа и мирились съ злобою дня, когда судьба, давъ имъ остремление въ предвидению и силу воображенія, не дозволила отдаляться оть земного жилища дал'ве овружающей его воздушной оболочки, да и для пытавшихся подняться - превращаеть небесную лазурь въ черную ночь?! Но если каждый листокъ, каждое съмячко, каждый кристалливъ напоминають намъ о существовании внъ насъ и въ насъ самихъ таинственной лабораторіи, въ которой все неустанно само работаетъ для себя и для окружающаго, съ цёлью и мыслью, то наше собственное сознание составляеть для насъ еще болве сокровенную и вмёств съ твмъ самую безпокойную тайну. Есть, однако-же, и еще более заветная, но уже происходящая изъ нашего же сознанія: это-истина. Не безъ насм'єшки сдёлаль свой назойливый вопрось римскій проконсуль. Можеть быть, именно за это и не последовало ответа свыше. Да, истины не узнаешь, любопытствуя, что она за штука.

Разумъется, я не говорю о такъ называемыхъ научныхъ

истинахъ. Эти всъ-и историческія, и естественно-историческія, и математическія, и юридическія—не болье какъ или истинные факты, или правильныя умозаключенія, добытыя логическимъ анализомъ и синтезомъ; или же формулы, диктуемыя жизнью, нравами и потребностами общества. Такихъ истинъ много. Но есть истина-одна, цёльная, высшая, служащая основаніемъ всего нашего нравственнаго быта. Напрасно утверждають такіе историви, какъ Бокль и съ нимъ большая часть новаго покольнія, что человьчество обязано преимущественно развитію научныхъ истинъ въ обществъ, а нравственныя нисколько будто-бы не содъйствовали его преуспъянію, то-есть прогрессу, счастью и благосостоянію. Я полагаю, напротивъ, что единство и цъльность настоящей истины выступають все болье и болъе съ прогрессомъ человъчества, хотя и трудно ръшить, насколько оно въ общемъ итогъ сдълалось лучше. Дъйствительно, истина должна быть только одна: она—внъ насъ и вмъсть въ насъ самихъ, въ нашемъ сознаніи; конечно, не такъ ясная для насъ, какъ солнце, но, какъ свътовая волна далекаго солнца, освъщаеть нашть нравственный быть. Что было бы этическое наше, или нравственное, начало, если бы въчная и цъльная истина не служила ему основою? Безъ нея, безъ этой основы, не существовали бы для насъ и научныя истины, ибо не существовало бы въ насъ нравственнаго стремленія къ открытію истины. Каждый изъ нась, самый закоснёлый въ преступленіяхъ, невольно стремится найти въ себъ истину, и ищетъ предъ собою и предъ другими оправданія своихъ поступковъ. Правда, мы при этихъ оправданіяхъ запутываемся во лжи, стремяся не быть, а казаться; но это не доказательство противнаго, не доказательство тому, что въ насъ нътъ произвольнаго стремленія къ правдъ. Все это: - и казаться, а не быть, и зданіе лжи, сооружаемое нами для оправданія нашихъ дъйствій, --есть только искаженное стремленіе къ правдѣ, слѣдун которому, мы все болбе и болбе удаляемся отъ правды, и это потому только, что попали на ложный путь. Наконенъ, доходить до того, что для нась дёлается и совсёмъ невозможнымъ отличить правду отъ лжи. Тогда-то и рождается насмышливый вопрось римсваго проконсула: что такое истина, какъ ее узнать, какъ отличить, гдв она? И какъ, въ самомъ

дѣлѣ, понять идеальнѣйшій изъ идеаловъ! Истина! Вѣдь это абсолють, это Богь! Мы и не должны смѣть когда-нибудь ее постигнуть.

Но невозможность достиженія не есть отриданіе стремленія въ ней. Это стремленіе, данное намъ свыше, есть наше драгоцъннъйшее достояніе. Глубово затаено въ насъ если не убъжденіе, то чувство, напоминающее намъ, что безъ стремленія къ правдё нёть полнаго счастія. Посмотрите, какъ это влеченіе, заглушенное страстями, бъдствіями, тьмъ, что называется судьбою и случаемъ, и ложнымъ направленіемъ, проявляется въ другомъ видъ, не имъющемъ, повидимому, ничего общаго съ влеченіемъ къ основ'в нашего нравственнаго бытія. Увлеченіе въ преслідованіи цілей, основанных на неправдів, не уничтожаеть еще въ насъ стремленія въ открытію истинныхъ фактовъ или научныхъ истинъ, и вотъ, удовлетворяя съ этой одной стороны наше стремление въ правдъ, мы именно поэтому и не заботимся иногда удовлетворить вполнъ другой, высшей его стороны. Точно также великіе, по безправственные геніи, завоеватели и государи, попирая ногами правду, легко убъждають себя въ правоть своихъ дъйствій, потому что у нихъ стремленіе къ истинъ находить удовлетвореніе въ достигаемыхъ ими грандіозныхъ результатахъ; а результаты эти, дъйствительно, содъйствують въ открытію и распространенію различныхъ фактическихъ истинъ. Все это иллюзіи, неразлучныя съ нашимъ существованіемъ. Истина такъ свётла, что безъ иллюзій одно только стремленіе къ ней ослёпило бы уже насъ; поэтому ложь сделалась неизбежною для насъ при непреодолимомъ влеченіи къ истинъ. Не зная, что она такое, но неудержимо стремясь къ ней по присущему намъ всвиъ влеченію, мы, къ счастью и несчастью нашему, должны жить постоянно въ иллюзіи и смене галлюцинацій. Эта неизбежность служить намъ смягчающимъ обстоятельствомъ передъ судомъ совъсти; но она не уничтожаеть еще въ насъ окончательно способности приходить въ себя и разузнавать наши иллюзіи и галлюцинаціи. Галлюцинируя до чертиковь, было бы отвратительно, нельно полагать, что вовсе ньть этой единой, общей и цъльной истины; что только пріобретенные чувствами факты и выведенныя изъ нихъ умозаключенія суть истины; всявая

же другая правда есть понятіе относительное и временно обязательное pro domo sua. Думая такъ, мы превратили бы наши иллюзіи изъ ширмъ, охраняющихъ насъ отъ нестерпимаго свёта истины, въ темную, непроглядную ночь.

Все это писано до 29-го января (1880 г.). Въ эти дни разгулялся мой кишечный катарръ не на шутку. Все полнолуніе стояла ровная, тихая, ясная погода съ $-10^{\circ}-12^{\circ}$ R. утромъ и ночью, и до 0+1—среди дня. Солнце уже порядочно грѣеть. Это самая опасная вещь для меня и, я думаю, для всѣхъ, страдающихъ кишечнымъ катарромъ: на прогулкахъ на солнцѣ легко приходишь въ испарину, а въ тѣни остужаешься также скоро. Впрочемъ съ 25-26 января барометръ опустился, стоитъ иней, туманъ и отъ — 5 до $+2^{\circ}$ R.

28 января 1880.

Катарръ мой нѣсколько улегся. Послѣ моего любимаго раствора соляно-кислаго хинина въ мятной водѣ (принявъ его до 10 гранъ) чувствую себя не худо, и послѣ прогулки по комнатѣ пришелъ въ легкую испарину.

Сегодня небо безоблачно, до 10° R. мороза, тихо.

Karoe-то dolce far niente. Въ ушахъ шумъ, но не отъ одного хинина, а только имъ усиленный обычный мой шумъ. вовсе не докучливый, — какъ будто слышишь отдаленный вечерній гуль съ улиць большого города. Въ голов'в калейдосвоить мыслей, in statu nascente; одна быстро смёняеть другую; прошедшее мъняется настоящимъ безъ остановки. Вниманію не удается поймать и фиксировать ни одной мысли, а между тъмъ дъйствують и вниманіе, и мышленіе, и фантазія, и память, -- всь въ одно и то же время. Значить, у меня, какъ и у всёхъ, я думаю, и въ здоровомъ, и въ ненормальномъ состояніи. — ни одна изъ этихъ способностей не действуеть порознь; мое я теперь играеть какъ по клавишамъ, слегка дотрогиваясь то до намяти, то до воображенія, то до разсудва. Только въ настоящую минуту мое я, дотрогиваясь до важдаго изъ этихъ своихъ клавишей, слабо извлекаеть изъ нихъ и неясные, хотя и не вовсе несвязные тоны. Такое состояніе имфеть свою прелесть; это именно и есть dolce far niente namero s.

Пробъгая записанное въ послъдніе дни, вижу, что заговориль объ иллюзіяхъ. Да, эти ширмы, какъ я ихъ назвалъ,— наши талисманы. Человъкъ, слъдящій за собою, легко пойметь, какую услугу онъ ему оказывають, и, зорко наблюдая за собою, не дозволить имъ слишкомъ затемнять путь, указываемый присущимъ ему — и потому непреодолимымъ — влеченіемъ къ истинъ.

30-го января 1880.

На дворъ idem. Свътло, тихо; температура утромъ — 12° R.; на солнцъ въ серединъ дня — до 0 и выше.

Все разъясняется, все дълается понятно, -- умъй только хорошо обращаться съ фактомъ, умъй зорко наблюдать, изощряй чувства, научись правильно наблюдать; тогда исчезнуть предъ тобою чудеса и мистеріи природы, и устройство вселенной едёлается тавимъ же обыденнымъ фактомъ, вавимъ саблалось теперь для насъ все то, что прежде считалось недоступнымъ и сокровеннымъ. Такое убъждение съ каждымъ днемъ все болъе и болъе проникаетъ въ сознание не только передовыхъ людей, жрецовъ науки, но и цёлыхъ массъ. И это есть одна изъ главныхъ современныхъ наиболъе благодътельныхъ и полезнъйшихъ иллюзій. Эта иллюзія полезна уже и тьмъ, что направляеть всь наши умственныя силы на предметы, подлежащіе самому точному чувственному анализу и изследованію, не давая увлекаться темъ, что навсегда для насъ должно остаться заповедною тайною. Чёмъ спеціальнее, чёмъ ограничениве предметь нашего изследованія, темъ более надежды на точный и ясный результать, тёмъ сильнёе иллюзія и тёмъ сповойнъе и отраднъе чувствуетъ себя посвятившій все свое вниманіе и время изследованію. Углубившись и посвятивъ цёлую жизнь занятіямъ по этому способу разслёдованія, мы, наконецъ, приходимъ и къ тому убъжденію, что на сценъ нашихъ дъйствій н'ять ничего закулиснаго, и кажущееся скрытымъ за кулисами существуетъ только для того, вто не хочетъ или не умъетъ зорко взглянуть. А между тъмъ, если подумаеть и разбереть, не увлекаясь ни поразительнымъ величіемъ разныхъ открытій, ни громадностью добытыхъ эмпирическимъ разслъдованіемъ результатовъ, въ чемъ состоить вся суть пріобрътенныхъ нами этимъ способомъ знаній, то не трудно убъдиться, что мы узнаемъ исключительно одну внъшнюю сторону окружающаго насъ міра и насъ самихъ.

Однихъ изъ насъ исключительно занимаетъ механизмъ явленій, устройство, составъ и дъйствіе различныхъ приборовъ и снарядовъ жизни и ея формы; другіе занимаются прикладною, и потому также только внъшнею, стороною жизни. Этимъ способомъ наши знанія и понятія о міровой жизни несомнънно обогащаются; внъшняя ея сторона подвергается разсмотрънію съ разныхъ сторонъ; но остается таклю, какъ и прежде, какъ и всегда, несомнъннымъ, что in's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist. Вотъ это-то тяжелое для нашего сотвореннаго духа сознаніе мы и притупляемъ благодътельною иллюзіею, приковывающею все наше вниманіе къ внъшней сторонъ міровой жизни.

Кому изъ людей, занятыхъ изследованіемъ фактическихъ истинъ и практическою жизнію, придеть въ голову размышлять о сущности вещей? Кто изъ людей, занятыхъ практическимъ дъломъ, повърить, что эта сущность вовсе не то, что передается намъ чувствами? Все кажется простымъ тому, кто привыкъ просто смотръть на все. Да научнаго изследователя и интересуеть всего болбе вопрось: вакъ, а не почему? Мы видимъ, что листь растетъ, наблюдаемъ, какъ онъ растетъ, узнаемъ устройство и составъ клетокъ, следимъ шагъ за шагомъ за раздъленіемъ и размноженіемъ клітокъ; весь механизмъ растительнаго процесса открывается намъ какъ на ладони. Но что заставляеть расти именно такъ, а не иначе? Что заставляеть растеніе и животное принимать тоть или другой характерный видъ? Отчего съмя и яйцо заключають въ себъ зародышъ именно того же типа и вида, отъ котораго они произошли? Что привлекаеть и роднить щелочь съ вислотою? Что спыляеть атомы? Что заставляеть притягиваться одно твло въ другому? Отчего мышечное движение переходитъ въ теплоту, а теплота -- въ движеніе? Отчего сотрясеніе атомовъ возбуждаеть въ нась ощущение теплоты? Всв эти и тысячи другихъ вопросовъ, не разръшимыхъ по нашему незнанію сущности вешей, показывають, что мы окружены тайнами; и если

всё эти тайны не считаются нами за чудеса, то потому только, что мы съ ними встрёчаемся на каждомъ шагу. Мы называемъ ихъ не чудесами, а явленіями, основанными на естественныхъ законахъ, не зная, откуда взялись они. Встрёчая же что-нибудь, хотя и гораздо менёе чудесное, но не ежедневное и не обычное, мы не задумываемся тотчасъ же сомнёваться и не вёрить, или же слишкомъ вёрить и считать его за чудо. Таковы наши иллюзіи — и слава Богу! Безъ нихъ нестерпимо было бы жить въ этомъ таинственномъ мірё, окруженными заколдованнымъ кругомъ, изъ котораго нёть выхода.

8-го февраля 1880.

Всё эти дни, при новолуніи, послё 2-хъ-дневной небольпой оттепели (при $0+2^{0}$) начались такъ называемые срётенскіе морозы въ $25-30^{\circ}$ и продолжаются теперь. Солнце на
лёто, зима на морозъ. Тэдилъ къ больному въ Кишиневъ: въ
одномъ вагоне было натоплено до $+18^{\circ}$ R., а когда такълъ
назадъ, то въ курьерскомъ поезде доходило до $-2-3^{\circ}$.

Но такъ ли все это? Не иллюзія ли, въ свою очередь, то, что будто есть еще какая-то невъдомая и неподлежащая разслъдованію сущиость вещей? Не есть-ли эта сущность именно то только, что намъ дълается извъстнымъ посредствомъ опыта и наблюденія? Не устроены ли и не приноровлены ли наши чувства отъ природы именно къ тому, чтобы мы узнавали вещи такими, какими они въ сущности должны быть? Sensus nos fallunt—не есть-ли только одно asylum ignorantiae? Нужно только умъть дъйствовать чувствами, пріучить и изощрить ихъ; нужно умъть правильно истолковывать и уяснять себъ доставляемыя чувствами ощущенія, и чувства нась никогда не обмануть.

Въ этихъ возраженіяхъ есть доля правды; но только доля. Во-первыхъ, мы судимъ о нашихъ чувствахъ и доставляемыхъ ими результатахъ не иначе какъ субъективно и индивидуально. Повърка основана только на круговой порукъ. Судьями чувственной правды и неправды остаются все тъ же чувства. Что сегодня казалось всъмъ неоспоримымъ по чувственному опыту, то завтра этимъ же опытомъ можетъ быть опровергнуто.

Есть граница изощренія чувствъ, и чімъ болье изощряется одно чувство, тъмъ легче ошибка, тъмъ невозможнъе повърка его другимъ чувствомъ. Наконецъ, какъ бы чувства мои ни были изощрены и приноровлены, все-таки для меня останется неразръшеннымъ вопросъ: что такое наблюдаемый мною предметь безъ меня? Я узнаю каждый предметь только по производимому имъ на меня впечатлънію и ощущенію. А ощущеніе бевъ моего я для меня немыслимо. Между темъ для меня остается несомнъннымъ, что важдый изслъдованный мною предметь можеть и будеть существовать и безъ меня. Что же онъ тогда такое? Но сверхъ этого, очевидно, неразръшимаго вопроса, сущность вещей,—das Ding an (und) für sich selbst. -- должна быть для насъ чёмъ-то другимъ, а не тёмъ, что передають наши чувства, еще и потому, что всь наши чувственныя и умственныя представленія о вещахъ, — какъ бы эти представленія ни были отчетливы и ясны, — никогда не дадуть намъ всесторонняго понятія даже о самой внішней сторон'в изследуемаго нами предмета. Да ссли бы мы могли пронивнуть въ сущность предметовъу хотя бы съ одной ихъ чувственной стороны, мы знали бы, что такое сила и что такое матерія; а еслибы мы могли себь представить вещи какъ онъ есть сами по себь, безь помощи нашихъ чувствъ, -т.-е. не только такими, какими онъ намъ кажутся, — то мы поняли бы и тайну творенія, и мистеріи творчества. Для насъ же не только это педостижимо, но и то невозможно, чтобы каждый предметь подвергнуть анализу всёхъ нашихъ чувствъ; миріады вещей еще намъ неизвъстны; миріады останутся навсегда и вовсе неизвёстными; а представленія наши о тёхъ предметахъ, которые можно еще открыть и изследовать искусственнымъ изощреніемъ чувствъ, -- какъ бы они ни казались намъ ясными, -- все-таки не болъе какъ призраки, туманныя картины и отголоски, неръдко увлекающіе умъ въ непроходимый лабиринтъ предположеній и иллюзій.

Вторая благодътельная для насъ иллюзія есть наше неповолебимое убъжденіе въ свободъ нашей воли, мысли и совъсти. Безъ этого дорогого для насъ убъжденія нравственная жизнь была бы невозможною, да и проявленія физической жизни встръчали бы безпрестанно препятствія въ насъ же са-

михъ. Не легко разубъдить себя въ томъ, что я не могу не хотъть, чего желаю, не могу не желать того, что свойственно желать моимъ душевнымъ и умственнымъ способностямъ. Мысль моя не можеть проявляться внё извёстных и опредёленных в законовъ мышленія, не рискуя превратиться въ безсмысліе. Моя совъсть требуеть отъ меня только того, что я считаю совестнымь (нравственнымь); а если поступаю вопреки исповедуемыхъ мною законовъ совъсти, то потому, что она сдълалась у меня не-свободною. Впрочемъ можно утверждать только то, что ни воля, ни мысль, ни совъсть человъка не произвольны, но свободны въ границахъ, определенныхъ известными органическими и психическими законами. Произволъ и свободаконечно, не равнозначащія слова. Такъ точно не равнозначащи воля и желаніе. Я хочу и желаю — два разныя понятія. Но ни желанія, ни хотінія наши не могуть быть произвольными, хотя и кажутся намъ такими. Я желаю въ эту минуту чего-нибудь, потому что внутреннія мон или органическія (доставляемыя органами) ошущенія и всі предшествовавшія обстоятельства и условія заставляють меня желать именно этого, а не чего-нибудь другого; я могу перемънить мое желаніе или заставить его молчать, но только когда моя воля еще не ослабла подъ игомъ разныхъ желаній и другихъ ненормальных условій. Воля должна быть, въ нормальномъ состояніи, всегда сильнье желаній. Воля всегда дізтельна и управляеть действіями. Поэтому-то я могу желать что-либо доброе, и въ то же время хотъть что либо худое. Только чисто физическія препятствія могуть воспрепятствовать действіямъ сильной или нормальной воли. Въ ней, действительно, есть склонность къ произволу; но все-таки и воля не можеть быть непропорціональна по своей силь съ органическою энергіей нашего я. Я могу желать поднять мою руку, по моя воля и стедующее за ней действіе ограничены способностью передавать мою волю рукт, и если она парализована, то, при всемъ моемъ желаніи ее поднять, дізтельнаго хотінья не будеть. Мнъ, можеть быть, еще не разъ придется въ моемъ дневникъ затрогивать этотъ жгучій вопросъ.

Третья иллюзія нашей психической жизни, не мен'є благо-

творная двухъ первыхъ, зависить отъ непоследовательности нашего ума и фантазіи.

Чистый разумъ, т.-е. взятый въ отдёльности отъ другихъ психическихъ способностей, конечно, не можеть быть непоследовательнымъ. Но мы не можемъ умствовать такъ, чтобы дъйствоваль одинъ чистый разумъ; умствуя, мы въ то же время внимаемъ, помнимъ, воображаемъ, желаемъ и неръдко еще (въ практической жизни) волнуемся и увлекаемся тою или другою страстью. Поэтому умъ нашъ, послъдовательный по принципу, на практикъ почти всегда непослъдователенъ. И это наше счастье и наше несчастье.

И воть, умъ нашъ, въ силу присущей ему последовательности, при каждомъ міровоззріній непремінно долженъ придти въ принятію безконечнаго и безграничнаго, что бы онъ ни разсматривалъ: пространство ли, время ли, движение ли, силу, вещество, — всегда онъ долженъ, наконецъ, дойти до безконечности, неограниченности, въчности, хотя и никогда не можеть составить себъ объ этихъ аттрибутахъ какого-либо опредъленнаго и яснаго понятія. И никакая сила умствующей фантазіи не можеть представить намъ какой-либо обликъ той безконечности, до предъловъ которой умъ нашъ доходить роковымъ образомъ съ присущею ему последовательностью. Это неоспоримое существование безконечнаго, безпредъльнаго и въчнаго начала, до котораго нашъ умъ и фантазія роковымъ образомъ достигаютъ, разсматривая конечное, ограниченное и временное, не есть одинъ чувству подлежащій факть, но стоить выше всякаго факта, ибо оно есть непременный постулать чистаго разума, переносимый имъ же и въ область фантазіи. Между тыть, и разумъ, и умствующая фантазія въ практической жизни безпрестанно заняты созерцаніемъ различныхъ видоизм'вненій всего окружающаго нась, и эти-то безпрестанныя изм'вненія въ пространств'ь, времени, движеніи, силь и веществъ постоянно и противоръчатъ послъдовательнымъ заключеніямъ чистаго разума и заставляють нась вездё и во всемъ насъ окружающемъ находить одно лишь временное, ограниченное и опредъленное. Воть это и есть иллюзія, приносящая намъ счастье и несчастье; но вообще болье благотворная погому, что она заставляеть насъ сосредоточивать всѣ наши

умственныя силы на разслѣдованіи измѣненій, совершающихся внѣ нась въ безграничномъ пространствѣ и времени. Безъ этой вынужденной непослѣдовательности ума и безъ этой вносимой ею иллюзіи дѣятельность нашего ума и фантазіи терялась бы для насъ, погруженная въ безплодное созерцаніе не доступной безконечности.

12 февраля 1880.

Съ 9-го по 12-е февраля 1880 г., посл $\mathfrak s$ 3-х $\mathfrak s$ -дневной оттепели (съ $\mathfrak s$ 4 R. и бол $\mathfrak s$ е) снова мороз $\mathfrak s$ въ 7° R. (12 Φ .), а 13-го и 14-го февраля, наступила ясная, прелестная погода съ $\mathfrak s$ 4°, при совершенномъ безв $\mathfrak s$ тріи.

Дышется легко, и дышалось бы еще легче, если бы не событіе 5-го февраля, дошедшее до насъ съ своими ужасающими подробностями только 9—10-го февраля.

• Я не върю, чтобы русская наша доморощенная молодежь насколько я ее знаю — въ состояніи была, безъ опытныхъ руководителей, дъйствовать съ такою дьявольски-энергическою выдержкою. Это ни прежде, ни теперь не въ нашемъ духъ. На это мастера романскіе народы, а изъ славянскаго племени развъ одни поляки, искусившіеся въ заговорахъ.

Событія посл'єдняго времени доказывають существованіе плотно организованной и притомъ д'єйствующей посл'єдовательно подпольной организаціи, располагающей средствами и пресл'єдующей изв'єстный планъ. Гдіє точка опоры? Вотъ вопросъ; едва ли въ одномъ нашемъ обществіє, т.-е. въ н'єкоторыхъ его слояхъ; едва-ли главные руководители съ ихъ подпольными пружинами не находятся вніє нашего общества; для него это что-то уже слишкомъ забористое и слишкомъ злодемонски устроенное. Нашъ домашній демонъ не такъ золъ и въ своемъ зліє не такъ энергиченъ и посл'єдователенъ. Тутъ кроется организація въ родіє той, которая учреждена была у итальянскихъ карбонарієвъ и въ польскомъ жондіє. Это не наше, — или же наше новое покол'єніе чертовски изм'єнилось въ посл'єдніе періоды нашего развитія.

Между тъмъ я замътиль, что это ужасное событіе, заставившее меня и жену долго призадуматься и какъ-то внутренно взгрустнуть, повидимому, не произвело въ окружающихъ насъ людяхъ того потрясающаго впечатленія, котораго нужно бы было ожидать. Евреи, правда, болтали разныя нелепости; но въ народе, крестьянахъ, не слышно было толковъ и не заметно было живого участія. Вотъ это-то безучастіе, близкое къ равнодушію, и досадно, и печально. Но кого винить? Общество сверху до низу пріучено веками къ индифферентизму, и вотъ, при начавшемся его развитіи, къ которому его толкнула высшая власть, эта поскудная наша безразличность начала исчезать прежде всего въ поколеніи недозредомъ и притомъ, еще на беду, заменилась какою-то злою мономанією. Надо же было случиться, чтобы царствованіе добраго государя, успевшаго уже въ 25 лёть сдёлать свое имя безсмертнымъ въ исторіи развитія Россіи, открыло широкое поприще для гибельнаго зла и неслыханныхъ преступленій и изступленій мысли!

Но не значить ли это, что въ теченіе многихъ л'єть скоплялся въ тайникахъ общества матеріалъ, способный, при первомъ же дуновеніи свободы, воспламеняться и причинять разрушеніе?

Почему при первой зарѣ новой жизни народа не появились на Божій свѣть равные этому злу по силѣ, но противоположные по стремленію общественные элементы? Воть вопросъ.

Едва-ли онъ не ръшается тьмъ, что не было достаточно приложено усилія къ трезвому анализу разныхъ стремленій и поддержкъ тьхъ, на внутренній антагонизмъ которыхъ, въ борьбъ со зломъ, можно бы было опереться. Стричь подъ одинъ гребень—это извъстная замашка неразвитыхъ, неопытныхъ и грубыхъ лицъ и обществъ. Искусство анализировать, умънье отыскать въ каждой особи хорошую сторону и воспользоваться ею не только при случаъ, а потомъ швырнуть въ сторону или заковать въ цъпи,—все это, я знаю, не легко; но безъ этого нельзя и ожидать ничего путнаго, и лучше не вливать вина новаго въ мъхи старые.

Есть періоды въ исторіи народовъ, когда неминуемо, роковымъ образомъ они призываются логикою фактовъ къ новой жизни, и правительства волею и неволею должны бываютъ отступать отъ консерватизма. Если правители не подстерегли, такъ сказать, благопріятнаго момента для реформъ и нововведеній, и вынуждены были обстоятельствами дать ихъ не въ пору, пропустивъ время, то всё вредные, перезрівшіе и недозрівшіе элементы общества приходять легко въ броженіе; и результать отъ нововведеній, какъ бы они благотворны ни были, получается неожиданно плохой. Въ здоровомъ народномъ и государственномъ организмі эти худыя слідствія не могуть быть долговременны. Броженіе уляжется, и все сново заживеть уже обновленною жизнію.

Всв реформы нынешняго (1880 г.) царствованія, по моему мненію, къ сожаленію опоздали. Эманципація должна бы была совершиться задолго до 1848 года, когда въ Европъ все было тихо, и соціализмъ не поднималь еще головы, а финансы наши были въ хорошемъ состояніи; у насъ царствовала тишь и гладь, да Божья благодать; всё сословія покорствовали одной твердой воль, первенствовавшей и на всемъ континенть. Вмёсто того - освобождение крепостных в потомъ и другія, необходимо следовавшія за этимъ актомъ, реформы пришлись въ самую неблагопріятную пору: съ одной стороны, несчастная война, обнаружившая страшную неурядицу и злоупотребленія администраціи (военной и гражданской); позорный миръ; съ другой стороны, общее внутреннее глухое и затаенное недовольство во всехъ почти слояхъ общества отъ тяжелыхъ и стеснительных в мерь, следовавших после революцій въ Европе 1848 года; сильно разстроенные войною финансы; польское возстаніе; усиленная агитація эмигрантовь, возбуждавщая сочувствіе во всей молодежи и даже въ правительственныхъ лицахъ. Можно ли найти болве опасное время для одной изъ радикальнъйшихъ реформъ государства? И между тъмъ ее нельзя уже было откладывать, она уже и то была запоздавшая. И воть, по необходимости, сорвана Соломонова печать сь стилянки съ закупоренными духами; они вылетили не вовремя и не влъзають, по приказанію волшебника, опять въ стклянку. Мало того, эти духи-и между ними, конечно, много было и злыхъ — временно оказались нужными. При ихъ помощи нъкоторые изъ сдълавшихся почему-то - не почему-то, а по успъху-знаменитыми, эманципировали крестьянъ въ западныхъ губерніяхъ, въ смутное время польскаго возстанія; да эти духи, несомнѣнно, и теперь еще (1880 г.) бродятъ въ этихъ провинціяхъ въ видѣ разныхъ субалтерновъ премудрой администраціи. Теорія выстей администраціи, конечно, была остроумна: воспользоваться свободными силами, хотя и неблагонадежными, а потомъ уволить ихъ въ безсрочный отпускъ. Вѣдь святые и на чортѣ верхомъ ѣздили. Но на правтикѣ оказалось, что новѣйшіе духи упорнѣе и несговорчивѣе чорта старыхъ временъ; лишь только ихъ пустили въ ходъ, они и сами пустили корни. Обо всемъ этомъ я хотѣль-было—и буду—говорить впослѣдствіи, при случаѣ; но не удержался и теперь; отвратительно гнусное событіе 5-го февраля (1880 г.) вывело меня изъ колен, и я по-неволѣ заговорилъ не у мѣста. Возвращусь поскорѣе къ моему свѣтлому и утѣшительному міровоззрѣнію.

Действительно ли, однако, все такъ, какъ я думаю?

Не иллюзія ли именно то, что непостижимо для нась: безпредъльность, безконечность и въчность? Начало и конецъ, рожденіе и смерть мы встръчаемъ и сознаемъ на каждомъ шагу. Все наше существование на землъ-въ безпрерывной зависимости отъ вещей, опредъленныхъ, конечныхъ и временныхъ. Наши главныя средства къ познанію вещей-чувстваустроены исключительно для определенія и измеренія границъ пространства, времени и движенія. Гдѣ же туть иллюзія? Да, самое лучшее для насъ не сознавать туть иллюзіи и, не сознавая ея, дъйствовать; это практично, и убъждать себя, что мы дёйствуемъ, живя въ мір'в иллюзій, ни къ чему не ведеть, или же ведеть скорбе къ худу, чбиъ къ добру. Все это такъ; но мив стоить только поднять глаза кверху, посмотръть на небо, — и безпредёльность дёлается неопровержимымъ фактомъ; стоить только подумать о мірозданіи и содержимомъ въ немъ веществъ и силъ, -- и мысль о въчномъ, неизмънномъ началъ невольно является и поражаеть своею бездонною глубиною. Если же безграничное и въчное есть не только постулатъ разума, но и самый громадный фактъ, то вавъ согласить существование ограниченнаго и временнаго съ этимъ фактомъ? Тутъ-то и вроется иллюзія; ограниченными, опредъленными и

временными кажутся намъ одни лишь проявленія безграничнаго и вѣчнаго начала, да и въ нихъ ограничены и временны одни только видоизмѣненія. Проявленія эти, по причинѣ вѣчнаго движенія и безпрерывнаго перехода силъ и вещества однихъ въ другія, не могутъ быть постоянно одними и тѣми же. Вселенная — это громадный, вѣчно вращающійся калейдоскопъ; фигуры безпрерывно измѣняются, но движущая его мысль и сила вѣчны и неизмѣнны.

Итакъ, мой умъ и фантазія, по моему, никогда не разлучные, убъждають меня въ существованіи безконечнаго и въчнаго начала. Безъ фантазіи и умъ Коперника и Ньютона не даль бы намъ міровозэртнія, сдълавшагося достояніемъ всего образованнаго міра. Ничто великое въ мірт не обходилось безъ содъйствія фантазіи. Къ ней же, къ умствующей фантазіи, нужно обратиться и за ръшеніемъ неразръшимаго вопроса объ отношеніи вещества къ этому безгранично въчному вселенскому началу.

И я утверждаю, что въ умственномъ анализъ, вспомоществуемомъ фантазіею, вещество улетучивается, такъ сказать, и вивсто его атомовъ въ воображении остается сила. Что она такое-мы также не знаемъ, какъ не знаемъ и что такое основные атомы вещества. Одно только для меня неоспоримо, что и эта воображаемая основная сила, и эти воображаемые основные атомы не имъютъ и не могуть имъть тъхъ же чувственныхъ свойствъ, которыя опыть, наблюдение и изука открывають въ окружающей насъ вселенной. Эта основная сила и основное вещество-такое же отвлеченіе, какъ и міровая мысль и начало жизни; но отвлеченіе, проявляющееся въ ум'в, непроизвольно и неминуемо при размышленіи и воображеніи; умъ непроизвольно - скажу, пожалуй: безсознательно (хотя это, повидимому, нелівпость) — находить самого себя и свойственное ему стремленіе къ цёли и плану вні себя. Это его свойство. Но онъ обладаеть этимъ свойствомъ именно потому, что оно существуеть и внъ его, въ цълой вселенной; потому, другими словами, что онъ самъ есть только одно проявление другого. высшаго, мірового ума.

16 февраля 1880.

Уже четыре дня стоить утрами морозъ въ 4—2° R., въ срединъ дня до 0° R., ясно; вчера былъ утромъ снътъ. Подъ снъжнымъ покровомъ земля подъ посъвами оказалась при пробъ (на дняхъ) замерящею на нъсколько дюймовъ, несмотря на глубовій (мъстами въ одинъ аршинъ) снъжный слой и несмотря на то, что снътъ выпалъ осенью на талую землю; онъ не сходилъ однакоже ни разу зимой до сихъ поръ. Погода стоитъ, повидимому, отличная для ходьбы, но въроломная. Дуетъ такъ называемый здъсь марецъ, пронзительный съ юго-запада и съверо-запада вътеръ (S, W, N, W), при начинающейся веснъ; онъ проникаетъ до костей, несмотря на то, что S и W, а солнце между тъмъ уже сильно гръетъ.

Я въ 1860 году схватилъ сильную болёзнь въ эту пору (въ конце февраля) съ перемежающимся тифомъ. Поэтому я страшно боюсь февральскаго вероломства; не знаешь, какъ одеться, выходя пешкомъ изъ дому; въ шубе на солнце какъ разъ вспотешь, а тутъ где-нибудь на повороте прохватитъ марецъ. Недаромъ его боятся и посевы; беда, если они откроются изъ-подъ снега въ то время, когда дуетъ марецъ; въ прошломъ году на посевы, подвергшеся въ феврале ветрамъ, страшно было смотреть; зелень вся пропала и поля почернели вскоре после того, какъ вышли изъ-подъ снега; потомъ только поправились немного отъ выпавшаго мокраго снега.

Я все толкую въ моемъ міровозгрѣніи о міровомъ умѣ, о міровой мысли. Да гдѣ же міровой мозгъ? Мысль безъ мозга и безъ словъ! Развѣ это не абсурдъ въ устахъ врача? Но пчела, муравей — думаютъ же безъ мозга, и все животное царство развѣ не мыслить безъ словъ? Вольно намъ называть мыслію только одну человѣческую, мозговую, словесную и человѣчески-сознательную мысль! А она для меня естъ только проявленіе общей мысли, распространенной всюду, творящей и управляющей всѣмъ. Самъ мозгъ и само слово, считаемое нами за органъ и условіе мысли, суть произведенія этой міровой мысли, — и, конечно, не случайныя. Если для неизвѣстной намъ цѣли было необходимо устройство организмовъ, то, конечно, творческая мысль должна же была найти для выраженія себя со-

знаніемъ и словомъ какой-либо субстракть, наиболье приспособленный къ цели, и этимъ субстрактомъ для человъка и выспихъ животныхъ оказался мозгъ. Почему для человъческаго мышленія понадобились именно не другія, а мозговыя извилины, клътки, узлы и волокна—мы не знаемъ, точно также какъ не знаемъ, почему нужно было твореніе существующихъ, а не иныхъ какихъ животныхъ типовъ; мы не можемъ этого знать именно потому, что и устройство нашего органа мышленія, и твореніе типовъ суть произведенія высшей, міровой, для насъ по однимъ только ея проявленіямъ доступной, мысли. Открывая на каждомъ шагу внъ насъ мысль несознательную, въ нашемъ смысль, мы невольно привыкаемъ считать ее за свою собственную, человъчески-сознательную.

Между тымъ мы достовърно теперь знаемъ, что въ нашихъ дъйствіяхъ, и преимущественно въ деятельности органа зрвнія, значительно участвуеть безсознательное мышленіе; безъ него мы не могли бы ощущать и представлять себъ видимые нами предметы такими именно, какъ они намъ кажутся. Мы разсуждаемъ, считаемъ, воображаемъ, помнимъ и хотимъ, во многихъ случаяхъ, безсознательно; безъ сомнънія, можно и чувствовать безсознательно, какъ это показывають рефлексы, или же тотчасъ же забывать моменть ощущенія при самомъ его началь. Мнв кажется, наступила пора, когда мы должны уже различать сознаніе нашего я оть другихъ психическихъ актовъ, каковы ощущеніе, мышленіе, воля и воображеніе, не говоря уже о томъ, что степени самаго сознанія могуть быть весьма различны. Я полагаю, что мозгъ есть исключительный органъ индивидуальнаго сознанія; мышленіе же наше зависить отъ мозга настолько, насколько онъ есть органъ слова и ощущеній, приносимыхъ различными органами. Но ни мозгъ, ни другіе органы себя самихъ не ощущають 'сознательно. Откуда же берется въ немъ сознаніе нашего я? Что за странное превращеніе разныхъ вибшнихъ и внутреннихъ ощущеній, приносимыхъ въ нечувствующему самого себя мозгу въ чувства нашей личности! Не приносится ли и оно въ намъ извит, -- я хочу сказать: - не сообщается ли это сознаніе организму извить витесть сь элементами-носителями жизненнаго начала?

Начало жизни, жизненная сила, духъ бытія, — назовемъ какъ угодно, - конечно, не имбеть своего я; оно не можеть имбть индивидуально-человъческаго сознанія; оно-общее; но, направляя силы и элементы къ формированію организмовъ, это организующее начало жизни делается самоощущающимъ, самосознающимъ, племеннымъ или личнымъ. И въ каждой животной особи, кромъ сознанія (болье или менье яснаго) личности, существуєть еще сознаніе племенное, а въ людяхъ, пром'в племенного я, есть еще и общечеловъческое. Эти различные виды сознанія, органомъ которыхъ служать преимущественно нервные центры, въ моихъ глазахъ, не что другое, какъ олицетвореніе міровой мысли, совершаемое жизненною силою. Это, по моему мивнію, не пустая фраза. Я въ правъ такъ думать потому, во-первыхъ, что другого объясненія происхожденію нашего я я не знаю; во-вторыхъ, въ существованіи жизненнаго начала (силы) нельзя сомнъваться; ибо нужно же принять иксь, управляющій веществомъ въ организмъ и физическими силами, направляющій ихъ въ известной определенной цели, въ поддержанію существованія и самосохраненію организма; въ-третьихъ, наконецъ, вещество, управляемое и направляемое жизненнымъ началомъ, организуется по общему опредёленному плану въ извёстные типы; а это не значить ли, что организованіе типовъ и формъ представляеть собою выражение и олицетворение творческой міровой мысли? Но такъ какъ эта мысль не есть и, по существу своему, не можеть быть индивидуальная, то она, конечно, не нуждается въ особомъ органъ, каковъ нашъ мозгъ, предназначенномъ исключительно для индивидуальности. Вибств съ этимъ, для выраженія міровой мысли не было надобности ни въ ощущеніяхъ, ни въ словахъ, необходимыхъ для нашего индивидуальнаго мышленія.

Вообще, мы не въ правъ утверждать, что такой-то или такой-то органъ устроенъ именно съ тою цълью и для той функціи, которыя ему приписывають наши опыты, наблюденія и наука. Мы не можемъ утверждать, что наши ноги даны намъ, чтобы ходить, мозгъ—чтобы мыслить. Нътъ, мы ходимъ, потому что у насъ есть ноги, и мыслимъ, потому что имъемъ голову. Утверждать же, что мы имъемъ голову, чтобы мыслить, значить—полагать, что творческая сила жизни не имъла никакого

другого средства, кромѣ избраннаго ею къ достиженію своей цѣли. Мы до іжны помнить, что мы не знаемъ, почему творческая мысль олицетворилась сознательно въ типѣ и формѣ человѣка, а не иномъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы не въ правѣ утверждать, что человѣкомъ и закончилось это олицетвореніе, доведенное въ немъ до самосознанія; у насъ нѣтъ никакой причины отвергать возможность существованія организмовъ, снабженныхъ такими свойствами, которыя олицетворенію міровой мысли придали бы недостижимое для нашего самосознанія совершенство.

17-18 февраля 1880.

Оба дня тепло до $4-6^{\circ}$ R. при S. и SW., вчера (17) бол'ве пронзительномъ, сегодня слабомъ. Ясно. На солнцъ таетъ, но общей оттепели нътъ, хотя снъгъ уже и проваливается подъ ногами.

Я знаю, что мое міровоззрвніе не имветь той фактической подкладки, которая въ наше время требуется отъ всякаго серьезнаго размышленія. Но въ томъ-то и б'єда, что нужно или вовсе отказаться отъ всякаго міровоззрінія, или же принять въ основание одни слишвомъ общие и потому слишкомъ близкіе къ отвлеченію факты. Мив не суждено быть позитивистомъ; я не въ силахъ привазать моей мысли: не ходи туда, гдв можно заблудиться. И я по-неволь основываюсь въ моемъ міровозэрвній на томъ, что мнв кажется внв всякаго сомивнія, хотя бы это было более отвлечение, чемъ факть. Мне кажутся такого рода отвлеченія такъ же несомнінными, какъ мое собственное существованіе; къ нимъ я отношу: міровую цёлесообразность; общій планъ творенія; міровую мысль; силу, не зависимую отъ вещества; вещество, при умственномъ анализъ, превращающееся въ нѣчто неуловимое чувствами, --- то-есть, также силу; начало (силу) жизни, проникающее вещество, но независимое ни отъ него, ни отъ физическихъ силъ, а цълесообразно направляющее эти силы въ самосохраненію вещества, возведеннаго этимъ же началомъ на степень организмовъ и особей. Принимая все это за неоспоримыя истины, могь ли я принять иное міровоззрівніе? Будеть ли наукою когда-нибудь несомивно доказано, что высшіе животные типы, формы и мы сами развились, подъ вліяніемъ внішнихъ условій и силъ, изъ нияшихъ формъ, а эти, въ свою очередь, изъ первобытной органической протоплазмы, — мое воззрініе отъ этого не измінится; такъ ли, иначе ли развилась животная жизнь на землін, принципъ цілесообразности въ творчестві отъ этого ничего не теряеть, и присутствіе міровой мысли и жизненнаго начала во вселенной не сділается сомнительнымъ.

Я не могу убъдиться, -- хотя мое собственное убъждение и не могу подтвердить фактами, - чтобы во всей вселенной нашъ мозгъ быль единственнымъ органомъ мышленія; чтобы все въ міръ, кромъ нашей мысли, было безумно и безсмысленно, и чтобы она одна придавала міросозданію смыслъ и разумную целесообразность. При такомъ одностороннемъ воззреніи мне чрезвычайно страннымъ кажется значеніе нашего мозга; выходить такъ, что въ цълой вселенной онъ одинъ, ощущая внъшнія впечатлівнія и не ощущая самого себя, служить містомъ проявленія какого-то я, вовсе не признающаго своей солидарности съ мъстомъ своего происхожденія и вавъ будто ему посторонняго. Поэтому мий сдается не болбе и не менбе правдоподобнымъ другое предположение, что это пресмутное и странное наше я заносится въ мозгъ и развивается тамъ вместе съ ощущеніями оть приносимыхь вь него внёшнихь впечатлёній; другими словами-ставится вопросъ: не приносится ли наше я извив и не есть ли оно именно міровая мысль, встречающая въ мозгв анпарать, искусно сработанный ad hoc силою жизни и назначенный ею для олицетворенія и обособленія мірового ума? Въ такомъ случав, мозгъ былъ бы искусно сплетенною сётью для удержанія и проявленія въличномъ видё этого вселенскаго разума.

Во всякомъ случай это, повидимому, фантастическое предположеніе мий кажется все-таки болйе віроятнымъ, чімъ то,
выпіедшее изъ школы чистокровныхъ матеріалистовъ, по которому наша мысль приводится въ зависимость отъ мозгового
фосфора. Сколько бы я ни імъ рыбы и гороху (по сов'яту
Молешотта), никогда я не соглашусь отдать мое я въ крівпостную зависимость отъ продукта, случайно полученнаго алхиміею изъ мочи. Если намъ суждено въ нашихъ міровоззрів-

ніяхъ подвергаться постоянно иллюзіямъ, то моя иллюзія по крайней мѣрѣ утѣшительна. Она мнѣ представляетъ вселенную разумною и дѣятельность дѣйствующихъ въ ней силъ цѣлесообразною и осмысленною, а мое я—не продуктомъ химическихъ и гистологическихъ элементовъ, а олицетвореніемъ общаго, вселенскаго разума, который я представляю себѣ свободно-дѣйствующимъ по тѣмъ же законамъ, которые начертаны имъ и для моего разума, но не стѣсненнымъ нашею человѣчески-сознательною индивидуальностью.

19 февраля 1880.

Отличная погода при -1° R. (утромъ ясно и тихо для дня двадцатипятильтія).

25 лёть тому назадъ, я встрёчаль этоть день въ Севастополъ. Тогдашнія занятія на перевязочномъ пункть и моя болъзнь (тифондъ) не позволили ясно сохраниться произведенному на насъ впечатленію изв'ястіемъ о новомъ вступленіи на престоль. Я помню только о какомъ-то безгласномъ изумденіи при полученіи изв'єстія о кончин'є императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болёзни. Передъ неожиданнымъ отъёздомъ великихъ князей (Николая и Михаила) изъ Севастополя, разнесся слухъ о бользни императрицы, и никому изъ нась и въ голову не приходило, что нась ожидало такое важное событіе. О какихъ-либо предстоящихъ перемънахъ съ восшествіемъ на престолъ новаго государя тогда невогда было помышлять. У всёхъ одно было на умё-настоящее, весьма неприглядное. Непріятель приближался своими осадными работами: предстояли новыя битвы и кровопролитія; всё были увёрены, что, несмотря на перемъну правленія, до мира еще далеко. Газеть мы тогда почти не читали; онв приходили Богь знаеть вогда, да и читать было некогда.

25 лътъ прошло съ тъхъ поръ. Многое великое совершилось, много хорошаго. Многое перемънилось въ лучшему; но нобилей омраченъ новымъ Севастополемъ, также доморощеннымъ и также не безъ внъшняго вліянія, тревожащимъ Россію. Уже давно появившаяся въ цивилизованномъ міръ бользнь, именуемая мірскою печалью или болью, "Weltschmerz", развилась и у насъ. Но наши мірскіе печальники, еще ръшительнъе западныхъ, не задумались прибъгнуть тотчасъ же къ самымъ печальнымъ мърамъ для излеченія своей бользни; но объ этомъ поговорю послъ.

На другой или на третій день посл'є призыва въ присят'є новому государю, я пошелъ зачёмъ-то въ нашему госпитальному аптекарю въ Севастопол'є, и встр'єтилъ его на дорог'є возвращающимся съ почты съ какимъ-то ящикомъ. Я полюбопытствовалъ узнать и зашелъ въ аптеку; при раскрытіи посылки оказалось, что это была атомистическая аптечка лейбъ-медика Мандта, предназначавшаяся для всёхъ военныхъ госпиталей и, по высочайшему повел'єнію, разосланная по всей Россіи; этою аптекою, а сл'єдовательно и атомистическимъ способомъ леченія д-ра Мандта, должны были, по вол'є покойнаго государя (Николая I), зам'єниться прежнія аптеки и прежніе способы леченія въ военныхъ госпиталяхъ.

Какъ только ящикъ былъ открытъ, нашъ аптекарь, тертый нѣмецъ, посмотрѣвъ на содержимое, прехладнокровно помоталъ головою и, закрывъ ящикъ, сказалъ: "опоздалъ". Только потомъ я понялъ, въ чемъ дѣло. Приказъ отъ военно-медицинскаго вѣдомства объ этомъ нововведеніи былъ, вѣроятно, уже извѣстенъ аптекарю, и онъ, получивъ эту курьёзную посылку прежняго режима уже при новомъ, тотчасъ же сообразилъ, какая ей предстоитъ будущность.

20-21 февраля 1880.

Продолжается ясная погода съ небольшимъ марецомъ SW; на солнц $0^0 + 5 R$; ночью морозцы въ $2^0 - 4^0 R$.

Да гдѣ же моя автобіографія? Но вѣдь я ее пипу для себя, и потому мнѣ всего важнѣе уяснить себѣ самому, что такое я, и потомъ уже прослѣдить, насколько и какимъ образомъ фактическая жизнь способствовала сдѣлать изъ меня то, что я теперь, то-есть какими путями пришелъ я къ моему теперешнему (1880 г.) міровоззрѣнію и къ моимъ теперешнимъ религіознымъ и нравственнымъ убѣжденіямъ. Поэтому мнѣ необходимо сначала уяснить самому себѣ, какъ я смотрю на окружающій меня міръ, какимъ я кажусь себѣ, за кого я самъ себя считаю, во что я вѣрю, въ чемъ сомнѣваюсь, что

люблю и что ненавижу. Все мое прошедшее, все пережитое мною для меня интересно, однако-же, настолько, сколько оно можеть разъяснить мнв весь процессъ развитія моего міровоззрвнія, моихъ религіозныхъ уб'єжденій и всего моего правственнаго быта. Но чтобы добиться этого результата въ исторіи моей жизни, я долженъ не только припомнить себ'є все давнопрошедшее время, а еще и стараться быть на каждомъ шагу откровеннымъ съ собою. И то, и другое не такъ легко.

Я вель когда-то, 18-летнимъ юношею, некоторое время (около года) дневникъ. У жены сохранилось изъ него нъсколько листковъ. Но изъ него я немногое могъ бы извлечь для моей цели. Я узналъ бы, напримеръ, что въ ту пору я не думалъ прожить долее 30 леть, а потомъ, -- говориль я тогда въ дневникъ, — въ 18 лътъ (и при томъ вовсе не рисуясь)! — "пора костямъ и на мъсто". Изъ этого я могу заключить только, это, впрочемъ, я и безъ дневника ясно помню, - что неръдко въ тв поры я бываль въ мрачномъ настроеніи духа. Память давно-пропедшаго, какъ извъстно, у стариковъ хороша, а у меня она хорошо сохранилась и о недавно-прошедшемъ. Поэтому въ моей исторіи прошедшаго я не найду большого препятствія въ раскрытію процесса броженія и переворотовъ, совершившихся въ теченіе жизни въ моемъ нравственномъ и умственномъ быть. Но труднье будеть для меня рынить, насволько я могу быть вполнъ откровеннымъ съ собою. Это не такъ легко, какъ кажется. Есть случаи въ жизни, главные и скрытые мотивы которыхъ невозможно иначе объяснить, какъ при полной откровенности съ самимъ собою; а между темъ именно въ такихъ случаяхъ ниваюь не ръшинь, дъйствительно ли ты откровененъ съ собою, или нътъ. Есть мотивы, до того глубово сидящіе въ тайникахъ нашего я, что ихъ никакъ не вытащинь на поверхность души, сколько бы этого ни желаль; вивсто нихъ появляются другіе, на видъ болве приглядные; но, хватаясь и выставляя ихъ, чувствуень, что тамъ гдё-то, въ глубинъ, сидитъ, упершись и пританвшись, другой мотивъ, неясный и, главное, нимало не похожій на всплывшій. И это делается совсемь не въ техъ случаяхъ, где благоразуміе и осторожность не дозволяють быть отвровеннымъ съ другими. Нътъ, я утверждаю, что несравненно труднъе откровенность съ самимъ собою, —можеть быть, потому, что она обывновенно требуется не ежедневно, не въ дюжинныхъ обстоятельствахъ, а въ болъе или менъе критическихъ и серьезныхъ. Случается и то, что дъйствительно не можешь ръшить, что было причиною того или другого совершоннаго тобою поступка, и еще труднъе—почему ты тогда, при этомъ поступкъ, такъ, а не иначе думалъ. Самый анализъ и разбирательство дъйствій своего собственняго я требують много опытности и упражненія. Едва-ли тотъ, кто много упражнялся въ анализъ поступковъ, чувствъ и мыслей другого, пріобрътаетъ этимъ же самымъ упражненіемъ и способность анализировать безупречно себя самого.

Вообще для меня остается еще отерытымъ вопрось—нормально ли анализировать себя? Человъвъ, что называется, цъльный, кажется, живетъ, мыслитъ, дъйствуетъ безъ разбирательства своего я. Онъ тавъ устроенъ и самъ тавъ устроился, что его мысли и дъйствія, по его собственному убъжденію, должны быть именно тъми, какими они есть, а не иными. Психическій процессъ въ такомъ человъвъ можно сравнить съ заведеннымъ, однажды на все время его существованія, часовымъ механизмомъ. Маятникъ ходитъ ровно, мърно и правильно. Раскрывать и разсматривать этотъ механизмъ нътъ никабой надобности. Самоъдство же — другого свойства. Это продуктъ едва-ли не патологическій, хотя на немъ и основано глубокомысленное правило мудрецовъ о познаніи (конечно, посредствомъ наблюденія и изученія) самого себя, —извъстное: "гноти сеавтонъ".

Руководясь этимъ правиломъ, нужно проститься съ дорогою цёльностью дупи; расщепленіе и двойственность дѣлаются неизбѣжны; борьба наблюдаемаго и наблюдающаго началъ неизбѣжна, когда наше я дѣлается въ одно и то же время субъектомъ и объектомъ. Вотъ и я упрекаю себя въ этой двойственности, хотя она играла, можетъ быть, немаловажную роль въ моемъ самовоспитаніи и самообладаніи; безъ этой двойственности, то-есть безъ наблюденія и анализа самого себя, я былъ бы, можетъ быть, гораздо хуже, чѣмъ какимъ я считаю себя въ настоящее время. Но большею помѣхою была она иногда для моей практической дѣятельности и способствовала къ развитію духа противорѣчія и оппозиціи. Этоть оппозиціонный

духъ проявлялся такъ же сильно въ анализъмнъній и дъйствій моихъ собственныхъ, какъ и постороннихъ.

Я съ давнихъ поръ не могу ни на что смотръть и ни въ чемъ убъждаться съ одной стороны; непроизвольно, при каждомъ новомъ для меня предметв, я тотчасъ же заглядываю на него со стороны противоположной той, съ которой смотрю. Не даромъ я косилъ однимъ глазомъ (лъвымъ) съ рожденія. Эта разносторонность во взглядъ на предметъ, приносящая свою долю пользы, вредна дъйствію, лишая его мъткости, быстроты и сосредоточенности. Я это испыталъ, къ сожальнію, не разъ въ жизни; зато она предохраняла меня отъ вредныхъ увлеченій, выставляя мнъ тотчасъ же на видъ худую сторону того, что меня манило къ увлеченію. Несомнънную пользу доставила мнъ разносторонность въ хроническихъ случаяхъ, когда было довольно времени для начала дъйствія взвъсить и оцънить обсуждаемый предметь съ противоположныхъ точекъ зрънія.

Странно и непонятно свойство делиться нашего я. Впрочемъ не знаю навърное - дъйствительно ли наше личное я, или что другое въ насъ имъетъ это странное свойство. Знаю только по опыту, что различное настроеніе (веселое, тоскливое) у меня весьма ръдко овладъвало вполнъ мною; почти всегда было такъ, что какъ будто одно мое я веселится, а другое въ то же время тоскуеть и разбираеть (анализируеть) причину веселья перваго. Въ порывахъ же страсти и увлеченія все зависьло отъ ихъ степени; увлекающееся я быстро представляло свои мотивы; другое, удерживающее, такъ же быстро приводило свои, и увлечение одолъвало и приводило въ дъйствіе только когда его мотивы представлялись какому-то еще третьему я более основательными и более сильными. Для психолога все это, конечно, вздоръ. Я у каждой особи одно-цъльное и нераздъльное. Ощущеніе: какъ будто во мив действують два или несколько противоположных в есть какая-то иллюзія. Съ той поры, когда мы начинаемъ себя помнить, и до конца дней, всё мы отчетливо сознаемъ свое цёльное и единичное я, какъ бы мы въ теченіе жизни ни изм'внялись въ характерь, привычкахъ, образъ жизни, и проч. Мы чувствуемъ перемъны съ собою, но въ то же время сознаемъ, что эти перемъны не сдълали насъ не нами.

22-27 февраля 1880.

Температура мѣнялась эти дни отъ -5 до $+6^{\circ}$ R. 22-го—25-го мороза почти не было; разъ пошелъ снѣгъ съ мятелью, но скоро пересталъ. 25-го—26-го сильный марецъ NNW и температура понизилась отъ 0° до -5° R. Было ясно и солнечно. Сегодня вѣтеръ NW тише и днемъ $+2-3^{\circ}$ R. Ночью было 0° . Нсно. Все время возимъ навозъ; десять слишкомъ морговъ уже унавожено. Пшеницу, проданную по $1^{1/2}$ рубля за пудъ, увозять, но по-малу.

Да, наше я цъльно, нераздъльно и тождественно въ теченіе всей нашей жизни. Только умалишенные, и то не всь, въроятно, не сознають тождества настоящаго своего я съ прежнимъ. Откуда же иллюзія, представляющая намъ, что мы можемъ въ одно и то же время чувствовать и мыслить не только различно, но и противоположно, противодъйствуя однимъ чув ствомъ другому и изгоняя одну мысль другою?

Во-первыхъ, мы обманываемся во времени; между однимъ ощущениемъ и другимъ, одною мыслью и другою всегда есть промежутокъ времени между этими актами, какъ бы коротокъ ни былъ и какъ бы ничтожнымъ намъ ни казался.

Во-вторыхъ, иллюзія зависить оть того, что наше я способно въ одно и то же время прикасаться, такъ сказать, къ нъсколькимъ органамъ, имъющимъ различныя функціи, да и само оно, наше я, какъ бы соткано изъ различныхъ ощущеній.

Что же оно такое, это пресловутое я? Личное мъстоименіе? Или также одна иллюзія?—Я полагаю нужно сдълать различіе между двумя видами я. Одинъ его видъ есть не болъе какъ ощущеніе личнаго бытія, свойственное каждой животной особи. Въ другомъ видъ, вмъстъ съ этимъ ощущеніемъ, существуеть еще и болье или менье ясное понятіе о немъ, т.-е. о своей личности. Воть это-то сознательное пониманіе присущаго намъ ощущенія бытія, т.-е. своей личности, и есть наше человъческое я, выражаемое словомъ—мъстоименіемъ личнымъ: у взрослыхъ—въ первомъ, у дътей—въ третьемъ лицъ. И животныя выражають звуками ощущеніе своего бытія; но у нихъ оно выражается всегда вмъсть съ какимъ-либо позывомъ, чувствомъ удовольствія или боли.

Наше я, въ его отношеніяхъ къ разнымъ психическимъ способностямъ, можно сравнить съ музыкантомъ, играющимъ въ одно и то же время на нескольких инструментахъ; прикасаясь къ нимъ посредствомъ разныхъ телодвиженій, онъ ум'веть разыгрывать мелодическіе концерты. Такъ и наше я, сотканное изъ различнъйшихъ ощущеній, обладаеть способностью легко прикасаться, въ одно и то же время, къ элементамъ разныхъ частей мозга и возбуждать психическія функціи, приводя діятельность этихъ органовъ въ униссонъ, а иногда и причиняя нестернимую для самого себя и для другихъ какофонію. Какъ бы ни были ловализированы различныя психическія функціи по разнымъ частямъ мозга, ощущение и понимание бытия, т.-е. наше я, не можеть быть ловализированнымъ. Чтобы разыграть, не нарушая законовъ гармоніи, какую-либо мысленную тэму, оно должно воснуться въ одно и то же время и органическихъ элементовь, сохраняющихъ на себъ отпечатки вившнихъ впечатльній (т.-е. памяти), и мозговых визвилинь, служащих органомъ слова, и не найденныхъ еще локализаторами органовъ фантазіи и разсудка. Это необходимо потому, что мы не можемъ мыслить и разсуждать, не приводя въ то же время въ дъйствіе нашу память, наше соображеніе и воображеніе. Этою способностію нашего я приводить одновременно или поперемънно, съ самыми краткими промежутками, не нарушая своей цълости (не раздъляясь), разные органы ощущеній и различныя психическія способности, объясняю я себъ и кажущуюся намъ его двойственность, такъ хорошо выраженную въ одномъ посланін апостола Павла. Не только между желаніемъ (волею) и действіемъ, --- какъ замечаеть апостоль, --- но и между первоначальными зародышами нашихъ мыслей, чувствъ, желаній, не трудно подметить у себя противоречие и двойственность.

Еще недавно, на дняхъ, я былъ въ худомъ настроеніи духа (послѣ сильнаго припадка кишечнаго катарра), и, злясь, не переставалъ, однако-же, наблюдать, что въ то же время, какъ злоба и неудовольствіе на нѣкоторыхъ особъ подступали у меня къ сердцу, въ зародышѣ мысли уже заключалось ихъ извиненіе; я былъ готовъ одновременно и ругать, и извинять ихъ, съ упрекомъ себѣ въ несправедливости. Не значило ли это, что мое я проникало въ омутъ грязныхъ ощущеній, приноси-

мыхъ разстроеннымъ органомъ (вишечнымъ каналомъ) въ мое воображеніе, но не такъ глубоко, чтобы потонуть въ немъ, оставивъ память (съ нѣвоторыми пріятными воспоминаніями) и разсудокъ въ полномъ бездѣйствіи.

Что такое наше я безъ ощущеній (оно, какъ я сказаль, изъ нихъ сотвано)—ignoro et ignorato. Мы, врачи и натуралисты, посвятившіе себя съ раннихъ леть фактическимь изствдованіямъ живыхъ и мертвыхъ организмовъ и органовъ. тавъ привываемъ въ находящейся безпрестанно предъ нами и въ нашихъ рукахъ, связанной съ органическими элементами жизни, что невольно смотримъ на нее вавъ на следствіе, а не какъ на причину. Уколомъ одного пункта въ продолговатомъ мозгу мы мгновенно превращаемъ самую полную силъ и здоровья жизнь. Можно ли же осуждать насъ, если мы заключаемъ, что жизнь, подобно часовому механизму, останавливается съ повреждениемъ пружины? Не естественно ли заключение, что наша жизнь есть не более какъ регулированное органическимъ механизмомъ движеніе? Ключъ къ этому механизму-въ томъ пунктъ продолговатаго мозга, который потому и долженъ называться жизненнымъ узломъ-nœud vital. Съ выходомъ нашимъ на свъть, онъ заводить машину; первое проявление механивиа есть дыхательное движеніе. Если мы не желаемъ назвать вившинить міромъ для человеческого зародыща заключавшую его девять мъсяцевъ матку, то первое сообщение его съ внёшнимъ міромъ состоить въ движеніи грудного ящика. Что же можеть быть после этого для нась наше я безь ощущеній и безъ связи съ приносящими и принимающими ощущенія органами? Развъ посвятившимъ себя изученію органической природы не довазывають тщательныя изследованія, что въ органическомъ мір'є д'єйствують т'є же самые силы и законы, какъ и въ неорганическомъ, и не въ правъ ли мы заключить изъ этого, что все, что мы наблюдаемь въ животномъ организмѣ. относится также, какъ и въ неорганическихъ телахъ, къ свойствамъ и функціямъ вещественныхъ элементовъ, составляющихъ его части и органы?

29-го февраля—1-го марта (1880 г.).

Послъ оттепели, мънявшейся съ ночными небольшими морозами, вдругъ при новолуніи (28-го февраля) начинается студеный NW, и вчера (29-го) температура понижается до—7° R. съ ужасною мятелью (это быль урагань, шедшій, по газетнымъ известіямъ, съ востова и свирепствовавшій въ степныхъ восточныхъ губерніяхъ), а сегодня хотя и ясно, но морозъ въ 10° R. при сильномъ холодномъ NW. Слава Богу, что поля наши съ посввами еще покрыты снегомъ; но куда девается этоть сибгь? Настоящихъ оттепелей еще не было; ни разу не текли съ горъ потоки, температура не возвыпалась ни разу болье $+6^{\circ}$ R., и то только днемъ, а сивгъ, что называется, изнываеть видимо; уже местами на дорогахъ и на зяблё (вспаханная съ осени стырня) его вовсе нёть; земля подъ нимъ отмерзаетъ только по временамъ, и то не болъе, какъ на 2"; следовательно, глубоко проникать въ землю тающій снъть не можеть; большихъ лужъ и ручьевъ не видно; испараться снъть при ясной солнечной, но прохладной погодъ едва ли могь сильно; онь быль рыхль и при мальйшей оттепели проваливался; въроятно, онъ теперь силюснулся и слой его оплотивлъ.

Интересно и для любопытства, и для кармана, что будеть нынѣшнею весною со всходами озими? Соки въ деревьяхъ еще незамѣтно чтобы тронулись, и потому еще можно надъяться, что поздній морозъ не повредить имъ много.

Да, научному эмпирику, при индуктивномъ методѣ изслѣдованія, трудно избѣгнуть иллюзіи, представляющей ему невозможнымъ существованіе сознательной мыслящей жизни внѣ организма и безъ возбуждающихъ ощущенія органовъ. А между тѣмъ эта иллюзія основана хотя на привлекательномъ и, повидимому, безспорномъ, но поверхностномъ и одностороннемъ взглядѣ на индивидуальныя проявленія жизни.

Живущее въ насъ, ощущающее и понимающее ощущение, начало не можетъ быть само органомъ, то-есть объектомъ; оно, по существу своему, не можетъ быть субъектомъ, — то-есть существомъ отдъльнымъ отъ органа, конечно, не въ смыслъ грубо-вещественномъ— и, конечно, не имъетъ извъстныхъ намъ

и подверженныхъ нашимъ чувствамъ свойствъ существъ органическихъ. Оно, тесно связанное съ органическими элементами, -- безъ чего чувственныя его проявленія были бы для насъ невозможны, -- съ разрушеніемъ этой связи перестаеть быть объектомъ, то-есть предметомъ чувственнаго изследованія. Но удастся ли кому-либо представить себ' возможность ощущенія: понимать ясно ощущаемое (то-есть мыслить), не сознавая въ то же время себя самого, то-есть не бывъ субъектомъ (для себя). Нарушая или превращая связь этого субъективнаго, ощущающаго и сознающаго себя начала съ органическими элементами, мы уничтожаемъ только объективно-индивидуальное проявление его, а слъдовательно и жизни, но не самое жизненное начало. Насколько же это начало и после разрыва органической связи можеть еще сохранять свой индивидуализмъ, -- свой индивидуальный, такъ сказать, обликъ, -- это другой, не менъе, по своему содержанію, глубокій вопросъ. О немъ потомъ приведу мое личное воззрѣніе.

Въ современной наукъ установилось, однако-же, возгръніе, противоръчащее, повидимому, тому, что ощущение и мышленіе должны быть всегда сознательны. Действительно, нельзя не принять, судя по многимъ фактамъ, въ известныхъ случаяхъ безсознательныхъ ощущеній и размышленій. Уловить существенное различіе между этими видами ощущеній и мыслей и сознательными не всегда возможно. Воть факты. Върно, организмъ зародыша ощущаеть безсознательно: большая часть рефлексовъ основаны на безсознательномъ ощущении, переносимомъ на двигательные нервы. Внутренніе органы, безъ сомевнія, передають оть себя разнаго рода ощущенія; но они безсознательны и обнаруживаются обыкновенно одними рефлексами. Впечатленія, приносимыя намъ чувствами, и особливо зрвніемъ, изъ внёшняго міра, производять въ насъ правильныя представленія о предметахъ не иначе, какъ съ помощью безсознательнаго мышленія, пріобретаемаго опытомъ. Многія движенія тыла совершаются также безсознательно. Но во всыхы этихъ явленіяхъ подъ именемъ безсознательнаго ощущенія и мышленія нужно понимать, во-первыхъ, одну лишь органическую воспріничивость или способность тканей къ возбужденію:

ее, можеть быть, приличные было бы назвать ощутительностью. безъ которой ткань не могла бы ни возбуждаться стимуломъ, ни передавать его центрамъ для возбужденія рефлекса; во-вторыхъ, цёлый рядъ органическихъ ощущеній (идущихъ отъ внутреннихъ органовъ), хотя и не сознается нами ясно и отчетливо, какъ сознаются внёшнія впечатлёнія, приносимыя чувствами, но все-таки действують на сознание восвенно, возбуждая то фантавію, то позывы, то проявленія страстей и другія неопределенныя напоминанія о себе; поэтому вполне безсознательными нельзя назвать эти ощущенія: въ-третьихъ, наконецъ, многія и вполив сознательныя ощущенія иногда такъ кратковременны, что тотчасъ же исчезають изъ круга нашей сознательной двятельности и не удерживаются памятью; а иногда, при вниманіи одностороннемъ и сосредоточенномъ на одномъ предметь, или вовсе не замьчаются, или только по временамъ доходять до нашего сознанія; напримёрь, позывъ на мочу и на низъ, при усиленныхъ умственныхъ и другихъ занятіяхъ, долго не сознается или же сознается только временно, несмотря на растяжение пузыря и прямой вишки.

Что же васается до безсознательнаго мышленія, безъ котораго нельзя бы было объяснить многія явленія въ функціяхъ нашихъ чувствъ, напримъръ, опънку разстояній глазомъ, правильное представление о предметь, видимомъ съ разныхъ сторонъ двумя глазами, перспективу, и т. п., то и туть, во многихъ случаяхъ, кажущаяся намъ безсознательность есть только следствіе привычки и опыта; что было въ начале жизни узнано нами постепенно сознательнымъ опытомъ, то впоследствін, сдёлавшись намъ извёстнымъ и привычнымъ, кажется безсознательнымъ, и мы пользуемся потомъ плодами этого знанія, не сознавая, что обладаемъ имъ посредствомъ долгаго опыта. Нъть ничего мудренаго, если при этомъ сужденіе, сдълавшееся для насъ обычнымъ и вседневнымъ, потомъ не принимается нами вовсе за сужденіе и кажется чёмъ-то очевиднымъ, нагляднымъ, не требующимъ ни малейшаго проявленія мысли. Дважды два-четыре нами не считается уже обыкновенно за сужденіе; это важется намъ тавъ же очевиднымъ, какъ стоящій передъ нами столь или стуль, правильное представленіе о которомъ требовало отъ насъ нъкогда также изученія, какъ

и дважды два-четыре. Сверхъ этого, надо знать, что мысли, какъ и ощущенія, вполнъ сознательныя, остаются иногда тавими весьма недолго: иногда проблески мыслей въ нашемъ сознаніи до того вратки, что ихъ, безъ преувеличенія, можно сравнить съ блескомъ молнін; но, несмотря на свою быстротечность, многія изъ нихъ, хотя и незам'вченныя, остаются въ памяти, побуждая насъ къ действіямъ; въ такомъ случав, и мотивирующія ихъ мысли могуть вазаться намь безсознательными. Иногда же вниманіе, погруженное въ занятіе какимълибо предметомъ, вовсе не замъчаеть ни совершающихся дъйствій, ни руководящихъ ими мыслей, хотя бы и тв, и другія и не были вовсе безсознательными. Вообще, для точнаго рашенія вопроса о сознательности и безсознательности нашихъ ощущеній, мыслей и сужденій необходимо умініе превращать свое субъективное я въ объектъ постояннаго и непрерывнаго наблюденія этого же самаго субъекта имъ же самимъ.

Но такая напраженная и односторонняя деятельность нашего вниманія надъ тімь, что есть сознательнаго и безсознательнаго въ насъ, очевидно ненормальна, такъ что и результаты такого наблюденія не могуть считаться ни достов'єрными, ни удобными для контроля. Разсказывають, что Ior. Мюллеръ едва не сошель съ ума отъ усиленнаго наблюденія надъ собою: онъ хотель уловить у себя моменть перехода оть бдёнія во сну, то-есть поймать у себя переходъ сознанія въ безсознательность. Мы не можемъ выйти изъ заколдованнаго круга, при всвур наших усиліях определить точне наше субъективное индивидуальное бытіе. Въ общихъ чертахъ оно тождественно для всего человъчества, имъеть многія общія черты и съ субъективизмомъ другихъ животныхъ. Но это сходство проявляется объективно только тремя путями: голосомъ (звукомъ), словомъ (членораздъльными звуками) и движеніемъ (прямымъ и рефлективнымъ). Всъ наши опыты и наблюденія надъ проявленіемъ субъективнаго индивидуальнаго бытія человіка и животныхъ не имъють другихъ критеріевъ. Но если всь они, несмотря на пріобретенныя, посредствомъ ихъ, вескія знанія, ненадежны, сомнительны, двурёчивы, то еще менёе прочны тв наши сведенія, которыя мы пріобреди чисто субъективными наблюденіями.

1-3 марта (1880 г.).

Все время холодный NW; морозь въ 4 — 5° . Сегодня (3 марта) теплъе и тише (— 1°).

Сегодня случайно услыхаль объ одной человъческой низости, свойственной исключительно халуйству. Максимъ, съ дътства почти оставленный отцомъ-солдатомъ въ дворовыхъ, обязанный намъ своимъ, относительно порядочнымъ, состояніемъ (тысячи въ двѣ), купившій на деньги, пріобрѣтенныя у насъ, домъ и землю, оказался такимъ злымъ и коварнымъ, что, лаская въ моемъ присутствіи моего кота Мошку и зная, что я его люблю, бьетъ его на-пропалую за глазами только за то, что ему, коту, а не ему, Максиму, достаются кости отъ жаркого за объдомъ

Притворство съ жестокостью и зависть къ животному, — вотъ до чего низводить человъка халуйство, и безъ всякаго глубокаго мотива! Притворство безъ нужды! Я не терплю ласкательствъ—это онъ, Максимъ, знаетъ: жестокость страсти — холодная, насмъшливая и безцъльная. Зависть безъ причины; онъ сытъ и отъ своего, и отъ нашего стола; да и къ кому же зависть—къ кошкъ! Низко до тошноты и тъмъ тошнъе, что въ такихъ проявленіяхъ видишь униженіе общаго встыть намъ человъческаго достоинства, о которомъ такъ много говорится и для поддержанія котораго такъ мало дълается.

Не въ правѣ ли же я былъ заключать изъ сказаннаго, что въ отношеніи нашей субъективной индивидуальности мы, дѣйствительно, стоимъ въ заколдованномъ кругу. Съ одной стороны, объективные критеріи для ея разслѣдованія (голосъ, слово, движеніе) ненадежны, неясны и двусмысленны; а съ другой стороны, субъективные ненормальны до того, что, употребляя наше сознаніе и мысль для изслѣдованія сознанія же и мысли, мы рискуемъ потерять и то, и другое. Въ самомъ дѣлѣ, кто поручится за ясность и нормальность мышленія у наблюдателя, направляющаго безпрерывно все вниманіе и мышленіе на то, напримѣръ, чтобы прослѣдить начало и прохожденіе мысли въ сознаніи; кто поручится, что подмѣченное совершилось въ наблюдаемомъ, а не въ наблюдающемъ? А кто поручится также за правильное пониманіе нами субъективныхъ

явленій, обнаруживающихся такими объективными признаками, какъ звуки, издаваемые животнымъ при ощущеніи боли, движенія, называемыя рефлексами, и объясненія разнаго рода ощущеній словами?

Если и при такомъ наблюденіи самого себя въ нормальномъ состояніи трудно и иногда невозможно отличить безсознательное ощущение отъ сознательнаго, то при объективныхъ изследованіяхъ (какъ, напримеръ, при вивисекціяхъ и опытахъ надъ анестэзированными хлороформомъ) еще гораздо труднъе различить сознательное отъ безсознательнаго. При вивисевціяхъ и при наблюденіяхъ надъ челов'якомъ больнымъ или приведеннымъ различными агенціями въ ненормальное состояніе, субъективный элементь жизни подвергается оть разстройства его нормальной связи съ органическими элементами такимъ колебаніямъ и сотрясеніямъ, которыя не могуть не вліять ненормально и на его объективныя проявленія. Поэтому сужденія о натуръ и особенностяхъ субъективно-индивидуальнаго бытія, основанныя на опытахъ и наблюденіяхъ надъ животными и больными людьми, должно дёлать врайне осмотрительно и не сь тою легкостью, которая такъ удивляеть меня въ результатахъ, получаемыхъ современными вивисекторами и наблюдателями. Еще гораздо труднъе, ненормальнъе и сомнительнъе дъло, когда мы беремся судить о нашемъ я, другими словами о нашемъ лично сознательномъ ощущени бытія, мысли и вообще о присутствіи въ насъ субъективнаго начала со всеми его (психическими) свойствами. Въ этомъ случав, --если правильно мое сравненіе нашего я съ музыкантомъ, играющимъ одновременно на нъсколькихъ инструментахъ, -- оно, наше я, начинаеть играть, не бывъ виртуозомъ, на одномъ изъ нихъ исключительно и делаеть, конечно, fiasco. Наше субъективное существо, по натуръ своей, не можеть и не должно быть одностороннимъ и чрезмърно сосредоточеннымъ; ни одна изъ нашихъ субъевтивныхъ способностей не должна быть излишне культивирована на счеть другой, и особливо въ томъ случав, когда отъ природы развита у насъ одна способность на счетъ другой; туть-то именно всего болье должно избывать односторонней культуры. Въ противномъ случай, намъ предстоить одно изъ двухъ: или мы изумимъ свътъ нашимъ глубокомысліемъ и

геніальностью, или превратимся въ одностороннихъ, узкихъ и близорукихъ мономановъ. Первое встръчается весьма ръдко; второе—весьма часто и гораздо чаще, чъмъ это признаютъ психіатры. Есть, впрочемъ, еще одинъ исходъ — спеціализмъ, въ наше время завоевывающій себъ все болье и болье почвы во всъхъ областяхъ знанія. Но тъ изъ спеціалистовъ, которые отличились своими истинными заслугами, вовсе не были односторонними культиваторами одной какой-либо изъ своихъ умственныхъ способностей, прежде чъмъ избрали свою спеціальность. Только этому разностороннему предварительному развитію своихъ способностей они и обязаны успъхомъ въ культуръ избраннаго ими предмета; только этимъ способомъ они, распиривъ свой кругозоръ, съумъли найти новые пути и посмотръть на дъло новымъ взглядомъ.

4-го марта (1880 г.).

Морозъ 7^0 ночью, днемъ 1^0 . Марецъ WN.

Сегодня отправиль письмо въ Ниволаю Христіановичу Б.... въ отвётъ на его письмо, въ которомъ онъ писалъ, что идетъ въ отставку, такъ какъ по новому университетскому уставу, ожидаемому вскорѐ, ректорамъ нечего будетъ дёлать, кромъ полученія прибавки жалованья.

Мой ответь, — не буквальный. Я читаль где-то и когда-то, что новое на свъть есть не что нное, какъ хорошо забытое старое. Я читаль также вы какомъ-то кіевскомъ календаръ, что у насъ ежегодно бывають возвраты зимы весною и лётомъ, а возвраты болезней мив известны давно по опыту. Нъть ничего мудренаго, что и въ университетской жизни встръчаются возвраты въ старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще незабытое старое, а возвраты зимъ и болезней встречаются не только въ природъ, но и въ университетскомъ міръ. Старики, какъ известно, всегда хвалять старину и предпочитають ее новизне. Только всё наши университетскіе старожилы, за исключеніемъ гт. Каткова, Любимова и Георгіевскаго, вірно, не вспоминають добромъ незабытаго еще стараго. Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя внимание новаторовъ, стремящихся возобновить старое. Почему это не сделано — объясняется именно тёмъ вліяніємъ этихъ исключительныхъ личностей, усибвшихъ поб'єдить въ себ'є предразсудокъ противъ отжившаго. Это не должно удивлять насъ...

Возвраты зимы весною и лѣтомъ наносять вредъ земледѣльцамъ; возвраты болѣзней опасны для больныхъ; съ стихійными, однаво-же, силами ничего не подѣлаешь; зато умъ, данный намъ Богомъ для цѣлесообразныхъ дѣйствій, казалось бы, долженъ быль не на шутку и не разъ призадуматься, придавая возврату худого и худо-забытаго стараго значеніе благодѣтельной новизны. Въ такомъ случаѣ вамъ, конечно, ничего не остается, какъ уступить свое мѣсто (ректорство) другимъ и предоставить имъ вливать это новое вино въ такого же рода новые мѣхи.

5-6 марта (1880 г.).

Мятель и мятель. Вчера (5-го) до $+2^{0}$ R., а сегодня ночью (на 6-е) морозъ въ 20^{0} ; ясно, солнечно, тихо.

Вчера (5-го) фельдшеръ Уримъ дълалъ при мит судебное всирытіе — кота Мошки. Мой любимецъ прекратилъ въ мукахъ свое кратковременное существованіе. Подозрѣніе въ побояхъ, какъ причинт смерти, падало, по словамъ дѣвочки Терезы, на коварнаго Максима. Онъ вошелъ въ амбицію и уже, по своей ограниченности, сейчасъ же заговорилъ объ отставит, безъ сомитнія, для него вовсе не желательной. Надо было убъдиться, нтътъ ли вещественныхъ признаковъ травматизма на трупъ. Вскрытіе не обнаружило ни малтитихъ слъдовъ не только травматизма, но и вообще какого ни на есть органическаго измъненія, за исключеніемъ небольшихъ розовыхъ патенъ на слизистой (оболочит) желудка. Къ микроскопу, впрочемъ, для болтье точныхъ доказательствъ, мы не прибъгали.

Итакъ, мой Мошка, какъ подобаетъ каждому върноподданному, "божьею волею помре", сиръчь, неизвъстно почему, для чего и отъ чего.

Бъдное мое животное, ты въ нашемъ домашнемъ уединеніи доставляло намъ неръдко удовольствіе то своими прыжками и кувырваніемъ, то степеннымъ своимъ и задумчивымъ видомъ, сидя возлѣ насъ на столъ, то разлегшись во всю длину и погрузясь въ самый спокойный сонъ праведныхъ. А какъ была короша твоя поза, когда ты, съ сосредоточеннымъ вниманіемъ, сидълъ на порогъ двери у подпольной щелки и караулилъ мышонка! Какъ нъжна, шелковиста, тепла и пріятна на ощупь гладившей руки была твоя тигристая шкурка! Дай же запишу отъ скуки на память, за доставленныя намъ твоимъ существованіемъ забаву и разсъяніе, исторію твоей жизни, бользии и смерти, мой бъдный Мошка!

Однажды на садовомъ балконъ въ нашему завтраку явилась невзрачная, малорослая и худощавая сврая съ черными полосками вошка и, къ моему удивленію, тотчасъ же начала брать пищу изъ рукъ; вскоръ осмълилась она и вскочить на мои колени. Визиты ея продолжались ежедневно въ объденное время, и затёмъ она исчезала, по всёмъ вёроятіямъ, на близь лежащемъ току. Чрезъ несколько времени она начала являться уже въ сопровожденіи цілыхъ шести котять, всіхъ почти одной масти. Сначала она оставляла ихъ въ отдаленіи отъ балкона, а потомъ, мало-по-малу, всв шестеро, не безъ страха и трепета, однаво-же, начали вскакивать и на балконъ; брали куски мяса, положенные вдали отъ стола, потомъ стали съ каждымъ днемъ подходить ближе и смеле; но только одному или, върнъе, одной изъ шести достало, наконецъ, смълости прибливиться въ намъ настолько, чтобы брать пищу прямо изъ рукъ; а еще одинъ изъ котятъ, хотя и приближался также, какъ эта, но никогда не рыпался брать кусокъ ртомъ, а вырываль его изъ рукъ съ артистическою ловкостью своею маленькою лапою; всё остальные не могли преодолёть своей боязни, а можетъ быть и своего отвращенія въ нашему человъческому достоинству; въроятно, въ наказаніе за это судьба лишила ихъ чести быть намъ сподручными, развлекать насъ и беречь нашу провизію оть мышей. Поэтому дальнівним судьба этихъ пятерыхъ существъ мив осталась неизвестною, -- одного изъ нихъ, кажется, нашли загрызеннымъ собаками.

И воть, въ теченіе какихъ-нибудь 5 — 6 м'єсяцевъ, статистика смертности коппекъ обогатилась новыми пятью смертями; изъ этого, правда, весьма недостаточнаго, статистическаго

матеріала я заключаю, что цифра смертности малолётнихъ кошекъ разв'в немногимъ чёмъ ниже смертности крестьянскихъ дётей, даже и въ тё періоды времени, когда они свободны отъ дифтерита. Какъ бы то ни было, но достов'єрно то, что къ концу зимы 1878 и къ началу 1879 г. осталось въ живыхъ изъ 7 кошачъихъ личностей (одной матери и шести д'єтенышей) только одна, именно та ласковая, заблаговременно преодол'євшая свое отвращеніе къ осязанію нашей руки, а зат'ємъ и научившаяся съ похвальною ловкостью прыгать на кол'єни, пріятно мурлыкать, выгибать спину и довольно непринужденно ласкаться.

Слъдствіемъ этой заслуживающей уваженія дъятельности было торжественное наименованіе ея Машкою, такъ какъ эта личность оказалась женскаго рода; а вмъстъ съ этимъ наименованіемъ и матеріальная поддержка ласковаго ея организма питательною пищею, теплымъ помъщеніемъ въ сутэренъ и нъкоторыя другія льготы и дусёры. Эта-то особа и была родительницею моего любимца.

Исторія его рожденія не безъинтересна въ следующихъ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, родительница его, несмотря на данныя ей нами великодушно всв права и преимущества домашняго животнаго, не вполнъ, какъ видно, покинула обычаи своей покойной матери (бабушки моего любимца, также называвшейся Машкою, хотя и не вполнъ сочувствовавшей этому названію), и потому, почувствовавъ себя на-сносяхъ, въ концъ февраля 1879 г., начала удаляться отъ дома, искать уединенія, не соответствовавшаго ся общительной натуре, и затемъ произвела на светь, где-то подъ клунею въ саду, несколько существъ, число которыхъ я статистически опредълить не въ состояніи, такъ какъ, за исключеніемъ одного, они всъ сдёлались, въ самомъ нёжномъ возрасте, жертвою сильнаго ливня и бурц, свиръпствовавшей у насъ въ маъ 1879 г.; одного же, оставшагося едва въ живыхъ, злополучная мать перенесла въ зубахъ изъ сада въ нашъ суторенъ.

Малютка этоть возбуждаль общее сочувствие драматизмомь своей судьбы; когда же я услышаль, что легкомысленная мать перестала его кормить вскорт после его переселения въ сутрень, то сочувствие мое перешло въ глубокое сострадание къ

участи несчастнаго, и я задумаль сдѣлать его наслѣдникомъ злополучнаго Васьки, нашего прежняго любимца, преждевременно погибшаго, два года тому назадъ, въ бурную ночь, зимою, отъ зубовъ ненавистныхъ ему собакъ.

Когда врошечное животное, предоставленное вътренною матерью, обретавшеюся съ новымъ избранникомъ дюбви где-то въ бъгахъ, было принесено во мнъ, то оно, нисколько не стесняясь и не пугаясь, какъ это делали его покойные дяди и тетви, тотчась же залезло во мие въ шировій рукавъ пальто и пробралось почти до самаго плеча; затемъ, несмотря на свой ранній возрасть, начало съ аппетитомъ и безъ разбора кушать все, что ему предлагалось, съ видимымъ наслажденіемъ гръться на солнцъ, заигрывать лапочвами, словомъ — вести себя такъ наивно и непринужденно, какъ будто бы оно уже давно было домашнимъ членомъ нашего общества. Видя это и считая мать его безъ въсти пропавшею, мы поръшили сдълать малютку законною ея наследницею и передать ей то же самое высовое женское имя, такъ компрометтированное и незаслуженно носившееся ея заблудшеюся матерью. Такимъ образомъ и росло это милое животное подъ именемъ Машки, сдёлавшись вскор'в нашею общею любимицею; оно было необычайно живого и подвижного характера; съ ранняго утра цёлые часы проводило въ беганьи, прыганьи и вувырваньи съ пробкою, бумажкою, веревочною, кисточкою, —со всёмъ, что только ей попадалось въ лапки; аппетить имала превосходный и, несмотря на преждевременную отвычку отъ материнскаго молока, вырастала на мясной пищъ не по днямъ, а по часамъ. Лътомъ, поутру ежедневно я забавлялся съ моей Машкою, сидя на балконъ; у меня въ рукъ лежалъ конецъ шнурка, привязаннаго въ комку бумаги и продетаго чрезъ ручку двернаго ' ключа; бумага отъ дерганія шнурка поднималась и опускалась, а Машва свакала, прыгала, ловила бумажный вомовъ, и вогда удавалось ей поймать, то съ какимъ-то неистовствомъ и остервенвніемъ теребила его зубами и лапами, катаясь по полу и царапаясь изо всёхъ силь объ захваченную бумагу задними лапами.

Надо признаться, что Машка не получила никакого воспитанія и росла у насъ какъ дитя природы. Не знаю, быль ли

для насъ всёхъ поль этой милой крошки совершенно безразличенъ, или же всв мы были не довольно любовнательны, но то-факть, что только чрезъ два мёсяца мы, къ нашему удивленію и-не сврою-даже радости, узнали оть нашего женсваго персонала, почему-то интересовавшагося этимъ предметомъ, истину относительно настоящаго пола нашего любимца. Онъ овазался не вошвою, а вотомъ. Что было делать? Не оставлять же коту женское прозвище? А между темъ онъ уже привыкъ въ нему и тотчасъ же являлся • на зовъ, когда кликали: Машка, Машка. Вотъ я и придумаль-прости, Господи, кое согръщениепеременить имя Машка на соввучное ему-Мошку, темъ болье, что нашь подраставшій котикь своею юркостью и сивтливостью им'влъ невоторое, хотя и отдаленное, сходство со знакомыми мит жидками, носящими отъ рожденія это же самое великое имя пророка Мойше, беседовавшаго съ Ісговою, но, къ стыду нашему, искаженное и превращенное старинными польскими помещивами въ презрительную кличку-Мошка.

Итакъ, судьба моего Мошки, дъйствительно, драматична, если возьмемъ въ соображеніе, что онъ, чудесно спасенный отъ пагубнаго ливня, въ самомъ раннемъ младенчествъ былъ перенесенъ въ среду людей, былъ оставленъ жестокою матерью на произволъ судьбы и, наконецъ, бывъ отъ роду котомъ, опибочно признавался долгое время за кошку и носилъ незаслуженно женское имя. Навърное на роду ему было написано не наслаждаться пъльною и нормальною кошачьею жизнью.

Едва мой Мошка быль всёми признань безспорно за кота и началь этимъ возбуждать къ себё еще болёе мое сочувствіе, какъ, откуда ни возьмись, явилась внезапно его заблудшая мать въ сопровожденіи своего временнаго супруга, бывшаго прежде ея роднымъ братомъ, и начала сближаться съ брошеннымъ ею предательски сыномъ. Мошка съ перваго же появленія своей матери началь какъ-то странно на нее посматривать, не дичился, однако-же, и не ссорился, а чрезъ нёсколько времени, къ нашему удивленію, принялся сосать ее съ такою ревностью, какъ будто бы онъ никогда не переставаль кормиться материнскимъ молокомъ. Между тёмъ аппетить его и къ мясной прежней пищё нисколько не ослабеваль; такимъ образомъ онъ питался за двухъ, быстро росъ, толстёль, игралъ

теперь уже не одинъ, а вдвоемъ съ Машкою, дълая изумительныя и самыя забавныя тёлодвиженія, выгибая горбомъ спину до-нельзя, обхватывая крвпво во время игры передними дапами шею матери, а задними отталкивая ее отъ себя съ неистовою яростью. Несмотря однако-же на казавшееся цвътущимъ здоровье и силу, несмотря и на веселое расположеніе духа, у моего несчастнаго Мошки незамьтно развилась вакая-то странная бользнь, наблюдавшаяся мною и у щенять. Это спазмодическое удушье, появлявшееся періодически, внезапно, безъ всякой видимой причины, во время сповойствія и сна. Животное, после веселой игры, спокойно спавшее на кольняхъ или на кровати, вдругъ принималось съ хриномъ втягивать въ себя воздухъ, поднимая голову кверху и неподвижно устремивь взоръ. Нароксизмъ этой астмы продолжался нъсколько секундъ, но быль неръдко такъ жестокъ, что грозилъ внезапнымъ задушеніемъ. По окончаніи, животное опять укладывалось спокойно, какъ будто ни въ чемъ не бывало. Наружныхъ признавовъ никакихъ не замъчалось; иногда, однакоже, подчелюстныя железы казались намъ нъсколько припукшими. Въ промежутев пароксизмовъ ничто не указывало на разстроенное здоровье.

Наступиль и февраль 1880 года. Какъ известно, это месяцъ любви для кошекъ, и мой Мошка, по необыкновенному стеченію обстоятельствъ, еще такъ недавно сосавшій грудь Машки, началь оказывать ей нъкоторые знаки привазанности, вовсе не детской. Онъ замгрываль съ нею вовсе не по прежнему, и вскоръ началъ въ отсутствіи ея грустить, меланхолически маукать и проситься внизъ въ сутэренные подвалы, обитаемые Машкой и другими кошками. Иногда исчезалъ мой Мошка уже и по цёлымъ днямъ, являлся къ намъ на верхъ усталый и голодный и, съ жадностью повыь, ложился спать, проводя время во сив до самаго вечера, т.-е. до времени самаго удобнаго вавъ для людскихъ, такъ и для кошачьихъ rendez-vous. Но подвальныя кошки, по свидетельству нашей почтенной Лорхенъ (домоправительницы), ежедневно посъщавшей сутарены, почему-то не любили его; наружность его, немало представительная и чрезвычайно красивая на нашъ взглядъ, казалось бы, не могла не нравиться и прекрасному полу ко-

шачьяго племени; съ большей віроятностію можно предположить, что спазмодическая астма была причиною его неудачь въ любовныхъ поискахъ; не трудно, въ самомъ дълъ, себъ представить ужась и негодование вытренных кокотокъ кошачьей расы, когда кокодесь, ухаживающій за ними, внезапно н въ самомъ разгаръ волокитства, терялъ духъ, вытягиваль шею, странно хрипълъ и еле-еле жилъ: какъ ни коротки были эти пароксизмы удушья, но они не могли не дать повода къ бъгству устрашенныхъ вътренницъ, не отличающихся особеннымъ присутствіемъ духа. Несмотря на всё описанныя перемвны въ образв жизни и въ нравственномъ бытв моего Мошки, я, основываясь на опыть, зная, вакъ молодость, въ особенности кошачья, легко увлекается, какъ первое появление половыхъ отправленій переворачиваеть все въ организм' вверхъ дномъ, не очень заботился о последствіяхъ. Весна, располагающая всъхъ ил любви, а кошачью шкуру еще и къ линянію, по справедливости можетъ считаться самымъ критическимъ и въроломнымъ временемъ года, и я съ нетерпъніемъ ожидалъ ея окончанія. Но въ книгъ судебъ върно значилось, что Мошка не переживеть и первой половины весны. Онь опасно захворалъ, но не прежнею своею болъзнью-спазмодическимъ удушіемъ, а повидимому новою - рвотою, - и чрезъ двое сутовъ его не стало на свътъ.

И воть, во время его опасной болёзни, распространились между моими домашними зловеще слухи о нанесенныхъ будтобы ему побояхъ на заднемъ крыльце Максимомъ, яко-бы завидовавшимъ, что не ему, Максиму, достаются отъ обеда кости жаренаго рябчика и некоторые друге объеденные деликатесы. Мы поверили этимъ слухамъ, зная по многимъ наблюденіямъ вероломство Максима и его жестокое обращеніе съ животными въ наше отсутствіе. Поэтому вскрытіе трупа Мошки было для меня интересно не только въ научномъ, но и въ нравственносудебномъ отношеніяхъ. Несмотря, однако-же, на все желаніе открыть истинную причину быстротечной болезни и смерти моего любимца, наука не обогатилась после его вскрытія никакимъ новымъ пріобретеніемъ; только одинъ Максимъ пріобреть снова доверіе и нравственно выигралъ; сильные побои, стучаніе Мошкиною головою д-земь, какъ утверждала до-

носчица, овазались во всявомъ случав влеветою; ни малыйшихъ признавовъ травматическаго поврежденія, и—уви! также точно и ни малыйшихъ микроскопическихъ признавовъ болывненнаго состоянія. Остается все сложить на нервную систему и обвинить верхній гортанный нервь и весь блуждающій нервъ Мошки въ причиненіи ему насилія, гораздо болые пагубнаго, чытъ травматизмъ, переносимый кошками, какъ извыстно, весьма хорошо. А почему же именно эти нервы? Потому что, по наблюденію ныкоторыхъ современныхъ физіологовъ, раздраженія верхняго гортаннаго нерва могуть останавливать или задерживать дыхательный акть, а главный стволь этой гортанной вытви — блуждающій нервь — влінеть и на отправленіе желудка.

Итакъ мой милый Мошка погибъ — въроятно вслъдствіе ненормальнаго питанія мясною вареною пищею вмъстъ съ материнскимъ молокомъ, — отъ разстройства нервной системы, усиленнаго еще abusu in venere и нравственнымъ униженіемъ, причиненнымъ его кошачьему достоинству легкомысленными насмъшками прекраснаго пола.

Но какая бы ни была причина смерти этого невиннаго существа, и родившагося, и умершаго, повидимому, -- но только повидимому, -- безцівльно и безпричинно, потеря была для меня сь женою не безразлична. Жена плавала; мив же только взгрустнулось, и даже менъе, чъмъ когда я — три года тому назадъ-лишился моей собачонки Ляды; про нее, про ея выразительные, какъ-то человечески глядевшіе на меня глазки (съ незакрытыми бълками); я и теперь еще вспоминаю со вздохомъ, -- и признаться ли самому себъ-съ грустью, болъе щемящею, чёмъ когда вспоминаю о некоторыхъ знакомыхъ, близкихъ мнъ, умершихъ людяхъ. Это святотатство, это уродство чувствъ, это постыдное чувство для человеческого достоинства!-Пусть такъ; но что же дълать, если въ привязанности Лядки во мив я не находиль ни малейшаго лицемерства, ни віроломства, а и то, и другое встріналь въ отношеніяхь во мнъ самыхъ близвихъ людей.

Надо обдумать нъсколько—отчего мы такъ привязываемся къ животнымъ? Но прежде, чъмъ найду время въ этому обдумыванію, замъчу, что между 6-мъ и 13-мъ марта (1880 г.) произошло нъсколько неожиданныхъ событій.

Во-первыхъ, неожиданно то, что температура и погода idem per idem до ужаса однообразна. Морозы по ночамъ до 10° ; въ теченіе дня до -7 и -5° ; раза два шелъ снътъ съ мятелью; вътеръ тотъ же холодный, пронзительный NW; но солнце гръетъ днемъ такъ, что мъховой воротникъ нагръвается какъ будто на печи. Такой дружной, суровой и продолжительной зимы здъсь я еще не встръчалъ. Однажды, въ 1868 г., лежалъ снътъ также долго (до 20-го марта), но не было такого холода и вътра. Вода отъ морозовъ въ прудъ сбыла; и на мельницъ въ Людвиговкъ дъйствуетъ одно колесо. Снътъ между тъмъ понемногу и нечувствительно продолжаетъ исчезать, несмотря на снъжныя мятели. Что-то будетъ съ всходами озими, съ деревьями въ саду? Да кто знаетъ—чего не знаетъ! Живи, не зная, терпи и все таки по-неволъ думай и гадай о будущемъ!

Во-вторыхъ, 9-го марта я получилъ 16 поздравительныхъ телеграммъ. Съ чего-то взяли въ Москвъ (исключительно), Казани, Кіевъ, Воронежъ и Вюрцбургъ, что 9-го марта—день моего 50-лътняго юбилея. Я, благодаря нижайше, замътилъ въ отвътной телеграммъ въ Москву, что въроятно поводомъ къ этимъ неожиданнымъ привътствіямъ послужило то, что я въ 1828 г. получилъ въ Москвъ степень лекаря (но въ такомъ случать желающіе должны бы были поздравлять два года тому назадъ). Служба же моя считается съ 1831 года, а докторскій дипломъ мнѣ данъ въ Дерптъ 30-го ноября 1832 г.

Вчера и сегодня, марта 20-го—21-го, NW прекратился. Небольшой, но прохладный вѣтеръ съ SW; днемъ +2 до 3^{0} R., а ночью отъ 0 до -3^{0} .

Да, откуда же привызанность и даже чуть ли не любовь къ животнымъ? Къ какимъ животнымъ привызывается человъкъ исключительно? Къ собакъ, кошкъ, лошади и пъвчимъ птицамъ. Изъ нихъ—къ лошади привызанность не чистосердечная, а связанная съ пользою, приносимою этимъ животнымъ, и его

значительною ценностью; говорять, что арабъ любить коня какъ друга, но и эта дружба, върно, не безкорыстная: конь необходимъ для существованія кочевника и далается ero alter едо. Пожалуй, про некоторыя собачьи расы (сибирскія, лягавыя, овчарки, гончія) можно сказать то же: ихъ держать и къ нимъ привязываются люди изъ разсчета, да и привязанность къ кошкв началась, ввроятно, съ того же: какъ было не воспользоваться ихъ спеціальностью — искусствомъ ловить мышей? Но въдь люди и женятся большею частью по разсчету, напримерь, изъдвадцати милліоновъ нашихъ врестьянъ верно 19.999,000 женятся для того, чтобы имёть въ дом' бабу для печи, хлівва, ребять; этоть способь женитьбы не препятствуеть, однако-же, а прямо способствуеть, въ большинствъ случаевь, развитію привязанности и даже любви. И такъ же, какъ между людьми существуеть и привязанность чистосердечная, такъ и въ привязанности къ животнымъ, -- всего чаще къ собакамъ, кошкамъ и пъвчимъ птицамъ, особливо воспитаннымъ и вскормленнымъ съ самаго рожденія дома, --замівчается искренняя сердечность, похожая на ту, которую человыкь оказываеть дівтямъ. Безъ сомивнія, она зависить, какъ и привязанность въ детямъ, отчасти отъ чувства своего собственняго превосходства, снисходительности и жалости къ существамъ слабъйшимъ и менъе развитымъ; но, конечно, это не одно.

Въ чувствъ нашей привязанности къ животнымъ, я полагаю, играетъ важную роль представленіе, которое мы имъемъ о животномъ. Въ этомъ представленіи есть нъчто странное. Я гдъ-то читалъ, что Гегель признавалъ въ безмолвіи животныхъ нъчто мистическое. Я вполнъ раздъляю этотъ взглядъ философа. Всякій изъ насъ не можетъ не видъть въ животномъ сходства съ собою, и вмъстъ съ тъмъ не можетъ ясно понять причину огромнаго различія, лежащаго пропастью между нами и животными. Организаціи животныхъ, тавже какъ и нашей, предписано высшимъ начальствомъ чувствовать, а стъдовательно наслаждаться и страдать; суждено также и бороться съ стихійными силами, а по ученію Дарвина—даже и совершенствоваться; измъняясь и переходя изъ низшихъ формъ и типовъ въ высшіе. И, несмотря на это, тождество основныхъ и самыхъ существенныхъ свойствъ животной и нашей организа-

ціи, — все-таки пропасть. Ни животное меня не понимаеть, ни я—животнаго, то-есть его субъективную сторону не могу вполн'в понять, и по-невол'в сужу о ней только по себ'в (то-есть по своей субъективности). Гегель правъ: существо, д'в'йствующее во многихъ отношеніяхъ совершенно сходно со мною, обнаруживающее ясно чувства, страсти и даже мысль, н'ємо; оно смотритъ на меня, ласкаеть, зоветь, ищеть меня, просить у меня пищи, и все молча; невольно представляется—незнакомымъ съ функціею Рейлеваго островка и даже съ его присутствіемъ или отсутствіемъ въ мозг'в животныхъ, — невольно, говорю, думается такимъ особамъ, что туть что-то неладно, что животное в'єрно скрытничаеть, содержить оть насъ въ тайн'в свои мысли, короче — поступаетъ какъ н'ємой карликъ въ волшебныхъ сказкахъ...

Воть и Благов'вщеніе, 25-е марта (1880 г.), а весны н'вть, какъ н'вть; туманъ, в'втеръ не очень сильный, но перескакивающій съ юга то на востокъ, то на западъ, а тепла не приносить. Ночью все 0° и -3° . Днемъ оть +5 до $+6^{\circ}$.

22-го декабря 1880.

Я убъдился, что не могу вести дневника; вотъ прошло полгода и болъе, какъ я ничего не могъ или не хотълъ вписывать въ мой дневникъ. Теперь начну писать не по днямъ, а когда попало; остается еще много, много невысказаннаго—и успъю ли еще, доживу ли, чтобы это многое записать? Читать что записано не стану, а на чемъ остановился при наступленіи весны—хорошо не помню. Кажется, на жизнеописаніи моихъ кошекъ и собакъ и разсужденіи о томъ, почему привязываемся къ животнымъ.

Воть и теперь я было рёшился не заводить снова возлё себя ни кошки, ни собаки, а между тёмъ какой-то жидокъ принесъ весною щенка, не то лягаваго, не то левретку, и мы, я и жена, снова привязались; это, вёроятно, оттого, что нётъ въ домё маленькихъ внучать, и вмёсто внучки — Мимишка, сучка, и спить, и ёсть, и гуляетъ съ нами, — и странно, что у меня пронала боязнь; я прежде страшно возставаль противъ

этой привязанности къ маленькимъ собачонкамъ, знаи изъ практики о многихъ случаяхъ водобоязни отъ укупенія именно маленькими собачками; теперь еще живо помню, какъ однажды, лътъ 30 тому назадъ, при посъщеніи Обуховской больницы въ С.-Петербургъ, д-ръ Мейеръ мнъ показывалъ больного, одержимаго, по его мнънію, такъ называемою произвольною водобоязнью (hidrophobia spontanea); подошедъ къ этому больному, сидъвшему спокойно на кровати, я какъ-то инстинктивно указалъ пальцемъ на едва замътный у него значокъ на лбу, и вдругъ вижу, что бъднякъ страшно поблъднълъ, скорчился, зарыдалъ и тутъ-же признался, что нъсколько недъль тому пазадъ его оцарапала на лбу маленькая собачка, съ которою онъ игралъ. Вскоръ припадки водобоязни усилились, и онъ умеръ.

Странно, говорю, что теперь у меня прошла эта боязнь маленькихъ собакъ. А основаніемъ привязанности къ домашнимъ животнымъ, я думаю, служить замеченная l'ereлeмъ мистичность животнаго. Когда видишь передъ собою живое существо, дъйствующее во многихъ отношеніяхъ подобно намъ, обнаруживающее не только чувства наслажденія или досады и боли, а между тёмъ безсловесное какъ будто потому только, что скрываеть свои чувства и мысль, -- то певольно подозръваешь въ немъ присутствие нашего (s), какъ будто мистифицированнаго; но особливо глаза: глаза домашнихъ и плотоядныхъ и травоядныхъ-мистичны; они говорять безъ словъ; у моей Лядки виднались даже былки между выкь и придавали глазамъ какое-то человъческое выраженіе, - это, я полагаю, ръдкость, — и скрытые въками бълки обыкновенно считаются характернымъ признакомъ животныхъ глазъ, отличающимъ ихъ отъ человъческихъ.

Я читалъ въ одномъ альманахѣ сравненіе—съ утилитарной, остетической и нравственной сторонъ—между лошадью и собакою: и ту, и другую считають лучшими, и можно, пожалуй, сказать—единственными друзьями человѣка; но авторъ статьи, нѣмецъ, отдавалъ преимущество лошади и укорялъ собаку въ низости и лакействѣ; она слишкомъ ласкова, ползаетъ, унижается предъ сильнымъ. Въ этомъ есть доля правды; когда маленькая собачка встрѣтится съ большою, злою, она тотчасъ

же пассуеть, ложится на спину и складываеть лапки, а передъ домашнею маленькою собачонкою, пользующеюся фаворомъ господъ, я видълъ не разъ, какъ увивались и ползали большія собаки, принадлежавінія тъмъ же господамъ. Но все-таки лошадь можеть быть развъ въ аравійскихъ степяхъ такимъ върнымъ другомъ своего господина, какъ собака; и ласки, и привязанность собачьи не у всъхъ собакъ унизительны; глаза выражаютъ ясно, чего желаетъ собака: зоветъ ли гулять, чуеть ли чужака, — все, все въ ней намекаеть на что-то, какъ будто взятое у человъка.

Леть 30 тому назадъ, я все, что говорю теперь, счелъ бы пустою фразеологіею; и я считаль всякую жалость къ страданіямъ собаки при вивисевціяхъ, и еще болье привязанность къ животному, одною нельпою сантиментальностью. Но время все измъняеть, и я, нъкогда безъ всякаго страданія къ мукамъ (хлорофома тогда еще не знали) дълавшій ежедневно десятки вивисекцій, теперь не рышился бы и съ хлороформомъ рызать собаку изъ научнаго любопытства; теперь мнъ сдълалось очень выроятнымъ, чему я прежде не хотыль вырить, — что Галлеръ въ старости хандрилъ и приписываль свою хандру множеству сдъланныхъ имъ вивисекцій; если не ошибаюсь, это разсказываеть Циммерманъ въ своей книгъ "Ueber die Einsamkeit".

Особливо тяжело мнѣ вспоминать о тѣхъ вивисекціяхъ и операціяхъ, въ которыхъ я, по незнанію, неопытности, легкомыслію, или Богъ знаетъ почему, заставлялъ животныхъ мучиться понапрасну. Да, самая ѣдкая хандра естъ та, которая наводитъ воспоминанія о насиліяхъ, нанесенныхъ нѣкогда чужому или собственному чувству. Какъ бы равнодушно мы ни насиловали чувство другого, никогда не можемъ бытъ увѣрены, чтобы это насиліе не отразилось рано или поздно на нашемъ собственномъ чувствѣ. Когда моя Лядка околѣвала въ страданіяхъ, устремивъ на меня свои глазенки, стоная, и, несмотря на муки, выражала мнѣ привѣтъ легкими движеніями хвоста, — во мнѣ, съ жалостью къ любимой собачонкѣ, пробудились воспоминанія о мученьяхъ, причиненныхъ мною лѣтъ 30 и 40 тому назадъ цѣлымъ сотнямъ подобныхъ Лядкѣ животныхъ, и мнѣ стало невыносимо тяжело на душѣ.

Еще тажелъе бываетъ миъ, когда находить на меня воспоминаніе объ оперированномъ, также лътъ 40 тому назадъ, старикъ; только однажды въ моей практикъ я такъ грубо ошибси при изслъдованіи больного, что, сдълавъ литотомію, не нашелъ камня. Это случилось именно у робкаго, богобоязненнаго старика; раздосадованный на свою оплошность, я былъ такъ неделикатенъ, что измученнаго больного нъсколько разъ послалъ къ чорту.

— "Какъ это вы Бога не боитесь",—произнесь онъ томнымъ, умоляющимъ голосомъ,— "и призываете нечистаго, злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страданія!"

Какой урокъ въ этихъ словахъ страдальца! — я ихъ какъ будто и теперь еще слышу.

Да, и мий приходится, вспоминая прошедшее, неридо относиться охая къ жизни и повторять слышанное однажды восклицание стараго капитана, страдавшаго непроходимою стриктурою и свищами мочевого канала; измученный тщетными позывами на мочу, трясясь и всхлипывая, онъ съ разстановкою выкрикиваль:

— "Охъ, охъ, ты жизнь-матушка!"

3-го января 1881.

Но, наконецъ, пора уяснить себъ и другія міровоззрѣнія. Прошло уже полгода съ тѣхъ поръ, какъ я выясниль себъ только одну изъ нихъ. Это было прошлою зимою, а лѣтомъ я не могу писать. Лѣто старику приносить такое наслажденіе, что и не думаешь вникать въ себя; зеленыя поля, цвѣтущія розы, листва, все—въ свободное отъ практическихъ и мелочныхъ занятій время—тянеть къ себъ, наружу, и не пускаеть сосредоточиваться въ себъ. Ребенкомъ я слыхалъ, что мой дѣдушка Иванъ Михеичъ зимою тосковалъ и жаловался дѣтямъ: "отъ-дѣтки, вѣрно Михеичу ужъ зеленой травы не топтать", но какъ только наступала весна, 100-лѣтній старикъ снова оживлялся и цѣлые дни топталь зеленую траву.

Но я хочу не только уяснить себ' со вс' сторонъ мое міровоззр'вніе, — мн' в хочется изъ архива моей памяти вытащить

всь документы для исторіи развитія монхъ убъжденій: какъ они, послъ разныхъ метаморфовъ, сложились и сдълались настоящими. Мнв кажется, что теперь, въ настоящее время, разныя стороны моего міровоззрінія сділались гораздо отчетливъе и яснъе для меня, чъмъ это было прежде. Можеть быть это иллюзія, миражъ, но почему же прежде, какъ ни казался я себъ убъжденнымъ въ томъ или другомъ воззръніи, я все-таки не быль увъренъ, что останусь навсегда ири немъ? теперь же, напротивъ, я вполећ увъренъ, что воззрвнія мои на жизнь и міръ останутся такими, какъ есть, до последняго вздоха. Я думаю, что, переживъ разные фазисы моего міровоззрінія, я, наконецъ, убъдился, что не доживу ни до какого новаго ихъ метаморфова. И эта увъренность чрезвычайно усповоительна; чувствуешь что-то прочное въ себъ: измъняйся, сколько хочешь, окружающее меня, я не измѣнюсь! А что если и это миражъ? то-есть, если и самая твердая увъренность-иллюзія? Если окружающее сильнъе ея?

Но можеть ли быть, чтобы иллюзія, возбудившая такую твердую увъренность, какъ мою, не была сильнъе окружающаго? Это противоръчило бы историческимъ фактамъ, доказывающимъ противное. Мало ли что мы считаемъ теперь въ исторіи цълыхъ покольній за галлюцинацію, фанатизмъ и т. п., а между тыть подъ вліяніемъ этихъ иллюзій народы жили цълые выка, проливали за нихъ потоки крови и умирали съ ними. Такъ пусть будетъ и съ моею иллюзіею, если она для другихъ кажется такою, а для меня останется твердымъ и не-измъннымъ убъжденіемъ до конца жизни.

Начну ав очо.

Мнъ сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что самъ не номню. Не помню и того, когда началъ себя помнить; но помию, что долго еще вспоминалъ или грезилъ какую-то огромную звъзду, чрезвычайно свътлую. Что это такое было? Дътская ли галлюцинація, слъдствіе слышанныхъ въ ребячествъ длинныхъ разсказовъ о кометъ 1812-го года, или оставшееся въ мозгу впечатлъне дъйствительно видънной мною

въ то время, двухлътнимъ ребенкомъ, кометы 1812-го года, во время нашего бъгства изъ Москвы во Владиміръ, — не знаю.

Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потомъ все болье и болье толствыней и очень свытлой; она представлялась не то во сны, не то вы просонкахы и была чымъ-то тревожнымъ, заставлявшимъ бояться и плакать: что-то подобное я слыхаль потомъ и о грезахъ другихъ дытей. Но воспоминания моего 6-ти—8-ми-лытняго дытства уже гораздо живые.

Мой родительскій домъ, сторѣвшій во время нашествія французовъ въ Москву, потомъ снова выстроенный, стоялъ въ приходѣ Троицы въ Сыромятникахъ. О времени моихъ воспоминаній, то-есть о возрастѣ, къ которому относятся первыя мои воспоминанія, я сужу изъ того, что живо помню еще и теперь бѣличье одѣяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, безъ которой я не могъ заснуть, бѣлыя розы, приносившіяся моей нянькою изъ сосѣдняго сада Ярцевой и при моемъ пробужденіи стоявшія уже въ стаканѣ воды возлѣ моей кровати; мнѣ было тогда навѣрное не болѣе 7-ми лѣтъ; по крайней мѣрѣ года 4 отдѣляютъ эти воспоминанія отъ другихъ, уже совершенно ясныхъ, относящихся къ моему десятилѣтнему возрасту.

О смерти Наполеона я помню уже весьма отчетливо тогдашніе разсказы.

Каррикатуры на французовъ, выходившія въ 1815—1817 годахъ, расходившіяся тогда по всёмъ домамъ, я какъ теперь вижу.

Я знаю оть моихъ родителей—я научился русской грамотъ почти самоучкою, когда миъ было 6 лътъ, и я хорошо помню, что учился именно по каррикатурамъ, изданнымъ въ видъ картъ въ алфавитномъ порядкъ. Первая буква А представляла глухого мужика и бъгущихъ отъ него въ крайнемъ безпорядкъ французскихъ солдатъ съ подписью:

Ась, право глухъ, Мусье, что мучить старика, Коль надобно чего, спросите казака.

Буква Б. Наполеонъ, скачущій въ саняхъ съ Даву и Понятовскимъ на запяткахъ, съ надписью:

Бъда, гони скоръй съ грабителемъ московскимъ. Чтобъ въ съти не цопасть съ Даву и Понятовскимъ.

В. Французскіе солдаты раздирають на части пойманную ворону, и одинь изъ нихъ, изнуренный голодомъ, держить лапку, а другой, валяясь на землъ, лижеть изъ пустого котла. Надпись:

Ворона какъ вкусна, нельзя ли ножку дать, А миб изъ котлика коть жижи подизать,

Можеть быть, я живо помню эти карты и потому, что ихъ вид'ълъ потомъ, когда мн 1 было бол 1 е 6-ти л 1 втъ; но то, что помню почти исключительно три первыя A, B, B — показываетъ, что на память мою он 1 в под 1 в было 6 л 1 втъ. Правда, я помню и еще одну изъ этихъ картъ съ буквою H и подписью:

*Щ*астье за Галломъ, уставъ бресть пѣшкомъ, Рѣшилось въ станъ русскій скакать съ казакомъ.

Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умъя себъ объяснить, почему какой-то французъ въ мундиръ, увозимый въ каретъ казакомъ и при томъ желающій выпрыгнуть изъ кареты, именуется "щастьемъ"? Какое же это счастье для насъ? думалось мнъ.

Это ученье грамоть по варрикатурнымъ картинкамъ врядъ ли одобрится педагогами. И въ самомъ дѣлѣ, эти первыя каррикатурныя впечатлѣнія развили во мнѣ склонность къ насмѣшкѣ и свойство подмѣчать въ людяхъ скорѣе смѣшную и худую сторону, чѣмъ хорошую. Зато эти каррикатуры надъкичливымъ, грознымъ и побъжденнымъ Наполеономъ, вмѣстѣ съ другими изображеніями его бѣгства и нашихъ побѣдъ, развили во мнѣ рано любовь къ славѣ моего отечества. Въ дѣтахъ, какъ я вижу, это первый и самый удобный путь къ развитію настоящей любви къ отечеству.

Такъ было, по крайней мъръ, у меня, и я отъ 17-ти до 30-ти лътъ, окруженный чуждою миъ народностью въ Дерптъ, среди которой жилъ, учился и училъ, не потерялъ однако-же нисколько привязанности и любви къ отчизнъ, а потерять въ ту пору было легко: жилось въ отчизнъ не очень весело и не такъ привольно, какъ хотълось жить въ 20 лътъ. Не ро-

дись я въ эпоху русской славы и искреннято народнаго патріотизма, какою были годы моего дётства, едва-ли бы изъ меня не вышелъ космополитъ; я такъ думаю потому, что у меня очень рано развилась, вмёстё съ глубокимъ сочувствіемъ къ родинъ, какая-то непреодолимая брезгливость къ національному хвастовству, ухарству и шовинизму.

Начиная съ десяти лътъ моей жизни, я уже помню отчетливо. И дътство мое до 13-ти—14-ти лътъ оставило по себъ самыя пріятныя восноминанія.

Отецъ мой служилъ казначеемъ въ московскомъ провіантскомъ депо; я какъ теперь вижу его одітымъ, въ торжественные дни, въ мундиръ съ золотыми петлицами на воротникі и общлагахъ, въ білыхъ штанахъ, большихъ ботфортахъ съ длинными шпорами; онъ иміть уже маіорскій чинъ, былъ, какъ я слыхалъ, отличный счетоводъ, іздилъ въ собственномъ экипажії и любилъ, какъ всі москвичи, гостепріимство. У отца было насъ четырнадцать человікъ дітей,—шутка сказать!—и изъ четырнадцати, во время моего дітства, оставалось на-лицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. "Малъ бітъ въ братіи моей и юнітій въ доміт отца моего". И изъ насъ шестерыхъ умеръ еще одинъ, не достигнувъ пятнадцати-літняго возраста,—мой старшій брать Амосъ.

Кто хочеть заняться исторією развитія своего міровоззрѣнія, тоть долженъ воспоминаніями изъ своего дѣтства разрѣшить нѣсколько весьма трудныхъ для разрѣшенія вопросовъ.

Во-первыхъ, какъ ему вообще жилось въ то время? Потомъ, какія преимущественно впечатлънія оставили глубокіе слъды въ его памяти? Какія занятія и какія забавы нравились ему всего болъе? Какимъ наказаніямъ онъ подвергался, часто ли, и какія наказанія всего сильнъе на него дъйствовали? Какіе разсказы, книги, поступки старшихъ и происшествія его интересовали и волновали? Что болъе завлекало его вниманіе: окружающая его природа или общество людей?

Въ старости всъ эти воспоминанія дълаются ясите; старикъ вспоминаетъ давно прошедшее: дълало ли на него такое впечатлъніе, какимъ онъ его представляетъ себъ теперь?

Роясь въ архивъ своей памяти на старости лъть, насъ поражаеть, прежде всего, необъяснимое тождество и цъльность нашего я. Мы ясно ощущаемъ, что мы уже не тъ, чъмъ мы были въ дътствъ, и въ то же время мы не менъе ясно ощущаемъ, что наше я осталось въ насъ или при насъ съ того самаго момента, какъ мы начали себя помнить, до сегодня, и знаемъ навърное, что оно же останется и до послъдняго вздоха, если только не умремъ въ безпамятствъ или въ домъ умалишенныхъ.

Странно, удивительно странно это ощущение тождества нашего и въ разныхъ, едва похожихъ одинъ на другой, портретахъ, съ разными противоположными чувствами, убъжденіями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да въдь я-это одно личное мъстоименіе, - откуда же ему взяться у ребенка, напримъръ, не знающаго грамматики, или у безграмотнаго взрослаго? Смешно, не правда ли, нонсенсъ, абсурдъ? Самоощущение бытия, -- и какъ такое, оно должно неминуемо въ насъ быть отъ колыбели до могилы, а какъ и чъмъ оно о себъ даеть знать себъ же самому и другимъ — личнымъ ли мъстоименіемъ, или другимъ какимъ условнымъ знакомъ, это ни на іоту не перем'вняеть сущности діла. Ребячье я даеть о себъ знать и другимъ въ третьемъ лицъ личнаго мъстоименія, поставляя себя, віроятно, вні себя, а глухо-нівмой отъ рожденія, віроятно, имбеть для себя другой какой условный знакъ или ноту.

Дътство, какъ я сказалъ, оставило у меня, до тринадцатилътняго возраста, одни пріятныя впечатльнія. Уже, конечно, не можетъ быть, чтобы я до тринадцати лътъ ничего другого не чувствоваль, кромъ пріятностей жизни,—не плакалъ, не болълъ; но отчего же непріятное исчезло изъ памяти, а осталось одно только общее пріятное воспоминаніе? Положимъ, старикамъ всегда прошедшее кажется лучшимъ, чъмъ настоящее. Но не всъ же вспоминають отрадно о своемъ дътствъ, какъ бы жизнь въ этомъ возрасть ни была для нихъ плохою. Нътъ, вспоминая обстановку и другія условія, при которыхъ проходила жизнь въ моемъ дътствъ, я полагаю, что дъйствительно ея наслажденія затмили въ моей памяти всѣ другія мимолетныя непріятности.

Родители любили насъ горячо; отецъ былъ отличный семьянинъ; я страстно любилъ мою мать, и теперь еще помню, какъ я, любуясь ея темнокраснымъ, цвъта массака, платьемъ, ея чепцомъ и двумя локонами, висъвшими изъ-подъ чепца, считалъ ее красавицею, съ жаромъ цъловалъ ея тонкія руки, вязавшія для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мнъ также съ большою любовью; старшій братъ былъ на службъ, средній, тремя — четырьмя годами старше меня, жилъ со мною дружно.

Средства въ жизни были болье, чъмъ достаточны; отецъ, сверхъ порядочнаго по тому времени жалованъя, занимался еще веденіемъ частныхъ дълъ, бывъ, какъ кажется, хорошимъ законовъдомъ. Вновь выстроенный домъ нашъ у Троицы, въ Сыромятникахъ, былъ просторный и веселый, съ небольшимъ, но хорошенькимъ садомъ, цвътниками, дорожками. Отецъ, любитель живописи и сада, разукрашалъ стъны комнатъ и даже печки фресками какого-то доморощеннаго живописца Арсенія Алексъевича, а садъ — бесъдочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображеніе лъта и осени на печкахъ въ видъ двухъ дамъ съ разными аттрибутами этихъ двухъ временъ года; помню изображенія разноцвътныхъ птицъ, летавшихъ по потолкамъ комнатъ, и турецкихъ палатокъ на стънахъ спальни сестеръ.

Помню и игры въ саду въ кегли, въ крючки и кольца, цвъты съ капельками утренней росы на лепесткахъ... живо, живо, какъ будто вижу ихъ теперь.

Итакъ, жизнь моя ребенкомъ до тринадцати лѣтъ была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни пріятныя воспоминанія.

Ученье и школа до этого возраста также не были мить въ тягость. Я уже сказаль, какъ я легко и почти играючи па-учился читать; послъ того чтеніе дътскихъ книгъ было для меня истиннымъ наслажденіемъ; я помпю, съ какимъ восторгомъ я ждалъ подарка отъ отца внигою: "Зрълице вселенной", "Золотое зеркало для дътей", "Дътскій вертоградъ",

"Дътскій магнить", "Пальпаевы (sic) и Эзоповы басни", и все съ картинками, читались и прочитывались по нъскольку разъ, и все съ аппетитомъ, какъ лакомства.

Но всего болъе занимало меня "Дътское чтеніе" Карамзина въ 10 или 12 частяхъ; славная книга, — чего въ ней не было! и діалоги, и драмы, и сказки, — прелесть! потому прелесть, что это чтеніе меня, семи — восьми-лътняго ребенка, прельстило знакомствомъ съ Альфонсомъ и Далаидою или чудесами природы, съ почтенною г-жею Добролюбовою, съ старикомъ Яковомъ и его чернымъ пътухомъ, обнаружившимъ воришку и лгунишку Подшивалова; да такъ прельстило, что 60 слишкомъ лътъ эти фиктивныя личности не изгладились изъ памяти. Я не помню подробностей разсказовъ, но что-то общее чрезвычайно пріятное и занимательное осталось отъ нихъ до сихъ поръ въ моемъ воспоминаніи.

Нъсколько лътъ позже и прочелъ "Донкихота" въ сокращенномъ переводъ съ французскаго; помню еще, что и отецъ читывалъ его намъ; читалъ потомъ и неизбъжнаго "Робинзона", и волшебныя сказки; по эффектъ чтенія всъхъ этихъ книгъ не можетъ сравниться съ тъмъ, которое произвело на меня "Дътское чтеніе", и подарокъ его намъ отцомъ въ новый годъ я считаю самымъ лучшимъ въ моей жизни.

Такъ нѣкоторыя впечатлѣнія почему-то дѣлаются неизгладимыми и выдѣляются ярко на фонѣ памяти. Сколько разъ атомы моего мозга замѣнялись, чрезъ обмѣнъ веществъ, новыми, и всякій разъ передавали этимъ новымъ прежнія впечатлѣнія, то-есть прежнія свои сотрясенія.

Изъ рисунковъ читанныхъ книгъ остались у меня въ памяти, кромѣ каррикатурныхъ фигуръ, по которымъ я учился азбукѣ, всего болѣе изображенія животныхъ, растепій и разныхъ національныхъ типовъ изъ "Зрѣлища вселенной", "Дѣтскаго музся" и Палласова "Путешествія по Россіи", бережно сохранявшагося у отца въ двухъ большихъ томахъ въ кожаномъ переплетѣ; изъ него всего отчетливѣе помню Лопаря, Самоѣда и нагую Чукотскую бабу. Очень рано попались мнѣ также въ руки отцовскій же Курганова "Письмовникъ", изъ коего на всю жизнь остались въ памяти разные смѣшные

анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: "Повъсти Коцебу", и особливо одну изъ нихъ: "Плащъ и парикъ". Басни Крылова во время моего перваго дътства не были еще въ ходу; къ намъ приходилъ какой-то знакомый господинъ, читавшій ихъ очень хорошо; дътей не заставляли еще заучивать ихъ ех officio, и я ргоргіо тоспи выучилъ начаусть "Квартетъ", мнъ очень нравившійся,—и особливо съ басомъ Мишенька,— "Демьянову уху", "Тришкинъ кафтанъ"; какъ видно, нравились мнъ наиболье юмористическія.

Изъ другихъ стихотвореній я довольно рано, когда былъ еще лётъ девяти, познакомился съ "Людмилою и Свётланою" Жуковскаго, декламировалъ, къ большому удовольствію домашнихъ слушателей, съ нёкотораго рода павосомъ и разными жестами; нёсколько позже узналъ и старика съ щетинистой брадой, блестящими глазами; но страшно боялся встрёчи съ нимъ въ темной комнатъ, и бъгомъ, зажмуря глаза, проходилъ чрезъ нее.

Первый романъ, попавшійся мнѣ въ руки на 12-мъ году моей жизни, былъ "Фанфанъ и Лолотта", Дюкре-Дюмениля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образъ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившіеся половые инстинкты.

Первый учитель данъ былъ мнв на девятомъ году жизни; до того времени я былъ самоучка при помощи матери и сестеръ, весьма ограниченной, впрочемъ, по собственному ихъ признанію.

Странно, что я помню довольно ясно занятія грамотою и чтеніемъ, но совсёмъ не помню, когда и какъ паучился писать.

Къ чести нашей домашней педагогіи я долженъ сказать, что занятія съ первымъ моимъ учителемъ начались съ отечественнаго языка; звуковъ иностраннаго языка я почти не слыхаль до восьми лётъ; какъ въ-просонкахъ вспоминаю только напъвъ какой-то нъмецкой пъсни, и мнъ сказывали сестры, что одинъ, вхожій въ нашъ домъ, нъмецъ иногда бралъ меня на руки и нянчилъ, припъвая что-то по своему.

Появленіе въ дом'в перваго учителя совпадаеть у меня съ воспоминаніемъ о рожденіи въ Москв'в нашего нын'вшняго го-

сударя (Александра Николаевича), а это воспоминаніе совпадаеть, въ свою очередь, съ другимъ, а именно — съ путешествіемъ всей семьи къ Троицъ (т.-е. въ Троицко-Сергіевскую лавру), во время котораго, при ночлегъ въ селъ Большихъ Мытищахъ, что-то говорилось о кормилицъ новорожденнаго.

Судя по этому нужно думать, что мои первыя занятія съ учителемъ начались въ 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красиваго человъка, какъ мит сказывали потомъстудента, и помню не столько весь его обликъ, сколько однъ румяныя щеки и улыбку на лицъ. Въроятно, этотъ господинъ, назначенный мнъ въ учители, быль не семинаристь. Это я заключаю изъ того, что онъ очень любилъ накрахмаленное бълье, а объ этой склонности я узналь отъ моей старой няни, неръдко сътовавшей на большой расходъ крахмала, и дъйствительно, его румяныя щеки представляются мит и до сихъ поръ не иначе, какъ въ связи съ туго накрахмаленными, стоячими воротничвами рубашки. Но есть основание думать, что семинарское образованіе не было чуждо моему наставнику: это его склонность къ сочиненію поздравительныхъ рацей; одну изъ нихъ онъ заставилъ меня выучить для поздравленія отца съ днемъ Рождества Христова; первое четверостишіе я еще и теперь помню.

Зарею утренней, румяной, Лишь только показался

(это, кажется, моя позднёйшая поправка; въ тексте было: "разливался")

Въ одеждъ солнечной, багряной Направилъ ангелъ свой полеть.

Кром'є воспоминаній о щевахъ, улыбкі, воротничкахъ и этихъ стихахъ моего перваго учителя, мні остались почему-то памятны и его білые, съ тоненькими синенькими полосками, панталоны. Всё эти аттрибуты у меня какъ-то слились въ памяти съ понятіемъ о частяхъ річи, полученнымъ мною въ первый разъ отъ обладателя щекъ, улыбки, воротничковъ, панталонъ и сочинителя первой же и едва-ли не единственной произнесенной мною рацеи. Отъ него же я научился и латинской грамоть.

Помню и второго моего учителя, также студента, но не университетскаго, а московской медико-хирургической академіи, низенькаго и невзрачнаго; при немъ я уже читалъ и переводилъ что-то изъ латинской хрестоматіи Кошанскаго; отъ этихъ переводовъ уцѣлѣло въ памяти только одно: Universum (или universus mundus — хорошо не помню) distribuitur in duas partes: coelum et terram.

На урокахъ, мнъ кажется, онъ занимался со мною болъе разговорами и словесными, а не письменными, переводами, тогда какъ первый учитель заставлялъ меня дълать тетрадки и писать разборы частей ръчи. Почему—спрашивается—я помню, по прошествіи 62-хъ лътъ, еще довольно ясно читанное и слышанное, и забылъ, когда выучился писать, и почти все, что писалъ; забылъ также, когда и какъ выучился ходить и бъгать? Не значить ли это—пріобрътенное въ дътствъ слухомъ и зръніемъ гораздо прочные напечатлълось въ памяти, чъмъ доставленное ей осязаніемъ? Осязаніе служитъ только повърочнымъ чувствомъ для впечатлъній, прежде всего вступающихъ въ мозгъ чрезъ два его главныя и настежъ открытыя окна: глазъ и ухо.

Причины, почему отъ впечатлъній дътства остается тотъ или другой отрывокъ, часто пичъмъ не замъчательный и вовсе не характерный, такъ разнообразны, что никто не возъмется опредълить ихъ. Но сила впечатлънія, безъ сомивпія, зависить отъ того—въ какой степени было напряжено вниманіе въ самый моментъ впечатлънія: какъ бы сильнымъ ни казалось впечатлъніе извнъ, оно пройдетъ безслъдно для того, кто не обратилъ на него вниманія. Это—такая банальная истина, что не стоило бы о ней распространаться; къ сожальнію, однако-же, немногіе родители и педагоги примъняютъ ее такъ, какъ она этого заслуживаетъ, и заботятся болье о свойствахъ и степени внъшнихъ впечатлъній: это легче и проще; усиливать стимулъ—думають—достаточно, чтобы усилить вниманіе ребенка.

Между твиъ мы видимъ, что нервдко самыя ничтожныя впечатления остаются въ памяти на целую жизнь, тогда какъ, повидимому, очень сильныя—исчезають изъ памяти безследно, и это потому, что мы не умели или не могли сосредоточить на нихъ внимание того, для кого необходимо было это сделать.

По моему, не тоть хорошій наставникь, кто, обладая знаніями, излагаеть отчетливо и добросовъстно свой предметь ученику, а тоть, кто умъеть хорошо обращаться съ внимательностію свонихь учениковь. Упражненіе вниманія—воть настоящая задача школы и воспитанія. Преподаваніе наше не только не всегда сосредоточиваеть, но, напротивь, еще отвлекаеть и развлекаеть внимательность; такъ же дъйствуеть и глупое воспитаніе.

По мъръ того, какъ кръпнеть мягкій, студенистый дътскій мозгъ, онъ дълается болье способнымъ къ удержанію внъшнихъ впечатльній; развитіе внимательности, въроятно, соотвътствуеть, въ извъстной степени, развитію способности въ мозговой ткани къ удержанію впечатльній; но, несмотря на это, способность внимать остается все-таки чъмъ-то отдъльнымъ отъспособности удерживать впечатльнія. Память и внимательность не идуть рука объ руку. Несмотря на всъ усилія мнемонистики, мы немногимъ можемъ содъйствовать къ развитію памяти; тогда какъ въ рукахъ умнаго воспитателя есть много средствъ къ развитію внимательности ребенка.

Правда, эти средства все-таки не болье какъ внъшнія; но, распорядившись искусно, мы можемъ съ ними проникнуть и внутрь. Наглядность въ соединеніи съ словомъ—вотъ эти средства, разумъя подъ именемъ наглядности все дъйствующее на внъшнія чувства. Другихъ средствъ нътъ и быть не можетъ. Искусство состоитъ въ гармоническомъ сочетаніи обочихъ и правильномъ взглядъ на индивидуальность дитяти. Вещь не легкая; и такъ какъ это не легко и для большинства невозможно, то главную роль въ нашемъ воспитаніи и играетъ жизнь, а не воспитатели и не школа. Горе намъ отъ глупыхъ и неумълыхъ воспитателей, но еще горшее горе отъ одностороннихъ, вбившихъ себъ въ голову, что на одной только наглядности или только на словъ можно основать все школьное воспитаніе.

Наглядность, имъя главною цълью воздъйствие на внъшнія чувства, можеть оставить внимательность ребенка къ своимъ болье глубокимъ внутреннимъ ощущеніямъ и движеніямъ нетронутою или мало-развитою. Слово, проникая также извиъ, дъйствуеть своими членораздъльными звуками на самую главную, самую существенную способность человъка—пъть по

отимъ врожденнымъ нотамъ, то-есть мыслить. Конечно, молча никто не будеть учить и наглядностью; но внимательность ребенка, при одномъ заглядномъ ученіи, обратится исключительно на внёшніе предметы, смыслъ и значеніе которыхъ для него легче постигнуть, чёмъ смыслъ слова; мышленіе его дёлается боле, такъ сказать, объективнымъ, связаннымъ съ представленіями формы предметовъ, а не внутреннимъ ихъ значеніемъ и смысломъ.

Внъшнія чувства наши очеловъчиваются при помощи опыта и мышленія. Но логика чувствъ своеобразна; она основана на какомъ-то механизмъ, дъйствующемъ при сознаніи нами бытія, но не дающемъ о себъ знать этому сознанію. Поэтому логика нашихъ чувствъ не нуждается въ словесномъ и основанномъ на членораздъльныхъ знакахъ мышленіи; тъмъ не менъе развитіе ея совпадаетъ съ развитіемъ этого мышленія.

Въ то время, какъ ребенокъ дѣлается словеснымъ животнымъ и дѣятельность его внѣшнихъ чувствъ дѣлается отчетливѣе для него и для другихъ, съ этимъ вмѣстѣ усиливается и внимательность. Итакъ, самовоспитаніе ребенка основано на наглядности, то-есть на упражненіи внѣшнихъ чувствъ. Воспитателямъ же приходится только продолжать и направлять это самовоспитаніе, и главное—не упускать ничего, на первыхъ же порахъ, для развитія внимательности ребенка, не давая ей ни разсѣеваться слишкомъ скоро, ни сосредоточиваться односторонне. Но какъ только сознательное и словесное мышленіе ребенка дастъ о себѣ знать воспитателю, онъ обязанъ какъ можно скорѣе воспользоваться этимъ даромъ и употребить его въ дѣло; да, въ дѣло, а не на бездѣлье.

Должно помнить, что даръ слова есть единственное и неоциненное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чъмъ посредствомъ однихъ внъшнихъ чувствъ. Но для достиженія этой цъли необходимо воспитателю орудовать даромъ слова такъ, чтобы онъ употреблялся имъ не для одного только осмысленія пріобрътаемаго наглядностію матеріала, а также и для воздъйствія на другія, болье глубовія, влеченія души, скрывающіяся подъ наплывомъ внъшнихъ ощущеній. И съ этой стороны необходимо развитіе внимательности, но, конечно, болье осто-

рожное и постепенное. Что развите дара слова, чрезъ обучение грамоть, можеть начаться, безъ всякаго вреда для ребенка, очень рано и въ уровень съ нагляднымъ учениемъ, доказательствомъ тому служатъ многие примъры. Я научился грамоть, играючи, когда мнъ было шесть лътъ; мой младший сынъ выучился по складнымъ буквамъ, безъ всякой другой помощи, шестилътнимъ ребенкомъ. Быстро и легко достигнутый успъхъ объясняется, я думаю, тъмъ, что внимательность наша была случайно обращена на предметы, сразу заинтересовавшие нашу дътскую индивидуальность, а къ этимъ предметамъ очень кстати были приноровлены азбучные знаки.

Меня, то-есть мой индивидуальный складъ, и мою толькочто развивавшуюся индивидуальнаго склада душу заинтересовали каррикатурныя изображенія прогнанныхъ изъ Москвы французовь, о которыхъ разсказы я безпрестанно слышаль. Эти занятные для меня разсказы, въ связи съ дътскою склонностью къ юмору, обратили мою внимательность и на загадочные знаки азбуки, стоявшіе во главъ каррикатуръ. Звуки словъ, начинавшихся этими знаками, были знакомые уху: А—Ась, Б—Бъда, В—Ворона, и дъло пошло скоро на ладъ.

ППестилътняго моего сына, болъе склоннаго къ отвлеченію, въроятно заинтересовали мистическія (для него) фигуры большихъ литеръ складной азбуки и ихъ таинственная (для него) связь съ представляемыми ими звуками. Върно, безсознательно интересна была для внимательности ребенка фигура, скрывав-шая въ себъ звукъ.

Безъ сомивнія, индивидуальность играєть туть главную роль. Всегда найдется средство задівть ту ея струнку, сотрясеніе которой могло бы разбудить внимательность, а занявъ ее, можно будеть приноровить и обученіе грамотів, и дівствіе слова къ обратившему на себя внимательность предмету.

Не одна наглядность, — и слово интересуеть дѣтей; какъ слово, и раннее обучение грамотѣ я считаю необходимымъ дѣломъ для культурнаго общества. Евреи, какъ древній, много испытавшій народъ, знають это по опыту; пятилѣтнихъ дѣтей они сажають за грамоту, да еще за какую, — не чета нашей, усвоиваемой теперь по звуковому и другимъ новѣйшимъ способамъ. Еврей употребляеть грамоту именно для воздѣйствія

на затаенныя, еще неразвитыя, стремленія души къ высшему началу. Этимъ держится еврейство, и его способъ обученія дѣтей, несмотря на его отсталость и грубость пріемовъ, имѣстъ важное значеніе въ жизни.

Наблюдавъ развитіе дѣтей въ еврейскихъ школахъ, я не замѣтилъ, чтобы ихъ способъ обученія много препятствовалъ дѣйствію наглядности; за исключеніемъ нѣкоторыхъ индивидуальностей, склонныхъ чрезъ мѣру къ отвлеченіямъ и религіозному фанатизму, большая часть еврейскихъ дѣтей легко пріобрѣтаютъ все то, что дается нагляднымъ обученіемъ; но религіозное настроеніе, сообщенное раннимъ воздѣйствіемъ слова, ихъ не оставляеть на цѣлую жизнь, и несмотря на ихъ семитическіе инстинкты и внѣшній, тяготѣющій на нихъ, гнеть.

· Но если еврейскій меламдъ, съ его незатыйливыми средствами, такъ умъеть сосредоточивать внимательность пяти— шестильтнихъ ребять на изученіи мертваго для насъ явыка, то, значить, искусство это нетрудное.

Почему же оно у насъ не процвътаетъ, а если и прогрессируетъ, то черепашъимъ ходомъ?

Не говоря уже о томъ давнемъ времени, когда я самъ учился, — не болъе какъ двадцать лътъ назадъ, я, бывъ попечителемъ двухъ учебныхъ округовъ, ужасался, видъвъ, какъ мало знакомы были учители и весь оффиціальный персоналъ нашихъ школъ съ этою главною отраслію въ педагогіи. Въ это замъчательное время наши педагоги вспомнили о Песталоцци и Дистервегъ и возлагали большія надежды на наглядное обученіе, думая найти въ наглядности талисманъ для культуры дътской внимательности. И я самъ не былъ свободенъ отъ этого увлеченія. Но опыть не оправдаль розовыхъ надеждъ.

Теперь я убъдился, что ни наглядность, ни слово, сами по себъ, безъ умънія съ ними обращаться какъ надо и безъ другихъ условій, ничего путнаго не сдёлають. Я убъдился еще въ томъ, — и это главное, — что односторонность въ культуръ внимательности у народа, какъ нашъ, еще недавно выступившаго на поприще образованія, никуда не годится.

Одностороннему меламду это дело удается, несмотря на

грубъйшіе пріемы, потому что у евреевъ, какъ у народа древняго, есть традиція образованія, да къ тому же еще грамота и религія въ понятіи еврея—неразлучны. Западные народы могутъ также быть односторонними въ образованіи, и опять потому же, что имъютъ преданія и традиціи. У насъ же ихъ нътъ, и мы живемъ и начинаемъ учиться во время, вовсе не благопріятное для дъйствія и силы традицій.

Вся жизнь моя сложилась бы другимъ образомъ, еслибы при моемъ воспитаніи съумѣли развить и хорошо направить и мою внимательность. Недостатка въ этой способности у меня не было; была, и не въ малой степени, и разносторонность ума, но и то, и другое были такъ мало культивированы, что я легко дѣлался односторонникомъ, не умѣя обращаться съ моею внимательностью и направлять ее какъ слѣдуетъ.

Вообще, мнѣ кажется, на эту замѣчательную психическую способность мало обращають вниманія. Можно обладать прекрасно устроенными оть природы органами чувствь; эти органы могуть быть очень чуткими къ принятію впечатлѣній, могуть отлично удерживать впечатлѣнія, а потому и отлично содѣйствовать внимательности; но если она сама будеть неразвита и заглушена безпорядочнымъ и, выражаясь по-нѣмецки, тумультуарнымъ наплывомъ впечатлѣній, въ дѣтскомъ возрастѣ, то ничего путнаго не выйдетъ, —развѣ самъ Богъ поможеть, наконецъ, человѣку, уже болѣе или менѣе взрослому, углубиться въ себя и понять, чего ему недостаеть для самовоспитанія.

Съ матеріальной точки зрвнія, внимательность есть особое состояніе напряженія тёхъ элементовъ мозга, которыми воспринимаются приносимыя органами чувства впечатленія. Въ самый моменть действія это напряженіе не можеть не быть одностороннимъ; но культурою (упражненіемъ) его можно сдёлать мене одностороннимъ.

Такъ, астрономъ, во время наблюденія за прохожденіемъ звъздъ, можетъ сосредоточить свою внимательность на впечатлънія зрительныя и слуховыя въ одно и то же время, смотря въ телескопъ и прислушиваясь къ колебаніямъ маятника. Но, сверхъ этой чувственной внимательности, есть еще и другая, какъ кажется, отличная оть первой: внимательность къ болье глубокимъ психическимъ процессамъ; внимательность къ собственному своему я, то-есть, къ своей мысли, волъ, влеченіямъ и т. п. Культура этой способности ведеть къ тому, что наше я, слъдя за самимъ собою, дълаеть изъ себя и для себя же нъчто виъщнее, объективное.

Кто хочеть помочь ребенку сдёлаться человёкомъ, тотъ не долженъ упускать изъ виду эти два направленія внимательности; но въ этомъ дёлё представляется воспитателю необывновенная трудность; при культурё внимательности необходимо умёнье индивидуализировать. Слишкомъ скорое и неосторожное развитіе, напримёръ, внутренней (такъ назову ее) внимательности у нёкоторыхъ (склонныхъ) отъ природы къ отвлеченію (т.-е. къ внутренней, психической жизни) дётей сдёлаетъ изъ нихъ легко непрактичныхъ самоёдовъ. Непомёрное развитіе чувственной внимательности, при хорошемъ природномъ устройствё чувствъ, сдёлаетъ ихъ легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной красоты.

Чѣмъ ранѣе начнетъ развиваться внимательность, тѣмъ лучше для культурнаго человѣка. На первое время достаточно, если мы останемся благоразумными наблюдателями этого развитія и не будемъ надоѣдать натурѣ нашими выдумками.

Довольно раннее обучение грамоть при пособи наглядности я считаю самымъ надежнымъ средствомъ къ правильному развитию внимательности. При этомъ способъ нельзя опасаться односторонняго развития; при немъ участвуютъ къ возбуждению внимательности и глазъ, и ухо, и осязание, и самое слово. Только впечатлъния, приобрътенныя этимъ путемъ въ раннемъ дътствъ, и остаются въ насъ цъльными и связными; красною нитью тянутся они чрезъ всю жизнь.

Что, въ самомъ дълъ, связнаго осталось въ архивъ моей памяти отъ шести-восьмилътняго возраста? Грамота, которой я учился по картинкамъ, и самыя картинки (каррикатуры); читая теперь какую-нибудь книгу, мнъ стоитъ только хоть немножво отвлечься въ прошедшее, и "А—Ась, право глухъ Мусье", сейчасъ вынырнетъ откуда-то, какъ изъ омута. Всъ прочія воспоминанія моего дътства въ этомъ возрасть (шести-

восьми л'єть) или туманны и призрачны, или же отрывочны и сомнительны.

Я различаю, однако-же, довольно отчетливо мои самыя раннія воспоминанія отъ другихъ позднійшихъ (наприміръ, изътринадцатильтняго возраста). Я не сомніваюсь, наприміръ, что удержавшееся весьма ясно представленіе моей матери еще моложавою женщиною въ красномъ массака цвіта платьй, въчепці, съ двумя темнорусыми пуклями на лбу, осталось у меня въ памяти отъ восьмилітняго возраста.

Моя мать, какъ я слышаль отъ нея, вышла замужъ пятнадцати леть, имела 14 детей; я быль предпоследнимъ (последній ребеновь умерь вскоре после рожденія); следовательно ей не могло быть болбе 36 леть, когда мив было 8; потомъ же, вогда я ходиль въ школу двенадцатилетнимъ мальчикомъ, я уже ее помню не такою; утрата двухъ взрослыхъ дётей и невзгоды жизни, стрясшіяся надъ нею въ теченіе этого времени, сильно изм'внили ея наружность; она постаръла, и образъ ея сливается уже въ моей памяти съ другимъ, позднъйшимъ, тавъ что теперь мать моя представляется мнв въ двухъ, совершенно различныхъ одинъ отъ другого, видахъ; то-какъ моложавая, смотрящая на меня съ любовью, женщина, въ темнокрасномъ капотъ, чепцъ и пукляхъ; то -- какъ старушка съ сморщеннымъ лицомъ, согнутымъ туловищемъ и туманнымъ взглядомъ, почти такая же, какою она была въ последнее время своей жизни, тридцать лъть тому назадъ, хотя я навърное знаю, что между этими двумя видами остался у меня въ памяти еще и третій, несходный ни съ однимъ изъ нихъ, но такъ туманный и бледный, что я не могу его облечь въ ясное представленіе.

Образы другихъ близкихъ мнѣ лицъ сохранились въ памяти только по однимъ позднѣйшимъ представленіямъ. Образъ отца остался въ памяти такимъ, какъ я его помню, бывъ уже студентомъ (17-ти лѣтъ), незадолго до его смерти. Мою старую няньку и старую служанку я помню также только въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ мнѣ представлялись, когда я былъ уже взрослый (отъ 25 до 30 лѣтъ).

Отрывочныхъ и очень раннихъ воспоминаній (изъ шести-

восьмилътняго возраста), весьма отчетливо еще сохранившихся въ архивъ 70-лътней моей памати, я насчитываю не болъе семи или восьми. Предметы ихъ ничего не имъютъ общаго между собою; только бълыя розы въ стаканъ воды, бъличье одъяло и сърая кошка Машка связаны въ моемъ представлени, и это, безъ сомнънія, потому, что я ихъ всегда видалъ вмъстъ, возлъ меня, открывъ глаза при пробуждени отъ сна.

По всёмъ соображеніямъ, ни розы, ни одёяло, ни сёрая Машка не были при мнё, когда мнё, еще маленькому (не болёе десяти лётъ) мальчику, нянька напоминала о нихъ, какъ о чемъ-то давно прошедшемъ: "а помнишь-ли (и эти слова я также живо помню) твою Машку, которую ты такъ бережно закутывалъ твоимъ бёличьимъ одёяломъ, когда ложился спать?"

Помню еще отцовскую саблю въ мъдныхъ ножнахъ, дъдушкинъ рыжеватый парикъ, длинный колодезный насосъ,
упавшій при вставливаніи въ садовый колодезь и разбившій окно
въ комнатъ, гдъ я сидълъ, и, наконецъ, бълые стоячіе воротнички и панталоны моего перваго учителя. Есть и еще одно
воспоминаніе, относящееся приблизительно къ тому же времени; это появленіе въ домъ кръпостной семьи, состоявшей
изъ мужа, жены и грудного ребенка. Памятна именно новость
появленія, то-есть памятно сознаніе, что прежде ихъ не было,
а туть они откуда-то явились, и явился откуда-то кривой Иванъ,
смотръвшій однимъ только блестящимъ глазомъ, а другой былъ
бълый какъ мълъ.

Всв другія, не менве ясныя, воспоминанія остались, вврно, отъ поздивищаго времени.

Я оставался вмёстё съ семьею въ томъ домё, размалеванныя стёны котораго, фасадъ и садикъ помню еще такъ живо, до 14-лётняго возраста, и потому самыя раннія воспоминанія о немъ сливаются съ поздними. Но сабля, парикъ, воротнички и панталоны—одни уже не были на виду и спрятаны въ старый хламъ, другіе выбыли вмёстё съ ихъ обладателемъ, жившимъ у насъ, какъ я слышалъ, не болёе одного года.

Что же заставило именно эти отрывочныя, но ясныя представленія остаться такъ долго въ памяти? Почему они не стушевались въ хламъ другихъ впечатльній, безпрестанно дъйствовавшихъ на мой дътскій мозгъ? Вопросъ, конечно, нераз-

ръшимый. Придется перенестись въ себя чрезъ пропасть времени. За такой сальто-морталэ можно, пожалуй, считать старика выжившимъ изъ ума. Но что за бъда, если и провалишься въ безднъ самого себя!

Нъвоторыя впечатлънія ранняго дътства остаются на цълую жизнь, очевидно, отъ сильныхъ сотрясеній всего дътскаго организма, а также чрезъ частые разсказы о выдающихся случаяхъ въ обыденной жизни.

Вломившаяся въ окно комнаты, въ которой я сидълъ, огромная бадья колодезнаго насоса не могла не навести на меня страхъ и ужасъ—и вотъ, въ памяти осталось навсегда представленіе торчащей чрезъ разломанное окно балки, потрясшей своимъ появленіемъ въ комнатѣ съ трескомъ и стукомъ не только внѣшнія чувства, но и все мое тѣло.

Такъ и во многихъ другихъ воспоминаніяхъ давнопрошедшаго повторенные о нихъ разсказы, безъ сомнѣнія, много содъйствують къ удержанію его въ памяти, чъмъ оно само по
себъ. Впечатлѣнія, повторявшіяся неоднократно и въ извъстные
моменты жизни, какъ, напримѣръ, впечатлѣнія, произведенныя
на меня бълыми розами, при пробужденіи отъ сна, и бълыми
воротничками съ розовыми щеками учителя во время первыхъ
моихъ уроковъ, также не могли не остаться въ памяти долѣе
другихъ. Разсказы, волнующіе дътскія страсти, наводящіе ужасъ
и т. п., такъ сильно дъйствують на воображеніе ребенка, что
слышанное впослъдствіи представляется ему видъннымъ; это понятно, потому что подтверждается примърами и изъ жизни
взрослаго человъка; но гораздо интереснъе и поучительнъе наблюденіе, доказывающее, что и одно возбужденіе разсказомъ
дътской внимательности приводить къ тому же результату.

Это дълаетъ мощь слова нагляднымъ и убъждаетъ, что слово можетъ еще замънить наглядность, но одна наглядность нивогда не замънить слова. Наглядное, одно, само по себъ, безъ помощи слова, хотя и можетъ глубоко връзаться въ память ребенка, но всегда останется чъмъ-то отрывочнымъ и несвязнымъ, тогда какъ впечатлъніе, произведенное словомъ, будетъ болъе цъльное и связное.

Я говориль уже объ отцовской саблѣ и дѣдушвиномъ парикѣ. Оба эти предмета оставались у меня въ памяти слишкомъ пестъдесять лѣтъ потому только, что съ ними связаны два разсказа.

Разсматривая мѣдныя ножны, я внимательно слушалъ трогательное для меня повъствованіе моей няньки о томъ, какъ отенъ, во время нашего бъгства изъ Москвы въ 1812-иъ году, спасъ этою саблею крестьянку, везшую молоко; на нее напалъ какой-то буйный ратникъ (ополченный) и грабилъ уже ее, когда отець мой, замётивь это, выскочиль изъ повозки, пригрозиль саблею и прогналь грабителя; въ знавъ благодарности за спасеніе я получиль вружку молока. Сабля была тяжела, и я только смотрълъ на нее, а не надъвалъ. Но рыжеватый дъдушкинъ парикъ я надъвалъ на себя, слушая разсказы о томъ, какъ дъдушка, Иванъ Михеевичъ, входя въ церковь, всегда снималь свой парикъ и, обнажая свою плешивую, какъ кулакъ, голову, приводиль въ соблазнъ "предстоящихъ (по выраженію мъстнаго священника, упрекавшаго дедушку за это) людей въ храме Божіемъ". Не слышь я этихъ разсказовъ, -- върно, и сабля, и парикъ давно исчезли бы изъ памяти. И кривой, бълый какъ мълъ, глазъ кръпостного Ивана также изгладился бы непремънно изъ моей памяти, -- мало ли такихъ кривыхъ я видълъ на свътъ, -- еслибы не явился въ намъ въ домъ однажды какой-то шарматанъ изъ Сибири, наговорившій Ивану о чудесахъ своего искусства; онъ началь приставать съ мольбами въ матушкъ о дозволеніи возвратить ему глазъ; шарлатанъ, любопытные разсвазы котораго объ вздв на собакахъ въ Якутскъ я также припоминаю, началь впускать въ бёлый глазъ какіе-то бълые порошви; глазъ раскраснълся, шарлатана прогнали, а Иванъ остался, по-прежнему, кривымъ, да въ добавокъ еще и осменнымъ. Я былъ зрителемъ, но гораздо более слушателемъ этой драмы.

Слышанное въ раннемъ, то-есть слово, такъ сильно дѣйствуеть, что впечатлѣнія, производимыя имъ на воображеніе и память ребенка, легко превращаются въ наглядные образы. Изъ однихъ разсказовъ о моемъ дѣдушкѣ, умершемъ, когда мнѣ было не болѣе 4-хъ лѣть, составился въ моемъ воображеніи весьма опредёленный образъ высокаго, сухощаваго старина въ нарикъ; паривъ бы тъ тутъ только, такъ сказать, прибавочнымъ нагляднымъ представленіемъ, дополнявшимъ слышанное и препятствовавшимъ мнѣ воображать дѣдушку плѣпивымъ, какимъ онъ былъ по разсказамъ; чертъ лица въ воображаемомъ образъ не было видно, но представленіе высокаго старика въ парикъ было такъ ясно, что еще и до сихъ поръ осталось во мнѣ смутное убъжденіе, какъ будто бы нѣкогда я видалъ его живымъ.

Сильное дъйствіе на нась часто слышанных устных разсказовь всёмъ такъ знакомо, что мы легко объясняемъ себъ образованіе призрачныхъ фантомовъ, составляющихся въ нашемъ воображеніи изъ слышаннаго нами неоднократно, и потому только одному, или же по другой причинъ, обратившаго на себя наше вниманіе; но труднъе гораздо объяснить, почему однажды только слышанное или видънное нами можеть залечь надолго и даже навсегда въ нашей памяти.

Такъ, я до сихъ поръ живо помию виденное мною только одинъ разъ въ ризнице Троицкой лавры самородное изображеніе креста съ стоящею предъ нимъ на коленяхъ фигурою; я былъ тогда восьмилетнимъ ребенкомъ, и какъ теперь вижу былый, прозрачный, выпуклый камень съ этимъ изображеніемъ; предо мною, какъ будто на яву, стоитъ монахъ и поднятою рукою держитъ камень противъ света. Я положительно знаю, что никогда въ другой разъ не былъ въ ризнице лавры.

Помню также живо до сихъ поръ однажды слышанное отъ какого-то мальчика, — правда, то были знакомыя мнѣ слова псалма: "всякое дыханіе да хвалитъ Господа"; я ихъ слыхалъ и читалъ въ псалтирѣ не разъ; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мнѣ было тоже не болѣе (скорѣе менѣе) восьми лѣть, когда я, гуляя съ нянькою на берегу Яузы, услышалъ визгъ собаки; приблизившись, мы увидѣли двухъ мальчишекъ; изъ нихъ одинъ топилъ собаку, другой его удерживалъ, громко заявляя: "всякое дыханіе да хвалитъ Господа!" Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далѣе.

Безъ сомивнія, очень рано являются въ насъ, конечно, при извістной вившней обстановий, психическія настроенія,

дълающія насъ чрезвычайно воспріимчивыми къ нъкоторымъ впечатльніямъ; подъйствовавшее на насъ въ моменть такого настроенія, повидимому, и незначительное, и даже не разъ уже испытанное нами, впечатльніе остается навсегда въ памяти и всегда, при удобномъ случав, напоминаеть намъ о своемъ существованіи. До сихъ поръ я припоминаю и восклицаніе мальчика, и прогулку за Яузою, какъ скоро слышу слова псалма: "всякое дыханіе да хвалитъ Господа". Смотря на кресть, припоминаю неръдко и видънное мною изображеніе въ лавръ. Мораль: педагогу необходимо знакомство съ этимъ замъчательнымъ психическимъ процессомъ, но примъненіе его на практикъ невозможно: не педагогъ управляетъ жизнью, а жизнь имъ.

Кому изъ культурныхъ людей не приходилось мыслить о людскомъ воспитаний? Кто изъ моралистовъ не желалъ бы перевоспитать человъческое общество? Всъ мыслители, я думаю, пришли къ тому заключению, что воспитание нужно начать съ колыбели, если желаемъ коренного переворота нравовъ, влечений и убъждений общества.

Про самого себя, конечно, никто не можетъ рѣшить, съ какой поры проявились въ немъ разныя склонности и влеченія; но кто слѣдилъ за развитіемъ хотя нѣсколькихъ особей отъ перваго ихъ появленія на свѣтъ до возмужалости, тотъ вѣрно убѣдился, что будущая нравственная сторона человѣка рано, чрезвычайно рано, едва-ли не съ пеленокъ, обнаруживается въ ребенкѣ; къ сожалѣнію, поздно, слишкомъ поздно, узнаемъ мы будущее значеніе того, что мы давно замѣчали.

И на моихъ собственныхъ дётяхъ, и на нѣвоторыхъ другихъ лицахъ, знакомыхъ мнѣ съ ихъ дѣтства, я рано видѣлъ немало намевовъ о будущихъ ихъ нравахъ и склонностяхъ; но теперь только, когда, вмѣсто трехъ — четырехъ-лѣтнихъ дѣтей, я вижу предъ собою тридцатилѣтнихъ мужчинъ и женщинъ, только теперь я увѣряюсь изъ опыта, какъ вѣрны и ясны были эти намеки. Поумнѣвъ заднимъ умомъ, я вижу теперь, что не только о нравахъ, но и о будущихъ міровоззрѣніяхъ всѣхъ этихъ лицъ я могъ бы уже имѣть довольно ясное

понятіе еще за двадцать-пять лёть, еслибы умёль прочесть "мани, факель, фаресь" въ ихъ дётскихъ поступкахъ.

Что и сколько мы приносимъ съ собою на свътъ и что и сколько потомъ получаемъ отъ него, этого мы никогда не узнаемъ, а потому и увъренность—воспитаніемъ нашимъ дать ребенку все то, что мы желаемъ дать—я считаю однимъ самообольщеніемъ.

Я не отвергаю, что Песталоцци, Фребель и другіе передовые педагоги и фанатики своего діла дали хорошее воспитаніе своимъ питомцамъ; по не вірю, чтобы искусственные способы и систематическое ихъ приміненіе, предложенные этими педагогами, произвели благотворное дійствіе на массы людей и на все общество.

Главная сила искусственнаго, строго-систематическаго воспитанія, есть болье отрицательная; какъ бы рано оно ни начиналось, дъйствуя однообразно и односторонне на различныйшія индивидуальности, оно можеть многое, конечно, и худое уничтожить; но развить что-либо въ нравственномъ отношеніи можеть оно только извить. Конечно, и это одно можно назвать положительнымъ результатомъ, но такимъ, который годенъ только для какой-либо односторонней, то-есть отрицательной для другихъ сторонъ, цёли.

А разныхъ сторонъ нашего нравственнаго бытія немало; заставить, наприм'єрь, четырехъ—пятил'єтнихъ д'єтей, по Фребелю, играть въ опред'єленный часъ такъ, въ другой часъ иначе, осмыслять каждую его игру и забаву,—не значить ли д'єйствовать отрицательно, и систематически отрицательно, на свободу такихъ его д'єйствій, которыя, по существу и ц'єли, требують наибольшей свободы? Я, по крайней м'єр'є, не жал'єю, что жилъ ребенкомъ въ то время, когда еще неизв'єстны были Фрёбелевы сады. Но, конечно, общества, приготовляющія себя къ соціальному перерожденію, не могуть не увлекаться воспитаніемъ, об'єщающимъ сд'єлать изъ людей манекеновъ свободы.

Главная немощь духа есть, именно, односторонность его стремленій на пути прогресса.

Вездъ, начиная отъ моды и доходя до фанатизма, мы испытываемъ вліяніе этой немощи.

Но если намъ не суждено узнать всестороннюю истину и всестороннее добро, то мы должны, по крайней мѣрѣ, не слишкомъ довѣрять нашему всегда одностороннему прогрессу. Особливо же осторожно надо относиться къ практическимъ примѣненіямъ добытыхъ имъ истинъ.

Надо помнить, что излюбленное передовыми умами, а за ними и цълымъ обществомъ, направление истины всегда временно и, отживъ свой срокъ, уступаетъ мъсто другому, неръдко совершенно противоположному.

Реакція и въ политикъ, и въ наукъ, и въ искусствъ—вездъ необходимое зло и неизбъжное слъдствіе немощи духа.

Я прожиль только семьдесять лёть, — въ исторіи челов'вческаго прогресса это одинъ мигъ, — а сколько я уже пережиль системъ въ медицинъ и дълъ воспитанія! Каждое изъ этихъ проявленій односторонности ума и фантазіи, каждое примънялось по нъскольку лътъ на дълъ, волновало умы современниковъ и сходило потомъ съ своего пьедестала, уступая его другому, не менъе одностороннему. Теперь, при появленіи новой системы, я могъ бы сказать то же, что отвътиль одинъ старый чиновникъ Подольской губерніи на вопросъ новаго губернатора:

- Сколько лѣть служите?
- -- Честь имълъ пережить уже двадцать начальниковъ губерніи, ваше превосходительство!

О медицинъ скажу постъ; а въ дълъ воспитанія я засталь еще крупные остатки средневъковой школы, видаль въ прусскихъ регулятивахъ и временный ея рецидивъ; былъ знакомъ и съ остатками ланкастерской (еще существовавшей при мнъ въ одесскомъ округъ); присутствовалъ при возобновленіи нагляднаго ученія Песталоцци; былъ современникомъ "Ясной Поляны", псевдоклассицизма и псевдореализма (настоящими я ихъ не называю потому, что они вступали въ школы съ заднею мыслью).

Все было и сплыло.

Но не вездѣ и не всегда старые чиновники переживаютъ двадцать губернаторовъ; но не вездѣ и не всегда обстоятельства благопріятствують частымъ смѣнамъ принциповъ, системъ

и лицъ, а главное — не вездё и не всегда одностороннее влеченіе ума и фантазіи скоро смёняется другимъ; оно, какъ мы видимъ, можеть длиться цёлые вёка, пока на смёну его явится другое. Мы, русскіе, по крайней мёрё, счастливы тёмъ, что односторонности нашего и чужого ума у насъ, какъ губернаторы въ подольской губерніи, недолго (относительно) начальствуютъ. Мы—не евреи и не западные народы: у насъ н'ътъ традицій воспитанія. Мы всё учились "понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь".

Подожду, однако-же, говорить о школь, — я еще не въ школь, и прежде чемъ попаду туда, посмотрю, что дало мнъ домашнее воспитание въ возрасть отъ восьми до двънадцати лътъ, воспоминания о которыхъ остались въ моей памяти уже болье отчетливыми и связными.

Судя по нимъ, я былъ живой и разбитной мальчикъ, но, должно быть, не очень большой шалунъ; не помню, по крайней мъръ, за собой никакой крупной щалости и никакого крупнаго наказанія за шалости. Вообще, я ни дома, ни въ школь не былъ ни разу съченъ; помню только три наказанія отъ матери: пощечину (однажды) за пощечину; я ударилъ въ щеку какого-то мальчика, а матушка, бывшая свидътельницею самоуправства, расправилась точно такъ же сама со мною. Я нахожу это весьма логичнымъ и педагогичнымъ; хотя эта расправа и не излечила меня отъ самоуправства радикально, но неръдко удерживала поднятую уже руку, припоминая мнъ во-время, что и на меня можеть подняться болье сильная рука.

Два другія наказанія ділались, сколько помню, не за шалости, а за капризъ; помню, какъ однажды горько и безутішно рыдаль, выведенный въ переднюю съ запретомъ входить въ другія комнаты; но самое непріятное впечатлініе осталось у меня отъ удара рукою матери, попавшаго мні нечаянно прямо подъ ложечку; сразбіту я вскочиль неожиданно въ комнату, гді матушка была чімть то занята съ сестрами; сгоряча она вскочила, и я прямо животомъ ударился объ ея размахнутую руку. Я какъ теперь помню, что мні захватило духъ, и я повалился на полъ. Скверно было

то, что у меня послѣ этого нечаяннаго удара оставалась долго на душѣ какая-то злоба на мать.

Игры, забавы и занятія въ этомъ возрастѣ должны быть уже весьма внушительны для зоркаго наблюдателя; на нихъ можно основать немало-въроятную прогностику.

Изъ моихъ домашнихъ занятій (до школы), мев кажется, я не отдаваль преимущества ни одному, кром'в чтенія; считать не особенно любиль, но четыремъ правиламъ ариометики научился еще до школы; любилъ также собирать и сушить цветы, разсматривать изображенія животныхъ и растеній и картинки историческаго содержанія, особливо изъ войны 1812-го года, бывшія тогда въ большомъ ходу. Латинская и французская грамматики не возбуждали моего сочувствія; но разборъ частей рёчи изъ русской грамматики быль для меня очень занимателенъ, и я помню, что просиживаль надъ нимъ охотно цёлые часы. Личность учителей играла туть главную роль; учителя русскаго языка я и до сихъ поръ еще вспоминаю, хотя только по воротничкамъ, панталонамъ и рацев; но изъ двухъ другихъ, занимавшихся со мною латынью и французскою грамотою, одного совсёмъ забыль, а другой мелькаеть въ намяти какъ тень какого-то маленькаго человечка.

Вообще, въ домашнемъ воспитаніи до двінадцати літь, я занимался только тімь, что само по себі было для меня занимательно, а культурою моей внимательности никто и не думаль заниматься, — и это я считаю главнымъ пробіломъ моего первоначальнаго воспитанія, тімь боліве, что и потомъ, въ школі и университеть, никто, не исключая и меня самого, на развитіе этой способности не обращаль ни малівшаго вниманія. Слідствіемъ этого пробіла было, какъ я исимталь впослідствіи, то, что я, отъ природы любознательный и склонный къ труду, во многомъ остался невіждою и не пріобріль, когда могъ, тіхъ знаній, которыя мні впослідствіи были крайне необходимы.

Отъ недостатка въ культурѣ внимательности, она потомъ слишкомъ сосредоточилась, и я едва не сдѣлался одностороннимъ по принципу.

Но объ этомъ послё, когда буду говорить о моей юности. Замёчательно, однако-же, что я очень долго не замёчаль

слѣдствій этого пробѣла, пока, наконецъ, додумался до сути. Знай я это прежде, то и при воспитаніи моихъ дѣтей постарался бы болѣе о развитіи этой основной способности человѣческаго знанія, болѣе, чѣмъ всѣ другія, поддающейся нашей культурѣ.

Изъ моихъ дътскихъ игръ и забавъ памятны мит очень двъ главныя; одна изъ нихъ была моею любимою въ школъ, съ моими сверстниками, безъ участія которыхъ она не могла бы и быть, — это игра въ войну; какъ видно, я былъ храбръ, потому что помню рукоплесканія и похвалы старшихъ учениковъ за мою удаль.

Но другая игра весьма замъчательна для меня тъмъ, что она какъ будто приподнимала мнъ завъсу будущаго. Это была странная для ребенка забава и называлась домашними игрою въ лекаря. Происхождение ея и история ея развития такия.

Стариній брать мой лежаль больной ревматизмомъ; болівнь долго не уступала леченію, и уже нівсколько докторовъ поступали на смівну одинъ другому, когда призванъ быль на помощь Ефремъ Осиповичъ Мухинъ, въ то время едва-ли не лучній практикъ въ Москвів.

Я помню еще, съ какимъ благоговеніемъ приготовлялись всё домашніе къ его пріему; конечно, я, какъ юркій мальчикъ, бёгалъ въ ожиданіи взадъ и впередъ; наконецъ, подъёхала къ крыльцу карета четвернею, ливрейный лакей открылъ дверцы, и какъ теперь вижу высокаго, сёдовласаго господина, съ сильно выдавшимся подбородкомъ, выходящаго изъ кареты.

Въроятно, вся эта внъшняя обстановка, приготовленіе, ожиданіе, карета четвернею, ливрея лакея, величественный видъ знаменитой личности—сильно импонировали воображенію ребенка; но не настолько, чтобы тотчасъ же возбудить во мнъ подражаніе, какъ обыкновенно это бываеть съ дътьми: и сталъ играть въ лекаря потомъ, когда присмотрълся къ дъйствіямъ доктора при постели больного и когда результатъ леченія былъ блестящій.

Такъ, по крайней мъръ, я объясняю себъ начало игры, послъ глубокаго, еще памятнаго и теперь, впечатлънія, про-

изведеннаго на все семейство быстрымъ успѣхомъ леченія. Послѣ того какъ, несмотря на всѣ усилія пяти — шести врачей, болѣзнь все болѣе и болѣе ожесточалась, и я ежедневно слышаль стоны и вопли изъ комнаты больного, —не прошло и нѣсколько дней Мухинскаго леченія, а больной уже началъ поправляться. Вѣрно, тогда всѣ мои домашніе, пораженные какъ будто волшебствомъ, много толковали о чудодѣйствіи Мухина; я заключаю это изъ того, что до сихъ поръ сохранились у меня въ намяти разсказы о подробностяхъ леченія. Говорили: "Какъ только посмотрѣлъ Ефремъ Осицовичъ больного, сейчасъ обратился къ матушкѣ:

— "Пошлите сейчась же, сударыня,—сказаль онь,—въ москательную лавку за сассапарельнымъ корнемъ, да велите выбрать такой, чтобы даваль пыль при разломъ: сварить его надо также умъючи въ закрытомъ и на-глухо замазанномъ тъстомъ горшкъ; парить его надо долго; велите также тотчасъ приготовить сърную ванну",—и такъ далъе.

Конечно, такой разсказъ, съ варіаціями, я долженъ былъ слышать неоднократно, а потому долженъ былъ и хорошо его запомнить.

Словомъ, впечатлѣніе, неоднократно повторенное и доставленное мнѣ и глазами, и ушами, было такъ глубоко, что я, послѣ счастливаго излеченія брата, попросилъ однажды кого-то изъ домашнихъ лечь въ кровать, а самъ, принявъ видъ и осанку доктора, важно подошелъ къ мнимо-больному, пощуналъ пульсъ, посмотрѣлъ на языкъ, далъ какой-то совѣтъ, вѣроятно также о приготовленіи декокта, распрощался и вышелъ преважно изъ комнаты.

Это я отчасти самъ помню, отчасти же знаю по разсказамъ, но весьма отчетливо уже припоминаю весьма часто повторявшуюся впослъдствіи игру въ лекаря; къ повторенію побуждали меня, въроятно, внимательность и удовольствіе зрителей; подъвліяніемъ такого стимула, я усовершенствовался и началь уже разыгрывать роль доктора, посадивъ и положивъ нъсколько особъ, между прочими и кошку, переодътую въ даму; переходя отъ одного мнимо-больного въ другому, я садился за столъ, писалъ рецепты и толковалъ, какъ принимать лекарства. Не знаю, получилъ ли бы я такую охоту играть въ лекаря,

еслибы, вмёсто весьма быстраго выздоровленія, брать мой умерь. Но счастливый успёхь, сопровождаемый эффектною обстановкою, возбудиль въ ребенкё глубокое уваженіе къ искусству, и я, съ этимъ уваженіемъ именно къ искусству, началь впослёдствіи уважать и науку.

Игра моя въ лекаря не была дътскимъ паясничаньемъ и шутовствомъ. Въ ней выражалось подражаніе уважаемому, и только какъ подражаніе она была забавна, да и то для другихъ, а для меня болье занимательна.

Не знаю, почему бы, въ самомъ дѣлѣ, уваженіе и возбуждаемый имъ интересъ, привязанность и любовь къ уважаемому предмету не могли быть мотивомъ дѣтскихъ игръ, когда на немъ основаны игры взрослыхъ. Чему, какъ не этому мотиву, обязаны своимъ происхожденіемъ представленія въ лицахъ изъ жизни Спасителя у католиковъ, сцены изъ библейской исторіи на театрѣ прошедшихъ вѣковъ, и теперь еще разыгрываемыя евреями въ праздникъ Аммана?

Какъ бы то ни было, но игра въ лекаря такъ полюбилась мнъ, что я не могь съ нею разстаться и вступивъ (правда, еще ребенкомъ) въ университетъ.

Увидъвъ случайно, въ первый же годъ моего пребыванія въ университеть, камиесьченіе въ клиникь, я на святкахъ у однихъ знакомыхъ вздумалъ потышить присутствующихъ молодыхъ людей демонстраціею на одномъ изъ нихъ видънной мною недавно операціи; я досталъ гдъ-то бычачій пузырь, положилъ въ него кусокъ мъла, привязалъ пузырь между ногъ, въ промежности одного смиренника между гостями, пригласилъ его лечъ на столъ, раздвинувъ бедра, и, вооруженный ножемъ и какимъ-то еще—не помню—домашнимъ инструментомъ, выръзалъ, къ общему удовольствію, кусокъ мъла съ соблюденіемъ Цельзова: tuto, cito et jucunde.

Я вступилъ въ школу одиннадцати — двѣнадцати лѣтъ, зная хорошо только читать, писать, считать по 4-мъ первымъ правиламъ ариеметики и кое-что переводить изъ латинской и французской хрестоматій; но я былъ бойкій, нелѣнивый и любившій ученье мальчикъ.

Родители, и именно мать моя, имъли, судя по нынъшнему,

болте чтых странное понятие о цтях образования. Мать считала его необходимымъ въ высшей степени для сыновей и вреднымъ для дочерей. Мальчики, по ея митню, должны бы быть образованите своихъ родителей, а дтвочки не должны были, по образованию, стоять выше своей матери; впоследстви она горько раскаявалась въ своемъ заблуждении. Отдавая такое предпочтение мальчикамъ, родители не пожалтели своихъ, въ то время уже довольно рграниченныхъ, средствъ для обучения насъ двоихъ (меня и брата Амоса) въ частныхъ школахъ.

Меня отдали въ частный пансіонъ Кряжева, пом'вщавшійся недалеко отъ насъ, въ томъ же приход'є, въ знакомомъ мн'є уже давно, по наружности, большомъ деревянномъ дом'є съ садомъ.

Какъ странна выдержка дётскихъ впечатлёній! Въ эту минуту, когда я вспоминаю о пансіонё Кряжева, неудержимо прыходить на память и сосёдній домикъ дьякона, и алебастровая урна съ воткнутымъ въ нее цвёткомъ въ окнё мезонипа, и дьяконъ Александръ Алексевевичъ Величкинъ за обёднею, на амвонё, въ башмакахъ и черныхъ шелковыхъ чулкахъ. Онъ идетъ мимо меня съ кадиломъ и щиплеть меня мимоходомъ за щеку, а его племянникъ, студентъ-медикъ Божановъ, выставляеть на окнё, къ великому соблазну молельщиковъ, возлё урны черепъ — и киваетъ имъ, заставляя браниться и креститься проходящихъ въ церковь и изъ церкви людей; вслёдъ за этимъ тотчасъ же припоминается и старый, страдавшій пляскою св. Вита, священникъ Троицы въ Сыромятникахъ; онъ едва стоить, безпрестанно вздрагиваетъ, что-то мычить про себя, а все служить и служить.

Почему и для чего уцівлівли всів эти впечатлівнія, да такъ, что воспоминаніе объ одномъ неминуемо влечеть за собою и цівлый рядъ другихъ? Отчего многое другое, несравненно боліве значительное по содержанію и слідствіямъ, безвозвратно исчезло изъ хлама нивому ненужныхъ, пошлыхъ впечатлівній дітства?

Но воть я представляюсь Василью Степановичу Кражеву; предо мною стоить, какъ теперь вижу, небольшой, но плот-

ный господинъ съ враснымъ, какъ піонъ, лицомъ; волоса съ просъдью; на большомъ, усаженномъ угрями, носъ серебряныя очки; изъ-подъ нихъ смотрятъ на меня блестящіе, умные, добрые, прекрасные глаза, и я люблю вмъстъ съ ними и это багровое, какъ піонъ, лицо, и бълыя руки, задававшія не разъ пали моимъ рукамъ; слышу симпатичный, но пронзительный и сотрясающій дътскія сердца голось; и, слыша этотъ грозный нъкогда голось, вижу себя, какъ на-яву, прыгающимъ по классному столу, подъ апплодисменты сидящихъ по объимъ сторонамъ стола зрителей: это ученики, соскучившіеся ждать учителя; вижу—дверь разверзается, очки, красное лицо; несутся по классу приводящіе въ ужасъ звуки; я проваливаюсь чрезъ столъ, и затёмъ уже ничего не помію:—пали линейкою и стояніе на колъняхъ безъ объда сливаются въ памяти съ подобными же наказаніями за другіе проступки.

Да, В. С. Кряжевъ, какъ я теперь понимаю, быль замъчательный педагогъ въ свое время; энергическій, но гуманный; онъ съкъ, и то только два раза въ годъ, не болъе двухъ, уже извъстныхъ намъ, другимъ ученикамъ, своею склонностью къ этого рода наказаніямъ; когда эти два искателя сильныхъ ощущеній вызывались изъ класса наверхъ къ Василію Степановичу, мы знали уже, въ чемъ дъло, и, ухмыляясь или же скорчивъ серьезную мину, посматривали другъ на друга.

Пали линейкою по ладонямъ, впрочемъ въ умѣренныхъ пріемахъ, стояніе на колѣняхъ, оставленье безъ одного кушанья, рѣдко безъ всего обѣда, и, наконецъ, аресть въ классной комнатѣ во время прогулокъ и игръ въ саду,—вотъ всѣ наказанія, которымъ мы подвергались, и я не помню ни разу, чтобы мы роптали на несправедливость или жестокость.

В. С. Кряжеву было уже за пятьдесять; женать быль на нёмкё такихъ же лёть и бездётень. Жена его Анна Ивановна, съ важною физіономіею, также въ серебряныхъ очкахъ, какъ и самъ Кряжевъ, памятна мнё по двумъ впечатлёніямъ, сдёланнымъ на меня: во-первыхъ, ея дебелыми и выставленными для лобызанія руками; къ нимъ прикладывались всё мы ежедневно послё об'ёда; а во-вторыхъ—добродушною ласкою, расточавшеюся этою почтенною дамою всёмъ оставленнымъ безъ прогулки или безъ об'ёда ученикамъ.

Анна Ивановна Кряжева считала себя неразлучною съ пансіономъ особою. Шли ли мы за об'єдъ, или въ церковь — Анна Ивановна была всегда тутъ-какъ-тутъ, вм'єсть съ мужемъ или одна.

Я быль полупансіонерь и об'єдаль вь пансіон'в. Училище наше, върно, пользовалось порядочною репутацією въ Москвы; въ немъ учились дети значительныхъ дворянскихъ фамилій и богатыхъ купцовъ. Я засталъ Мельниковыхъ (братьевъ бывшаго министра путей сообщенія), Ключарева, внязя Волконскаго. Обликъ всёхъ ихъ сохранился ясно въ моей памяти, можеть быть, потому, что Мельниковы (изъ нихъ одинъ уже не учился, а только жиль въ пансіонъ) отличались отъ меня лътами, — они уже были юноши лътъ шестнадцати-семнадцати, -- занятіями и искусствомъ танцовать матлоть; Ключаревъ-близорувостью и искусствомъ рисовать головки; а Волконскій — пажескимъ мундиромъ, въ который онъ облекался въ торжественные дни, и весьма интимнымъ знакомствомъ съ незнакомыми мев вовсе розгами; не проходило месяца, въ который бы онъ не призывался Васильемъ Степановичемъ наверхъ для экзекуціи.

Наши учители, сколько я могу судить теперь, были всъ очень порядочные люди, и за исключеніемъ священника и учителя рисованія, какого-то Евграфа Степановича,—и порядочные педагоги. Самъ Кряжевъ умѣлъ такъ учить, что нѣкоторые его уроки мнѣ и теперь еще памятны. Какъ будто слышу еще его декламацію изъ Лафонтэна:

Triomphez, belle rose, vous montez seule les caresses de Zéphyr.

Знанія новыхъ языковъ Василья Степановича были для насъ предметомъ удивленія; онъ издалъ учебники французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и едва-ли еще не итальянскаго языковъ; самъ преподавалъ намъ эти языки, и я въ теченіе года, благодаря его урокамъ, могъ уже довольно свободно читать, то-есть читать и понимать неизбѣжнаго "Телемака" и другія дѣтскія книги. Ученье нѣмецкому языку шло какъ-то вяло; но все-таки я узналъ его настолько, что кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ и съ помощью лексикона, могъ добраться иногда до

смысла и въ нѣмецкой книжкѣ. И вдругъ, при такомъ слабъйшемъ знакомствъ съ языкомъ, Богъ знаетъ какъ и почему, заучилась и осталась съ тѣхъ поръ въ памяти одна строфа изъ Шиллера:

So willst du treulos von mir scheiden, etc.

Странное дѣло! Я Шиллера читалъ въ первый разъ въ Дерптѣ въ 1830-хъ годахъ; въ московскомъ университетѣ я не читалъ ни одной нѣмецкой книги, и когда поѣхалъ въ Дерптъ, то съ трудомъ могъ прочесть безопибочно нѣсколько строкъ, а между тѣмъ навѣрное знаю и помню, что, пріѣхавъ въ Дерптъ, я зналъ наизустъ семь, восемь этихъ стиховъ изъ Шиллера. Откуда взялась такая выскочка въ памяти?

Учителя исторіи, географіи и математики, братья Терехины, были върно не худые педагоги, если и то немногое, что я узналъ отъ нихъ въ два года, не совсъмъ еще вышло изъ памяти, несмотря на то, что цълый десятокъ лътъ послъ выхода изъ училища я не бралъ въ руки ни одной исторической и математической книги; а то, что я потомъ узналъ самочикою, ръзко могу еще и теперъ отличить въ моей памяти отъ моего школьнаго запаса; помню еще разсказы Терехина объ Аннибалъ, Сципіонъ, о причинахъ второй пунической войны; до императоровъ я въ пансіонъ не дошелъ, и познакомился съ ними гораздо позже.

Изъ уроковъ математики Терехина осталось, правда, еще менте въ моемъ запаст; но это потому, что въ школт я былъ лучнимъ ученикомъ исторіи и русской словесности, а не математики. Между ттыть едва-ли у меня нтыть математической жилки; но она, мить кажется, развивалась медленно, съ лътами, и когда мить захотълось, и даже очень, знать математику — было уже поздно.

Основываясь на собственномъ опыть и на многихъ другихъ примърахт, я считаю математику такою наукою, склонность и способность къ которой не всегда, какъ полагаютъ многіе, развивается въ раннихъ лътахъ; ея изученіе требуеть особаго рода внимательности, слишкомъ разсъянной у способныхъ дътей, и чъмъ живъе способный ребенокъ, чъмъ болъе предметовъ, препятствующихъ сосредоточенію его вниматель-

ности, тъмъ легче можно опибиться въ діагнозъ, не узнавъ во-время и его способности въ математикъ. Между тъмъ развить во-время у способнаго ребенка математическую жилку—важное дъло, сильно вліяющее на будущность.

Сколько я помню, мить особливо не нравился уровъ алгебры. И можно ли возбудить внимательность ребенка отвлеченнымъ предметомъ, не объяснивъ его значенія и нагляднаго примъненія, да еще въ наукт, не допускающей воздтиствія на внимательность словомъ? Еслибы меня не учили въ одно и то же время и извлеченію кубическихъ корней, и алгебрт, и геометріи, а заняли бы мое вниманіе постепенно однимъ предметомъ за другимъ, то я убъжденъ, что изъ меня вышелъ бы не плохой математикъ, каковъ я есмь.

Геометрію я любиль, но, усталый отъ непонятной алгебры, пропускаль многое безь вниманія и на урокъ геометріи; а то, что слушаль со вниманіемь, удержаль въ памяти и до сихъ порь, и на вступительномъ экзаменъ въ московскій университеть получиль даже отъ Чумакова, профессора математики, похвалу за то, что безъ доски, чертя рукою по воздуху, объясняль свойства параллельныхъ линій и Пиоагоровыхъ штановъ.

Въ ученьи географіи быль, въ то время, огромный пробъль, сильно тормазившій распространеніе знаній о землі въ учащемся поколініи. Тормазъ этоть существоваль еще и чрезъ тридцать літь послі того, какъ я вышель изъ шволы.

Физическая географія, самая инструктивная и основная, какъ знаніе, была въ полномъ пренебреженіи со стороны учебнаго въдомства. Въ то время, когда еще читались и были въ ходу такія книги, какъ "Разрушеніе Коперниковой системы" (изданное въ Москвъ священникомъ Сокольскимъ), въ школъ мы получали какія-то отрывочныя понятія о земномъ шаръ, и никто изъ воспитателей не обращалъ нашего вниманія на сводъ неба.

Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь въ лунную и звёздную ночь указалъ намъ на небесный сводъ; самый земной шаръ, хотя и изображенный на классномъ глобусъ, былъ для насъ скоръе чъмъ-то отвлеченнымъ, нежели нагляднымъ. О нъмыхъ картахъ, планетахъ, и т. п., не было и помину.

Нельзя себъ представить, съ какимъ живымъ любопытствомъ я, чревъ двадцать-пять лътъ послъ моего выхода изъ школы, въ первый разъ въ жизни, разсмотрълъ нъмыя карты частей свъта, и какъ новы показались мнъ представленія земли отъ взгляда, брошеннаго на эти карты.

И долго еще и послѣ того, пригоднѣйшая для развитія дѣтскаго соображенія и внимательности наука была еще въ непонятномъ пренебреженіи и вабытьи.

Что, вазалось бы, всего проще, естественные и дыльные, какъ не обращение перваго же внимания ребенка на обитаемую имъ мыстность, на кругозоръ, небесный сводъ, на то именно, что подъ нимъ, вокругъ его и надъ нимъ; на настоящее, а не на прошедшее; между тымъ именно география позже всыхъ другихъ наукъ сдълалась воспитательною. Это не даромъ, — есть причина. Какая?

Начать съ того, что географія, въ современномъ ея видѣ, наука относительно новая, а способы ея изученія почти новорожденные, тогда какъ другіе предметы дѣтскаго и школьнаго образованія стары, и, за исключеніемъ немногихъ, ровестники европейской цивилизаціи.

Сверхъ того, математическая сторона географіи требуетъ нѣкотораго умѣнья оріентироваться и представлять себѣ отношенія различныхъ величинъ и разстояній; а въ раннемъ дѣтствѣ, если и можно у ребенка развить эти способности, то не иначе, какъ черезъ-чуръ сосредоточивая его внимательность туда именно, куда она всего менѣе влечется.

Чувственная внимательность въ раннемъ возрастъ, сама по себъ, вся обращена на ближайте, окружающе ребенка, или кажущеся ему близкими, предметы; а въ то же время развивающееся воображене привлекаетъ ее въ отдаленное пространство и время, то-есть въ недъйствительность; происходить нъчто въ родъ антагонизма между двумя влечениями или токами внимательности. Съ одной стороны, глазъ ребенка занятъ разсматриваниемъ новыхъ или привлекательныхъ для него формъ, цвътовъ, движеній окружающихъ предметовъ; а съ другой стороны — сло во увлекаетъ его въ далекія страны и въ давно прошедшія времена, — вонъ изъ окружающей дъйстви-

тедьности. Слишкомъ напрячь въ одну сторону или сосредоточить внимательность въ этомъ період'в развитія—значило бы насиловать ее и мъшать нормальному ходу ея развитія.

Слово, съ самыхъ раннихъ лътъ, оказывало на меня, какъ и на большую часть дътей, сильное вліяніе; я увъренъ даже, что сохранившимися во митъ до сихъ поръ впечатлъніями я гораздо болье обязанъ слову, что чувствамъ. Поэтому немудрено, что я сохраняю почти въ цълости восноминанія объ урокахъ русскаго языка нашего школьнаго учителя Войцеховича; у него я, ребенокъ двънадцати лътъ, занимался разборомъ одъ Державина, басенъ Крылова, Дмитріева, Хемницера, разныхъ стихотвореній Жуковскаго, Гитъдича и Мерзлякова. О Пушкинъ въ школахъ того времени, какъ видно, говорить не позволялось.

Войцеховичь умѣль отлично занимать насъ разсказами изъ древней и русской исторіи, заставляя насъ къ слѣдующему уроку написать, что слышали, и изложить свое мнѣніе о геров разсказа, его дѣйствіяхъ, характерѣ, и т. п. Ни на одинъ урокъ я не шелъ такъ охотно, какъ въ классъ Войцеховича; въ немъ все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокій и нѣсколько сутуловатый, съ добрыми, голубыми глазами, Войцеховичъ (кандидатъ московскаго университета) одушевлялся на урокѣ такъ, что одушевлялъ и насъ; я былъ, судя по отличнымъ отмѣткамъ, которыя онъ мнѣ всегда ставилъ въ классномъ журналѣ, лучшимъ изъ его учениковъ и, должно быть, этимъ держалъ на караулѣ мою внимательность.

На урокахъ же Войцеховича я познакомился съ "Письмами русскаго путешественника" и русскою исторіею Карамзина (тогда еще новинкою), "Пантеономъ русской словесности", и читалъ потомъ, въ не-классное время, съ увлеченіемъ эти книги. Я могу сказать, что и русскую исторію узналъ почти впервые изъ уроковъ русскаго языка; особаго преподавателя русской исторіи, сколько помню, не было въ пансіонѣ Кряжева.

Нашъ славный, добрый Войцеховичъ, должно быть, не уцълълъ; я его видълъ потомъ въ университетской клиникъ съ костоъдою (въроятно, туберкулозною) тазобедреннаго сустава; посъщениемъ моимъ онъ былъ и тронутъ, и удивленъ, услы-

шавъ, что я пошелъ по медицинскому, а не по словесному факультету.

Но если я не могу равнодушно вспомнить о педагогичесвихъ достоинствахъ Войцеховича и всегда съ благодарностью произношу его имя, то такъ же неравнодушно, только съ другой стороны, вспоминаю учителя латинскаго языка, попа, — имени не помню; за доброту и чрезмёрную мягкость души, пожалуй, приличнъе бы было его величать священникомъ, но за ученье онъ не стоить названія и попа, а развѣ только попика. Это было вакое-то вялое, безжизненное, хотя и добрейшее существо, среднихъ лътъ и довольно благообразное въ своей темнолиловой шелковой рясъ. Боже мой! что это были за уроки! Если бы я самъ, любя-почему? и самъ не знаю-латинскій языкъ, не занимался дома, не зубрилъ грамматики Кошанскаго, многаго вовсе не понимая, и не переводилъ кое-чего изъ Корнелія Непота и латинской хрестоматіи, съ помощью лексикона Өомы Розанова, то верно не зналь бы и того немногаго изъ латыни, съ которымъ я поступиль въ московскій университеть.

Между тёмъ, къ моему горю, я убъжденъ, что могъ бы быть порядочнымъ латинистомъ; впослъдствіи, познакомившись нъсколько съ римскими классиками, я одинъ, безъ руководителя, съ наслажденіемъ, читалъ ихъ; не прощу, однако-же, никогда ни попу-учителю, ни Горацію за трудъ, истраченный мною безуспъшно въ пріискахъ сокровеннаго смысла его стиховъ

Впрочемъ, къ утѣшенію моему, я убѣдился, что не меня одного ничему не научили попы; въ московскомъ университетѣ я встрѣчалъ потомъ и старыхъ семинаристовъ, не больше моего успѣвшихъ въ пониманіи Горація. Какъ предъ собою вижу стараго студента изъ семинаристовъ, медика Тихомірова, памятнаго для меня, тогда безусаго мальчика, и по темно-синему цвѣту выбритыхъ щекъ и подбородка; я, шестнадцатилѣтній мальчинка, вздумалъ составлять по какимъ-то старымъ книгамъ руководство въ химіи для студентовъ и, написавъ предисловіе, показаль его другому товарищу-студенту; тотъ, какъ видно, бывъ гораздо умнѣе меня, написалъ на заглавномъ листѣ моей рукописи: попиш ргешатиг іп аппиш, Ногат.; только промахнулся на ореографіи, и вмѣсто аппиш хватилъ: апиш. Прочи-

тавъ это, я погрузился въ размышленіе: что сей сонъ значить, и приглашаю на совъть стараго Тихомірова; онъ, читая, также погружается въ раздумье.

— "Знаете, — говорить мнв, — въдь это неловко, сально выходить: prematur, знаете, прижимается какъ бы или втискивается что-ли, а потомъ in anum; это, это—сально; не обращайтесь съ этимъ господиномъ; онъ долженъ быть свинья".

Такъ мы и не разобрали Горація, и только черезъ нъсколько дней послѣ этого происшествія я раскусиль, въ чемъ дѣло, и поблагодарилъ разумнаго, хотя и незнакомаго съ римскою ореографією, товарища за добрый совѣтъ.

Казалось бы, каждый учитель, прошедшій самъ школу, долженъ и по себ'є знать, какъ долго, на ц'алую жизнь нер'єдко, остаются въ памяти добрыя и худыя д'ала наставниковъ; а между тымъ большей части наставниковъ отъ этого ни тепло, ни холодно, и такіе попы, какъ мой школьный учитель латыни, и теперь еще не р'єдкость.

Про законъ Божій я и не говорю; уже, конечно, не катехизисомъ и не священною исторією, въ ея школьномъ нарядѣ, могъ онъ привлечь моє вниманіе, когда не умѣлъ этого сдѣлать классицизмомъ.

Изъ этого обзора моихъ швольныхъ занятій я заключаю, что первоначальное мое ученіе не основывалось ни на какомъ принципъ; оно не было ни классическимъ, ни реальнымъ. Всего болье знанія я вынесъ по двумъ языкамъ: русскому и французскому; на обоихъ могъ я читатъ и понимать читанное, могъ и писать. Къ нашему позору, насъ учили также и говорить по-французски, давая марки, оставляя безъ одного кушанья и безъ гулянья за несоблюденіе правила говорить внъ классовъ между собою по-французски.

Да, я считаю позоромъ для насъ, русскихъ, что наши родители, воспитатели и само правительство поощряли эту поскудную, пошлую и вредную мъру. Говорить дътямъ и недътямъ одной народности между собою на иностранномъ языкъ, безъ всякой необходимости, для какого-то безпъльнаго упражненія-то, по моему, верхъ нельпости, и, главное, нельпости вредной, мешающей развитию и мысли, и отечественнаго языка. Много я думаль объ этомъ при воспитаніи моихъ дітей; я нивль средства воспитать ихъ въ упражненіяхъ на французскомъ діалекть, и, въроятно, этимъ повліяль бы благотворно на ихъ будущую карьеру въ нашемъ обществъ; но я не могъ преодольть въ себь отвращения оть этого нельнаго способа образованія дітей. Мыслить на двухъ и трехъ язывахъ, и даже мыслить на винегреть изъ трехъ языковъ, каждому изъ насъ возможно; но чтобы мыслить всестороние, ясно и отчетливо на чужомъ язывъ, нужно знать его съ пеленовъ, точно такъ же, какъ свой родной, и, пожалуй, лучше своего, или же изучить этоть чужой языкь глубоко, какь изучить его тоть, кто видить въ немъ единственное средство въ пріобретенію вавого-нибудь знанія или въ достиженію вакой-либо ціли жизни.

Тавъ, два и три языка дёлаются родными для жителей пограничныхъ провинцій, для дѣтей смѣшанныхъ браковъ; а изъ обитателей окраинъ современные евреи мыслять и говорять на какой-то смѣси семитическаго и двухъ или трехъ арійскихъ нарѣчій.

Такъ, въ прошлыхъ въкахъ, всъ почти ученые и передовые люди разныхъ націй, изучившіе глубоко латинскій языкъ, и мыслили на немъ, и писали, и говорили между собою.

Руссвія дѣти не подходять ни подъ одно изъ этихъ условій; всѣ почти учатся разговорному чужому языку въ пяти—восьмилѣтнемъ возрастѣ у боннъ, гувернантокъ и гувернеровъ. Между тѣмъ, еще задолго до этого возраста, какъ только ребенокъ начинаетъ лепетатъ, —родное слово вступаетъ въ неразрывную связь съ племенною мыслью (о наслѣдствѣ въ юности которой едва-ли можно сомнѣваться). Возможно ли же чужому слову нарушать это право родного языка безъ вреда для процесса мышленія и не нарушая его нормальнаго развитія?

Вредъ состоить въ томъ, что внимательность ребенка, вмѣсто того, чтобы постепенно углубляться и сосредоточиваться на содержаніи предметовъ, и тѣмъ служить въ развитію процесса мышленія, остается на поверхности, занимаясь новыми именами знакомыхъ уже предметовъ. Такимъ образомъ, стараясь сдѣлать для дѣтей языкъ своимъ или почти роднымъ, мы въ большей части случаевъ достигаемъ одного изъ двухъ результатовъ. Или ребенокъ, излагая что-либо на чужомъ языкъ, будетъ только пріискивать слышанныя и затверженныя имъ иностранныя слова и фразы, для замѣны ими словъ и выраженій родного языка; въ этомъ случать внимательность ребенка привыкаетъ останавливаться на одномъ внѣшнемъ, на формъ слова, и оставляетъ содержаніе въ сторонъ, нетронутымъ; впослѣдствіи это направленіе внимательности можетъ сдѣлаться привычнымъ, а мышленіе поверхностнымъ и одностороннимъ. Или же ребенокъ, дѣйствительно, начнетъ думать не на одномъ своемъ, а на разныхъ языкахъ; но на каждомъ изъ нихъ, въ большей части случаевъ, кругозоръ мышленія едва-ли можетъ быть всестороннимъ и неограниченнымъ.

Только геніальные люди, и то въ исключительныхъ случанхъ, могли мыслить и излагать свои мысли о различныхъ предметахъ знанія на чужомъ языкъ такъ же полно, такъ же глубовомысленно и ясно, какъ и на своемъ родномъ.

Но и даровитые люди, изучавшіе съ малолітства правтически и научно французскій языкъ, думали и писали на немъ, какъ на родномъ, только въ извістномъ, ограниченномъ кругі мышленія. Пушкинъ, напримітрь, писавшій и говорившій пофранцузски не хуже природнаго француза, былъ бы, вітрно, плохимъ французскимъ поэтомъ.

Бисмаркъ при мив говориль, что ему такъ же легко написать дипломатическую ноту по-французски, какъ и но-ивмецки, котя ему легче говорить и писать на родномъ языкъ. И про себя я знаю, что во время моей профессуры въ Дерптвмив легче было читать и писать о научныхъ (медицинскихъ) предметахъ по-ивмецки, чвмъ по-русски; читая и пиша, я и думалъ по-ивмецки; ивмцамъ, читавшимъ писанныя мною лекціи, приходилось исправлять весьма немногое, только ивкоторые падежи и незначительныя слова,—между твмъ говорить и писать по-ивмецки о другихъ предметахъ я могъ не иначе, какъ переводя съ русскаго на ивмецкій языкъ.

Я полагаю, что такой степени знанія иностраннаго языка совершенно достаточно для каждаго, видящаго въ языковнанін

лишь одно научное средство къ обладанію знаніемъ самаго предмета. Достигнуть же этой степени знанія языка можно и не рискуя нарушить у ребенка нормальный ходъ развитія внимательности и мышленія. Я вынесь изъ школы только одну нѣмецкую грамоту, да и то произношеніе мое было черезъчуръ неправильно, и несмотря на это, начавъ учиться понѣмецки, — уже бывъ лекаремъ въ семнадцать лѣтъ, — я въ теченіе пяти лѣтъ могъ уже читать, говорить и писать понѣмецки весьма порядочно.

И я остаюсь убъжденнымъ въ томъ, что нашъ обычный способъ обученія малольтокъ — едва не грудныхъ младенцевь — французскому и англійскому языкамъ — нельпъ; онъ позорить національное чувство, нисколько не содъйствуя къ распространенію научныхъ знаній и къ распиренію мыслительнаго кругозора въ нашемъ отечествъ. Этотъ способъ можно бы было предоставить только однимъ, готовящимся съ пеленокъ вступать въ ряды извъстнаго рода спеціалистовъ (дипломатовъ, драгомановъ, посланнивовъ и царедворцевъ).

Можно ди ждать быстраго прогресса въ развити родного языка, племенной мысли, науки и искусства въ странъ, гдъ около трона, въ высшихъ кругахъ, въ салонахъ, дътскихъ, будуарахъ, слышится говоръ туземцевъ на чуждомъ имъ языкъ и гдъ знаніе его сдълалось не средствомъ, а цълью образованія?

Это превращеніе временнаго средства въ конечную ціль лишило нась научной и классической литературы, послуживь, вмість съ тімь, препятствіемъ распространенію охоты къ чтенію на русскомъ языкі. Научались европейскимъ языкамъ съ малолітства только въ верхнихъ слояхъ общества и только для себя, для своего круга, для салона, для каррьеры, такъ какъ знаніе иностраннаго языка было вывіскою образованія; а кто изъ этого класса хотіль читать, тому, конечно, не нужны были книги на русскомъ языків. А когда къ образованію начали стремиться и низшіе общественные слои, не имівшіе возможности познакомиться съ европейскими языками въ дітстві, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русскомъ языкі; въ ней не было породы бізлой кости.

И вотъ культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхній, обладавшій всіми средствами къ прочному образованію, но по своему рожденію, положенію, предразсудкамъ, и т. п., не призванный къ серьезному научному труду, не нуждающійся ни въ отечественно-научной литературів, ни въ переводів на русскій классическихъ произведеній другихъ народовъ; другой слой, нижній, почти ціликомъ составимся изъ пролетаріата; безъ знанія европейскихъ языковъ, безъ всякихъ средствъ, послів нелівпой школьной подготовки, вступала молодежь этого слоя въ высшія учебныя заведенія, и, желая научиться, для изученія какого бы то ни было предмета, не находила ни одного порядочнаго руководства на русскомъ языків. Но на эту тему мнів придется еще говорить потомъ не мало.

Впрочемъ, и то сказать, — виновато въ нелѣпостяхъ нашихъ системъ образованія не столько общество, сколько внѣшнія обстоятельства при высшихъ соображеніяхъ, а чаще, кажется, при недостаткѣ и даже полномъ отсутствіи здраваго смысла.

Сверхъ многихъ незнаній, я вынесъ изъ школы и еще одно, благодаря Бога, не повредившее мев въжизни; это было незнаніе танцовальнаго искусства. Въ мое оправданіе я скажу, что еслибы нашъ танцмейстеръ Лилвевъ и нашъ учительпопъ переменялись своими ролями, то я верно бы умель и танцовать, и переводить Горація, вступая въ московскій университеть. Хотя для обученія латинскому языку и не требовались толстыя ляжки и икры Лилевва, а для танцевъ лиловая ряса попа не только не была нужна, но даже препятствовала бы движенію ногъ въ антраша и матлоть, я убъжденъ, однако-же, что строгая выдержка, систематическая, чисто научная, последовательность и энергія, которыя нашъ танцмейстерь прилагаль въ обучению насъ въ искусствъ дълать разныя на, произвели бы на меня совершенно другое действіе, еслибы были применены къ урокамъ латинскаго языка. И наобороть, еслибы въ танцовальномъ классъ, гдъ свирвиствовалъ Лилѣевъ, предо мною явился нашъ тихій и мягвосердечный попикъ, я не бъгалъ бы и не скрывался отъ танцовальныхъ уроковъ, какъ отъ грозы небесной.

Тавимъ я остался и до сихъ поръ (1881 г.), что не могу

смотръть на предметы забавы и разсъянія какъ на серьезныя дъла. Поэтому, върно, я не учился играть въ шахматы и въ карты. Карть, исключая игры въ мельники и дурачки (въ мельники я игралъ нъкогда, именно въ студенческіе годы, въ Дерптъ, въ семействъ Мойера, съ энтузіазмомъ и мастерски), я избъгалъ и по другой причинъ.

Когда за гробомъ отца я шелъ съ старшимъ братомъ, то онъ, со слезами на глазахъ, глубоко взволнованный, схватилъ меня за руку и сказалъ:

— "Слушай, Ниволай, клянись мнѣ на гробъ отца, что не будешь нивогда играть въ карты! Онъ погубили меня".

Я поклялся, и всю жизнь мою ни разу не садился играть ни въ какую денежную или азартную игру, и ни одной изъ нихъ не знаю; въ дураки же и мельники я умъть играть еще въ дътствъ.

Во время моего двухъ-летняго школьнаго ученья на нашемъ семействе стряслась не одна беда.

Сначала умерла, послѣ родовъ, старшая замужняя сестра, потомъ, чрезъ годъ, умеръ въ кори мой братъ Амосъ; другой старшій братъ, Петръ, что-то накуралесилъ по службѣ, про-игравшись въ карты, женился на какой-то невзрачной особѣ безъ позволенія отца. Наконецъ, пришла бѣда, въ конецъ разорившая насъ.

Отецъ мой, несмотря на свою службу въ коммиссаріатскомъ военномъ въдомствъ, навърное не бралъ взятокъ. Онъ получалъ хорошій доходъ отъ частныхъ дълъ, которыя онъ умълъ, какъ я слыхалъ потомъ, вести хорошо.

Существованіе наше до стрясшихся надъ нами бёдъ было вполнѣ обезпеченное, но кутежи, мотовство и растрата казенныхъ денегъ братомъ стоили отцу не мало денегъ и заботъ, а гуть вдругъ, нежданно-негаданно, падаетъ, какъ снѣгъ, на его озабоченную голову воровство коммиссіонера Иванова, отправленнаго куда-то на Кавказъ съ порученіемъ отвезти туда 30,000 рублей. Ивановъ исчезаетъ съ деньгами, и—не знаю, на какомъ основаніи—присуждается казначей, —мой отецъ, — къ взносу значительной части этой суммы. Было ли тутъ со стороны отца какое упущеніе или несоблюденіе формальностей—

до меня не дошло, но помню, что отецъ горько жаловался на несправедливость. Въ концъ концовъ пришлось уплатить, а для этого пришли описывать все имъніе и все наличное въ казну; описали домъ, мебель, платье; помню, какъ матушка и сестры плакали, укладывая въ сундуки разный хламъ.

Послѣ этой катастрофы отець вышель вь отставку, занялся исключительно частными дѣлами по имѣніямъ; но прежняя энергія уже не возвращалась; пришлось войти въ долги, и въ перспективѣ открывалась бѣдность; только съ трудомъ хватало средствъ на мое образованіе, и мнѣ приходилось скоро оставить школу.

Нравственность моя много потеритла во время этихъ бъдъ.

Кавъ ни любила меня семья, но, разстроенная и горемычная, она не могла услёдить за поведеніемъ живого, рёзваго и нервнаго мальчика; къ тому же это была пора рановременнаго развитія моихъ половыхъ отправленій; меня начали интересовать портреты женщинъ, описываемые въ повъстяхъ и романахъ, картинки съ изображеніемъ женскихъ прелестей; а туть подвернулся еще молодой писарь отца, какъ видно - обожатель женскаго пола, для обольщенія котораго онъ пускать въ ходъ гитару съ припъвомъ: "взвейся, выше понесися, сизокрылый голубовъ". Имя этой твари — Огарковъ — сохранилось въ моей памяти до сегодня; оно пережило и тъ скверныя впечатленія, которыми онъ развращаль меня; разсказы его интересовали меня новизною содержанія, и я искаль случая поговорить съ нимъ наединъ. Какихъ сальностей ни наслышался я отъ этого пошляка! Чего ни показывалъ онъ мив. и табакерки съ сальными изображеніями въ серединв, подъ крышкою...

Въ школъ, которую я въ то же время посъщалъ, шли неръдко, въ внъ-классные часы, разговоры такого же рода; мы, мальчишки, толковали о прелестяхъ дъвушекъ, видънныхъ нами въ церкви, въ гостяхъ, пересказывали о занятіяхъ и свойствахъ своихъ сестеръ; сообщались и болье глубокія свъденія о различіи половъ; оказывалось, что каждый изъ насъ, учениковъ, успълъ уже пріобръсти дома порядочный запасъ **са**льныхъ свёденій, которыя и сообщаль охотно и, сколько можно, наглядно своимъ товарищамъ.

Казалось бы, что, воспитанный въ домѣ весьма набожной семьи, я долженъ былъ найти въ религіи сильный внутренній оплотъ противъ напора внѣшнихъ развращающихъ меня побужденій. Но, во-первыхъ, я сказалъ уже, что эти внѣшнія побужденія совпали съ раннимъ развитіемъ половыхъ инстинктовъ. Что же касается до религіознаго вліянія, то оно было sui generis. Это важнѣйшая статья въ моей жизни.

Последователи Галловой враніоскопіи верно нашли бы у меня немало развитымъ органъ теософіи.

Мои религіозныя уб'єжденія им'єли н'єсколько фазисовъ, и каждый изъ нихъ совпадаль съ изв'єстнымъ возрастомъ и съ нравственными и житейскими переворотами. Но не буду заб'єтать впередъ и остановлюсь сначала на моей религіи при вступленіи въ юношескій возрасть (отъ дв'єнадцати до четырнадцати л'єть), еще живо сохранившейся въ моей памяти.

Я сказалъ, что вся наша семья была очень наоожна, и всъ ея члены, за исключениемъ меня (а можетъ быть, и старшаго брата, умершаго пятидесяти лътнотъ холеры, въ 1849 г.),— отецъ, мать и сестры—такими же набожными оставались и до самой смерти.

Покойница-матушка, умирая въ 1851 году на моихъ рукахъ, соборовалась передъ смертью, и последнія ея слова были: "вёрно, я страшная грешница, что такъ долго мучаюсь предъ смертію"; сказавъ это, она издала последній вздохъ и скончалась.

И отецъ, и мать проводили цёлые часы за молитвою, читая по требнику, псалтирю, часовнику и т. п. положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны; не пропускалась ни одна заутреня, всенощная и обёдня въ праздничные дни. Я долженъ былъ строго исполнять то же.

Я помню, какого труда мнѣ стоивало осилить акафистъ Іисусу Сладчайшему; помню, какъ непонятнымъ, но неизбѣжнонеобходимымъ представлялось мнѣ чтеніе: "блаженъ мужъ,
иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, и, живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ (я читалъ: въ крови) Бога небеснаго водворится".

Помню, какъ меня, полусоннаго, заспаннаго, одъвали и водили къ заутренямъ; не разъ, отъ усталости и ладаннаго чада въ церкви, у меня кружилась голова, и меня выводили на свъжій воздухъ.

О соблюденіи постовъ и постныхъ недѣльныхъ дней и говорить нечего. Чистый понедѣльникъ, сочельники, великій пятокъ считались такими днями, въ которые не только ѣсть, но и подумать о чемъ-нибудь не очень постномъ считалось уже грѣхомъ. Мяса въ великій пость не получала даже и моя любимица, кошка Машка.

Евангеліе въ зеленомъ бархатномъ переплетѣ съ изображеніями на эмали четырехъ евангелистовъ, закрытое серебряными застежвами, стояло предъ кивотомъ съ образами. Мнѣ его не читали ни дома, ни въ школѣ. Иногда только я видалъ отца читавшимъ изъ Евангелія во время молитвы, но потомъ оно закрывалось, цѣловалось и ставилось снова подъ образа.

Упражняясь ежедневно въ чтеніи часовника за молитвою, я зналь наизусть много молитвъ и псалмовъ, нимало не заботясь о содержаніи заученнаго. Значеніе славянскихъ словъ мнѣ иногда объяснялось; но и въ школѣ отъ самого законоучителя я не узналь настолько, чтобы понять вполнѣ смыслъ литургіи, молитвъ и т. п. Заповѣди, символъ вѣры, "Отче нашъ", катехизисъ,—все это заучивалось наизустъ, а комментаріи законоучителя хотя и выслушивались, но считались чѣмъ-то неидущимъ прямо въ дѣлу и несущественнымъ. Съ ранняго дѣтства внушено было убѣжденіе другого рода.

Слова молитвъ, также какъ и слова Евангелія, слышавшівся въ церкви, считались сами по себъ, какъ слова, святыми и исполненными благодати Святого Духа; большимъ гръхомъсчиталось переложить ихъ и замънить другими; духъ старообрядчества, только уже Никоновскаго старообрядчества, былъгосподствующимъ. Самые слухи о переложеніи святыхъ книгъ или молитвъ на общепонятный русскій языкъ многими принимались за гръховное навожденіе.

И вотъ, воспитанный въ такомъ религіозномъ направленіи, я до четырнадцати лътъ не слыхалъ положительно ничего вольнодумнаго; только однажды, помню, В. С. Кряжевъ сказаль намь въ классъ, что Апокалипсись есть произведеніе поэта и не можеть считаться священною книгою.

Несмотря, однако-же, на мое, вселенное во мит съ колыбели, благочестіе, несмотря на набожность родителей и примърно хорошія отношенія ко мив всей семьи, я все-таки усивлъ научиться въ последніе два года (отъ двенадцати до четырнадцати) такимъ вещамъ, которыя, казалось бы, должны были возбудить во мив отвращение, а не любопытство. Въдь не притворялся же я, совершая ежедневно умиленныя молитвы, не смъя и подумать о чемъ противномъ нашей обрядной въръ и церкви! Нъть, это было — я помню навърное самое искреннее и глубовое уважение ко всемь таинствамъ веры и непритворное вившнее богопочитание. И въ тв же самые дни, когда я, утромъ и вечеромъ, горячо молился предъ иконами, клалъ земные повлоны и просилъ избавленія отъ лукаваго, этотъ безшабашный господинъ увлекалъ меня слушать мерзкія пов'єствованія писаря Огаркова и пахабныя п'єсни кучера Семена, не вытирающіяся, какъ глубоко въввшаяся грязь, еще до сихъ поръ изъ моей памяти.

Какое же заключеніе можно сдёлать изъ такихъ психическихъ странностей?

Умъ простой, практическій, народный, ищущій причину вблизи дъйствія и факта, объяснить легво этого рода странности. Онъ найдеть ихъ причину во злѣ, залѣзающемъ въ насъ откуда-то извнѣ или же родящемся вмѣстѣ съ нами; а самое это зло тотчасъ же олицетворить, сдѣлаеть летучимъ или ползучимъ существомъ, сидящимъ, напримѣръ, съ роду, на лѣвомъ плечѣ ребенка и нашептывающимъ ему разныя пакости. Умъ поповскій объяснить это, ссылаясь на непреложный для него авторитеть, допотопнымъ происшествіемъ, случившимся у древа познанія добра и зла, что, въ сущности, выйдеть одно и то же, только въ другомъ видѣ, — на прирожденное намъ и извнѣ, когда-то, взошедшее въ насъ зло.

Я полагаю, что основаніемъ всёхъ этихъ объясненій служить всёми нами и каждымъ изъ насъ испытанное и постоянно испытываемое ощущеніе.

Какъ скоро я моимъ дъйствіемъ и даже мыслью выхожу изъ обыкновенной колеи, удовлетворяя какому-либо минутному

влеченію или всецьло поддаваясь ему, это влеченіе производить на меня ощущеніе чего-то внішняго, не моего, и меня болье или менье, хотя бы и не безъ наслажденія, насилующаго. Немудрено, что на первыхъ порахъ каждому, не отдавшемуся всецьло этимъ влеченіямъ, они кажутся посторонними, извні дійствующими силами и существами; нетрудно потомъфантазіи придать имъ и страшный, хотя бы и все-таки человіческій видъ или хоть какое-нибудь человіческое свойство, и это, віроятно, потому, что мы, и обманутые ощущеніемъ внішности, не перестаємъ все-таки чувствовать его и внутри себя. "Я не хочу ділать зло и ділаю его", сказаль бывшій талмудисть, а потомъ вдохновенный апостоль;—а кучеръ Николай, убившій корчмаря-еврея въ Виниці, на вопрось антекаря Якубовскаго (знавшаго этого Николая давно за человіна добраго и смирнаго) какъ это могло случиться? отвіналь:

— "Чортъ попуталъ; больше ничего, какъ одинъ чортъ; ничего другого не знаю".

И дъйствительно, всъ увъряли, что кучеръ Николай никогда не былъ ни пьяницею, ни воромъ, служилъ у одногохозяина долго и честно, въ деньгахъ не нуждался, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, ночью пошелъ на край города въ корчму, убилъ, взялъ нъсколько рублей изъ корчмы и ушелъ.

Эта тяга, влекущая насъ въ выходу изъ обывновенной, проложенной нами самими или другими для насъ, колен, есть, по моему, чисто органическая, и когда результатомъ этой тяги бываетъ зло, то и зло такое проявится также на почвъ органической. Въ такомъ случав воспитанію приходится вести борьбу съ организмомъ. До поры и до времени борьба эта можетъ вестись весьма удачно; неръдко воспитатель поздравляеть уже себя съ благополучнымъ окончаніемъ своей задачи, вакъ вдругъ, неожиданно, случается катастрофа.

Органическія влеченія, дремавшія въ полуразвитыхъ органахъ, пробуждаясь, заявляють о себі, какъ будто случайно, при самыхъ незначительныхъ обстоятельствахъ.

. Но, можеть быть, именно то религіозное направленіе, въ которомъ я воспитывался, не въ состояніи было предотвратить зло, нанесенное моей нравственности извит; можеть быть, другое религіозное направленіе, менте обрядное и болте за-

душевное, отстранило бы отъ меня искушеніе и одержало бы верхъ надъ развившеюся чувственностью?

Не думаю.

Религія, и именно религія христіанская, вліяєть на нравственность дѣтей только двумя путями: вселяя въ ребенка искреннюю любовь къ Богу, страхъ божій. Я не помню, какъ и въ какой степени вселяли въ меня любовь къ Богу, и увѣренъ, что развитіе этого благодатнаго чувства въ душтѣ ребенка не зависить отъ догматовъ и исповѣданія той или другой религіи.

Но если несомивнно, что начало премудрости есть страхъ Господень, то несомивнно и то, что это начало мив было сообщено.

Я почиталь и боялся.

Но, конечно, въ моемъ понятіи Богъ, церковь, таинства, служители церкви и обряды составляли нераздёльное цёлое. Полагаю, что понятіе о Богѣ и у дѣтей другихъ исповѣданій не яснѣе моихъ бывшихъ.

Я помню еще до сихъ поръ, съ какимъ страхомъ и трепетомъ я, рыдая, просилъ однажды прощенія у Бога за то, что, по увѣренію старшей моей сестры, оскорбилъ Его, отозвавшись ей—не помню, въ какихъ выраженіяхъ—о замѣченномъ мною вкусѣ причастія Св. Таинъ, послѣ пріобщенія. Какъ ни внѣшне было мое богопочитаніе, но оно, несомнѣнно, наполняло мою ребяческую душонку священнымъ трепетомъ, шедшимъ изъ глубины ея самой.

Изъ біографій итальянскихъ разбойниковъ довольно извъстно, какъ глубовое и, конечно, своеобразное, богопочитаніе уживается въ душъ съ самымъ жестокимъ звърствомъ и гнуснъйшими пороками. Не странно послъ этого, что и у ребенка, какимъ я былъ лътъ почти шестьдесятъ тому назадъ, религіозное, весьма развитое, чувство не помъщало разной нечисти пробраться въ душу и загрязнить ее, прежде, чъмъ она окръпла.

Ръшителями судебъ въ нашемъ воспитаніи являются, какъ я убъдился изъ опыта, индивидуальность и жизнь.

Только то воспитание сулить наиболее шансовъ на успехъ, въ которомъ воспитатели съумеють приспособиться къ инди-

видуальности своихъ воспитанниковъ и ее приспособить къжизни.

Но жизнь не осилишь, а отъ воспитателя нельзя требовать, чтобы каждый изъ нихъ,—по призванію и по-неволь, опытный и неопытный, умный и глупый, — вникаль и досконально разузнаваль всь особенности каждой воспитываемой имъ особи.

Поэтому и остается только одно наиболье надежное средство къ достижению цъли воспитания,—это приспособление его не къ личной, а къ племенной, расовой или народной особенности (племенной индивидуальности).

Кто съумветь это сделать, тому и книга въ руки. И это дело нелегкое, но все же гораздо возможиве приспособления воспитания каждой особи.

Такой взглядъ нисколько не противорѣчить, какъ я покажу, моему высшему, общечеловѣческому идеалу воспитанія. На эту тему придется мнѣ говорить потомъ; теперь же я ее покуда оставлю и займусь предметомъ, гораздо глубже касающимся меня.

Я сказаль уже, кажется, что мои религіозныя убъжденія не оставались въ теченіе моей жизни одними и тьми же. И воть, для уясенія себь всего процесса развитія этихъ убъжденій, я долженъ себь ясно представить его крайніе фазисы; я припомниль уже, кажется, все, что знаю о первоначальномъ періодь моихъ върованій; теперь исповъдуюсь у самого себя и уясню себь, во что и какъ я върую въ настоящую минуту моего бытія.

Послѣ этого изложенія, надѣюсь, мнѣ разъяснится, какими путями дошель я до настоящаго моего вѣрованія и какимъ колебаніямъ и переворотамъ подвергались мои религіозныя убѣжденія въ разныя времена моей жизни.

Послъ смерти знаменитаго Іоганна Мюллера (берлинскаго физіолога) носились слухи, что онъ лишилъ себя жизни, принявъ ядъ, и причину самоубійства приписывали какому-то сдъланному открытію въ области низшихъ организмовъ, поколебавшему будто-бы его религіозныя убъжденія.

Іоганнъ Мюллеръ быль ревностный католикъ (какъ это я

узналь оть моего стараго пріятеля, Карла Липгардта, бесъдовавшаго неръдко съ Мюллеромъ). Біографъ его, Дюбуа-Ремонъ, опровергаеть върность слуха о самоубійствъ. Но въренъ ли быль или невъренъ этотъ слухъ, онъ доказываетъ, какое огромное значеніе придаеть все культурное общество върованіямъ и такихъ ученыхъ, спеціальность которыхъ не имъетъ ничего общаго съ церковными догматами.

И дъйствительно, какимъ бы предметомъ ни занимался человъвъ науки, всъ знаютъ, что онъ никакъ не отдълается отъ назойливаго вопроса: во что онъ въритъ; а этотъ вопросъ—самый главный: согласны ли его върованія съ убъжденіями, добытыми имъ путемъ науки?

Въ отношеніи религіозныхъ убъжденій можно раздѣлить всѣхъ людей науки на три категоріи: къ одной принадлежать люди, какъ покойный Рудольфъ Вагнеръ (физіологъ, спорившій съ Карломъ Фохтомъ), въ наукъ скептики, въ дѣлѣ вѣры искренно вѣрующіе прихожане приходскихъ церквей; такіе встрѣчаются и между католиками, и между протестантами, и православными. Были знаменитые математики изъ іезуитовъ и такихъ искренно вѣрующихъ католиковъ, которые вполнѣ были убѣждены, что Пресвятая Дѣва помогала имъ въ разрѣшеніи трудныхъ задачъ и къ изобрѣтенію новыхъ геніальныхъ формулъ.

Къ другой категоріи принадлежать ученые, старающіеся примирить свои научныя убъжденія съ религіозными; когда же они не достигають такого примиренія, то переходять въ третій лагерь—ни во что невърующихъ, охотно открывающій къ себъ доступъ и только-что сошедшимъ со школьной скамьи.

И воть, я полагаю, что каждый человькъ науки, и тымъ болье, конечно, и автобіографь, обязанъ прежде всего рышить чистосердечно главный вопросъ жизни: къ которой изъ трехъ категорій онъ причисляєть себя, во что онъ въруетъ и что признаетъ? Но, задавая себь этоть вопросъ, не надо робъть передъ собою, вилять хвостомъ и пятиться назадъ и отвъчать самому себь двусмысленно.

Вилянье, неръшительность и неоткровенность непремънно приведуть къ пагубному разладу съ самимъ собою, къ несогласію дъйствій съ убъжденіями, упрекамъ совъсти и къ само-

убійству, нравственному и физическому. И прежде всего этоть вопрось требуеть, чтобы его всякій для себя рёшиль ав очо;— уясниль бы себё предварительно самую суть дёла, а это значить—отвётиль бы себё прямо и откровенно: вёруеть ли онъ въ Бога и признаеть ли Его существованіе?

Съ церковной точки зрѣнія, это вопросъ, конечно, дерзновенный; но въ переживаемое нами время и церковь, и государство, и общество должны мириться, въ собственныхъ интересахъ, какъ съ дерзостью вопроса, такъ и съ откровенностью отвѣта.

Было время, когда вопрось о существованіи Бога рѣшался въ Гостиномъ Дворъ, при встрьчь двухъ знакомыхъ:

- "Слышали ли, Петръ Ивановичъ, что Бога нътъ?"
- "Что вы! какъ это можно?"
- "Говорю вамъ, что нътъ: мнъ Иванъ Ивановичъ сказывалъ вчера".

Это было, кажется, въ Фонъ-Визинскія времена, а то и не такъ давно (въ 1850-хъ годахъ), задавали такого рода вопросы ученикамъ (я самъ это слышалъ въ фельдшерской школъ второго сухопутнаго госпиталя въ Петербургъ):

— "А почемъ ты знаешь, что Богъ есть?" — и получали не менте умный отвътъ: — "Такъ стоитъ написано въ катехизисъ".

Во времена, когда возможны бывають такія проявленія грубаго кощунства въ разныхъ слояхъ общества, конечно, находять, пожалуй, еще оправданіе и запретительныя мёры противь соблазна. Культурное общество не можеть допускать безцеремоннаго обращенія ни съ кёмъ и въ особенности съ Богомъ.

Другое дѣло -- область современной науки; туть не можеть быть рѣчи о грубости нравовъ, неуваженіи къ святынѣ, а потому въ этой области никакія церковныя и государственныя запрещенія не должны, да и не могуть, нарушать свободу совѣсти, мысли и научнаго разслѣдованія. Церковь — паству, а государство — современное общество могуть оберегать отъ излишковъ и злоупотребленій свободомыслія только нравственными мѣрами. Это указывають знаменія времени. Свободомысліе нивогда не слѣдуеть одному направленію, и свободомыслящіе люди

науки всегда будуть раздёлены на нёсколько разныхъ лагерей, а потому они не столько опасны, какъ насиліе и произволь мёръ, могущіе только соединить разномыслящихъ и сдёлать пропаганду мнёній болёе вліятельною.

Итакъ, съ Богомъ-о Богъ.

Хотя это быль великій язычникь, — der grosse Heide, — (какъ называли Гёте), сказавшій, что онъ говорить о Богъ только съ Богомъ, но я, и христіанинъ, слъдую его мудрому правилу и избъгаю распространяться о моихъ задушевныхъ върованіяхъ и убъжденіяхъ даже и съ близкими ко мнъ людьми: святое — святымъ.

Изъ моего міровоззрѣнія, откровенно изложеннаго въ этомъ дневникѣ, я заключаю, что существованіе верховнаго разума, а слѣдовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимымъ и неминуемымъ (роковымъ) требованіемъ (постулатомъ) моего собственнаго разума, такъ что если бы я и хотътъ теперь не признавать существованіе Бога, го не могъ бы этого сдѣлать, не сойдя съ ума.

Къ такому твердому убъжденію пришель мой семидесятилътній умъ послъ разныхъ блужданій, доходившихъ до полнаго отрицанія.

Другой старческій умь, но иного полета и высшаго разряда, сильно волновавшій мою раннюю юность, утверждаль, что нужно бы было выдумать или изобръсти Бога, еслибы Онъ не существоваль.

Несмотря на мое прежнее пристрастіе и уваженіе въ талантамъ этого старца, мий все-таки было бы жаль согласиться съ нимъ и признать какое-либо сходство нашихъ убъжденій и върованій.

Онъ принималь свой взглядь обязательнымь для всего образованнаго свёта; его "выдумать, изобрёсти" и его "еслибы" предполагають не только возможность, но даже нёкоторую вёроятность несуществованія Бога. Я не навязываю никому моего уб'єжденія, выработаннаго не безъ труда въ ограниченномъ склад'є моего ума. Я говорю также: еслибы, но мое еслибы предполагаеть не возможность несуществованія Бога, а только возможность моего сумасбродства.

Воля и хотеніе нередко бывають безумны. Но какъ могло

придти мит на мысль выражение ставить себя, свой образъ мыслей и выражений, въ параллель съ изречениями властителя думъ прошлаго столътия? Это я дёлаю потому, что понятия о Богт не признаю спеціальностью мудрецовъ въка, а считаю неотъемлемою и самою дорогою собственностю каждаго мыслящаго человъка.

То, что называется свободою ума и мысли, не есть кавой-то безшабашный и беззаконный произволъ. Умъ всегда долженъ на чемъ-нибудь останавливаться и находить точку опоры; его станціи, можетъ быть (не знаю навібрное), и безпредільны, то-есть могуть переноситься въ безграничныхъ преділахъ, но все-таки будутъ для ума современнаго (существующаго въ извістное опреділенное время) предільными.

Но эта конституція ума не въ силахъ уничтожить въ немъ стремленіе въ безвыходную безпредёльность, и воть онъ самъ, управляемый своимъ habeas corpus, долженъ самъ же слёдить за его исполненіемъ, обуздывая свое стремленіе къ безпредёльной свободѣ; оно такъ сильно, что въ переживаемое нами время я слыхалъ отъ молодыхъ людей даже вопросы въ родѣ слёдующаго:

— "А почему мнѣ необходимо принимать, что дважды два — четыре? почему я не свободенъ думать иначе?" — И это не въ шутку.

Опыть жизни и примъры большинства обуздывають въ единичныхъ случаяхъ разгулъ мнимо-беззаконной свободы ума; но періодически эта тяга къ безвыходному положенію съ непреодолимою силою увлекаеть умы цълаго общества.

Дъйствіе конституціи нашего ума и его стремленія находить новыя исходныя или опорныя точки, то-есть стремиться все далье и далье въ безпредъльность, всего яснье проявляются въ ръшеніи главныхъ вопросовъ жизни. Смотря по тому, которое изъ двухъ направленій береть перевысь, и главный вопросъ жизни, —вопросъ о Богъ, —ръшается умомъ (умомъ, —не върою, —пота bene!) различно.

Умъ конституціонный, ищущій постоянно исходныхъ точекъ и несклонный блуждать въ безпредъльности, приходитъ скоро къ ръшенію; для этого онъ находить исходную точку въ самомъ себъ, переносить ее внъ себя, въ самую безпре-

дъльность, но, не оставляя своей опоры, останавливается, — нес plus ultra. Гдъ приходится остановиться, ближе или дальше отъ себя, это будеть зависъть отъ склада конституціоннаго ума, насколько этогь складъ допустить развиться стремленію ума въ безпредъльность.

Умъ конституціонный и положительный можетъ быть только деистомъ и пантеистомъ. И тоть, и другой—свою исходную точку находять въ творческой силъ; но одинъ переносить ее внѣ міра, а другой—въ самый мірь.

Умъ, повидимому, не менѣе положительный, можетъ останавливаться и ближе, принявъ самую вселенную за Бога; въсущности, это было бы колебаніе между пантеизмомъ и атеизмомъ, между желаніями остановиться и блуждать въ безвыходномъ хаосъ. Между тѣмъ такое міровоззрѣніе весьма заманчиво для юнаго ума.

Я разскажу впослъдствіи, какъ нъкогда я самъ быль поборникомъ этого воззрѣнія; современная философія безсознательнаго (которой я, признаюсь, не читаль), въроятно, безсознательный творческій міровой умъ (или міровую жизнь) полагаетъ также въ самую вселенную. Для чего—думалось мнъ во времена оны—служитъ предположеніе о существованіи Бога? Что объясняется въ мірозданіи? Развъ матерія не можетъ и не должна быть вѣчною? Къ чему же лишній ипотезъ, ничего не объясняющій?

Мнъ было 25 лътъ, когда эти назойливые вопросы волновали меня и—скажу въ мое оправдание — навязались ко мнъ malgré moi, а я въ то время быль отчаяннымъ специалистомъ моей науки.

Но лъта, а съ ними и другой образъ жизни, и другія, какъ я увъренъ, болъе прочныя думы убъдили меня въ полной неосновательности этого міровоззрънія и наносимомъ имъ (рефлективномъ) вредъ самому уму. Если и всякое размышленіе требуетъ исходныхъ точекъ, то при размышленіи о предметахъ отвлеченныхъ умъ, не находящій нигдъ самой крайней и, такъ сказать, неприступной опоры, не можетъ сдълать ни шагу впередъ, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться.

Основать же точку опоры на вселенной — значить, строить зданіе на пескі. Главная суть вселенной, несмотря на всю

ея безпредъльность и въчность, есть проявленіе творческой мысли и творческаго плана въ веществъ (матеріи); а вещество подвержено измъненію (въ составъ и видъ) и чувственному (научному) разслъдованію.

Все же измѣняющееся (какъ и въ чемъ бы то ни было) должно имѣть не одни положительныя, но и отрицательныя свойства; а все подлежащее чувственному анализу и разслѣдованію не можетъ считаться за нѣчто законченное, абсолютно вѣрное и опредѣленное.

Но молодой умъ, также какъ и желудовъ молодыхъ людей, все переваривающій, легко усвоиваеть себъ, какъ я узналь изъ опыта, и пантеистическое міровоззрѣніе, не ощущая, —до поры и до времени, —несносныхъ колебаній, ни сотрясеній отъ шаткости основы.

Верховный разумъ и верховная воля Творца, проявляемые цѣлесообразно, посредствомъ мірового ума и міровой жизни, въ веществѣ,—вотъ пес plus ultra человѣческаго ума, вотъ то прочное и неизмѣнное, абсолютное начало, далѣе котораго нельзя идти положительному уму, не сбившись съ толку и съ пути.

Тавимъ представляется оно моему складу ума, блуждавшаго немало въ непроходимыхъ дебряхъ и топяхъ.

Къ чести моего ума, я долженъ упомянуть, однако-же, что онъ, и блуждая, никогда не грязнулъ въ поливишемъ отрицании недоступнаго для него и святого.

Мой бѣдный умъ, и останавливаясь на вселенной (виѣсто Бога), благоговѣлъ предъ нею, какъ предъ безпредѣльнымъ и вѣчнымъ началомъ.

Нивогда онъ, то-есть мой умъ, не доходиль до обожанія случая, и только теперь, уже состарѣвшись, онъ съ удивленіемъ и отвращеніемъ узнаетъ, что такой апотеозъ и осуществимъ на дѣлѣ.

Юные и зрѣлые современники моей старости, живя и дѣйствуя въ эпоху лотерей, ажіотажа, рулетки и биржевой игры, пріучили себя видѣть въ случаѣ одинъ изъ главныхъ рычаговъ жизни. Немудрено, что и основу всего мірозданія и исходную точку своихъ міровоззрѣній современное поколѣніе можетъ легко перенести на случай. При случайномъ стеченіи благопріятныхъ условій, изъ первобытной клітки (яйца) развивается первобытный организмъ; онъ, при новомъ случайномъ стеченіи другихъ внішнихъ обстоятельствъ, принимаетъ тотъ или другой видъ; этотъ видъ, въ свою очередь, случайно встрітивши въ окружающей его средів или удобство, или препятствіе, принимаетъ то высшую организацію, то, лишаясь того или другого органа, переходить въ другой видъ или же и исчезаетъ. Уродилось ли случайно въ какомъ-нибудь органическомъ видів боліве крізпкихъ и здоровыхъ особей, подборъ вышель удачнымъ—и поб'єда въ борьб'є за существованіе за этимъ видомъ.

Такъ случай за случаемъ доводить, переходами изъ одного вида въ другой, до вида млекопитающаго, а отсюда — рукой подать и до человъка, умъ котораго открываетъ ему, наконецъ, что клътка, произведшая его (то-есть человъкъ, а потому, пожалуй, и умъ), ничъмъ существеннымъ не отличаясь отъ другой животной клътки, только благодаря окружающей средъ, случаю и времени, вывела на свътъ его или ему сродственную обезьяну.

Не мит быть критикомъ, противникомъ или защитникомъ и приверженцемъ современнаго ученія; въ немъ очевидна геніальность наблюдателя, умтвшаго придать глубокое научное значеніе добытымъ имъ фактамъ и разслъдованіямъ явленій.

Доктрина, обязанная своимъ происхожденіемъ такому геніальному наблюдателю, не могла не дать повода къ новымъ взглядамъ на органическій міръ и къ новымъ его изслёдованіямъ.

Все это, однако-же, не сдёлаетъ меня легковёрнымъ. О перерожденіи и переходахъ животныхъ видовъ и родовъ говорилось не со вчерашняго дня. Извёстно, какъ Гёте изумилъ всёхъ своимъ восклицаніемъ, когда начался объ этомъ дёлё знаменитый споръ во французской академіи между Кювье и Жофруа Сент-Илэромъ; подумали, что восклицаніе это относилось къ какому-либо міровому политическому событію.

Ламаркъ, если не ошибаюсь, говорилъ или, лучше, намекалъ и о происхождении человъка отъ обезъяны; по крайней мъръ этотъ взглядъ былъ въ ходу и въ 1830-хъ годахъ; я помию, какъ однажды мой дерптскій учитель, профессоръ хирургіи Мойеръ, (въ 1832 году) ѣхавъ со мною за городомъ, удивилъ меня вопросомъ: "А какъ вы думаете, Пироговъ: не происходимъ ли мы всё отъ обезьянъ?"

Такъ, зная, что доктрина, занимающая современные умы, не была terra incognita и для предшественниковъ, какъ-то держишь себя осторожнъе отъ увлеченій.

Впрочемъ я нисколько не скандализируюсь происхожденіемъ человъка отъ обезьяны; тъмъ болъе чести уму какого бы то ни было существа, если оно съумъло выйти, котя бы и случайно, въ люди. Для меня, однако-же, не менъе въроятенъ и обратный переходъ человъка въ обезьяну,—совершающійся почти на нашихъ глазахъ.

И почему, въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ до-историческія времена, когда наша планета производила ихтіозавровъ, мамонтовъ и другихъ великановъ, она не могла произвести и допотопнаго человѣка-гиганта, съ огромнымъ мозгомъ? А такъ какъ умъ нашъ—мозговой, то почему бы и онъ не могъ быть огромнымъ? Въ такомъ случаѣ это былъ бы совершеннѣйшій изъ людей: великъ и уменъ. Ихтіозавры и мамонты перевелись и переродились, и человѣкъ-гигантъ могъ также перевестись и переродиться въ шимпанзеевъ, орангутанговъ, буммасовъ, обитателей Новой-Гвинеи и т. п.

Принимая весьма хладновровно взглядъ на происхожденіе мое отъ обезьяны, я не могу слышать безъ отвращенія и перенести ни малъйшаго намека объ отсутствіи творческаго плана и творческой цълесообразности въ мірозданіи; а потому никогда не допущу, чтобы первобытная влътка и даже первобытная протоплазма не заключала въ себъ творческой мысли о ея конечномъ назначеніи и творческаго (цълесообразнаго) предопредъленія всъхъ формъ, прототипъ которыхъ долженъ быль изъ нея развиться.

Не странно ли, однако, что прежде вовсе нетруднымъ казалось върить въ происхожденіе людей и всего животнаго царства отъ нъсколькихъ паръ и даже отъ одной; а теперь также безъ труда върять въ переходы и перерожденія самыхъ отдаленныхъ типовъ животныхъ?

Причину легковфрія въ обоихъ случаяхъ я нахожу въ задней

мысли, всёмъ подсказывающей, что самая суть дёла ни въ томъ, ни въ другомъ взглядѣ не выясняется.

Пара ли готовыхъ уже животныхъ, или одна безформенная протоплазма вышли впервые на свътъ, — въ обоихъ случаяхъ остается иксъ: что заставило атомы вещества складываться въ обформенное существо, способное въ самостоятельному бытію, къ борьов за существованіе, наслъдственности и произведенію новыхъ сеоб подобныхъ или несходныхъ съ собою (generationswechsel) существъ.

Могу ли же я легко убъдиться въ непогръшимости доктрины, увлекающіеся приверженцы которой готовы, пожалуй, поставить на пьедесталь случай, замънивь имъ Бога и отвергнувъ, какъ лишній хламъ, и планъ, и цълесообразность въ мірозданіи? По моему, это значило бы признать себя какими-то бастардами отъ случки случая съ случайною же природою. Но современное міровоззръніе имъетъ для естественника ту привлекательную сторону, что въ немъ предполагаемое прошлое соглашено съ настоящимъ и соотвътствуеть ему пока, т. е. до поры и до времени, болъе, чъмъ въ другихъ міровоззръніяхъ.

Все рождено, не сотворено. Не опредъленная, по предначертанному творческою мыслью плану, типичность органическихъ формъ, не творческая цълесообразность въ устройствъ типическихъ организмовъ и переходныхъ формъ занимаютъ первое мъсто въ современномъ міровоззръніи, а внъшнія физическія условія и случайная индивидуальность, и такъ какъ искусство перерожденія и размноженія животныхъ и растительныхъ организмовъ, съ практическою цълью улучшенія разныхъ продуктовъ, не достигало еще такого совершенства, какъ въ переживаемое нами время, то понятно, что добытые практическимъ путемъ весьма наглядные результаты не могли не повліять и на умственныя отвлеченія.

Отвлеченное творчество, творческіе планъ и мысль, предначертанная цёлесообразность типовъ въ мірозданіи, все это ушло на задній планъ, и что достигается искусствомъ современныхъ культиваторовъ органическихъ рась, породъ и видовъ, то въ натурё поручилось дёлать случайному подбору особей и случайному стеченію разныхъ физическихъ условій. И вотъ уже слышится и мораль переживаемаго: "а ларчикъ просто открывался".

Но что же такое это случай? Какой это простой deus ex machina, играющій такую видную роль въ нашихъ д'влахъ и мысляхъ?

Едва-ли не придется мнъ отвътить на это: не знаю.

Одно изъ двухъ миъ кажется несомиъннымъ: или иътъ вовсе случая, или между случаемъ и тъмъ, съ къмъ онъ случился, есть какое-нибудь отношеніе; впрочемъ оба предположенія въ конечномъ результатъ сводятся на одно и то же.

Видя на каждомъ шагу связь между дъйствіями и причинами, отыскивая по безсознательному (невольному) требованію разсудка вездъ причину, гдъ есть дъйствіе, мы неминуемо, роковымъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что и между всъми дъйствіями и всъми причинами существуетъ неразрывная, въчная связь.

При такомъ взглядѣ случай будеть не болѣе, какъ дѣйствіе, причина или причины котораго намъ еще неизвѣстны, а для многихъ событій—можно утверждать а priori—и никогда не будуть извѣстны. Это почему? А потому, что стеченіе обстоятельствъ въ одну бьющую точку,—случай,—бываеть до того сложно, что для опредѣленія его понадобилось бы невозможное знаніе всего прошлаго и настоящаго.

Мы такъ привыкли къ случайностямъ, что случай кажется намъ самымъ обыкновеннымъ, естественнымъ, дѣломъ, — и это слава Богу; не живя въ миражѣ обыкновеннаго и незаслуживающаго вниманія, мы бы нажили себѣ галлюцинацію висящаго надъ нами Дамоклова меча.

Но какъ только мы остановимся, почему бы то ни было, хотя на одномъ самомъ обыкновенномъ событін, касающемся насъ лично, то не избъгнемъ невольнаго вопроса: причемъ я туть? зачъмъ оно коснулось именно меня?

По большей части причины нашей прикосновенности къ кавому-нибудь событію для насъ ясны и просты, то-есть кажутся для насъ такими; но неръдко причины отношеній мо-ихъ къ событію для меня скрыты, а не быть имъ нельзя.

Молнія ударила въ мой домъ; почему именно въ мой? Я нахожу причину въ стоявшемъ возлъ деревъ; у меня на крышъ

не было отвода, а на сосъднемъ домъ былъ. Я довольствуюсь такимъ объясненіемъ; еще болъе буду имъ доволенъ, если молнія, градъ, саранча и тому подобныя прелести повредили не только мои, но и сосъднія поля; туть ясно кажется, что существовали, хотя и неизвъстныя, физическія условія, притянувшія сюда грозовыя облака.

Но я выиграль въ лотерев билеть; почему? Туть уже стой! стопь машина! Что мой № 20 подвернулся, а не другой, это, положимъ, еще можно будеть когда-нибудь объяснить, распутавъ узелъ разныхъ физическихъ обстоятельствъ; но почему именно мнѣ попался въ руки № 20? а между тѣмъ не можетъ быть, чтобы онъ не имѣлъ какого-либо отношенія ко мнѣ, прежде, чѣмъ онъ сдѣлалъ меня владѣтелемъ 100,000 руб., которые, выигравъ, я прокутилъ, проигралъ и въ концѣ концовъ застрѣлился. И меня послѣ этого, то-есть не послѣ, а прежде, будуть увѣрять что я и мой № 20 не имѣли между собою ничего общаго; я могъ купить и 10, и 100, могъ выиграть и 25, и 30; да, возможное только, —случилось такъ, — могло и не случиться; но если разъ случилось, такъ какъ же безъ причины, само по себѣ? Это былъ бы нонсэнсъ, нелѣпость, абсурдъ.

Значить, случай—asylum ignoranti; но незнаніе наше—сь душкомъ; оно не хочеть прямо сказать: не знаю,—а, замѣняя свое "не знаю" словомъ: случай, оно хочеть этимъ сказать: что я-де покуда не знаю, или не хочу знать почему; или же: это ясно для всѣхъ, почему? потому что, видите ли, случай...

Такъ что же послѣ этого ты — казуисть или фаталисть что-ли? — задаю себѣ вопросъ.

Я—независимый, то-есть независимый отъ предвзятыхъ митеній и доктринъ. Въ сужденіяхъ объ отвлеченныхъ предметахъ, въ примъненіи ихъ къ практической жизни не нужно добиваться, во что бы то ни стало, послъдовательности.

Сказать, что случай все рѣшаеть въ жизни—нелѣпо; но считать нелѣпымъ прежнее убѣжденіе, что и маловажныя, повидимому, событія могуть имѣть роковыя послѣдствія— еще болѣе нелѣпо.

Какое дёло, что маловажному событію предшествоваль цёлый рядь другихь, скрытыхь, но более существенныхь обстоятельствъ? рѣшающимъ, и именно въ данный моменть времени, было все-таки то, что называется невидною случайностью.

Скалу подтачивала цълые въка вода; зданіе гнило и подтачивалось подъ землею; вдругъ, отъ небольшого сотрясенія, въ одинъ прекрасный день они падають. Что туть ръшающее обстоятельство? Все ли равно, упади скала и зданіе днемъ ранъе или днемъ позже? Всъ правы, признавая самымъ главнымъ, ръшающимъ моментомъ тотъ, когда случается роковое событіе.

У Наполеона спотывается конь о маленькій камушевъ; Наполеонъ падаетъ и, вставъ, говоритъ, что этотъ камушевъ могъ сдълаться ръшителемъ судебъ Европы. Наполеонъ былъ совершенно правъ, дълая ръшителемъ судебъ въ этотъ моментъ не себя, а камень.

Случай, часто и однообразно повторяющійся, перестаеть, въ нашихъ глазахъ быть случаемъ по двумъ причинамъ: мы получаемъ болъе времени и средствъ для изслъдованія и узнаемъ причину, или же мы просто привываемъ,—и прежде случайное, ръдкое и необыкновенное дълается обыкновеннымъ и насущнымъ.

Узнавъ, что большая часть браковъ совершается осенью, не трудно было догадаться, почему; но, узнавъ по статистическимъ даннымъ, что ежегодно встръчается почти одна и та же цифра ошибочныхъ адресовъ на письмахъ, мы перестаемъ этому удивляться, хотя и не знаемъ причины, почему люди всегда въ извъстной мъръ разсъянны при отправиъ своихъ писемъ на почту.

Еще необъяснимъе для насъ случающееся весьма неръдко счастье въ азартныхъ играхъ, лотереяхъ, рулетвъ и, наконецъ, вообще счастье въ жизни; но мы только завидуемъ этому, но не удивляемся.

Необыденность, разнообразность и безпричинность — вотъ признави случайнаго событія.

Чёмъ чаще повторяется одно и то же случайное, то-есть безпричинное событіе, тёмъ невёроятнёе важется намъ, что оно опять повторится; о томъ, кто всякій разъ попадаеть въ цёль или выигрываеть, мы не безъ злорадства думаемъ: авось (въ авос в всегда заключается извёстная степень вёроятности)

промахнется или проиграеть; если дождь льется цёлыя недёли, то съ важдымъ днемъ мы все болёе надёемся и увёряемся, что онъ перестанеть.

Но всѣ наши предположенія тотчасъ же принимають другой характерь, какъ скоро мы открываемъ или только подозрѣваемъ причину событія.

Тогда, при сужденіи, мы уже не на то смотримъ—часто или рѣдко оно случается; все вниманіе наше перемѣщается съ событія на его причину.

Но причиность цвлаго легіона міровыхъ событій и явленій можеть быть разследована только по двумъ направленіямъ: мы можемъ перемёщать наше предположеніе объ этой причинности то въ самый субстрать, то-есть въ вещество, служащее субстратомъ явленія, то—внів его; это переміщеніе зависить отъ степени точности нашихъ знаній; чімъ они точніве, тімъ боліве переміщаємъ мы и причину внів явленія; всему однако же, есть предёлъ; чімъ боліве ділаємъ мы, напримірь, причину какого-либо явленія въ органическомъ мірів внішнею, тімъ боліве сообщаємъ ей случайный характерь. Поэтому-то я въ современномъ міровозгрініи на органическій міръ и нахожу, что въ немъ случаю предоставлена слишкомъ главная роль.

Уже давно отважные пловцы въ полярныхъ странахъ мышленія заставляли случай приводить въ порядокъ разсвянные или скученные въ хаосъ атомы вещества; Цицеронъ, сколько я помню, занимался уже опроверженіемъ этой знаменитой доктрины. Мнъ кажется, въ наше время мы недалеки отъ подобнаго же ученія, только съ большими притязаніями на точность и фактичность.

Но какъ бы ни были прогрессивны и точны наши свъденія, лишь только мы отвергнемъ присутствіе въ атомахъ первобытной органической образовательной силы, влекущей ихъ къ извъстнаго рода группировкамъ, намъ придется все дъло передать въ руки случая.

Еслибы въ самые первые моменты творенія, при самомъ первомъ зарожденіи органическаго вещества, атомы его не имѣли этого влеченія къ группировкѣ въ опредѣленныя типическія формы, то вто же, какъ не стихійныя силы, случайно произ-

водили тотъ или другой типъ, случайно же способствуя переходамъ и превращеніямъ одного въ другой? Откуда бы взяться различію особей одного и того же типа, еслибы случайное стеченіе разныхъ условій не благопріятствовало развитію одной особи и не задерживало развитія другой? Чему-нибудь да нужно дать предпочтеніе—предопредёленію или случаю.

Я—за предопредѣленіе.

По моему, все, что случается, должно было случиться и не быть не могло.

Все случающееся связано неразрывно цёлью причинъ съ случившимся. Эта навсегда отъ насъ скрытая цёль соединаеть причины случая съ тёмъ, что случается. Значить фатализмъ. Да, какъ умозрёніе, наиболёе уживающееся въ моемъ умё и потому кажущееся мнё наиболёе логичнымъ и послёдовательнымъ.

Изъ этого не следуеть, однако-же, что и въ жизни, на деле, надо проявлять это умозрение и быть фаталистомъ. Вопервыхъ, не накурившись опія и не наевшись гашища, нельзя быть последовательнымъ фаталистомъ; во-вторыхъ, случай, несмотря на предопределеніе, все-таки будеть существовать для насъ, на практике, такъ какъ причинная связь событій и явленій намъ навсегда останется неведомою; мы всегда будемъ жить въ мираже; всегда будеть намъ казаться, что все происходящее могло быть и не быть. Безъ этого миража, безъ нашего незнанія причинной связи всёхъ событій, мы были бы самыя несчастныя существа, —фаталисты не по убежденію, а по-неволе.

Магометанинъ, — фаталистъ по убъжденію, — не считаетъ, напримъръ, вовсе противнымъ своему убъжденію воевать и завоевывать, слъдовательно дъйствововать; а послъдовательно строгое примъненіе въ жизни ученія о предопредъленіи должно вести къ полному бездъйствію. Это лежитъ въ натуръ всъхъ отвлеченныхъ понятій: что, проведенныя послъдовательно до самой крайности умозръніемъ, они дълаются непримънимыми къ жизни и оканчиваются тъмъ, что французы называютъ aveuglement logique (логическое ослъпленіе).

Для жизни необходимы миражи и галлюцинацін, и мы галлюцинируемъ, не замъчая этого, безсознательно; только

галлюцинаціи внёшнихъ чувствъ (зрёнія, слуха и пр.) намъ замѣтны, а галлюцинаціи воображенія, памяти, самаго ума,— замѣтаются нами только въ домахъ умалишенныхъ; между тёмъ именно эти постоянные, безсознательные, родившіеся съ нами на свёть миражи и составляють одну изъ главныхъ пружинъ нашего общественнаго и нравственнаго быта; живя въ этихъ миражахъ съ колыбели до могилы и потому не имѣя возможности отличить кажущееся отъ дѣйствительнаго, мы по-неволѣ,— не имѣя возможности поступать иначе,— осуждены считать кажущееся дѣйствительнымъ; увѣренность въ дѣйствительное миража, къ нашему счастію, такъ сильна въ насъ, что мы готовы за него и жертвовать самою жизнью.

По временамъ, и то при извъстномъ складъ ума, мы, отвлекаясь отъ практической жизни, желаемъ составить себъ о ней стройное и послъдовательное понятіе, — и оно-то выходитъ всегда противоръчащимъ тому, что мы считаемъ дъйствительнымъ; такъ, умозръніе приводитъ насъ къ одному изъ двухъ выводовъ: или нътъ случая, и все, что есть, должно быть; или что есть — могло быть и не быть; соединить эти два вывода между собою и принять и то, и другое логически — абсурдъ; а въ жизни этотъ абсурдъ встръчается на каждомъ шагу, и встръча съ нимъ насъ нисколько не смущаетъ и не коробитъ; мы спокойно продолжаемъ шествовать и жить припъваючи. И развъ это не миражъ: разсудокъ приводитъ къ умозаключенію, противоръчащему или наполовину, или вовсе дъйствительному?

Выходить одно изъ двухъ: или нашъ умъ, съ его способностью отвлеченія и умозрѣнія, не приспособленъ въ дѣйствительности, и потому ненормаленъ, и отвлеченія его ненормальны; или же кажущееся намъ дѣйствительнымъ не таково. Я соглашаюсь скорѣе жить въ миражѣ, чѣмъ считать способность и потребность ума въ отвлеченію чѣмъ-то ненормальнымъ, хотя я и не прочь подозрѣвать въ излишкахъ этой способности удаленіе отъ нормы со всѣми его послѣдствіями.

Стопъ машина!—Я началъ за здравіе, —свелъ за упокой. Но, бесёдуя съ самимъ собою, почему не дать простора ходу мыслей?

И не прочитывая задовъ, я помню, что остановился на переходъ изъ дома и школы въжизнь, и прежде всего въ уни-

верситетскую жизнь. И воть теперь семидесятильтній старивь, требуя отчета о върованіяхь и убъжденіяхь четырнадцатильтняго студента, считаеть нужнымь сначала раскрыть свои старческія, — и это для того, чтобы, сравнивь ихъ съ своими же юношескими, представить себъ наглядно, кавимь переворотамъ и перипетіямь суждено было имъ подвергнуться въ теченіе шестидесяти-пятильтняго срока.

Но все, что я высказаль до сихъ порь о моихъ теперешнихъ взглядахъ на жизнь и мірозданіе, относится къ разряду убъжденій, основанныхъ на умозрѣніи и знаніи. А это не върованіе. Нужно уяснить себъ главное въ практической жизни: во что я върую?

Начну съ того, что въру я считаю такою психическою способностью человъка, которая болъе всъхъ другихъ отличаетъ его отъ животныхъ. Чувственныя и пріобрътаемыя опытомъ знанія, а слъдовательно и задатки ума, существуютъ и у животныхъ; память и воображеніе — также; соображеніе и разсудочность приспособлены у животныхъ къ ихъ жизненнымъ потребностямъ и инстинктамъ; о волъ и говорить нечего: безъ нея животное приближается къ переходу въ растеніе. Чувства любви, надежды, радости, печали—всъ они проявляются, хотя in statu nascente, и у животнаго. Но въры нътъ и слъда — почему?

Причина лежить, по моему, какъ въ свойствахъ сознательности животнаго, такъ и въ свойствахъ нашей способности въровать. Животное, безъ сомнънія, обладаетъ сознаніемъ; оно ощущаетъ свое бытіе и свою индивидуальность (личность); но животное не сознаетъ, какъ мы, своего чувственнаго сознанія, и потому представленіе и понятіе его о своей индивидуальности не такъ ясны и отчетливы, какъ у насъ. Личность животнаго сливается въ его представленіи болъе, чъмъ у насъ, съ окружающимъ его міромъ; это потому, что намъ объ ощущеніи нашего личнаго бытія напоминаетъ безпрестанно сознаніе этого болъе или менъе сознательнаго ощущенія; эту-то нашу способность сознавать, что мы сознаемъ себя, и нужно назвать самосознаніемъ; его нъть у животнаго, только въ смыслъ ощущенія сознающаго свое бытіе; а между этимъ

чувственнымъ сознаніемъ личнаго бытія и тѣмъ, которое сознаетъ свое чувственное сознаніе бытія (самосознаніе), не мало разстоянія.

Въра безъ самосознанія немыслима. Свойства же нашей способности въровать таковы, что она проявляется для насъ какъ бы отръшившеюся отъ всёхъ другихъ чувственныхъ представленій; конечно, это миражъ. Чувства, необходимыя для нашего бытія и самосознанія, безусловно необходимы и для осуществленія въ насъ способности в'єровать; но какъ скоро, при развитіи этой способности, самосознаніе наше, отвлекаясь отъ чувственнаго сознанія, перестаеть следить за нимъ и сосредоточиваеть свою деятельность въ другой области представленій, — отвлеченное (бол'ве или мен'ве) отъ чувственнаго самоощущенія и какъ бы сосредоточенное въ самомъ себъ, наше самосознаніе творить виб-чувственные идеалы. Къ нимъ, въ этимъ сверхъ-чувственнымъ идеаламъ, приводитъ неминуемо наша способность въровать, въ высшемъ ея развитіи; на низшихъ же степеняхъ развитія она еще напоминаеть, какъ и все человъческое, о безусловной зависимости отъ чувственнаго.

Поэтому-то я и утверждаю въ моемъ міровоззрівніи, что содіто егдо sum Декарта справедливіе замінить: sentio егдо sum. Наше sum, или "я есмь" — только рефлексь ощущенія бытія: съ нимъ сходны звуки, издаваемые животными, свидітельствующіе объ ощущеніи ими также личнаго бытія. А наше содіто есть уже самосознаніе, то-есть сознаніе ощущенія бытія, которое можеть быть и не вполні сознательное (какъ у животныхъ и у насъ при ненормальномъ состояніи тіла или психическихъ способностей).

Если верховный разумъ Творца заблагоразсудилъ произвести человъческій родъ отъ обезьяны, то, несомивнно, въра въ человъкъ развилась постепенно въ теченіе въковъ, изъ грубыхъ чувственныхъ представленій, взятыхъ имъ изъ окружающей природы.

Но родословная наша еще не скреплена и не въ рукахъ точной науки; поэтому возможно еще и невероятное. Въ такомъ случае возможна и маловероятная для современной науки гипотеза о происхождении первобытнаго человеческаго типа, теперь уже выродившагося, принесшаго съ собою на

свътъ всъ задатки высшихъ способностей души, въ томъ числъ и въры.

Какъ бы то ни было, но божествомъ каждаго культурнаго общества въ историческія времена всегда были и будуть или идеаль, или абсурдъ. Этимъ и отличается также въра отъ знанія; если въра и не есть непремънный антагонисть знанія, а положительная (догматическая) даже требуеть его, — основныя ихъ начала несходны между собою и никогда не сойдутся. Сомиъніе — воть основа знанія.

Безусловное доверіе къ избранному идеалу — воть начало въры. Нътъ нужды, если онъ будетъ абсурдомъ. Credo quia absurdum est. Въ этомъ изречении Тертулліана, одного изъ столновъ церкви, - глубокая правда. Истинно върующему нътъ двла до результатовъ положительнаго знанія. Эта черта проводится нами замётно и въ простыхъ житейскихъ дёлахъ. Если я получаю почему-либо полное довъріе къ какой-нибудь личности, то я не разбираю болъе-знающая она, образованная, интеллигентная или нътъ; я върю ей на-слово, върю и безъ словъ, однимъ, такъ сказать, взмахомъ души. Такъ знаніе и глубовомысленность уживаются въ одной душт вместь съ върою, не нуждающеюся въ знаніи. Способность познавать, основанная на сомнени, не допускаеть веры; но вера не стесняется знаніемъ и идеть своимъ путемъ. Идеалъ, служащій основаніемъ въры, даже абсурдный, не допуская и тыни сомнънія, становится выше всякаго знанія и помимо его стремится къ достижению истины.

Карлъ Фохтъ смъялся надъ возможностью соединить въру и знаніе, противоръчащее въ своихъ результатахъ догматамъ въры; онъ называлъ это двойною бухгалтеріею души. Правда, глубина и многосторонность знанія, по принципу, препятствують не только полету, но и развитію идеаловъ, если они не требують точно-научнаго знанія. Но и то правда, что наша разсудочная послъдовательность ограниченна.

Строго последовательными могуть быть, и то относительно, только два сорта людей: крепкіе духомъ и ограниченные, односторонніе спеціалисты. Когда я считаль спеціализмъ главною целью жизни, я подписаль подъ моимъ портретомъ, литографированнымъ въ Дерить, что быть последовательнымъ для меня—

главное, и я быль тогда действительно последовательнымь до чертиковь; но по мере того, какъ я знакомился съ жизнью и наукою—и міровоззреніе мое делалось мене ограниченнымь; я прозредъ и убедился, что, не принадлежавь къ разряду esprits forts, нельзя быть вполне последовательнымь. Что я говорю? Можно. Но какъ? сделавшись подлецомъ передъ Богомъ и передъ собою.

Да, не иначе: esprit fort,—и върующій, и невърующій (онъ можеть быть и тъмъ, и другимъ) — въ сущности, всегда во что нибудь да върующій, по малой мъръ, убъжденный въчемъ-нибудь до пес plus ultra; въруя же, онъ можеть быть и по-евангельски нищимъ духомъ, — и нищій бываеть и кръпкимъ, и сильнымъ.

Самая характерная черта крыпкаго духомь—та, что онь, счастливый и несчастный, больной и здоровый, живя и умирая, продолжаеть безтрепетно, спокойно, безъ всякаго разлада съ самимъ собою, вырить или не вырить; а не вырить для еsprit fort—значить, по моему, вырить въ ничто, то-есть вы абсурдъ, credit quia absurdum est. Поэтому истинный, непритворный и неподдыльный отрицатель не можеть не быть esprit fort.

Если все это такъ, то крвпкій духомъ не можеть не быть и одностороннимъ; и потому онъ сходится съ разрядомъ одностороннихъ и ограниченныхъ спеціалистовъ, которые, въ свою очередь, не есть еще евангельскій нищій духомъ.

Другое дъло—съ людьми, не принадлежащими къ этимъ двумъ разрядамъ; между ними есть также и върующіе, и невърующіе, пріобръвшіе глубокія научныя знанія, и невъжды, и неучи. Для такихъ людей — а имя имъ легіонъ — неуступчивая, неупругая и несокрушимая послъдовательность немыслима, и какъ ни различенъ складъ ума большинства людей изъ этого разряда, всъ они имъютъ то общее имъ свойство, что могутъ вести у себя и съ собою двойную бухгалтерію, какъ это названо К. Фохтомъ. Это значить, что личность, принадлежащая къ этой категоріи, можетъ быть въ одно и то же время и человъкомъ науки, и человъкомъ въры, — и въ въръ, и въ наукъ вполнъ искреннимъ; идеалъ въры, — собственный или сообщенный, — мирится въ такой личности съ результатами, получен-

ными путемъ науки; спокойствіе, поселяемое въ душѣ вѣрою въ лидеалъ, хотя бы абсурдный, съ научной точки зрѣнія не нарушается несовпаденіемъ итоговъ двойной бухгалтеріи. Какъ не благодарить Бога тому, кто своевременно разузнаетъ въ себѣ эту чудную, примиряющую способность души; но нечего роптать, сѣтовать, сомнѣваться и насмѣхаться и тому, кто не понимаетъ или не хочетъ понять возможности существованія этого психическаго свойства.

И едва-ли крайняя последовательность принадлежить къ нормальнымъ свойствамъ человеческаго духа. Беда, если ее вахочеть себе навязать человекъ не сильный духомъ или неограниченный: онъ неминуемо сподличаетъ. Подлецъ, въ моихъ глазахъ, передъ Богомъ и передъ собою — тотъ, кто, отвергнувъ всё идеалы вёры и ставъ въ ряды атеизма, въ бёдё измёняетъ на время свои убежденія, и всего хуже, если дёлаетъ еще это тайкомъ, а убежденія свои разглашаетъ открыто. А такихъ господъ не мало. Къ нимъ принадлежалъ нёкогда и я самъ, пока не познакомился съ собою хорошенько. Да, трудно простить себе такую подлость, котя бы и временную, и невольную; въ продолженіе моей автобіографіи я не утаю отъ себя ничего, что заслуживаетъ самобичеванія, и постараюсь напомнить себе, когда и какъ я былъ подлецомъ предъ Богомъ и предъ собою.

Теперь, когда я убъдился, что люди моего склада ума не могутъ и не должны стремиться къ достижению врайнихъ предъловъ послъдовательности, я сдълался искренно върующимъ, не утративт нисколько моихъ научныхъ, мыслъю и опытомъ пріобрътенныхъ, убъжденій.

Какой же идеаль моей въры?

То, что называется върить въ Бога, можетъ быть названо только въ томъ случат, когда умъ не дошелъ еще до необходимости признавать Бога исходною точкою, своимъ nec plus ultra. Мой бъдный, не разъ блуждающій умъ остановился на этомъ признаніи; для меня существованіе Верховнаго Разума и Верховной Воли сдѣлалось такою же необходимостью, какъ мое собственное умственное и нравственное существованіе. Но остановиться на этомъ требованіи ума еще не значило бы

для меня быть върующимъ, — это значило бы быть деистомъ; а деизмъ, по моему, еще не въра, а доктрина.

Для нравственнаго моего быта необходимъ былъ идеалъ болъе человъческій, болъе близкій ко миъ. Входя все глубже и глубже въ себя во время разныхъ испытаній жизни, я понялъ, наконецъ, почему культурныя племена, дошедъ до извъстной степени человъчности, такъ нуждаются въ идеалъ Богочеловъка. Слабостъ тъла и духа, болъзнь, нужда, горе и бъды считаются главными разсадниками въры.

Мой знакомый докторь Груби въ Парижъ утверждаль даже, что основу всякой религіи нужно отыскивать въ патологіи человъка. Гораздо върнъе этого извъстное: wer nicht sein Brod mit Thränen ass, и проч.

Но какъ ни сильны эти мотивы, не одинъ, однако-же, илачъ и скрежеть зубовъ приводить насъ къ утвшительному идеалу Богочеловъка; и радость, въ двухъ ея видахъ, увлекаетъ насъ невольно къ этому же самому идеалу. Когда на душтъ тишь да гладь, да Божья благодать, или когда душа восторженна и торжествуеть, она всегда находить въ этихъ двухъ видахъ радости причину сближенія съ другимъ, и непремънно высшимъ, какъ будто ей сочувствующимъ существомъ, началомъ, —не знаю съ чъмъ-то.

Это сочувствующее всему человъческому и болъе чъмъ знакомое со всъми нашими слабостями, нуждами, печалями и радостями начало—такъ свойственно намъ, что олицетвореніе его дълается неминуемо потребностью нашего духа; олицетворенное дълается звеномъ, соединяющимъ насъ съ тъмъ, предъчъмъ останавливается нашъ умъ, какъ предъ непостижимымъ для него абсолютомъ.

Верховный вселенскій Разумъ и Верховная Воля ділаются доступніве для насъ въ лиці Богочеловіка. Идеаль віры въ Богочеловіка до того кажется мні теперь свойственнымъ человіческой душі, что и приміненіе въ нему извістнаго изреченія Вольтера я не считаль бы такимъ кощунствомъ, какимъ оно мні представляется въ отношеніи въ Богу. Не даромъ высшія культурныя племена все свое богопочитаніе основывали на идеалі олицетворенія не только божества, но и каждаго изъ его свойствъ.

Олицетвореніе неминуемо входило въ идеалы въръ какъ политеизма, такъ и монотеизма. Ісгова евреевъ, боровшійся подъ видомъ человъка съ Іаковомъ, былъ не только Богомъ, принимавшимъ участіе въ дълахъ человъческихъ вообще, но еще и Богомъ національнымъ еврейскаго народа.

Да и какъ возможно бы было человъку, разъ принявшему существование Бога необходимымъ, остановиться неподвижно на одномъ деизмъ? Это, какъ я самъ испыталъ на себъ, значило бы насиловать себя, оставаться холоднымъ и равнодушнымъ къ Тому, Кого нашъ же умъ призналъ за начало началъ; а чтобы не быть къ Нему безразличнымъ, чтобы любить или ненавидъть Его—необходимо дълается признать въ Немъ какія-либо нравственныя или матеріальныя отношенія къ себъ. И въ самыхъ тайникахъ человъческой души рано или поздно, но неминуемо додженъ быль развиться осуществленный идеалъ Богочеловъка.

Воплощеніе же этого, задолго передъ тъмъ уже предчувствованнаго идеала, высшаго и утъщительнъйшаго изъ идеаловъ, — не могло не внести въ сердца людей новыя (и едва-ли до того испытанныя) чувства мирнаго блаженства и торжественнаго восторга, такъ поражающія насъ въ жизни неофитовъ и мучениковъ за въру. Въровать, что среди насъ жилъ человъческою же жизнію нашъ Спаситель, испытавъ на себъ муки и радости этой жизни, было такимъ, еще никогда неиспытаннымъ, счастьемъ, что всъ проникнутые этою върою не могли не ставить ее выше всъхъ другихъ чувствъ и способностей души. . 1

- 1

--.1

2:1

- 1

Что умъ съ его разъвдающимъ анализомъ и сомивніемъ? Разві онъ успокоиваль, подаваль надежду, утішаль и водворяль мирь и упованіе въ душі. А воть осуществленный идеалъ віры — онъ проникъ всю душу, не оставивъ въ ней міста для сомивній, анализовъ и, разомъ овладівъ ею, вселяеть блаженство и восторіъ.

Воть и я, грёшный, хотя и поздно, но убёдился, наконецъ, что мет, при складъ и ёмкости моего ума, не следовало попадать въ колеи крепкихъ духомъ и одностороннихъ спеціалистовъ. Жизнь-матушка привела, наконецъ, къ тихому пристанищу. Я сдёлался, но не вдругъ, какъ многіе неофиты, и не безъ борьбы, вёрующимъ. Къ сожаленію, однако-же. еще и до сихъ поръ, на старости, умъ разъедаеть по временамъ онлоты веры. Но я благодарю Бога за то, что по крайней мере успель понять себя и увидаль, что мой умъ можеть ужиться съ искрениею верою. П я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе. что искренно верую въ учене Христа Спасителя.

Прежде меня слишкомъ занимала историческая сторона христіанства. Теперь я уб'єдніся, что это—д'єло науки, сл'єдовательно требующее и научныхъ пріемовь; но въ наукі я всегда быль и буду за полную свободу изсл'єдованія, самаго чистаго и свободнаго отъ всякой задней мысли. Для того же, кто, какъ я, ищеть въ ученіи Христа мира и утістенія, вся суть не въ исторіи.

Самъ Спаситель ничего не оставиль намъ документальнаго въ научно-историческомъ смысле. Мы узнаемъ о Его жизни и учении изъ кингъ, писанныхъ Его постедователями. Эти письмена дошли до насъ чрезъ тьму вековъ, и какихъ еще высовъ — язычества, сектантства, варварства, фанатизма! Кто по современно-научнымъ понятіямъ рішнтъ теперь-что апокрифъ, что нътъ; безъ строгой исторической критики теперь немыслима стала нивавая исторія, даже и священная. А къ какимъ результатамъ можно придти, изследуя строго и свободно научно-исторические документы христіанскаго ученія. можно узнать оть тюбингенской школи, оть Штратса и Ренана, и еслиби пришлось выбирать между двумя последними. то я все-таки предпочель бы изъ двухъ золь выбрать меньшее, по моему мивнію, --это Штрауса (т.-е. его книгу: "Жизнь Інсуса Христа", а не смерть самого Штрауса, кажется, рехнувшагося совсёмь при концё жизни).

Для меня главное въ христіанствъ—это недостижния высота и освящающая душу чистота идеала въры; на немъ цълые въка тъмы, страстей и неистовствъ не оставили им единаго интиа; кровь и грязь, которыми міръ не разъ старался осквернить идеальную святость и чистоту христіанскаго ученія, стекали потоками назадъ, на осквернителей.

Смъю и несмотря ни на какія историческія изследованія, всявій христіанинъ долженъ утверждать, что никому изъ смертныхъ невозможно было додуматься и еще менье дойти до той высоты и чистоты нравственнаго чувства и жизни, которыя содержатся въ ученіи Христа; нельзя не прочувствовать, что оно не отъ міра сего. Это не мораль, какъ желаютъ представить идеалъ ученія отвергающіе божественную натуру учителя. Мораль (отъ mos—нравь, обычай) зависима отъ нравовъ, а нравы мѣняются со временемъ. Положительнаго, неизмѣннаго нравственнаго кодекса всего человѣчества нѣтъ, и онъ проявится развѣ когда будетъ едино стадо и единъ пастырь. Но это возможно только въ томъ случаѣ, если пастыремъ явится Богочеловѣкъ,—а тогда люди обойдутся, пожалуй, и безъ колекса.

Хоти тюбингенская школа и бросила тень историческаго сомнѣнія на евангеліе Іоанна, но слова или смыслъ словъ: "законъ (то-есть нравственный) Моисеемъ, благодать же и истина Інсусомъ Христомъ даны" — для каждаго христіанина должны быть словами истиннаго благовъстителя. И для меня непонятно, почему протестантскіе ультра-раціоналисты, причисляя себя къ пастырямъ христіанской церкви, становятся на точку зрвнія Ренана и древнъйшихъ ересіарховъ, вышедшихъ изъ паганизма и талмудизма; имъ могъ следовать въ своемъ неверіи такой протестантскій государь, какъ Фридрихъ Второй, считавшій Евангеліе только моралью, — но не пастыра какого бы то ни было христіанскаго испов'єданія. Для современнаго-именно для современнаго - христіанина признаніе божественной натуры Спасителя должно быть врасугольнымъ камнемъ его въры. Этимъ признается непреложность, непогръшимость, благодатная внутренняя истина идеала, служащаго основою христіанскаго ученія. Этимъ же оно и отличается отъ измёнчивой, внёшней, хотя и вполнё законной мірской морали. Благодатная, не подлежащая ни сомнічню, ни разследованію истина можеть сделаться моею собственною внутреннею истиною только тогда, когда я извлекаю ее изъ высшаго источника и върую, что она сообщается мив путемъ благодати. Только при такой върв я и въ состояніи отличить внѣшнюю и научную правду, требующую умственнаго анализа и свободнаго разследованія, отъ той высшей, вечной, исполненной благодати правды, которая служить идеаломъ моей въры, - въры, а не одного убъжденія.

Я убъдился на себъ, что, не отличая истины, добываемой путемъ анализа и разслъдованія, отъ другой, доставляемой намъ върою, нельзя быть настоящимъ върующимъ. И прежде всего нужно увъровать въ высшую благодать. Недосягаемая высь и чистота идеала христіанской въры дълають его истинно благодатнымъ; это обнаруживается необыкновеннымъ спокойствіемъ, миромъ и упованіемъ, проникающими все существо върующаго въ краткія молитвы и бесты съ самимъ собою, съ Богомъ.

Обуреваемый сомнъніемъ и невъріемъ, мой умъ еще неръдко заставляетъ меня думать и во время этихъ бесъдъ: не миражъ ли все это? Мы живемъ въ какомъ-то заколдованномъ кругу, изъ котораго намъ нъть выхода; -- какъ туть отличишь: что действительность, что миражь, да и зачёмь стараться различать неразличимое? Это-то, что одинъ отецъ церкви назваль curiositas inutilis. А если, наконець, и удалось бы постигнуть, гдв кончается наша иллюзія и гдв начинается дъйствительность, то не будемъ ли мы самыми несчастными существами, сдёлавшись, чрезъ такое открытіе, изъ мнимоздоровыхъ мнимо-больными? Представимъ себъ каждаго изъ насъ лично и наглядно убъдившимся, что его я — миражъ, его ощущение свободной воли-тоже миражъ; свобода мыслииллюзія; представленія о безпредбльности времени и пространства — галлюцинаціи фантазіи; идеалы вёры, любви, крисоты тавія же галлюцинаціи, иллюзіи и миражи; — что вышло бы изъ личности, наглядно узнавшей и окончательно убъдившейся, что она живеть постояннымъ обманомъ чувствъ, ощущеній и представленій? Не привело ли бы такое знаніе къ другому, еще болъе сумбурному, убъжденію, что самый способъ, которымъ мы дошли до нашей истины, основань на такихъ же иллю-Saxbarban n axbie

Мит кажется, что въ предметахъ психологіи, для изслівдованія которыхъ необходимо субъективныя ощущенія ділать въ то же время и объектами сужденія, сомнительная догадка візрите и во всякомъ случать практичитье мнимо-твердаго убъжденія.

Итакъ, если Творцу угодно было, произведя насъ отъ обезьянъ, скрыть наше происхождение иллюзіями, увлекающими

насъ къ Нему въ безпредъльность и въчность, — то не намъ накладывать руки на себя и не намъ найти ту истину, которая не назначена быть истиною для насъ. Все это я привожу въ припадкъ сомиънія противъ моего невърія, отъ котораго не легко было отдълаться и самому Петру.

Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа, это два самые существенные элементы идеала въры Христовой, отличающей ее оть морали, какъ небо оть земли. Недаромъ у всёхъ сектаторовъ христіанства благодать служить болёе или менъе основою толковъ и раскола. Настоящая, искренняя въра не можеть быть не идеальною; а идеаль не можеть быть достижимыми, какъ недостижима для насъ и всеобъемлющая истина. А недостижимою высотою и святостью идеала христівнская въра, очевидно, превосходить всъ другія; сущность же этого высоваго идеала такова, что приближение къ нему невозможно. И вотъ, желающіе приблизиться къ нему и ищушіе въ въръ примиренія съ собою, прежде всего не должны. полагаться на собственныя силы и нравственныя (моральныя) достоинства, а должны увъровать, что въра есть даръ неба. благодати и всеобъемлющей либви. Это для меня самая характерная черта христіанской в'тры, превосходно выраженная въ моей умилительной для меня молитвь: "Чертогъ Твой вижу, Спасе мой, и одежды не имамъ, да вниду въ онь".

Разбойникъ на кресть, блудный сынъ, фарисей и мытарь, слова, сказанныя Мареь, Марін и юношь, исполнившему, по его мивнію, всь заповьди закона, доказывають, какое значеніе придаваль Спаситель прямому, чистосердечному и полному раскаянія и выры обращенію къ Нему. Два великіе учителя церкви — апостоль Павель и блаженный Августинь—видыли также вы благодати одно изъ главныхъ средствъ къ спасенію.

Но существуеть въ моихъ глазахъ еще и другая характерная черта христіанскаго ученія, — это многосторонность, отличающая его отъ отраниченныхъ или одностороннихъ стремленій религій, основанныхъ на одной морали. ІІ аскеть, б'вгущій отъ прелестей міра, и мірянинъ, подвергающій себя испытаніямъ, и челов'єкъ, ставящій свои д'вйствія въ зависимость отъ предопред'єленія, и, тотъ, кто основываеть ихъ на свобод'є воли, ищущій усердною молитвою и постомъ удостоиться бла-

годати, равно какъ и тотъ, кто и все свое время посвящаетъ дъламъ добра, — всъ, всъ могутъ найти въ христіанскомъ ученіи основу своихъ убъжденій, стремленій и дъйствій.

Одно мив кажется несовивстнымъ съ духомъ ученія Христа, это—догматизмъ и доктринерство. Конечно, церковь, какъ собраніе вірующихъ, должна была возникнуть на первыхъ же порахъ христіанства, а согласіе и единство взглядовъ должны были соединять собраніе вірующихъ; но это еще далеко отъ обязательной догмы. Обязательная, а потомъ и принудительная догма должна была явиться съ появленіемъ на світь государственной, или, по-просту, казенной церкви. И воть опять доказательство той многосторонности ученія Христа, о которой я говориль.

Какъ скоро христіанство выступило на государственную и политическую арену, въ немъ находили опору и императоры, и демагоги. Мало этого: церковь, во времена паганизма, не переставая быть въ сущности христіанскою, могла делать уступки язычеству, следы котораго сохранились въ некоторыхъ церквахъ еще и до сихъ поръ. Это и не могло быть иначе, когда неземной - "не отъ міра сего" - идеалъ долженъ былъ осуществляться, върнъе - приближаться къ осуществленію въ міръ. пропитанномъ насквозь чувственностью. Развѣ могъ кто изъ смертныхъ, - хотя бы и власть имъющихъ, - велъть любить врага и ненавистника, платить за обиду кротостью и смиреніемъ, всёмъ жертвовать изъ любви?! Мёсто запрещенія и отрицанія, служащихъ основою закона, обязательнаго для всего общества, и мъсто: не дълай того или другого, не убей, не воруй, не пожелай, замъняеть верховный и неземной призывъ къ сокровеннымъ и самымъ глубовимъ чувствамъ души -- любви и въръ, дълая ихъ главными мотивами нашихъ дълъ и дъйствій. Очевидно, ни еврейскій монотензмъ, ни политеизмъ древняго міра не могли сразу понять и прочувствовать глубокій смысль и значеніе недосягаемаго идеала Новаго Завъта.

И первая государственная церковь Христа едва-ли была образцовая. Императоры, принявшіе христіанство, спішили воспользоваться ею для своихъ политическихъ цілей, старались сділать ее торжественною въ глазахъ народа, привывшаго къ великолівнію языческихъ храмовъ и торжественнымъ процес-

сіямъ жрецовъ, которыхъ должна была замѣнить для народа іерархія священнослужителей, епископовъ, патріарховъ и т. п. И вотъ, вѣрованіе, въ основѣ котораго лежить полная свобода совѣсти, то-есть сознаніе истины въ идеалѣ самоотверженія изъ любви и вѣры въ всеобъемлющую любовь Бога, —дѣлается постепенно обязательнымъ, казеннымъ, внѣшнимъ. Обязательность, связь церкви съ властью, государственные пєревороты, наплывъ новыхъ племенъ на развалины древнихъ государствъ, всѣ эти обстоятельства не могли не способствовать къ искаженію чистоты идеала новой вѣры и къ порожденію самыхъ уродливыхъ толковъ, ересей, подлоговъ преданій, письменныхъ документовъ, и т. п.

Тогда овазался необходимымъ для государственной церкви и обязательный догматизмъ въры, и цълый рядъ вселенскихъ соборовъ установляетъ догмы и формулы догмъ, предписываетъ, какъ и чему върить, чтобы быть христіаниномъ. Свобода совъсти отходитъ на задній планъ. Мъсто глубоко прочувствованнаго идеала въры и свободнаго полета души, желающей сближенія съ нимъ, заступаютъ символическіе обряды, мистеріи, игравшіе такую видную роль въ политеизмѣ, и т. п.

Дошло, наконецъ, до того, что виъсто недостижимо-высокаго идеала, нареченнаго быть мотивомъ всъхъ нашихъ дълъи нравственныхъ стремленій, выступили на первый планъ всъ эти церковные обряды и требы. Вмъсто смиренныхъ, исполненныхъ благодати и любви, учителей, явились непогръшимые папы-государи и надменные патріархи, заводившіе споры о первенствъ.

Иногда, смотря на нашихъ владыкъ, я думалъ: какъ бы мнѣ было совъстно передъ собою и передъ Христомъ, еслибы я сдълался архіереемъ; — мнѣ невозможно бы было не помнить, что именно архіереи синедріона были судьями не на животъ, а на смертъ Объщавшаго Царство Божіе своимъ избраннымъ. А эти книжники, противъ которыхъ Онъ такъ возставалъ, — развѣ это были не догматики и развѣ между ними не было приписывавшихъ себѣ власть и авторитетъ только потому, что они получили ихъ по преданію въ наслѣдство, и развѣ самые близкіе къ Христу не должны были для авторитетъ производить Его родословную отъ царя Давида? Не то ли же

самое повторяется съ ісрархами, папами и даже попами, приписывающими себ'в духовную власть по преемству или насл'ядству?

Я знаю, однако-же, и хорошо понимаю, что я увлекаюсь, говоря такъ о церкви и ея служителяхъ. Но я говорю теперь о христіанствѣ съ моей индивидуальной и ограниченной точки зрѣнія. Постѣ погрома моей обрядной религіи, которую исповѣдываль съ дѣтства, и послѣ того, какъ убѣдился, что не могу быть ни атеистомъ, ни деистомъ, я искалъ успокоенія и мира души, и, конечно, пережитое уже мною, чисто внѣшнее вліяніе таинствъ церковныхъ богослуженій и обрядовъ, не могло успокоить взволнованную душу. Вся внѣшняя сторона вѣры оказывала на меня вмѣсто успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія—другое, противоположное. Мнѣ нуженъ быль отвлеченный, недостижимо-высокій идеалъ вѣры. И принявшись за Евангеліе, котораго я никогда еще самъ не читывалъ, —а мнѣ было уже 38 лѣтъ отъ роду, — я нашелъ для себя этотъ идеалъ.

Въ нашей обрадной церкви, по крайней мъръ во время моего дътства, а въ деревняхъ, какъ вижу, и теперь еще, — Евангеліе считается попами и прихожанами священнымъ не по содержанію, не по мыслямъ и изложенному въ немъ ученію, а священнымъ какъ предметъ, формально; такъ и слова молитвъ считаются священными какъ слова: слышанныя, прочитанныя — должны оказывать благодатное и спасительное дъйствіе на слушателя и читателя.

Съ этой стороны только я и зналъ Евангеліе, а слѣдовательно и ученіе Христа, пока былъ подросткомъ. Потомъ все это забылось и, какъ старый хламъ, сдано былъ мною въ архивъ памяти, пока мнѣ не стукнуло 38 лѣтъ и внутренняя тревога не овладѣла мною. Послѣ этого я не удивляюсь, что сужу такъ рѣзко о современной (да и прежней) христіанской церкви.

Между тёмъ я долженъ сказать, что какъ ни слабою, съ историко-критической точки зрёнія, кажется мнё историческая сторона начала христіанства, я, какъ человёкъ, вёрящій въ предопредёленіе и не допускающій ничего случайнаго по принципу, вижу въ исторіи развитія церкви событіе роковое, по-

вліявшее существенно на развитіе культурнаго общества. И именно то обстоятельство, что христіанство, вибсто не нуждавшагося ни въ какой вибшней обстановко исповеданія, делается государственною религією, утвержденною на догматахъ, и обезпечиваеть дальнейшее его развитіе, его судьбы и вліяніе на народныя массы.

Весьма страннымъ кажется мив мивніе Бокля, что культурное общество обязано своимъ прогрессомъ исключительно распространенію научныхъ знаній, а со стороны нравственнаго его быта не последовало никакого улучшенія. ІІ другое мивніе, что будто-бы не христіанство, а выступленіе на поприще цивилизаціи германскихъ племенъ было главною причиною прогресса, мив кажется не менве одностороннимъ, и я не понимаю, какъ можно отрицать въ идеаль Христовой веры глубокіе задатки къ улучшенію нравственнаго быта общества, апотому отвергать и вліяніе христіанства на нравы и стремленія людей.

Въруя, что основной идеалъ ученія Христа, по своей недосягаемости, останется въчнымъ и въчно будеть вліять на души, ищущія мира, чрезъ внутреннюю связь съ Божествомъ, мы ни минуты не можемъ сомнъваться и въ томъ, что этому ученію суждено быть неугасаемымъ маякомъ на извилистомъпути нашего прогресса.

Но если идеаль въченъ и не отъ міра сего, а путь прогресса не прямъ, а извилистъ, то возможно ли было человъчеству, въ переходныя эпохи его жизни, усвоить себъ и глубоко прочувствовать всю суть христіанской въры? Чего не встръчало оно на своемъ земномъ поприщъ?

Христосъ, какъ человъкъ, былъ еврей; очевидно, любилъ свое земное племя, не опровергалъ закона Моисеева, соблюдалъ и требовалъ соблюденія заповъдей, совершалъ еврейскіе обряды, но преслъдовалъ фарисейство и садукейство, то-естъ преслъдовалъ доктринерство, внѣшнюю обрядность, внутреннюю ложь и грубую чувственность садукейства, и, въроятно, отдавалъ предпочтеніе сектъ ессеевъ (аскетовъ).

Но государственному строю евреевъ суждено было существовать уже недолго, и предопредъленіе—не случай — вывело христіанство, послів паденія Іерусалима, но вивств съ

разсѣяніемъ еврейства, на всемірное поприще, и предопредѣлено было вывести его на это поприще при наступившемъ наплывѣ въ древній міръ свѣжихъ варварскихъ племенъ. Если первобытные христіане-евреи, а съ ними и римляне, — какъ видно изъ Тацита, — смотрѣли на ученіе Христа болѣе съ своей, еврейской, точки зрѣнія, то немудрено, что язычники-греки и римляне, дѣлаясь христіанами, вносили съ собою въ новое ученіе свои прежніе языческіе понятія и обряды. Политеизму и жречеству не легко было оставаться безъ олицетвореній и жертвъ. Толкованія вѣры Христа сдѣлались одно превратнѣе и темнѣе другого, а восточные народы ввели и дуализмъ, не чуждый, впрочемъ, и монотеизму.

Наконецъ, христіанской церкви, обратившей варваровъ въ христіанъ, суждено было самой сдёлаться государствомъ въ государствахъ, стать во главѣ правленій и спуститься съ высоты своего идеала низко, низко, на землю.

Можно ли же полагать, что первые въка христанства должны служить образцомъ чистоты ученія Христа? Можно ли утверждать, что ученіе это, вышедъ изъ устъ Спасителя, тотчасъ же было принято, усвоено и прочувствовано народами во всей его идеальной чистоть? Не противоръчить ли этому то, что самые близкіе ученики не всегда понимали Учителя, и объщаемое Имъ Царство Божіе переносили въ Іудею? Не быль ли самъ Спаситель въ глазахъ многихъ изъ своихъ современниковъ сыномъ плотника изъ Назареи, отъ которой нельзя было ожидать ничего особеннаго? Не говоря уже о римлянахъ, незнакомыхъ съ религіею евреевъ, не придававшихъ, очевидно, никакой важности ученію Христа, могло ли и большинство самихъ евреевъ признать въ своемъ соотечественникъ Іегову-Мессію, когда онъ допустилъ себя, какъ преступника, опозорить, осмъять и распять?

Обыкновенно принимають, что чёмъ старёв вёра, тёмъ лучше. И это правда; для вёры необходимъ консерватизмъ болёв всего, чтобы дёйствовать ею на массы. Вёра отцовъ— для нихъ магическое слово. Поэтому для государства важное дёло—поддерживать старую вёру, какъ сильно-дёйствующее средство консерватизма. Въ интересахъ жрецовъ государственной вёры и церкви также лежить держаться, сколько можно

крѣпче, прежнихъ взглядовъ на вѣру, установленныхъ вѣками догматовъ, обрядовъ и обычаевъ.

Но, несмотря на все это, мий кажется, христіанину нельзя сомийваться. Вйчный, неземной и никогда недостижимый идеаль его вйры должень постепенно освобождаться оть наростовь времени и дйлаться болйе и болйе яснымь для людей всйми его благодатными слёдствіями. И я полагаю, какъ ни извилисть путь человическаго прогресса, христіанство, несмотря на препятствія, встриченныя имъ на этомъ пути, и на временныя реакціи невірія, грубой чувственности и звітрства, много, чрезвычайно много очистило нравственность и прояснило наши міровоззрівнія, взаимныя отношенія народовъ и государствь.

Свобода совъсти, свобода разслъдованія истины, уничтоженіе рабства и невольничества, возвышеніе личности, снисхожденіе и милосердіе къ побъжденному врагу, дъла общественной благотворительности, — все это дълалось и дълается, вътеченіе 18-ти слишкомъ въковъ, подъ эгидою христіанства. Поэтому, какъ бы догматизмъ и обязательности государственной церкви, іерархизмъ, обрядность мнъ лично ни казались противными духу ученія Христа, я не долженъ увлекаться моими личными склонностями и не въ правъ не признаті всъ эти явленія на почвъ христіанства необходимыми. По-неволъ приходится убъждаться, что все существующее разумно, то-есть причинно.

Правила и кодевсы нравственности, къ которымъ приравнивають иногда ученіе Христа, такъ отличны отъ него по своимъ цълямъ и тенденціямъ, что не знаешь, чему болье удивляться—близорукости ли взгляда, или желанію, во что бы то ни стало, унизить и профанировать высочайшіе изъ идеаловъ.

Всѣ нравственныя правила, древнія и новыя, основаны на одной внѣшней правдѣ; за отклоненіемъ отъ нихъ слѣдуетъ наказаніе или непосредственно, или когда проступокъ обнаружится для другихъ. Не воруй, —а украдешь, то штрафъ; не убей, —а убъешь, то самого повѣсятъ; главное правило—не дѣлай другому, чего не хочешь, чтобы сдѣлано было тебѣ самому. Если же отклоненіе твое отъ главнаго правила нрав-

ственности и не будеть никъмъ отврыто, то и тайное оно повлечеть наказаніе для тебя въ видъ недовольства, угрызенія совъсти. Если же, —прибавляеть кодексь, —причинивъ зло ближнему, ты обошелся безъ наказанія и безъ угрызенія совъсти, то не забудь —есть Немезида и правосудіе на землъ. Рано или поздно зло будеть наказано, добро награждено. За Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаеть.

Повидимому, и въ нравственныхъ кодексахъ дъло идетъ не объ одной внёшней правдё; говорится и о внутреннемъ недовольстве, о совести, даже о божественномъ правосудіи. Въ сущности, идеалъ нравственности остается внёшнимъ, прикованнымъ къ земле, и потому всегда более или мене достижимымъ. Спаситель и не отвергалъ его. Тому богатому юноше, который для своего спасенія спрашиваль, что ему дёлать. Христось прежде всего советовалъ исполнить нравственный законъ Моисея, и только когда последоваль высокомерный ответъ: "я все это исполнилъ", сказано было: "раздай все и ступай во следъ Меня". Это и значить: исполнивъ внёшнія требованія нравственности и закона, ступай далее и возносись выше, если можешь; а не можешь, то и тогда еще не теряй упованія. Отъ Бога все возможно, сказано ученикамъ, сомнёвавшимся въ возможности спастись богатому человеку.

И воть, выше законовъ нравственности, непостоянныхъ. нетвердыхъ, подлежащихъ толкованіямъ, обходамъ, уступкамъ н разнаго рода лазейкамъ, поставленъ былъ совершенно въ другой сферъ идеалъ неземной и въчный, --будущая жизнь и безсмертіе. Признаніе идеала вёры вёрующимъ должно быть полное и безусловное. А для врача, ищущаго въры, самое трудное — увъровать въ безсмертіе и загробную жизнь. Это потому, во-первыхъ, что главный объектъ врачебной науки и всвиъ занятій врача есть тело, такъ скоро переходящее въ разрушеніе; во-вторыхъ, врачь ежедневно убъждается наглядно, что всь психическія способности находятся не только въ связи сь тёломъ, но и въ полной отъ него зависимости; въ-третьихъ, -принимая существование въ насъ безсмертнаго духа, мы должны принять и въ высшихъ классахъ животныхъ присутствіе подобнаго же элемента, такъ какъ присутствіе многихъ душевныхъ способностей у животныхъ неоспоримо, и это пред-

10T 12-÷

заться странною уже и потому, что она соотвътствуетъ и понятію (по крайней мъръ моему) о сущности самаго вещества Умственный анализъ, разлагая матерію до крайнихъ ея предъловъ, превращаетъ ея атомы въ какія-то математическія точки или центры, до того отличные отъ подлежащаго нашимъчувствамъ вещества, что различіе между нимъ и тъмъ, что мы называемъ силою, духомъ,—исчезаетъ.

Я знаю, что такой взглядъ не соотвътствуеть философскому и религіозному взглядамъ на духъ, подъ именемъ котораго разумъють отвлеченное и совершенно противоположное матерін начало. Косность, инерція, изм'вняемость, ділимость и т. п. свойства вещества несообразны съ свободою, неизменностью, безпредъльностью и т. п. духа. И для меня невозможно сдълалось остановиться на анализъ одной матеріи и отвергнуть необходимость существованія высшаго духовнаго начала, какъ источника разума, воли, чувства и жизни. Но объ этомъ, принимаемомъ по необходимости умомъ, абстрактъ мы не можемъ уже имъть никакого представленія. Принять же, что это требование нашего ума, это чисто отвлеченное начало, названное духомъ только по обманчивому и ложно воображаемому сходству съ чёмъ-то летучимъ, похожимъ на воздухъ, газъ, дыханіе, паръ и т. п., приходить прямо и непосредственно въ тесную связь съ грубымъ веществомъ, -- мнъ кажется абсурдомъ.

Умъ моего склада гораздо легче допускаеть, что связь, не подлежащая сомнъню, вещественнаго организма съ отвлеченнымъ началомъ, ускользающимъ отъ нашего представленія, пронсходить посредствомъ особаго, такъ сказать, переходнаго начала, болте близкаго, по своимъ свойствамъ, къ веществу, и потому легче представляемому нами, но ускользающему отъточнаго научнаго разслъдованія.

Я иду еще далъе и представляю себъ не-невозможнымъ, что атомы невъсомаго элемента (икса), оставляя органическую машину безъ дъйствія, сами могутъ удержать на себъ ея обликъ и нъкоторыя ея психическія свойства, изображая собою какъ бы отпечатокъ того организма, который они оживляли своими колебаніями. Какъ ни фантастично это представленіе, но нельзя же не имъть никакого представленія о предметъ, такъ близко

и глубоко касающемся насъ. Правда, мое: "ни Богу свъчка, ни чорту радость", прежде всего, оно болъе или менъе напоминаеть о мистицизмъ. Что за дъло. - словъ пугаться нечего. Что такое мистицизмъ? Такое же свойство человвческой души, какъ и въра вообще. Върить и можно только въ неразгаданное, какъ не разгадано и самое свойство веры. Мы знаемъ только навърное, фактически, что есть въ человъкъ современномъ (про будущаго человъка мы еще ничего не знаемъ) потребность върить, любить, надъяться; а откуда она берется, ея источникъ, мы ищемъ по-неволъ тамъ, гдъ-то выше насъ, потому что въ насъ самихъ, въ нашихъ нервныхъ центрахъ или другихъ органахъ, служащихъ только въ проявленію этой потребности, мы источника ся не обретемъ. Еще, къ нашему счастію, намъ дана способность привыкать въ часто повторяющимся впечатленіямъ и не заниматься ими, и поддаваться постояннымъ иллюзіямъ и миражамъ; не будь этого, мы всё бы сдълались такими же мистиками, какъ современные ультра-спириты или какъ Эккартсгаузенъ и мадамъ Крюднеръ.

Въ самомъ дълъ, развъ все окружающее насъ намъ дъйствительно понятно и ясно? Мы только привыкли къ нему, и постоянная иллюзія, съ которою мы наслаждаемся жизнью, не думая о ея непроницаемой таинственности, предохраняеть насъ отъ увлеченій въры въ чудесное, ведущихъ къ душевной тревогъ и сумасшествію.

Да, слава Богу, что большая часть того, что мы ощущаемъ и сознаемъ, кажется намъ простымъ, яснымъ и естественнымъ. А сверхъестественнаго, при такомъ убъжденіи, и существовать не должно; такимъ было бы, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, не только то, что противоръчить извъстнымъ уже намъ законамъ естества, а и впредь имъющимся сдълаться извъстными.

Но нъть такой эпохи въ исторіи развитія культурнаго общества, въ которую не проявлялось бы періодически, въ видъ душевной эпидеміи, влеченіе къ чудесному. Весьма характерно при этомъ то, что степень върованія въ чудесное, въ эти періоды, вовсе не соотвътствуеть степени пріобрътенныхъ уже наукою или передовыми ея людьми знаній. Кто могь бы, напримърь, повърить, что въ концъ XIX-го въка люди науки

вполнъ върять въ то, чему никто не повъриль бы въ началъ этого въка? Такъ внанія наши о предметахъ, сильно затрогивающихъ наше я, непрочны и поколебимы.

Отвергать одно, потому что мы убъждены въ несомнънности противоположнаго ему другого, — дъло опасное. Какъ бы
то ни было и какъ бы недовърчиво мы ни относились къ спиритизму, съ одной стороны, и къ ученію церкви о загробной
жизни— съ другой, я, не отвергая ни того, ни другого, считаю
не - невозможнымъ признать нъчто вещественное (въ моемъ
смыстъ) въ нашей загробной жизни, и вмъстъ съ тъмъ върую, —
по крайней мъръ стараюсь върить и прошу Бога даровать
мнъ эту въру, — въ духовную загробную жизнь, и какъ отвлеченіе для насъ непостижимую.

Такъ върить я обязанъ какъ христіанинъ; она — вънецъ ученія Христа; идеалъ въры въ загробную жизнь поставленъ Имъ; не умирая, мы не достигаемъ конечной цъли нашей жизни. Воть суть ученія. Мы не судьи нашихъ дъйствій. Истину узнаемъ только за гробомъ; тамъ и узнаемъ, соотвътствовала ли наша жизнь ея истинной цъли. Органическія страсти съ ихъ увлеченіями и чувственность вещественнаго бытія, переставъ существовать, дадуть возможность намъ стать къ истинъ лицомъ къ лицу; это не то, что стоять лицомъ къ лицу съ нашею совъстью здъсь, живя вещественно: тамъ придется имъть дъло съ самою истиною, которой мы такъ добиваемся здъсь и вмъстъ съ тъмъ стараемся ея избъгнуть.

Ученіе Христа, въ примъненіи его отвлеченнаго и загробнаго идеала въ нашей жизни, на важдомъ шагу встръчается съ громадными и непреодолимыми препятствіями для върующаго. Это и не могло быть иначе; это зависъло и отъ свойствъ идеала. Онъ долженъ остаться недостижимымъ и въчнымъ. Идти далъе и выше его нельзя уже, некуда. Понятна отъ этого чрезвычайная трудность примъненія въ практической жизни. Блудный сынъ, блудница и разбойнивъ на врестъ повазывають, однаво-же, вавъ самъ Учитель относился въ не-исполнимости Его ученія на дълъ.

Странно, когда я сомнѣвался и не вѣрилъ, я болѣе дѣ-лалъ добра, — вѣриъе, дѣлалъ его безкорыстиѣе, безъ всякаго

мотива или только изъ любви къ наукъ. Такъ, безплатная практика была у меня въ то время дъломъ научнаго интереса. Самопожертвованіе для общей пользы я ръшался дълать также безкорыстно. Но любви къ людямъ и жалости или милосердія въ сердцъ тогда у меня не было. Все это пришло, какъ опишу въ моей біографіи (въ 1830—1850 годахъ), постепенно, вмъстъ съ развитіемъ потребности въровать; но именно съ того же времени опытъ жизни развилъ во мнъ, при всемъ желаніи дълать добро, какой-то страхъ быть обманутымъ.

Въ этомъ страхъ и недовъріи, невольно пронивающихъ въ душу, я вижу слабую сторону примъненія ученія Христа къ практической жизни. Стремясь всёми силами души творить добро ненавидящимъ насъ, жертвовать собою изъ любви къ другимъ, немногіе не сознають внутренно опасности принести себя въ жертву не добру, а злу. Только искренніе аскеты, равнодушно смотрящіе на практическую жизнь съ ея добрыми и злыми влеченіями, могуть безъ всякой задней мысли, безъ страха и опасности, изъ чистой, отвлеченной любви, творить добро и жертвовать для другихъ собою. Между тъмъ при міровозэрьній не-христіанскомъ самопожертвованіе и другіе подвиги добродътели совершаются съ меньшимъ насиліемъ надъ собою; напримъръ, отмстить за другого или за цълое общество, возстановить права народа, принеся себя въ жертву, фанатику не-христіанину будеть стоить меньшаго труда и насилія надъ собою, чёмъ христіанину.

Слова Спасителя: "вы злы" — живымъ упрекомъ ложатся на моей совъсти, когда страхъ быть обманутымъ удерживяетъ меня сдълать добро. И этотъ заслуженный упрекъ, вмъстъ съ недовъріемъ къ дълаемому добру, раздираютъ душу, такъ что практическому христіанину едва-ли можно быть недвоедупинымъ, — конечно, не въ крайне худомъ значеніи этого слова.

Между тъмъ ученіе Христа, помимо его недостижимаго идеала, имътъ, очевидно, и практическое назначеніе. ІІ вотътуть-то, на жизненномъ его поприщъ, мы встръчаемся съ самыми разноръчивыми, доходящими до нелъпости, воззръніями и примъненіями на практикъ всъхъ этихъ воззръній. Каждое изъ нихъ ищетъ и находитъ себъ основаніе въ текстъ самого Евангелія. Самыя туманныя и угрожающія полнымъ разруше-

ніемъ существовавшихъ испоконъ вѣка основъ общества доктрины созидались на ученіи Христа. Если не ошибаюсь, въ первыхъ вѣкахъ христіанства была распространена знаменитая доктрина: "все мое—твое"; нѣчто подобное, но на болѣе научномъ фундаментѣ, созидается и въ наше время; причемъ, смотря по надобности, зодчіе новаго соціальнаго зданія могутъ также указать, подобно ихъ предшественникамъ, на ученіе Христа.

Какъ на контрасть этой соціальной нивеллировки всѣхъ благь земныхъ, можно указать на разъясненіе—словами Спасителя: "отдайте кесарю кесарево и божіе Богу"— отношеній церкви къ государству и подданныхъ въ разновѣрнымъ властямъ.

Богачи, разживающіеся на счеть б'єдняковь, могуть ут'єшиться изреченіемь: "имущему дастся, оть неимущаго отнимется". Даже враги и ненавистники могуть сослаться на пророческія слова изъ Евангелія: "вношу не миръ, а вражду брата противъ брата, сына противъ отца".

Мало этого: грубъйшія уродованія здраваго смысла и тъла, какъ самооскопленіе, и тъ ищутъ себъ оправданія въ словахъ Евангелія. Не даромъ же папство.... такъ неохотно допускали распространеніе Евангелія и Библіи на народномъ языкъ; хотя замъна религіознаго фанатизма идіотизмомъ повела еще въ большему оглупънію народной фантазіи.

Всѣ эти нелѣныя стремленія къ поискамъ въ ученіи Христа основъ для нелѣныхъ и безобразныхъ произведеній фантазіи теряютъ свой гаізоп d'etre для того христіанина, который, увѣровавъ въ божественную натуру Учителя, тѣмъ самымъ признаетъ за Нимъ и высшій (верховный) разумъ. Хотя нѣкоторые и толкуютъ слова Спасителя о нищихъ духомъ такъ, какъ будто бы они (т.-е. слова) относились исключительно къ французскому esprit. Но, по нашему, нищій духомъ есть не нищъ умомъ. И умный можетъ быть смиренъ, кротокъ и простодушенъ. Поэтому я и никогда не соглашусь, изъ богопочитанія, думать, что Верховный Разумъ объщалъ блаженство только дуракамъ.

Почитая источникомъ нашего ума міровой, вселенскій и Верховный Разумъ, въруя, что онъ же самый, въ видъ Бого-

человъка, просвътилъ и насъ, христіанъ, своимъ ученіемъ, я не могу признать основаннымъ на этомъ учении ничего такого, что простой, но здравый нашъ умъ находить глупымъ, пошлымъ, нелѣпымъ, уродливымъ, отвратительнымъ и безобразнымъ. Правда, можно върить и въ абсурдъ. Но абсурдъ, въ смысть Тертулліана, не есть еще пошлая нельпость и уродливая безобразность невѣжественной фантазіи. Абсурдомъ можеть быть и самое высокое, если оно противоръчить нашимъ современнымъ и, какъ исторія убъждаеть, измѣнчивымъ міровозэрвніямъ. Абсурдъ, напримеръ, дьяволъ, какъ противникъ и антагонисть верховнаго разума, добра и верховной воли Творца; но върить въ этотъ абсурдъ, и не признавая его умомъ, можно. Самъ Христосъ, какъ равви евреевъ, не могь не върить въ дьявола и, сообразуясь съ понятіями современнаго и соплеменнаго ему народа, долженъ быль и изгонять бъсовъ изъ бъснующихся (а по нашимъ понятіямъ — душевно-больныхъ). Следуетъ ли изъ этого, что и современный намъ христіанимь должень также върить въ бъснованіе, заклинаніямъ бъсовъ и т. п.?

Но уже не абсурдомъ, а нелѣпостью было бы полагать, что Спаситель, объщавшій вѣрнымъ послѣдователямъ Его ученія Свое Царство "не отъ міра сего", вмѣстѣ съ тѣмъ предлагалъ и коренной соціальный перевороть, заставивъ богатыхъ раздать свое имущество нищимъ и сдѣлаться всѣмъ нищими. Это предлагалось, очевидно, однимъ избраннымъ для Царства не отъ міра сего, сверхъ исполненія закона стремящимся всею силою души достигнуть неземного идеала ученія. Еще безсмысленнѣе было бы полагать, что Верховный Разумъ, сотворившій природу, одобрялъ бы грубое нарушеніе законовъ природы.

Мить кажется большою ошибкою, что наши христіанскіе учители оставляють какъ-то въ сторонть, по моему митьнію, главное, — это различіе между божественно-идеальными основами ученія Богочеловтька, втиными, непоколебимыми и недостижимыми въ этой земной жизни Христа, какъ человтька и еврея. Не надо забывать, что жизнеописанія Его, составленныя также евреями, большею частію, по преданіямъ и разсказамъ, не могли дойти до насъ въ ихъ первобытномъ видть.

Несмотря на это, божественный идеаль ученія ясно продолжаеть світить черезь тыму віковь. Эта-то самая світлая и неприкосновенная сторона божественнаго ученія и должна служить світочемъ вірующаго.

Блаженъ, кто въруетъ, — тепло ему на свътъ. Эти, котя не совсъмъ кстати и въ насмъпливомъ тонъ сказанныя, слова потрафили въ самую суть. Да, именно, тепло върующему на свътъ.

Ему нътъ надобности въ искусственномъ топливъ для согръванія души. Кто хотя разъ прочувствоваль эту благодатную теплоту, тотъ не перестанетъ въровать, хотя бы пришлось ему выдерживать, ежедневно и по нъскольку разъ въ день, напоръ сомнъній и мучительную качку между небомъ и землею. Сомнънія и качка эти сопровождають и дъла, и мотивы, являются и днемъ, и ночью. Испытавъ ихъ, можно себъ составить нъкоторое понятіе о происхожденіи дьявола.

Я думаю, всякій испыталь на себі, какъ внезапно и безотчетно, подобно сновидініямъ, злыя, поскудныя и подлібітнія мысли выплывають изъ какого-то омута въ тоть самый моменть, когда думаешь о чемъ-нибудь другомъ, нисколько не подходящемъ къ категоріи этихъ фантомовъ мышленія. Иногда оні исчезають такъ же быстро, какъ появились; но иногда остаются на поверхности настолько долго, что невольно обращають на себя наше вниманіе.—Неужели же—спрашиваешь тогда себя—я такой подлецъ и злодій, что во мні могуть скрываться такія позорныя мысли? Начинаешь раздумывать на эту тему;—очевидно, ложь, клевета на себя; оказывается, что не подаваль никогда ни малійшаго повода себі такъ думать о себі; что-то постороннее, какъ будто извні пришлое, явилось, чорть знаеть зачімъ, пошевелилось минуточку и исчезло.

Не то ли же самое намъ сообщается съ раннихъ лътъ объ искушеніяхъ дьявола? При простомъ умъ и фантазіи, низшей степени образованія и другихъ условіяхъ, кажущаяся внъшность и посторонность такихъ внезапныхъ, ничъмъ не объясняемыхъ, мыслей можетъ достигнуть того, что олицетвореніе (тоесть полное отчужденіе отъ себя) дълается неизбъжнымъ.

Что касается до меня лично, то—появляются ли эти призрачныя мысли во время занятій, или во время молитвъ—я, первымъ дѣломъ, стараюсь не обращать на нихъ ни малѣйплаго вниманія, — тогда он'в исчезають недосказанными на полслов'є; туть много значить также знакомство съ собою; зная себя, можно своевременно не дать вниманію поймать себя въ подставленную воображеніемъ ловушку. Богомольцы и дьячки поступають вовсе не такъ глупо, какъ это кажется, повторяя по сорока разъ: "Господи, помилуй"; они механическимъ способомъ не дають своему вниманію сосредоточиться на какой-либо мысли, и для нихъ одни слова оказываются спасительнёе мысли.

Человъвъ, разсматривающій себя какъ двурукое животное, можеть легко успокоиться насчеть злыхъ мыслей, невольно и неизвъстно откуда къ нему приходящихъ. Для животнаго, какъ и для Верховнаго, Вселенскаго Разума, les extrémités se touchent,—нъть добра и зла; различіе добра оть зла исчезаеть даже и для менте разумныхъ властителей, государственныхъ людей и завоевателей. Откуда же взялась такая надобность различать доброе отъ злого для людей средней руки? Не видятъ ли несчастные мученики своихъ идей, что слъдствія того, что имъ кажется зломъ, совершенно различны, и что послъ громаднаго зла они могутъ быть и очень благія.

Разсматривая такъ это кажущееся зло съ разныхъ сторонъ, можно, пожалуй, придти и къ философіи доктора Панглосса. Но можно и, наоборотъ, такимъ же способомъ, сдѣлаться и отъявленнымъ пессимистомъ. Значитъ, произволъ, какъ хочешь, — можно и такъ, и этакъ. Не лучше ли бросить всѣ эти ни въ чему не ведущія попытки, сдѣлаться позитивистомъ и философствовать только о томъ, что подлежитъ точному разслѣдованію и знанію, то-есть всю жизнь основать на положительномъ знаніи и оставить неразрѣшимое въ покоѣ, какъ ему и быть надлежитъ, — неразрѣшеннымъ?

Прекрасно, но что же дёлать тому, чей складъ ума не укладывается въ эту рамку? Господа, господа реформаторы и властители нашихъ думъ! позаботьтесь сначала, для культуры вашихъ ученій, уничтожить эту прискорбную индивидуальность, столь препятствующую обожаемому и ожидаемому вами прогрессу! А пока вы еще не придумали способа производить на свёть людей одинакими, до тёхъ поръ не удастся ихъ н стричь подъ одинъ гребень. Пока стадныя свойства и стихійныя силы, не знающія никакой индивидуальности и стригущія все

модъ одинъ гребень, не осилили еще человъческой, личности, до тъхъ поръ всъ индивидуальныя свойства будуть искать себъ простора и права на жизнь. Такъ и съ желаніемъ узнать, что добро, что зло, знакомомъ, какъ полагають евреи, еще прародительницъ Евъ. Народы поняли необходимость этого неугомоннаго желанія прежде мудрецовъ.

Въ этомъ отношении весь міръ распадается на два противоположныхъ лагеря; одинъ, все нивеллирующій, не дѣлаетъ и не знаетъ никакого различія; другой по-неволѣ стремится различить добро отъ зла, не зная и чувствуя, что никогда не узнаетъ искомаго. И вотъ борьба. Съ одной стороны, стихійныя силы, стадные и животные инстинкты, съ другой—разумное человѣческое понятіе, стремящееся проникнуть въ сущность каждаго явленія, найти его законы и гаізоп d'ètre.

Я сказаль, что для животнаго нёть добра и зла, —разумнаго понятія о добрё и злё, —служащаго основою нашей нравственности. Но это самое понятіе, названное въ книгѣ Бытія познаніемъ, основано на чувстве, свойственномъ и животному; я думаю, —не обинуясь, можно сказать, какъ только органическое вещество получаеть способность ощущать, оно съ темъ вмёстё уже содержить въ себе in statu nascente чувства добра и зла.

Понятію, конечно, должно предшествовать чувство, и снабженное чувствомъ вещество (органическое) дълается для самого же себя пробнымъ камнемъ, на которомъ оно испытываетъ содержаніе добра и зла въ стихійныхъ началахъ. Первые следы чувства добра и зла являются подъ видомъ пріятныхъ и непріятных ощущеній, свойственныхъ, какъ видно, самымъ низкимъ организмамъ. Безсознательно и невольно стремится, -следуя пріятному или непріятному ощущенію, организмъ животнаго, и эти инстинетивныя его стремленія принимають чисто стихійный характерь, подъ видомъ стадныхъ свойствь и борьбы за существованіе. Стремясь въ ощущенію пріятнаго, сопровождающему удовлетвореніе органическихъ потребностей стада, и стада животныхъ идуть, плывуть, бегуть, летять напроломъ, не разбирая уже и не отличая, стихійно. Поэтому стадномистинктивныя свойства животнаго организма, хотя основанныя на томъ же началь, вакъ и наше понятіе о добръ и злъ, я отношу въ одному лагерю съ стихійными.

Существованіе зла уже ясно ощущается организмомъ, получившимъ печальную способность страдать. Наконецъ, ощущеніе это усвоивается нами уже какъ понятіе, когда мы научаемся страдать душевно. И сколько я ни думаль бы, мнё кажется, не придумаю лучшаго опредёленія злу съ нравственной точки зрёнія, какъ назвавь его душевнымъ горемъ, душевнымъ страданіемъ и душевною мукою (смотря по степени). Все то, значить, внё и въ насъ зло, что причиняетъ намъ страданіе, и, судя по себё, мы должны признать то же самое и для другихъ, намъ подобныхъ; мы, какъ внёшніе для нихъ, можемъ сдёлаться сами для нихъ носителями зла.

Въ концъ концовъ зло есть прежде всего органическое, а потому и душевное свойство. Но, признавая необходимость существованія духа, какъ начала, не имъющаго ничего общагось свойствами вещества, мы должны тъмъ самымъ признать, что для духа нътъ зла, и разумъ, отличающій его отъ добра, дълаеть это потому только, что онъ нашъ, и не можетъ судить, не ощущая и не завися отъ вещества. Что же, послъ этого заключенія, могу я думать о томъ значеніи, которое придаетъ ученіе Христа различію добра отъ вла; не служитъ ли оно основнымъ камнемъ ученія въ примъненіи его къ жизни?

И самая загробная жизнь, по ученю Христа, не будеть ли продолженіемъ того же понятія о добрѣ и злѣ, которое составлено нами въ здѣшней жизни? Но какъ же въ то невещественное наше существованіе послѣдуеть за нами понятіе, пріобрѣтенное вещественно, чрезъ ощущеніе? Да мало ли вопросовъ возбуждаеть "скепсись" умственнаго анализа въ дѣлѣ вѣры!

Но въра съ ея высшимъ идеаломъ такъ сильна, что идетъсвоимъ путемъ, не обращаясь къ разъвдающему анализу. Спасителю никто не могъ предложить скептическихъ вопросовъ; Онъ училъ не въ средъ греческихъ софистовъ и въ Своемъ откровеніи сообразовался съ понятіями народа, которому благовъствовалъ; на вопросы же книжниковъ отвъчалъ или уклончиво, или, по восточному обычаю, притчами, иносказаніями и сентенціями; невърующихъ же поражалъ Своими дълами. Спаситель не вдавался въ догматическія толкованія, предоставлялъ свободу мысли последователямъ Своего ученія, требуя толькочистосердечія, искренней и горячей любви, сочувствія и ревности въ распространенію душеспасительнаго ученія.

Разсужденія и толки о душѣ, предполагавшейся у животныхъ, и о душѣ и духѣ, предполагавшихся въ человѣкѣ (апостолъ Павелъ) предопредѣленіемъ, присоединены къ ученію Христа впослѣдствіи апостолами и отцами церкви. Поэтому а въ правѣ утверждать, что и вѣрящіе въ предопредѣленіе, и основывающіе всѣ наши дѣйствія, а слѣдовательно и свое спасеніе, на свободной волѣ человѣка—одинаково могутъ опираться на ученіе Христа, не нарушая основъ вѣры.

Свобода! Свобода! Преврасное волшебное слово, волнующее народы, что ты такое?

Опять то же—ощущеніе, и очень пріятное сначала, какъ и всё ощущенія на свётё, органическое, потомъ духовное. Пока оно остается первымъ (т.-е. органическимъ), еще не трудно найти и его отношенія къ вещественной подкладкі; но какъ скоро оно тераеть эту прочную почву и начинаетъ превращаться въ духовную свободу, анализъ ділается шаткимъ, котя ощущеніе этой свободы и остается сходнымъ съ тімъ, которое возбуждаеть въ нась органическая свобода.

Но если свобода есть одно ощущеніе, то воля есть и ощущеніе, и дъйствіе. Мы—когда чего хотимъ, то чувствуемъ свободными не только наше желаніе, но и слъдующія за нимъ дъйствія. Тутъ, однако-же, при анализъ является цълая масса недоразумъній.

Свободна ли воля?

Вопросъ собственно неразръшимый; чтобы ръшить его, надо сдълать себя въ одно и то же время и субъектомъ, и объектомъ; надо самому обстоятельно распотрошить себя, не говоря уже о необходимости и другихъ вспомогательныхъ вивисекцій, источникахъ изслъдованій нервно-центральныхъ элементовъ и т. п.

Воля, какъ ощущеніе, бываеть и сознательная, и безсознательная. Какъ мыслить, такъ и котёть, мы можемъ безсознательно. Это понятно,— но на дёлё выходить такъ или какъ будто такъ; мы во многихъ случаяхъ и мыслимъ (правильно), и хотимъ, и вслёдствіе этого дёйствуемъ, не сознавая, то-есть, не чувствуя, не ощущая, что сознаемъ. Вотъ туть-то и оказывается, что у насъ есть не только сознаніе, но и ощущеніесознанія (самосознаніе) или, пожалуй, сознаніе сознанія, отличающее насъ отъ животныхъ, о чемъ я уже говориль выше.

Я различаю, можеть быть, и неосновательно, но для меня внятно: хотъть, желать. Хотъть можно и сознательно, и безсознательно, но всегда съ дъйствіемъ; желать же можно только сознательно и строго анализируя, всегда безъ дъйствія. Недаромъвъ царствованіе Николая Павловича я никогда и ни отъ одногосолдата въ госпиталъ не слыхалъ слова: "я хочу". "Хочешьтьсть?"— спросишь, бывало; "не желаю, ваше превосходительство", —слышишь отвътъ.

Не можеть же быть, чтобы это было случайно. Да, желатьможно только сознательно и, собственно, безь двиствія; но переходь оть "я желаю" въ "я хочу" такъ можеть быть быстръ, что его не всегда можно уловить, и потому иногда и желаніе (какъ хотёнье) можеть быть двиствующимъ. Я замёчаю мелькомъ яблоко на дереве, и мнё приходить желаніе его сорвать; тотчась, вслёдствіе этого желанія, начинають двиствовать уменя глаза и руки; это значить—желаніе мое передалось тёмъчастямъ мозга, въ которыхъ локализируется способность приводить въ движеніе мышцы моихъ глазъ и рукъ и направлять ихъ на желаемый предметь.

Въ чемъ же состоить локализація, если она такъ несомнѣнна, какъ это можно полагать, судя по современнымъ изслѣдованіямъ?

По моему, локализируется въ мозгѣ не только механизмъ-(въ родѣ гальваническаго прибора), возбуждающій къ дѣйствію ту или другую группу мышцъ, но локализирована еще и самая воля надъ дѣйствіемъ этого механизма. Если такъ, то желаніе, какъ функція сознанія, передается локализированной волѣ, а она, то сознательно, то безсознательно для насъ, закрываетъ или открываетъ гальваническія цѣпи приборовъ и приводитъ въдвиженіе мышцы глазъ и рукъ. Движеніями же моихъ глазъ, управляемыхъ безсознательно волею и мыслію, я соразиѣряю пространство и положеніе яблока, а сознательными уже движеніями рукъ направляю ихъ къ яблоку, чтобы его сорвать.

Но и сознающееся нами дъйствіе, также какъ и безсознательное, можеть быть слъдствіемъ несвободной воли. Я хочу поднять руку, ногу; могу и не хотъть; или могу сейчась же захотъть и тотчась же расхотъть.

Значить, я свободень хотъть.

Да тавъ ли? Воть вопросъ. Могу ли я не хотъть именно того, чего хочу? Не обязанъ ли неминуемо, не долженъ ли я, прикованный цъпью всего предшествовавшаго, хотъть именно такъ, какъ хочу? Во-вторыхъ, допустивъ возможность не-желать, "имъть желаніе" остается весьма сомнительнымъ; можно ли, желая чего-нибудь, хотъть или не хотъть этого желанія? тоесть, можеть-ли сформированное ясно желаніе быть и не быть перенесеннымъ на локализированный въ мозгу приборь воли?

Въдь самое главное—могу-ли я не сознавать себя произвольно по собственной волъ? Конечно, нътъ. Сознаніе для меня обязательно въ нормальномъ состояніи, значить—обязательно и и все то, что подлежить сознанію, что находится въ его въдомствъ. Поэтому я и не могу не хотъть, насколько воля моя сознательна. Воля моя, сверхъ этой зависимости отъ моего сознанія и отъ внъшнихъ условій, вліяющихъ на сознаніе, а потому и на волю, зависить еще, равно какъ и мысль, отъ неуловимаго, но несомнънно существующаго вліянія различныхъ органовъ на центры локализированной въ разныхъ частяхъ мозга воли.

Духъ свободенъ, и не можеть не быть такимъ, но его органъ играетъ только такъ, какъ допускаетъ его устройство и все предшествовавшее этому устройству. Но намъ нельзя бы было ни жить, ни дъйствовать по нашему, безъ благодътельной иллюзіи, заставляющей насъ твердо върить, что мы свободны желать, мыслить и даже поступать произвольно, върнъе—волесвободно; произвольно, это arbitraire, a spontané, freiwillig,—это волесвободно. А свобода эта—невидимая и неощущаемая нами цъпь.

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, могло бы быть свободнымъ существо, по устройству своего организма осужденное ощущать и сознавать себя непроизвольно?

Правда, оно можеть прекратить такое подневольное существованіе, но свободы ему здёсь на землё все-таки это не дасть.

Итакъ, все обязательно предопредълено, механизмъ машины

ваведенъ; слъдуетъ повиноваться и жить въ мирномъ самообольщении.

Что же тогда въра, упованіе, благодать и молитва?

Отвътъ: такое же обязательное предопредъленіе. Въруй въ любовь и уповай въ благодать Высшаго Предопредъленія; молись всеобъемлющему Духу любви и благодати о благодатномъ настроеніи твоего духа. Блаженство, счастье, миръ души, —все въ этомъ настроеніи. Ни для тебя, ни для кого другого, ничто не перемънится въ свътъ, —не стихнутъ бури, не усмирятся бушующіе элементы; но ты, но настроеніе твоего духа можетъ быть измънено полетомъ души, окрыленной върою въ благодать Святого Духа.

Дъйствие молитвы на меня, я полагаю, въ центробъжныхъ и центростремительныхъ колебаніяхъ души, то увлекающейся куда-то въ высь, то съ новою силою возвращающейся въ себя. И изъ всъхъ молитвъ самая благодатная завъщана намъ Спасителемъ; произнося ее, я призываю имя и царство божіе къ себъ и молю сообщить мнъ то настроеніе души, которое охранило бы меня отъ искупенія и зла.

Но если все предопредълено и неизмънно, то задняя мысль о несостоятельности молитвы развъ не нарушить мира и спокойствія души въ то самое время, когда молишься? Нѣтъ, и еще разъ нътъ, если проникнешься върою въ благодать и ея благодътельное дъйствіе на настроеніе души.

И воть, когда ни одно предопредъленное горе, ни одна предопредъленная бъда не могуть быть устранены отъ тебя, ты все-таки можешь остаться спокойнымъ, если благодать молитвы сдълаеть тебя менъе впечатлительнымъ и болъе твердымъ въ перенесеню горестей и бъдъ.

Не безумно ли, не безчеловъчно ли отнимать у себя и у другихъ въдомо-цълебное средство, потому только, что оно не укладывается въ рамки доктрины, еще далеко не раскрывшей правды? Да какъ бы ни было точно и неоспоримо ученіе, основанное на чувственномъ представленіи (опытъ) и на анализъ ума, мы не можемъ и не должны, посвящая себя этому ученію, оставлять нетронутыми и неразвитыми другія потребности духа; онъ, попранныя и пренебреженныя, рано или поздно громко заявять о возстановленіи своихъ правъ. Это я испыталь

на себъ и откровенно сознаюсь себъ; но знаю много примъровъ, изъ которыхъ заключаю, что и несознающеся не менъе моего потерпъли фіаско, стараясь оставаться послъдовательными принятому однажды ученію.

Если я спрошу себя теперь: какого я исповъданія? то отвъчу на это положительно: православнаго, — того, въ которомъ родился и которое исповъдывала вся моя семья.

Но, утверждая это, я не могу не различить два для меня не совсёмъ тождественныя понятія. Я полагаю, что каждый гражданинъ государства, имёющаго свою государственную (господствующую) перковь, если онъ родился въ лонё этой перкви, обязанъ остаться ей вёрнымъ на цёлую жизнь, —какъ гражданинъ; его внутреннія уб'єжденія, его сомн'єнія, его міровоззрівніе, не соотв'єтствующее догматамъ испов'єданія, даннаго ему при рожденіи, туть ни-при-чемъ.

Если вся исторія и жизнь государства требовали отъ него признанія господствующей церкви, то-есть требовали не допускать полнъйшей свободы совъсти и въротерпимости, то, по моему, не только противозаконенъ, но и внутренно несправедливъ будетъ измъняющій свое исповъданіе.

Неполная свобода совъсти въ государствъ какого бы то ни было христіанскаго исповъданія есть только дъло времени; она не можетъ не быть, и если не существуетъ, то только по однимъ политическимъ (и обыкновенно невърнымъ) соображеніямъ, противоръчащимъ слишкомъ явно духу ученія Христа, и потому временнымъ и преходящимъ.

Грвжъ ли же это передъ Богомъ, если я отличаю, какъ гражданинъ и какъ человъкъ, догматическое исповъданіе ученія Христа, принявшее государственную, такъ сказать, оболочку, отъ духа, идеала и сути самаго ученія? Въдь и церковь, и исповъданіе, къ которымъ я отъ роду моего принадлежу, не будуть отвергать идеаль и духъ ученія Христа, — это всеобъемлющая любовь къ Богу и ближнему, въра въ благодать Духа Святого, въ божественную натуру Спасителя, безсмертіе души и загробную жизнь.

Неужели же господствующая церковь, въ такомъ случать, не будеть руководствоваться правиломъ того же ученія: "кто

не противъ насъ, тотъ за насъ" (т.-е. нашъ)? Не слѣдоватъ этому правилу—значило бы признать за собою полную невѣротерпимость и принужденіе совѣсти, ни въ чемъ тутъ не повинной.

Какъ я самъ, — несмотря на мое міровоззрівніе, отличное отъ церковнаго, — признаю себя все-таки сыномъ господствующей церкви, по рожденію и подданству, считая несправедливымъ и противозаконнымъ покидать ея лоно, такъ и самая церковь, вітрно, не захотіла бы насиловать мою совість, требуя отъ меня отреченія отъ моихъ убіжденій и вітрованій, которыхъ я достигь послів долговременной и лютой борьбы съ самимъ собою.

Пора убъдиться и іерархамъ, что непогръщимости нътъ на землъ.

Быль Одинь—правственно непогръшимый и безгръшный, но Его мучительски убили іерархи же прежнихъ временъ, и тъмъ довазали, что непогръшимость— не для земли. Оставшійся послѣ того и переданный намъ Новый Завътъ, "не отъ міра сего", основанный Непогръшимымъ, не требуетъ ни отъ кого непогръшимости, допуская къ себъ все искреннее и чистосердечное, хотя бы оно шло отъ блудныхъ дѣтей и преступныхъ.

Мнѣ останется всегда памятнымъ мнѣніе преосвященнаго Іеринарха (архіепископа бессарабскаго), во время моего попечительства въ Одессѣ). "Притчу о блудномъ сынѣ, — сказалъ
мнѣ преосвященный, — я считаю самою главною и наиболѣе
поясняющею духъ ученія Христова". Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ,
когда и какимъ моралистомъ и догматикомъ предпочитался
блудный, глубоко падшій, сынъ благонравному брату? Только
горячо любящее сердце отца могло поступить такъ; только
всеобъемлющая любовь могла оправдать блудницу и распятаго
разбойника; а что́, взамѣнъ этой цѣлебной любви, могутъ датъ
непогрѣшимость догматическихъ церквей, папы, синоды и іерархи?

Каждому гражданину, отъ рожденія уже причисленному къ одному изъ христіанскихъ исповёданій, предстоить едва-ли разрёшимый когда-нибудь вопросъ: какъ соединить въ себ'є самую полную, самую искреннюю свободу сов'єсти, требуемую отъ него по духу ученія Христа, съ чистосердечною върою въ непогръшимый авторитеть догматической церкви?

Правда, при полной вёротерпимости протестантства, каждому гражданину не запрещенъ переходъ въ другое исповёданіе, но, въ какой бы церкви онъ ни причислилъ себя, авторитеть ея, а слёдовательно и исповёдуемыхъ ею догмъ, должно будетъ признать надъ собою въ цёлости. Но найдется ли хотя одно изъ существенныхъ исповёданій, догмы, обряды и правила котораго каждый членъ церкви могъ бы признать чистосердечно непогрёшимыми, вполнё соотвётствующими духу ученія Христа?

Индивидуальный складъ души такъ безконечно различенъ, что и самые близкіе къ Спасителю ученики понимали ученіе Его не всѣ одинаково. Мы видимъ и теперь, какой сумбуръ вѣрованій и убѣжденій существуетъ между протестантскими духовными; многіе изъ нихъ, усвоивъ себѣ точку зрѣнія Штрауса и Ренана или подобную ей, все-таки причисляютъ себя (конечно, изъ политическихъ и матеріальныхъ цѣлей) къ христіанскимъ законоучителямъ и служителямъ алтаря; какъ ни слабы ихъ мотивы и какъ ни скаредны ихъ цѣли, но они правы; прежде всего—чистосердечіе и искренность, безъ которыхъ нѣтъ настоящей вѣры въ Христа и Его ученіе; истина Его не можетъ быть для искренно-вѣрующаго только внѣшнею: она должна быть внутреннею истинною правдою, которой не даетъ ни одно догматическое исповѣданіе.

Ръзвія противоръчія нъвоторыхъ догматовъ, странность обрядовъ, одностороннія обращенія то въ одному уму, то въ одному чувству, отличающія разныя христіанскія исповъданія одно отъ другого, очевидно, не безразличны для разнаго свлада души; но еслибы взрослому и культурно-развитому гражданину пришлось свободно выбирать одно изъ существующихъ христіанскихъ исповъданій, то онъ поставленъ бы быль въ весьма затруднительное положеніе.

Выборъ, конечно, зависълъ бы отъ индивидуальности; но будь избиратель человъкъ не черствый, нормально развитой и не односторонній, онъ, върно, колебался бы между двумя мощными авторитетами: совъсти и ума. Авторитету ума другого легче покориться. Мы покоряемся ему, довъряя его знаніямъ,

силѣ мысли, опытности, оставляя, впрочемъ, и для своего ума лазейку—пересѣдлать и перейти въ другой лагерь, какъ скоро явится новый, болѣе убѣдительный для насъ, авторитеть.

Другое діло—авторитеть совісти. Чужая совість—нашей собственной не указь. Къ чужой можно прибігнуть только въ случаї, за неимініемъ ничего лучшаго; — это ділается на суді присяжныхъ. Опыть убідиль, что совість, хотя бы и чужая, въ ділахъ совісти, т.-е. внутренней правды, — вірніве внішняго ученаго суда. Но когда человіку надо бываеть судиться съ самимъ собою, — и только съ собою, — туть иное діло. Туть судья — всевидящее Око, — другого нема.

Исповъданіе и государственная церковь хотя и ставять себя на мъсто этого судьи, но внушить свободному избирателю въру въ свою непогръшимость исповъданія и церковь могуть не иначе, какъ путемъ ума, ученія, науки. И вотъ, сильнъйшій авторитеть, совъсть въ дълъ совъсти, подчиняется слабъйшему.

Правда, церковь не государственная, а "единая святая соборная и апостольская" имъеть за собою еще и благодать Святого Духа; но, чтобы удостоиться наитія благодати, нужно быть избраннымъ (предопредъленнымъ) свыше или уже върующимъ и принятымъ въ лоно церкви; а туть свобода совъсти ни-при-чемъ, и вольный избиратель исповъданія и церкви остается въ прежней неръшимости, что избрать; умъ серьезный, разсудочный, холодный, конечно, остановится, прежде всего, на протестантствъ. Онъ скоро убъдится, что это исповъданіе легче всъхъ другихъ уживается съ свободою совъсти, научнаго изслъдованія и критики ума.

Но если умъ избирателя не одностороненъ и допускаетъ нормальное развите и другихъ способностей и стремленій дупи, — то онъ также скоро уб'єдится, что протестантство, въ сущности, не в'єра, и даже не в'єроиспов'єданіе, а испов'єданіе бол'є или мен'є сильныхъ уб'єжденій, основанныхъ на знаніи и ученьи; а открывая свободный путь научному анализу и критикъ, протестантство неминуемо ведеть къ чистому раціонализму (ультра-раціонализму), въ область чистаго разума, замкнутую для чистой в'єры.

Съ другой стороны, свободный избиратель нашего времени

найдеть единую святую соборную и апостольскую церковь уже не единою, а потому и сообщенную ей свыше благодать уже несомнънно пребывающею въ той или другой изъ раздълившихся церквей; сверхъ этого, неполная свобода мысли, чрезмърный, несоотвътствующій сущности ученія Христа, догматизмъ, безграничная обрядность и внъшность богопочитанія, стъснающая и отвлеченныя стремленія души, и, наконецъ, подтверждаемая церковью въра въ существованіе—почти матеріальное—злого духа,—все это едва-ли привлечеть свободнаго избирателя къ благодати въры въ Христа и Его всеобъемлющую любовь, завъщанной церкви Новаго Завъта.

Испытавъ колебаніе и нерѣшительность въ выборѣ, вольный избиратель, вѣрно, позавидуетъ каждому изъ насъ, съ самаго рожденія принятому въ лоно государственной церкви; намъ нечего колебаться въ выборѣ. Вопросъ совѣсти рѣшенъ не нами и прежде насъ. Остается рѣшить другой.

Можно ли, оставаясь, такъ сказать, врожденнымъ членомъ государственной церкви: православной, католической или протестантской, въ то же время придерживаться авторитета собственной совъсти, подчиненной одному Всевидящему Оку?

Вопросъ, я полагаю, опять чисто индивидуальный, не научный, не юридическій, ръшаемый не внъ насъ, не людьми. даже не самими нами, а совъстью, върующею въ ея верховное начало--Бога. Протестанту, пользующемуся полною свободою совъсти, мысли и научнаго разслъдованія, трудно согласиться на это раздвоеніе духа (двойную бухгалтерію, К. Фохту); ему ничего нътъ легче, какъ выписаться изъ членовъ своей церкви и принисаться въ другой, болъе соответствующей его міровозгрѣнію. Но самый передовой католикъ не затруднится, ьъ одно и то же время, быть и свободнымъ, научнымъ мыслителемъ, и благочестивымъ прихожаниномъ своего прихода. И и полагаю, что церковь можеть и должна допускать эту, неизбъжную для върующаго мыслителя, двойстванность. Авторитетъ церкви, пока она останется государственною, этимъ нисколько не нарушается. Ея главная сила-въ христіанскомъ же принципъ: кто не противъ насъ, тотъ за насъ.

Самая трудная задача для современной государственной церкви—это избъжать крайностей консерватизма и прогресса.

Церковь по своему существу—самое консервативное учрежденіе.

Она обязана сохранять чистоту вёры; но, какъ государственная, главнымъ предметомъ своихъ заботь она должна имёть не столько вёру, сколько религію.

Есть значительное различіе между этими понятіями, обыкновенно принимаемыми за одно и то же: государственная церковь есть представительница государственной религіи; церковь общинная—вёры. Дёло религіи—это поддержаніе и упроченіе общественныхъ связей посредствомъ нравственно-духовнаго начала.

Въра — это чистое отвлечение души; тутъ нътъ никакихъ мірскихъ цълей и задачъ. Въра необходима, какъ самая глубокая потребность души, индивидуально, для каждаго болъе, чъмъ для общества. Въ душъ каждой человъческой особи естъ частичка не отъ міра сего, ищущая себъ и духовной пищи; но какъ скоро изъ особей составляется общество, то его главнымъ гаізоп d'ètre дълается уже: быть отъ міра сего. Для государственной религіи можеть быть необходимымъ не допускать въянія никакихъ прогрессивныхъ началъ, удерживать и освящать самые несвоевременные обычаи, обряды и върованія.

Народное върование въ матеріальное существование чорта, несмотря на діаметрально-противоположные выводы науки, государственная, консервативная, церковь не можеть не поддерживать, основываясь на древнемъ міровоззрініи. Но церкви нъть надобности преслъдовать научное ученіе о добръ и злъ, какъ о понятіи, основанномъ на законахъ органической и психической натуры человъка. Какое дъло церкви-какъ я представляю себѣ дьявола? Такъ и о другихъ монхъ понятіяхъ. Если я не стремлюсь выйти изъ лона государственной церкви, не возстаю противъ нея, овазываю ей полное уваженіе, словомъ — не трогаю религіи народной и государственной, къ которой отношу и себя, и свою семью, то какое кому дъло до моей индивидуальной въры, о которой дамъ отчеть не здесь? Здесь же я старался только изложить самому себе то духовное міровозэрівніе, о которомъ мні придется нікогда дать отчетъ.

Теперь перейду ко времени моего вступленія въ московскій университеть.

—Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait... Вотъ самое ириличное мотто для этого вступленія.

Я изобразиль мой теперешній внутренній быть; каковь же онь быль 56 лёть тому назадь? Посмотримь, насколько память передасть о немь, сравнимь; и сходства, и различія, можеть быть, объяснятся потомъ описаніемь того, чёмъ выполнень быль 56-лётній промежутокъ жизни.

Я уже говориять о бёдствіи, нанесенномъ отцу воровствомъ коммиссіонера Иванова. Описанное въ казну имёніе, долги, семейное горе отъ потери дочери и сына, все это не могло не подёйствовать на человёка, любившаго свою семью и желавшаго ей всевозможнаго счастія. Отецъ видёлъ ясно, что умри онъ сегодня—и завтра же мы всё пойдемъ по міру. А время не терпёло, и онъ рёшился взять меня изъ пансіона Кряжева, платить которому за меня не хватало средствъ, а испортить каррьеру мальчика, по отзывамъ учителей—способнаго, не хотёлось. Въ гимназію отдать казалось поздно, да гимназіи въ Москвё тогда какъ-то не пользовались хорошею репутацією, и вотъ мой отецъ вздумалъ обратиться за совётомъ къ Ефр. Осипов. Мухину, уже поставившему одного сына на ноги,—авось, поможетъ и другому.

Непременно предопределено было Е. О. Мухину повліять очень рано на мою судьбу. Въ глазахъ моей семьи онъ былъ посланникомъ Неба; въ глазахъ 10-летняго ребенка, какимъ я былъ въ 1820-хъ годахъ нашего века, онъ былъ благодетельнымъ волшебникомъ, чудесно исцелившимъ лютыя муки брата. Родилось желаніе подражать; надивившись на доктора Мухина, началъ играть въ лекаря; когда мнё минуло 14 летъ, Мухинъ, профессоръ, советуетъ отцу послать меня прямо въ университеть, покровительствуетъ на испытаніи, а по окончаніи курса онъ же приглашаетъ вступить въ профессорскій институть. И за все это чёмъ же я отблагодарилъ его? Ничёмъ. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мнё. Почему, — скажу потомъ. Si la jeunesse savait! Теперь бы я готовъ былъ наказать себя поклономъ въ ноги Мухину; но его

давно и слёдъ простылъ. Si la vieillesse pouvait! Такъ на каждомъ шагу придется восклицать то же самое. Даже не вёрится—я ли былъ тогда на моемъ мёсть.

Отецъ, внявъ совъту Е. О. Мухина, тотчасъ же взялъ меня изъ пансіона и нанялъ для приготовленія меня къ университету, по рекомендаціи секретаря правленія (кажется, Кондратьева, навърное не знаю), студента медицины, кончавшаго курсь, Өеоктистова, порядочную дубинку, впрочемъ добраго и смирнаго человъка. Я разстался съ моими школьными товарищами, еще наканунв игравшими со мною въ саду въ солдаты, причемъ я отличился изумительною храбростью, разорвавъ нъсколько сюртуковъ и надълавъ не мало синяковъ; прощаясь, я не могь не заметить насмешливой зависти, съ которою товарищи слушали мои разсказы о предстоящемъ поступленіи въ студенты; заметивь же это, — чтобы поддразнить завистниковъ, --- кой-что и прихвастнулъ. Занятія съ Өеоктистовымъ, студентомъ изъ семинаристовъ, поселившимся у насъ въ домъ, ограничивались латинскою грамматикою, переводами съ латинскаго и кое-чемъ еще.

Что же я былъ такое за штука за нѣсколько дней до вступительнаго университетскаго экзамена? Нравственность моя была не такъ распущена, какъ прежде; я сдѣлался сдержаннѣе, пересталъ ходить тайкомъ для бесѣдованія съ писарями и кучерами; но я многое зналъ такого, чего въ мои лѣта не слѣдовало бы знать; чувственность моя была также слишкомъ рано развита.

Знанія были мен'є чімъ ограниченныя для моего возраста; вкусъ къ искусствамъ мало развить, — только любовь къ изящному слову и стиху была сильна; съ другой стороны, остались неутраченными еще и дітская наивность, и дітская віра, и любовь къ занятію и труду.

Въра была, какъ и прежде, въ первомъ дътствъ, чисто обрядная и формальная; наивность дътская была еще такъ велика, что я съ наслажденіемъ слушаль еще сказки Прасковы Кирилловны, кръпостной служанки матери, плотной, коренастой дъвки, съ толстыми, красными, какъ гусиныя лапы, руками, съ истыканнымъ до невъроятности оспою и усъяннымъ

веснушками лицомъ, но мастерской сказочницы, -- и я какъ теперь помню ея две свазки: одну-о Воде-Водоге, такъ названномъ потому, что родился отъ вакой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери; а другую-о трехъ человёчкахъ: бъломъ, черномъ и красномъ. Водъ-Водогъ воевалъ съ разными лицами, всегда сопровождаемый цёлымъ звёринцемъ разныхъ животныхъ, пойманныхъ имъ на охотъ; во время опасности онъ обращался къ нимъ съ крикомъ: "охотушка, не выдай!" и звъри бросались опрометью на непріятеля. А три человъчка были посланцы старый бабушки (Яги); она лежить, какъ слъдуеть, на печкъ; къ ней приходить маленькая внучка. "Что же ты видела по дороге?" спрашиваеть бабушка. "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, — отвечаеть внучка, бълаго мужичка, на бъленькой лошадкъ, въ бъленькихъ саночкахъ". - "То мой день, то мой день, - говоритъ глухимъ басомъ бабушка. — А еще что? " — "Видъла я, бабушка, видъла я, сударыня, чернаго мужичка, на черненькой лошадкъ, въ черненькихъ саночвахъ". — "То моя ночь, то моя ночь. Еще что?" — "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, краснаго мужичка, на красненькой лошадкъ, въ красненькихъ саночкахъ". — "То мой огонь, то мой огонь! — заревела бабушка. — Говори, еще что? " — "Видъла я, бабушка, видъла я, сударыня, что у вась ворота нальцемъ заткнуты, кишкою замотаны". - "То мой замокъ, то мой замовъ. Ну, а еще что?" рычить уже бабушва. — "Видъла я, бабушка, видъла я, сударыня, у васъ въ съняхъ рука ноль мететь". - "То моя слуга, то моя слуга. Еще что? говори сворьй!" огрызнулась бабушка. — "Видьла я, бабушка, видела я, сударыня, тутъ, возле васъ голова чья-то висить у печки". -- "То моя колбаса, то моя колбаса!" -- заревъла и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку, — и уже не помню, что сделала: съела ли, или въ печь бросила.

Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному Богу извъстно; читать она не умъла, върно, — одною наслышкою; мнъ потомъ нигдъ не приходилось читать слышанныя отъ нея сказки, и, я думаю, она составляла сама и импровизировала, компилируя изъ нъсколькихъ, слышанныхъ ею прежде. Върно, память у нея была отличная; я помню,

отъ нея слыхалъ и разные стихи, какъ, напримъръ, сатиру на пріъздъ шведскаго посланника въ Москву:

"Солице къ вечеру стремится, Тъма каретъ въ воквалъ катится", и проч.

Часто, часто приходилось мнѣ потомъ повторять моимъ и чужимъ дѣтямъ сказки Прасковьи о трехъ мужичкахъ, и даже съ тою же интонацією въ голосѣ, съ которою Прасковья старалась наглядно мнѣ изобразить свирѣпую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффектъ на слушавшихъ меня дѣтей.

Другая черта, свидътельствовавшая о моей дътской наивности въ ту пору, была привязанность къ моей старой нянъ. Эта замъчательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова изъ крепостныхъ, рано липившаяся мужа и поступившая еще молодою къ намъ въ домъ, слишкомъ 30 летъ оставалась она нашимъ домашнимъ человъкомъ, хотя и не все это время жила съ нами; горевала вивств съ нами и радовалась нашими радостями. Я сохраниль мою привазанность, върнъе - любовь въ ней до моего отъёзда изъ Москвы въ Дерить. Видёль ее и потомъ еще раза два; но въ последніе годы она начала сильно зашибать; и прежде это добръйшее существо съ горя и съ радости иногда прибъгало въ рюмочкъ, - но уже одна рюмка вина сейчась выжимала слезы изъ глазъ. "Михайловна заливается слезами": это значило, что Михайловна, съ горя или съ радости, вышила рюмку. Мы-и дети, и взрослые-все это знали, и, зная, иногда съ нею же плавали, не зная о чемъ. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью въ намъ, сов симниченным выняньченным вос.

Я не слыхалъ отъ нея никогда ни одного браннаго слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ея была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила изъ любящей души. "Богъ не велитъ такъ дълать, не дълай этого, гръшно!" —и ничего болъе.

Помню, однако-же, что она обращала вниманіе мое и на природу, находя въ ней нравственные мотивы. Помню какъ теперь Успеньевъ день, храмовой праздникъ въ Андроньевомъ монастырѣ; монастырь и шатры съ пьянымъ, шумящимъ народомъ, раскинутые на зеленомъ пригоркѣ, передо мною какъ на блюдечкѣ, а надъ головами толпы—черная грозовая туча; блещетъ молнія, слышатся раскаты грома. Я съ нянею у открытаго окна и смотримъ сверху. "Вотъ, смотри",—слышу, говоритъ она:— "народъ шумитъ, буянитъ и не слышитъ, какъ Богъ грозитъ; тугъ шумъ да веселье людское, а тамъ, вверху, у Бога—свое".

Это простое указаніе на контрасть между небомъ и землею, сделанное встати любящею душою, запечатлелось навсегда, и всякій разъ какъ-то заунывно настроиваеть меня, когда я встрвчаю грозу на гуляныи. Въдная моя нянька, какъ это нередко случается у нась съ чувствительными. простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирёла, и такъ, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но рвшено было поставить промывательное; я быль тогда уже -студентомъ и въ первый разъ въ жизни совершилъ эту операцію надъ моею нянею; она удивилась моему искусству и послъ сюрприза тотчасъ же объявила: "ну, теперь и выздоровлю". Черезъ три дня она, дъйствительно, поднялась съ постели и жила еще несколько леть; прожила бы, можеть быть, и болве, еслибы, на свою беду, не нанялась у Авдотьи Егоровны Драгутиной, молодой жены пожилого мужа-купца. Быль у нихъ сыновъ, Егориньва; въ нему и взяли мою няню, а черезъ няню познакомилась и наша семья съ Драгутиными.

О tempora, о mores! Цицеронъ, котораго я тогда не читалъ,—кажется, всегда и вездъ кстати.

Замоскворъчье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во второмъ этажъ. Хозяйка, лътъ 25, красивая, всегда наряженная, брюнетка, съ притязаніемъ на интеллигенцію, съ замътною и для меня, подростка, склонностью къ
мужскому полу, съ ранняго утра до ночи одна съ маленькимъ
сыномъ, нянею и учителемъ, кандидатомъ университета, рослымъ и виднымъ мужчиною, Путиловымъ. Мужъ, угрюмый,
нъсколько напоминающій медвъдя, впрочемъ не изъ дюжинныхъ и добропорядочный во всъхъ отношеніяхъ, цълый день

въ лавкъ, въ гостиномъ дворъ; домъ какъ полная чаша; чай пьется разъ пять въ день, кстати и некстати.

Мужъ, возвращающійся поздно домой, усталый, идеть прямокъ себѣ въ комнату, пьеть чай, ужинаеть и ложится спать. Ребеновъ уходить спать въ дътскую съ нянею. Хозяйка и учитель остаются наединѣ, въ двухъ большихъ комнатахъ, пьють чай, запираютъ и входныя, и выходныя двери,—и такъ на цѣлую ночь до разсвѣта. Ежедневно одна и та же исторія.

- Да что же они тамъ двлають одни?—любопытствовалья узнать отъ моей няни.
- "Да кто же ихъ, батюшка, знаеть; никого не пускають къ себъ,—какъ туть узнаель?"
- Да въдь слышно же что-нибудь черезъ двери? продолжаю я разспрашивать.
 - "Слышно, что то говорять, то молчать".
 - А мужъ что?
 - "Мужъ спить".

Такъ продолжается цълые годы. Я охотно посъщаль этотъдомъ, забавлялся и съ мальчикомъ, шутилъ и сплетничаль съ Авдотьею Егоровною, и всегда въ присутствіи няни (не упускавшей меня изъ виду) пиль чай, кофе, шоколадъ, сколько въ душу влъзало. Однажды прихожу—молчанье, темнота, шторы спущены. Что такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю — моя Авдотья Егоровна лежить на полу, въ одномъ спальномъ бъльъ; въ комнатъ чъмъ-то летучимъ пахнетъ. Слышу— что-то бормочетъ; няня около нея и дълаетъ мнъ какіе-то знаки, чтобы я вышелъ. Что за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чистить себъ зубы табакомъ и потомъ упивается гофманскими каплями, бывшими тогда въ большомъ употребленіи, какъ домашнее средство противъ всъхъ лихихъ болъзней. Потомъ гофманскія капли замънились полынною, а наконецъ и простякомъ.

Учитель кончиль курсь. Хозяинь обрюзгь болье прежнягои сдълался еще неприступнъе; а хозяйка, спившись съ круга, увлекла въ запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну.

Кстати уже, говоря о чисто-дътской наивности, памятной мнъ въ то время, какъ готовился уже къ изученю медицины,

не забуду напомнить себъ и еще трехъ занимавшихъ меня тогда и нравившихся мнъ, вслъдствіе этой же самой ребячесвой простоты, знакомыхь. Это были Григорій Михайловичь Березкинъ, Андрей Михайловичъ Клаусъ и Яковъ Ивановичъ Смирновъ. Первые оба - изъ врачебнаго персонала, старые сослуживцы московскаго воспитательнаго дома: оба не доктора и не лекаря. Березкинъ, циникъ, съ заметною наклонностію въ спиртнымъ напиткамъ, занималь меня разсказами, очевидно иностраннаго (нъмецкаго) происхожденія о Петръ Первомъ. "Мы должны, говорять німцы, —такъ свазываль мні Березвинъ, -- Богу молиться на Петра да свъчки ему ставить, —вотъ что". Изъ медицины Григорій Михайловичъ сообщалъ мит также что-то, тогда меня кртико интересовавшее, но уже не припомню, что именно; подарилъ какой-то писанный на латинскомъ языкъ сборникъ съ описаніемъ, въ алфавитномъ порядкъ, растительныхъ веществъ, употребляемыхъ въ медицинъ; я много узналь и наизусть запомниль научныхъ терминовъ: emeticum, drasticum, diureticum, radix ipecacuanhae, jalаррае и т. п.

За годъ и более до вступленія на медицинскій факультеть я уже зналь массу названій и терминовь, и это мнё много пригодилось впоследствіи. Но детская привязанность къ слово-охотному Березкину у меня основывалась, конечно, не на разсчеть профитировать оть него что-нибудь, а на потышавшихъ меня шуточкахъ и прибауткахъ; ими изобиловала наша бесёда.

— "Ну-те-ка, ну-те", — бормочеть скороговоркою Григорій Михайловичь: — "напишите-ка: во-ро-бей".

Я и пишу, и, написавъ последній слогъ, вдругь получаю щелчовъ по голове.

- **Это что?**
- "Самъ же просиль: прочти последній слогь!" отвечаеть, заливаясь оть смеха, Григорій Михайловичь.— "А хочешь, спою песенку?"
 - Какую?
 - "Ай ду-ду".

Я притворяюсь, будто не знаю значенія этой пъсни, уже не разъ испытаннаго моимъ лбомъ.

— Ну-ка, спойте.

— "Ай ду-ду, айду-ду", — затягиваеть хриплымъ голосомъ-Березкинъ, -- "сидитъ баба на дубу".

Полный тексть таковъ: "Ай ду-ду, сидить баба на дубу; прилетела синица-что станемъ делати? пива что-ли намъ варите? сына что-ли намъ жените? Ай, сынъ мой, отдай бабъ голову, ударь бабу по лбу... отдай мою голову, ударь бабу по лбу!"... Я убъгаю со смъхомъ. Березкинъ промахнулся - я не баба, и лобъ не получилъ щелчва.

- "А воть, латинисть, отгадай-ка, что такое":--и опять стоквато: "Si caput est, currit; ventrem adjunge, volabit; addepedes, comedes; sine ventre, bibes".

Отвъчаю, не запинаясь:

- Mus, musca, muscatum, mustume.
- "А, знаешь уже; а оть кого узналь?"
- Да не отъ васъ (я лгу), я и прежде зналъ.
- "То-то, прежде зналъ; отчего же прежде не говорилъ?"
 Да я нарочно.

А всего пріятнъе моему дътски-наивному тщеславію былослышать отъ старика, какъ онъ меня хвалилъ и величалъ: върно, и я для него быль занимателень. "Ну, смотри, брать, изъ тебя выйдеть, пожалуй, и большой человевъ; ты умнивъ, вонъ не тому, не Хлопову, чета". Хлоповъ-это быль ученивъизъ пансіона Кряжева, жившій некоторое время у насъ, грубоватый и какъ-то свысока обходившійся съ Березвинымъ.

Андрей Михайловичъ Клаусъ-оригинальнёйшая и многимъ тогда въ Москвъ извъстная личность. Это былъ знаменитый оспопрививатель еще екатерининскихъ временъ. Аккуративишій старивашва, въ рыжемъ паривв, съ красною добрвишею физіономією, въ короткихъ штаникахъ, прикрепленныхъ пряжками выше кольнъ, въ мягкихъ плисовыхъ сапогахъ, недоходившихъ до колънъ; между черными штанами и сапогами виднълись бълые чулки.

Всей нашей семь въ течение многихъ летъ Андрей Михайловичь привиль оспу, и потому считаль своею обязанностіюежегодно навъщать насъ въ табельные дни, завтракаль, съ особеннымъ аппетитомъ кушалъ буттербродтъ, зимою - съ сыромъ, а весною (на Святой)—съ радиской.

Меня лично онъ занималь, кромъ своей оригинальной на-

ружности, маленькимъ микроскопомъ, всегда находившимся при немъ въ карманѣ. Расерывался черный ящичекъ, вынимался крошечный, блестящій инструменть, брался цвѣтной лепестокъ съ какого-нибудь комнатнаго растенія, отдѣлялся иглою, клался на стеклышко,—и все это дѣлалось тихо, чинно, аккуратно, какъ будто совершалось какое-то священнодѣйствіе. Я не сводиль глазъ съ Андрея Михайловича и ждалъ съ замираніемъ сердца минуты, когда онъ приглашалъ взглянуть въ его микроскопъ.

- Ай, ай, ай, какая прелесть! Отчего это такъ видно, Андрей Михайловичь?
- "А это, дружовъ, тутъ стевла вставлены, что въ 50 разъ увеличиваютъ. Вотъ, смотри-ка". Следовала демонстрація.

Третій вхожій въ нашъ домъ и занимательный для меня знакомый, Яковъ Ивановичъ Смирновъ, сослуживецъ отца, привлекалъ мою ребяческую наивность собственно глупостью. Не то, чтобы онъ самъ былъ глупъ, но какой-то точно еловый, неповоротливый, высокій, прямой какъ шестъ. Когда онъ, поздоровавшись, садился, я тотчасъ же являлся возлів его стула и приготовлялся смотріть, какъ Яковъ Ивановичъ начнетъ вынимать изъ кармана свой влітчатый синій платокъ, складывать его въ кругленькій комочекъ, а потомъ поднесетъ къ носу, утрется и подержить его въ рукъ съ полчаса, прежде чёмъ опять положить въ карманъ. Яковъ Ивановичъ (сынъ священника, учился когда-то въ семинаріи) разсказываеть матушкъ,—а она крестится отъ содроганія,—что попы частицы вынутыхъ просфоръ сбирають, сушать и ъдять со щами.

- Что это, Яковъ Ивановичъ, вы разсказываете за ужасы, да еще и при дътяхъ,—какъ вамъ это не гръхъ?
- "Помилуйте, сударыня, да то ли еще дёлають наши попы; они грёха не знають. А что, воть ты", обращается Явовь Ивановичь во мнё, "учишься по латыни, а знаешь ли, что значить: curva culina (читай: Авулина) scit quid perdit", и, обращаясь въ матушкё, которая съ удивленіемъ слышить сальныя слова отъ Якова Ивановича, думая, не охмёлёль ли онъ, Яковъ Ивановичь говорить: "Это такъ по-латыни выходить, сударыня; ужъ извините, если оно немного того"...

Я разражаюсь смёхомъ и убёгаю отъ стыда, не понявъ смысла сказаннаго.

Потомъ Яковъ Ивановичъ объясняетъ, что онъ нарочно такъ произнесъ, какъ будто бы это была Акулина, а не латинское culina, сиръчъ: мельница.

— "Напрасно сконфузились", говорить онъ матери и миѣ: "теперь выходить просто: кривая мельница знаеть, что теряеть. Ну, а воть переведи-ка славную поговорку; за нее насъ върно и маменька похвалить: amicus certus in re incerta cernitur".

Я перевожу.

Василій Феклистычь Феклистовъ—такъ звали наши домашніе студента Өеоктистова—доставляль мит также чисто д'єтскую радость. Я д'єтски радовался, что готовлюсь въ университеть и занимался прилежно съ Өеоктистовымъ; мит доставляль наслажденіе и осмотръ его медицинскихъ книгъ—какойто старинной анатоміи съ картинками, какой-то терапіи съ рецептами, но всего болбе и съ какимъ-то невыразимо-пріятнымъ трепетомъ сердца,—это я какъ будто еще теперь чувствую, разбираль я принесенный однажды Өеоктистовымъ каталогъ университетскихъ лекцій.

- "Кавія лекціи буду я слушать? Воть Юсть Христіанъ Лодеръ—анатомія человіческаго тіла. Буду?"
 - Непремънно.
- "Вотъ Ефремъ Осиповичъ Мухинъ физіологія по Ленгоссеку. Это что такое? Да Мухинъ, что бы ни читалъ, буду, непремънно буду слушать. Василій Михайловичъ Котельницкій фармакологія или врачебное веществословіе. Василій Өеоктистычъ! Это что за наука?"
 - Да о дъйствіи лекарствъ.
- "Ахъ, воть любопытно-то: какъ дъйствуеть рвотное, какъ слабительное; а я въдь уже знаю, что radix ipecacuanhae —emeticum; radix jalappae —drasticum".
 - -- А почемъ это вы знаете? откуда это вы взяли?
- "А воть позвольте, я сейчась принесу вамъ книжку Григорія Михайловича Березкина,—все, все есть, преинтересная".

Приношу и показываю. Өеоктистовъ съ важнымъ видомъ и презрительно улыбаясь (эту улыбку я воображаю, когда пишу эти строки, дивтуемыя воспоминаніемъ), перелистываеть драгоцънный даръ Березкина и, отдавая мнъ назадъ, говорить:

- Старье! старье! Будете студентомъ, такъ просите папеньку купить вамъ фармакологію Іовскаго, переводъ съ нѣмецкаго Шпренгеля.
 - "А дорого она стоить?"
 - Да рубля три или четыре.
 - "Попрошу непремънно".

Между твиъ время идеть. Мы сходили въ Троицв помолиться. Өеоктистовъ съ нами; экскурсія продолжалась дня четыре и служила отдыхомъ, хотя, по правдѣ сказать, ни я, ни Өеоктистовъ не уставали отъ нашихъ занятій. Въ этой экскурсіи мы не останавливались въ Мытищахъ и Троицвую ризницу не посѣщали; поэтому все, что я говорилъ прежде о моихъ дѣтскихъ воспоминаніяхъ о Троицв, относится, несомнѣнно, въ прежнему времени (т.-е. въ моему 7—8-лѣтнему возрасту, въ 1817—1818 гг.).

Наконецъ, настало время и вступительнаго экзамена.

Я не помню решительно ничего о томъ, что я чувствоваль, когда бхаль съ отцомъ въ университеть на экзамень; но, върно, ни надежда, ни страхъ не волновали меня черезчуръ; я живо помню, напримъръ, мой первый экзаменъ въ пансіонъ Кражева; волненіе, съ которымъ я отвъчаль тогда на заданные вопросы, какъ только вспомню о немъ, кажется мнъ неулегшимся еще до сихъ поръ; вижу, какъ въ отдаленномъ туманъ, Дружинина (директора гимназіи, присутствовавшаго на экзаменъ), сидящаго въ большихъ, для него нарочно приготовленныхъ, креслахъ; смотрю на проходящаго съ подносомъ толстаго пансіоннаго дядьку, плутовски улыбающагося мнъ мимоходомъ и подмигивающаго однимъ глазомъ. Помню живо чью-то добрую усмёшку и волкое замёчаніе священника на мое слишкомъ наглядное изложение сновидений Фараона. "Ему грезилось", -- повторяль я нъсколько разъ въ моемъ одушевленномъ жестами разсвазъ. "Снилось, снилось, снилось", -- замъчаль, останавливая меня каждый разь на полсловь, законоучитель. И все это было два года ранве моего перваго университетскаго испытанія.

Вступленіе въ университеть было такимъ для меня громад-

нымъ событіемъ, что я, какъ солдать, идущій въ бой, на живнь или смерть, осилилъ и перемогъ волненіе и шелъ хладнокровно. Помню только, что на экзаменъ присутствовалъ и Мухинъ, какъ деканъ медицинскаго факультета, что, конечно, не могло не ободрять меня; помню Чумакова, похвалившаго меня за воздушное ръшеніе теоремы (вмъсто черченія на доскъ я размахивалъ по воздуху руками); помню, что спутался при извлеченіи какого-то кубическаго корня, не настолько, однако-же, чтобы совствиъ опозориться.

Знаю только навърное, что я зналъ гораздо болъе, чъмъ отъ меня требовали на экзаменъ. Въ пріемной меня ожидали, посль окончанія экзамена, отецъ, секретарь правленія— К ондратьевъ и рекомендованный имъ мой приготовитель — О ео ктистовъ. Отецъ повезъ меня изъ университета прямо въ Иверской и отслужилъ молебенъ съ колънопреклоненіемъ. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили изъ часовни: "Не видимое ли это божіе благословеніе, Николай, что ты уже вступаешь въ университеть? кто могъ этого надъяться!"

Затемъ мы заёхали въ кондитерскую Педотти, гдё и послё-довало угощение меня шоколадомъ и сладкими пирожками.

Это было въ сентябръ 1824 г. Съ этого дня началась новая эра моей жизни. Но странно: въдь я собственно не увъренъ—было ли это въ 1824 году? Справляться не стоитъ; а странно именно то, что мнъ кажется теперь, будто отецъ мой долъе жилъ послъ вступленія моего въ московскій университеть, чъмъ оказывается по разсчету. Навърное, отецъ мой умеръ почти за годъ до смерти государя Александра I, т.-е. за годъ до 1825 г. Не вступилъ же я въ московскій университеть въ 1823 году, 13-ти лъть оть роду!

Пережитое время, оставаясь въ памяти, кажется то болье короткимъ, то болье долгимъ; но обыкновенно оно укорачивается въ памяти. Прожитыя мною 70 льтъ, изъ коихъ 64 года навърное оставили послъ себя слъды въ памяти, кажутся мнъ иногда очень короткимъ, а иногда очень долгимъ промежуткомъ времени. Отчего это? Я высказалъ уже, какое значеніе я придаю иллюзіямъ. Намъ суждено — и, я полагаю, къ

нашему счастію—жить въ постоянномъ миражѣ, не замѣчая этого.

Можно, пожалуй, утверждать, что еще счастливъе тотъ, кто не только не подозръваеть, но и не имъеть никакого понятія о существованіи чувственныхъ и психическихъ миражей.

Въ сущности же, все равно: выгоды незнанія равняются невыгодамъ. Больному врачу плохо бываеть иногда отъ его знанія, а здоровому—это же знаніе небезполезно для его здоровья.

Такъ и убъждение въ существовании постояннаго, пожизненнаго миража, съ одной стороны, не очень вредно, потому что убъждение это все-таки не уничтожаетъ благодътельной иллюзіи, и, убъжденные и неубъжденные въ ней, мы будемъ продолжать жить по прежнему, все въ томъ же миражъ. Сколько лътъ прошло уже съ тъхъ поръ, какъ намъ сдълалось извъстно, что "das Ding an und für sich selbst" для насъ навсегда останется terra incognita; такъ нътъ же! Мы все-таки продолжаемъ думать и дъйствовать въ жизни такъ, какъ будто бы это "das Ding an und für sich selbst" было намъ досконально извъстно и коротко знакомо.

Такъ вотъ и представление наше о прожитомъ нами времени такъ же миражно, какъ и все прочее въ жизни.

Когда я обращаю усиленное вниманіе на какой-нибудь отрывовъ изъ прожитаго времени, т.-е. направляю мою внимательность на память (съ чёмъ бы сравнить это? воть, я дёлаю это въ настоящую минуту, когда пишу эти строки: я вавъ будто внимательно роюсь въ моей памяти, не то смотрю въ нее, не то силюсь, будто-бы, что-то открыть и вынуть... нётъ, ни съ чёмъ не сравнишь),—тогда мнё представляется этотъ вынутый изъ памяти отрывокъ чрезвычайно близкимъ ко мнё, въ моему настоящему, какъ будто все приноминаемое происходило вчера.

Воть живые портреты припоминаемых лиць, ихъ платье, ихъ манеры, голосъ, усмъпка, все какъ есть... чудеснъйшій миражъ! А начни только дъйствовать, окунись въ водоворотъ жизни—и все куда-то далеко, далеко ушло, исчезло,—новый миражъ! Существовавшее представляется какъ будто-бы несуществовавшимъ.

Такъ, съ той минуты, когда мы съ отцомъ вышли изъчасовни Иверской, — отъ нея, отъ этой минуты, остались въ

памяти только слова отца,—и до того страшнаго міновенія, когда я увиділь его на столів посинівшимъ трупомъ,—какъ будто отца и вовсе не было у меня; едва, едва въ густомъ туманів мелькаеть предо мною его блідный обликъ и усталая поступь, видівные мною въ послідніе дни его жизни. А всетаки протекшее между двумя уцілівшими въ памяти значками время мнів кажется теперь очень долгимъ, такъ долгимъ, что сомнівваюсь, было ли это меніве двухъ літь.

Началось посёщеніе лекцій. Выдали матрикуль безь всякихъ церемоній. Приходъ Троицы въ Сыромятникахъ не близокъ къ университету, —будеть съ чась ходьбы; положено было оставаться въ об'ёденное время у Өеоктистова, и только въ 4—5 часовъ вечера возвращаться на извозчикъ.

Өеоктистовъ быль казенно-коштный студенть и жиль вмёстё съ пятью другими студентами въ 10-мъ нумерё корпуса квартирь для казенно-коштныхъ.

Надо остановиться на воспоминаніи о 10-мъ нумерѣ и объ извозчикѣ.

Немудрено, что воспоминанія эти сохранились. 10-й нумеръ я посёщалъ ежедневно, нъсколько лёть сряду, а на извозчикъ тядилъ, пока нужда не заставила ходить пёшкомъ,—и 10-й нумеръ, и вечерняя тяда на извозчикъ совпадають съ первымъ выходомъ на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу въ большую комнату, уставленную по стенамъ пустыми кроватями со столиками; на каждомъ столике наложены кучки веленыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ книгъ и пачки тетрадей; вижу—лежитъ на одной кровати чья-то фуражка, дномъ наружу; на дне —надпись; читаю: "Hunc pil...—тутъ стерто, не разберу—Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus".

Понимаю. Гдѣ же этотъ г. Чистовъ? А вотъ, онъ входитъ въ дверь; испитой, съ густыми темными волосами, свинцоваго цвѣта лицомъ, темно-синею, выбритою гладко, бородою; за нимъ приходитъ съ лекціи и мой Өеоктистовъ; дверь начинаетъ безпрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другимъ все новыя и новыя лица, рекомендуются, привѣтливо обра-

щаются ко миѣ; воть г. Лейченко, самый старшій, —дѣйствительно, — на видъ лѣтъ много за 30; вотъ Лобачевскій, длинный, рыжій, усѣянный, должно быть, веснушками по всему тѣлу, судя по лицу и рукамъ, и еще человѣкъ шесть нумерныхъ и постороннихъ.

Начинаются бесёды, закуриваніе трубокъ; говорять всё разомъ,—ничего не разберешь; дымъ поднимается столбомъ; слышится по временамъ и брань неприличными словами.

Мой бывшій наставникъ, Θ е октистовъ, представляется миѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, не тѣмъ, какимъ я его зналъ до сихъ поръ: онъ туть передъ нѣкоторыми просто пассъ,—тише воды, ниже травы.

Воть хоть бы Чистовъ, обладатель фуражки съ латинскими стихами, — тотъ береть со стола книгу, ложится на кровать и, обращансь ко мнѣ (я стою вблизи его кровати), спрашиваеть: "съ какими римскими авторами вы знакомы?" Я краснѣю. "Что же? Феоктистовъ, върно, вамъ немногое сообщилъ; гдѣ же ему: онъ и самъ ничего не понимаетъ въ латыни. Садитесь-ка вотъ здѣсь, — я вамъ кое-что прочту изъ Овидія; слыхали о "Метаморфозахъ" Овидія? А? слыхали?" — "Да, немного слыхалъ". — "Ну, слушайте-же!" — И Чистовъ началъ скандировать плавно и съ увлеченіемъ, и тутъ же я научился у него больше чѣмъ во все время моего приготовленія къ университету отъ Феоктистова. Оказалось потомъ, что Чистовъ былъ, дѣйствительно, знатокъ римскихъ классиковъ; я рѣдко видалъего за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежитъ и читаетъ своего любимаго Овидія Назона или Горація.

Родомъ изъ духовныхъ, воспитанникъ семинаріи, Чистовъ отличался, однако-же, ръзко отъ другихъ сотоварищей, по большей части тоже семинаристовъ; это была мебель изъ еловаго, а онъ изъ краснаго дерева и, должно быть, поэтъ въ душъ.

Чего я не насмотрълся и не наслышался въ 10-мъ нумеръ! Представляю себъ теперь, какъ все это видънное и слышанное тамъ дъйствовало на мой 14—15-лътній умъ! Является, напримъръ, какой-то гость Чистова, хромой, блъдный, съ растрепанными волосами, вообще страннаго вида на мой взглядъ,—теперь его можно бы было, по наружности, причислить кънигилистамъ,—по тогдашнему это былъ только вольнодумецъ-

Говориль онъ какъ-то захлебываясь отъ волненія и обдавая своихъ собесъдниковъ брызгами слюны.

Въ разговорахъ быстро, скачками переходить отъ одного предмета въ другому, не слушая или не дослушивая нивакихъ возраженій. "Да что Александръ I, - куда ему, - онъ въ сравненіе Наполеону не годится. Вотъ геній, тавъ геній!.. А читали вы Пушвина "Оду на вольность"? А? Это, впрочемъ, винигреть какой-то. По нашему не такъ; révolution, такъ révolution, вакъ французская—съ гильотиною!" И услыхавъ, что кто-то изъ присутствующихъ говорилъ другому что-то о бракъ, либераль 1824—1825 гг. вдругь обращается въ разговаривающимъ: "Да что тамъ толковать о женитьот! что за бракъ! на что его вамъ? кто вамъ свазалъ, что нельзя по-просту спать съ любою женщиною......? Въдь это все ваши провлятые предразсудки: натолковали вамъ съ дътства ваши маменьки. да бабушки, да нянюшки, а вы и върите. Стыдно, господа, право, стыдно!" — А я-то, я — стою и слушаю, ни одного слова не проронивъ.

Вдругъ соскавиваеть съ своей вровати Катоновъ, хватаеть стулъ и—бацъ его посрединъ вомнаты! "Слушайте, подлецы!" вричитъ Катоновъ: "вто тамъ изъ васъ смъеть толковать о Пушкинъ слушайте, говорю!" — вопитъ онъ во все горло, потрясая стуломъ, закатывая глаза, скрежеща зубами:

"Тебя, твой родъ и ненавижу, Твою погибель, смерть дётей Я съ злобной радостію вижу, Ты ужасъ міра, стыдъ природы, Упрекъ ты Богу на землі"...

Катоновъ, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходить изъ себя,—не кричить уже, а вопить, реветь, шипить, размахиваеть во всё стороны поднятымъ вверхъ стуломъ, у рта пъна, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горять. Изступленіе полное. А я стою, слушаю съ замираніемъ сердца, съ нервною дрожью; не то восхищаюсь, не то совъщусь.

Ревъ и изступленіе Катонова, наконецъ, надобдають; на него наскакиваетъ рослый и дюжій Лобачевскій. "Замолчишь ли ты, наконецъ, скотина!" кричить Лобачевскій, ста-

раясь своимъ крикомъ заглушить ревъ Катонова. Начинается схватка; у Лобачевскаго ломается высовій каблукъ. Паденіе. Хохотъ и апплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, въ который я не услыхаль бы или не увидъль чего-нибудь новенькаго, въ родъ описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потомъ все вольнодумное сдълалось уже дъломъ привычнымъ.

За исключеніемъ одного или двухъ, обитатели 10-го нумера были всё изъ духовнаго званія, и отъ нихъ-то, именно, я наслышался такихъ вещей о попахъ, богослуженіи, обрядахъ, таинствахъ и вообще о религіи, что меня на первыхъ порахъ, съ непривычки, морозъ по кожъ подиралъ...

Всѣ запрещенные стихи, въ родѣ "Оды на вольность", "Къ временщику" Рылѣева, "Гдѣ тѣ, братцы, острова", и т. п., ходили по рукамъ, читались съ жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждомъ удобномъ случаѣ.

Читалась и барковщина, но весьма ръдко, а замъняла въ то время болъе современная поэзія, подобнаго же рода, студента Полежаева.

О Богѣ и церкви сыны церкви изъ 10-го нумера знать ничего не хотѣли и относились ко всему божественному съ полнымъ пренебреженіемъ.

Понятій о нравственности 10-го нумера, несмотря на мое коротвое съ нимъ знакомство, я не вынесъ ровно нивакихъ. Разгулъ при наличныхъ средствахъ, полный индифферентизмъ къ добру и злу при пустомъ карманѣ,—вотъ вся мораль 10-го нумера, оставшаяся въ моемъ воспоминаніи.

Вотъ настало первое число мъсяца. Получено жалованье. Нумеръ накопляется. Дверь то и дъло хлопаетъ. Солдатъ, старивъ Явовъ, ветеранъ, служитель нумера, озабоченно приходитъ и уходитъ для исполненія разныхъ порученій. Являются чайники съ випяткомъ и самоваръ.

Входять разомъ человъка четыре, двое нумерныхъ студентовъ, одинъ чужой и высокій, здоровенный протодьяконъ. Шумъ, крикъ и гамъ. Протодьяконъ что-то баситъ. Всё хохочутъ. Яковъ является со штофомъ подъ черною печатью за пазу-

хою, въ рукахъ несетъ колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается съ восклицаніемъ: "Ну-ка, отецъ дьяконъ, облаго панталоннаго хватимъ!" — "Весьма охотно", глухимъ басомъ и съ разстановкою отвъчаетъ протодъяконъ. Начинается попойка. Приносится Яковомъ еще штофъ и еще, — такъ до положенія ризъ.

- "Знаете-ли вы, говорить мнѣ кто-то изъ жильцовъ 10-го нумера, что у насъ есть тайное общество? Я членъ его, я и масонъ".
 - Что же это такое?
 - "Да такъ, надо же положить конецъ".
 - **Чему?**
 - "Да правительству, ну его къ чорту!"

И я, послѣ этого открытія, смотрю на господина, сообщившаго мнѣ такую любопытную вещь, съ какимъ-то подобострастіемъ.

Масонъ! Членъ тайнаго общества? То-то у него книги все въ зеленомъ переплетъ. А я уже прежде гдъ-то слыхалъ, что у масоновъ есть книги въ зеленомъ переплетъ.

— "А слышали, господа: наши съ Полежаевымъ и хирургами (студентами московской медико-хирургической академіи) разбили вчера ночью бась на Трубъ? Вотъ молодцы-то!"

Начинаются разсказы со всёми сальными подробностями. И это откровеніе я выслушиваю съ тёмъ же наивнымъ любопытствомъ, какъ и сообщенную мнё тайну объ общестив и масонстве.

- Ну, братцы, угостиль сегодня Матвъй Яковлевичъ!
- "А что?"
- Да надо ручки и ножки его расцъловать за сегодняшнюю лекцію. Не даромъ сказалъ: "Запишите себъ отъ слова до слова, что я вамъ говорилъ; этого вы нигдъ не услышите. Я и самъ недавно узналъ это изъ Бруссе". И пошелъ, и пошелъ...
- "Теперь уже, братцы, Франковъ, и Петра, и Іосифа, по-боку; теперь подавай Пинеля, Биша, Бруссе!"
- А въ клиникъто, въ клиникъ какъ Мудровъ отдълалъ старье! Про тифознаго-то что сказалъ! Вотъ, говоритъ, смотрите, онъ уже почти на ногахъ послъ того, какъ мы по-

ставили слишвомъ 80 піявицъ въ животу; а пропиши я ему, по прежнему, валеріану да арнику, онъ бы уже давно быль на столь.

- "Да, Матвъй Яковлевичъ молодецъ, геній! Чудо, не профессоръ. Читаеть божественно!"
- Говорять, въ академіи хорошъ также Дидковскій. Наши ходили его слушать. Да гдё ему противъ Мудрова! Онъ недосягаемъ.
 - "Ну, ну! а Лодеръ Юстъ-Христіанъ?"
- Да, невелика птичка, старичокъ невеликъ, да носъ востёръ. Слышали, какъ онъ оберъ-полиціймейстера отдёлалъ? Вдетъ это онъ на парадъ въ каретъ, а оберъ-полиціймейстеръ подскакалъ и кричитъ кучеру во все горло: "пошелъ назадъ, назадъ!" Лодеръ-то высунулся изъ кареты, да машетъ кучеру— впередъ-молъ, впередъ. Полиціймейстеръ прямо и къ Лодеру. "Не велю, кричитъ, я оберъ-полицеймейстеръ". "А я, говоритъ тотъ, Юстъ-Христіанъ Лодеръ; васъ знаетъ только Москва, а меня вся Европа". Вчера-то слышали какъ онъ на лекціи спохватился?
 - "А что"?
- Да началь было: "Sapientischissima (Лодерь шамкаль немного) natura",—да, спохватившись, и прибавиль: "aut potius, Creator sapientischissimae naturae voluit".
 - "Да, нынъ, братъ, держи ухо востро".
 - А что?
- "Теперь тамъ въ Петербургъ, говорятъ, министръ нашъ Голицынъ такія штуки выкидываеть, что на-поди".
 - Что такое?
 - "Да, говорять, хочеть запретить всирытіе труповъ".
 - Неужели? что ты!
- "Да у насъ чего нельзя, въдь деспотизмъ. Послалъ, говорятъ, во всъ университеты запросъ: нельзя ли обойтись безъ труповъ или замънить ихъ чъмъ-нибудь?"
 - Да чёмъ тутъ замёнишь?
 - "Известно, ничемъ, такъ ему и ответятъ".
 - Толкуй! а не хочешь картинами или платками?
- "Чъмъ это? что ты врешь, какъ сивый меринъ!" слышу чей-то вопросъ.

— Нъть, не вру; уже гдъ-то, сказывають, такъ дълается. Профессоръ-то анатоми привяжеть одинъ конецъ платъа къ лопаткъ, а другой—къ плечевой вости, да и тянеть за него; "вотъ,—говоритъ,—посмотрите: это Deltoideus".

Дружный хохоть; вто-то плюнуль съ остервенвніемъ.

Да, нумеръ 10-й былъ такою школою для меня, уроки которой, какъ видно, пережили въ моей памяти много другихъ, болъе важныхъ воспоминаній.

Впоследствіи почувлись и въ 10-мъ нумере веннія другого времени; послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Овена. При ежедневномъ посещеніи университетскихъ лекцій и 10-го нумера все мое міровозгреніе очень скоро изменилось; но не столько оть лекцій остеологіи Терновскаго (въ первый годъ Лодера не слушали) и физіологіи Мухина, сколько, именно, отъ образовательнаго вліянія 10-го нумера.

На первыхъ же порахъ, после вступленія моего въ университеть, 10-й нумеръ снабдилъ меня костями и гербаріемъ; кости конечностей, нёсколько реберъ и позвонковъ были, по всёмъ вёроятіямъ, краденыя изъ анатомическаго театра отъ скелетовъ, что доказывали проверченныя на нихъ дыры, а кости черепа, отличавшіяся белизною, были, вёрно, украдены у Лодера, раздававшаго ихъ слушателямъ на лекціяхъ остеологіи.

Когда я привезъ вулекъ съ костями домой, то мои домашніе не безъ душевной тревоги смотръли, какъ я опорожнивалъ кулекъ и раскладывалъ драгоцънный подарокъ 10-го нумера по ящикамъ пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая въ это время къ намъ въ гости, увидъвъ у меня человъческія кости, прослезилась почему-то, — и когда я сталъ ей демонстрировать, — очень развязно поворачивая въ рукахъ лобную кость, бугры, вънечный шовъ и надбровныя дуги, — то она только качала головою и приговаривала: "Господи, Боже мой, какой ты вышелъ у меня безстрашникъ!"

Что касается до пріобрѣтенія гербарія, то оно не обощлось миѣ даромъ. Надо знать, что это былъ дѣйствительно замѣчательный для того времени травникъ, хотя Москва и могла считаться истиннымъ отечествомъ травниковъ всякаго рода, только не ботаническихъ, а ерофѣечевыхъ; гербарій же 10-го нумера

быль, очевидно, не соотечественный. Въроятно его составляль вакой-нибудь ученый аптекарь, нёмецъ; онъ собраль около 500 медицинскихъ растеній, прекрасно засушиль, наклеиль каждое на листь бумаги, опредълиль по Линнею и каждый листь съ растеніемъ вложиль въ листь пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студенть 10 нумера, Лобачевскій, показаль мив вы первый разь это, принадлежавшее ему, совровище, я такъ и ахнулъ отъ восхищенія. Лобачевскій предложиль мив купить эту, по моимъ тогдашнимъ понятіямъ, драгоценную вещь за 10 рублей, разумется, ассигнаціями, и сверхъ того привезти ему еще на память шелковый шнурокъ для часовъ, вязанный сестрою; Лобачевскій быль galant homme и гдё-то видёль моихъ сестеръ. Я, не возражая, не торгуясь, вив себя отъ радости пріобрітенія, попросиль тотчась же уложить гербарій вь вакой-то старый лубочный ящикъ; старый Яковъ связаль ящикъ веревкою, стащиль внизъ и положиль въ сани къ извозчику.

Въ мечтахъ, наслаждансь разсматриваніемъ гербарія, я и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до дому; тутъ только взяло меня раздумье: а что, какъ мнѣ денегъ-то не дадуть, что тогда? да не можетъ быть!—Ну, а если?.. Ахъ, Боже мой, какъ же это такъ я и не подумалъ прежде! Ну, будь, что будетъ!

— "Прасковья! Прасковья! Ульяна! да подите сюда, помогите вытащить ящикъ изъ саней!"

Тащатъ. Вхожу въ комнаты уже ни живъ, ни мертвъ отъ волненія.

- Что это такое? спрашивають сестры.
- "Да это гербарій".
- Что такое гербарій?
- "Ботаника".
- Да въдь у тебя есть уже ботаника.
- "Какая?"
- Да ты развѣ не помнишь, сколько сушиль разныхъ цвѣтовъ?
- "Ахъ, это совсвиъ не то; это настоящій, какъ есть ботаническій гербарій, и все медицинскія растенія. Просто чудо, драгоцінь вішая вещь, рідкость!"
 - Да откуда же ты досталь?

А я между тёмъ распаковываю ящикъ, вынимаю пачки пропускной бумаги.

- "А вотъ посмотрите-ка сначала, каково, а? вотъ смотрите-ка Atropa Belladonna, нездёшняя, у насъ не растеть. Это—красавица, ядъ страшный; а вотъ это растеть и у насъ, видите: Hyosciamus niger. L.; это значить Линней, по Линнею—объена. Что? Каково?"
 - Кто же теб' подариль?
- "Вотъ тебъ разъ: подарилъ! прошу покорно! Да гдъ найдешь такихъ благодътелей, чтобы все дарили вамъ? Я купилъ".
 - Купилъ! а деньги гдё?
 - "Буду просить".

А о шнуркъ я ни гу-гу.

Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнаеть и называеть мою покупку самоуправствомъ, легкомыслемъ, расточительностію; угрожаеть, что отецъ не дасть денегь. Я—въ
слезы, ухожу къ себъ, ложусь въ постель и плачу навзрыдъ,—
и такъ на цѣлый вечеръ, нейду ни къ чаю, ни къ ужину;
приходятъ сестры, уговариваютъ, утѣшають. Я угрожаю, что
останусь дома и не буду ходить на лекціи. Обѣщаютъ, во что
бы то ни стало, достать къ завтрашнему дню 10 рублей. А
про шнурокъ я все-таки ни гу-гу. Такъ, благодаря ходатайству сестеръ, дѣло и уладилось. Я принесъ Лобачевскому
на другой день 10 рублей, а про шнурокъ что-то сболтнулъ,
не помню; только Лобачевскій его никогда не получаль, хотя
при каждомъ удобномъ случаѣ и напоминалъ мнѣ о моемъ
объщаніи; а я, въ досадѣ на свою легкомысленность, посылалъ
Лобачевскаго, внутренно, ко всѣмъ чертямъ.

Съ этихъ поръ гербарій доставляль мит долго, долго, неописанное удовольствіе; я перебираль его постоянно и, не вная ботаники, заучиль на память наружный видъ многихъ, особливо медицинскихъ, растеній; лѣтомъ ботаническія экскурсіи были моимъ главнымъ наслажденіемъ, и я непремѣнно сдѣлался бы порядочнымъ ботаникомъ, еслибы нашелъ какогонибудь знающаго руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоцѣнный гербарій, увеличенный мною и долго забавлявшій меня, сдѣлался потомъ снѣдью моли и мышей; однако-же цѣлыхъ

16 лѣтъ онъ просуществовалъ, сберегаемый безъ меня матушвою, пока она рѣшилась подарить его какому-то молодому студентику.

Кромъ костей и гербарія, я принесъ еще домой изъ 10-го нумера и мое новое міровоззрѣніе, удививъ и опечаливъ этимъ не мало мою благочестивую и богомольную матушку. Въ церковь къ заутренямъ и даже всенощнымъ я продолжалъ еще ходить, соблюдалъ посты и всѣ обряды; но при каждомъ случаѣ, когда заходила рѣчь съ матерью и домашними о святости внѣшняго богопочитанія, о страшномъ судѣ, мукахъ въ будущей жизни, и т. п., я сильно протестовалъ, глумился надъ повъствованіями изъ Четьи-Минеи о дьяволѣ и его проказахъ, и пр.

- "Да разсудите, сдѣлайте милость, маменька, сами",— доказывалъ я логически:— "какъ же это можеть быть? Вѣдь Богъ, вы знаете, всевѣдущъ, всевидящъ, правосуденъ, милосердъ; поэтому Онъ зналъ навѣрное, что мы будемъ злы, и все-таки накажеть насъ потомъ за то, что мы были злы,—гдѣ же тутъ справедливость и милосердіе?"
 - Да въдь тебъ Богъ далъ волю; выбирай, не дълай зла.
- "А, позвольте, къ чему же мив эта воля, когда Богу заранве было извъстно, въдь Онъ всевъдущъ, что я согръщу и буду гръшникомъ?"

Такъ резонировалъ я съ моею старушкою (тогда она не была еще такъ стара), и замъчу кстати, что этимъ же самымъ пошленькимъ резонерствомъ я затыкалъ не однажды ротъ православнымъ догматикамъ изъ семинаристовъ.

Я помню, что съ старымъ товарищемъ по профессорскому институту (онъ былъ годами 20-ю старше меня) я цёлые часы, ночью, болталъ на эту тему. И ни ему, ни мнё не приходило въ башку, что ни о всевёдёніи, ни о правосудіи, ни о милосердіи творческомъ намъ не суждено знать, и не намъ, не нашему человёческому уму судить о свойствахъ абсолюта.

Когда наше нравственное начало ищеть себь опору въ Божествь, то мы неминуемо должны остановиться на откровени и върить Христу, разръшавшему подобныя моимъ сомитьнія тымъ, что невозможное для человыка—возможно для Бога.

Справедливо вто-то заметиль, что двумь мало-мальски

образованнымъ русскимъ нельзя сойтись вмъстъ, чтобы не заговорить тотчасъ же объ отвлеченныхъ предметахъ.

Это должно быть признавъ молодости нашей вультуры; все ново, зелено, незръло, не передумано, не перечувствовано, не осмыслено. Тавъ и со мною: лишь только и выскочиль изъдома на волю и сблизился съ университетскою молодежью,— тотчасъ же давай слушать, судить и рядить о матеріяхъ отвлеченныхъ. Почти съ того же давняго времени у меня составилось и кръпло върованіе, и я началь убъждаться въ предопредъленіи.

Сначала оно мив представлялось въ видъ нравственнаго-Немезиса, а потомъ сдълалось роковымъ логическимъ выводомъ. При складъ моего ума, я никогда не могъ себъ представитъни физическаго, ни нравственнаго міра безсвязнымъ и безцъльнымъ; а потому и предопредъленіе я основываю на непрерывной и безконечной связи зависящихъ другъ отъ другапричинъ и слъдствій.

Немудрено, что, при моемъ складѣ ума, при моемъ воспитаніи, при моемъ возрастѣ, формація моего міровоззрѣнія, тотчасъ же по вступленіи въ университетъ, началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я сталъ потихоньку мести мою лѣстницу съ верхнихъ ступеней; но выбрасывать соръ не смѣлъ. Обрядность и внѣшность богопочитанія сохранялись мною отчасти по привычкѣ, отчасти изъ страха. Но если прежнее дѣло оставалось іп statu quo, то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

- "Какой, право, Яковъ Ивановичъ (Смирновъ, о которомъ я говорилъ, кажется) пересудникъ и зубоскалъ!—говоритъ матушка:—какъ можно такъ отзываться о священнослужителяхъ!"
- Я.—Да, послушали бы вы, что поповскіе сынки въ университетъ говорять о своихъ батюшкахъ, такъ другое бы и сами подумали о попахъ; въдь это жрецы.

Матушка. — Что ты, Богъ съ тобою! въдь у насъ безкровная жертва.

Я.—Да что же, что безкровная? Все-таки и наши попы надувають народь, какъ жрецы прежде надували.

Матушка.—Какъ это можно такъ сравнивать!

Я.—Да отчего же не сравнивать? Въдь религія вездъ, для всъхъ народовъ, была только уздою (это выраженіе я слышалъ наканунъ разговора отъ одного стараго семинариста на лекціи); а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка. — Религія — въдь это значить въра; такъ неужели же теперь, по вашему, и въры не надо имъть?

Я.—Послушали бы вы, маменька, что говорить вонъ нъмецкій философъ Шеллингъ (я только-что слышалъ о немъ въ 10-мъ нумеръ отъ одного яраго поклонника—профессора петербургской медико-хирургической академіи Велланскаго).

Матушка. — Да я читала его "Угрозъ Световостоковъ".

Я (съ насмъшкою). — Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали. Гдъ же вамъ, маменька, понять Шеллинга; его и не всякій ученый пойметь. Это натурфилософъ.

Матушка. — Да ты, Николаша, уже не хочешь ли сдёлаться масономъ?

Я.—А что же такое масонъ? У насъ, тамъ, въ университетъ, между нашими студентами есть и масоны (я намекаю на сдъланное мнъ втайнъ сообщение изъ 10-го нумера).

Матушка (крестится).—Ну, Богъ съ тобою! Съ тобою теперь не сговоришь. Вогъ время-то какое настало! Куда это свёть идеть?

Я.—Да куда же ему идти, и что такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящаго не существуеть; его не поймаешь,— оно то было, то будеть; а будущее неизвъстно.

Эта послѣдняя тирада понравилась матушкѣ, и она долго послѣ напоминала мнѣ всегда: "А помнишь ли, какъ ты мнѣ говорилъ, что прошедшее не возвратишь, настоящаго нѣтъ, а будущее неизвѣстно. Это такъ, такъ".

Десятый нумеръ остался мнё памятнымъ навсегда не только потому, что воспоминаніе о немъ совпадаеть у меня съ развитіемъ перваго въ жизни міровоззрінія, но и потому еще, что слышанное и виданное мною въ этомъ нумерів, въ теченіе цівлыхъ трехъ літь, служило мнів съ тіхъ поръ всегда руководною нитью въ моихъ сужденіяхъ объ университетской молодежи. 10-й нумеръ 1824 года, перенесенный въ наше время, навірное считался бы притономъ нигилистовъ. И тогда почти все отрицалось: Бога не нужно было; религія была вредною уздою;

не отрицались только свобода, вольность и даже буйство, при полученіи жалованья. Формы, конечно, изм'янились. Оть революціи, пожалуй бы, и не прочь, на словахъ, но систематическое осуществленіе принциповъ было не по силамъ. Осуществлять что-либо задуманное и передуманное, д'яйствовать, — это не нашего поля ягода; это н'ячто западное, пришлое къ намъ вм'ястъ съ паромъ и жел'язными колеями.

Но университетское воспитаніе молодежи, предоставленное до 1824 года почти исключительно силамъ природы, едва-ли не дало, въ нравственномъ отношеніи, лучшіе плоды, чѣмъ позднъйшее, искусственное.

Что вышло изъ всёхъ этихъ энтузіастовъ вольности, этихъ отрицателей божества, вёры и поклонниковъ Вольтера, натурфилософіи, революцій и т. п.? То же самое, что выходить изъ всёхъ ультрабуршей въ германскихъ и въ нашемъ деритскомъ университетахъ. Я встрёчался не разъ въ жизни съ прежними обитателями 10-го нумера и съ многими другими товарищами по московскому и деритскому университетамъ, закоснёлыми приверженцами всякаго рода свободомыслія и вольнодумства, и многихъ изъ нихъ видёлъ потомъ тише воды и ниже травы, на служобъ, семейныхъ, богомольныхъ и посмъивавшихся надъ своими школьными (какъ они называли) увлеченіями. Того господина, напримёръ, изъ 10-го нумера, который горланилъ во всю ивановскую "Оду на вольность", я видёлъ потомъ тишайшимъ штабъ-лекаремъ, женатымъ, игравшимъ довольно шибко въ карты и служившимъ отлично въ госпиталё.

Про германскихъ и дерптскихъ буршей и про нашихъ кутилъ-студентовъ и говорить нечего. Извъстное и переизвъстное дъло, что этотъ разрядъ университетской молодежи даетъ впослъдствіи значительный контингентъ отличныхъ доцентовъ, чиновниковъ-бюрократовъ, пасторовъ, докторовъ и пр. Перебъсятся —и людьми станутъ. Die Jugend muss austoben. Правда, это поговорка нъмецкая, а что для нъмца здорово, то русскому, пожалуй, и не въ-прокъ. Въдъ русскіе, поступавшіе, въ бытность мою въ Дерптъ, студентами прямо изъ нашихъ училищъ, спивались съ кругу неръдво, и очень немногіе изъ нихъ вышли

въ люди. Но молодежь каждой націи должна перебъситься по своему, и русской надо перебъситься по своему, по-русски.

Воть, въ 1824—1825 годахъ, мнѣ кажется, такъ и дѣлалось. Тогда университетская молодежь, предоставленная самой себѣ, жила, гуляла, училась, бѣсилась по своему. Не было
ни попечителей, ни инспекторовъ, въ современномъ значеніи
этихъ званій. Попечителя, князя Оболенскаго, видали мы
только на актѣ, разъ въ годъ, и то издали; инспекторы тогдашніе были тѣ же профессора и адъюнкты, знавшіе студенческій бытъ потому, что сами были прежде (иные и не такъ
давно) студентами.

Эвзаменовъ курсовыхъ и полукурсовыхъ не было. Были переклички по спискамъ на левціяхъ и репетиціи. - у иныхъ профессоровъ и довольно часто; но все это делалось такъ себе, для очищенія сов'єсти. Нивто не заботился о результатахъ. Между темъ аудиторіи были биткомъ набиты и у такихъ профессоровъ, у которыхъ и слушать было нечего, и нечему на учиться. Проказь было довольно, но чисто студенческихъ. Болтать, даже и въ самыхъ ствнахъ университета, можно было вдоволь, о чемъ угодно, и вкривь, и вкось. Шпіоновъ и наушниковъ не водилось; университетской полиціи не существовало; даже и педелей не было; я въ первый разъ съ ними познавомился въ Деритъ. Городская полиція не имъла права распоряжаться съ студентами, и провинившихся должна была доставлять въ университеть. Мундировъ еще не существовало. О какихъ-нибудь демонстраціяхъ нивогда никто не слыхаль. А надо заметить, что это было время тайных обществь и недовольства; всв грызли зубы на Аракчеева; запрещенныя дензурою вещи ходили по рукамъ, читались студентами съ жадностію и во всеуслышаніе; чего-то смутно ожидали.

Правда, общественная жизнь того времени не была еще, какъ теперь, взбаломученнымъ моремъ. О меньшей братіи не было еще толковъ. Культурный слой заботился только о себъ и смотрѣлъ вверхъ, а не внизъ. Буржуазія еще стояла на пьедесталъ. Но развъ все это не было для насъ гораздо натуральнъе и проще? Тогда, какъ и теперь, всъмъ извъстно было, что въ сущности, что бы тамъ ни говорилось, всякій заботится исключительно о себъ; но тогда люди были, должно быть, от-

вровенные и, заботясь о себь, не толковали о меньшей братім и не поступали такъ, какъ будто бы изъкожи лыуть для другихъ. Всесвытное горе, Weltschmerz, не волновало еще умы людей и не было моднымъ занятіемъ тыхъ, кому нечего было дылать. Правда, и тогда знали, что во времена оны Сынъ Человыческій скоробыль этимъ горемъ не для Себя; но знали также, что то былъ Единый, Непогрышимый, Безгрышный, имывшій власть отпускать и грыхи другихъ; а потому, считая самоотверженіе и безкорыстное служеніе общему благу не дыломъ во грыхы рожденныхъ сыновъ человыческихъ, подозрительно смотрыли на вожаковъ и агентовъ вспомоществованія всесвытному горю.

Конечно, молодежь, какъ самый чувствительный къ вѣяніямъ времени барометръ, всегда обнаруживаетъ замѣтнѣе признаки небывалыхъ стремленій; такъ, немудрено, что современная молодежь, при появленіи на свѣтъ новыхъ соціальныхъ ученій, тотчасъ же изъявила готовность донвихотствовать и окунаться въ взбаломученное море.

Я убъжденъ, однаво-же, что не тяготъй надъ нашими студентами съ 1826 года, цълыхъ 30 лътъ, систематическій гнетъ попечительствъ, инспекторствъ, и т. п., молодежь встрътила бы възнія новаго времени совствъ инымъ образомъ. Несмотря на мою незрълость, неопытность и дътски-наивное равнодушіе къ общественнымъ дъламъ, я все-таки тотчасъ же почувствовалъ начинавшійся съ 1825 года гнетъ въ университетъ.

Гнеть этоть, какъ извъстно, усиливался crescendo и даже до сегодня, съ нъкоторыми перемежками, — слъдовательно, не 30, какъ я сейчасъ сказалъ, позабывъ, что дълалось въ послъднія 20 лъть, — а цълыхъ 50 лътъ. Довольно времени, чтобы, исковеркавъ lege artis молодую натуру и ожесточивъ нравы, перепортить и погубить многія сотни и тысячи душъ.

Вотъ куда зашелъ я изъ 10-го нумера, и забылъ, что хоттълъ еще говорить о московскихъ извозчикахъ, возившихъ меня почти ежедневно съ Неглинной (университетъ, по понятіямъ тогдашнихъ извозчиковъ, находился на Неглинной) къ Троицъ въ Сыромятники. Species моихъ возницъ именовалось волоч-

вами, и я имъть удовольствіе, въ теченіе цълаго года, по вечерамъ вздить изъ университета домой на волочкахъ.

Этоть, теперь не существующій, родь возниць перетаскиваль человьческія тьлеса на дровняхь. Незатьйливый экипажь, в олочка, дъйствительно, быль не что иное, какъ большія дровни, покрытыя какимъ-то подобіємъ подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свышенными на землю, и если были очень длинны, то едва не волочились по земль; когда было грязно, то предлагались для прикрытія кольнъ и голеней дерюга или мышокъ, нисколько, впрочемъ, не оправдывавшіе возлагавшихся на нихъ надеждъ.

Какъ бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчичьи московскія волочки 1825 года,—но онѣ вполнѣ гармонировали съ тогдашнимъ состояніемъ столичныхъ переулковъ и моего кармана. За 10 и за 5 копѣекъ,—смотря по тому, гдѣ я садился на волочки,—онѣ везли меня цѣлыхъ 8 версть, въ темные, осенніе вечера, по непроходимой грязи различныхъ переулковъ и закоулковъ, путешествіе пѣшкомъ по которымъ было сопряжено съ опасностію для жизни, и я это испыталъ нѣсколько разъ, когда мнѣ приходилось отправляться по инфантеріи.

Разъ, въ безлунный, темный, осенній вечеръ, я, не желая передать извозчику болье пятачка, загрязъ по щиколки въ какомъ-то глухомъ закоулкъ и былъ аттакованъ собаками; перепугавшись не на шутку, я кричалъ во все горло, отбивался бросаніемъ грязи и, наконецъ, кое-какъ выкарабкался изъ нея, весь испачканный и съ потерею галошъ.

Извозчики и учащаяся молодежь — это два самые върные барометра культурнаго общества: по нимъ узнается очень скоро и настроеніе, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чъмъ дъятельнъе обмънъ веществъ, тъмъ живъе и совершеннъе организмъ. Чъмъ дъятельнъе обмънъ идей, а съ ними и умственныхъ и матеріальныхъ произведеній, тъмъ культурнъе и совершеннъе общество. А кто, какъ не школа и молодежь, укажетъ намъ прямо и върно умственную жизнь общества, его стремленія, силу и скорость обмъна господствующихъ въ немъ идей? Кто, какъ не извозчики и главный ихъ

raison d'être—пути сообщенія, покажеть намъ силу и скорость обмѣна въ матеріальномъ быть общества?

Прошло менте года, судя по разсчету времени, и гораздо болте, судя по однимъ воспоминаніямъ, съ ттъхъ поръ, какъ я вступилъ въ московскій университеть, и страшное горе-злосчастіе разразилось надъ нашею семьею.

Уже года два тянулась исторія съ покражею вазенныхъ денегъ коммиссіонеромъ И ваковымъ; домъ и имѣніе были уже описаны въ казну, были и частные долги; но отецъ умѣлъ вести дѣла, былъ повѣреннымъ по разнамъ дѣламъ и между прочими и по имѣнію генерала Николая Мартыновича Сипягина, женатаго на богатой Всеволожской.

Въ теченіе этого времени, помню, толковали много у насъ о прівздв въ Москву для ревизіи коммиссаріата какого-то грознаго Аббакумова; называли его аракчеевцемъ. Онъ упекъ многихъ подъ судъ; отецъ, однако-же, избъжалъ суда и вышелъ по-просту въ отставку; мы продолжали жить почти-что по прежнему, какъ въ былые счастливые дни. Я помню еще, какъ отецъ, вышедъ въ отставку, въ первый разъ надълъ темноворичневый, съ темными пуговицами, фравъ и сапоги съ висточками; помню, важется мнъ, и то, что онъ сталъ вакъ-то задумчивье, неподвижные; прежде мы только по вечерамъ его видали дома; теперь мы заставали его нередко посреди дня спящимъ на диванъ; онъ чаще сталъ жаловаться на головныя боли, и характеръ его, должно быть, измънился; вспыльчивый и горячій по природі, отець сділался равнодушнымь. Какъ теперь вижу, -- онъ сидить и брвется; входить низеньная, толстая фигура баньщика и торговца дровами и начинаеть тянуть предлинную канитель объ уплать денегь за купленныя у него дрова и, заметивъ, наконецъ, равнодушіе отца къ его доводамъ, говорить: "нъть, я уже теперь вижу, придется идти мнъ че въ Ивану Ивановичу (моему отцу), а въ Александру Алексевичу" (т.-е. къ московскому оберъ-полиціймейстеру Шульгину съ жалобою на должника). На всю тираду баньщика отецъ не отвъчаеть ни полслова; я стою и слушаю, - и, върно, слушалъ очень внимательно, если до сихъ поръ помню.

Въ половинъ апръля отецъ приходить изъ бани и выпиваеть стаканъ квасу. Ночью въ домъ тревога. Захватило духъ; посылають за лекаремъ, пускаютъ кровь, затъмъ слъдуетъ облегченіе; отецъ чрезъ нъсколько дней встаеть съ постели, прохаживается по саду, но не выздоравливаетъ; лекарь изъ воспитательнаго дома, Кашкадаловъ, призываетъ на консиліумъ все того же Ефр. Осип. Мухина, нашего стараго знакомаго и добродъя.

Вспоминаю два разсужденія по поводу этого консиліума. Оканчивавшіе курсь изъ 10-го нумера, услыхавь отъ меня, что Ефремъ Осиповичъ прописаль отцу magnesia sulfurica въ растворѣ, рѣшили съ самоувѣренностію, что они сдѣлали бы то же самое, что и Мухинъ; а мой почтенный подлекарь Григ. Мих. Березкинъ, съ нависшими бровями, полузакрытыми глазами, хриплымъ голосомъ, скороговоркою и отрывисто, какъ-то подъ носъ себѣ, бормоталъ: "тутъ бы, эдакъ, надо бы атага, атага горогаптіа бы, эдакъ". И я, вспоминая блѣдно-желтоватый, безкровный обликъ въ послѣдній разъ въ жизни видѣннаго отца, невольно думаю: старикъ Березкинъ правъ былъ...

Насталь день 1 мая, гулянье въ Сокольникахъ, день превосходный, солнечный, теплый; мы вздумали вывезти отца за городъ на нёсколько часовъ; условились, чтобы я воротился изъ университета къ часу, и мнё помнится, какъ будто отецъ, вставъ по утру въ этотъ день, говорилъ намъ, что во снё кто-то ему сказалъ очень внятно: "слышалъ ли, что Иванъ Иванычъ Пироговъ умеръ". Не берусь рёшить навёрное, слышалъ ли я это изъ устъ самого отца, какъ мнё кажется, или узналъ послё изъ разсказовъ отъ домашнихъ.

Радостно я уходиль въ университеть, въ надеждѣ, возвратившись, тотчасъ же поѣхать съ отцомъ за городъ; грустно было мое возвращеніе, — и теперь, 56 лѣтъ спустя, сердце ноеть, когда привожу на память, что я увидѣлъ, возвратившись домой.

Что-то зловъщее чуялось миъ, когда я приближался въ дому. У вороть стояло нъсколько человъвъ и ворота были отперты; слышался шумъ и бъготня. Меня забыли или не могли предупредить. Чуя что-то недоброе, я пробъжалъ чрезъ дворъ въ съни и переднюю, и лишь только отворилъ дверь въ большую комнату (залу), мнъ представился столъ, а на столъ—темнобагровое, раздутое лицо отца, окаймленное воротникомъ мундира; у меня закружилась голова, сердце сжалось, ноги подкосились, и я упаль на руки къ подбъжавшимъ ко мнъ сестрамъ.

Одна изъ нихъ разсказала потомъ мнѣ, что, не болѣе, какъ за часъ до моего прихода, она подала отцу ложку съ лекарствомъ; онъ сидѣлъ на стулѣ, и лишь только поднесъ ложку ко рту, какъ побагровѣлъ, захрапѣлъ и повалился со стула. A popléxie foudroyante.

Остановлюсь на наслёдственных характерных чертахъ нашей семьи. Современный вопрось о вліяніи наслёдственности на организмъ только тогда рёшится удовлетворительно, когда соберется достаточный и надежный матеріаль изъ описаній наслёдственной характеристики огромнаго числа семей и особей.

Въ нашемъ семействъ весьма ръзво выразились два различные типа; одна часть мужского и женскаго поволънія (братья и сестры) была почти черноволосая, долголицая, съ продолговатыми носами, темно-карими глазами, густыми волосами на головъ и тълъ; другая половина, напротивъ, была вруглолица, съ черепомъ болъе шировимъ, чъмъ высокимъ, сплюснутымъ шировимъ носомъ, нъсколько выдавшимися скулами, свътлыми и голубыми глазами, свътло-русыми и жидкими волосами на головъ; мужское поколъніе этого типа плъшиво, — плъшь начинается со лба, а не съ макушки головы, — но борода окладистая и густая.

Изъ шести оставшихся на моей памяти членовъ нашей семьи (трехъ братьевъ и трехъ сестеръ) только двое принадлежали къ первому типу долголицыхъ (братъ и сестра), тогда какъ нашъ отецъ, мать и четверо насъ остальныхъ дѣтей (двое братьевъ и двѣ сестры) были представителями второго типа.

Дъда и бабушку мою я не помню, но, судя по разсказамъ, дъдъ принадлежалъ также къ этому разряду, котя и былъ на старости совершенно плъшивъ; находили нъкоторое сходство между нимъ и старшимъ моимъ братомъ, Петромъ.

Разсказывали, что дѣдъ Иванъ Михайловичъ былъ высокій, плотный мужчина и жилъ болѣе ста лѣтъ; увѣряли даже, что передъ смертью у него начали прорѣзываться новые зубы!?? Онъ служилъ прежде въ арміи и помнилъ еще многое изъ временъ Петра Перваго, потомъ поселился въ Москвъ, завелъ какую-то, для того времени новую, пивоварню, женился и былъ строгимъ мужемъ; бабушка въ послъдніе годы жизни помъщалась, капризничала, бранилась и дралась съ мужемъ.

Помъшательство перешло по наслъдству и на старшую сестру мою, какъ разсказывали, очень похожую лицомъ на бабушку. Я наблюдаль эту болъзнь сестры съ самаго начала ея развитія, съ 1841 г., а смерть постигла сестру въ 1869 году.

Все наше семейство было характера вспыльчиваго и горячаго; но вспышки никогда не продолжались долго. Эти черты нрава перешли отъ дёда и бабки къ отцу, отъ отца—къ намъ. Мать моя принадлежала, какъ сказано уже, ко второму типу, ниёла характеръ сходный съ отцовскимъ, но отличалась большею сдержанностью; зато и гнёвъ ея не проходилъ такъ скоро, какъ отцовскій, а расположеніе духа не такъ быстро мёнялось, какъ у отца; она была и разсчетливѣе, и бережливѣе.

Мив важется, я многое наследоваль оть нея и съ физической, и съ нравственной стороны, и между прочимъ—тонкія руки и ноги, худощавость, наклонность къ катаррамъ, шумъ въ ушахъ, религіозное настроеніе духа, охоту къ занятіямъ и бережливость.

2-го марта 1881.

Сегодняшная потрясающая новость заставляеть придать моей хроник снова прежнюю форму дневника. Нельзя не передать бумаг мысли глубоко взволнованной души. Толькочто получиль отъ исправника изъ Винницы приглашеніе къ панихид по Александр II-мъ, съ изв щеніемъ, что онъ скончался отъ ранъ, нанесенных ему 1-го марта двумя взрывчатыми снарядами. Семъ разъ было покушеніе на жизнь; едва-ли въ исторіи найдется другой примъръ такъ часто (въ теченіе 15-ти лътъ) повторявшихся попытокъ отнять жизнь у государя добраго въ душт и желавшаго, безъ сомнънія, добра государству, конечно, по своему личному убъжденію. За что же? За что такая злая ненависть и злодъйское упорство? Вопросъ нелегкій и глубокій, по его нравственно-историческому значенію. Будь я не русскій, а чужеземецъ, я не затруднился бы тотчасъ

же отвъчать слъдующимъ соображениемъ: "Россия-молъ долго ждала съ освобождениемъ крестьянъ; ему надо бы было совершиться еще при Николаъ; онъ, съ своею энергиею, съумълъ бы произвести давно реформу, еслибы онъ не былъ обманутъ своимъ отвращениемъ во всему, что имъло какой-либо видъ народной свободы въ государствъ", и т. д., и т. д.

"Запоздавшая эманципація пришла-моль поэтому въ самое неудобное время; съ одной стороны—еще не затертые слёды кровавой войны, кончившейся постыднымъ миромъ, натянутыя до-нельзя пружины административнаго произвола, заправлявшаго всёмъ въ государствё; крайняя потребность для существованія государства въ радикальныхъ экономическихъ реформахъ; съ другой же—броженіе умовъ во всей Европі, подънаплывомъ новыхъ соціальныхъ доктринъ, угрожающее уже переходомъ отъ идеи въ дійствительному осуществленію на опыть, — и все это при неожиданныхъ, слідовавшихъ одно за другимъ и весьма знаменательныхъ политическихъ событіяхъ (освобожденіе Италіи, польское возстаніе, освобожденіе невольниковъ и междоусобныя войны Америки).

"При такихъ обстоятельствахъ нельзя-молъ было ожидать совершенно мирнаго и правильнаго, съ соблюденіемъ общихъ интересовъ (частныхъ и государственныхъ), исхода эманципаціи"...

Въроятно, такъ и объясняли себъ американцы первое покушеніе на жизнь государя Каракозова, сравнивая его съ убійцей президента Линкольна. Конечно, намъ, русскимъ, такое сравненіе кажется уродливымъ. Но обыкновенно всѣ, даже и самые безпристрастные судъи, всегда ищутъ причину преступленій тамъ, гдѣ существуютъ или могутъ существовать какіе-либо мотивы къ совершенію преступленій.

Мы, русскіе, конечно, укажемъ постороннему судьѣ прямо на шайку крамольниковъ, воспользовавшихся снятіемъ гнета, и Но мы должны знать еще и многое другое, существенно измъняющее взглядъ чужеземнаго наблюдателя на причины и мотивы нашей современной (1881 г.) общественной и государственной неурядицы. Я пишу откровенно, какъ думаю, безъ всякой задней мысли, а главное, какъ человъвъ независимый, ничего не ищущій, отжившій свой въкъ, но все еще любящій отчизну и желающій ей добра. Я располагалъ помъстить мой взглядъ на наши общественныя дъла въ моемъ дневникъ впослъдствіи; но теперь представился къ тому прискорбный случай. Онъ не даетъ говорить и думать о чемъ-нибудь другомъ. Пожалуй, задохнешься отъ наплыва взволнованныхъ чувствъ и мыслей, если не дашь имъ вылиться на бумагу; она, какъ извъстно, все терпитъ,—вытерпитъ и этотъ напоръ. Хотя онъ и временный, и случайный, но наплывшія мысли родились не сейчасъ.

Погибъ отъ преступной руки самодержавный государь на улицъ, охраняемый стражею, окруженный толною народа. Безпристрастная исторія оцънить вполнъ его заслуги предъ Россією; онъ были необыкновенныя, въковыя. И самъ цареубійца (если онъ быль не подлый рабъ и наемникъ) предъ судомъ своей совъсти будеть оправдываться развъ тъмъ только, что онъ сдълаль для Россіи такъ, какъ бы это надо было сдълать по мнънію единомышленниковъ самого убійцы.

Но вѣнка безсмертія убійство не сорветь съ головы Алевсандра ІІ-го. Это должны признать и самые злѣйшіе его враги, если въ нихъ осталась хотя одна тѣнь безпристрастія и любви къ правдѣ.

Кого же изъ мыслящихъ и любящихъ истину людей не заставить задуматься это упорное подпольное преслъдование государя, такъ много сдълавшаго для своего государства,—и зато въ теченіе 15-ти л'єть семь разъ подвергавшагося покушеніямъ на свою жизнь.

Причина, върно, не одна; какъ всегда, причину важныхъ событій нужно искать въ совпаденіи различныхъ обстоятельствъ; они, какъ разсъянные лучи теплоты, собираются какимъ-то зажигательнымъ стекломъ въ фокусъ и устремляются на одну предназначенную точку.

Посмотрю съ самаго начала, какъ мић, незнакомому ни съ государственною, ни съ закулисною стороною современной жизни, представляется весь ходъ событій съ того, именно, момента, когда новый государь дѣлаетъ первый крупный шагъ на пути прогресса.

Но когда рѣчь идеть о личномъ, болѣе или менѣе субъективномъ взглядѣ на дѣло, то прежде всего нужно уяснить себѣ, каковъ глазъ, которымъ смотришь.

Я воть уже смотрю на четвертое царствованіе. На первое я смотрѣль дѣтскими глазами и видѣль только окончаніе его университетскимъ подросткомъ; второе пришлось мнѣ созерцать юношею, въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ; третье застало меня уже отцомъ подростающихъ дѣтей, уже многое испытавшимъ, но еще готовымъ на борьбу и новую жизнъ; наконецъ, четвертое я встрѣчаю одряхлѣвшимъ, но не отжившимъ нравственно старикомъ. Итакъ, я обращаю мой старческій взглядъ назадъ, на то, что я видѣлъ и что мнѣ казалось въ самую пору моей умственной зрѣлости.

Что вызвало эманципацію врестьянъ въ Россіи, какъ начало началь нашего прогресса, а вмёстё съ тёмъ и всёхъ современныхъ событій? После печальныхъ дней севастопольскаго погрома вёсть объ эманципаціи была первою зарею новой эры...

Надо молиться и над'яться, что финалы другихъ актовъ будуть бол'ве во вкус'в честныхъ и здравомыслящихъ сыновъ Россіи!

Я быль въ то время попечителемъ одесскаго учебнаго округа, когда первая въсть объ эманципаціи доставлена была туда брюссельскою газетою "Indépendance Belge". Студенты лицея достали гдъ-то нумеръ этой газеты, прочли новость, и тотчасъ же нъсколько изъ нихъ отправились въ гостиницу

пить вино за здоровье государя и врестьянь. Жандармсвій генераль тотчась же донесь о происшествіи въ Петербургь и сообщиль мив о случившемся; а я зналь это уже прежде него оть самихь студентовь и не находиль въ этомъ ничего худого; узнавь, однако-же, что о томъ писано въ Петербургь, принужденъ быль извъстить министра Норова о происшедшемъ, съ моимъ оправдательнымъ комментаріемъ. Къ счастью, генералътубернаторъ Строгоновъ посмотръль, неожиданно для меня, какъ-то слегка на происшествіе, можеть быть и потому, что генералъ, котораго онъ не жаловалъ, слишкомъ поторопился безъ него.

"Одесскій Въстникъ" того времени былъ переданъ генералъ-губернаторомъ черезъ меня лицею. Я поручилъ редакцію проф. Богда новскому и Георгіевскому, и когда въ столичныхъ періодическихъ изданіяхъ начали появляться статейки, затрогивавшія крестьянскій вопросъ, то и редакція "Одесскаго Въстника" издалека коснулась этого горючаго матеріала. Боже мой, поднялась какая тревога!

Несмотря на самые глухіе, самые неопредёленные намеки о нёкоторыхъ выгодахъ улучшенія крёпостного быта (какъ называли тогда оффиціально предстоящую эманципацію), полетели на меня въ Петербургъ съ разныхъ сторонъ донесенія. Два изъ нихъ, самыя главныя, пересланы были потомъ мнё: одно изъ министерства внутреннихъ дёлъ (отъ Ланского), а другое—изъ министерства народнаго просвёщенія (отъ Ковалевскаго). Первое настрочено было на пяти листахъ... (имя этого почтеннаго дёятеля я уже позабыль, да, по правдё, оно и не стоило того, чтобы о немъ помнить); тамъ я сравнивался, буквально, съ Маратомъ, Прудономъ, и т. п. Другое донесеніе шло на "Одессвій Вёстникъ" отъ самого генералъ-губернатора, т.-е. также на меня, какъ предсёдателя цензурнаго комитета, хотя эта газета не могла, по закону, выходить въ свёть безъ предварительной цензуры генералъ-губернатора.

Въ Кіевъ, куда я перешелъ попечителемъ изъ Одессы, — другая исторія: тамъ польскіе помъщики жаловались на студентовъ, своихъ соплеменниковъ, за ихъ сближеніе съ народомъ, на кохломановъ, подстрекающихъ народъ противъ пановъ.

Кіевскій генераль-губернаторъ Васильчивовъ сообщиль

мнѣ, что одинъ богатый польскій помѣщикъ (кіевской губерніи) отецъ—донесь ему на своихъ сыновей за ихъ сближеніе съкрестьянами. А въ то же время "Колоколъ" Герцена звонитъво всю ивановскую; запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени, онъ читался всѣми, не исключая и учениковъ гимназій, на-расхвать; какъ утаить отъ дѣтей, что занимало такъ сильно ихъ отцовъ и старшихъ братьевъ!!

Вду въ Петербургъ, призванный на събядъ попечителей 1860 г.;—глазамъ и ушамъ не върю, что вижу и слышу. Въ Твери, гдъ я останавливался по дъламъ моего тверского имънія, я нашелъ вечеромъ человъкъ 50 и болье,—и что тамъ говорилось почти публично, и въ какихъ выраженіяхъ проявлялось недовольство, этого я никогда не забуду; и за что же? Это были не кръпостники, а прогрессисты, недовольные прогрессомъ и называвшіе его анархіею.

Прівзжаю въ самый Петербургъ. Еще хуже: недовольствоеще ярче. Туть является ко мив одинь изъ сосвдей по тверскому именію, застаеть у меня Н. Х. Б., назначеннаго тогда въ ректоры кіевскаго университета и участвовавшаго въ редакціонной коммиссіи. Я не зналь, куда деваться, когда соседьнапаль на члена ненавистной ему коммиссіи. "Вы хотите, моль, крови! — восклицаль онь: — она польется реками!" и т. п.

Но это быль, по крайней мъръ, крыпостникъ и потому недовольный ех оббісіо. Вечеромъ въ тоть же день приходить ко мнъ докторъ Шульцъ, имъвшій входъ въ банкирскіе дома, знакомый коротко со многими художниками, вообще человъкъ довольно смътливый. — "Ну, — говорить онъ мнъ, — всъ увърены, что въ Россіи должна быть революція; при этомъ государъ — опытные люди полагають — она еще не вспыхнеть, но послънего непремънно". — "Полноте, любезный, молоть чепуху! " отвъчаю я. — "Поживите въ Петербургъ, такъ увидите сами, какая перемъна вышла въ 4 года! " (я выъхалъ изъ Петербурга собственно въ 1857 г.) были послъднія слова Шульца.

Я прожилъ недъли три въ Петербургъ, и, дъйствительно, не зналъ, чему удивляться: распущенности ли съ одной стороны, или безалаберности съ другой; то слышались довольно громко, почти публично, самые ярокрасные бредни и вызовы, то запрещались весьма скромныя журнальныя статьи. Вообще,

предшествовавшее непосредственно эманципаціи время оставило у меня впечатл'вніе чего-то смутнаго, неопред'вленнаго, недозволявшаго понять, должно ли радоваться тому, что предстоить, или только рукой махнуть.

Все это я привожу себъ на память въ доказательство того, что общественное миъніе сильно расшевелилось вопросомъ объ эманципаціи; но изъ этого, конечно, не слъдуеть, что вопросъ быль расшевелень общественнымъ миъніемъ. Онъ быль поднять, несомитьно, сверху. Причинъ къ тому, какъ вст мы знаемъ, было не мало въ то время.

Только три рода людей изъ культурнаго класса встръчалъ а, въ то время не одобрявшихъ эманципаціи: во-первыхъ, завзятыхъ и неисправимыхъ кръпостниковъ изъ эгоизма и личныхъ интересовъ; во-вторыхъ—кръпостниковъ по принципу. "Все государство рухнетъ—говорили эти—безъ кръпостныхъ людей".

"Повърьте, Николай Ивановичъ, — говорили мнъ въ Бессарабіи, — это все придумывають наши враги, французы и англичане; они, пожалуй, вставили такой крючокъ и въ мирный договоръ, зная, что ничъмъ такъ не ослабишь Россію, какъ уничтоживъ или ослабивъ связь между простымъ народомъ и дворянствомъ". — "Вотъ увидите, ваше превосходительство, помяните мое слово, увидите, что государство ужасно потерпить, — говорилъ мнъ одинъ окружной начальникъ: — когда сократятся, послъ эманципаціи, помъщичьи запашки, вывозъ зерна уменьшится такъ, что на заграничные доходы нечего болъе разсчитывать".

Къ третьему роду противниковъ эманципаціи принадлежали люди, хотя и близорукіе, но не такъ ограниченные; они очень наивно утверждали, что нужно прежде образовать, а потомъ освобождать. Любопытно, что и между самими крестьянами—по крайней мѣрѣ нашей юго-западной окраины—встрѣчались противниви эманципаціи, въ томъ смыслѣ, что, молъ, "нехай будетъ по прежнему, чтобы еще горше не было". Это случалось и мнѣ не разъ слышать.

За эманципацію были всё ученые, учащаяся молодежь, люди, именуемые передовыми 1840-хъ годовъ; всё крестьяне, не очень забитые, особливо же дворовые, и, наконецъ, интелли-

гентная и передовая часть дворянства, надъявшаяся и мечтавшая... Государь же и правительство, конечно, усматривали въуничтожении връпостного права самое главное и самое современное средство въ поднятію экономическаго быта всего государства, въ увеличенію его доходовъ и въ сближенію съ западными государствами, сдълавшемуся врайне необходимымъ для вультуры отсталой отъ Запада во всъхъ отношеніяхъ Россіи.

Вопросъ объ эманципаціи быль, какъ извъстно, не новый. Еще при Александръ I-мъ разсказывали, что онъ котъль, послъ уничтоженія връпостного права въ прибалтійскомъ крав, сдълать то же самое на сосъдней псковской губерніи, и только, будто-бы, опасеніе какого-то покушенія на жизнь государя и заговора, открытаго рижскимъ генераль-губернаторомъ Паулучи, остановили Александра.

При Николат I-мъ не разъ проносились слухи о непремънномъ намъреніи императора освободить крестьянъ и въ югозападномъ крать. Бибиковъ введеніемъ инвентарей, очевидно, подготовлялъ актъ освобожденія.

При Николай I-мъ же происходило не мало возмущеній между крестьянами (въ конці 1840-хъ годовъ). Одно изъ нихъ, витебское, я помню, наділало много шуму въ Петербургі; разсказывали, что какой-то подрядчикъ, недовольный пом'ящиками, разъйзжалъ, переодітый въ генеральскій мундиръ, по деревнямъ, выдавая себя за наслідника, и объявлялъ крестьянамъ, чтобы они шли въ Петербургъ къ самому государю, указъ которагообъ освобожденіи скрытъ пом'ящиками и попами; крестьяне, какъ мні сказывали, въ числі 10,000, двинулись, не послушавъ и самого начальника края, и только военною силою были остановлены на полпути.

Между темъ въ волжскихъ провинціяхъ и до крымской войны ходили прокламаціи, присланныя изъ-за границы....

Итакъ, причинъ, и причинъ самыхъ жгучихъ, для уничтоженія врёпостного права въ Россіи, вскорё послё несчастной врымской войны, было довольно. Это ясно какъ божій день. Но и безъ того запоздалая эманципація должна была явиться еще въ такое тяжелое время, когда вездё скоплялся горючій матеріалъ для рёшенія и другихъ взрывчатыхъ вопросовъ. Затронувъ одинъ, можно было поджечь и другіе. При такихъ обстоятельствахъ, уничтожая крѣпостное право, нельзя было упустить изъ виду и другихъ сторонъ государственной жизни.....

Крестьянство, какъ бы оно, по своему существу, ни было консервативно, есть все-таки стихійная сила; освобожденное самодержавною властью отъ въкового гнета, оно, несомивно, могло служить опорою порядку; но прочно опираться на одно стихійное начало невозможно. Оригинальное представленіе о какомъ-то "мужицкомъ царствъ", пущенное въ ходъ, если не ошибаюсь, нашими славянофильскими фантазёрами и слышанное мною не разъ въ началъ 1860-хъ годовъ, едва-ли бы могло осуществиться въ XIX стольтіи. Чтобы управлять "мужицкимъ царствомъ", не расшатавъ его въ основаніи и не предоставляя его историческихъ миссій и задачъ на произволъ стихійныхъ силъ народа, понадобились бы также другія интеллигентныя силы,—а гдѣ взять ихъ, если между властью и стихійнымъ крестьянствомъ не будеть никакого посредствующаго сословія? А его-то у насъ и недоставало при освобожденіи крестьянъ.

Къ тому же съ 1848 года ненависть французскихъ демагоговъ къ буржувзіи вошла и у насъ въ моду между культурною молодежью; но такъ какъ у насъ французскихъ буржув на лицо не оказалось, то эта ненависть перешла на кулаковъ и вообще зажиточныхъ людей, тъмъ болъе, что большинство нашей культурной и школьной молодежи принадлежить къ пролетаріату.

Когда на Западъ порядовъ переставалъ опираться на одно сословіе, то на смъну его являлся другой уже готовый классъ,— интеллигентный и дъятельный.

Наше чиновничество, нашъ ученый и учебный пролетаріать, духовенство, мѣщанство и купечество, всѣ порознь, безъ всякой солидарности, не имѣли никакихъ задатковъ для управленія освобожденною отъ крѣпостного гнета страною. До того она управлялась, такъ сказать, механически; одно колесо, болѣе сильное, ворочало другое поменьше и послабѣе; главную роль играли администрація и сословныя привилегіи, а на случай всегда у нихъ подъ рукою была военная сила.

Итакъ, главныя опоры порядка до уничтоженія крѣпостного права были: администрація, бюрократія, военная сила и привилегированное сословіе; а когда понадобилось перем'внить центръ тяжести, то опорами остались только бюрократія съ администрацією и военная сила. Правда, стихійное крестьянство можеть быть организовано и управляемо до изв'єстной степени; но тогда пришлось бы уже совс'ємъ сойти съ пути государственнаго и общечелов'єческаго прогресса.

Сверхъ этого новыя западныя ученія, демократизмъ и тому подобныя стремленія новаго времени, при прогрессивномъ починъ въ извъстной степени сверху, не могли не пронивнуть и въ эти двъ оставшіяся опоры порядка. Мало того: оказалась даже надобность въ демократическихъ принципахъ. Прежде всего они понадобились администраціи. Новое переустройство врестьянства послё эманципаціи и послё польсваго возстанія въ западныхъ губерніяхъ потребовало много новыхъ, свёжихъ силь, достаточно интеллигентныхь для веденія такого сложнаго дъла. И значительный контингенть такихъ силь доставила, именно, наша доморощенная въ эпоху 40-хъ годовъ демагогія разныхъ отгенковъ. Места посредниковъ, чиновниковъ въ новой администраціи по крестьянскимъ д'вламъ, особливо въ западныхъ губерніяхъ послів запрешенія принимать на службу лицъ польскаго происхожденія, потомъ следователей, мировыхъ судей, чиновниковъ при губернаторахъ, и т. п., были отданы людямъ, прибывшимъ частію изнутри Россіи, а частію и туземцамъ, систематически вооруженнымъ противъ большого землевладенія, неравенства состояній, и т. и.

Одинъ, напримъръ, изъ такихъ предсъдателей съъзда мировыхъ посредниковъ на самомъ съъздъ весьма наивно и во всеуслышаніе объявилъ мнъ, что право наслъдственное есть весьма сомнительное право, что земля не есть и не можетъ быть настоящею собственностью, что люди земли и воли необходимы для правительства въ западномъ краъ, и т. п.

Кто жиль въ западномъ крат въ 60-хъ годахъ, тотъ можеть поразсказать многое о продълкахъ этихъ дъятелей. Въ Бренеловскомъ имъніи мировой посредникъ вышелъ на мостъ и, показавъ толиъ крестьянъ помъщичью усадьбу, кривнулъ: "Это все ваше, все должно отойти къ вамъ!" Другой посредникъ въ моемъ имъніи, въ бытность мою за границею, по свидътельству самихъ крестьянъ, предлагалъ имъ жаловаться на вывупной, уже за два года утвержденный, акть и помогаль имъ писать въ жалобъ небывалыя вещи. Другой же посредникъ предлагалъ мнъ уладить все это дъло, заплативъ землемъру мирового съъзда за новый планъ крестьянскаго надъла; и этотъ самый господинъ потомъ, подгулявъ за объдомъ у предсъдателя, заявлялъ во всеуслышаніе, что лучшее средство—переръзать всъхъ пановъ. О такомъ пассажъ нельзя уже было не донести по начальству, и этого посредника прогнали изъ Винницы, но потомъ гдъ-то опять дали другое мъсто.

Одинъ изъ ярыхъ защитниковъ крестьянскихъ интересовъ, между посредниками, сдълался такимъ демофиломъ, содравъ за годъ до эманципаціи съ кръпостныхъ своей жены (въ херсонской губерніи) за одинъ личный выкупъ по 150 руб. съ души, убъдивъ ихъ приписаться въ мъщане или наняться въ кабалу у купцовъ и поповъ; такимъ образомъ этотъ рьяный демагогъ, получивъ съ своихъ обезземеленныхъ крестьянъ (до 100 душъ) тысячъ 15, продалъ потомъ тысячи двъ десятинъ пустопорожней земли и переъхалъ въ юго-западный край благодътельствовать крестьянамъ на чужой счетъ.

Были, наконецъ, между господами посредниками этого края и отъявленные мазурики, и даже одинъ уголовный преступникъ. И то сказать: кто бы изъ уважающихъ себя личностей ръшился подчинять себя полнъйшему произволу начальства. Одинъ изъ смъненныхъ такъ, par l'ordre de moufti, — предсъдатель мирового съъзда, — писалъ ко мнъ передъ отъъздомъ изъ Винницы, прося моего ходатайства у генералъ-губернатора: "я занялъ 25 руб. на выъздъ, а меня оклеветали во взяточничествъ. Я отнялъ у помъщиковъ винницкаго уъзда слишкомъ 15,000 десятинъ въ пользу врестьянъ, и все еще не угодилъ краснымъ, засъдающимъ въ Кіевъ".

Не помню, этоть ли самый, или другой демократь, однажды, на мое зам'вчаніе о томъ, что крестьяне, какъ сос'вди пом'вщиковъ, все-таки предпочтуть лучше им'вть д'вло съ нами, ч'вмъ съ чиновниками,—также весьма наивно объявилъ ми'в: "въ такомъ случать для правительства полезн'ве было бы отдать пом'вщичьи земли намъ, а пом'вщиковъ сд'влать чиновниками". Это почти такъ и случилось въ западной окраин'в; имънія конфисковались, помъщики административно высылались, а чиновники и начальники врая надълялись.

Когда эманципація крестьянъ повлекла за собою учрежденіе земствъ и новыхъ судовъ, то правительство обратилось, за неимѣніемъ надежнаго стараго, къ новому поколѣнію, и также не могло быть разборчивымъ; поэтому и въ земскую, и въ судебную области не могли не проникнуть современныя демагогическія стремленія, хотя проявленія ихъ и не могли быть безшабашны и грубы, какъ въ мировыхъ учрежденіяхъ западныхъ окраинъ послѣ польскаго мятежа.

Между тёмъ новый порядовъ не могь же въ новыхъ учрежденіяхъ создать себ'в оппозицію, а потому необходимо было стараться, сколько можно, ограничить ихъ д'явствія администрацією.

И вотъ, являются, съ одной стороны, соотвътствующія современнымъ требованіямъ преобразованія государственной машины, потребовавшія, въ свою очередь, и введенія въ дъйствіє новыхъ понятій, новыхъ міровоззрѣній и новыхъ силъ, а съдругой стороны, понадобились прежніе, задерживающіе новый механизмъ, приборы.

Но и въ этотъ старинный регуляторъ нашей государственной машины, въ администрацію, вѣянія времени внесли-таки новые элементы, а съ тѣмъ вмѣстѣ и недовольство, притворство и ненормальное положеніе.

Всякому здравомыслящему ясно, что въ государствъ, выступившемъ на новый путь, неустроенная смъсь новыхъ учрежденій съ старыми, отжившими, — самое вредное и опасное дъло. Всякій здравомыслящій видить, конечно, и чрезвычайную трудность регулировать тотчасъ и точно отношенія новаго къ старому, по мъръ каждаго нововведенія. Зная это, надо готовиться на-встрьчу съ препятствіями и, встрьтивь ихъ, не терять головы, не выходить изъ себя, не увлекаться въ выборъ средствь для борьбы съ препятствіями. Безъ сомньнія, каждый русскій, любящій свое отечество, не пожелаєть ослабленія государственной мощи и власти; это было бы равносильно желанію видъть Россію распавшеюся на части; но средства для усиленія этой власти могуть быть часто обою-

доостры: энергическія на видъ, на дѣлѣ они могуть произвести эффектъ противоположный ожидаемому.

Я полагаю, что главное средство для усиленія власти состоить въ томъ, чтобы не сходить ни разу въ сторону съ предначертаннаго однажды пути, другими словами—знать хорошо и върно, чего хочешь. Колебаться, — это опасно для власти.

4-го марта 1881.

Третьяго-дня, 2-го марта, я взяль перо подъ наплывомъразныхъ чувствъ и мыслей, стараясь уяснить себв, почему случилось,—а я отвергаю случай,—что одинъ изъ напихъ лучшихъ государей погибъ преждевременно отъ насильственной смерти. Я старался припомнить себв изъ прожитаго теперь 25-льтія все, что казалось мнв имъющимъ хотя бы и отдаленную связь съ катастрофою. Но, припоминая, я не могъ не привести себв на память и предшествовавшаго царствованію Александра II-го 25-льтія, и что же?

Ненормальная склонность въ нашей интеллигентной молодежи къ насильственнымъ мёрамъ идеть изъ той эпохи. Вовсе не занимавшись политикою въ 1840-хъ, годахъ, я удивлялся и не понималъ ясно мотивовъ той затаенной странной злобы, которую встрёчалъ нерёдко въ откровенныхъ бесёдахъ и у молодыхъ людей; помню, что и тогда еще мнё случалось слышать шипучія рёчи о готовности собесёдниковъ всадить ножъили пулю всякому угнетателю, нарушающему человёческое достоинство. Я полагалъ тогда, что это юношескія всимшки, подобныя тёмъ, которыхъ я наслышался въ 10-мъ нумерё, въ 1820-хъ годахъ; но тонъ быль уже иной, и, очевидно, гнеть ощущался сильнёе и отчетливее.

Къ концу 40-хъ годовъ прибавилось къ этому еще и новое, небывалое стремленіе интеллигентной молодежи къ сближенію съ меньшею братією, проявившееся потомъ въ дълъ-Нетрашевскаго.

При вступленіи на престоль Александра II-го, я, сділавшись попечителемь, уже ясно замічаль развитіе и рость этихъстремленій по мітрі того, какъ вопрось объ эманципаціи приближался къ своему окончанію. . Но вто въ то время не увлевался и не волновался? По почину правительства, даже и равнодушнъйшіе чиновные консерваторы считали обязанностію хоть немного да увлечься. Учащаяся молодежь рвалась въ сближенію съ освобождаемымъ народомъ, а туть еще ръчь зашла и объ эманципаціи поляковъ.

И воть мив живо представляется арена со всёми авсессуарами тайной и явной борьбы, возникшей между новыми, вызванными эманципацією на свёть, стремленіями и государственною властью,—то, по необходимости, поощряющей,—то подавляющей вызванныя ею на свёть стремленія.

Арена эта—освобожденное отъ крѣпостного права, но еще не свободное крестьянство. На ней дѣйствують, съ одной стороны, власть, по своему естественному праву стремящаяся укрѣпить и усилить себя освобожденною ею стихійною силою, съ другой же стороны - новое, еще не дозрѣвшее поколѣніе, съ новыми, пришлыми, извѣстными стремленіями, ищетъ въ этой же самой стихійной силѣ почвы и матеріала для осуществленія своихъ стремленій. Борьба неравная. Власть располагаеть администраціею и новыми земскими и судебными учрежденіями. Но и администрація, и учрежденія оказываются уже не прежними безотвѣтно-повинующимися силами; онѣ или ослабѣли, или пронивлись сами новыми, несподручными элементами.

У власти есть еще и обаяніе, и военная сила; но первое сильно при довольствѣ; ко второй всякая государственная власть прибѣгаетъ только въ крайнемъ случаѣ, когда надо нанести разомъ рѣшительный ударъ, coup d'état; въ хронической внутренней неурядицѣ оно—опасное средство. Но, съ другой стороны, вся сила—въ увлеченіи, настоящемъ или напускномъ и вынужденномъ.

Можно вообразить себь, какую тревогу въ свъть причинили бы выпущенные изъ всъхъ домовъ умалишенные, еслибы сумасшествіе было у всъхъ одно и то же и дълало всъхъ этихъ мономановъ солидарными при осуществленіи общей имъ idée fixe!

Можно ли бы было поручиться, что солидарные мономаны не достигнуть, навонецъ, своей фантастической цёли или не заразять своими галлюцинаціями и здоровыхъ? Примѣровъ былоне мало въ исторіи. Мы всѣ живемъ подъ вліяніемъ психическихъ повѣтрій, охватывающихъ цѣлыя общества и уклоняющихъ ихъ далеко отъ прямого пути.

Не мало способствуеть силъ этой стороны и то, что она принуждена дъйствовать подземно, подпольно, изъ-за угла и втихомолку. Никакая государственная власть одна, сама посебъ, безъ содъйствія всъхъ и каждаго, не справится съ подпольною крамолою, какъ скоро она успъла хотя нъсколько организоваться.

Итакъ, государственная власть стремится по праву удержать за собою стихійную силу, и освобожденную ею для своей опоры и мощи на будущее время, а новое покольніе пролетаріевь, авантюристовь, недовольныхъ, софтовъ—стремится изъувлеченія, ненависти къ государственной власти, корыстныхъ цълей, гоньбы за эффектомъ, и т. п., привлечь къ себъ эту же самую стихію, усматриває и чуя найти въ ней мощное средство, чтобы не допускать до усиленія государственную власть, поставить все верхъ дномъ и передълать весь свътъ по своему, на свой ладъ.

На помощь сврытой крамол'в является общее недовольство, отчасти ею же самой возбужденное.

Духовенству, въ свою очередь, также не посчастливилось отъ преобразованій. Повидимому, новый оберь-прокуроръ святьй шагосинода съ 1866 г. весьма старался о коренной реформъ быта всего нашего духовенства; но на дълъ эта реформа отозвалась всего болъ опять-таки недовольствомъ нашихъ софтовъ.

Семинаристамъ запретили входъ въ университетъ, намѣреваясь этимъ привлечь ихъ въ духовную академію. Ничего не бывало; вышло противное: радикальнаго улучшенія нравственно-культурнаго и матеріальнаго быта духовенства, благодаря всѣмъ преобразованіямъ прокурора, не послѣдовало, а подпольная крамола въ это время пріобрѣла, вѣрно, не мало дѣятельныхъ членовъ изъ семинаристовъ. Самые крестьяне, изъ всѣхъ сословій

Крестьянину, понятно, главное — какъ можно менте платить въ казну; а тутъ плати не только въ казну, да еще волостному старостъ, писарю, на духовенство, на мировыя учрежденія, на рекрута. Какъ же не послушать благодітелей въ кабакахъ, толкующихъ, что царь скоро дастъ всю землю крестьянамъ, а номъщиковъ посадить на жалованье или просто прогонитъ и велитъ бить? Чигиринское крестьянское дъло доказываетъ, до какой дерзости могли дойти дъйствія крамольниковъ и какъ легко поддаются крестьяне юго-западнаго края искушеніямъ.

А недовольство, легковъріе, податливость и невъжество крестьянъ всего болье на руку той части культурной молодежи, которая ищеть, во что бы то ни стало, сближенія съ меньшею братією.

Да, это въяніе времени замъчательно и, по моему мнънію, заслуживаеть самаго серьезнаго вниманія и не одной администраціи, а истинно государственныхъ людей.

Причину этого курьезнаго стремленія, кром'є интернаціональной, соціалистической пропаганды, я нахожу, главное, въ томъ, что у насъ н'ють настоящаго культурнаго сословія. Наше facsimile культурнаго сословія—трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное; есть особи такого сословія, но самого сословія нема! И вотъ, культурная наша молодежь, которая при вступленіи Россіи, посл'є эманципаціи, на торную дорогу европейскаго прогресса (другого мы въ XIX в'юк'є не знаемъ) должна бы представлять самый надежный контингентъ къ образованію настоящаго интеллигентнаго сословія, за неим'єніемъ кадровъ этого сословія, поворотила въ сторону и ищетъ соединить свои будущіе интересы съ будущими же крестьянскими.

Для привлеченія сбитой съ толку молодежи на прямой, надежный, не-химерическій путь прогресса недостаеть двухъ средствъ: во-первыхъ, нъть организованныхъ кадровъ, а вовторыхъ, — что не менъе важно, — нъть и никакихъ приманокъгарантій со стороны правительства, для привлеченія молодежи хотя въ какіе ни на есть кадры этого сословія. А для этого,

по моему, не надо бы было слишкомъ затруднять входъ въ высшія и среднія учебныя заведенія и дёлать и жизнь, и ученье въ нихъ тягостными.

Надо надъяться, что съ каждымъ годомъ будетъ увеличиваться контингентъ культурнаго сословія, если само правительство обратитъ наибольшее вниманіе на развитіе и организацію этого необходимаго класса общества.

А развитіе его требуеть прежде всего льготь самоуправленія и значительных обезпеченій самостоятельности, что, въ свою очередь, при существующемъ еще значеніи и силъ административной власти—немыслимо.

Наконецъ, война, казалось бы, могла содъйствовать къ успокоенію крамолы, сблизивъ всъ сословія; но, именно, тотчасъ же послъ окончанія послъдней войны и начали слъдовать одно за другимъ, crescendo, преступныя дъйствія крамолы, поражавшія всъхъ неслыханною дотолъ дерзостью предпріятій.

Мив кажется и это объясняется твмъ, что крамольники разсчитывали на возросшее послв войны 1877-1878 годовъ недовольство въ различныхъ классахъ общества, вслвдствіе упадка курса, неудачнаго мира, появленія чумной заразы, злоупотребленій интендантства, и т. п.

Какъ могла бы шайка злоумышленниковъ причинить столько зла сильному государству, еслибы всё классы, всё сословія были довольны, насколько вообще возможно общественное довольство? Все волновалось только послё каждой попытки къ преступленію, какъ будто изъ одного любопытства, а потомъ смотрёло на происходящее только съ боязнью за себя, чтобы какъ-нибудь не быть вовлеченнымъ въ отвётственность, или же сётовало, и не безъ причины, на стёснительныя административныя мёры, аресты, обыски, ссылки, и проч. И это недовольство было, очевидно, на руку крамольникамъ; общество, наконецъ, не знало уже, кого ему болёе ненавидёть за произволъ и насиліе: крамолу или администрацію? А крамолё это было какъ нельзя болёе на руку.

И вотъ, дошло до того, что гнусная и нравственно-ненавистная честному обществу крамола оказывалась нравственно же связанною съ нимъ сётью неуловимыхъ впечатлёній.

Дъло въ томъ, что крамола, какъ видно изъ разныхъ су-

Какой же внутренній смыслъ ужаснаго цареубійства 1-го марта?

Или, можеть быть, оно не имъеть никакого смысла и есть просто звърскій поступокъ злодъя, рукою котораго управляла личная скотская злоба, фанатизмъ, корысть, безуміе?

Но ненависть шайки, основывавшаяся также на недовольствъ извъстной части молодежи, раздутая до ярости ложными утопіями, пропагандою коммунаровъ и коммунистовъ, корыстью и т. п., была едва-ли личная.

Александръ II, какъ человъкъ, былъ такою личностью, которую нельзя было ненавидъть; то была скоръе ненависть къгосударственности. Посягая на жизнь царя, и самые ограниченные изъ крамольниковъ, върно, знали, что они убивають не самодержавіе, а только одного изъ лучшихъ его представителей. Но они разсчитывали, что, возбуждая своими преступленіями смуты, безпорядки и недовольство въ обществъ, они все-таки содъйствують къ разстройству и потрясенію ненавидимаго ими государственнаго строя, вообще—всякаго.

Государство—это разбойникъ, по ихъ ученію; въ замѣну государства придумалось даже—за неимѣніемъ ничего лучшаго—казачество.

Настолько, впрочемъ, эта ненависть могла быть и личною, что Освободитель не такъ освободилъ, какъ имъ хотълось, и какъ будто не исполнилъ объщаннаго, то-есть того, что имъ хотълось, что они сами объщали сеоъ.

Мстили, можеть быть, лично и за возраставшую по мъръ преступленій строгость каръ. Крамольники (по крайней мъръ, ихъ вожаки), надо полагать, разсчитывали всего болъе, и не безъ основанія, на недовольство, хотя и знали, что оно никогда не было личнымъ противъ особы царя. Они питали и раздували всъми силами это недовольство, — находили себъ, върно, не безъ злорадства, немалую подмогу въ произволъ и промахахъ администраціи.

Удобства почвы, избранной утопистами для борьбы съ властью, очевидны.

Нёть ни одного государства въ Европѣ наименѣе муниципальнаго, чѣмъ Россія. У насъ выдумали даже русскаго государя называть въ похвальномъ смыслѣ "мужицкимъ царемъ" и, конечно, Россію— "мужицкимъ царствомъ". "Идти къ мужичкамъ", сближаться съ крестьянскимъ людомъ, изучать деревню во всѣхъ отношеніяхъ— сдѣлалось моднымъ и любимымъ занятіемъ многихъ.

Я это говорю, конечно, не въ упрекъ; я самъ живу 15 лѣтъ безвыъздно въ деревнъ и интересуюсь, и по-волъ, и по-неволъ, крестьянскимъ бытомъ.

Я указываю на это стремленіе нашего культурнаго общества вакъ на знаменіе времени. Стремленіе такое имъєть, какъ и все на свъть, не одну сторону. Оно почтенно, крайне полезно и необходимо для государства, въ особенности же для нашего, не-муниципальнаго. Но сближеніе съ меньшею братіею имъєть въ себъ, какъ мнъ кажется, много дутаго, напускного, ненормальнаго. Мнъ кажется, многіе изъ молодежи ищуть сближенія съ крестьянами безъ всякой программы и потомъ уже увлекаются вожаками; многіе вербуются ad hoc, а многіе только подражають.

Я наблюдаль это при первомъ открытіи воскресныхъ школь въ Кіевъ. Это было время, когда Миржевскій (пріъхавшій самъ, разумъется, incognito и разъвзжавшій по юго-западному краю съ русскою подорожною) пустиль въ ходъ между польскою молодежью влеченіе въ меньшей братіи. Студенты всполошились и начали сближаться по своему: пошли доносы, аресты, и т. п.

Учрежденіе воскресныхъ школь при такихъ обстоятель-

ствахъ казалось мнъ самымъ законнымъ и самымъ надежнымъ средствомъ въ устраненію и увлеченій, и подозрѣній.

Студенты, — именно малороссы, изъ польскихъ никто, — бросились учить въ этихъ школахъ, и учили, подъ надзоромъ инспектора училищъ, дъльно.

Тутъ я и видълъ, какъ различны были мотивы стремленій молодежи въ сближенію съ народомъ.

Извъстна участь воскресныхъ школь въ Россіи: вслъдствіе увлеченій, принявшихъ уродливое направленіе, онъ были заврыты. Но безобразіе и произошло именно отъ того, что никто не занялся сначала регулированіемъ новыхъ отношеній молодежи и общества къ темной массь. А регулированіе этихъ отношеній на открытомъ полъ много содъйствовало бы къ укрощенію подпольной борьбы.

Несмотря на то, что главныя ея проявленія сосредоточились въ послёднее время въ нашихъ муниципіяхъ (въ подражаніе Западу), нельзя не видёть, что цёлью ея служить всетаки почва, на которой легче поднять стихійныя силы и разжечь хищническіе инстинкты.

А эта почва—врестьянство и, конечно, не одно деревенское, а также мѣщанское и фабричное. И увлеченные, и злонамѣренные, и корыстные утописты не безъ основанія разсчитывають на нищету, темноту, непониманіе самыхъ основныхъ началь общества, неуваженіе къ чужой собственности и многія стадныя свойства нашихъ, еще не вполнѣ свободныхъ (прикрѣпленныхъ къ землѣ), крестьянъ.

Понятія нашихъ врестьянъ, насколько я могу судить по тёмъ изъ нихъ, съ которыми я имълъ дъло прежде, какъ мировой посредникъ, и имъю теперь, какъ помъщикъ, весьма оригинальны о царскихъ законахъ. Все, что нравится, что доставляетъ въ законъ матеріальную выгоду крестьянамъ, то они считаютъ дъйствительно отъ царя, и то, впрочемъ, если приносимая имъ выгода растолкована понятнымъ для нихъ языкомъ; но какъ только законъ имъ не по шерсти, то и сомивніе недалеко: да впрямь ли онъ царскій?

Такое безграничное довъріе къ благости царской власти, безъ сомнънія, доказываетъ преданность цълаго крестьянскаго сословія самодержавной воль; но оно же имъетъ для правительства и весьма опасную сторону. Я быль однажды свидетелемъ сцены, поразившей меня до того, что я не зналъ, верить ли мив моимъ ушамъ. Подольскій губернаторъ, Брауншвейгъ, при мив (я былъ посреднивомъ) увещевалъ собранныхъ въ Винницу врестьянъ и старос.ъ принимать уставныя грамоты, уверялъ ихъ, что это непременная царская воля, и т. п. Крестьяне, слушая губернатора, одетаго въ мундиръ и овруженнаго исправниками, становыми и т. п., слушали, кланялись, не возражали, соглашались; но какъ только вышли со двора, тде собирались передъ губернаторомъ, на улицу, какъ туть же начали толковать съ евреями, что то, пожалуй, былъ и не губернаторъ, а переряженный панъ,—и грамоты потомъ всетаки не приняли.

Съ ихъ стороны это было, пожалуй, и не глупо; потомъ, при обязательномъ выкупъ, имъ досталось больше отъ посредниковъ, явно и безъ зазрънія совъсти грабившихъ польскихъ пановъ; но для закона и для законной власти, мнъ кажется, въ этомъ пассажъ нътъ ничего хорошаго.

Этими же полумиоическими понятіями крестьянства о царских повельніях объясняется, конечно, и невъроятный успъхъ подпольной пропаганды между крестьянами въ чигиринскомъ утвадт (дъло съ золотою грамотою), и много другихъ прежнихъ дъяній. И вотъ мы дълаемся свидътелями весьма страннаго явленія.

Борьба утопистовъ и крамольниковъ съ государственною властью ведется, болъе или менъе, во имя крестьянства и меньшей братіи, — и къмъ же? — людьми, большая часть которыхъ,
по своему положенію и образованію, могла бы быть отнесена
къ культурному сословію, еслибы таковое у насъ существовало,
какъ сословіе; между тъмъ интересы этого класса людей не
имъють ничего общаго съ крестьянскими интересами.

Изъ-за чего же добровольные защитники такъ усердно дъйствуютъ? Изъ любви къ ближнимъ, евангельской или платонической? Можетъ быть, нъкоторые изъ нихъ—высшія натуры; но уже върно не тъ, которые считаютъ позволеннымъ всякое средство. Изъ-за идеала? Да, въра въ утопію можетъ быть фанатическая, изступленная, мученическая; но туманный, неоформулированный идеать, это—не идеать еще, а фантомъ, пригракъ...

Невъроятно, однако-же, чтобы вся крамода состояда изътакихъ и такъ заблуждающихся личностей; гораздо естествените принять, что это—зловъщее для государства общество изъразномыслящихъ и разнохарактерныхъ лицъ, соединенныхъмежду собою разномотивнымъ недовольствомъ и на правительство, и на государство, и на общество.

Меньшая братія для большинства или, по крайней мірів, для вожаковь, это—предлогь, избранный по своимь удобствамьдля веденія борьбы.

Въ современномъ культурномъ обществъ накопилось теперъдовольно взрывчатаго матеріала; онъ готовъ воспламениться и отъ незамътной, неуловимой причины. Изъ такого матеріала, въроятно, состоитъ и ужасающая наше общество крамола.

Динамитомъ, пировселиномъ и нитроглицериномъ орудуетъ не менъе взрывчатый матеріалъ. Онъ взрывается потому, что это лежитъ въ его натуръ. Ему нужно разрушеніе. Творчество—не его дъло. Изъ разрушеннаго пусть будеть, что будеть.

Только вожави и передовые видять цѣль, но вакую? А какую имѣлъ "бичъ божій", огнемъ и мечомъ разрушавшій все, встрівчавшеся ему на пути.

Культурное общество не боится уже болье божихъ бичей, посылавшихся на него съ востока; наступаеть, можеть быть, время испытанія своего собственнаго бича. Кто проживеть—увидить. Но покуда, мнъ кажется, пришла пора для нашего правительства направить всв наличныя силы и средства земскихъ, общественныхъ учрежденій для прочной организаціи и культуры низшихъ, основныхъ слоевъ общества.

Пора, пора обратить вниманіе на регулированіе стихійной силы, оставшейся и послів ея освобожденія такою же стихійною, какъ и прежде, а потому и служащей столько времени приманкою для утопистовъ и злонамітренныхъ людей. Для нев законъ— это администрація и самая неліпая—администрація прощалыгь-писарей, безграмотныхъ и пьяныхъ старость, тунеядцевъ-посредниковъ, грубыхъ становыхъ урядниковъ и горлодеровъ сходокъ. Это плоды 20-літняго режима провинціаль-

ной администраціи, начальниковъ края, крестьянскихъ при-сутствій, и т. п.

Теперь должна наступить новая эра для Россіи. Недовольство исчезнеть, какъ скоро чрезм'врная административная власть будеть правильно регулирована судебною властью . . .

5-го-6-го марта 1881.

Съ 2-го марта до сегодня я писалъ, потому что не могъ не писать. Скопившіяся, подъ вліяніемъ страшнаго событія, и волновавшіяся мои чувства и мысли безъ удержу лились на бумагу. А я, по обыкновенію или, върнъе, по зароку, не читалъ потомъ написаннаго, и всъ поправки, помарки и вставки дълалъ въ то же самое время, какъ писалъ.

Сегодня въ первый разъ, опомнясь, задаю себъ вопросъ: моего ли ума дъло — судить о причинахъ настоящаго смутнаго состоянія Россіи и дълать предположенія о средствахъ къ выходу изъ него? Да развъ — спрашиваю я теперь себя — ты можешь в глянуть на дъло сверху, съ птичьяго полета, какъ великіе міра сего? развъ ты имъешь для этого достаточно средствъ и знаній? Сознаюсь, — не имъю, а потому сознаюсь, что и все, съ 2-го по 4-е марта, вырвалось изъ-подъ пера у меня невольно, и потому есть болье сердечное, чъмъ головное убъжденіе.

Голова доставила только воспоминанія прошлаго, пережитаго мною, и нѣкоторыя отрывочныя мысли; все остальное есть произведеніе сильно взволнованнаго чувства.

Что же: не лучше ли разорвать въ куски это произведеніе? Могуть ли соображенія о важномъ дёль, вызванныя на свыть взволнованнымъ чувствомъ, не быть ошибочными и ложными? Въ клочки, въ огонь!.. Нётъ, стой! Пусть все останется, какъ есть; ошибка прилична человъку, и — мало того: она — его элементъ.

Мы осуждены, и чувствуя, и умствуя, безвыходно жить въ миражѣ. И бываютъ минуты въ жизни, когда чувство оріентируется върнъе мысли въ этомъ миражъ.

Это случается въ тѣ минуты, когда въ душѣ мыслящаго человъка внезапно дълается приливъ и скопленіе самыхъ разно-

родныхъ чувствъ. Это и было со мною 2-го марта. Приливъдлился три дня. Анализируя сегодня его элементы, я вижу, что мой анализъ опоздалъ. Изъ составныхъ началъ прилива уже многое улетучилось и прошло. Въ этой скопившейся въдуштъ масстъ чувствъ и представленій теперь не найдешься. Туть были и ужасъ, и скорбъ, и стыдъ, и гитъвъ, и отчаяніе, и надежда. Если въ эти роковыя минуты умъ не теряетъ ещеспособности мыслить, то мы должны, мы обязаны пользоваться ими, не упускать, ловить ихъ на-лету и, сохранивъ самообладаніе, замтать, что принесло оно намъ съ собою.

Я это и сделаль.

И было бы глупою слабостью для 70-лётняго старика стыдиться того, рвать и жечь, что онъ изложиль на бумагёвь эти дни прилива взволнованныхъ чувствъ и мыслей. Пустьостается на память. Если ошибся, такъ ошибся,—не бёда; отъэтой ошибки никому ни холодно, ни тепло.

Я писаль совершенно спокойно мою автобіографію, когда услышаль в'єсть о страшномъ событіи 1-го марта. Я сбирался когда-нибудь высказаться въ моемъ дневник о настоящемъ положеніи Россіи, какимъ я себ'є его представляю, при сравненіи съ пережитымъ прошлымъ.

И воть, внезапная въсть о кровавой катастрофъ, закончившей по истинъ величественную эпопею царствованія Александра ІІ-го!!.. Можно ли было удержать приливъ внезапныхъ, встревоженныхъ чувствъ и скопленныхъ, хотя еще и не разработанныхъ, мыслей?

Теперь я усповоился, но не настолько, чтобы снова приняться за мое собственное жизнеописаніе. Психическія бури проходять не разомъ. И что ни начнешь дѣлать, мысленная тревога все тянетъ думать о томъ же, что волновало чувствои мысль цѣлыхъ три дня. Невольно обращаюсь опять къ своеобразному положенію русской земли.

Я не знаю, какъ современные ученые опредъляють, что такое государство. Помню, прежде всв опредъленія мив казались то странными, то невърными. Но до доктринерства ли теперь, когда почти всв—и культурныя, и не-культурныя—государства обрътаются не въ своей тарелкъ

ľ

Интересы современнаго общества такъ различны, спутаны, сложны, что тотъ, кому достается разматывать этотъ клубокъ, невольно дълается какъ бы антагонистомъ, то-есть разрушителемъ путаницы.

И интересы его поэтому не могуть быть тѣ же самые, изъ воторыхъ вить клубовъ. Клубовъ требуеть одного: разматывай, но не рви. И если это соблюдается, то и при различныхъ интересахъ дъло идетъ хорошо.

Но въ наше время антагонизмъ общества съ современнымъ порядкомъ доходитъ до того, что явилась уже на свътъ цълая фаланга людей, готовыхъ разорвать клубокъ и выравнять всъ спутанныя нити. А когда интересы всъхъ и каждаго будутъ одни и тъ же, то государству нечего будетъ разматывать; его роль сдълается отрицательною,—только не давать, чтобы ровныя нити опять спутались и склубились.

Уравнять интересы, уравнять и стремленія; сбить маковыя головки, выросшія выше другихъ, пьедесталы опрокинуть, почву выровнять. Все человѣчество должно сдѣлаться однимъ огромнымъ человѣкомъ, ростомъ до неба. Вотъ финалъ современныхъ соціальныхъ утопій съ ихъ множествомъ оттѣнковъ и варіацій.

Въдь, мнъ кажется, я не брежу. Миражъ существуетъ не только въ фантазіи, но служилъ уже мотивомъ для дъйствій. И я сравниваю, живо представляю себъ, и обаяніе умовъ, увлекающихся этимъ миражемъ, и положеніе современной Россіи.

Мы странны, національно странны, и въ нашей оригинальности, и въ нашемъ подражаніи. Въ оригинальности мы котимъ перещеголять всёхъ другихъ, выдумать разомъ чтонибудь такое, что другимъ никакъ бы не могло придти на умъ. Въ подражаніи мы или рабски подражаемъ, или же стараемся попасть, опять-таки разомъ, на самую послёднюю ступень,—и то, чего другіе достигали медленно, переходя съ одной ступени на другую, мы хотимъ одолёть разомъ.

Въ наше оправдание мы не бевъ основания можемъ привести: "время не терпитъ", и это върно, но не вездъ и не всегда.

И номадамъ приходится переходить отъ временного ружья къ шассио и пибоди.

Но, именно, когда необходимъ такой быстрый переходъ, мы

и пассуемъ, дълаясь осторожными и бережливыми охранителями пустыхъ интересовъ; начинаемъ изъ прежнихъ, старыхъ ружей выкраивать новыя.

Зато, гдъ нужно соображение и здравый смысль, чтобы понять, что до многаго хорошаго у других нельзя достигнуть, не переживъ сначала всъхъ фазъ его развитія,—тамъ мы пассъ.

И послъ удивляемся, не въримъ, жалуемся, что у насъ не вышло хорошо.

На Западъ, положниъ, идетъ отлично ассоціація труда и капитала.

Мы сейчась же такъ соображаемъ. У насъ есть и теперь уже на-лицо важный задатокъ — община; она такъ прямо, цъликомъ, и заткнеть за поясъ ассоціацію. А то ни почемъ, что пережило на Западъ общество, что перечувствовало, перенспытало прежде, чъмъ дошло до ассоціаціи?

Тавъ и въ погонъ за влассицизмомъ. Тавъ и въ соціальномъ переустройствъ общества и государства.

На Западъ, и то не вездъ, народился цълый влассъ людей, ненавидящихъ буржувзію и бюргерство.

И намъ это нужно, то-есть не средній классь нуженъ, а нужна ненависть къ нему,—ненависть къ тому, чего еще нъть, и быть ему не нужно: мы—мужицкое царство.

На Западв есть представительство и преимущественно изъ средняго класса. Намъ не нужны ни этотъ классъ, ни это представительство. Намъ нужно что-то другое, болбе радикальное, свое, оригинальное, и даже не конституція. А что же? Формулы еще нѣтъ; она явится внослѣдствіи, а теперь надо только разрушать старое. Новое, лучшее, народится потомъ само собою. Нужна только земля, да воля, да общины. Съ меньшею братією надо слиться и имущіе должны все раздать неимущимъ. Тогда заживемъ на славу!

Неужели не настанеть для насъ всёхъ время, вогда мы поймемъ всю скудость нашего здраваго смысла? И, къ сожальнію, я не могу отнести этоть вопрось только къ одному нашему обществу, къ утопистамъ, къ незрёлой молодежи.

7-го марта 1881.

Когда мив было леть 17, я вель дневнивъ, потомъ куда-то завалившійся; отъ него осталось только ністовь; я помню что записаль въ немъ однажды приблизительно слёдующее: "Сегодня я гуляль съ Петромъ Григорьезичемъ (Ръдвинъ; -- это было въ Деритв); мимо насъ проскавала карета и забрызгала насъ грязью. Петръ Григорьевичъ какъ-то осерчалъ, и съ досады сказалъ: "Ненавижу до смерти видетъ кого-нибудь ъдущимъ въ каретъ, когда я иду пъшкомъ". А я, помолчавъ немного, ни съ того, ни съ сего, говорю ему: "А знаешь ли: вчера въ темнотъ я попалъ въ грязь около дома (въ глухой улицъ); вдругъ слышу-скачетъ во весь опоръ, прямо на меня, сь пъснями, извозчивъ, везеть пьяныхъ и самъ, видно, пьяный; ну, думаю, какъ бы не задавиль. Не успъль я собраться съ мыслями, а онъ уже наскаваль и тотчась же круго повернуль отъ меня; значить, въ человъческомъ сердцъ есть врожденная доброта; зачёмъ извозчику, да еще хмёльному, было сворачивать, а не скакать прямо на меня? никто бы и не пикнуль, и я остался бы лежать въ грязи".

— "Это, брать, не врожденная доброта, а страхъ, —замътиль Петръ Григорьевичъ: —timor Domini, только не божій, а государевъ".

Почему этотъ пассажъ изъ моего стараго дневника приходить мнѣ теперь, черезъ 53 года, на память? А propos des bottes? Почему еще и тогда этотъ незначащій разговоръ нашъ, двухъ молодыхъ людей, сдѣлалъ на меня такое впечатлѣніе, что я внесъ его въ мой дневникъ? Мало этого: этотъ незначащій разговоръ приходилъ мнѣ въ голову каждый разъ, когда я думалъ, говорилъ или читалъ о современныхъ доктринахъ или соціальныхъ утопіяхъ.

Это, можеть быть, глупо и не стоило бы теперь вносить въ мою автобіографію. Но вѣдь я пишу ее для себя, рѣшившись не сврывать оть себя и того, что самъ нахожу schwach. Не хочу же я вазаться самому себѣ умнѣе? Дѣло въ томъ, что у меня, по странной ассоціаціи идей, давнишній, гроша не стоющій, разговоръ, сдѣлался какимъ-то нагляднымъ выраженіемъ послѣдствій или дѣйствій на человѣческую природу двухъ правъ: естественнаго и государственнаго (или вообще юриди-

ческаго права). Одно выразнлось, конечно, въ одномъ моемъ представленін, только основанномъ на словахъ Петра Григорьевича, — чувствомъ ненависти, другое — чувствомъ страха. Съ техъ поръ мнъ всегда вазълось, что знаменитое droit de l'homme возбуждаеть, и на самомъ деле, только ненависть, а юридическое право-боязнь. Странно, ненаучно и потому, можеть быть, нельно. Но такъ мнь кажется. Кто знаеть это пресловутое droit de l'homme? На какихъ скрижаляхъ и вънъ оно начертано? Самъ человъвъ приписываеть себъ, то-есть, изобрътаеть для себя права, и, значить, все зависить оть того, какъ онъ на себя посмотрить-снизу, сверху, сбоку, и потомъ какъ еще всь эти стороннія воззрвнія соединить, и какъ ихъ комментируеть. Даже самое главное, - право правъ, - право на жизнь н смерть, и то онъ можеть и присвоивать себт, и отвергать у себя. Но, присвоивъ себъ того или другого права, чувство ненависти и непріязни для него деластся неизбежнымъ, какъсворо этимъ правомъ онъ почему-нибудь не въ состояніи будеть пользоваться. Такъ, это право правъ, право на жизнь, есть не болье какъ комментарій, нашъ собственный комментарій факта; мы живемъ, -- ergo, имбемъ право жить.

Но не миражно ли это право, когда самый факть, на которомъ оно основано, можеть каждую минуту прекратиться и кончиться? Хорошо право, которое ежеминутно можеть быть отнято у каждаго изъ нась! И жизнь дъластся всего скоръе ненавистною, когда она разсматривается какъ наше право. Не ближе ли къ правдъ, не нормальнъе ли та жизнь, которою мы пользуемся вовсе не по праву и не какъ правомъ, а по-просту, безъ затъй. Живемъ, потому что живемъ, и такъ надо быть, таково наше предопредъленіе, какъ слъдствіе причины причинъ. Вольно намъ подводить это подъ категорію правъ!

Но если на жизнь нѣть права, а есть только сама жизнь, какъ роковой факть, то что же наше право на смерть? Да это право сильнаго. Воля. какъ намъреніе, осуществленное въдъйствін,—продукть жизни, — сильнѣе жизни, и потому можеть ее прекратить на каждомъ шагу. Такихъ правъ не мало на свѣтѣ! И человѣкъ, съ его милою логикою, не задумался назвать и проявленіе силы—правомъ. Да не потому ли, что каждый мыслитель, толкуя о правѣ, невольно сознаваль суть права въ силѣ?

А правда? А справедливость? А нравственный законъ? Да, на аналитическихъ въсахъ мыслителя эти противовъсы сильно опускають одну чашку, но стоитъ только силъ слегва прикоснуться въ другой—и въсы покажутъ другое.

Что же значать всё другія статьи пресловутаго droit de l'homme? Если уже права на жизнь никто намъ не даваль, и мы пользуемся ею Dei gratia,—то что такое право на равенство, свободу, братство? Не чистые ли миражи эти права? Они возбуждають только ненависть, потому что недостижимы; заними гоняются, а ихъ нёть.

Право можемъ мы себъ творить и утверждать только нато, что можемъ себъ дать, и собственно, по божьи, что можемъдать не насильно. Право собственности и право личности, наслъдственности, — всъ они искусственны, созданы человъкомъ, но именно потому они и есть права; ихъ можно было дать и признано было за лучшее для человъческаго общества ихъдать ему.

И, давъ эти права, было естественно и справедливо требовать, чтобы ихъ никто не нарушалъ. Нарушитель долженъбыль страшиться. И воть, искусственныя права, возбуждак щіз чувства опасенія и страха, оказались благод втельные тыхь естественныхъ правъ, недостигаемость которыхъ порождаетъ ненависть и злобу. Кто, въ самомъ деле, можетъ намъ дать свободу, равенство и братство, когда ихъ нътъ такихъ, какими они представляются гоняющимся за ними? Странное недоразумвніе, искони присущее человіческому обществу! Библейское столпотвореніе — върный символическій образь этого рокового недоразуменія. Мы, окруженные безъисходнымъ, но благодетельнымъ миражемъ жизни, не можемъ понять, вавъ наша. мысль и наша воля могуть быть несвободными, когда мы чувствуемъ тавъ живо свободу нашей мысли и нашей воли. И, обольщенные этимъ ощущеніемъ, стремимся къ полной свободів дъйствій, —и зная, и не зная, что ея нивогда не достигнемъ.

Это-то стремленіе мы и назвили правомъ, а давъ названіе, — стремимся еще неукротимъе.

Если мы произошли отъ обезьянъ, то отъ нихъ мы и получили стадное свойство стремиться сообща къ свободъ дъйствій.

Но у насъ, въ прибавокъ къ этому, чисто животному, свой-

«ству, выработалось еще, — уже не знаю почему: отъ естественнаго подбора или чего другого, — ръзко отличающее насъ отъ животныхъ свойство индивидуальности.

Ни у одного животнаго эта особенность такъ не развита, въ нашему счастью и несчастью, какъ у насъ. Воть эти два свойства—стадность и индивидуальность—и борются между собою въ человъческихъ обществахъ. И общества, и государства учреждаются на основаніи междоусобной борьбы стадныхъ и индивидуальныхъ свойствъ людей. Въ стадъ—неудержимое стремленіе дъйствовать сообща; человъческая особь неудержимо стремится дъйствовать лично, особнякомъ, по мъръ своихъ силъ и способностей, или, какъ принято писать въ дъловыхъ бумагахъ,—по крайнему своему разумънію. Борьба борьбою, а во время ея стадныя свойства сообщаются индивидуальнымъ, индивидуальныя—стаднымъ.

Что такое, въ самомъ дълъ, современное движеніе утопистовъ, какъ не вызовъ на борьбу съ человъческою индивидуальностью? Крайности сходятся. И культурному обществу, въ апогев его развитія, предстоитъ перспектива усовершенствованнаго стаднаго состоянія. Развъ это не такъ? Стремленіе къ полной свободъ, самое индивидуальное изъ всъхъ стремленій, должно уступить мъсто—въ будущемъ государствъ утопистовъ—вынужденному дъйствію для общаго блага.

Вся забота власти должна будеть сосредоточиться на борьбъ съ индивидуальностью. Нормальный антагонизмъ общества и государства, искусственно раздуваемый въ настоящее время адептами утопій, потомъ долженъ прекратиться. И общество, и государство, должны сдёлаться сообща стадными, лишенными индивидуальности. На мъсто юридическаго гражданскаго права, продукта человъческой индивидуальности, должно выступить естественное стадное право равенства и братства. Ни личная,

индивидуальная свобода, ни права личной собственности и наслъдія—не должны препятствовать общему благоденствію, опредъленному стадными законами. Индивидуальный таланть должень употребиться на общее благо; ни геній, ни дарованіе—недолжны быть личною собственностью. Нивеллировка, разумъется, должна начаться не съ этого, а съ болъе существеннаго съ кармана.

Примъняя все сказанное къ себъ, къ намъ, къ нашему государству, я не могу отъ себя скрыть, что замъчаю въ немъеще много стаднаго. Индивидуализмъ развитъ у насъ, относительно, въ миніатюръ. И это, конечно, на-руку современнымъ нивеллировщикамъ. Еще болъе заманчивъ для нихъ нашънедостатокъ буржуазіи и вообще муниципальнаго западнаго элемента и избытокъ аграрнаго, стаднаго. Немудрено, что наша государственная власть, перенесшая, въ царствованіе Александра ІІ-го, точку опоры въ будущемъ и на это аграрное сословіе, встрътилась тотчасъ же на этой почвъ съ современными утопистами.

Достопамятное царствованіе Александра II-го, ознаменованное цальмъ рядомъ великихъ предпріятій, конечно, не могло въ 20 лётъ (считая съ 1861 года) каждое изъ нихъ довести до конца; но существенный недостатовъ, существенновредившій благимъ начинаніямъ царя, было колебаніе и переходы одной системы правленія къ другой въ самое переходноевремя національной жизни. Нивеллировщики не преминули пользоваться этими недостатками и всегдашнее слёдствіе колебаній—недовольство—раздувать въ свою пользу; а правительство, занятое переходами и постоянными колебаніями, не успъвало способствовать индивидуализированію стаднаго общества и группировать мелкія индивидуализированныя группы въ болёе крупныя. А въ этомъ, именно, и лежить оплоть противъ напора современныхъ утопій.

Если приведенное мною воззрѣніе на исторію развитія общества справедливо, то задача наша въ настоящее время должна состоять въ томъ, чтобы способствовать всѣми силами развитію индивидуализма, еще угнетеннаго стадными свойствами. Какъ эти свойства общества ни пригодны и ни выгодны для разныхъ государственныхъ цѣлей, въ первобытномъ или на-

чальномъ состояніи вультурнаго государства, но потомъ, въ періоды дальнъйшаго развитія, они дълаются обоюдоострымъ орудіемъ и могуть оказаться настолько же за, насколько и противъ него.

Пусть современная утопія, если она осуществима, осуществится на мъсть своего источника. Тамъ началась уже-пока умственная - борьба труда съ вапиталомъ. Надо надъяться, что, и перейдя на практическую почву, эта борьба будеть все-таки болъе осмысленная, чъмъ у насъ. Индивидуализмъ на Западъ успъль развиться и подавить стадныя свойства народовъ гораздо болье, чымъ у насъ. Бисмаркъ говорить даже, что каждый нъмецъ хочеть имъть непремънно своего короля. Богь у каждаго уже другой. Индивидуализмъ давно уже раздробиль общество на мелкія группы, соединяющіяся теперь насущными потребностями существованія. Многое индивидуальное пережито, передумано и перечувствовано. У насъ иная почва. И если ваговору, пропагандъ и крамолъ удалось бы своими миражами увлечь неиндивидуализированныя массы, то опасность была бы другого рода. Увлеченія и другого пошиба, наши собственныя, доморощенныя, мив кажутся небезвредными въ настоящее время. Любовь къ отечеству, къ русскому народу и къ славянскому племени вообще, какъ эти чувства ни высоки, не должны туманить нашть здравый смыслъ. Намъ не миновать процесса общечеловъческаго развитія.

Откуда бы такая благодать, да еще и благодать ли? Но всего хуже противодъйствовать тому, что уже сдълано на пути этого развитія, хотя бы и ложномъ, съ точки зрѣнія нашей національной утопіи. Въдь это значить бъжать сь одной, уже избранной, дороги, не имъя ни силъ, ни средствъ, ни знаній перейти на другую, болъе надежную. Какая такая эта другая дорога, кто ее укажеть и куда она поведеть, когда оставшіеся ея слъды указывають болъе на стадныя свойства по ней шедшихъ?

Развитіе индивидуальной личности и всёхъ присущихъ ей свойствъ—вотъ, по моему мнёнію, талисманъ нашъ противъ недуговъ въва, клонящагося въ закату. Средствъ въ этому развитію не мало, была бы добрая и твердая воля.

Громада великъ человъкъ! -- горланитъ теперь на мірскихъ

сходкахъ стадное свойство крестьянъ. Пусть каждый изъ нихъ скажеть про самого себя просто: я—человъкъ и знаю мои права и мои обязанности.

Мірское горлодерство, огульная восность и огульно-стадная сила инерціи и сопротивленія были единственными средствами у темныхъ массъ противъ произвола и насилія. И пока стадныя свойства массъ будуть обременять стремленіе въ прогрессивной индивидуализаціи, они останутся приманками для всёхъ желающихъ ловить рыбу въ мутной водь. А между тыть, посль эманципаціи массь, цълыя 20 льть ничего не сделано существеннаго для индивидуализаціи. Всіт и благомыслящіе прогрессисты, и вліятельные администраторы, и западники, и славянофилы, и наша молодежь - какъ будто помъщались на какомъ-то обожаніи стихійныхъ силь. Всь вакъ будто забыли, что на этомъ конькъ вздять и современные утописты. Пусть бы утопіи ихъ находили себъ на Запалъ опънеу и поддержку; тамъ напіональная культура, можеть быть, и выработаеть для себя чтонибудь дельное изъ миража. Но намъ, съ нашею Азіею на плечахъ, проводить, хотя бы и съ самыми благими намъреніями, нъчто сходное и какъ будто бы сочувственное западнымъ современнымъ утопіямъ, по малой мірв, странно. Что поділаєшь съ стихійными силами племенъ въ странъ общирной, малолюдной, на востокъ-азіатской и кочевой, не мало еще и вездъ пропитанной азіатскимъ элементомъ? Какъ управлять и организовать управленіе, если стадныя свойства будуть находить поддержку со стороны правительства и культурнаго общества? Возможно ли, не способствуя нисколько развитію индивидуализма, а, напротивъ, устраняя его, утверждать, что племенныя стадныя свойства вдругь или незамётно перейдуть въ какую-то интеллигентную ассоціацію? Не утонія ли это также своего рода?

Зло, достигшее врайнихъ предъловъ, отрезвляетъ умы. Хуже этого ничего не можетъ быть—есть такое убъжденіе, которое и фагалиста пройметъ. Мы дошли до этого. Нашей гражданственности на пути прогресса нанесенъ жестокій ударъ тъмъ, что порядовъ, одинъ изъ главныхъ атгрибутовъ гражданственности, потрясенъ до основанія насильственною смертію главы государства, какъ главнъйшаго представителя порядка. Не можетъ быть, чтобы не было глубокой органической причины зла

- --_____ .

не Франція и даже не прежняя Россія, въ которой можно было на каждомъ шагу вести залежное общинное или отдёльное ховяйство. Что земля теперь безъ капитала? У мужика—скажуть—вмёсто капитала есть руки, ноги и, пожалуй, коекакая голова на плечахъ. Да, это деньги, но такія, которыя безъ желудка не достаются, а желудокъ, въ свою очередь, требуеть также денегь.

Мужику дали землю и, конечно, не даромъ, — это было бы вопіющимъ насиліемъ надъ прежними землевладъльцами; давъ ее, — благословили и сказали: ога et labora. Не плати мужикъ ни за землю, ни подушнаго, а только молись и трудись, то, можетъ быть, — и только можетъ быть, — онъ зажилъ бы припъваючи; ковырялъ бы кое-какъ свою пашню, кормилъ бы кое-какъ на общемъ выгонъ скотину, по временамъ запускалъ бы ее и въ сходное поле, потравитъ его для себя, платилъ бы попамъ за разныя требы, что и значило бы для счастливца трудиться и молиться.

Можеть быть, еще лучше, а можеть быть, и еще хуже шло бы дёло въ общинномъ ховяйствё—Богъ его знаетъ! Чтобы понять всё его превосходства, надо быть или самому давнишнимъ, исконнымъ общинникомъ, или же глубокомысленнымъ философомъ. Не бывъ никогда ни тёмъ, ни другимъ, я разсматриваю наше общинное хозяйство какъ временное, неизбъжное різ aller, которое нужно пока предоставить силамъ натуры, не замать.

Что же вышло черезъ 20 лёть послё эманципація? То, что теперь всякій, знающій деревню не со вчерашняго дня и самъ занимающійся полевымъ козяйствомъ, предсказаль бы навёрное. Гдё земля еще кое-какъ родить безъ особенной тщательной подготовки, гдё для скотины кое-что еще выростаетъ на выгонахъ и выкосахъ на стернё, гдё, сверхъ этого, имёются еще вблизи крестьянскихъ хозяйствъ заработки (заводы помёщичьи, хозяйства и желёзныя дороги), тамъ дёло идетъ до поры, до времени, то-есть пока не стрясется какая-нибудь бёда надъ полями: градъ, засуха, жучки или просто неурожай, Богъ вёсть отчего. А приди такая бёда, да къ тому еще не случись пригодныхъ заработковъ, такъ бёда неминуема. Положимъ, эти естественныя, неминуемыя бёды грозять всякому

хозяйству, всякому предпріятію и человіческой діятельности. Но въ хорошо организованномъ хозяйстві, — въ которомъ, кромів почвы, личнаго труда, ума, принимають главное участіе основной и оборотный капиталы, — неудача одного года или двухъліть вознаграждается избыткомъ урожая другихъ годовь.

На этомъ основаніи—и весь разсчеть. Иначе пришлось бы все бросить и вапиталь перенести туда, гдё ему лучше везеть. Но гдё же что нибудь подобное этой гарантіи въ крестьянскомъ хозяйстве? Современное полевое хозяйство ничёмъ не отличается, въ сущности, отъ фабричнаго и кустарнаго промысловъ. Пахатныя поля, это—фабрики безъ крышъ подъ открытымъ небомъ; обработанная и подготовленная почва этихъ полей—огромный резервуаръ, съ разными химическими составами, въ которомъ совершается броженіе посёва. Наше крестьянское хозяйство, если оно подворное, представляетъ родъ кустарнаго промысла, а общинное—ничёмъ другимъ не можетъ быть, какъ плохою фабрикою, безъ оборотнаго капитала, безъ предпріимчивости, безъ дальновиднаго разсчета.

Я, конечно, самъ нервый бы подадъ голосъ за освобожденіе съ землею; это было conditio sine qua non въ Россів для благополучнаго выхода изъ стараго строя; но не надо было намъ увлекаться нашимъ общимъ незнаніемъ свободнаго полевого хозяйства; до 1860-хъ годовъ нивто не имълъ о немъ яснаго, на опытв основаннаго, представленія. Всв мечтали: одни - злорадно, другіе - ненавистно, третьи - радушно и наивно. А теперь, когда суть дела выступила мало-по-малу наружу, всё стали сетовать, обвинять и заподозревать другь друга, сантиментальничать и заигрывать съ меньшею братією, ругать на чемъ севть стоить кулаковъ, кабатчиковъ, какъ будто все это не должно было быть силою вещей и какъ будто туть, въ самомъ дёлё, вто-нибудь лично виноватъ! Неужели же можно обвинять кого-нибудь за то, что онъ не добродътеленъ, не настоящій христіанинъ, эксплоатпруеть слишкомъ искусно сподручную для его ума почву? Мив важется, всахъ болбе виноваты увлеченія высшихъ и передовыхъ діятелей.

Мнъ важется, первымъ дъломъ, при эманципаціи съ землею, должна была быть правильная организація только-что вышедшаго изъ кръпостной зависимости сословія. На бъду, одни на него смотръли съ трепетомъ и неръдко съ ненавистью, другіе—съ вакими-то розовыми надеждами принялись его кажолировать; и я самъ, признаюсь, былъ изъ числа послъднихъ,
котя и зналъ про себя, что увлекаюсь. Такое было время
1861-й годъ. Намъ, современникамъ царствованія Александра П-го, надо быть снисходительными и безпристрастными и къ
другимъ, и къ себъ. Эманципированнымъ дали тотчасъ же право
на выборы (выборное право). Они могли тотчасъ же выбирать
себъ непосредственныхъ своихъ начальниковъ: администраторовъ, старостъ, старшинъ, и даже имъли право на выборы
своихъ судей.

Эманципированнымъ дали, до извъстной степени, самоуправленіе, тогда какъ и культурные влассы общества не имъли еще ни своихъ выборныхъ судей, ни самоуправленія. Для эманципированныхъ же тотчасъ придумали особенный, также выборный, институтъ мировыхъ посредниковъ, и на него-то возлагались всё надежды организаторозъ крестьянства. И онъ-то, именно, и сдълалъ полнъйшее фіаско. Выборное начало также не пошло въ прокъ. Старосты, старшины, писаря, добросовъстные и судьи—оказываются вообще порядочною дрянью, обворовываютъ общество, берутъ взятки, пьянствуютъ зачастую. Это я вижу на опытъ, слышу весьма часто и неръдко читаю о томъ же въ газетахъ. Неграмотность и незнаніе своихъ правъ и обязанностей — общая черта со стороны старшинъ и старостъ.

Давнее наше крючкотворство, мошенничество и взяточничество — характерная черта большей части волостныхъ писарей. Тунеядство, безразличное отношеніе къ крестьянскому дёлу, съ оттёнкомъ вымогательства, отличають многихъ коронныхъ (не-выборныхъ) посредниковъ, существующихъ еще у насъ въ западномъ крав. Странная была, мнё кажется, мысль поставить эманципированное крестьянство какимъ-то особнякомъ, прикрыпленнымъ на несколько леть къ земле, съ своимъ самочиравленіемъ, съ своимъ вечемъ (сходками) и даже съ своими законами относительно собственности, наследія и т. п. Этоть-то 20-милліонный особнякъ, съ его, къ тому еще, и бытовыми особенностями и обычаями, есть что-то въ родё status in statu.

Онъ привыкъ дъйствовать огульно, корпоративно, привыкъ имъть свое отдельное міровоззреніе, во многомъ противоположное общимъ государственнымъ й нультурнымъ возгръніямъ. Словомъ, это міръ, живущій отдёльною и непонятною для насъ жизнію. Не даромъ онъ такъ заманчивъ, и, къ сожальнію, не для однихъ только этнографовъ, литераторовъ и экономистовъ-Все, желающее половить рыбу въ мутной водъ, свиваеть легкогивадо въ этой удобной для разнаго рода эксплуатаціи почвв. Не знаю, въ какихъ рукахъ обретается эманципированная громада тамъ, гдъ развилось и пустило корни земское самоуправленіе; но у насъ въ юго-западномъ крав, что бы тамъ ни говорили администраторы и разные ревизоры, крестьянство, на мой взглядь, въ плохихъ рукахъ. Коронные его властители, --- по крайней мъръ, тъ, которыхъ я знаю, --- не надежны ни въ какомъ отношеніи. Уже одно то, что они міняются начальствомъ какъ пъшки, не говорить въ ихъ пользу.

Впрочемъ не они одни,—и главнымъ начальнивамъ югозападнаго края не счастливится. Въ теченіе 20 лѣтъ перемѣнилось, на моей памяти, 6 генералъ-губернаторовъ (по 3 года и 3 мѣсяца управленія на каждаго) и 8 губернаторовъ подольской губерніи (по $2^{1}/_{2}$ года на каждаго). На такой важной по своему исключительному положенію окраинѣ по 2 или по 3 года управленія среднимъ числомъ на каждаго начальника едва-ли можеть дать благіе результаты.

Мысль объ оставленіи нашего врестьянства въ его изолированномъ видѣ, кажется, еще не оставлена. Правда, въ губерніяхъ съ земскими учрежденіями крестьяне привленаются и въгласные, и въ присяжные; но, во-первыхъ, цѣлыхъ 9 большихъ губерній исключены изъ этого, а во-вторыхъ, если земство учреждено всесословнымъ, то почему же волость, какъ единица земства, не всесословная, а исключительно крестьянская, и, въ-третьихъ, наконецъ, всесильная администрація, налагающая свою тяжелую руку и на земство, не можетъ способствовать никакой правильной и стойкой организаціи ни земства, ни крестьянства. О просвѣщеніи темныхъ массъ и говорить нечего.

Съ 1866 года я не рѣшался и прикоснуться къ школѣ въ монхъ имѣніяхъ, и жену отговаривалъ, чтобы не заподозрѣли въ какой контрабандѣ...

Но не одно крестьянство осталось, после эманципаціи, почти неорганизованнымъ, - и среднему сословію не повезло; между тъмъ оно, очевидно, формируется. Среднія училища, несмотря на разныя свачки съ препятствіями, полнівють. Но эта главная основа культурнаго общества у насъ находится тавже въ ненормальномъ состояния. Часть этого сословія у нась—чистый пролетаріать; часть (какъ, напримъръ, еврейство) не пользуется всёми правами, а часть-хотя, по своему положенію и средствамъ, и должна бы принадлежать въ среднему сословію — вовсе не культурна: это многіе довольно зажиточные мъщане, купцы, кулаки. Какъ кажется, у насъ не много заботятся о развитіи этого класса. Взбаломученная, съ одной стороны, пропагандою, съ другой-произволомъ администраціи, наша молодежь, вмёсто стремленія кверху, ищеть сближенія съ врестьянствомъ для распространенія современныхъ соціаль-

Про нъмецкихъ солдать я читалъ въ газетахъ, а про французскихъ слышаль отъ одного изъ бывшихъ членовъ нашего посольства въ Париже, что тамъ даже въ арміяхъ окавывается вліяніе пропаганды; лицо, сообщившее мив о парижскихъ дёлахъ, разсказывало, что оно слышало отъ самихъ офицеровъ въ Парижъ, какъ они боятся, чтобы солдаты ихъ при первыхъ же движеніяхъ коммуны не разбіжались и сами бы не сделались коммунарами. Relata refero. Правда ли это, нъть ли, но очевидно, что самыя крайнія и разрушительныя стремленія коммуны, какъ бы число последователей ихъ ни было пова ограниченно, находять подвржиление и въ другихъ, менве радикальных доктринахъ коммунизма, такъ какъ коммунары и коммунисты, сколько мив известно, расходятся только въ отношении средствъ, но не въ основныхъ принципахъ. Мнъ странна и непонятна политива государствъ, терпящихъ и отчасти охраняющихъ самыя гибельныя, безиравственныя и вредныя для общечеловвческаго прогресса довтрины. Что это — чрезмѣрное уваженіе буквы закона, тупое равнодуније или трусость? Откуда взялось такое государственное убъжденіе, что уголовное преступленіе, совершенное по почину частных лиць съ государственной цёлью, перестаеть быть

______ ----------

нее "vae victis" — исчезло подъ вліяніемъ христіанскаго ученія, и, какъ бы взамёнъ древняго безчеловёчія, наше время водружило красный кресть, какъ символъ христіанства и въ международныхъ отношеніяхъ. Но какъ бы ни была велика эта заслуга новаго времени, она все-таки касается болбе области "соматической" и имъеть главною цълью облегчение и уничтоженіе телесных страданій; другая же, чисто нравственная, сторона международной политиви осталась такою же недоступною для введенія началь христіансваго ученія, вакъ и во времена оны. И воть, мы видимъ въ наше время, что страна, прославившая себя иниціативою учрежденій "Краснаго Креста", такъ много уже облегчившихъ людскія страданія и муки, вивств съ этимъ служить притономъ и разсадникомъ самаго губительнаго для общечеловьческой нравственности комплота убійцъ и крамольниковъ. Да, христіанскія государства съ ихъ беззаствнивою внутреннею и международною политикою эгоизма и права сильнаго не мало сами содъйствують въ нарожденію убійственныхъ для нравственности и постыдныхъ для человёчества общественныхъ явленій. Всё знають это; всё уб'єждены, что современныя отношенія государствъ между собою ненормальны и на каждомъ шагу угрожають подвластнымъ народамъ неизмъримыми бъдствіями и катастрофами; что же мудренаго, если при такомъ натянутомъ положеніи международнаго дъла растеть и връпнеть противогосударственная и антисоціальная пропаганда съ ея разрушительными стремленіями, ея ненавистью въ существующему порядку вещей и ся кровожадными піонерами? Громадные капиталы народнаго богатства н цълыя массы молодого, цвътущаго народонаселенія употребляются непроизводительно, стоя подъ ружьемъ, на-готовъ. Можеть ик коммунистическая пропаганда не воспользоваться указаніями народамъ на это ненормальное положеніе государствъ и націй, не возбудить въ нихъ непависти и противогосударственныхъ стремленій? А между тімъ самыя арміи, собранныя для предстоящей борьбы, заражаются оть бездействія пропагандою и общимъ недовольствомъ. Видя все это, конечно, не съ птичьяго полета, -- который не предоставленъ простымъ смертнымъ, -- не одни только пессимисты, какъ это было въ 1848-хъ годахъ, усмотрять въ будущемъ средніе въка съ нашествіемъ

варваровъ, не чужихъ, а доморощенныхъ, и не один пессимисты упрекнутъ государства въ ихъ близорукомъ эгонзиѣ, ведущемъ, въ концѣ концовъ, къ средневѣковому варварству.

Гдѣ, въ самонъ дѣлѣ, антидоты противъ распространенія соціальныхъ міазиъ? Армін и полиціи? Какъ будто армін и полиціи формируются не изъ людей, или изъ людей другого закала, нисколько не прикосновенныхъ и не подверженныхъ заразѣ!

Что, впрочемъ, толковать о радикальныхъ презервативахъ и антидотахъ противъ будущихъ, еще не разсвиръпъвшихъ повътрій, когда предъ нашими глазами совершаются уже самыя безиравственныя дъла и неслыханныя преступленія, нисколько не измъняющія международныхъ отношеній и законовъ, несмотря на то, что злодъянія совершаются преступниками одной страны противъ властей другой, по названію дружественной.

Къ какой націн физіологически принадлежать эти преступниви, очевидно, все равно; они — скитальцы и должны считаться подданными или гражданами той страны, воторая ихъ пріютила и охраняеть, а потому оставлять ихъ участіе въ уголовныхъ преступленіяхъ, совершенныхъ въ другомъ государствъ, неразследованнымъ и ненавазаннымъ только потому, что эти преступленія не нанесли никакого вреда интересамъ протектора, безправственно. Да не говоря уже о правственности, эта эгонстическая политика и безразсудна, и когда-нибудь вредно отзовется на всемъ обществъ. Зло родить зло; это законъ, его же не прейдеши. Между государственнымъ и простымъ убійствомъ нътъ никакого различія. Судить, осуждать, низвергать государственную власть -- по естественному праву -- можеть только само государство. Всв цареубійцы, не исвлючая и прославленнаго убійцы Цезаря, беруть на себя роль государственныхъ палачей самовольно или отъ имени никъмъ непризванныхъ людей; чвиъ же -- спрашивается -- преступленіе ихъ отличается отъ простого убійства, и почему вакой бы то ни быль государственный режимъ можетъ отвазаться у себя отъ судебнаго разследованія деяній пришельцевъ, подозреваемыхъ другимъ государствомъ въ участія? Развѣ только по принципу: vivat justitia, pereat mundus!

Но откуда взялось у насъ стремленіе, по общему убъжденію вовсе несвойственное ни исторіи развитія, ни духу нашего общества? Съ Запада? Но почему эти антисоціальныя западныя доктрины именно у насъ проявились въ самомъ отвратительномъ видъ? Причинъ тутъ, конечно, не одна. И какъ бы ничтожна ни была шайка злоумышленниковъ, нечего себя этимъ успокоивать; не малочисленность дъятелей зла, а размъръ причиненнаго ими зла обществу обращаетъ на себя вниманіе всякаго мыслящаго человъка.

Наполеонъ, запертый на островъ Св. Елены, сказалъ, — разумъется, изъ ненависти къ Россіи, — что "чрезъ 50 лътъ во всей Европъ будетъ или республика, или казаки". Другой — его же — фразъ о цареубійствъ служили, конечно, основаніемъ наши прежніе дворцовые перевороты послъ Петровскаго царствованія. Но въ этихъ переворотахъ главными участниками были одни лично въ томъ заинтересованные.

Современныя государственныя преступленія имъютъ совершенно другой характерь. Они не могли и не могутъ быть тайными не только для исторіи, но и для народа. Безъ сомнънія, съ этою, именно, цълью они и совершаются. Дъятелями являются не лично заинтересованные въ переворотахъ, не иностранные интриганы, а разночинцы и даже простолюдины, лично, повидимому, нисколько не заинтересованные.

Какія же приманки, именно у насъ въ Россіи и въ наше время, привлекли такихъ ревностныхъ адептовъ и дъятелей въ ужасной доктринъ? Упорство, настойчивость, выдержка, самоотверженіе и вообще энергія зла—замъчательны въ этихъ дъятеляхъ,—въ этомъ надо имъ отдать полную справедливость. Откуда все это? Совсьмъ не узнаешь своихъ соотчичей въ этихъ адски-энергическихъ дъятеляхъ. Чужеземный элементъ между ними, повидимому, незначителенъ; нъсколько семитовъ, еще менъе поляковъ, немного другихъ не-славянскаго племени; но большинство—великоруссы и малороссы; сословія и состоянія также весьма различны; образованіе, по большей части, школьное и недоконченное; есть между ними и дворяне, и крестьяне, богатые и бъдные, но послъднихъ, върно, больше, чъмъ первыхъ; исповъданіе, конечно, также въ большинствъ православное; люди молодые, не достигающіе еще и средняго возраста;

. II II TE 37-44 . _____

не порабощенных умомъ и вступившихъ тотчасъ же въ заговоръ противъ индивидуальнаго ума, долго остававшагося подъгнетомъ. Вышло противное тому, что должно быть нормою для правительства и обществъ. Вмёсто свободы личнаго ума вышласвобода звёрства. Звёрство не могло быть рабомъ несвободнаго и стёсненнаго ума. Калибанъ почувствовалъ себя освобожденнымъ и выступилъ на сцену.

Чёмъ менёе значеніе особи въ государственномъ строй, темъ опаснее положеніе государства въ наше время . . .

Одно изъ самыхъ лучшихъ свойствъ нашего народа, уваженіе и полное довъріе въ верховной власти, но еще не индивидуализированное при другихъ стадныхъ свойствахъ народныхъ массъ, есть все-тави обоюдоострое орудіе, которымъ не трудно пользоваться и врагамъ верховной власти. А сверхъ этого, наша народная стихія, на которую возлагаютъ столько розовыхъ надеждъ доморощенные наши утописты и славянофилы, представляетъ возмутителямъ и анархистамъ еще и другую, не менъе привлекательную сторону; она съ давнихъ временъ былане безопасна для государства, устроеннаго на общеевропейскій ладъ; эманципація должна была уничтожить предстоявшую опасность; но, предпринятая слишкомъ поздно, и потому безъ предварительной подготовки, она увеличила опасность, хотя и временно.

И вотъ почему: коммуниямъ нашего времени беретъ, я полагаю, свое начало еще съ первой французской революціи. Извѣстно, какъ tiers-état сбило съ позиціи аристократію, поднало потомъ само подъ вліяніе террора, военнаго деспотизма, бурбонской реакціи, и все-таки и развивалось, и богатѣло; и вотъ мы видимъ, что изъ этого знаменитаго tiers-état, бывшаго нѣкогда идеаломъ прогресса, образовалась ненавистная современнымъ ультрапрогрессистамъ буржуазія, считаемая самымъ главнымъ антагонистомъ новаго и коренного преобразованія общества въ коммуну.

Съ упадкомъ владътельной аристократіи идеаломъ благополучія для этой буржуазіи сдълалось владъніе землею; крестьянство. конечно, по своей натуръ, не менъе стремилось къ землевладънію. Крупныя владънія размельчали. Земля раздълилась на самые мелкіе участки, и все-таки стремленіе къ обладанію котя бы крошечнымъ кускомъ землицы продолжается.

Нъвоторые утверждають даже, что и народонаселение Франціи не увеличивается по этой причинь: всякій хочеть не только самъ владъть кускомъ земли, но и оставить еще въ наслъдство; и такъ какъ дълить миніатюрнаго земельнаго наслъдства болье невозможно, то никто будто-бы не хочеть имъть много дътей, женится поздно, и т. п.

Можетъ быть, эта страсть въ обладанію поземельною собственностью обязана своимъ происхожденіемъ ученію физіовратовъ, господствовавшему незадолго до первой революціи.

Какъ бы то ни было, но изъ Франціи, я полагаю, перешло преувеличенное значеніе земли и къ намъ. Земля у насъ до эманципаціи была ни по чемъ, цѣнилась только рабочая сила. По числу душъ цѣнились имѣнія. Это была другая крайность, невѣрная не менѣе современной.

Между тъмъ издавна мы привыкли называть наше отечество государствомъ земледъльческимъ, житницею Европы, и вотъ, узнавъ, что французы придаютъ огромное соціальное значеніе земельной собственности и что городской пролетаріатъ во Франціи точитъ зубы на своихъ буржуа и аграровъ, слишкомъ возлюбившихъ поземельную собственность, мы взбудоражились при эманципаціи нашихъ крестьянъ и задались неразрѣшимою задачею предотвращать у себя всѣ ожидаемыя во Франціи и въ Европѣ бѣдствія отъ развитія пролетаріата и его ненависти къ имущимъ и богатымъ.

Прівзжавшіе изъ Парижа, въ началь 1860-хъ годовъ, наши соотечественники, жившіе тамъ нъсколько льть, разсказывали (я слышаль самъ одинь изъ такихъ потрясающихъ разсказовъ отъ покойнаго Ханыкова) съ ужасомъ о страшныхъ физіономіяхъ пролетаріевъ, останавливающихся на бульварахъ передъ кофейнями и съ звърскою завистью смотръвшихъ на напитки, которыми прохлаждались посътители кофеенъ. И эта ненависть пролетаріата къ буржуа, и эта страсть буржуа къ обладанію землею, понятны въ странъ многолюдной, муницинальной, мануфактурной, какъ Франція, съ ея благословеннымъ и превосходнымъ, для культуры цънныхъ растеній, климатомъ, при легкости сбыта всъхъ произведеній земли на мъстъ, съ

отличными водяными и сухими путями сообщенія, избыткомълегко-обращающагося капитала, развитою интеллигенцією. Не полный ли это контрасть съ Россією?

Какія пространства земли были бы достаточны у насъ для благосостоянія важдаго изъ врестьянъ въ настоящее время, и какія бы пространства понадобились еще для обезпеченія важдаго изъ нихъ въ будущемъ, если сдёлать одну земельную собственность?

То, что французъ извлекаетъ теперъ изъ одного гектара своей земли, своимъ виноградомъ, огородомъ и фруктовымъ садикомъ, произведеніямъ которыхъ онъ тотчасъ же находитъвыгодный сбытъ, этого каждый изъ насъ не извлечетъ и изъ 20 десятинъ при нашемъ климатъ и нашемъ хозяйствъ и сбытъ. А кому изъ крестъянъ на умъ придетъ рисковатъ введеніемъ другихъ искусственныхъ системъ хозяйства?

Правда, земли у насъ еще много, — хватить, пожалуй, на всёхъ, если раздёлить поровну; ну, а разстоянія, а почва, а климать, требующій, чтобы полгода сидёли на печи, а вредным для культуры растенія континентальныя свойства этого климата, а недостатокъ рукъ, а трудность сбыта, а дороговизна и неподвижность капиталовъ, а хищничество и неуваженіе късобственности, проявляющіяся на каждомъ шагу и въ стадныхъ свойствахъ народонаселенія, и въ плохой администраціи, и даже въ окружающихт насъ стихійныхъ силахъ?

Кавъ же туть основать народное благосостояніе на одной земельной собственности!

Предполагалось, кажется, нашими доморощенными физіократами, что земельная собственность у нась безъ всякагозатрачиванія капитала, съ помощію одн'єхъ рукъ и кое-какой животины безъ хорошихъ кормовъ, должна и прокормитькрестьянскую семью, и выкупить себя, и дать еще прибыль для уплаты податей и для сбереженія на черный день. Когда же эти воздушные замки улетучились, то начались сътованія, скорбь, часто весьма сомнительнаго свойства, дутая и нер'єдкоприторная, о меньшей братіи, — а зат'ємъ и сочувствіе современнымъ утопіямъ.

Что это я говорю? Какъ осмѣливаюсь, хотя бы и для самого себя только, писать подобную ересь! Напечатай я это,

что будеть со мною?! Вёдь Аскоченскій, читая мои "Вопросы жизни", находиль въ нихъ іезуитизмъ и безбожіе; Добролюбовъ, боявшійся инстинктивно розогь, узрёль въ моемъ регламентв о наказаніяхъ дикое и безсмысленное варварство; а теперь я вёрно попаль бы—за мой взглядъ на эманципацію—въ самые закоренёлые крёпостники и ретрограды. Но, слава Богу, я пишу для себя и не боюсь крика и брани. — Нётъ, господа, —отвётиль бы я, можеть быть, крикунамъ: — я первый, живя 15 лёть безвыёздно въ деревнё, не захотёль бы ни за какія коврижки жить въ сосёдствё съ обезвемеленными крестьянами!

Земли нельзя было не дать нашимъ крестьянамъ при эманципаціи. Посадите кого угодно на привязь, на одно мёсто, на сотни лёть, и всякій,—если не самъ, то его потомки,—будеть считать это мёсто своимъ, то-есть—не себя къ нему, а его къ себё прикрѣпленнымъ. Это одно; а другое—то, что не въ кочевниковъ же превратить осѣдлыхъ поселянъ, считавшихъ землю, на которой они сидѣли, мірскою.

Итакъ, не въ томъ дъло, что крестьяне наши освобождены были съ своею мірскою вемлею (тамъ какъ бы то ни было, тотчасъ же или потомъ); дъло—въ принципъ; я возстаю противъ него и утверждаю, что заботы нашихъ соціалъ-экономистовъ физіократовъ о предохраненіи государства отъ пролетаріата посредствомъ надъла крестьянъ землею ни къ чему не ведутъ. Что бы бюрократы, доктринеры и утописты ни придумывали противъ этого исконнаго зла человъческаго общества, все повредитъ только настоящему,—это главное; а для отдаленнаго будущаго безпрестанно ломать и перестроивать неустановившіяся еще порядкомъ настоящія преобразованія нельпо, — да мало что нельпо, — преступно.

Эта-то ломва, при которой я присутствую почти 20 лѣтъ на окраинъ Россіи, эта невърность и шаткость настоящаго положенія земельныхъ собственниковъ и соединеннаго съ этимъ колебанія въ мъропріятіи, привели насъ въ то по истинъ безотрадное положеніе, въ которомъ мы теперь находимся.

Мнъ кажется, какая-то мономанія пролетарівзма обуяла часть нашего общества, — и надо бы было благодарить Бога, когда бы она была религіознаго свойства; богатые стали бы

раздавать свое имущество—по-евангельски— нищимъ, во имя Господне. Такъ нътъ: мономанія чисто соціальная, quasi-научная. Хотять, во что бы то ни стало, сдълать Россію на будущее время счастливъе всей остальной Европы, Азіи, Африки, Америки и Австраліи.

Талисманъ уже найденъ, — это земля; теперь идеть дъло только о томъ, какъ до него всъмъ и каждому добраться.

Рецепть простой: чёмъ больше каждому придется на долю, твиъ лучше. У мужика теперь мало земли, да и ту онъ не можеть порядочно обработать; чтобы извлечь изъ нея что можно и что нужно, у него нъть ни средствъ, ни умънья. Следуетъ дать ему вдвое, втрое, вдесятеро больше, - и онъ справится. Отвуда же эта логика? Она, мив кажется, вышла изъ залежной системы хозяйства, процебтавшей еще на юговосточныхъ окраинахъ Россіи при введеніи эманципаціи. Земля тамъ нипочемъ, почва почти девственная, народу мало, скотъ дешевъ и кормы въ степяхъ даровые. Валяй на просторъ! Еще и теперь въ Бессарабіи и въ Болгаріи я самъ видаль, какъ свется и отлично родится пшеница и кукуруза безъ плуга и пахоты. По стернъ, послъ снятія кукурузы, по оставшимся отъ нея клочкамъ, ходитъ братушка и молдаванинъ н светь осенью пшеницу, безъ всякой подготовки, а потомъ зараливаеть навимъ-то допотопнымъ раломъ, парою буйволовъ; а то такъ родять и такъ падающія зерна, при снятіи жатвы.

Первобытное повърье въ неисчерпаемое плодородіе залежи служить, мнъ кажется, основаніемъ и нашихъ современныхъ соціальныхъ убъжденій. Да, нашъ народъ върить еще въ землю, чуть не въ божество земли. "Наша земля,—говорилъ мнъ одинъ крестьянинъ въ моемъ имъніи (подольской губ.),— не любить желъза: перестанетъ родить, если ее много желъзомъ трогать".—А навозъ?—"Навоза тоже не хочетъ, бурьяномъ поростаетъ. Значитъ, землю не тревожь, она разсердится".—Повърья, очевидно, ведущія свое начало отъ временъ залежнаго, переходнаго, полукочевого земледълія. Снялъ урожая три, четыре, — довольно; земля не очень возлюбляетъ желъзо,—ступай на другое, свъжее мъсто.

Нъмцы наши, колонисты, переселившеся въ юго-восточныя наши степи изъ культурной страны, знакомые уже съ искус-

ственною системою полеводства, прибывше въ намъ съ нъкоторыми денежными средствами, притомъ народъ трезвый, бережливый, грамотный, протестантъ и даже меннонитъ, да, сверхътого, получившій льготы отъ нашего правительства (освобожденіе отъ податей, рекрутской повивности), — волонисты, говорю, несмотря на всъ эти благопріятныя условія, все-таки, какъ люди опытные и знакомые съ дъломъ, не поддались иллюзіямъ и, несмотря на большіе земельные надълы, — по нъскольку десятинъ дъвственной почвы на каждаго хозяина, — чрезъ нъсколько лътъ учредили у себя майораты.

Около Одессы я зналь несколько такихъ колоній (напримеръ, Люстдорфъ). Чтобы не дробить хозяйства на мельчайшіе участки, въ наследство, по смерти отца, поступаль весь его земельный надёль и инвентарь въ наследство меньшому сыну, а другія дёти получали отъ брата наследника выплату деньгами и движимостью.

Вследствіе этихъ порядковъ старшіе сыновья приготовлялись быть ремесленниками, учителями и т. п. н отрывались оть земли. Пролетаріать оть этого не образовался. Намъ столько еще нужно умълыхъ людей, что всякій, сколько нибудь ознакомившійся съ какимъ-нибудь діломъ, долго еще можеть избъгать пролетаріата. Слъдуя же укоренившейся у насъ въръ въ землю, какъ единственный талисманъ противъ нищеты и пролетаріата, мы все-таки не предотвратимъ пагубнаго раздробленія земельныхъ надёловъ, отнимемъ у многихъ тысячъ людей новаго покольнія върный хльбоь й средства въ наживъ ремесломъ и ученьемъ, принудивъ заниматься земледъліемъбезъ оборотнаго капитала при истощенной уже почвъ и неблагопріятныхъ влиматическихъ условівжь. Не надо забывать, что земледвліе изъ года въ годъ, по фрв истощенія почви, дълается все болъе и болъе сходнымъ съ фабричнымъ или, по крайней мъръ, кустарнымъ ремесломъ и требуетъ все болъе и болъе денежныхъ затрать и оборотнаго капитала.

Конечно, еслибы можно было надёлить всёхъ поровну по 500 или 1,000 десятинъ на каждое крестьянское хозяйство, то, вёроятно, опасность пролетаріата отдалилась бы отъ насъ на цёлыя столётія, хотя тогда, вёрно, не мало бы явилось охотни-

ковъ продать лишнюю землю, съ которою имъ не подъ силу было бы справиться.

Теперь въ земледъліи едва-ли уже не дошло, по врайней мъръ, въ нъвоторыхъ мъстахъ, до того, что сбываются слова Евангелія: имущему дастся, а у неимущаго отнимется. Что, въ самомъ дълъ, предпринять бъдняву съ своимъ надъломъ, если у него нътъ семьи, — всъ померли, — или и есть семья, да только со ртами, а не съ рабочими руками?

Надъть, даже въ количествъ, опредъленномъ въ Сводъ Законовъ для кръпостныхъ, въ 8 десятинъ, не вложивъ въ него, кромъ своего личнаго труда, еще рублей 150 — 200, не только не выплатитъ себя, но и не всегда прокормитъ семью. Поэтому, если хотятъ предотвратить, хотя бы въ ближайшемъ будущемъ, пролетаріатъ, основавъ все настоящее и будущее благосостояніе крестьянства на землъ, то надо, вмъстъ съ достаточнымъ надъломъ землею, еще придатъ и оборотный капиталъ или, по крайней мъръ, не брать податей первые годы. Это — по теоріи; на практикъ вышло бы, въроятно, другое: и оборотный капиталъ, розданный по рукамъ, и прощенныя подати не пошли бы въ прокъ, такъ, какъ бы этого хотълось доктринерамъ.

Весьма отличительная черта въ харавтеръ русскаго народа, отличающая его отъ западныхъ націй и даже отъ южныхъ славянъ, это — совершенное отсутствіе бережливости. Встръчается иногда скряжничество, циническая скупость, но склонности къ сбереженію нътъ.

Пожалуй, скажуть на это, что нечего беречь; но это далеко не всегда главная причина: неразсчетливость и чисто восточный фатализмъ мѣшаютъ бережливости и тамъ, гдѣ есть что беречь. Извинительная отговорка, приписываемая спившемуся съ круга мужику,—также въ восточномъ вкусѣ. Онъ пропиваетъ, будто-бы, послѣднюю копѣйку потому, что ея не убережешь, или беречь не стоитъ.

Въ имъніи моемъ я знаю одного мужика, Сав'ву Криворукова; тотъ, върно, пьянствуетъ не отъ нищеты; онъ однажды, поработавъ у себя и у меня въ полъ, ръшился, по собственнымъ его словамъ, попытать, какая такая есть свобода на свътъ, и пересталъ работать, лежалъ на печи, ълъ, пока были харчи, и ходилъ въ вабавъ. Этотъ опытъ надъ свободою продолжался чуть-ли не полгода, пова Савва все пропилъ и пошелъ на заработви.

Иногда я его встрвчаль, лежащаго на улицв, иногда въ рубищв, а теперь, недавно, встрвтиль—что-то везеть на парв своихъ лошадей: вврно, покончиль свой эксперименть съ свободою. Замвчательно, что болгары, жившіе такъ долго подъ игомъ турецкаго фатализма, менве фаталисты, чвмъ наши крестьяне. Эти наши братики—по всему видно было намъ въ Болгаріи—чрезвычайно бережливы, трезвы и не прочь при всякомъ случав надуть своихъ свверныхъ братьевъ.

Но существуеть, — если върить нашимъ соціалистамъ и славинофиламъ, — волшебное средство избъжать пролетаріата и нищеты, основавъ благосостояніе на поземельномъ надълъ и безъ затраты капитала. Это средство — наша старинная русская община. Дай Богъ! Съ этою общиною я не имълъ нивакихъ дълъ, и знаю ее только по описанію. Мит не върится, однако-же, чтобы она устояла или прямо бы перешла въ организованную на западный манеръ ассоціацію, или коммуну, или во что-нибудь подобное. Мит кажется потому, что ее не слъдовало бы ни уничтожать, гдт она существуеть, ни поддерживать искусственными мърами. А гдт нътъ общины, какъ, напримъръ, у насъ на юго-западъ, тамъ ея уже не введешь.

Я незамётно увлекся въ объясненіе, почему эманципація, предпринятая у насъ слишкомъ поздно и потому безъ подготовки, увеличила опасность волненій, представивъ для нашихъ анархистовъ и утопистовъ весьма заманчивую сторону. Первымъ ихъ лозунгомъ послё эманципаціи было: "земля и воля", — и мнё сдается, что чёмъ болёе въ правительственныхъ сферахъ будутъ ковырять на всё лады земельный вопросъ, тёмъ болёе онъ будетъ дёлаться растравленнымъ мёстомъ, привлекательнымъ для хищныхъ насёкомыхъ. Я полагалъ бы, что гораздо надежнёе и существеннёе для пользы народа и самого государства, вмёсто разныхъ искусственныхъ и принудительныхъ мёръ для снабженія всёхъ и каждаго изъ крестьянъ земельными надёлами, было бы уменьшеніе тягости прямыхъ налоговъ, выкупныхъ платежей, свобода обращенія и прінсканіе

средствъ въ снабженію земледѣльца оборотнымъ вапиталомъ, регулированіе свободы переселенія, и т. п.

22-го марта 1881.

Событіе 1-го марта еще не даеть мив спокойно продолжать мою біографію. До себя ли, до прошедшаго ли, когда въ государствв, и, можеть быть, вблизи себя, творится весьма недоброе и возмутительное?!

Я съ дътства любилъ мое отечество, върно служилъ ему, всегда почиталъ верховную власть не въ видъ лица, — лично и не имълъ счастія знать ни одного государя, — но какъ главу государства; всегда считалъ для Россіи жизненно-необходимою сильную верховную власть; всегда имълъ отвращеніе отъ заговора и всякаго тайнаго общества.

Поэтому я, положивъ руку на сердце, не могу ни въчемъ, противъ правительства, упрекнуть себя, если только не назовутъ противоправительственнымъ независимый образъ мыслей, приводившій меня къ анализу и неодобренію разныхъ правительственныхъ мёръ и распоряженій. Но я всегда былъ убъжденъ, что ни правительству, ни верховной власти не опасны честные люди съ независимымъ и свободнымъ образомъ мыслей. Правительство можетъ смотрёть на нихъ какъ на откровенную, добросовёстную оппозицію, а такая оппозиція, я полагаю, при всякомъ образъ правленія полезна и необъюдима.

Такъ и теперь, въ настоящее, смутное и тяжелое для всѣхъ, время, я не считаю подсказываемыхъ мнѣ моимъ свободомысліемъ соображеній для кого бы то ни было вредными или опасными. Правительственная власть въ государствѣ, очевидно, находилась не въ нормальномъ состояніи. Она оказывалась безсильною противъ шайки злоумышленниковъ, какъ принято выражаться оффиціально.

Глава государства, послѣ нѣсколькихъ, самыхъ дерзкихъ, покушеній, убитъ посреди бѣлаго дня и, очевидно, злоумышленникомъ изъ окружавшей государя (вышедшаго изъ экипажа на улицу) уличной толпы.

Дерзость и энергія зла заговорщиковъ дошли до неслыханныхъ разм'вровъ. Они изготовляють у себя въ лабораторіяхъ

```
жарчт;
долж;;
телч.
руб
сво
бо
т
```



ніе земскихъ дівятелей и общества къ земскому дівлу и бюрократизмъ были слівдствіями измінившагося духа и направленія земскихъ учрежденій.

Въ судебной реформъ-то же самое.

Въ обще-военной повинности также потребовалось, не предусмотрънное закономъ, значительное стъснение и сокращение льготъ; вообще же эта реформа не оказала на крестьянство и духъ народа ожидавшагося отъ нея благодътельнаго результата, котя ею и сократился срокъ службы въ войскахъ.

Свобода, данная печати, до сихъ поръ остается еще не окончательно узаконенною.

Конечно, существовали весьма въскія и важныя причины, побудившія правительство измѣнить и духъ, и первоначальное направленіе этихъ великихъ реформъ прошедшаго царствованія; но въ такомъ случав не въ правв ли общество предполагать—или то, что введеніе этихъ преобразованій было сдѣлано несвоевременно,—или что они не были основаны на точномъ и положительномъ, всестороннемъ знаніи дѣла,—или же, наконецъ, что взглядъ и образъ мыслей верховнаго реформатора измѣнились впослѣдствіи. Мнѣ кажется, я не ошибусь, если допущу всѣ три возможности и на первомъ планѣ поставлю послѣднюю изъ трехъ.

Можно, я думаю, съ въроятностью предположить, что врожденные покойному государю дары божія—гуманный духъ. исвреннее человъколюбіе и сердечный либерализмъ-развились и получили благое направленіе подъ руководствомъ и наблюденіемъ его воспитателя-поэта; Василій Андреевичъ Жуковсвій, известный мне и лично, но еще боле чрезь его почтеннъйшую сестру, Катерину Аванасьевну Протасову (урожд. Бунину), намать о которой для меня всегда останется священною, — В. А. Жуковскій — говорю — не могь не сообщить своему царственному воспитаннику высокихъ, чисто поэтическихъ свойствъ своей прекрасной души. Это была именно душа, способная вліять благотворно. Поэтому мнв представляется весьма естественнымъ, что государь приступилъ въ задуманнымъ имъ преобразованіямъ въ прекрасномъ и истинно гуманномъ настроеніи духа, и съ полною надеждою наслаждаться еще во время своего царствованія благими результатами.

Когда же надежды не осуществились, а возврать въ прежнему сдълался невозможенъ, то уклоненія съ проложеннаго пути казались единственнымъ средствомъ въ возстановленію нарушеннаго равновъсія.

Не сердечное, а только добытое умственнымъ анализомъ добро идетъ твердо, между страхомъ и надеждою, на пути къ совершенству. Но если мы въ правъ предположить, что государь-преобразователь и освободитель возлагалъ на исполнение своихъ высокихъ намъреній гораздо болье надеждъ, чъмъ сколько ихъ исполнилось на дълъ, то несомивно, что множество умовъ изъ молодого покольнія еще болье ожидали самыхъ несбыточныхъ результатовъ отъ предпринятыхъ государемъ преобразованій.

Долго, долго еще событіе 1-го марта будеть занимать умы и по своимъ сл'ядствіямъ, и по своимъ причинамъ, и врядъ-ли вогда-нибудь удастся исторіи выяснить его вполнъ.

Не забудемъ, что мы живемъ въ такое время, когда личности въ родъ Брутовъ, Зандовъ и Равальяковъ уже успъли нопуляризироваться и сомкнуться подъ покровительствомъ новаго ученія. А такой громадный успъхъ зла, какого оно достигло событіемъ 1-го марта, долженъ сильно повліять на судьбы этой зловъщей общины; она нравственно, — върнъе, злонравственно, — окръпнеть и привлечеть къ себъ новыхъ сподвижниковъ. И если государства не примутъ заблаговременно радикальныхъ мъръ къ ослабленію господствующаго антагонизма съ обществомъ, то вербовка въ ряды недовольныхъ анархистовъ и коммунаровъ будетъ расти все болье и болье, пока они не сформируютъ status in statu. На ихъ сторонъ — тотъ же могущественный своимъ злонравіемъ принципъ, который сдѣлалъ непобъдимыми и іезуитовъ, — съ тъмъ только отличіемъ, что у

іезуитовъ благая цёль оправдываетъ худыя средства, а у новыхъ адептовъ анархизма и нигилизма и цёль, и средства сливаются вмёстё и бьютъ въ одну точку — разрушеніе существующаго порядка.

Какъ же не соединиться противъ такого сильнаго врага государству и обществу, стараясь взаимно ослабить существующій антагонизмъ?.. Сившите! Dixi.

Пора, однако-же, перестать. Я высказаль все накопившееся въ душт и вызванное наружу событіемъ 1-го марта. Не знаю, возвращусь ли я еще разъ въ моемъ дневникт въ этому предмету. А теперь пора возвратиться къ моей біографіи.

28-го марта, 1881.

Но прежде, чёмъ возвращусь въ моей біографіи, замівчу, что прошлаго года я въ эту пору сильно озабоченъ быль о состояніи моихъ полей; я велъ тогда дневникъ о погодъ и температуръ. Нынъшній годъ было не до того. Я покупаль новое имъніе и дълалъ завъщаніе; -- замътно старъюсь. Прошлаго года выпавшій въ ноябрь сныгь на талую землю угрожаль овими большимъ вредомъ; все боялись, что густые, какъ войловъ, всходы вымовнутъ; но въ декабръ начались сильные морозы, и хотя снъга навалило цълые сугробы - земля замеряла подъ нимъ на аршинъ и болъе. Когда снъгъ, лежавшій до вонца марта, ставлъ, то озими оказались нетронутыми и, какъ осенью, густыми и зелеными. Урожай прошлаго, 1880, года быль у меня, однако-же, не плохой и, еслибы не дожди во время цвъта ишеницы, быль бы еще лучше; оть этихъ дождей пострадаль умолоть, но все-таки урожай ппиеницы, вообще, у меня быль самь-восемь.

Сильные весенніе морозы, въ мартѣ до 20^{0} слишвомъ R., погубили множество деревьевъ въ саду; пострадали особливо вишни, сливы, груши; у меня изъ 2,000 погибло до 200. 5-го мая выпалъ снъть и лежалъ два дня: пострадалъ виноградъ; не было ни яблоковъ, ни грушъ.

Про нынъшній годъ еще труднъе предсказать. Снъть не падаль на талую землю. Но снъта вообще было мало до весны, и онъ зимою два раза сходилъ совсъмъ, тогда какъ прошлаго

года не сходиль ни разу. Отличные осенніе всходы озими, густые, какъ и прошлогодніе, стояли по недёлямь открытые, безъ снёжнаго покрова. Впрочемъ сильныхъ морозовъ не было. Въ пёлую зиму разъ или два доходило до 200 слишкомъ, и то на нёсколько часовъ. Зато теперь мартъ необыкновенно холоденъ и сыръ. Падалъ раза три снёгъ и одинъ разъ лежалъ около двухъ недёль, защитивъ всходы отъ мартовскихъ вётровъ.

Тепла болбе $10-12^{\circ}$ еще не было. Всходы не зеленые, какъ прошлогодніе, а сбрые, желтоватые, но отъ дождей и мокраго снъга начинаютъ зеленъть; боюсь, не повредили бы имъ морозы въ $2-5^{\circ}$ на мокрую землю, не пострадали бы корни всходовъ.

Перехожу опять къ дъламъ давно прошедшихъ дней. Не прошло и мъсяца послъ внезапной смерти отца, какъ мы всъ, мать, двое сестеръ и я, должны были предоставить нашъ домъ и все, что въ немъ находилось, казнъ и частнымъ кредиторамъ. Приходилось съ кое-какими крохами идти на улицу и думать о слёдующемъ днё. Въ это время явилась неожиданная помощь. Троюродный (если не ошибаюсь) брать отца, Андрей Филимоновичъ Назарьевъ, самъ обремененный семействомъ, -- у него было на рукахъ три дочери (одна уже взрослая, двъ подростки), -- служившій засъдателемъ въ какомъ-то московскомъ судъ (помъщавшемся близь Иверскихъ воротъ), предложиль намъ перевхать къ нему. Онъ съ семействомъ жиль у Пресненскихъ прудовъ, въ приходе Покрова въ Кудрине, въ собственномъ маленькомъ домикъ; внизу, въ четырехъ комнатахъ, помъщалось семейство Назарьевыхъ, а мезонинъ съ тремя комнатами и чердачкомъ предоставленъ былъ намъ. Окна одной изъ комнатъ выходили на Дъвичье Поле, виднълись Воробьевы горы, и я, смотря на этотъ ландшафть, вспоминалъ подобный же видъ изъ верхняго этажа нашего прежняго дома на Андроньевъ монастырь. Но вспоминать было нелегво, - впрочемъ не мнв собственно, а старшимъ. Что я тогда? Развъ 14-тилетнему подростку знакома бываеть продолжительная грусть и недовольство судьбою?

Жизнь моя пошла по прежнему, какъ заведенные часы. Два раза въ день я путешествовалъ въ университетъ по Ни-

витской, что брало болъе 2 часовъ времени въ день; объ извозчикахъ, и даже розвальняхъ, теперь и подумать нельзя было.

Летомъ, въ сухую погоду, вуда ни шло, — я бъгалъ по Никитской исправно; но въ грязь, осенью, ночью, ой, ой, ой, какъ плохо приходилось мив, бедному мальчику. Мой дядюшка, - такъ я называлъ, - Андрей Филимоновичъ, былъ добрейшее и тишайшее существо тогдашняго чиновничьяго міра; небольшого роста отъ природы, да еще согнувшійся отъ постояннаго писанья, онъ быль истинный типъ небольшого чиновника-муравья. Дома я его никогда иначе не видываль, какъ за бумагами, целую кипу которыхъ онъ приносиль съ собою изъ суда, а въ судъ, разумъется, другого дъла также не было; весь въкъ свой добръйшій Андрей Филимоновичь писаль, писаль и писаль, за что и награжденъ былъ владимірскимъ крестомъ; про него не помню, но другой такой же типическій чиновникъ удивляль меня всегда не на шутку въшаніемъ своего владимірскаго креста, за 30-летнюю службу, передъ образомъ, по возвращенін домой изъ присутственнаго мъста. Андрей Филимоновичь говориль мало и тихо; всё его наслажденія ограничивались слушаніемъ птичьяго пінія во время письменной работы, покуриваніемъ табаку изъ длиннаго чубука съ перышкомъ вмёсто мундштука и часпитісмъ. Эта добрейшая и тишайшая душа повла иногда и меня чаемъ въ ближайшемъ трактиръ, когда я заходиль въ судъ у Иверскихъ вороть, отвозиль меня иногда на извозчикъ изъ университета домой, и однажды, -- этого я никогда не забываль, -- замътивъ у меня отставшую подошву, купилъ мнѣ сапоги.

Въ семействъ дядющи Назарьева съ жениной стороны, именно у сестры его жены, водились нечистые духи. Я почти всякій день слыхалъ разсказы о разныхъ продълкахъ домовыхъ, обитавшихъ, по общему убъжденію, въ квартиръ Надежды Осиповны (такъ звали невъстку дяди); я было забылъ всъ слышанныя тогда розсказни, какъ небылицы, но, прочитавъ въ "Русскомъ Въстникъ" статью профессора Вагнера о чудесахъ одного американскаго спирита, чрезъ 50 лътъ вспоминлъ снова о пресловутыхъ похожденіяхъ Надежды Осиповны. Живо вспоминаю теперь, какъ и она сама, и ея домашніе повъствовали о томъ, что у нихъ происходило дома по ночамъ

и по вечерамъ: стукъ, шумъ, трескотня разнаго рода, шорохъ и ползанье по стънамъ и за обоями, переставливание съ мъста на мъсто мебели по ночамъ, катание какихъ-то клубковъ и темныхъ массъ по полу.

Перемъна квартиры не помогала, и въ этомъ-то я и нахожу сходство Надежды Осиповны съ американскимъ спиритомъ. И онъ, и она, вакъ медіумы, вызывали однимъ личнымъ присутствіемъ духовъ изъ невидимаго міра. И я помню также, что родственниви Надежды Осиповны считали ее не то тронувшеюся, не то какою-то чудною, и посмъивались надъ нею, и вакъ будто побаивались ея. Она была уже очень пожилая женщина, лътъ за 50, сухощавая, и пересказывала все испытываемое ею и ея домашними по ночамъ весьма наивно, какъ будто все это такъ и должно было быть. Жаль, что я тогда ничего не смыслиль о медіумахь: я бы подробные вникнуль въ странную личность Надежды Осиповны; а то я слушалъ ея розсказни какъ интересныя сказки, смёнлся отъ души, когда она описывала продълки своихъ домовыхъ, -- и только. То верно, что это не была обманщица: не изъ чего и некого было обманывать. Въроятно также, что она подвергалась галлюцинаціямъ; но вопросъ, для меня нерешенный и въ отношеніи къ Надеждъ Осиповнъ, и въ отношении въ современнымъ медіумамъ, тотъ-не свойственно ли нъкоторымъ личностямъ сообщать свои чисто субъективныя галлюцинаціи и другимъ воспріничивымъ особамъ?

Мы жили въ домъ дяди, не платя ничего за ввартиру, болъе года. Послъ, въ 1837 году, сдълавшись профессоромъ въ Дерптъ, я считалъ себя обязаннымъ отблагодарить добраго Андрея Филимоновича, и, признаюсь, не столько за даровой пріютъ, сколько за сапоги. У дяди, въ тому времени, подросъ маленькій сынишка, лътъ 10-ти, и я предложилъ отпустить его со мною въ Дерптъ, для ученья на мой счетъ. Мальчикъ учился у какого-то попа и кое-какъ мараковалъ грамоту. Признаюсь, я потомъ не радъ былъ жизни, что взялъ на себя такую обузу, не сообразивъ, насколько я въ состояніи былъ справиться съ нею. Я увидълъ потомъ, но поздно, что я тогда ничего не понималъ въ дълъ воспитанія, считая его дюжиннымъ дъломъ. Я сдълалъ изъ неудавшагося мнъ воспитанія мальчика На-

зарьева одно заключеніе, которое, я думаю, относится и не во мнё только, а и во многимъ другимъ, а именно: молодому неженатому человёку не нужно браться за воспитаніе ребенка; это опасное предпріятіе для нравственности воспитанника.

Я хотель приготовить маленькаго Николая къ гимназіи въ Дерите, и, по совету какого-то педагога, пом'єстиль его полупансіонеромъ въ приготовительное училище Лаланда.

Меня не бывало по цёлымъ днямъ дома, и мальчикъ, приходившій изъ школы, оставался на рукахъ жившей у меня въ услужении очень почтенной и богомольной женщины (латышки и піэтистви). Вскор'в узналь я оть нея, что мой Николай воруеть. Въроятно, онъ привезъ эту привычку уже съ собою изъ Москвы. Родные, отпускан его со мною, дали нъсколько денегъ мив на сохраненіе, и вакъ мальчикъ ни въ чемъ не нуждался, то я и заперъ его деньги, въ его присутствіи, вмёстё съ моими, въ ящивъ комода. Служанка моя, почтенная Лена, чрезъ несколько же дней после нашего прівзда, уведомила меня, что Николай что-то долго оставался возл'в комода, и она нашла потомъ влючъ отъ ящива, гдъ были деньги, на вомодъ; но могло быть, что я и самъ забылъ влючъ на вомодъ. Стали наблюдать. Лена ухитрилась всунуть маленькую бумажку въ замочную дыру ящика, положила ключь на прежнее место, сочли хорошенько мелкія деньги. На другой же день нашли бумажку вынутою и-дефицить. Потомъ накрыли воришку, и en flagrant délit.

Лена совътовала непремънно его высъчь на мъстъ преступленія, увъривь меня, что это очень помогаеть. Я, въ первый разъ въ жизни, произвелъ эту операцію, и весьма неловко; Лена была слишкомъ слаба, чтобы хорошенько подержать мальчишку, оравшаго во все горло и брыкавшаго и руками, и ногами; я горячился, и розга не попадала по назначенію. Воровство, впрочемъ, прекратилось. Но ученье шло, видимо, плохо, и мъсто воровства заступила другая привычка, уже не знаю, привезенная ли также изъ Москвы, или дерптскаго прочисхожденія.

Однажды Лена увъдомила меня, что нашъ Николай что-то пасмуренъ и часто уходить въ нужное мъсто; посмотръвъ пристальнъе мальчику въ лицо, я замътилъ также что-то нехоро-

шее во взглядъ: какую-то тусклость и смущеніе. "Что съ тобою?" спрашиваю. Вмъсто отвъта—слезы. "Боленъ?" Отвъта нътъ: слезы. "Онъ что-то рукою за нижнее мъсто хватаетъ", говорить мнъ при немъ Лена. "Спусти штаны; покажи". Открывается рагарнутовів и сильная опухоль члена. Я кладу мальчика на постель и сейчасъ же вправливаю. Услышавъ, что этого рода занятіямъ онъ предавался и въ школъ Лаланда, я взялъ его оттуда и отдалъ въ пансіонъ въ городъ Верро, пользовавшійся большою извъстностью въ то время.

Когда, черезъ годъ, я перевхалъ въ Петербургъ, женился и поселился вмъсть съ женою, матерью и сестрами, то Николан я снова привезъ къ себъ въ домъ и помъстилъ полупансіонеромъ въ гимназію, въ надеждь, что пребываніе его въ хорошемъ учебномъ заведеніи перемінило его къ лучшему, а жизнь въ семействъ окончательно исправитъ. Бился съ нимъ я туть уже не одинь: и жена, и мать, и сестры принимали участіе. Но ученье не шло на ладъ, а въ головъ были постоянныя шалости, какое-то тупое упрямство, а потомъ явилось и желаніе идти въ солдаты. "Голъ, да соколъ буду", возражаль Николай на всё представленія. Такъ, побившись съ нимъ еще годъ, мы, наконецъ, принуждены были отправить его опять въ Москву. Что изъ него вышло-не знаю; кто-то, кажется, говорилъ мнъ, что мой воспитанникъ получилъ мъсто въ московской полиціи. Могь ли я ожидать, что сделаюсь воспитателемъ квартальныхъ!

И другой птенецъ изъ семейства моего добраго Андрея Филимоновича, сынъ его старшей дочери, вышедшей замужъ за какого-то офицера, по фамиліи Солонина, и потомъ овдов'явшей, попалъ ко мнв на руки, когда я былъ уже попечителемъ въ Кіев'в.

Считая себя все еще въ долгу у этой семьи за доброту ея отца, я ръшился еще разъ попробовать счастья въ воспитаніи чужихъ дътей, и принялъ маленькаго Солонину къ себъ, къ своимъ дътямъ, которыя были старше его и могли подготовить нъсколько дикаго и безграмотнаго ребенка.

Но и на этотъ разъ не было удачи. Солонина, и по наружности очень похожій на Николая Назарьева, не поддавался нашей культурь. Я самъ, конечно, не имътъ досуга заниматься воспитаніемъ Солонины, но жена, сестры и на этоть разъ еще мои мальчики ничего не могли вдолбить; ученье на дому не шло, а въ школу я боялся его отдать, чтобы не испортить еще болье. Такъ и возвратилъ я и этого питомца обратно на руки его матери, не достигнувъ никакого результата отъ моей культуры.

t

Я включиль эти два образчика неудачи въ мою біографію потому, что они доказывають, во-первыхъ, какъ трудно быть истинно благодарнымъ, т. е. принести пользу своею благодарностію тому, кто оказаль намъ нѣкогда истинное благодѣяніе; во-вторыхъ, они подтверждають печальную истину, что добрый примѣръ и добрая воля воспитателей не ведуть еще къ достиженію благихъ результатовъ въ дѣлѣ воспитанія. На дѣлѣ выходить совершенно противное тому, чего мы хотѣли достигнуть, подавая примѣръ дѣтямъ собственною жизнью и собственными дѣлами; объ этомъ я буду имѣть случай еще многое сказать впослѣдствіи, а о трудности быть благодарнымъ скажу теперь еще слѣдующее

Неуваженіе въ заслугамъ, а еще болье неблагодарность, представлялись всегда моему воображенію въ видъ самыхъ отвратительныхъ гадинъ. Въ душъ я никогда не былъ неблагодарнымъ но, увы! на дълъ я не съумълъ или даже не захотълъ (кто доберется до правды, роясь въ хламъ стараго сердца!) быть благодарнымъ именно тамъ, гдъ благодарность была священнымъ долгомъ.

Правда, во всей моей жизни я нахожу не болье трехъ случаевъ такого долга. Объ одномъ изъ нихъ я сейчасъ разсказалъ. Въ другомъ я имътъ твердое намъреніе отблагодарить, — и не однажды, — но судьба не дала миъ этого сдълать. Этотъ случай касается цълаго періода моей дерптской жизни; здъсь скажу только, что я считалъ себя обязаннымъ благодарностью почтенному семейству дерптскаго профессора Мойера, и именно его почтеннъйшей тещъ, Екатеринъ Аеанасьевнъ Протасовой, урожденной Буниной (сестръ по отцу Вас. Андр. Жуковскаго). Я былъ принятъ въ этомъ семействъ какъ родной и, занявъ потомъ профессуру Мойера, мечталъ о женитьбъ на его дочери, сыновней благодарности, и пр. и пр. Ме-

чтамъ юности не суждено было осуществиться, и я, по-неволъ, остался въ долгу у незабвенной Екатерины Аванасьевны.

Наконецъ, третій и самый священный долгъ, оставшійся не такъ выполненнымъ, какъ бы мнѣ теперь (но, увы, поздно!) хотѣлось это сдѣлать, былъ долгъ благодарности къ моей матери и двумъ старшимъ сестрамъ. Со смерти отца, съ 1824 по 1827 годъ, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какія крохи, оставшіяся послѣ разгрома отцовскаго состоянія, недолго тянулись; и мать, и сестры принялись за мелкія работы; одна изъ сестеръ поступила надзирательницею въ какое-то благотворительное дѣтское заведеніе въ Москвѣ и своимъ крохотнымъ жалованьемъ поддерживала существованіе семьи.

Перевхавъ черевъ годъ изъ дома дяди Андрея Филимоновича на наемную квартиру, мать рвшила отдавать одну половину квартиры въ наймы нахлъбникамъ; одинъ, и очень порядочный, человъкъ скоро нашелся; это былъ студентъ математическаго факультета Жемчужниковъ (бывшій потомъ вицегубернаторомъ въ Каменецъ-Подольскъ, гдъ я его и встрътилъ черезъ 37 лътъ, въ 1862 г.). Жемчужниковъ былъ человъкъ достаточный, и потому могъ платить за квартиру въ двъ комнаты, столъ, чай и пр. 300 руб. ассигнаціями, т. е. 75 руб. сер. въ годъ; а мать за всю квартиру (и, если не ошибаюсь, съ отопленіемъ) платила 300 руб. ассигн. ежегодно; таковы были цъны въ то время!

Уроковъ я не могъ давать, — одна ходьба въ университетъ съ Пръсненскихъ прудовъ брала взадъ и впередъ часа четыре времени, да мать и не хотъла, чтобы я на себя работалъ, и еще менъе того, чтобы я сдълался стипендіатомъ или казеннокоштнымъ; куда это — и руками, и ногами противъ казенныхъ обязательствъ! Это считалось, какъ будто, чъмъ-то унизительнымъ: "ты будешь, — говорилось, — чужой хлъбъ заъдать; пока хотъ какая-нибудь есть возможность, живи на нашемъ". Такъ и перебивались, какъ рыба объ ледъ. Къ счастью нашему, въ то блаженное время не платили за лекціи, не носили мундировъ, и даже когда введены были мундиры, то мнъ сшили сестры изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ, и я, чтобы не обнаружить несоблюденія формы,

идёль на лекціяхь въ шинели, выставляя на видъ только свётлыя пуговицы и красный воротникъ.

12-го сентабря 1881.

Какъ я или—лучше—мы пронищенствовали въ Москвъ во время моего студенчества, это для меня осталось загадкою. Квартира и отопленіе были, правда, даровыя у дяди въ теченіе года; а содержаніе? а платье? Двъ сестры, мать и двъ служанки, и я на прибавку. Сестры работали; продавались коевакіе остатки, но какъ этого доставало—не понимаю. Иногда, только иногда, въ торжественные праздники, присылались чрезъ меня или другимъ путемъ вспомоществованія; помогалъ иногда мой крестный отецъ, Сем. Андр. Лупутинъ; помогали коекакіе старые знакомые.

Однажды матушка, узнавъ, что генералъ Сипягинъ женится на второй женъ послъ вдовства, уговорила меня пойти къ нему съ поздравленіемъ и поднести хлъбъ-соль на новоселье. Сипягинъ былъ одно время патрономъ отца, завъдывавшаго нъкоторое время его дълами по имъніямъ; я было заказалъ большой сдобный крендель и явился по утру къ генералу, поздравилъ его, передалъ хлъбъ-соль; а онъ, поблагодаривъ довольно любезно, приказалъ своему казначею выдать мнъ 25 рублей, но не сказалъ: ассигнаціями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумленіе, когда этотъ казначей потребовалъ съ меня 2 рубля (четвертакъ) слачи съ бълой бумажки, ходившей въ то время съ лажемъ и стоившей потому не 25, а 27 рублей!..

Черезъ годъ наше положение нъсколько поправилось тъмъ, что мы наняли квартиру побольше и стали сами держать нажлъбниковъ изъ студентовъ.

Порядочное пом'вщеніе и сытный столь доказывають, что въ то благодатное для б'ёдняковъ время можно было учиться, несмотря на б'ёдность. Зато и ученье было таковское—на м'ёдныя деньги.

Между тъмъ московскій университеть того времени могъ похвалиться именами такихъ ученыхъ, какъ Юстъ-Христіанъ Лодеръ (анатомъ), Фишеръ (зоологъ), Гофманъ (ботаникъ);

такихъ практиковъ-врачей, какъ М. Я. Мудровъ, Е. О. Мухинъ, Фед. Андр. Гильдебрандтъ (хирургъ); такихъ знатоковъ русскаго слова и русской старины, какъ Мерзляковъ и Каченовскій.

Къ сожаленію, не всё изъ этихъ извёстныхъ профессоровъ пеклись о полномъ изложеніи своего предмета, а главное (за исключеніемъ Лодера), не владёли достаточными научными средствами для преподаванія своей науки; а сверхъ того, несравненно большая часть профессоровъ московскаго университета составляли живой и уморительный контрасть съ своими знаменитыми коллегами.

Теперь нельзя себъ составить и приблизительно понятія о томъ господствъ комическаго элемента, который я засталь еще въ университетъ.

Мы, мальчиками 14-17 леть, ходили на лекціи своего и другого факультетовъ нередко для потехи. И теперь безъ смъха нельзя себъ представить Вас. Мих. Котельницкаго, идущаго въ нанковыхъ бланжевыхъ штанахъ въ сапоги (а сапоги съ висточками), съ кулькомъ въ одной рукв и съ фармакологією Шпренгеля, переводъ Іовскаго, подъ мышкою. Это онъ, Вас. Мих. Котельницкій (проживавшій въ университеть), идеть утромъ съ провизією изъ Охотнаго ряда на лекцію. Онъ отдаетъ кулекъ сторожу, а самъ ранехонько утромъ отправляется на лекцію, садится, вынимаеть изъ кармановь очки и табакерку, нюхаеть звучно, съ храпомъ, табакъ и, надъвъ очки, раскрываеть внигу, ставить свъчку прямо передъ собою и начинаеть читать слово въ слово и при томъ съ ощибками. Василій Михайловичь съ помощью очновь, читаеть въ фармакологіи Шпренгеля, переводъ Іовскаго: "Клещевинное масло, oleum ricini, - витайцы придають ему горькій вкусь". Засимъ кладетъ внигу, нюхаетъ съ вхрапываніемъ табавъ и объясняеть намъ, смиреннымъ его слушателямъ: "воть, видншь ли, витайцы придають клещевинному-то маслу горькій вкусь". Мы между темь, смиренные слушатели, читаемь въ той же книге: вивсто китайцевъ: "кожицы придають ему горькій вкусь". У Василія Михайловича на лекціи—что ни день, то репетиція. "Ну-те-ка, ты тамъ, Пешэ, обращается онъ къ одному студенту (сыну нъмецваго шляпнаго мастера), ты приходи; -- поМў-1870-Въя

MBI

12

MAI

110

Ya

Û

]t

0

стой-ка, я тебя воть изъ Тенара жигану. А! что? небось, замялся; а еще нёмецъ! Ну-те-ка, ты, Пироговъ, скажи-ка мнё, какъ французская водка по-латыни?"

- Spiritus gallicus.
- "Молодецъ!"

Другой экземплярь, curiosum своего рода, Алекс. Леонтьев. Ловецкій, адъюнкть знаменитаго Фишера, проф. естественной исторіи на медицинскомъ факультеть, дълаеть сь нами ботаническія экскурсіи на Воробьевых горахь, то-есть гуляеть, срываеть нъсколько цветковъ, называеть ихъ по имени, а когда мы приносимъ ему нашу находку и просимъ опредълить растеніе, мы уже знаемъ по опыту, что отвёть одинъ: "отдайте ихъ моему кучеру, я потомъ дома у себя опредёлю". Этотъ же ученый вдругъ возжелалъ демонстрировать на лекціи половые брганы пътуха и курицы (прежде за нимъ этого не водилось, - онъ демонстрировалъ иногда тольво картинки). Помощникъ его приготовляеть ему препарать для демонстраціи. Препарать лежить на тарелев, обвернутой вокругь салфетною. Алексьй Леонтьевичь береть тарелку и, не отнимая салфетки, объясняеть своей аудиторіи устройство половыхь органовь півтуха; но на самой срединъ демонстраціи помощникъ, сконфуженный и изумленный, приближается къ нему и говорить въ полголоса:

- "Алексъй Леонтьевичъ! въдь это курица".
- Какъ курица? развѣ я не велѣлъ вамъ приготовить пѣтука?

Со стороны помощника—возраженія; аудиторія чрезвычайно довольна сюрпризомъ.

— Пойдемте, господа, смотръть, какъ сегодня такой-то или такой-то профессоръ будеть выгонять чужаковъ изъ аудиторіи.

Такого рода чужевдовъ было несколько и въ нашемъ факультете, и въ другихъ. Отправляемся.

Большая аудиторія амфитеатромъ. Входимъ. Какое зрѣлище! Профессоръ сидить на канедрѣ, а по скамьямъ аудиторіи бѣгаютъ слушатели, гоняясь гурьбою одинъ за другимъ съ восклицаніями: "чужакъ, чужакъ, гони его! а-ту!"

А въ другомъ случав слушатели, зная антипатію профес-

20

сора въ чужимъ посвтителямъ его аудиторів, сначала сидятъ тихо и даютъ набраться нівсколькимъ чужавамъ, а въ самомъ разгарів профессорскаго чтенія подсылаютъ въ профессору одного изъ его приближенныхъ сказать:

— Василій Петровичь! (или: Григорій Васильевичь!) есть много чужаковь!

Лекція прекращается. Начинается розыскъ. Нетерпимость и ненависть къ чужакамъ были какимъ-то пов'втріемъ. Комизмъ, соединенный съ пресл'єдованіемъ чужаковъ на лекціяхъ, доходилъ по истинъ до чудовищныхъ разм'єровъ. Студенты эксплуатировали эту странную антипатію профессоровъ: къ одному совершенно глухому профессору (кажется, если не ошибаюсь, Гаврилову) набралась однажды полная аудиторія студентовъ; предвидълась потъха, спектакль; на лекцію былъ приведенъ гарнизонный офицеръ изъ бурбоновъ (въ м'ундиръ страго цвъта съ желтымъ воротникомъ) и былъ посаженъ на самую заднюю скамью. Какъ только началась лекція, репетиторъ (студентъ, державпій списокъ слушателей для перекличекъ) подходить къ глухому профессору и кричитъ ему на ухо: "на лекціи есть чужакъ". Начинается конверсація.

— Гдё? — спрашиваеть профессоръ.

Въ это время задніе ряды студентовъ раздвигаются, и взору изумленнаго профессора представляется военный чинъ, сидящій смиренно и прямо на свамьъ.

 "Вставайте, вставайте скоръе!" — шепчутъ ему сосъдистуденты.

Гарнизонный офицеръ вытягивается въ струнку, руки по швамъ.

- "Зачёмъ вы здёсь?" спрашиваеть лекторъ.
- Говорите, подсказывають студенты офицеру, что лекціи въ университеть публичныя, и всякій имъеть право ихъ посъщать.

Офицерь бормочеть сквозь зубы подсказанное.

Профессоръ ничего не слышитъ; репетиторъ во всеуслышаніе громко передаетъ ему слова офицера.

- "Онъ говорить, Вас. Гаврил., что левціи публичныя".
- Такъ что-же, что публичныя, а въ аудиторіяхъ для порядка не должны быть терпимы чужаки.

Конверсація въ такомъ духѣ продолжается нѣкоторое время. Наконецъ, студенты, сидящіе около офицера, шепчуть ему: "уходите, уходите, дѣлать нечего".

Ряды сидящихъ раздвигаются, и гарнизонный офицеръ маршируетъ чрезъ всю аудиторію мимо канедры къ выходу, а аудиторія, пользуясь абсолютною глухотою наставника, со-провождаетъ ретираду офицера громогласнымъ пѣніемъ: "изыдите, изыдите, нечестивіи!" или чѣмъ-то въ этомъ родъ. Профессоръ продолжаетъ читать.

У другого профессора слушатели приводять нѣсколькихъ товарищей, лежавшихъ въ клиникѣ и уже выздоравливающихъ, въ больничномъ костюмѣ; сажають ихъ также въ заднихъ рядахъ и во время лекціи объявляють, что какіе-то больные забрались на лекціи изъ госпиталя. Опять спектакль. Больные изгоняются съ шумомъ и скандаломъ.

Элементъ смѣшного, впрочемъ, свойственъ былъ въ то время всѣмъ коллегіямъ не въ одной Москвѣ: и въ европейскихъ университетахъ встрѣчались куръёзные оригиналы между учеными; но у насъ оригинальность была не только смѣшна, но и глупа, потому что была отставшею отъ времени и науки. Дѣйствительно, отсталость того времени была невообразимая; читали лекціи по руководствамъ 1750-хъ годовъ, и это тогда, какъ у самихъ студентовъ, по крайней мѣрѣ у многихъ, ходили уже по рукамъ учебныя книги текущаго столѣтія. Правда, были и новаторы, и даже между пожилыми профессорами; но тутъ, опять на бѣду, примѣшивалась къ новаторству какая-то не по лѣтамъ горячность и пристрастность. Такъ, М. Я. М удровъ вдругъ пересѣдлался—и изъ броуниста сдѣлался отчаяннымъ бруссэистомъ.

Мало или почти вовсе незнавомый, по его собственному признанію, съ патологическою анатоміею, онъ хотёлъ увърить свою аудиторію и, дъйствительно, увъриль, не хуже самого Бруссэ, въ существованіи воспаленія слизистой кишечнаго канала тамъ, гдъ его вовсе не было.

Но Мудровъ едва-ли былъ не единственнымъ исвлюченіемъ изъ профессоровъ. Потомъ уже, когда я кончилъ курсъ, обуяла нъсколькихъ изъ молодыхъ философія Шеллинга; но она уже не была новостью въ Европъ, тогда какъ бруссэизмъ былъ,

дъйствительно, еще животрепещущею новизною, и притомъ философію Шеллинга привозили къ намъ изъ Германіи посланные туда отъ университета молодые ученые; а Мудровъ, сидя дома, и притомъ въ 50-лътнемъ возрастъ, напалъ на бруссэизмъ.

Наглядность ученія и демонстрацію можно было найти только на лекціяхъ Лодера; но и при изученіи анатоміи отъ студентовъ вовсе не требовали обязательнаго упражненія на трупахъ. Я, во все время моего пребыванія въ университеть, ни разу не упражнялся на трупахъ въ препаровочной, не вскрылъ ни одного трупа, не отпрепарировалъ ни одного мускула и довольствовался только тьмъ, что видълъ приготовленнымъ и выставленнымъ послъ лекцій Лодера. И странно: до вступленія моего въ дерптскій университеть я и не чувствоваль никакой потребности узнать что-нибудь изъ собственнаго опыта, наглядно.

Я довольствовался вполнъ тъмъ, что изучилъ изъ книгъ, тетрадокъ, лекцій.

Я сказалъ сейчась, что это странно. Нёть, вовсе не странно, когда большая часть моихъ наставниковъ была того же убъжденія. Воть, на ваеедръ стоить Петръ Иллар. Страховъ, проф. химіи, медиц. факультета, — человъвъ, очевидно, начитанный и изъ книгъ много знающій. Онъ читаетъ намъ, кавъ дълаютъ термометры, чертить мъломъ на доскъ, распространяется; а у него въ аудиторіи сидитъ много такихъ, которые еще и въ жизни не имъли термометра въ рукахъ, а видали его только издали. Идетъ ли дъло объ оксигенъ, Петръ Иллар. опять распространяется цълыхъ двъ лекціи, опять чертитъ мъломъ, приноситъ на лекцію французскія книги съ рисунвами, но самого обсигена мы не видимъ.

И такъ-то цълый курсъ: ни одного химическаго препарата въ натуръ; вся демонстрація состоить въ черченіи на доскъ. Только на послъднемъ году курса, съ вступленіемъ въ университеть профессора Геймана (молодого, живого и практичнаго еврея), я первый разъ въ жизни увидаль въ натуръ оксигенъ и гидрогенъ.

Но не на одномъ медицинскомъ факультетъ химія читалась по книгамъ, безъ опытовъ; и на естественномъ факультетв проф. Рейсъ читаль ее по своимы тетрадямы, да еще вы добавовы читаль-то намы и не химію, а вавое-то ученіе о міровомы воиры на латинскомы языкы; зато этоть ученьйшій, вавы полагали, профессоры и быль самаго высоваго миннія о себь, такого, что, по его собственному выраженію: primus—Deus, secundus—Reus, tertius—adjunctus meus.

Физика на математическомъ факультеть преподавалась гораздо наглядные. На лекціяхъ у Двигубскаго слышалось клопанье, трескъ, когда его лаборантъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и въ грезвомъ состояніи; въ медицинскомъ же факультеть и физику д-ръ Веселовскій читалъ по тому же способу, какъ Страховъ химію; математическія формулы и черченіе разныхъ машинъ и приборовъ изследовались ежедневно на черной доскъ.

Физіологія, —ну, она въ первую половину текущаго столътія излагалась демонстративно только передовыми физіологами Франціи и Германіи. Физіологи 20-хъ годовъ нынёшняго столетія во всей Европе, за некоторыми исключеніями, кажется, совсёмъ потерали изъ виду великаго ихъ предшественника-Галлера, хотя и ни одинъ изъ нихъ не могь не отдать ему преимущества предъ всеми другими. Рудольфи въ Берлине, въ 1828—1830 годахъ, говаривалъ слушателямъ: "если вы спросите у профессоровъ физіологіи, какая физіологія лучшая, каждый изъ нихъ непременно ответить: во-первыхъ, моя, а во-вторыхъ, Галлера; выходить математически верно, что физіологія Галлера и есть до сихъ поръ все еще лучшая". Нечего и говорить, что физіологія въ московскомъ университеть того времени преподавалась по книгъ; а книга была физіологиста Ленгоссова на латинскомъ языкъ, перепечатанная въ Москвъ съ прибавленіями и комментаріями Е. О. Мухина. Сей ученый мужъ, воторому я, какъ уже высказалъ, лично такъ много обязанъ, собственно былъ врачъ-практикъ и, сколько мнъ извъстно, самоучка (разсказывали въ то время, что онъ участвовалъ фельдшеромъ въ арміи Суворова при осадъ Очакова); въ физіолога же онъ превратился, въроятно, потому, что, бывъ сначала профессоромъ анатоміи въ московской медико-хирургической авадеміи, туть онъ издаль свою изв'єстную анатомію, конкуррировавшую въ Москвъ съ петербургскою анатоміею Загорскаго, но отличавшуюся отъ сей последней темъ: 1) что всь анатомические термины были переведены на невезможный русскій языкь; 2) къ шести частямъ анатоміи Загорскаго прибавлена 7-я, вновь изобретенная Ефремомъ Осиповичемъ, часть: ученіе о мокротныхъ сумочкахъ; 3) бедренная артерія названа была Ефремомъ Осиновичемъ артеріею баронета Виллье, arter. cruralis, s. femoralis, s. Willie, съ примъчаніемъ внизу, что баронетъ Виллье, при посвщении анатомическаго театра въ московской медико-хирургической академіи, называль эту артерію своею любимою, или вавъ-то въ этомъ родъ. А въ физіологіи Ленгоссэва Е. О. Мухинъ присоединилъ еще ученіе о стимудахъ. Лекцін же Ефр. Осип. Мухина для меня тэмъ достопамятны, что я, посёщая ихъ аккуратно въ теченіе 4-хъ лёть, ни разу не усомнился въ глубовомысліи наставнива, хотя и ни разу не могъ дать себъ отчета, выходя съ лекціи, о чемъ собственно читалось; это я приписываль собственному невыжеству и слабой подготовкв.

Только впоследствіи, пріёхавь въ Москву на время, после овончанія курса въ Дерптв, и нарочно сходивт на лекцію Мухина, я убъдился въ моей невинности. Я слушалъ цълую лекцію съ большимъ вниманіемъ, не пропустивъ ни слова, и къ концу ся все-таки потеряль нить, такъ что потомъ никакъ не могь дать себъ отчета, какимъ образомъ Ефремъ Осиповичь, начавъ лекцію изложеніемъ свойствъ и проявленій жизненной силы, ухитрился перейти подъ-конецъ "къ малинъ, которую мы съ такимъ аппетитомъ, въ летнее время, кушаемъ со сливками". Пропускаю другой приведенный имъ примъръ ло букашев, встрвчаемой иногда нами вы кусочкв льда, которая, отогрѣвшись на солнцѣ, улетаетъ съ хрустальнаго льда, восиввая (т.-е. жужжить) хвалу Богу", - пропускаю потому, что догадываюсь о связи жизненной силы съ оттаявшею бувашкою въ этомъ примъръ. Мухинъ, однако-же, добросовъстно, по своему, конечно, исполняль обязанности профессора и прочитываль свою физіологію на лекціяхъ оть доски до доски, н если что изъ своихъ левцій отвладываль, то потомъ не оставался въ долгу у слушателей; откладываль же онъ постоянно чтеніе о половыхъ женскихъ органахъ, приходившееся обывновенно въ великій пость: "намъ следовало бы теперь говорить, --

повторяль онъ ежегодно въ это время, — о дъторождении и половыхъ женскихъ органахъ; но такъ какъ это предметь скоромный, то мы и отлагаемъ его до болъе удобнаго времени".

Не такъ совъстлива и пунктуальна была въ изложеніи своего предмета другая московская знаменитость тогдашняго времени—Матвъй Яковлевичъ Мудровъ, хотя мит и сказывали, что прежде, придерживаясь Іосифа Фриша, онъ излагаль въ теченіе года (по 3 часа въ недълю) полный зупорзіз терапіи; но при мит, когда онъ пересъдлался уже въ бруссоисты, Матвъй Яковлевичъ читалъ, что называли, черезъ пень въ колоду, останавливаясь исключительно только на новомъ ученіи о горачкахъ. Онъ много мит принесъ пользы тъмъ, что безпрестанно толковалъ о необходимости учиться патологической анатоміи, о вскрытіи труповъ, объ общей анатоміи Бинэ, и тъмъ поселилъ во мит желаніе познакомиться съ этою terra incognita.

Но самъ онъ, какъ я и видѣлъ однажды при вскрытіи тифознаго, былъ бѣлоручкою, очевидно незнакомымъ съ этимъ дѣломъ. Когда одинъ студентъ началъ вскрывать кишку, чтобы найти тамъ inflammatio membranae mucosae gastro-intestinales, мой Матвъй Яковлевичъ убѣжалъ на самую верхнюю ступень анатомическаго амфитеатра и смотрѣлъ оттуда, конечно, притворяясь, будто что-нибудь видитъ, и въ извиненіе своего бъгства отъ патологической анатоміи приводилъ только: "я-де старъ, мнѣ не по силамъ нюхать вонь", и т. п.

Кромъ того, что онъ не излагалъ намъ, да и не могъ изложить всей науки, хотя бы въ краткихъ очеркахъ, М. Я. терялъ много времени на разныя alutria, часто приходившія ему ни съ того, ни съ сего въ голову. Такъ, однажды, большая половина лекціи состояла въ томъ, что онъ какого-то провинившагося кутилу-студента, изъ семинаристовъ, заставилъ читать молитву на Троицынъ-день. Часто пристрастіе свое къ бруссянаму онъ обнаруживалъ тъмъ, что въ длинныхъ рапсодіяхъ начиналъ насмъхаться надъ броунонизмомъ. Сравните-ка наше теперешнее простое и раціональное леченіе тифа съ прежнимъ! Сначала г. valeriana, потомъ serpentariae и arnica, камфора, moschus и, наконецъ, когда все это не помогало, — Иверская Божія Матерь.

Чтеніе о доброд'єтеляхъ врача и истолеованіе притчи Иппокрита брало отъ научныхъ лекцій также не мало времени. Не забудемъ, что влинива и левціи были не ежедневно, а только три раза въ недълю. Иногда же встръчались выходки и другого рода, сокращавшія время преподаванія. Такъ, однажды, мы сидели въ аудиторіи, дожидаясь прівзда Мудрова; наконецъ, онъ является и белить всей аудиторіи идти куда-то за нимъ, надъвъ шинели (дъло было зимою). Мы повинуемся, и Матвъй Яковлевичь ведеть нась изъ клиники черезъ дворъ въ анатомическій театръ на лекцію въ Лодеру. Что за притча такая? Мы вваливаемся цёлою массою въ аудиторію и видимъ, что Лодеръ сидить съ анненскою звъздою на фракъ. Мудровъ-мы видимъ--- становится передъ новымъ кавалеромъ (Лодеръ, какъ мы узнали потомъ, только-что получилъ звъзду), вынимаетъ изъ вармана листовъ и читаеть гласомъ проповеднива: "прасуйся свътлостію звъзды твоея, но подожди еще быть звъздою на небесвать", и проч. и проч.

Лодеръ, нъсколько сконфуженный, принимается, наконецъ, обнимать Мудрова и что-то, не помню, отвъчаеть ему на привътствіе по-латыни.

Мудровъ не быль закоренълымъ противникомъ нъмцевъ, какъ Е. О. Мухинъ; быль большимъ почитателемъ Лодера и вмъстъ съ нимъ и нъкоторыми другими профессорами придерживался, въроятно, только для вида, а можетъ быть, и по своему происхожденію изъ духовныхъ, господствовавшаго въ то время (при министерствъ Голицына) мистицизма.

И въ клиникъ у Мудрова, и въ анатомическомъ театръ у Лодера мы читали на стънахъ надписи и распятія. Въ клиникъ при входъ былъ вдъланъ въ стъну крестъ съ надписью: Per crucem ad lucem. Нъсколько далъе стояла на другой стънъ надпись: Medice, cura te ipsum (врачу, исцълися самъ). На стънъ въ окнахъ анатомическаго театра красовалось огромными буквами: Gnothi seauton (познай самого себя). Въ анатомической аудиторіи, расположенной полукружнымъ амфитеатромъ вверху, у самаго потолка, вдоль всей стъны надпись огромными золотыми буквами гласила: "Руце Твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя, и научуся заповъдемъ Твоимъ".

Не надо забывать, что все это было во времена оны, когда коронились на кладбищахъ съ отпъваніемъ анатомическіе музен (въ Казани, во времена Магницкаго) и когда быль поднять въ министерствъ народнаго просвъщенія или въ министерствъ внутреннихъ дълъ вопросъ: нельзя ли обходиться при чтеніи анатомическихъ лекцій безъ труповъ, и когда въ нъкоторыхъ университетахъ (въ Казани) и дъйствительно читали міологію на платкахъ.

Профессоръ анатоміи—разсказывали мив его слушатели—привяжеть одинъ конецъ платка къ астотіоп и спинкв лопатки, а другой—къ плечевой кости, и увъряеть свою аудиторію, что это musculus deltoideus.

Хирургія, -- предметь, которымъ я почти вовсе не занимался въ Москвъ, -- была для меня въ то время наукою неприглядною и вовсе непонятною. Объ упражненіяхъ въ операціяхъ надъ трупами не было и помину; изъ операцій надъ живыми мнъ случилось видъть только нъсколько разъ литотомію у детей и только однажды видель ампутированную голень. Передъ лекарскимъ экзаменомъ нужно было описать на словахъ или на бумагъ какую-нибудь операцію на латинскомъ языкі, и только. Фед. Андр. Гильдебрандть, искусный и опытный практивь, особливо литотомисть, умный остравь, какъ профессоръ, быль изъ рукъ вонъ плохъ. Онъ такъ сильно гнусиль, что, стоя въ двухъ, трехъ шагахъ отъ него на лекціи, я не могъ понимать ни слова, тёмъ болёе, что онъ читаль и говориль всегда по-латыни. Въроятно, профессоръ Гильдебрандтъ страдалъ хроническимъ насморкомъ и курилъ постоянно сигарку. Это быль единственный индивидуумъ въ Москвъ, которому разръшено было курить на улицахъ. Лекціи его и его адъюнкта Альфонскаго состояли въ перефразированій изданнаго Гильдебрандтомъ краткаго, и краткаго до nec plus ultra, учебника хирургін на латинскомъ языкъ.

И такъ я окончилъ курсъ; не дѣлалъ ни одной операціи, не исключая кровопусканія и выдергиванія зубовъ, и не только на живомъ, но и на трупѣ не сдѣлалъ ни одной и даже не видалъ ни одной, сдѣланной на трупѣ, операціи.

Отношенія между нами, слушателями, и профессорами огра-

a seas consec a specialists by the season of THE A THE TANK A THREE BALL WILLIAM LINE TO DES TO THE THE THE TANK THE TO BE CONTRACTOR OF ANATARMATORS ESSES THE THE STREETS TOTAL BRUTE That a minimumaa untert co mem i har harate 35 at 22 Bouten. TO THE THEORY & THE ARTHROPS HANNES - 110 т отел полотить полоть — были весьма пагріартипо в таков и таков таково Мудровъ, Ко-Constant of the contrast of th возрание допускались на ленціяхъ тот в отполнять в выше учителей и профессоровь, обэт это больный дамина выправления больный, при входь ты талы в тих этих этинателяны: "а чего бы вась-то тот то четорія наградила его за эту and the first was take the state of

жений выприведенных мною жений в приведенных мною жений в точно приведенных в приведенных в точно жений в приведенных в точно жений в точно ж

на прочесть въ прочесть въ прочения и состоя въ прочения и состоя въ прочения прочества въ прочения п

то полительного Слушатели, заметивь, что онъ, то то пред ревего симаеть свои очки и клапред регупредиеть устроить такъ, что полото пред регупредиеть устроить такъ, что полото пред регупред регупред предациться въ пустоту
в то регупред регупред пес зналъ, что ему
то пред пред предъ нимъ советивто пред пред нимъ советивто пред пред пред нимъ советивчалъ, къ ужасу профессора, ковырять ею во всё стороны такъ безжалостно, что очкамъ, очевидно, грозила опасность полнаго разрушенія. Вся аудиторія между тёмъ собралась около ка-еедры и злополучнаго наставника; совётамъ, толкамъ, сожалёніямъ не было конца, и воть, наконецъ, общимъ совётомъ рёшили, что нётъ другого, болёе надежнаго, средства сдёлать лекцію возможною, то-есть достать очки, какъ перевернуть каеедру верхъ дномъ и вытрясти ихъ оттуда. Принялись за дёло, увенчавшееся успёхомъ: вытрясли полуразрушенныя кочергою очки; когда достигли этого результата и профессоръ разсматривалъ уныло нарушеніе цёлости своего зрительнаго инструмента, въ аудиторію вошель другой профессоръ и остолбенёлъ при видё необыкновеннаго зрёлища. Такимъ образомъ, лекціи, то-есть прочтенію тетрадки, къ удовольствію многихъ слушателей, не суждено было состояться.

У другого профессора того же (если не ошибаюсь, словеснаго) факультета было заведено въ началѣ лекціи читать протоколь прошедшей, и это чтеніе поручалось имъ одному репетитору. Всѣ знали, что репетиторъ этотъ непремѣнно скажетъ въ началѣ чтенія протокола, и многіе изъ другихъ факультетовъ являлись изъ любопытства на лекцію, чтобы услышать заранѣе извѣстный всѣмъ curiosum. Curiosum состоялъ въ томъ, что репетиторъ начиналъ чтеніе протокола всегда слѣдующими словами:

"На прошедшей лекціи 182... года, такого-то числа, Василій Григорьевичь такой-то, надворный сов'єтникъ и кавалерь, излагаль своимъ слушателямъ то-то и то-то". Профессорь же постоянно и непрем'єнно всякій разъ прерываль чтеніе репетитора зам'єчаніемъ, что онъ д'ійствительно надворный сов'єтникъ, но вовсе не кавалерь. На это зам'єчаніе, въ свою очередь, репетиторъ всякій разъ отв'єчаль: "Какъ же, Василій Григорьевичъ, вы удостоены медали за 1812-й годъ на владимірской ленть".

Но, несмотря на комизмъ и отсталость, у меня отъ пребыванія моего въ московскомъ университеть, вмъсть съ курьезами разнаго рода, остались впечатльнія глубово, на цёлую жизнь, връзавшіяся въ душу и давшія ей извъстное направленіе на всю жизнь. Такъ, лекціи Лодера, несмотря на мое полное незнавомство съ практическою анатомісю, поселили во мнѣ желаніе заниматься анатомією, и я зазубриваль анатомію по тетрадкамъ, кое-какимъ учебникамъ и кое-какимъ рисункамъ. Даже обычныя выраженія Лодера: "Sapientissima natura, aut potius Creator sapientissimæ naturæ voluit", не остались безъ вліянія на меня.

Я и теперь еще, чрезъ 50 слишкомъ лътъ, какъ будто слышу ихъ. Но и самыя надписи на стънахъ анатомическаго театра и клиники слились у меня какъ бы въ одно цълое съ начатками моихъ научныхъ свъденій въ Москвъ. Мистическаго и мистицизма никто не искоренитъ изъ глубины человъческаго духа. Монотонность и односторонность никогда не будутъ ему свойственны, и я не върю, чтобы человъческое общество когданибудь осгановилось на одномъ избранномъ имъ направленіи, и всего менъе върю, чтобы оно когда-нибудь сдълалось позитивистомъ.

Студенческая жизнь въ московскомъ университетъ, до кончины императора Александра I-го, была привольная. Мы не видывали попечителя—ви. Оболенскаго. Я его только разъ видълъ на актъ, да и съ ревторомъ-Прокоповичемъ-Антонскимъ-встречались вступающіе въ университеть кутилы и забіяви. Я его видаль также только на актв. Мундировъ тогда еще не было у студентовъ. Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличнаго или резво выдававшагося въ наружномъ видъ студентовъ. Скоръе выдавалась и поражала насъ наружность у профессоровь, тавъ кавъ одни изъ нихъ въ своихъ каретахъ, запряженныхъ четверкою, съ ливрейными лакеями на запяткахъ (какъ М. Я. Мудровъ, Лодеръ и Е. О. Мухинъ), казались намъ важными сановнивами, а другіе — инфантеристы или вздившіе на ваньвахъ во фризовыхъ шинеляхъ — имъли видъ преследуемыхъ судьбою паріевъ.

Но со вступленіемъ на престоль Николая І-го, послѣ декабрскихъ дней, и мы почувствовали перемѣну въ воздухѣ.

Слышимъ, что назначается новый попечитель, военный генералъ Писаревъ; слышимъ, что новый государь, во время пребыванія его въ Москвъ, посътивъ почти инкогнито уни-

верситеть и университетскій пансіонь, разсердился страшно, увидівь имя Кюхельбекера, написанное золотыми буквами на доскі въ залі университетского пансіона; Антонскій не догадался снять доску или стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшаго отличнымъ ученикомъ.

Антонскій,—говорю,—намъсказывали, былъ смёненъ за эту недогадливость, а прежній фрачный попечитель былъ замёненъ мундирнымъ.

Мы слышали также, что государь, прівхавъ на дрожнахь въ университеть и узнанный только сторожемъ, отставнымъ гвардейскимъ солдатомъ, пошелъ прямо въ студенческія комнаты, велёлъ при себё переворачивать тюфяки на студенческихъ кроватяхъ и подъ однимъ тюфякомъ нашелъ тетрадь стиховъ Полежаева.

СчастПоложаевъ угодиль въ солдаты.

Вскоръ послъ этого посъщенія были введены студенческіе мундиры, — для меня и, върно, для многихъ другихъ, кое-какъ перебивавшихся, — новый расходъ.

Сестры ухитрились смастерить мей изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ и свътлыми пуговицами, но неопредъленнаго цвъта, и я, пользуясь позволеніемъ тогдашняго добраго времени, оставался на лекціяхъ въ шинели и выставлялъ на-показъ только верхнюю, обмундированную, часть тъла.

Не замедлилъ явиться предъ нами въ аудиторіяхъ и мундирный попечитель, тотчасъ же при своемъ появленіи прозванный, по свойству его річи, фаготомъ. Дійствительно, річь была отрывистая, різвая. Я виділь и слышаль этого фагота, благодареніе Богу, только два раза на лекціяхъ: одинъ разъ на лекціи у профессора химіи Геймана, другой разъ—у Мухина, я оба раза появленіе было сопровождаемо ніжотораго рода скандаломъ.

У Геймана на лекціи фаготь, — высокій, плечистый генераль въ военномъ мундирів, входившій всегда съ шумомъ, въ сопровожденіи своихъ драбантовъ, — встрітилъ моего прежняго нахлібника, Жемчу жникова, въ странномъ для него костюмів: студенческій незастегнутый мундирь, какія - то уже вовсе немундирныя панталоны и съ круглою шляпою въ рукахъ.

— "Это что значить?" — произнесъ фаготъ самымъ ръзвимъ и пронзительнымъ голосомъ, нарушившимъ типину аудиторіи и вниманіе слушателей, прикованное въ химическому опыту Геймана. — "Такихъ надо удалять изъ университета", — продолжалъ такимъ же голосомъ фаготъ.

Жемчужниковъ всталъ, сдёлалъ шагъ впередъ и, поднимая свою круглую шляпу, какъ бы съ цёлью надёть ее себе тотчасъ же на голову, прехладнокровно сказалъ:—"Да я не дорожу вашимъ университетомъ",—поклонился и вышелъ вонъ.

Фаготъ не ожидалъ такой для него небывалой выходки подчиненнаго лица и какъ-то смолкъ.

Въ аудиторію Мухина фаготъ ввалился однажды и сказалъ уже такую глупость, которая, върно, не прошла ему даромъ.

Надо знать, что въ началѣ царствованія Николая, почемуто, — а можетъ быть, именно благодаря разнымъ безтактнымъ выходкамъ фагота, — русскіе наши нѣмцеѣды, видимо, стали на дыбы, полагая, что пришелъ на ихъ улицу праздникъ. Начались разныя, не совсѣмъ приличныя, выходки и противъ такой высокостоящей во всѣхъ отношеніяхъ личности, какъ Юстъ-Христіанъ Лодеръ.

Мухинъ всполошился особенно и какимъ-то образомъ достигъ на нѣкоторое время того, что даже началъ читать лекціи въ анатомическомъ амфитеатрѣ, прежде ни для вого, кромѣ Лодера, недоступномъ. Это продолжалось, однако-же, недолго. Мухинъ почему-то снова перешелъ на лекціи въ прежнюю аудиторію свою, въ зданіи университета, также въ довольно пространную (человѣкъ на 250), но не такъ удобную.

Вотъ въ эту-то переполненную аудиторію и ввалился съ шумомъ фаготъ.

- "Почему же вы не читаете тамъ?" спрашиваеть онъ Мухина, указывая рукою по направленію анатомическаго театра.
- Да тамъ, ваше высокопревосходительство, Лодеръ раскладываетъ кости и препараты предъ своими лекціями.
- "A! если такъ, то я его самого разложу", отвъчаетъ громко, на всю аудиторію, фаготъ.

Лодеру донесли объ этомъ глупомъ фарсъ. И вскоръ мы услыхали, что самъ король прусскій довель до свёденія госу-

даря о проискахъ противъ маститаго ученаго. Съ тъхъ поръ его оставили въ повоъ, и чрезъ нъсколько времени послъ этого происшествія явилась и анненская звъзда у Лодера, послужившая поводомъ къ сочиненю рацеи М. Я. Мудрова.

Навонецъ, наступилъ и 1827-й годъ, принесшій намъ на свътъ высочайше утвержденный проектъ академика Паррота. Первое сообщеніе, болье метафорическое, чъмъ оффиціальное, мы услышали на лекціи Мудрова. Прівхавъ однажды ранве обыкновеннаго на лекцію, М. Я. Мудровъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, начинаетъ намъ повъствовать о пользъ и удовольствіи отъ путешествій по Европъ, описываетъ восхожденіе на ледники альпійскихъ горъ, разсказываетъ о бытъвжить въ Германіи и Франціи, о пуховикахъ, употребляемыхъ вмъсто одъялъ нъмцами, и проч. и проч. Что за притча такая? думаемъ мы, ума не приложимъ, къ чему все это клонится. И только въ концу лекціи, проговоривъ битый часъ, М. Я. Мудровъ объявляетъ, что по высочайшей волъ призываются желающіе изъ учащихся въ русскихъ университетахъ отправиться, для дальнъйшаго образованія, за границу.

Я какъ-то разсканно прослушаль это первое извъщение. Потомъ я гдъ-то, кажется, на репетиции, приглашаюсь уже прямо Мухинымъ.—Опять Е. О. Мухинъ!

- "Воть, повхаль бы! приглащаются только одни русскіе;
 надо пользоваться случаемъ".
- Да я согласенъ, Ефремъ Осиповичъ, бухнулъ я, нисколько не думая и не размышляя.

Какъ объяснить эту неожиданную для меня самого рёшительность? Тогда я не наблюдалъ надъ собою, а теперь нельзя рёшить навёрное, что было главнымъ мотивомъ. Но, сколько я себя помню, мнё кажется, что главною причиною скораго рёшенія было мое семейное положеніе.

Какъ ни былъ я тогда молодъ, но помню, что оно неръдко меня тяготило. Мнъ уже 16 лътъ, своро будетъ и 17, а я все на рукахъ бъдной матери и бъдныхъ сестеръ. Положимъ, получу и степень лекаря, а потомъ что? Нътъ ни средствъ, ни связей, не найдешъ себъ и мъста. Въ то же время было и неотступное желаніе учиться и учиться.

Московская наука, несмотря на свою отсталость и новерхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее впередъ.

- "Выбери предметь занятій, какую-нибудь науку", говорить Е. О. Мухинъ.
 - Да я, разумъется, по медицинъ, Ефремъ Осиповичъ.
- "Нѣтъ, такъ нельзя; требуется непремѣнно объявить, которою изъ медицинскихъ наукъ желаешь исключительно заняться",—настаиваетъ Ефремъ Осиповичъ.
- Я, не долго думая, да и брявнулъ такъ: Физіологією. Почему я указалъ на физіологію? спрашивалъ я послъ самого себя.

Отвътъ былъ: во-первыхъ, потому, что я въ моихъ ребяческихъ мечтахъ представляль себъ, будто я съ физіологіею знакомъ болье, чъмъ со всьми другими науками. А это почему? А потому, что я зналъ уже о кровообращеніи; зналъ, что есть на свътъ химусъ и хилусъ; зналъ и о существованіи грудного протока; зналъ, наконецъ, что желчь выдъляется въ печени, моча— въ почкахъ, а про селезенку и поджелудочную железу не я одинъ, а и всъ еще немногое знаютъ; сверхъ этого, физіологія немыслима безъ анатоміи, а анатомію-то уже я знаю, очевидно, лучше всъхъ другихъ наукъ.

Но все это во-первыхъ, а во-вторыхъ — вто предлагаетъ миъ сдълать выборъ предмета занятій: развъ не Ефремъ Осиповичъ, не физіологъ? Уже върно мой выборъ придется ему по вкусу. Но не тугъ-то было. Ефремъ Осиповичъ сдълалъ длинную физіономію и воротко и ясно ръшилъ:

- "Нътъ, физіологію нельзя; выбери что-нибудь другое".
- Такъ позвольте подумать...
- "Хорошо, до завтра; тогда мы тебя и запишемъ".

Дома я ничего не объявилт ни матери, ни сестрамъ, а началъ обдумывать все дѣло, уже почти рѣшенное, то-естъ дѣйствовать по нашему, по-русски, заднимъ умомъ, и, право, поступилъ не худо; дѣйствуя переднимъ, я, вѣроятно, не попалъ бы въ профессорскій институтъ, и жизнъ сложилась бы на другихъ началахъ, и Богъ вѣсть—какихъ. На что жеспрашиваю я себя—далъ я мое согласіе? На то, чтобы ѣхать за границу учиться. Да на какихъ же условіяхъ? Вѣдь, не зная

ихъ, попадешь, пожалуй, и въ кабалу. Да, впрочемъ, Богь съ нимь, съ этими условіями, хуже не будеть.

Бъту въ университетъ, справляюсь, прислушиваюсь, совътуюсь; наконецъ, кое-что узнаю и ръшаюсь: такъ какъ физіологію мнъ не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатоміи, по моему мнънію, есть одна только хирургія, я и выбираю ее. А почему не самую анатомію? А воть, поди, узнай у самого себя—почему? Навърное не знаю, но мнъ сдается, что гдъ-то издалека, какой-то внутренній голосъ подсказаль туть хирургію. Кромъ анатоміи, есть еще и жизнь, — и, выбравъ хирургію, будешь имъть дъло не съ однимъ трупомъ.

Меня интересовали, однако-же, не мало и другія науки. Я ужасно любиль химію, особливо послі Геймановских лекцій. Фармакологія мні представлялась также, — несмотря на всю несостоятельность ен представителя вы московском университеть, В. М. Котельницкаго, — весьма занимательною. Когда я сообщиль о моемы желаніи посвятить себя не одной, а нісколькимы наукамы моимы товарищамы, то они, конечно, трунили надо мною, не подозрівая, что я черезь годы или два сділаюсь отчаяннымы, самымы отчаяннымы адептомы спеціализма вы наукі, а потомы, чрезы нісколько лість, перекочую снова вы другой лагерь.

Въ этотъ же день я явился въ правленіе, нашелъ тамъ Е. О. Мухина (декана), объявилъ ему мой выборъ и тотчасъ же былъ имъ подвергнутъ предварительному испытанію, изъ котораго я узналъ положительно, что цѣль отправленія насъ за границу есть приготовленіе къ профессорской дѣятельности; а какъ для профессора прежде всего необходимо имѣтъ громкій голось и хорошіе дыхательные органы, то предварительное испытаніе и должно было рѣшить вопрось: въ какомъ состояніи обрѣтаются мои легкія и дыхательное горло. За неимѣніемъ въ то время спирометровъ и полнаго незнакомства экзаменаторовъ съ аускультацією и перкуссією, Ефремъ Осиповичъ заставилъ меня громко и не переводя духа прочесть какой-то длиннѣйшій періодъ въ изданной имъ физіологіи Ленгоссъка, что я и исполнилъ вполнѣ удовлетворительно.

Тотчась же имя мое было внесено въ списокъ желающихъ,

го-есть будущихъ членовъ профессорскаго института. Только покончивъ все это дъло, я возвратился домой и объявилъ моимъ домашнимъ торжественно и не безъ гордости, что— "ъду путешествовать на казенный счетъ".

Въ это время случился туть сосёдъ портной, позванный для исправленія моей шинели; услыхавь, что я ёду путешествовать, онъ глубокомысленно замётиль: "Знаю, знаю, слыхаль: значить, ёдете открывать неизвёстные острова и земли".

Я не старался разубъждать его, и быль очень радъ тому, что мать и сестры, котя и опечаленныя неожиданнымъ извъстіемъ, не оказали никакого противодъйствія; матушка, по обыкновенію, набожно перекрестилась, поцъловала меня и сказала: "Благослови тебя Богъ! Когда же ъдешь?"

— Послъ лекарскаго экзамена, мъсяца черезъ два.

Между тъмъ, по собраннымъ свъденіямъ и слухамъ, дъло настолько выяснилось, что я узналъ подробнте о цъли и объ условіяхъ. Дополнилъ собранныя свъденія тъмъ, что я узналъ впоследствіи.

Я представляю себъ исторію развитія профессорскаго института, въ который меня завербоваль exprompto E. О. Мухинъ, въ слъдующемъ видъ:

Академикъ Парротъ былъ свидетелемъ въ Дерпте и С.-Петербурге смутныхъ и выходящихъ изъ ряду вонъ событій, постигшихъ наши университеты въ конце царствованія Александра І-го (при министерствахъ кн. А. И. Голицына и Шишкова и попечительстве Магницкаго, и проч.), а вместе съ этимъ, узнавъ въ подробности отъ известныхъ иностранныхъ профессоровъ казанскаго и друг. университетовъ о печальномъ состояніи нашей университетской науки, — воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ и намереніями новаго государа преобразовать всю учебную часть въ государстве. Новому государю было известно, что Парротъ пользовался особеннымъ расположеніемъ и доверіемъ Александра І-го, имея въ нему всегда свободный доступъ.

Парротъ (родомъ изъ Эльзаса и сотоварищъ знаменитому Кювье) быль долго профессоромъ физики въ дерптскомъ университетъ; а послъ своего перехода изъ Дерпта въ с.-петербургскую академію наукъ, онъ былъ, върно, очень радъ назна-

ченію внязя Ливена, бывшаго попечителя деритскаго университета, на м'есто Шишкова—министромъ народнаго просв'ещенія при самомъ начал'є царствованія Николая.

Это назначеніе, какъ я полагаю, много содъйствовало успъху проевта Паррота, главнъйшимъ и самымъ существеннымъ пунктомъ котораго было подготовленіе русскихъ молодыхъ людей, кончившихъ курсъ въ разныхъ университетахъ, въ дерптскомъ университетъ, для дальнъйшихъ занятій наукою за границею.

Деритскій университеть въ это время, послі поворной катастрофы съ производствомъ въ доктора какихъ-то темныхъ личностей, достигъ небывалой еще научной высоты, и достигъ именно при понечительствъ князя Ливена, тогда какъ другіе русскіе университеты падали со дня на день все ниже и ниже, благодаря обскурантизму и отсталости разныхъ попечителей.

Число русскихъ, посылаемыхъ для подготовки на два, на три года изъ нашихъ университетовъ въ дерптскій, опредълялось 20-ю.

Посл'в двухъ-лътнаго пребыванія въ Дерптъ, они должны были отправляться еще на два года въ заграничные университеты и потомъ прослужить извъстное число лъть профессорами въ въдомствъ министерства народнаго просвъщенія. Содержаніе въ Дерптъ назначалось въ 1,200 руб. ассигн. ежегодно (нъсколько болъе 300 руб. сер.); на путевыя издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разныхъ университетовъ, собранные въ С.-Петербургъ, должны были, по прибытіи въ С.-Петербургъ, подвергнуться предварительному еще испытанію въ академіи наукъ.

Я началь готовиться къ лекарскому экзамену. Онъ прошелъ очень легко для меня, даже легче обыкновеннаго, весьма поверхностнаго, можеть быть, потому, что мое назначение въ кандидаты профессорскаго института считалось уже эквивалентомъ лекарскаго испытанія.

Что же я везь съ собою въ Дерить?

Какъ видно, весьма ничтожный запасъ свёденій и свёденій болёв книжныхъ, тетрадочныхъ, а не наглядныхъ, не пріобрётенныхъ подъ руководствомъ опыта и наблюденія. Да и эти книжныя свёденія не могли быть сколько-нибудь удовлетвори-

тельны, такъ какъ я въ теченіе всего университетскаго курса не прочелъ ни одной научной вниги, ни одного учебника, что называется, отъ доски до доски, а только урывками, становясь въ пень предъ непонятными мъстами; а понять многаго безъ руководства я и не могъ.

Хорошъ я былъ лекарь съ моимъ дипломомъ, дававшимъ мнѣ право на жизнь и смерть, не видавъ ни однажды тифознаго больного, не имѣвъ ни разу ланцета въ рукахъ! Вся моя медицинская практика въ клиникѣ ограничивалась тѣмъ, что я написалъ одну исторію болѣзни, видѣвъ только однажды моего больного въ клиникѣ, и для ясности прибавивъ въ эту исторію такую массу вычитанныхъ изъ книгъ припадковъ, что она по-неволѣ изъ исторіи превратилась въ сказку.

Поливлиники и частной практики для медицинских студентовъ того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили въ одному проживавшему въ одномъ съ нами домъ больному чиновнику. Онъ лежалъ уже, должно быть, въ агоніи, когда мнъ предлагали вылечить его отъ послъдствій жестокаго и продолжительнаго запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дъло, счелъ необходимымъ послать тотчасъ же за цирюльникомъ; онъ тотчасъ явился, принеся съ собою, на всякій случай, и клистирную трубку. Собственно я и самъ не зналъ, для чего я пригласилъ цирюльника; но онъ зналъ уже раг distance, что нуженъ клистиръ и, раскусивъ тотчасъ же, съ къмъ имъетъ дъло, объявилъ мнъ прямо и твердо, что тутъ безъ клистира дъло не обойдется.

— "Пощупайте сами животъ хорошенько, если мив не върите, — утверждалъ онъ, отведя меня въ сторону: — въдь онъ такъ вздуть, что лопнуть можетъ".

А, пощупавъ животъ, тотчасъ же одобрилъ намѣреніе моего, мною же импровизированнаго коллеги. Дѣло было ночью; что произошло потомъ съ клистиромъ—не помню; но номню, что больного къ утру не было уже на свѣтъ.

Въ благодарность за мои труды вдова прислала мив черный фравъ покойнаго, въ который могли бы влёзть двое такихъ, каковъ я. Этотъ незаслуженный гонораръ быль очень встати; передёланный портнымъ, полагавшимъ, что я вду от-

врывать острова и земли, фравъ этоть повхаль со мною и въ Дерить и прожиль со мною еще и тамъ цвлыхъ пять леть.

Второй и последній случай моей частной правтической деятельности въ Москве быль тоже такой, въ которомъ клистиръ играль главную роль.

Заболъла весьма серьезно чъмъ-то, не знаю, моя старая нянька, Катерина Михайловна; помню, лежить, не двигается, стонеть, говоритъ: "умираю"; ни ъсть, ни пьеть, не испражняется, не спитъ, все стонетъ. Не знаю, что ей тамъ давали изъ домашнихъ средствъ, только помощи не было; проходитъ недъля, другая,—все то же; старуха исхудала, пожелтъла,—очевидно, плохое дъло. Мнъ ее ужасно жалко, хотълось бы помочь, но чъмъ руководствоваться? А вотъ постой, думаю, въдь она не ходитъ на низъ цълыхъ 10—12 дней: дай, поставлю ей клистиръ.

Предлагаю на обсуждение мой проекть моимъ домашнимъ и самой больной.

- "Да, батюшка мой, въдь я ничего не ъмъ, не пью, почти двъ недъли у меня крохи во рту не было".
 - Нужды нёть, все-таки поставимъ.
- "Да какъ же это? да кто же поставитъ? да гдъ же взять?"
 - Не безповойся.

И воть, я достаю трубку, варю ромашку съ мыломъ и постнымъ масломъ, надъваю преважно фартукъ, поворачиваю старуху на лъвый бокъ и въ первый разъ въ жизни ставлю клистиръ самоучкою.

Все обощлось благополучно. Клистиръ вышелъ потомъ не одинъ, и—кто могъ думать! — моя старая няня съ этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней чрезъ 10 была уже на ногахъ. Вотъ что значитъ искренняя любовь и привязанность, руководившія мною въ первый разъ въ жизни и въ діагнозъ, и въ терапіи, и въ хирургическомъ пособіи при постели больной!

Моя нравственная сторона вхала изъ Москвы въ Дерптъ такъ же мало культивированною, какъ и научная.

Моя дътская въра была потрясена темъ слабымъ знаніемъ, которое я пріобръль въ университеть. Почему же это могло

случиться съ такимъ бёднымъ и малообразованнымъ школьникомъ, какимъ я былъ, тогда какъ величайшіе и свётлые умы, обогащенные громадными свёденіями, нерёдко соединяли въ себъ глубокое знаніе съ искреннею вёрою? То, я полагаю, болёзнь нашего вёка, въ которомъ немного найдется такихъ исключеній, какъ І оганнъ Мюллеръ или Рудольфъ Вагнеръ; первый—ревностный католикъ, второй—протестантъ, и оба знаменитые естествоиспытатели, успёвшіе и въ наше время примирить знаніе съ вёрою. Эта болезнь нашего вёка зависитъ, я полагаю, отъ того, что именно въ наше время знаніе, и, конечно, поверхностное, быстро распространилось въ массахъ, недовольно подготовленныхъ къ воспринятію науки и знанія предшествовавшими вёками.

Яркій свёть современной науки ослениль и вскружиль голову ходившимъ прежде въ потемкахъ. Вышедшему быстро изъ потемовъ на свёть, съ перваго взгляда, покажется все, конечно, слишкомъ яснымъ и потому несомненнымъ; а туть являются еще и просветители, которые, для эффекта, подпускаютъ все более и более света, хотя бы и искусственнаго.

Если я, возвращаясь теперь къ моему давно-прошедшему, только подумаю, что заставило меня покинуть мои детскія върованія, что заставило перестать молиться съ детскимъ усердіемъ, что внесло въ молодую душу разъйдающій червь сомненія и способствовало съ необыкновеннымъ усердіемъ его дальнъйшему развитію, - то я не нахожу другой причины, вавъ именно эти двв. Съ одной стороны, меня озарилъ вдругъ свъть естествознанія, тогда какъ я не быль подготовлень къ его принятію нивавимъ другимъ положительнымъ знаніемъ, а просвътителями моими оказались люди, также, какъ и я самъ, ослѣпленные слишкомъ быстрымъ переходомъ отъ тьмы невѣденія въ свёту науви. Не мучимый нивавими сомнёніями и, при моемъ обрядно-религіозномъ воспитаніи, не имъвшій даже почвы для сомненія, я вдругь выступиль на поприще, требовавшее постоянной работы мысли. А все пріобретаемое умственнымъ анализомъ неминуемо проходить чрезъ целый рядъ сомнъній. Могь ли же я, мальчишка, не вскружить себъ голову, не охиблеть и не перенести тоть же самый способъ достиженія истины и на другую, для него вовсе непригодную, почву? Я видёль, что такъ дёлають всё и болёе опытные меня.

Знаніе, и тімъ боліве научное, ділаєть человіка до того самодовольнымъ, что онъ, пріобрітя это знаніе, тотчась стараєтся распространить его на всі области своей духовной жизни, отвергая, что между ними есть и нівкоторыя имінощія мало общаго съ научнымъ, т.-е. пріобрітеннымъ путемъ анализа, знаніемъ.

Развъ тотъ не живетъ и не достоинъ имени человъка, кто твердо въритъ, кръпво надъется, горячо любитъ и просто, т.-е. ненаучно, и, такъ сказатъ, безсознательно знаетъ? Неужели мы въ правъ назватъ такую жизнъ не жизнъю потому только, что этой личности недоставало средствъ и способовъ развитъ другую, умственную, сторону своей жизни? Не должны ли мы всъ стремиться къ приведенію нашей жизни въ гармоническое цълое, то-естъ къ равномърному развитію разныхъ сторонъ нашей умственной и духовной жизни? Такая высокая цъль—не утопія. Напротивъ, утопія—то, когда мы полагаемъ облагодътельствовать человъческое общество, ведя его по одному пути знанія къ невъдомой и недостижимой цъли.

Какъ счастливы были бы мы, еслибы наши юноши, выступая на научное поприще, были вполнё внутренно убъждены, что нельзя безнаказанно для самого себя пересаживать пріобрётенное научнымъ анализомъ на другую сторону нашей духовной почвы! Зная это твердо, многіе, очень многіе изъ насъ избёгли бы жестокаго внутренняго погрома, который приходилось имъ не однажды переживать, мужаясь и старёясь.

Моя университетская жизнь въ Москвъ показала мнъ недостатки той обрядной религіи, въ которой я воспитывался; но разрушенное не было замънено ничъмъ лучшимъ; въ область въры было внесено отрицаніе, границъ котораго уже нельзя было опредълить. Молодой умъ съ тъхъ поръ началъ бродить по встать закоулкамъ отрицанія. Полное невъріе и атеизмъ уже охватывали душу. Къ счастью моему, я не былъ esprit fort; я не могъ не обращать взоръ на небо въ тяжкія минуты жизни, а быть подледомъ въ отношеніи къ самому себъ,—отвергать что бы то ни было въ счастьи и прибъгать къ его помощи въ бъдъ, — казалось мнъ несовмъстимымъ съ достоинствомъ человъка.

Если такъ шатка была у меня религіозная сторона, то и понятія мои о нравственности въ эту эпоху живни также не были кръпки. И какая нравственность возможна безъ идеала! Тъ обманываютъ и себя, и другихъ, которые полагаютъ основы нравственности въ взаимныхъ интересахъ, эгоизмъ, и т. п. Они берутъ одни внъшнія проявленія, одну, такъ сказать, обрядную сторону нашего нравственнаго быта и не даютъ себъ труда заглянутъ глубже внутръ самихъ себя, а можетъ бытъ, и дъйствительно находятъ въ себъ не то, что слъдовало бы еще отыскивать. Наша бъда именно въ томъ и состояла, и состоитъ, что отцы наши не успъли и не съумъли вынести на свътъ какой-либо руководящій идеалъ, передъ которымъ необходимо было бы остановиться съ глубокимъ уваженіемъ.

Теперь этого уже не сдълвешь: поздно; а было время, когда реализмъ не господствовалъ еще такъ надъ умами, какъ теперь, и идеалы не срывались такъ насильственно съ ихъ пьедесталовъ.

У меня не было ни положительной религіи, ни руководствующаго идеала, именно, въ то опасное время жизни, когда страсти и чувственность начинали заявлять свои права. Но до 18-ти лёть я избёжаль сношенія съ женщинами. 16-ти лёть, незадолго до отъёзда моего въ Дерпть, я быль только платонически влюблень въ дочь моего крестнаго отца, дёвушку старёе меня. Въ это же самое время я почитываль съ однимъ товарищемъ купленное на толкучкѣ "Ars amandi" Овидія, понимая его съ грёхомъ пополамъ.

Предметь моей платонической первой любви была стройная блондинка съ тонкими чертами, чрезвычайно мелодическимъ и звучнымъ голосомъ и голубыми, улыбающимися глазами. Эти глаза и этотъ голосъ, сколько я помню, и плѣнили мое сердце. Чѣмъ же обнаруживалась моя любовь? Во-первыхъ, тѣмъ, что во всякое свободное время леталъ, хотя и пѣшкомъ, изъ Кудрина къ Илъѣ Пророку, въ Басманную; вовторыхъ, не упускалъ при этомъ ни одного удобнаго случая, чтобы не завить волосы барашками. Какъ страннымъ кажусь

я теперь самому себь, когда представляю себь, что моя плышивая голова нькогда могла быть покрытою завитыми пукольками!!.. Въ-третьихъ, я не упускаль также ни одного случая, чтобы не поцьловать тонкую, ньжную ручку, какъ, напримъръ, играя съ нею въ мельники, фанты и подавая ей чтонибудь со стола, и однажды,—о, блаженство!—когда я хотъль поцъловать ея руку, подававшую мнъ буттербродть, она загнула ее назадъ и поцъловала меня въ щеку, возлъ самыхъ губъ.

Наконецъ, когда я оставался ночевать въ гостяхъ у моего крестнаго отца, то любовь будила меня рано утромъ и выгоняла въ садъ, —конечно, не зимою; тогда я садился противъ оконъ спальни, выходившихъ въ садъ, мечталъ и ожидалъ съ нетерпънемъ, когда она встанетъ и появится въ бълой утренней одеждъ у окна. Предметъ моей любви пълъ очаровательные два французскіе романса, изъ которыхъ одинъ: "Vous allez à la gloire", я не могъ слушать безъ слезъ.

Самые ея недостатки, изъ которыхъ одинъ дѣлалъ на меня особенное впечатлѣніе, мнѣ нравились; это была необыкновенная и какая-то прозрачная синева подъ глазами.

Когда я быль въ Москвъ теперь на моемъ юбилеъ, я не зналъ, ъхать ли мнъ, или нътъ, навъстить мою первую любовь? Брать ея быль у меня и сказалъ мнъ, что онъ живетъ вмъстъ съ нею, и что она хромаетъ послъ перелома ноги. Но ъхать я раздумалъ.

Если мои прежнія пукольки на голов'є и голый черепъ настоящаго времени д'ялають меня для меня какимъ-то страннымъ, на себя непохожимъ, двойникомъ, то идти посмотръть на другую развалину—равносильно было бы по'яздк'в на кладбище.

Но memento mori для старика вездѣ много. О взаимности, конечно, не могло быть и рѣчи. Она была дѣвушка-невѣста извѣстной въ Москвѣ фамиліи почетнаго гражданина, тогда еще владѣвшаго довольно хорошими средствами (прежняго милліонера); я—мальчишка, только что кончившій курсь въ университеть, безъ средствъ и бравшій иногда подаяніе оть ея отца.

Воспоминанія этой любви, то-есть настоящія любовныя

воспоминанія, прододжались недолго. Новая жизнь, новая обстановка, новые люди скоро внесли въ душу цёлый рой другихъ, болёе глубокихъ впечатлёній.

Въ мав месяце намъ предписано было отправиться въ С.-Петербургъ.

Выдали отъ университета по мундиру и шпагѣ на брата и прогонныя. Везти насъ, — подъ присмотромъ, — поручено было адъюнить-профессору математики Щепкину. Отправлялись изъ Москвы: Шиховскій (Ив. Ос., уже докторанть медицини — по ботаникѣ); Сокольскій (также докторанть — по терапів); Рѣдкинъ (Петръ Григорьевичъ 1), — по римскому праву); Коргухтроцкій (лекарь — по акушерству), Коноплевъ (кандидать по восточн. яз.), Шуманскій (по исторін) и я.

Собрались всё въ университетскомъ зданіи и выёхали на перекладныхъ по-двое; Щепкинъ—въ своемъ экинаже.

Мив пришлось вхать съ Шуманскимъ.

Приходится зам'ятить въ общихъ чертахъ характеристику монхъ товарищей. Они стоять того.

За исключеніемъ Коноплева, оставшагося въ С.-Петербургѣ, я съ другими провелъ цёлыхъ пять лётъ вивств въ Дерптв и по-неволѣ изучилъ. Во-первыхъ Шуманскій (гдѣ-то онъ, живъ ли? о немъ послѣ Дерпта я уже ничего не слыхалъ; съ тѣхъ поръ онъ для меня какъ въ воду канулъ) былъ замѣ-чательная личность; я потомъ не встрѣчалъ ни разу подобной, и едва-ли гдѣ-нибудь, кромѣ Россіи, встрѣчаются такого рода особы.

Шуманскій быль старёе меня однимь или двумя годами; но лицо и особливо свётло-голубые, нёсколько на выкатё глаза были не молодые глаза; рость приземистый; сложеніе довольно врёпкое. Способность къ языкамъ и знаніе языковъ отличное. Онъ говориль и писаль на трехъ новёйшихъ языкахъ (французскомъ, нёмецкомъ и англійскомъ) въ совершенстве; по-латыни и по-гречески научился въ Деритё въ два года. Память необыкновенная; прочитанное онъ могъ пере-

⁴) Ныва члена государственнаго совета,

давать иногда твми же словами тотчась по прочтении. Къ своей наувъ (исторів) повазываль много интереса. Профессора въ Дерптв оставались чрезвычайно довольными его успъхами. И несмотря на все это, Шуманскій, пробывь около двухъ льть въ Дерптв, въ одно прекрасное утро, ни съ того, ни съ сего, объявляеть, что онъ болье учиться въ Дерптв не намъренъ, профессоромъ быть не хочеть и увъжаеть домой, уплативъ въ казну за всв причиненныя имъ издержки.

И никто, никто не узналъ, какая собственно причина такъ внезапно произвела такой переворотъ. Онъ скоро собрался и съ тъхъ поръ исчезъ.

Шуманскій быль сынь поміщика, получиль очень хорошее домашнее воспитаніе; съ своею семьею онь, віроятно, быль не въ ладахь, когда учился въ московскомъ университеть и поступиль въ профессорскій институть; этимъ можно объяснить, почему онь избраль учебное поприще вовсе не по желанію, а потомъ, при измінившихся обстоятельствахь, тотчась же пересідлался. Къ тому еще онь и попиваль.

Я, считаясь его пріятелемь, съ тѣхъ поръ, какъ мы сдѣлали поѣздву изъ Москвы въ Петербургъ вмѣстѣ, не хотѣлъ отставать отъ него, и въ первое время нашего пребыванія въ Дерптѣ я сходился иногда съ нимъ и пилъ вмѣстѣ Кūmmel, и нѣсколько разъ, какъ я вспоминаю къ моему ужасу, до опьяненія.

Еще одно поражало меня въ Шуманскомъ. Это какая-то особенная религіозность. Не то, чтобы онъ былъ набоженъ,— иногда онъ позволялъ себт и свободомысліе,—но у него былъ своеобразный культъ. Онъ почему-то имѣлъ особое почтеніе и довъріе къ храму Вознесенія въ Москвъ, на улицъ (забылъ названіе, хотя приходилось ходить по ней изъ Кудрина въ университетъ по четыре раза въ день) тогда модной въ Москвъ, славившемуся изящными манерами священнослужителя, про котораго разсказывали, что онъ, проходя во время служенія мимо дамъ, всегда извинялся по-французски: "ехсизег, шезфашез". Этому-то храму Вознесенія Шуманскій возсылалъ вногда теплыя молитвы на французскомъ язывъ, и я читалъ у него нъсколько импровизированныхъ молитвъ этого рода, записанныхъ потомъ въ тетрадку.

Второй оригиналь изъ моихъ московскихъ товарищей быль Петръ Григорьевичъ Коргухтроцкій. Что-то необычайно угловатое и комическое лежало уже въ его наружности. Сутуловатый брюнеть, съ чертами и цвётомъ лица, дёлавшими его на видъ гораздо старёе, чёмъ онъ былъ на самомъ дёлё, съ сёдломъ на носу и рёзкимъ, гнусливымъ голосомъ, Коргухтроцкій не могъ не обращать на себя вниманія съ перваго же взгляда. И дёйствительно, это была личность sui generis.

Въ Москев между студентами, и даже прежде еще между гимназистами, онъ быль извъстенъ за хорошаго ботаника; и дъйствительно, по разсказамъ товарищей, занимался ею съ увлеченіемъ. Но, разсудивъ, какъ онъ самъ сознавался, что ботаника не накормитъ, онъ выбралъ для занятія предметъ болье прибыльный. Къ этому, по словамъ Троцкаго, много содъйствовалъ также знакомый ему и въ то время извъстный въ Москев акушеръ Карпинскій.

— "Посмотри на меня,—говориль ему Карпинскій,—у меня, слава Богу, есть что тесть: а потому меть щищы накладывать—все равно, что орти щелкать".

И воть, Коргухтроцкій отправляется въ Дерпть по акушерству.

Q

Первый мъсяцъ ничего; все идетъ какъ надо. Профессоръ акушерства въ Дерптъ—старикъ Дейтшъ. У него въ первый разъ въ жизни Коргухтроцкій приглашается тушировать беременныхъ чухоновъ, нанимавшихся для этой цъли отъ влиники.

Безъ смѣха не могу вспомнить пластическіе разсказы Коргухтроцкаго, какъ онъ приступаль къ невиданному и совершенно для него незнакомому дѣлу, какъ палецъ его заблудился, какъ онъ, сколько ни искалъ, не могъ достать маточной шейки; а потому и наговорилъ какую-то чушь, реферируя Дейтшу о результатъ своихъ поисковъ. Услыхалъ онъ также намекъ профессора о необходимости взять у него privatissimum, то-есть заплатить, вмъстъ съ другими, нъсколько десятковъ рублей. Это былъ ножъ острый. Расходоваться Коргухтроцкій не любилъ. "Этакъ, пожалуй, братъ, туть безъ штановъ останешься, прежде чъмъ научишься чему-нибудъ". Къ счастію для него, не прошло и мъсяца послъ нашего прибытія въ Деритъ, какъ насъ потребовали на tentamen по разнымъ

предметамъ и преимущественно по естественнымъ наукамъ и греческому языку. Дълалось это для того, чтобы узнать пробылы въ нашихъ свъденіяхъ и потомъ дать намъ возможность замъстить ихъ.

И воть, акушерь мой Коргухтроцкій экзаменуєтся у знаменитаго профессора ботаники Ледебура вийсті съ нами. Дають намъ нісколько растеній для опредіденія. Мы—ни въ зубъ толконуть, а онъ удивляєть Ледебура точностію своего опреділенія. Ледебурь въ восхищеніи и говорить ему нісколько лестныхъ словь. И мы узнаемъ, чрезъ нісколько дней, что акушерство замінено у Коргухтроцкаго ботаникою. Странно также, что этоть, уже тогда старообразный человікъ лість 25-ти, чрезъ 20 слишкомъ лість женится на дочери одного изъ самыхъ младшихъ нашихъ товарищей (Котельникова, который быль только годомъ или двумя старіве меня).

Третій московскій оригиналь между нами быль Григорій Ивановичь Сокольскій, пріобрівшій между нами извістность постоянными сраженіями съ профессорами и вообще съ начальствомъ. Отъ М. Я. Мудрова Сокольскій получиль какую-то особенную привязанность въ бруссэнзму. Чтеніе нёскольвихъ сочиненій Бруссэ привело его въ восхищеніе своею наглядностью, простотою и логичностью. Онъ привезъ съ собою изъ Москвы диссертацію: "de dyssenteria", и возился съ нею въ Дерить нъсколько льть, пока, посль разнаго рода передъловъ и ограниченій бруссэизма, факультеть въ Дерптв разръшиль ея защищение. Стараясь отклонить отъ себя упрекъ въ пристрастін въ Бруссо, Сокольскій сослался на Тацита: "Galba, Otho, Vitellius mihi nec beneficio neque injuria sunt cogniti". Но за его выходки противъ нѣмецкихъ профессоровъ они его сильно прижали и не выслали вмёстё съ нами за границу, а отослали въ Петербургъ, для дальнъйшаго усовершенствованія, въ Карлу Антоновичу Мейеру, въ Обуховскую больницу, которому онъ потомъ такъ насолилъ столкновеніями при постели больныхъ, что тотъ радъ быль отъ него отдёлаться, и чрезъ годъ Сокольскій явился къ намъ въ Берлинъ, а здёсь выкинуль весьма рискованную для того времени штуку, убхавь нзъ Берлина безъ паспорта въ Цюрихъ, въ Шенлейну, и въ Парижъ...

Григорій Ивановичь быль человівть недюжинный; я его любиль за его особеннаго рода юморь. Онъ быль сынь того московскаго священника, который въ 1820-хъ годахъ вздумаль написать опроверженіе Коперниковой системы; отъ отца перешла склонность въ оригинальности и въ сыну. Въ Москві онъ также не ужился въ университеть и вышель въ отставку до эмеритуры, больно съостривъ на одномъ экзаменть надъ попечителемъ Голохвастовымъ.

Замѣчательна у этого нашего товарища была охота къ изученію механизма часовъ, который онъ зналъ необыкновенно точно, а потому умѣлъ довольно вѣрно опредѣлять достоинство часовъ. Въ Болгаріи, въ 1877 году, я встрѣтился съ однимъ врачемъ изъ московскаго университета, знавшимъ Сокольскаго, и услыхалъ, что и до сего дня эта охота къ часамъ не прошла у Сокольскаго. По разсказамъ, въ его комнатѣ виситъ болѣе дюжины часовъ, механизмъ которыхъ онъ такъ регулировалъ, что они всѣ бьютъ въ одинъ моментъ.

Жаль, что на юбилет въ Москвт мое здоровье и хлопоты не позволили мит навъстить Сокольскаго.

Я послаль ему мою варточку съ стихами Тредьявовскаго, воторые Сокольскій любиль распъвать нѣкогда:

> Когда бы мий сто усть и столько же языковь, Столь сильный глась быль дань... То и тогда-бъ всёхъ глупостей родовъ Не могь измыслить я обильно.

Судьба моихъ товарищей, —ихъ было 21, —собранныхъ по первому призыву въ профессорскій институть, меня интересуеть неръдко.

Со многими изъ нихъ я не встръчался ни разу съ тъхъ поръ, какъ мы поъхали за границу; съ нъкоторыми видълся потомъ въ Москвъ и Петербургъ; но въ дружествъ или товариществъ ни съ къмъ изъ нихъ не былъ впослъдствии.

Въ-живыхъ изъ 21-го еще—сколько мив известно: П. Г. Редвинъ, Сокольскій, Мих. Куторга, Коргухтроцкій, Котельниковъ, Ивановскій и покуда я еще,—шестеро, и то не наверное; значить смерть, похитила въ теченіе 53 леть 15,—вероятно, и более. Двое умерли еще въ Дерите: Шкларевскій, чудный парень и поэть, (с.-петербургскаго универси-

тета),—оть чахотки, и одинь ипохондрикъ довольно ограниченныхъ способностей, изъ Харькова,—оть холеры; остальные потомъ,—и изъ нихъ одинъ, Чивилевъ, бывшій наставникомъ у покойнаго насл'єдника Николая Александровича,—сгор'єль въ царскосельскомъ дворц'є.

Измучившись вздою на перекладной, никогда еще не вздивши по дорогамъ съ перекладинами изъ бревенъ, которыя замвняли въ то время во многихъ мъстахъ шоссе, мы остановились сначала въ какой-то гостинницъ, едва-ли не "Демутъ", въ С.-Петербургъ, а погомъ для насъ отвели пустопорожнее помъщение въ тогдашнемъ университетскомъ домъ, кажется, у Семеновскаго моста.

Первый визить быль хозянну Щучьяго Двора, какъ его тогда звали, директору департамента народнаго просвещенія (Д. И. Языкову), какому-то молчаливому и натянутому бюрократу; приглашены были къ нему на обёдъ; обёдали скучно и безмолвно, а потомъ представились и самому министру народнаго просвещенія, князю Ливену—генералу-нёмцу, говорившему весьма плохо по русски, піэтисту по убёжденію.

Назначенъ былъ, наконецъ, экзаменъ въ академіи наукъ. Для насъ, врачей, пригласили экзаменаторовъ изъ медикохирургической академіи, и именно Велланскаго и Буша.

Бушъ спросилъ у меня что-то о грыжахъ, довольно слегка; я ошибся только рег lapsum linguae, сказавъ вивсто: art. ерідаstrica—art. hypogastrica. А я, привнаться, трусилъ. Гдв, думаю, мив выдержать порядочный экзаменъ изъ хирургіи, которою я въ Москвв вовсе не занимался! Радость после выдержанія экзамена была, конечно, большая. Слава Богу, назадъ не воротять. Вообще экзаменъ въ академіи для всвхъ нашихъ сошелъ хорошо съ рукъ, за исключеніемъ Петра Григорьевича Редкина. Его, несчастнаго, отделалъ тогда академикъ Грефе напропалую и далъ такой строгій относительно јидісішт, что рёшили не посылать П. Г. Редкина въ Дерптъ. Онъ, однако-же, хорошо сдёлалъ, что не послушался такого варварскаго рёшенія и поёхалъ съ нами на свой счетъ. Въ Дерпте чрезъ нёсколько времени рёшили иначе.

Въ Деритъ я вхалъ втроемъ съ Редвинымъ и Совольскимъ на долгихъ; ночевали въ Нарве; впервые въ жизни

видъли водопадъ и кусокъ моря и прибыли въ заъзжій домъ къ Фрею въ Дерптъ, за нъсколько дней до начала осениезимняго семестра.

Въ Деритъ мы всъ должны были поступить подъ воманду Вас. Мих. Перевощикова, профессора русскаго языка.

Перевощиковъ перешелъ въ Дерптъ изъ Казани, гдѣ онъ былъ профессоромъ во времена Магницкаго, положившаго глубокій отпечатокъ на всю его дѣятельность и даже на самую физіономію.

Квартиры для насъ были уже наняты, и я помъстился вмъсть съ Коргухтроцкимъ и Шиховскимъ въ довольно глухомъ мъсть, почти наискосокъ противъ дома профессора хирургіи Мойера.

Вас. Мих. Перевощиковъ игралъ нъкоторую роль въ моей жизни, и я должень остановиться на этой личности. Съ самаго начала между нами пробъжала черная вошва, и отношенія мои въ Перевощивову могли бы впоследствіи иметь для меня весьма печальныя последствія. Перевощивовь быль типь сухого, безжизненнаго, скрытнаго или, по врайней мъръ, ничего не выражающаго бюроврата; самая походка его, плавная, равномърная и какъ бы предусмотрънная, выражала характеръ идущаго. Цвъть лица пергаментный; щеки и подбородовъ гладво выбриты; речь, какъ и походка, плавная и монотонная, безъ мальйшаго повышенія или пониженія голоса. Перевощиковъ повель насъ гурьбою по профессорамъ. По-нъмецки онъ не говориль почему-то, и краткая бесёда велась или на французскомъ, или на смъшанномъ язывъ. Спрашивали по-францувски отвъчали по-нъмецки; спрашивали по-нъмецки-отвъчали пофранцузски. Для меня самое отрадное посъщение было дома Мойера.

Иванъ Филипповичъ (такъ его звали по-русски) Мойеръ, эстляндецъ, но происхожденія по отцу голландскаго, былъ профессоръ хирургіи въ дерптскомъ университеть.

Съ именемъ Мойера въ памяти у меня сохранились разныя чувства. Да, чувства сохраняются въ памяти также, какъ и знанія. И эти чувства—не одиночныя. Я сохраняю въ Мойеру: во-первыхъ, чувство безпредёльной благодарности и вмъсть съ нею досады и на себя, и на него; досадую и на себя, и на него; почему это глубокое чувство благодарности осталось въ душт не вполнт чистымъ и безупречнымъ—это объяснитъ мой дальнт празсвать, а теперь пока надо отделаться отъ Перево щикова.

Какъ теперь его вижу, идущаго съ нами по улицамъ; этотъ сжатый роть, эта кисточка на шапкъ, эта медленная, — въ тактъ, — поступь и эта скрытая злость противъ мальчишки, ему вовсе незнакомаго!

Перевощивовъ имъть, конечно, инструкцію следить за нашею нравственностью, и онъ, какъ формалисть, полагаль, что ничемъ не можеть онъ предъ начальствомъ показать такъ свою заботу о нашей нравственности, какъ посъщая насъ въ разное время и врасплохъ. Онъ это и дълаль въ началъ нашего пребыванія въ Дерптв. Однажды онъ приходить въ намъ (въ домъ Реберга, напротивъ дома Мойера); я въ это время быль на лекціи. Перевощивовь садится въ проходной комнать, ведущей въ наши спальни, и бесьдуеть съ моими товарищами (Шиховскимъ и Коргухтроцкимъ). Я, не ожидавъ такого посъщенія, вхожу прямо со двора, по обыкновенію, въ шапев и иду прямо въ мою вомнату, и, тольво отворивъ дверь въ нее, примъчаю, что въ другомъ углу сидитъ Перевощиковъ. Но было поздно. Перевощиковъ виделъ, что я вошель въ шапкъ и не свинуль ея тотчась же передъ нимъ, и объясниль это себ'в моимъ неуваженіемъ въ начальству. И мало того, что онъ объясниль такъ себъ, но донесь это, какъ я после узналь, и въ Петербургь, по начальству. Мев въ голову не могло придти что-нибудь подобное; твиъ болве, что я, оправивь мой туалеть, вышель изь моей комнаты въ общую н приняль участіе въ общей бесёдё съ Перевощивовымъ и товарищами; онъ не показалъ и виду, что недоволенъ мною. Но къ концу семестра Перевощиковъ призываеть меня къ себв въ кабинеть, тщательно запираеть дверь за собою, садится близко меня и таинственно, въ полголоса, спрашиваетъ меня, по обывновенію, медленно, съ разстановкою:

— "Скажите, Пироговъ, какую рекомендацію о вашемъ поведеніи я долженъ сдёлать высшему начальству?"

Я остолбенълъ. Наконецъ, собравшись съ духомъ, говорю:

- Кавую вамъ угодно, Василій Михайловичъ; я туть ничего не могу.
- "Но послъ тъхъ знаковъ неуваженія въ начальству, которые я имълъ случай замътить, судите сами, могу ли я васъ рекомендовать съ хорошей стороны?"

Это что же такое? — думаю я, и ума не приложу, къ чему это онъ ведетъ. Я прошу объясненія. Причина объясняется. Тогда я оправился, и какъ ни былъ я еще молодъ, но, видя, что имъю дъло или съ злымъ умысломъ, или съ мономаніей, я встаю и смъло говорю:

— Василій Михайловичь, вы, конечно, можете очернить предъ высшимъ начальствомъ кого вамъ угодно; но одно, мнѣ кажется, я имѣю право требовать отъ васъ,— чтобы вы мотивировали вашу рекомендацію обо мнѣ тѣмъ фактомъ, на которомъ вы основываетесь.—Сказавъ это, я распрощался, и съ тѣхъ поръ—къ Демьяну ни ногой.

Въ Петербургъ пошло донесеніе Перевощивова неизвъстно въ какомъ видъ. Изъ Петербурга прислано мнъ чрезъ Перевощикова же строгое замъчаніе, но я его не слыхалъ отъ него. Обстоятельства перемънились. И я съ тъхъ поръ Перевощикова встръчалъ только иногда на улицахъ. Не помню даже, отдалъ ли я ему прощальный визитъ, когда онъ былъ уволенъ, послъ скандала, сдъланнаго ему студентами на лекціи. Онъ былъ ими выбарабаненъ (ausgetrommelt) также вслъдствіе его подозрительности, мелочности и безтактной обидчивости.

Семейство Мойера, защитившаго меня отъ навътовъ нашего аргуса, состояло изъ трехъ особъ: самого профессора, его тещи Екатерины Аванасьевны Протасовой (урожд. Буниной) и семи—восьмилътней дочери Мойера — Кати. Жены Мойера, старшей дочери Протасовой, уже давно не было на свътъ, и Мойеръ остался до конца жизни вдовцомъ.

Это была личность замъчательная и высоко-талантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокій ростомъ, дородный, но не обрюзглый оть толстоты, широкоплечій, съ крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотръвшими изъподъ густыхъ, нъсколько нависшихъ бровей, съ густыми, уже съдыми нъсколько, щетинистыми волосами, съ длинными,

красивыми пальцами на рукахъ, Мойеръ могъ служить типомъ виднаго мужчини. Въ молодости онъ, въроятно, былъ очень красивымъ блондиномъ. Ръчь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекціи отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложенія. Талантъ въ музывъ былъ у Мойера необывновенный; его игру на фортепіано—и особливо пьесъ Бетховена—можно было слушать цълые часы съ наслажденіемъ. Садясь за фортепіано, онъ такъ углублялся въ игру, что не обращалъ уже никакого вниманія на его окружающихъ. Нъсколько близорукій, носиль постоянно большія серебряныя очки, когорыя иногда снималь при производствъ операцій.

Характеръ Мойера нельзя было опредёлить однимъ словомъ; вообще же можно сказать, что это быль талантливый ленивець. Леность или, вернее, квіэтизмъ Мойера иногда доходиль до того, что, начавъ вакой-либо занимательный разговоръ съ знакомымъ, онъ откладываль дёла, не териящія отлагательства; перемънить свое in statu quo, начать какую-нибудь новую работу или заняться разборомъ давно уже ждавшаго его дёла, -это сущая напасть для Мойера. Онъ подходиль въ дёлу съ разныхъ сторонъ, приближался, опять отходилъ и снова предавался своему квіэтизму. Въ наше время Мойеръ им'єль уже много занятій по им'внію своей дочери въ орловской губернін, Вздиль иногда туда въ вакаціонное время и къ своей наукъ уже быль довольно холодень; читаль мало; операцій, особливо трудныхъ и рискованныхъ, не делалъ; частной практики почти не имълъ, и въ влинивъ, неръдво, большая часть кроватей оставались незамъщенными.

Повидимому, появленіе на сцену нѣсколькихъ молодыхъ людей, ревностно занимавшихся хирургією и анатомією, въчислу которыхъ принадлежали, кромѣ меня, Иноземцевъ, Даль, Лингардъ, нѣсколько оживили научный интересъ Мойера. Онъ, къ удивленію знавшихъ его прежде, дошелъ въ своемъ интересѣ до того, что занимался вмѣстѣ съ нами по цѣлымъ часамъ препарированіемъ надъ трупами въ анатомическомъ театрѣ.

Но, несмотря на охлажденіе къ наукѣ и его квіэтизмъ, Мойеръ своимъ практическимъ умомъ и основательнымъ образованіемъ, пріобрътеннымъ въ одной изъ самыхъ знаменитыхъ школь, доставляль истинную пользу своимъ ученикамъ. Онъ образовался преимущественно въ Италіи, въ Павіи, въ школъ знаменитаго Ант. Ок. Скарпы, и это было во времена апогея славы этого хирурга. Посъщеніе госпиталей Милана и Въны, гдъ въ то время находился Рустъ, докончило хирургическое образованіе Мойера.

Возвратясь въ Россію, онъ прямо попаль хирургомъ въ военные госпитали, переполненные ранеными въ отечественной войнъ 1812 года. Какъ операторъ, Мойеръ владълъ истинно хирургическою ловкостью, несуетливой, несившной и негрубой. Онъ дълалъ операціи, можно сказать, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкою. Какъ врачъ, Мойеръ терпъть не могъ ни лечить, ни лечиться, и къ лекарствамъ не имълъ довърія. И изъ наружныхъ средствъ онъ употреблялъ въ леченіи ранъ почти однъ припарки.

Екатерина Аванасьевна Протасова была приземистая, сгорбленная старушка, лёть 66, но еще съ свёжимъ, пріятнымъ лицомъ, умными сёрыми глазами и тонкими, сложенными въ улыбку, губами. Хотя она носила очки, но видёла еще такъ хорошо, что могла вышивать по канвё и была на это мастерица; любила чтеніе, разговаривала всегда ровнымъ и довольно еще звучнымъ голосомъ; страдала съ давнихъ поръ, по крайней мёрё разъ въ мёсяцъ, мигренями, и потому подвязывала голову всегда сверхъ чепца шелковымъ платкомъ.

Воть эта-то почтенная особа, заинтересованная, въроятно, моею молодостью и неопытностью, и стала моею покровительницею. Она интересовалась моею прежнею жизнью въ Москвъ, часто разспрашивала меня про житье-бытье моей семьи, оставшейся въ Москвъ, и, узнавъ отъ Мойера о замъчаніи, полученномъ изъ Петербурга о моемъ поведеніи по доносу Перевощикова, заставила меня откровенно разсказать въ подробности о случившемся.

Изъ-за меня, — конечно, не по моей винъ, — сдълался и нъкоторый разладъ между двумя домами; жена Перевощикова (если не ошибаюсь, урожд. Княжевичъ, Екатер. Матвъевна) и дочь ея, посъщавшія прежде неръдко Екатерину Аванасьевну, прекратили свои посъщенія. Когда, къ концу семестра, вы-

шель срокь найму моей квартиры въ дом'в Реберга, то Екат. Аванасьевна предложила мнв перевхать къ нимъ въ домъ, гдъ я и жилъ нъсколько мъсяцевъ, пока не очистилось помъщеніе въ клиникъ, въ которомъ я и оставался виъсть съ Иновемцевымъ до самаго отъйзда за границу. Мойеръ, при заступничествъ Екат. Аванасьевны, въроятно, нашелъ средства оправдать меня; такъ или нътъ, но доносъ Перевощикова не имълъ для меня никакихъ худыхъ послъдствій, тъмъ болье, что въ это же время я принялся серьезно работать надъ заданною факультетомъ хирургическою тэмою о перевязкъ артерій, награжденной потомъ золотою медалью. Я торжествоваль, и не безъ причины. Я работалъ. Дни я просиживалъ въ анатомическомъ театръ надъ препарированіемъ различныхъ областей, ванимаемыхъ артеріальными стволами, ділаль опыты съ перевязками артерій на собавахъ и телятахъ, много читалъ, компилировалъ и писалъ.

Латынь помогли мий обработать товарищи-филологи (покойные Крюковъ и Шкляревскій); признаюсь, для красоты слога, жертвоваль иногда и содержаніемъ; но диссертація въ 50 писч. листовъ, съ нёсколькими рисунками съ натуры (съ моихъ препаратовъ), вышла на славу и заставила о себт заговорить и студентовъ, и профессоровъ.

Рисунки съ моихъ препаратовъ артерій надъ трупами, снятые съ натуры, въ натуральной величинѣ, красками, хранятся и до сихъ поръ—я слышалъ—въ анатомическомъ театрѣ въ Дерптѣ.

Добрѣйшая Екатерина Аоанасьевна пригласила меня объдать постоянно съ ними, и я съ тѣхъ поръ былъ, въ теченіе почти пяти лѣтъ, домашнимъ человѣкомъ въ домѣ Мойера. Тутъ я познакомился и съ Василіемъ Андреевичемъ Жуковскимъ. Поэтъ былъ незаконный сынъ (отъ плѣнной турчанки) ея отца Бунина, воспитывался у нея въ домѣ, влюбился въ свою старшую племянницу, которая вышла потомъ замужъ за Мойера (Екатер. Ао. не дала согласія на бракъ влюбленныхъ, считая это грѣхомъ).

Я живо помню, какъ однажды Жуковскій привезъ манускрипть Пушкина "Борисъ Годуновъ" и читалъ его Екат. Асанасьевнъ; помню также хорошо, что у меня пробъжала дрожь по спинъ при словахъ Годунова: "и мальчики кровавие въ глазахъ".

Въ воспоминаніи сохранилось у меня, несмотря на протекшія уже съ тёхъ поръ 50 слишкомъ лётъ, съ какимъ рвеніемъ и юношескимъ пыломъ принялся я за мою науку; не находя много занятій въ маленькой клиникъ, я почти всецъло отдался изученію хирургической анатоміи и производству операцій надъ трупами и живыми животными. Я былъ въ то время безжалостенъ къ страданіямъ.

Однажды, я помню, это равнодушіе мое въ мукамъ животныхъ при вивисекціяхъ поразило меня самого тавъ, что я, съ ножемъ въ рукахъ, обратившись въ ассистировавшему мнъ товарищу, невольно вскрикнулъ:

"Въдь такъ, пожалуй, легко заръзать и человъка".

Да, о вивисекціяхъ можно многое сказать и за, и противъ. Несомивнио, онв-важное подспорье наувв, и оказали, и окажуть ей несомевнныя и неоцвненныя услуги. Права человъва дълать вивисевціи также нельзя оспаривать послъ того, какъ человекъ убиваеть и мучаеть животныхъ для кулинарныхъ и другихъ целей. Кодекса для этого права неть и не писано. Но наука не восполняеть всецью жизни человыка: проходить юношескій пыль и мужеская зрілость, наступаеть другая пора жизни, и съ нею - потребность сосредоточиваться все болве и болве и углубляться въ самого себя; тогда воспоминаніе о причиненномъ насиліи, мукахъ, страданіяхъ--другому существу начинаеть щемить невольно сердце. Такъ было, кажется, и съ великимъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, случалось и со мною, и въ послъдніе годы я ни за что бы не ръшился на тъ жестокіе опыты надъ животными, которые я нъкогда производиль такъ усердно и такъ равнодушно. Это своего рода memento mori.

Прівхавъ въ Дерить безъ всякой подготовки къ экспериментальнымъ научнымъ занятіямъ, я бросился, очертя голову, экспериментировать, и, конечно, былъ жестокимъ безъ нужды и безъ пользы; и воспоминаніе мое теперь отравляеть еще болье то, что, причинивъ тяжкія муки многимъ живымъ существамъ, я часто не достигалъ ничего другого, промъ отрицательнаго результата, т.-е. не нашедъ того, что искалъ.

Современнымъ экспериментаторамъ, можетъ быть, не придется испытывать на старости тяжелыхъ воспоминаній отъ вивисекцій. Теперь значительная половина вивисекцій производится надъ лягушками, а эти хладнокровныя рептиліи не внушають того чувства, которое привязываетъ человъка къ теплокровному животному. Потомъ, современные опыты надъ живыми производятся почти всъ съ помощью хлороформа. Но и одно насильственное лишеніе живого, беззащитнаго существа жизни, съ какою бы то ни было эгоистическою (хотя бы и высокою) цълью, не можеть оставить въ насъ пріятныхъ и успокоительныхъ воспоминаній; немудрено, что то, надъ чёмъ я нъкогда смёзлся—вегетаризмъ, теперь кажется мнё вовсе не такъ смёшнымъ.

Къ концу семестра 1827 г. явились и последніе члены нашего профессорскаго института, — харьковцы, въ числе четырехъ. Одинъ изъ нихъ, Ф. И. Иноземцевъ, былъ, какъ и я, по хирургіи, съ тёмъ только различіемъ отъ меня, что, вопервыхъ, это былъ уже человекъ лётъ подъ 30, не менёе 27-ми, 28-ми, а во-вторыхъ, онъ былъ несравненно опытне меня и боле, чемъ я, приготовленъ. Въ харьковскомъ университете въ то время училъ весьма дёльный профессоръ хирургіи—Н. И. Еллинскій. Иноземцевъ не только ассистировалъ ему при разныхъ операціяхъ, но и самъ уже дёлалъ одну операцію (ампутацію голени). Это разомъ ставило его головою выше мена и въ моихъ глазахъ, и въ глазахъ другихъ товарищей.

Иноземцевъ и съ внѣшней стороны былъ гораздо представительнѣе меня. Высокій и довольно ловкій брюнегъ, съ черными блестящими глазами, съ безукоризненными баками, одѣтый всегда чисто и съ нѣкоторою претензіею на элегантность, Иноземцевъ легко дѣлался вхожимъ въ разныя общества и вездѣ умѣлъ заслужить репутацію любезнаго и милаго человѣка, добраго товарища и отличнаго парня.

Немудрено, что я началь ему завидовать. Это скверное

чувство особливо выражалось въ моемъ дневникъ, который я нъкоторое время велъ тогда очень аккуратно.

Сверхъ зависти меня возмутило противъ Иноземцева и еще одно: однажды, — я жилъ тогда еще у Мойера, — я простудился и заболътъ. Мойеръ приходитъ навъстить меня и намекаетъ мнъ довольно ясно, что я порчу себя питьемъ водки; послъ такого намека, я, взволнованный и еще больной, являюсь къ Екатеринъ Асанасьевнъ Протасовой и говорю, что я не могу долъе оставаться въ ихъ домъ, такъ какъ я заподозрънъ въ пъянствъ.

Старушка ахнула: — "отвуда это, батюшка, такое взяль?" — Я разсказаль. Потомъ вышло, что Иноземцевъ стороною намениль что-то, гдв-то, какъ-то, что я склоненъ къ злоупотребленю спиртными напитками.

Дъйствительно, Иноземцевъ видълъ меня раза два на-веселъ виъстъ съ Шуманскимъ, отъ котораго я въ первый разъ и узналъ вкусъ водки. Долго я не могъ простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили съ нимъ четыре слишкомъ года вмъстъ въ одной (довольно просторной) комнатъ въ клиникъ; но наши лъта, взгляды, вкусы, занятія, отношенія къ товарищамъ, профессорамъ и другимъ лицамъ—были такъ различны, что, кромъ одного помъщенія и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общаго.

Меня досаждало еще то, что вечеромъ въ Иноземцеву приходили, по крайней мъръ разъ или два въ недълю, въ гости три или четыре товарища изъ нашихъ или и другихъ русскихъ, которые всъ знакомы были коротко съ Иноземцевымъ. При чаепитіи, куреніи табака (котораго я тогда не терпълъ), начиналась игра въ вистъ, продолжавшаясь за полночь и мъщавшая митъ читать или писать.

Я долженъ поваяться, вспоминая объ Иноземцевъ. Я теперь и самъ бы себъ не повърилъ или, лучте, не желалъ бы върить; но что было, то было. Я неръдко, по недостатку денегъ къ концу мъсяца, оставался день или два безъ сахара, и вотъ, въ одинъ изъ такихъ дней, меня чортъ попуталъ взять тайкомъ три, четыре куска сахара изъ жестянки Иноземцева. Онъ какъ-то замътилъ это, и заперъ жестянку. О, позоръ! дорого бы я далъ, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь

еще и въ вороествъ съ книгами. Я во всю мою жизнь утаилъ, т.-е., взявъ, не отдалъ три книги; а потомъ, когда хотълъ ихъ возвратить, то было некому, или я отъ стыда откладывалъ все и откладывалъ возвращеніе. Потомъ большая часть моей библіотеки поступила въ пользу студенческой библіотеки.

Во время нашего пребыванія въ Дерптв, университеть пользовался большою славою въ Россіи. И действительно, большая часть ваоедръ была замъщена отличными людьми, съ знаменитымъ ректоромъ Эверсомъ (историкъ) во главе: Струве (астрономъ), Ледебуръ, Парротъ (сынъ академика), Ратке (физіологь), Клоссеусь (юристь), Эйсгольць (зоологь); между медиками отличались необывновенною начитанностью и ученостью проф. Эрдманъ, прежде бывшій въ Казани, но изгнанный оттуда, вмёстё съ проф. математиви Бартельсомъ (товарищемъ короля Луи-Филиппа, когда они оба были учителями въ Швейцаріи). Изгнаніе нёмецких ученых изъказанскаго университета было совершено погромомъ Магницкаго. Во время пребыванія профессорскаго института въ Дерптъ присылались молодые руссвіе люди и изъ другихъ въдомствъ: оть академін наукъ были присланы Загорскій (физіологъ) и Шпереръ (химивъ), кавъ элевы. Профессоромъ астрономін Струве прислано было человъвъ 10 штабныхъ или свитскихъ н морскихъ офицеровъ для занятій при обсерваторіи.

Учрежденіе императрицы Маріи прислало изъ воспитательнаго дома человікъ 6 или 7; наконецъ и частныя лица прійзжали для образованія или такъ, по наслышкі, по моді; такъ, въ наше время прійхали учиться Карамзины—три брата, гр. Соллогубъ, Муравьевъ, графы Витгенштейны (2 брата), Тутолминъ, Матвітевъ и еще до насъ прибыль півецъ студенческихъ попоекъ и кутежей—Языковъ и другіе.

Большая часть изъ нихъ не окончили университетскаго курса, но почти всё носили студенческій костюмъ: длинные сапоги—Stiefeln, Kragen, т.-е длинные воротники отъ шинелей вмёсто плащей, маленькія фуражки на головів.

Мундиръ студенческій въ Дерпть, можеть быть, также служиль приманкою; это быль не то, что поскудный мундиръ того времени въ другихъ русскихъ университетахъ; у дерптскаго

студента воротнивъ на мундирѣ горѣлъ золотомъ; это былъ воротнивъ черный бархатный (на синемъ мундирѣ) съ вышитыми золотомъ дубовыми вѣтвями, занимавшими большую половину воротнива. И на балахъ, и въ театрѣ мундиръ этотъ производилъ эффектъ.

Когда императоръ Ниволай пробажалъ черезъ Дерптъ, во время турецкой кампаніи, то ему приготовлена была почетная стража изъ студентовъ; одбтые въ эти свои мундиры, бълыя штаны въ натяжку, ботфорты, рослые и красивые студентыстражники обратили вниманіе на себя самого Ниволая, и такъ какъ онъ ничего не заявилъ противъ этой обмундировки, то она и признавалась законною.

За исключеніемъ насъ, присланныхъ въ Дерпть уже по окончаніи курса въ русскихъ университетахъ, и двухъ или трехъ другихъ русскихъ, всемъ прочимъ пребывание въ Дерпте не пошло въ прокъ. Карамзины и Соллогубъ едва-ли вынесли что-нибудь изъ деритской научной жизни, кромъ знакомства съ разными студенческими обычаями; другіе, какъ, напримъръ, Языковъ, воспитанники изъ учрежденій императрицы Маріи и прівзжіе изъ Москвы и Петербурга полу-русскіе и полу-нъмцы просто спивались съ вругу и убзжали чрезъ нъсволько леть въ весьма плохомъ виде; только двое изъ нихъ, Өедоровъ, Вас. Өед., и Кантеміровъ, вышли-было вълюди, но не надолго. Өедоровъ, весьма дъльный астрономъ-наблюдатель, сдёлаль экспедицію съ Парротомъ на Арарать, потомъ въ Сибирь, потомъ сделался профессоромъ астрономіи въ Кіев'в и ревторомъ университета, но не оставилъ привычки попивать и скоро умеръ, еще далеко не старый; Кантеміровъ вышель докторомъ медицины, быль за границею, но, до крайности безкровный и худосочный, также своро умерь еще въ молодыхъ лвтахъ.

Въ Дерптъ русская поговорка приходилась наоборотъ. Въ Россіи говорятъ: "что русскому здорово, то нъмцу — смертъ"; а въ Дерптъ надо было, наоборотъ, сознаться: "что нъмцу здорово, то русскому — смертъ". Нъмецкіе студенты кутили, вливали въ себя пиво, какъ въ бездонную бочку, дрались на дузляхъ, цълые годы иногда не брали книги въ руки, но потомъ какъ будто перерождались, начинали работатъ такъ же прилежно,

вакъ прежде бражничали, и оканчивали блестящимъ образомъ свою университетскую каррьеру.

Мы, русскіе, изъ профессорскаго института, Professur-Embryoпеп,— какъ насъ звали нѣмецкіе студенты, —мы всѣ, слава Богу, уцѣлѣли; но мы не сходились ни съ однимъ студенческимъ кружкомъ, не участвовали ни въ коммершахъ, ни въ другихъ студенческихъ препровожденіяхъ времени; и я, напримѣръ, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имѣлъ никакой охоты знакомиться съ студенческимъ бытомъ въ Дерптѣ. Только два раза я изъ любопытства съёздилъ на коммершъ, и то впослѣдствіи, по окончаніи курса.

Но какъ ни страненъ въ наше время этотъ анахронизмъ, который представляетъ студенческая жизнь, съ ея средневъковыми обычаями, для посторонняго наблюдателя, нельзя не согласиться, что она имъетъ многое въ свою пользу: во-первыхъ, самое вопіющее зло въ обычаяхъ этой жизни, — дуэль, — дълаетъ то, что ни въ одномъ изъ нашихъ университетовъ взаимныя отношенія между студентами не достигли такого благочинія, такой въжливости, какъ между студентами въ Дерптъ. О дракахъ, заушеніяхъ, площадной брани и ругательствахъ между ними не можеть быть и ръчи.

Дуэли стоили жизни нёсколькимъ десяткамъ молодежи; это, безъ сомнёнія, очень прискорбно, и родители, потерявшіе на дуэли безвременно своихъ сыновей, имёють полное право возставать противъ этого варварскаго обычая. Но что же дёлать, если въ человёческомъ обществё нерёдко приходится выпирать клинъ клиномъ, за неимёніемъ лучшаго средства противъ зла? А грубость нравовъ и обращеніе въ студенческой жизни между товарищами портитъ также жизнь и есть не меньшее зло, чёмъ дуэль. Въ московскомъ университетё я былъ свидётелемъ отвратительныхъ сценъ изъ студенческой жизни, зависёвшихъ всецёло отъ грубости и неурядицы взаимныхъ отношеній между товарищами. Кулачный бой, синяки и фонари, площадная ругань и матерщина были явленіями незаурядными.

Вотъ предо мною стоитъ—вспоминаю—студенть изъ семинаристовъ, Марсовъ, и дъйствительно—верзило чуть не въ сажень, обросшій весь, какъ щетиною, волосами. Я иду мимо въ аудиторію, пробираясь състь на мъсто.

— "Ты что туть, поросеновь, таскаешься? Знаешь, какого шлепка задамъ!"

Другіе кохочуть. Что туть подівлаещь? Этакой вервило и взаправду хватиль бы, — всі снова засмінлись бы, и діло съ концомь. Гді существуєть такъ называемая студенческая Соммент, тамъ буйство, посрамленіе человіческаго достоинства грубою обидою немыслимы, — есть судь товарищей, рішающихь, что ділать, — и воть человінь смолоду пріучается нь благородству, уваженію личнаго достоинства и общественнаго мнінія; а это едва-ли не стоить нісколькихъ жизней.

Впрочемъ студенческія общества всегда старались сдёлать дуэли наименъе опасными для жизни; извъстно, какія предосторожности берутся въ студенческихъ дуэляхъ въ защищенію головы, шеи и т. п. противъ ударовъ. Но заметно, что каждый разъ, съ увеличеніемъ строгости противъ обыкновенныхъ студенческихъ дуэлей, увеличивались болье опасныя дуэли на пистолетахъ. Въ теченіе цяти леть были только два случая опасныхъ дуэлей между студентами. Въ одномъ случав студенческій Schläger (родъ палаша) попаль на 3-й грудинный хрящъ, перерубилъ его и повредилъ титечную внутреннюю артерію (art. mammaria interna); собравшійся около раненаго факультеть — надо признаться — опозорился. Когда образовался плеврить раненной плевры съ выпотомъ и значительнымъ вровотеченіемъ изъ раны, до тёхъ поръ некровоточивой, то трое профессоровъ погрязли въ предположеніяхъ: одинъ говорилъ, что туть ранено легкое; другой — что ранена легочная вена; но ни одинъ не узналъ плевритическаго выпота въ нъсколько фунтовъ въсомъ. Въ такомъ-то жалкомъ положения въ то время находилось изследование грудныхъ органовъ въ нашихъ университетахъ.

Другіе два случая были пистолетныя дуэли; въ объихъ раны были очень опасныя, но исходъ былъ благополучный. Въ одномъ случав пуля пронизала шею около сонныхъ артерій насквозь, задъвъ горло; кровотеченія, однако-же, не было, и раненый только долго не могъ говорить.

Въ другомъ случав пуля засъла въ лобной вости, у соединенія ея съ теменною, и была вытрепанена Мойеромъ весьма ловео. Раненый, конечно, выздоровълъ.

Занятія мои съ каждымъ годомъ увеличивались; особливо занимался и разработкою фасцій и отношеній ихъ къ артеріальнымъ стволамъ и органамъ таза. Это предметъ былъ совершенно новый въ то время. Обыкновенные анатомы бросали фасцін; въ Германіи занимались ими очень мэло, и только у англичанъ и французовъ можно было найти описаніе и изображеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Я дёлался съ каждымъ днемъ все болье и болье спеціалистомъ, предаваясь по временамъ изученію самостоятельно одной какой-либо ограниченной спеціальности. Дошло до того, что я пересталъ посъщать лекціи по другимъ наукамъ, кромъ хирургіи.

Это было глупо съ моей стороны, и я много такого, что могло бы быть очень полезнымъ впоследствии, пропустилъ и потерялъ. До Мойера начали доходить жалобы другихъ профессоровъ о моемъ непосещении лекцій. Профессоръ химіи, Гебель, прижалъ меня и на семестровомъ экзаменть. Мойеръ дёльно увъщевалъ меня не пренебрегать другими науками, и былъ правъ.

Но меня смущало то, что, слушая лекціи, я неминуемо краду время оть занятій монмь спеціальнымь предметомъ, который какъ ни спеціаленъ, а все-таки заключаеть въ себъ, по крайней мёрё, три науки. А сверхъ того, я, дёйствительно, тяготился слушаніемъ лекцій, и это неумёнье слушать лекціи у меня осталось на цълую жизнь. Посвятивъ себя одиночнымъ занятіямъ въ анатомическомъ театръ, въ клиникъ и у себя на дому, я, действительно, отвыкъ отъ лекцій; приходя на нихъ, дремалъ или засыпалъ и терялъ нить; демонстративныхъ лекцій, въ то время, на медицинскомъ факультеть, за исключеніемъ хирургическихъ и анатомическихъ, вовсе не было; ни физіологическія, ни патологическія лекцін не читались демонстративно. Зачёмъ же — думалъ я — тратить время въ дремоте и снъ на левціяхъ? Наконецъ, я дошель до такого абсурда, что объявиль однажды Мойеру о моемъ решеніи не держать окончательнаго экзамена, т.-е. экзамена на докторскую степень, такъ какъ въ то время отъ профессоровъ не требовали еще докторскаго диплома; а если понадобится, -- думаль я, -- такъ дадуть и безь экзамена дёльному человёку.

Мойеръ, конечно, отговорилъ меня отъ такого поступка и увърилъ, что экзаменаторы примутъ непремънно во вниманіе мои отличныя занятія анатомією и хирургією, и будутъ потому весьма снисходительны.

Но я забъжалъ слишеомъ впередъ въ моемъ разсказъ.

Насъ послали въ Дерптъ только на два или три года, а мы между тъмъ пробыли тамъ цълыхъ пять лътъ. Это сдълала для насъ польская революція 1830—1831 годовъ.

Чрезъ годъ послѣ нашего прибытія въ Дерить, началась турецкая война 1828 года, и намъ пришлось распрощаться съ нѣкоторыми изъ нашихъ новыхъ деритскихъ знакомыхъ. На эту войну уѣхалъ отъ насъ Владиміръ Ивановичъ Даль (впослѣдствіи писатель подъ псевдонимомъ: "Казакъ Луганскій").

Это быль замёчательный человёкь, сначала почему-то не нравившійся мнь, но потомъ мой хорошій пріятель. Это быль прежде человъкъ, что называется, на всъ руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. Съ своимъ огромнымъ носомъ, умными сърыми глазами, всегда спокойный, слегва улыбающійся, онъ им'влъ р'вдкое свойство подражанія голосу, жестамъ, минъ другихъ лицъ; онъ съ необыкновеннымъ спокойствіемъ и самою серьезною миною передаваль самыя комическія сцены. Подражаль звукамь (жужжанію мухи, комара и пр.) до невъроятія върно. Въ то время онъ не быль еще писателемъ и литераторомъ, но онъ читалъ уже отрывки изъ своихъ сказокъ. Какъ извъстно, прежде лейтенантъ флота-Лаль должень быль оставить морскую службу, отчасти потому, что страдаль постоянно на кораблё морскою болёзнью, а отчасти за памфлетъ въ стихахъ, написанный имъ на адмирала Грейга. Даль пересёдлаль изъ моряковъ въ лекаря; менёе чёмъ въ четыре года выдержаль отлично экзаменъ на лекаря и поступиль въ военную службу. Находясь въ Деритв, онъ пристрастился въ хирургіи и, владія, между многими способностями, необыкновенною ловкостью въ механическихъ работахъ, скоро сдёлался и ловкимъ операторомъ; такимъ онъ и повхаль на войну; потомъ онъ сдвлаль и польскую кампанію, гдъ отличился какъ инженеръ и піонеръ; а по окончаніи-вступиль ординаторомъ въ военно-сухопутный госпиталь и вскоръ

пересъдлалъ изъ лекарей въ литераторы, потомъ въ администраторы и кончилъ жизнь ученымъ, посвящавшимъ много лътъ составленію своего лексикона, матеріалъ къ которому, въ видъ пословицъ и поговорокъ, онъ началъ собирать еще, кажется, до Дерпта.

Въ его, читанныхъ намъ тогда, отрывкахъ попадалось уже множество собранныхъ имъ, очевидно, въ разныхъ углахъ Россіи, поговоровъ, прибаутовъ и пословицъ.

Первое наше знакомство съ Далемъ было довольно оригинально. Однажды, вскоръ послъ нашего прівзда въ Дерпть, мы слышимъ у нашего овна съ улицы какіе-то странные, но не незнакомые звуки: русская пъснь на какомъ-то инструментъ. Смотримъ—стоитъ студентъ въ вицъ-мундиръ; всунулъ онъ голову чрезъ открытое окно въ комнату, держитъ что-то во рту и играетъ: "здравствуй, милая, хорошая моя", не обращая на насъ, пришедшихъ въ комнату изъ любопытства, никакого вниманія. Инструментъ оказывается органчикъ (губной), а виртуозъ—В. И. Даль; онъ, дъйствительно, игралъ отлично на органчикъ.

Послѣ Дерпта я встрѣтился съ Далемъ въ 1841 году въ С.-Петербургѣ, когда онъ служилъ у министра внутреннихъ дѣлъ Перовскаго, и нерѣдко сходился съ нимъ въ нашемъ обществѣ, составленномъ изъ дерптскихъ пріятелей.

Польская революціи шла рука-объ-руку съ французскою, посл'є которой Николай Павловичь осерчаль на французовъ и запретиль русскимъ 'вздить во Францію. Да мало того: до 1833 года насъ никуда за границу не хот'єли пускать. Такъ мы и просид'єли въ Дерпт'є сверхъ положенныхъ еще два года; мн'є, однако-же (впрочемъ и другимъ), зачислили эти годы въ пенсію, посл'є моего ходатайства у военнаго министра въ 1850-хъ годахъ.

Вмёстё съ польскою революцією явилась и первая колера въ Россіи. Мы только слушали и ждали. Наконецъ, она добралась и до Дерпта. Первый случай встрётился между нами; одинъ изъ насъ, нёкто III рамковъ, изъ харьковскаго университета (фармакологъ), странный иппохондрикъ, чернолицый, съ желтоватымъ оттёнкомъ, вдругъ, къ вечеру, занемогъ чисто азіатскою холерою, и ночью, чрезъ шесть часовъ, Богу душу отдалъ.

Мы, медики, были неотлучно при постели больного; растирали, гръли, дълали, чт могли; привели двукъ профессоровъ: Замена (терапіи) и Эрдмана (фармакологіи). Ничего не помогло. Заменъ даже, кажется, струсилъ немного, и ушелъ какъ-то очень скоро, но Эрдманъ, старикъ, остался вмъстъ съ нами. Послъ того колера появилась въ инвалидномъ лазаретъ, въ концъ города.

Вообще, однако-же, она была умъренная и продолжалась не болбе шести недель (въ октябре). Я, пришедъ домой, поутру, отъ покойника Шрамкова, вдругъ какъ-то внутренно струсиль, почувствовавь какое-то непріятное ощущеніе тоски и страха прямо подъ ложечкою. Мнѣ казалось, что меня скоро начнеть рвать, или же что я упаду въ обморокъ. Я взяль тотчась же теплую ванну, приняль нъсколько опійныхъ капель, напился чаю, согрълся и заснулъ. Всталъ здоровымъ. Уже на другой день я сталь ходить въ инвалидный лазареть и почти ежедневно вскрываль холерные трупы. Въ это время прибыли въ Дерить, изъ Москвы и Петербурга, два французскіе врача. Оба они присутствовали при моихъ всерытіяхъ въ лазареть; увидьвъ ихъ (т.-е. всирытія холерныхъ) едва-ли не въ первый разъ, тотчась же принялись записывать найденное, и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться предъ иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственнаго нерва, солнечное сплетеніе, и т. п. Французы не ожидали, что русскій въ состояніи будеть легко и скоро обнаружить предъ ними для изследованія почти всь главные узлы груди и живота. Они выразили мив свое удовольствіе темъ, что начали приглашать въ Парижъ.

Наконецъ, я ръшился идти на докторскій экзаменъ, и, полагаясь на увъреніе Мойера, что онъ (т.-е. экзаменъ) будетъ для меня снисходителенъ, я къ нему вовсе не приготовлялся. Но, желая, по упрямству, показать факультету, что иду на экзаменъ не самъ, а меня посылаютъ насильно, я откинулъ весьма неприличную штуку.

Въ Дерптъ дълались тогда экзамены на степень на дому у декана. Докторантъ присылалъ на домъ къ декану обык-

новенно чай, сахаръ, нъсколько бутыловъ вина, тортъ и шоколадъ для угощенія собравшихся экзаменаторовъ (т.-е. факультета, свидътелей и т. п.). Я ничего этого не сдълалъ. Деканъ Ратке принужденъ былъ подать экзаменаторамъ свой чай. Жена профессора Ратке, какъ мнъ разсказывалъ потомъ педель, бранила меня за это на чемъ свътъ стоитъ. Но экзаменъ сошелъ благополучно, и оставалось только приняться за диссертацію. Но она взяла времени болъе года.

Меня уже прежде интересовала, и въ хирургическомъ, и въ физіологическомъ отношеніяхъ, перевязка брюшной аорты, сдѣланная тогда только однажды на живомъ человъкъ Астлеемъ Куперомъ.

Случай этотъ окончился смертью. Но оставалось рёшить, дёйствительно ли эта операція можеть быть произведена съ надеждою на усп'єхъ. Я сталъ д'єлать опиты надъ большими собаками, телятами и баранами. Вс'єхъ дол'є посл'є этой перевязки жилъ у меня одинъ баранъ въ им'єніи Штакельберга, въ которомъ я гостилъ л'єтомъ у Мойера, версть 15 отъ Дерпта.

Результатомъ всёхъ моихъ опытовъ и наблюденій было то, что въ большей части случаевъ перевязка брюшной аорты, замедляя внезапно кровообращеніе въ большихъ брюшныхъ артеріальныхъ стволахъ, причиняетъ смерть чрезъ онёмёніе спинного мозга (параличъ нижнихъ конечностей) и приливами крови къ сердцу и легкому. Но кровообращеніе послѣ перевязки аорты не прекращается въ нижнихъ конечностяхъ, и кровь тотчасъ же послѣ перевязки струится изъ ранъ бедренныхъ артерій; а перевязка аорты, сдѣланная постепенно (чрезъ постепенное сдавливаніе артеріи помощью ручного прибора), хотя переносится довольно хорошо, даетъ, однако-же, поводъ къ послѣдовательнымъ кровотеченіямъ.

Диссертація вышла для молодого докторанта не плохая.

Потомъ, въ бытность мою въ Берлинъ, когда я представиль ее знаменитому тогда Опицу, то онъ тотчасъ же велълъ перевести ее на нъмецкій языкъ (она была писана на латинскомъ, подъ именемъ: "Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate ingunali adhibitu facile actutum sit remedium" и

напечаталь ее въ журналь ("Journal der Chirurgie und der Augenheilkunde" v. Dr. Graefe und Prof. von Walther).

Мойеръ чёмъ дёлался старёе, тёмъ болёе и облёнивался. Въ послёдній годъ нашего пребыванія въ Дерптё онъ поручаль мнё дёлать многія операціи. Однажды я перевязаль бедренную артерію, вылущиль бьющуюся аневризму височной артеріи, вылущиль ручную кисть, сдёлаль отнятіе губного рака. Самъ онъ, видимо, уклонался въ послёднее время оть большихъ операцій. Но въ городё (частной правтики), когда случалось, оть операціи нельзя было отдёлаться.

Последнею операцією Мойера въ городе была мив паматная литотомія у дерптскаго тогдашняго богача Шульца. Мойерь делаль ее, находясь очевидно не въ своей тарелке. Нась несколько, — разумется, и мы двое (я и Иноземцевъ), ассистировали Мойеру. Иноземцевъ меня уверяль, что онъ видель собственными глазами, какъ Мойерь, отойдя куда-то въ сторону предъ операцією, перекрестился; было это такъ: Иноземцевъ разсказаль Мойеру, что знаменитый московскій литотомисть-операторь Венедиктовъ всегда предъ операцією крестился и клаль земные поклоны.

— "Что же, это не худо", — замътиль Мойерь, отошель и переврестился.

Операція у Шульца была сдёлана изъ рукъ вонъ плохо. Мойеръ оперировалъ Скарповскимъ горжеретомъ; я держалъ зондъ, и, когда горжереть былъ введенъ, показалась моча, я вынулъ зондъ. Мойеръ повелъ пальцемъ по горжерету, въ пузырь не попалъ и разсердился на меня, зачёмъ я вынулъ зондъ рано; "nun wird es eine Geschichte"; но Geschichte никакой не было.

Иноземцевъ ввелъ легко зондъ опять въ пузырь. Мойеръ полѣзъ снова горжеретомъ. Больной былъ толстякъ, и инструментъ для его заплывшей жиромъ промежности оказался недостаточно длиннымъ, однако-же дѣло все-таки кое-какъ сладилось; но вотъ брызнула съ шипѣньемъ изъ глубины струйка артеріальной крови.

— "Это что еще такое?" —вскрикнулъ Мойеръ; но и эта неожиданность обощлась.

Наконецъ, извлечены два камня.

Я, посл'в операціи, не утерп'явь, сболтнуль между товарищами пошлую остроту: "wenn diese Operation gelingt, so werde ich den Steinschnitt mit einem Stock machen". Это передали Мойеру, но добрявь Мойерь не разсердился и см'явлся оть души; а Шульцъ выздоров'яль.

Особенно Мойеръ сталъ бояться выръзыванія наростовъ; и когда—не помню, по какому случаю—я предлагать ему сдълать такую операцію, Мойеръ сказалъ мив:

- "Послушайте, я вамъ разсважу, что случилось однажды съ Рустомъ. Когда я былъ, - продолжалъ Мойеръ, - въ Вънъ у Руста, пріфхавъ туда отъ Скарны изъ Италіи, Русть показалъ мив въ госпиталв одного больного съ опухолью подъ кольномъ" (въ подкольной ямь). "А что бы туть сделаль старикъ Скарпа?" спросиль у меня Русть. - Я, изследовавъ опухоль, ответиль, что старикь Скариа въ этомъ случав предложиль бы больному ампутацію. "А я выр'яжу опухоль", сказалъ мив Русть. Подлипалы и подпевалы Руста уговаривали его показать прыть предъ ученикомъ Скарпы; и Русть, ассистируемый этими прихвостнями, началь дёлать операцію туть же, въ моемъ присутствіи. Нарость овазывается сросшимся съ костью, кровь брызжеть струею со всёхъ сторонъ; ассистенты, со страху, одинъ за другимъ, расходятся. Я помогаю оторопъвшему Русту перевязывать артерію въ глубинъ; больной истекаеть кровью. Тогда Русть говорить мив:
- "Этихъ подлецовъ мив не надо бы было слушать, они первые же и разбъжались; а вы отсовътывали мив, и все-таки меня не винули; я этого нивогда не забуду".

Занимаясь диссертацією, я вель въ Дерить пріятную жизнь: днемъ—въ клиникъ и въ анатомическомъ театръ, гдъ дълаль мои опыты надъ животными, вечеромъ—въ кругу нъсколькихъ новыхъ знакомыхъ изъ нъмцевъ; я узнавалъ много новаго о студенческой жизни и ея обычаяхъ.

Върно, нигдъ въ Россіи того времени не жилось такъ привольно, какъ въ Деритъ. Главнымъ начальствомъ города былъ / ректоръ университета.

Старикъ полиціймейстерь Яссенскій сь десяткомъ обо-

рванных вазаковь на тощих лошаденках, которых студенты, при нарушеніи общественнаго порядка, удерживали на місті, ціпляясь за хвосты,—полиціймейстерь, говорю, этоть держаль себя какъ подчиненный передъ ректоромъ; жандарискій полковникъ встрічался только въ обществахъ за карточнымъ столомъ. Университеть, профессора и студенты господствовали. Студенты по временамъ, пользуясь своимъ положеніемъ, терроризировали общество и особливо общество бюргеровь, извістныхъ у студентовъ подъ именемъ "кнотовъ".

Ни одно собраніе въ мѣщанскомъ клубѣ не обходилось безъ какого-нибудь смѣшного скандала. Особливо отличались скандальными выходками студентовъ маскарады въ этихъ клубахъ. Впускались только замаскированные; и вотъ одинъ студенть является въ красныхъ сапогахъ, съ длинною палочкою краснаго сургуча во рту, пучкомъ перьевъ на самой задней части тѣла и на головѣ; когда члены клуба не хотятъ его впустить, то онъ поднимаетъ шумъ, врывается въ залу и объясняетъ, что онъ замаскированъ въ аиста.

Другой (теперь известный генераль) дошель до того, что является въ бюргерскій маскарадь въ костюм'в Адама, приврытомъ чернымъ домино, и, ставъ передъ кружкомъ дамъ въ позу, прехладнокровно открываеть полы домино; дамы вскрикивають, разб'єгаются; сзади стоящіе мужчины, ничего не видя, кром'в чернаго домино, не понимають, въ чемъ д'єло; наконецъ. догадываются, и будущій генераль изгоняется mit Pomp heraus,

Особливую знаменитость пріобріви между студентами нівсволько провазнивовъ и оригиналовъ. Такъ, Анке, потомъ профессоръ фармакологіи московскаго университета и деканъ медицинскаго факультета, славился своими остротами и проказами. Уже одна наружность ділала его оригинальнымъ. Чрезвычайно подвижная и вмістів съ тімъ старческая, нісколько смахивающая на физіономію обезьяны, — какая-то юркость и скорость движеній и неистощимый юморъ придавали всімъ проказамъ и остротамъ Анке оригинальный характеръ.

Помию, напримёръ, такого рода проказу. Жилъ-былъ университетскій берейторъ Даву, а у него былъ сынъ, видный парень, хорошо объёзжавшій лошадей, но непозволительно глупый. Чтобы характеризовать его глупость, стоить разсказать

только такого рода пассажъ. Даву услыхаль однажды, что студенть, по имени Фрей, влюбившійся въ одну д'явушку, сд'ялаль ей предложеніе въ такомъ вид'я: "willst Du Frei werden, oder frei bleiben?" Это очень понравилось Даву, и онъ, по сов'яту Анке, написаль и своей возлюбленной: "willst Du Даву werden, oder Даву bleiben?"

Воть между этимъ-то смертнымъ и Анке вспыхиваеть война, — разумъется, придуманная самимъ же Анке. Подговоренные товарищи убъждають Даву, что онъ не долженъ сносить обиды такого проходимца, какъ Анке, и долженъ непремънно съ нимъ стръляться, если хочетъ остаться благороднымъ человъкомъ. Наконецъ, Даву ръшается на пистолетную дуэль, отдавшись совершенно въ распоряженіе подговоренныхъ секундантовъ. Даву, какъ обиженный, долженъ стрълять первый. Пистолеть его, конечно, зарядили не пулею. Даву стръляеть. Анке падаетъ и кричитъ, что онъ тажело раненъ. Друзья подбъгають, раздъваютъ. О, чудо! простръленъ боковой карманъ въ штанахъ; въ карманъ—табакерка Анке съ табакомъ, въ табакеркъ—пуля. Даву такъ и ахнуль отъ радости, что такъ счастливо и такъ мътко выстрълилъ.

Въ другомъ родѣ оригиналъ между старыми студентами въ Деритѣ, но также, какъ и Анке, неудобозабываемый, былъ Жако, или Іоко, Кизирецкій. Студенческій типъ, представлявшійся Кизирецкимъ, уже вымеръ давно. Даже и въ то время этотъ типъ встрѣчался только на сценѣ. Помню, въ Берлинѣ, въ одной нѣмецкой пьесѣ, извѣстный актеръ Шнейдеръ (фаворитъ государя Николая Павловича) неподражаемо изобразилъ этотъ типъ.

Въ длинимъ ботфортахъ (Kanonen-Stiefeln) со шпорами, въ крагенъ (студенческій плащъ), въ студенческой корпораціонной шапкъ на маковкъ, съ длинимъ чубукомъ въ зубахъ, студентъ-романтикъ прохаживается журавлинымъ шагомъ по сценъ и декламируетъ какимъ-то замогильнымъ голосомъ изъ Шекспира: "Seyn, oder nicht seyn?"

Іово Кизирецкій быль въ этомъ родів. Это быль студенческій Донъ-Кихоть, хотя и не высокій ростомъ, какъ Донъ-Кихоть, но также, какъ онъ, истощенный, сухой, всегда серьёзный и нахмуренный, въ врагенъ, ботфортахъ, шацочкъ на маковкъ; Кизирецкій таяль только предъ дамами, сочиняль имъ стихи и однажды издаль цълую книжку своихъ стихотвореній съ посвященіемъ: "Rosen und Lilien, gewidmet von Kieserezky".

Іоко являлся всегда въ траурѣ на улицахъ въ дни кончины Вашингтона и Боливара. На вопросъ, по комъ это надѣлъ трауръ, Іоко принималъ величественную позу, возводилъ глаза къ небу и торжественно провозглашалъ: "сегодня день кончины великаго сына свободы!"

Въ то время въ Дерптъ не существовалъ еще 5-лътній срокъ для окончанія курса наукъ въ университетъ, и я засталъ еще многихъ, такъ называемыхъ, bemooste Häupter, — сиръчь, мхомъ обросшихъ головъ. Мнъ показывали одного, сынъ крестный котораго оканчивалъ уже курсъ, а крестный папенька отца все еще числился между студентами.

Другого я зналь, предобръйшую душу и вовсе не глупаго человъва, вступившаго въ университеть года за четыре до нашего прибытія въ Дерпть и утхавшаго съ вучкою детей; онъ держаль уже у меня экзаменъ на лекаря, когда я поступилъ на профессорскую канедру въ Дерптъ. Между старыми студентами пользовался также извъстностью и спецификъ-Щульцъ. Никогда я не видълъ человъка болъе похожаго на птицу, какъ Щульца-специфика: длинный, заостренный носъ, узкій черепъ, короткое туловище, длинная шея, длиннъйшія, какъ шесты, ноги, походка журавлиная, студенческій костюмъ.

- Шульцъ! сколько вамъ летъ? былъ постоянный вопросъ знакомыхъ и незнакомыхъ.
- Тридцать-два года, если не считать четыре года, проведенные въ приготовленіи пилюль и порошковъ, — быль постоянный отвёть Шульца-специфика.

Бъдненькій, — сидълъ, сидълъ, ходилъ, ходилъ по лекціямъ въ университеть, да такъ и не кончилъ курса; чрезъ 20 слиш-комъ лътъ я встрътилъ его учителемъ нъмецкаго языка въ одной школъ кіевскаго учебнаго округа.

Свободная провинціальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптскаго студенчества придавали ему особое значеніе. И университетское начальство, и городское общество сознавали это значеніе, и въ своихъ отношеніяхъ въ сту-

денчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность въ обращеніи съ студентами и не допускали ни малъйшихъ экивоковъ въ отношеніи къ чести и достоинству студенчества.

Даже трактирщики и купцы не позволяли себт большой требовательности въ уплатъ долговъ, опасалсь студенческой анаеемы — Verschiess'а. Въроятно, незнавомый хорошо съ тъмъ настроеніемъ или, просто, слишкомъ понадъявшись на свою наглость, О аддей Булгаринъ попалъ однажды въ большой просакъ. Булгаринъ владълъ возлъ самаго города мызою (дачею) Карловомъ, и проживалъ тамъ по пълымъ мъсяцамъ съ своею женою и знаменитою "тантою". Я неръдко встръчалъ его у Мойера. Булгаринъ старался всюду проникнуть и со всъми познакомиться, франируя каждаго своею развязностью, походившею на наглость. Во время годовой ярмарки онъ ходилъ по лавкамъ затяжихъ петербургскихъ и московскихъ купцовъ, и когда они не уступали въ цънъ, то гровилъ имъ во всеуслышаніе, что разругаетъ ихъ въ "Стверной Пчелъ".

Сошедшись въ первый разъ (это было въ моемъ присутствіи) съ какими-то нёмцами, онъ увёряль ихъ, что то, что русскому здорово, нёмцу смерть, и въ доказательство приводиль примёръ, какъ одинъ объёвшійся солдать удивиль нёмцевь въ Лейпцигѣ. Всё думали, что онъ помреть, объёвшись, и всё рты разинули отъ удивленія, когда онъ въ ихъ же присутствіи очистилъ свой желудокъ въ количествѣ, по объему и вѣсу никѣмъ изъ присутствовавшихъ невиданномъ и неслыханномъ.

Словомъ, Оаддей Венедиктовичъ и въ Дерптъ не скрывалъ своего таланта. Однажды, за приглашеннымъ объдомъ у помъщика Липгардта, въ присутстви многихъ гостей и между прочими одного студента, Булгаринъ, подгулявъ, началъ подсмъиваться надъ профессорами и университетскими порядками. Студентъ передалъ потомъ этотъ разговоръ, конфузившій его за объдомъ, своимъ товарищамъ. Поднялась буря въ стаканъ воды. Начались корпоративныя совъщанія о томъ, какъ защитить поруганное публично Оаддеемъ достоинство университета и студенчества. Поръшили преподнести Булгарину къ Карловъ кошачій концерть. Слишкомъ 600 студентовъ съ горшками,

плошками, тазами и разною посудою потянулись процессіею изъ города въ Карлово, выстроились предъ домомъ и, прежде чъмъ начать концертъ, послали депутатовъ въ Булгарину съ объясненіемъ всего дъла и требованіемъ, чтобы онъ, во избъжаніе непріятностей кошачьяго концерта, вышелъ въ студентамъ и извинился въ своемъ поступеъ. Булгаринъ, кавъ и слъдовало ожидать отъ него, не на шутку струсилъ, но, чтоби уже не совсъмъ замарать польскій гоноръ, вышелъ въ студентамъ съ трубкою въ рукахъ и началъ говорить, не снимая шапки, не поздоровавшись. "Мите herunter! шапку долой!" — послышалось изъ толпы.

Булгаринъ снялъ шапку, отложилъ трубку въ сторону и сталъ извиняться, увъряя и клянясь, что онъ никакого намъренія не имълъ унизить достоинство высокоуважаемаго имъ дерптскаго университета и студенчества.

Тъмъ дъло и кончилось; студенты разошлись, но по дорогъ встрътили еще экипажъ Липгардта, окружили его и тоже потребовали объясненія, которое и было дано съ полною готовностью.

Начальство университета, т. е. ревторъ (въ то время Парротъ), зная, что Булгаринъ и жандармскій полковникъ не смолчать, тотчасъ собралъ сеніоровъ корпорацій, потребоваль объясненій, оказавшихся вожавами и распорядителями посадиль въ карцеръ, и все дёло уладилось безъ дальнёйшихъ послёдствій.

Да, корпоративное устройство студенчества—важное дёло въ отношеніи порядка и благочинія. Въ этомъ я достаточно убёдился въ бытность мою въ Дерптё учащимся и профессоромъ. Съ неорганизованною, безпорядочною и разношерстною толною молодыхъ людей ничего не подёлаешь. По моему, просто безуміе со стороны начальниковъ разглагольствовать съ собравшеюся толною студентовъ. Это значить вести и себя, и молодежь въ бёду, безъ всякой пользы для общаго дёла.

Учрежденіе корпорацій въ нашихъ русскихъ университетахъ, по образцу дерптскаго, конечно, немыслимо. Въ Дерптъ, какъ и въ германскихъ университетахъ, корпоративное дъло есть дъло традиціонное. А у насъ нътъ для него почвы. Но,

темъ не менте, пова въ нашихъ университетахъ не придумають учредить, темъ или другимъ способомъ, студенческаго представительства, правильно организованнаго,—пусть университетское начальство не разсчитываетъ на свое вліяніе и возд'ействіе на учащуюся молодежь.

Тогда ничего не остается иного, какъ —начальство университета, профессора, ректоры сами по себъ, а студенты — сами по себъ, а для порядка и благочинія — городская полиція. Это неминуемо. Но нравственно-научное значеніе университета многое утратить. А мы, старые студенты, именно дорожимъ тъми воспоминаніями, которыя, по прошествіи цълыхъ 50 лътъ, все еще связывають насъ съ прошлымъ университетскимъ житьемъбытьемъ. А воспоминанія эти дороги именно потому, что они не были бы для насъ такими, еслибы мы не чувствовали могучаго и живучаго вліянія университета на весь нашть внутренній быть, на все человъческое въ насъ.

Университеты наши перестають теперь быть университетами въ прежнемъ (и, я полагаю, настоящемъ) значеніи этого слова, сбитые съ толку политическимъ сумбуромъ. Но въ 1820-жъ и даже въ началь 1830-жъ годовъ студенчество въ Германіи и въ самомъ Дерптв не было чуждо политическихъ тенденцій. Правда, тенденціи того времени не были такія разрушительныя и радивальныя, вавъ современныя. Tugendbund, прельщавшій и увлекавшій студентовь, быль нравственнымь и національнымъ призваніемъ въ прогрессу. Однаво-же, послів Зандовскаго убійства, германскія власти не на шутку всполошились, и корпорація студентовъ-Burschenschaft-была сильно скомпрометтирована. Эта корпорація была строго-на-строго запрещена и въ Дерптъ; существовала, однако-же, довольно явно. Всв эти политическія теоріи между студентами того времени, потребовавшія множество арестовь, заключеній въ тюрьмахъ и даже крвпостяхъ, не уничтожили корпорацій и не препатствовали имъ существовать. Правительство убедилось, что занятіе корпорацій своими студенческими нуждами, потребностями и злобою дня не только не было опасно, но даже отвлевало брожение умовъ и приковывало ихъ въ интересамъ дня и двиствительности.

Я полагаю, что и въ наше время, еслибы кому-нибудь

изъ излюбленныхъ ученыхъ людей удалось, при учреждении студенческаго представительства, положить въ основание его вопіющіе интересы, нужды и заботы студенческой, труженической жизни, и этимъ внести въ представительство практическую, жизненную дѣятельность,—то большинство учащихся перестало бы бѣсноваться и бить лбомъ въ стѣну, теряя безвозвратно и непроизводительно для себя самое золотое время жизни.

Во время пребыванія моего въ Дерптв я сдалаль две повздви: одну въ Ревель, другую въ Москву.

Потядка въ Ревель съ товарищами Шиховскимъ и Котельниковымъ. Для чего? А такъ, здорово живешь. Вздумали и потхали.

Было л'єтнее, вакаціонное время и предпосл'єдній годъ нашего пребыванія въ Дерпті. Случились также,—и это главное,—какъ-то случайно лишнія деньги.

Наняли Planwagen, т. е. длинную телъту, крытую парусиною, съ входомъ и выходомъ сбоку. Въ Ревелъ посмотръли на море, на Катериненталь, нъсколько разъ выкупались въ моръ и познакомились съ слъдующими оригинальными личностями.

Во-первыхъ, съ учителемъ русскаго языка Бюргеромъ, бывшимъ студентомъ московскаго университета, пріобрѣвшимъ себѣ громвую—и, увы! печальную—извѣстность у ревельцевъ своимъ эффектнымъ переходомъ изъ протестантства въ православіе. Это случилось подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ Магницкаго, проживавшаго тогда (въ изгнаніи) въ Ревелѣ.

— "Бюргеръ, — разсказывали намъ ревельскіе нѣмцы, — мелъ по улицѣ, въ сопровожденіи толпы, въ православную церковь, надѣлъ на себя какую-то бѣлую сорочицу, привязалъ на шею себѣ веревку, плевалъ на западъ, и т. п." — Весь церемоніалъ выкопали откуда-то изъ-подъ спуда временъ.

Во-вторыхъ, познакомились у Бюргера съ другимъ русскимъ же учителемъ, изъ семинаристовъ, женившимся, съ годъ тому назадъ, на молоденькой, 15-лътней нъмочкъ, до того еще наивной, что послъ свадьбы она не хотъла ложиться спать съ мужемъ, а потомъ до того погрузилась въ наслажденія медоваго мъсяца, что мужъ чуть не помъщался.

Это любопытное происшествіе сообщиль намь, въ первый же день нашего знакомства, самъ супругь.

Въ-третьихъ, насъ пригласили непремънно посътить собраніе ръдкостей какого-то стародавняго аптекаря, прославившагося въ Ревелъ своими археологическими познаніями. Чего только не собралъ въ своемъ музев этотъ знаменитый ревельскій археологъ! Тутъ были, между древностями, и чучелы животныхъ, и анатомическіе препараты. Но всего интереснъе показалась мнъ бутылка съ невскою водою отъ петербургскаго наводненія 1824 года.

Въ-четвертыхъ, мы узнали или увидали и нъсколькихъ нъмецкихъ, ревельскихъ, оригиналовъ. Одинъ изъ нихъ, напримъръ, замъчателенъ былъ тъмъ, что носилъ для поддержанія животной теплоты длинный кусовъ фланели только на спинъ, основываясь на томъ, что и у свиней щетина растетъ преимущественно на хребтъ, а не на брюхъ.

Другой, віроятно, одержимый галлюцинаціей органа осязанія,—впрочемъ совершенно здоровый и світскій человікъ, преслідоваль постоянно у себя вшей на тілі. Иногда онъ вскакиваль со стула, біжаль къ окну и встряхивался на улиці. Ему казалось, что вши гурьбою, безъ зазрінія совісти, ползають по немъ.

Весьма интересною личностью въ Ревель оказался также докторъ Винклеръ (и отецъ, и сынъ). Сынъ Винклера, тогда еще молодой человькь, былъ уже оригиналенъ—въ отца. Такимъ онъ остался и на цълую жизнь. Онъ всегда вслухъ разсуждалъ самъ съ собою, не стъсняясь присутствіемъ своихъ паціентовъ. Разспросивъ паціента о его бользни, докторъ, къ изумленію всьхъ и каждаго, начиналъ вслухъ разсуждать съ собою о способъ леченія. "Что же я долженъ вамъ прописать?" разсуждаетъ докторъ вслухъ. "Если я вамъ дамъ теперь, примърно, камфору, то, пожалуй, бъду наживу; а если пропишу, напротивъ, каломель, то, можетъ статься, еще и куже будеть. А? Не такъ ли, какъ вы думаете? Подождемъ-ка лучше, или постойте, попробуемъ-ка вотъ это средство, старинное; отецъ очень любилъ его".

Паціенты внали особенности своего врача, любили, уважали его,—Винклерь быль, д'яйствительно, типъ честн'яйшаго и добросовъстивишаго врача, — довъряли и охотно лечились у него.

Весьма зам'вчательна одна мистическая черта въ жизни доктора или, в'врн'ве, всей его фамиліи.

И отецъ, и—особливо—сынъ считали огонь непріязненною для нихъ стихією. И старикъ, если я не ошибаюсь, и дёдъ умерли отъ огня; но особливо огня боялся сынъ-докторъ. Я помню, съ какимъ душевнымъ волненіемъ онъ строилъ себѣ домъ въ Ревелѣ; первымъ дѣломъ считалъ онъ поставить на своемъ домѣ,—скорѣе, домикѣ,—громовые отводы; но, поспѣшивъ поставить ихъ нѣсколько, онъ не успѣлъ соединить ихъ съ землею, а тѣмъ временемъ поднялась гроза. Мой Винклеръ былъ внѣ себя отъ ужаса, ожидая ежеминутно разрушенія своего дома; все, однако-же, обошлось на этотъ разъ благо-получно. Но Винклеру готовилось другое, болѣе сердечное горе. Отъ простуды или чего другого, Винклеръ почувствовалъ себя нездоровымъ и легъ въ постель, а на другой же день пригласилъ къ себѣ, на совъщаніе, пріятеля д-ра Эренбуша (отъ него я и узналъ эту исторію).

- "Другъ! обратился больной Винклеръ въ Эренбушу: со мною происходитъ что-то неладное, неестественное". Эти слова были сказаны таинственно, шепотомъ.
- Ну, что еще такое? дай пульсъ! Пульсъ ничего, спокойный, жара нътъ; что же тутъ неестественнаго?
- "Да не то. Слушай. Воть уже вторую ночь сряду я вижу во снъ дьявола, и не только ночью, а и днемъ; лишь закрою глаза, онъ тотчасъ же мнъ представляется".
- Да какой же онъ, дъяволъ-то твой? спрашиваетъ Эренбушъ.
- "Ну, черная, страшная фигура, сидить въ огить; но, главное, что меня тревожить, это то, что дыяволь держить у себя на волъняхъ моего младшаго ребенка".

Эта галлюцинація длилась еще нѣсколько дней, потомъ прошла. Винклеръ началь вытыжать и уже, казалось, забыль случившееся. И вдругъ—ужасное событіе. Ребенокъ Винклера, видѣнный имъ на колѣняхъ у дьявола, обжегся, сидя у топившейся печки, на смерть; на немъ загорѣлась рубашка, и онъ прожилъ послѣ обжога только нѣсколько часовъ.

Возвращаясь изъ Ревеля въ Деритъ, нашъ возница завхалъ по дорогъ въ корчму. Не успълъ онъ войти въ корчму, какъ мы услыхали русскую площадную ругань, крикъ и гвалтъ. Раскраснъвшійся извозчикъ, —видимъ, —бъжитъ къ намъ опрометью, а за нимъ гонится какой-то пьяный, босой и оборванный стрекулистъ; онъ подобгаетъ къ намъ, бормочетъ что-то несвязное и начинаетъ ругатъ и насъ.

- Да знаешь ли,—кричали мы, сидя въ планвагенъ, съ въмъ ты имъешь дъло?
- "Съ жидами", отвъчаетъ стрекулистъ, и снова принимается за руганъ.
- Въ полицію его представить, связать! Хозяинъ, давай сюда веревовъ! Ты видишь, онъ лёзеть на драку. Это безпаспортный прощалыга, а можеть и воръ.
- "Какъ! я—безпаспортный прощалыга! А вотъ вамъ, читайте, коль умъете. Знайте-ка, кто я!" и вслъдъ за этимъ къ намъ въ планвагенъ летитъ смятый и скомканный дипломъ московскаго университета на званіе дъйствительнаго студента.

Мы узнаемъ землява и бывшаго сотоварища по университету, вазеннаго студента, отправленнаго потомъ въ Эстляндію уъзднымъ учителемъ. Онъ былъ изъ семинаристовъ и спился на дешевой и връпвой вартофельной, нъмецкой, водкъ. Послъ этого отврытія буянъ тотчасъ же стихъ, залился слезами и побъжалъ въ корчму за водкою для угощенія земляковъ. Но мы поспъшили уъхать, не дожидаясь угощенія.

Такая печальная участь ожидала въ то время почти каждаго казеннаго учителя русскаго языка въ прибалтійскихъ провинціяхъ.

Потомъ, когда я былъ профессоромъ въ Дерптъ, ко мнъ не разъ являлись за пособіемъ бъдствующіе русскіе учителя, безъ сапогъ и безъ заднихъ ногъ. Причина этого нерадостнаго явленія была та, что университетское начальство высылало въ прибалтійскія провинціи поскребки. Кто изъ казеннокоштныхъ плохо учился, кутилъ или пилъ горькую, и только изъ состраданія помилованъ, кое-какъ окончивъ курсъ, —тотъ посылался учителемъ въ Эстляндію или Лифляндію; а тутъ, незнакомый ни съ языкомъ, ни съ обычаями, непринятый нигдъ въ обществъ сверстниковъ, подвергаемый насмъшкамъ и злымъ шут-

камъ отъ мальчиковъ-учениковъ, видавшихъ его не разъ пьянымъ, злосчастный педагогъ окончательно спивался и бъдствовалъ. Кромъ позора русскому имени, русскіе учители того времени ничего не вносили въ край, и русская грамота оставалась въ нъмецкихъ и остзейскихъ школахъ дъвственницею.

Заговоривъ о судьбахъ русскаго языка въ прибалтійскомъ краѣ, кстати скажу и объ отношеніяхъ нѣмецкаго элемента въ русскому, эстонскому и латышскому.

Въ первые годы моего пребыванія въ Дерптв нвицы и все нъмецкое производили на меня какое-то удручающее впечатленіе. Мне вазались немцы надутыми и натянутыми педантами, свысока, недоброжелательно и съ презрѣніемъ относящимися по всему русскому, а следовательно и въ намъ. Они, скучные и бездарные учителя, -- казалось мнв, -- не могли возбудить въ насъ ни малейшаго сочувствія въ своей наукв. Напротивъ того, французы казались народомъ избраннымъ, даровитымъ, симпатичнымъ. Въ моемъ дневникъ, который и велъ тогда, безпрестанно встръчались порою страстные, лирическіе возгласы то противъ моего одноващива Иноземцева, то противъ нъмецкихъ профессоровъ. Это предубъждение мы, русскіе, выносили съ собою изъ дома и изъ нашихъ университетовъ. Наши отцы и учители были такого же мивнія, какъ и мы, о нъмцахъ и французахъ. И, надо сказать правду, нъмецкая наука того времени, -- между прочими, конечно, и врачебная, - была не очень привлекательна для молодого русскаго. Мы, не пріученные ни въ школахъ, ни въ университетахъ сосредоточивать вниманіе, следить и заниматься самостоятельно и самодъльно научными предметами, -- мы, говорю, не могли сочувственно относиться въ длиннымъ, переполненнымъ вставками, періодамъ тогдашней нѣмецкой рѣчи. Все казалось съ перваго взгляда туманнымъ, сбивчивымъ, неяснымъ. То ли дъло у француза-все ясно, чисто, гладво, наглядно. А туть еще такія имена, какъ Биша, Desault, Dupuytren. Пожалуй, вонъ, педанть нъмецъ Эрдманъ и называетъ Broussais мальчишкою въ сравненіи съ німцемъ же Reil'емъ; да въдь это говорить нъмецкая же зависть и тупоуміе.

Тавъ думалось въ то время.

И остзейскіе нъмцы своими отношеніями къ русскимъ

вообще поддерживали антипатію, — не хотели знать ничего русскаго; покровительствуемые и отличаемые правительствомъ, они и къ нему только тогда относились сочувственно, когда оно оказывало имъ явное предпочтение и соблюдало ихъ немецкие интересы.

Современныя натянутыя отношенія руссофиловъ къ нѣмцамъ беруть свое начало съ того еще времени, когда прибалтійскій край пользовался особымъ почетомъ и предпочтеніемъ; и въ натянутости отношеній не мало виновата и безтактность остзейцевъ, искавшихъ только того, чтобы пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ, и не умѣвшихъ или не хотѣвшихъ искать сближенія съ русскою національностью.

Но вто отнесется, какъ опытъ и время меня научили относиться, безпристрастно и добросовъстно въ объимъ сторонамъ, тотъ, я полагаю, отдастъ, вмъстъ со мною, полную справедливость многимъ прекраснымъ, высокимъ и образцовымъ свойствамъ германскаго духа и германской науки.

Въдь не можемъ мы, въ самомъ дълъ, винить націю, — и націю, очевидно, даровитую и высоко-культурную, — что она предпочитаетъ и старается предпочитатъ свое — чужому. Когда свое дъйствительно и существенно хорошо, то вопросъ: насколько лучше его чужое — трудно ръшить. Мы не должны судить по себъ. Намъ не трудно быть безпристрастными въ чужому. У насъ свое дъйствительно и существенно хорошее — ръдкая птица; правда, ръдкую птицу тоже нелегко оцънить безпристрастно, но ръдко встръчающаяся оцънка не вредить обиходному безпристрастію.

И мы, по крайней мъръ нашъ культурный слой, вообще, къ своему русскому не пристрастенъ. Но и нашъ культурный слой не безпристрастно сравниваетъ одно чужое съ другимъ чужимъ.

Французамъ, напримъръ, мы отдаемъ преимущество, какъ я убъдился на собственномъ опытъ, вовсе не сознательно.

Еще съ прошедшаго столътія французскій язывъ вошель у насъ въ моду, сдълался вывъскою образованія, хорошаго тона; онъ отврываеть входъ и въ сильнымъ міра. Столица Франціи считается столицею европейскаго міра; французы—народъ обходительный, ловкій, веселый, остроумный, и пр. и пр.

все въ этомъ родѣ. Но, прослѣдивъ себя и францувовъ глубже, русскому культурному человѣку—я полагаю—можно бы было убѣдиться, что складъ русскаго ума имѣетъ мало общаго съ францувскимъ складомъ, и скорѣе склоняется на сторону германскаго. Недаромъ изъ славянъ вышло немало цѣльныхъ ученыхъ въ нѣмецкомъ духѣ.

Я думаю даже, что мы именно потому и менте сочувствуемъ нёмцамъ, что съ ними сходимся по обычаямъ, образу жизни въ холодныхъ странахъ. И разве духъ германской поовіи не боле сроденъ духу нашей, чты французской?

И воть, чёмъ долёе я оставался въ Дерпте, чёмъ более знавомился съ нъмцами и духомъ германской науки, тъмъ болве учился уважать и ценить ихъ. Я остался русскимъ въ душъ, сохранивъ и хорошія, и худыя свойства моей національности, но съ нъмцами и съ культурнымъ духомъ нъмецкой націи остался навсегда связаннымъ узами уваженія и благодарности, безъ всякаго пристрастія къ тому, что въ немце дъйствительно нестерпимо для русскаго, а можеть быть и вообще для славянина. Непріязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взглядъ нъмца на Россію и русскихъ и пристрастіе во всему своему німецкому мит не сдълались пріятнъе, но я научился смотръть на этоть взглядъ равнодушнве и, нисколько не оправдывая его въ целомъ, научился принимать въ сведенію, не сердясь и безъ всяваго раздраженія, справедливую сторону этого взгляда. - Перейду въ фактамъ.

Въ 1830-хъ годахъ прибалтійскіе дворяне, а съ ними и все культурное остзейское общество, очень гордились свободою своихъ крестьянъ.

- "У васъ тамъ, въ Россіи, есть еще врвпостине, —хвастались нъкоторые студенты, —а у насъ уже ихъ давно нътъ. У насъ всъ свободны; это потому, что нашъ врай голова Россіи".
- "Кто это, господа, выдумалъ, слыхалъ я также въ Дерптъ, что будто-бы русское правительство заложило остзейскія провинціи у заграничныхъ банкировъ? Какая нелъпость!

are, slio cr epr

B-

e

Закладывають имёнія, земли, но гдё слыхано, чтобы вто закладываль свою голову и свои глаза!"

Гораздо остроумнъе и справедливъе, котя и не менъе печальный для русскаго самолюбія, отвъть Мойера Өаддею Булгарину—по слъдующему случаю:

Өаддей Венедивтовичъ, по обывновенію, подгулявъ здорово за однимъ об'єдомъ у дерптскаго пом'єщика, началъ молоть вздоръ безъ всякаго соображенія и такта.

— "Вотъ постойте, — кричалъ онъ: — еще увидите, что русскія знамена будутъ развѣваться на берегахъ Рейна!"

Всѣ взбуторажились. "Какъ! Что? Да это уже слишкомъ нагло!" Шумъ, крикъ. Булгаринъ радъ-радешеневъ, что ему удалось разозлить нѣмцевъ. Когда шумъ немного стихъ, Мойеръ, присутствовавшій на объдѣ и считавшійся, по своему родству и близкому знакомству съ русскими, кавъ бы полу-русскимъ,— вдругъ обращается тихо и спокойно въ шумѣвшимъ и въ Булгарину.

— "Что же, господа, это дъйствительно возможно: русская армія можеть завоевать Рейнъ; а знаете ли, Өаддей Венедиктовичь, что потомъ будеть?" — обратился Мойерь къ Булгарину.

Өаддей Венедиктовичь уже радовался, что нашель въ Мойеръ еще подпору,—нъсколько замялся.

— "Хотите, я вамъ скажу? — продолжалъ Мойеръ: — будеть то, что виноградныя лозы на Рейнъ выдернуть, а на мъсто ихъ посадять лувъ".

Не правда ли, что мътко? И всякій безпристрастный русскій скажеть, что върно. Глупое, заносчивое, а главное, поддъльное самохвальство упившагося Өаддея не могло быть лучше отдълано.

Въ другой разъ Мойеръ защитилъ русское правительство противъ нѣмецко-французскаго либерализма.

Французская революція 1830-го года вскружила и німцамъ голову, и воть одинъ изъ нихъ, въ гостяхъ у Мойера, новопріївзжій, началъ восхвалять новое французское правительство на счеть Россіи.

— "Что вы мнъ толкуете! —воскликнулъ Мойеръ: —я всегда предпочту быть съъденнымъ лучше львомъ, чъмъ искусаннымъ до смерти кучею муравьевъ".

Дъйствительно, Мойеръ любилъ и уважалъ новаго государя (Николая Павловича). "Александръ І-й былъ похожъ на французскаго маркиза,—по словамъ Мойера,—а Николай—это настоящій государь, какъ надо быть".

Въ бытность свою въ Петербургъ, Мойеръ съ восхищениемъ разсказывалъ мнъ про извозчика, на которомъ онъ куда-то ъхалъ.

"Вдругъ вижу, — говорилъ Мойеръ, — что мой извовчикъ снялъ шапку и тдеть съ открытою головою.

- Что ты?—спрашиваю его.
- -- "А тамотко онъ самъ проёхалъ, онъ самъ!"

"Воть такъ отвъть; лучшаго имени государю не придумаешь!"

Но какъ ни хвастались предъ нами прибалтійскіе культурные люди 1830-хъ годовъ свободою своихъ крестьянъ, видно было, что это дело свободы не совсемъ ладное. Нищету сельскаго люда нельзя было скрыть; да и помъщики не очень блаженствовали, и именія то-и-дело переходили въ руки арендаторовъ (напоминавшихъ мнъ съ виду польскихъ арендаторовъ юго-западнаго края). Причину приписывали тупости и идіотизму эстонскаго мужика. Не знаю, какъ теперь, но въ то время было въ ходу множество разсказовъ о врожденной тупости и ограниченности эстовъ. Передавали, напримъръ, за достоверный факть, что одинъ крестьянинъ, слыхавшій о томъ, что можно деньги класть въ рость и получать годовые проценты, закопаль скопленные имъ сто рублей въ землю на цвлый годъ; по прошествіи этого времени, вынувъ ихъ опять и сосчитавъ нъсколько разъ, этотъ предпріимчивый эсть біжить къ сельскому судьв, реветь и жалуется, что его обокрали.

- Да что-же и сколько у тебя украли? спрашиваеть судья.
- "А я знаю,— отвъчаеть эсть, —я знаю только, что я закопаль сто рублей".
 - Ну, а сколько же опять вынуль?—спрашивають его.
 - "Да опять только сто".
 - Такъ на что же и на кого ты жалуепься?
 - "Да отложенныя деньги, меня увъряли, должны рости

и прибавляться, а почему же мои цёлый годъ пролежали и ничего не выросли?"

Неумвные эстовы считать и легко соображать, дъйствительно, бросалось вы глаза.

Яйцы, раки и т. п. покупались у крестьянь на рынкѣ не иначе, какъ отсчитывая за каждую штуку по одной мѣдной монетѣ. Куплены яйца по копъйкъ за штуку: покупатель беретъ одно яйцо и кладетъ копъйку, беретъ потомъ другое и опять выкладываетъ копъйку. Это я и самъ видалъ.

Въ клиникъ встръчались также презабавныя qui pro quo, свидътельствовавшія не въ пользу эстонской сообразительности.

Отпущенныя больнымъ крестьянамъ лекарства весьма неръдко перемънались, такъ что наружныя употреблялись внутрь и внутреннія --- снаружи. Разсказывали даже презабавную исторію о лечебномъ дійствіи аптекарскихъ пробовъ на чухонцевъ. Одинъ больной крестьянинъ получилъ изъ клинической антеки какое-то лекарство и после того не являлся. Чрезъ мъсяцъ онъ приходить опять въ клинику и просить того же самаго лекарства, по его словамъ, какъ рукою снявшаго болезнь; а такъ какъ она опять воротилась, то онъ и прищель опять попросить цълебнаго снадобья. Справились въ клиническихъ внигахъ, въ аптекъ, у практивантовъ, наконецъ у самого аптекаря, который хорошо помнилъ больного, и лекарство отпустили. Крестьянинъ, после этого, является въ влинику опять и увъряеть, что лекарство отпущено ему не то, не прежнее, сразу его вымечившее; ему отпускають опять то же лекарство, но въ усиленномъ пріемъ. Все не помогаеть.

- Да дайте мнъ, ради Христа, то, что я съълъ въ первомъ лекарствъ! просить больной, кланяясь низко.
 - "Какъ съвлъ? да ведь лекарство было жидкое!"
- Правда, что жидкое, быль отвъть: да въ жидкомъ-то плавали какіе-то корешки; вотъ они-то самые мнъ и помогли, когда я ихъ съълъ.
 - "Что за притча!"

Разсказъ больного заинтересовалъ клиницистовъ; началось разследованіе. Наконецъ, аптекарь догадался, въ чемъ дело, и сначала какъ-то мялся и что-то скрывалъ, но потомъ не выдержалъ и признался, что у него было несколько старыхъ

большихъ сткляновъ съ оставшимися въ нихъ пробками. Вотъ въ одну-то изъ такихъ сткляновъ и было налито лекарство, надълавшее столько шуму.

Не свидътельствуетъ въ пользу чухонскаго остроумія и колокольчикъ отъ дуги, хранившійся въ мое время въ клиническомъ кабинетъ и вытащенный Мойеромъ изъ заднепроходной кишки эстонца. Онъ страдаль запоромъ и, вмъсто того, чтобы способствовать выходу задержаннаго наружу, попаль на мысль —забить еще клинъ снаружи. Колокольчикъ ушелъ глубоко и не безъ труда былъ извлеченъ чрезъ нъсколько дней.

Но, разумъется, всъ эти свидътельства чухонскаго тупоумія не доказывали еще, что тупоуміе и есть главная причина нищеты сельскаго люда. Во-первыхъ, уже потому—нътъ, что эстъ, несмотря на свою неразвитость, не лънивъ, настойчивъ и териъливъ; это могъ каждый изъ насъ замътить, вышедъ въ поле и наблюдая, съ какимъ настойчивымъ трудомъ надо было орать пахарю на почвъ, усъянной валунами. Потомъ, прибалтійскій край населенъ не одними эстами; а другое его населеніе—леты, латыши—уже непохожи на чухонъ. Недаромъ языкъ латыша весьма близокъ къ санскритскому; латышъ гораздо ближе и къ славянскому племени. Его никто не назоветъ идіотомъ.

Съ перваго же дня нашего прівзда въ Дерпть, въ намъ нанялись въ услужение пара супруговъ; мужъ-эстъ, женалатышка. Мужъ Іоганнъ, типъ чухонства, - нерасторопный, тяжелый, непонятливый, впрочемь очень честный и работящій, годился бы собственно для ношенія одн'яхь тяжестей; онъ быль сильный, коренастый парень. Смёшонъ до крайности своею неповоротливостью и свойственною всёмъ эстамъ невозможностью произносить букву с передъ т: стаканъ выходить "таканъ"; Stiefel — "Tiefel". Совершенно другое существо была жена Іоганна, латышка Лена: подвижная, всегда чёмъ-нибудь занятая, чистоплотная, аккуратная, всегда въ чистомъ беломъ чепце и фартувъ, Лена могла вездъ усиъть и всюду посиъть въ два раза скорве своего мужа: зная хорошо по-нвмецки, она говорила за мужа; знала хорошо считать и читать. Лена была піэтистка, и утреннее время по праздникамъ проводила въ молитвенномъ домъ, въ чтеніи и пъніи псалмовъ; иногда же, оставаясь одна въ вомнать, она пъла вполголоса молитвы. Лена служила мив целых десять леть; пять леть служила мив и Иноземцеву, когда мы жили виесте въ клинике, и пять леть -- когда я быль профессоромь въ Дерить; тогда на ней одной лежало все мое домашнее хозяйство, -- другого слуги у меня не было; даже и тогда (правда, очень редко), когда собирались у меня на профессорскій вечеръ, Лена успівала всегда и везді одна. Ни разу не было ни пропажи, ни потери; никогда я не ссорился съ Леною, и ни я ей, ни она мнв ни однажды не сказали ни одного грубаго слова. Когда она служила намъ вместе съ Иноземцевымъ, то надо было удивляться ея такту и находчивости въ присутствіи молодыхъ людей, собиравшихся неръдко у Иноземцева и позволявшихъ себъ говорить разныя нескромности. Лена, прислуживая, делала такъ, какъ будто не слышить и не обращаеть нивакого вниманія; если же кто заходилъ слишкомъ далеко, обращаясь къ ней прямо съ болтовнею, того она такъ ловко и учтиво обръзывала, что онъ тотчасъ же прикусываль языкъ.

Для меня всегда были замѣчательны отношенія эстовь и летовь къ нѣмецкому культурному слою. Какъ только эсть или леть дѣлался горожаниномъ, ремесленникомъ, школьникомъ городского училища, онъ превращался или старался превратиться въ чистокровнаго нѣмца. И сколько уже дѣльныхъ и талантливыхъ врачей и мастеровъ съ нѣмецкими и не-нѣмецкими именами перешло изъ эстовъ и летовъ въ нѣмецкую интеллигенцію!

Многіе изъ перешедшихъ, въ мое время, забыли и старались хорошо забыть свое происхожденіе, скрывая его или относясь въ своему народу свысока. Теперь, кажется, обнаруживается нѣкоторая реакція. Я же слыхаль только отъ прислуги о розни между господами и народомъ. Лена сказывала мнѣ, что крестьяне не долюбливають саксовъ (господъ); но о себѣ она умалчивала, относя себя уже къ другому, болѣе культурному слою.

Ненависть или, по врайней мёрё, непріязнь сельскаго люда въ ихъ саксамъ начала проявляться къ концу 1830-хъ годовъ, преимущественно во время голодовки, и тогда же слышнѣе заговорили и о недостаткахъ, пробълахъ и промахахъ въ аграрномъ дълъ. Руссвіе, знакомые съ устройствомъ сельсваго люда въ прибалтійскомъ крат, заговорили первые, что нищета и недовольство зависять не отъ лъности и тупоумія народа, а отъ того, что его обезземелили при эманципаціи. Это такъ; но наши народолюбцы забыли, и теперь еще забываютъ, что за 60 и болъе лътъ тому назадъ у насъ иначе и невозможно бы было освободить крестьянъ отъ кръпостной кабалы, какъ оставивъ всю землю за помъщиками. Кръпостники и кръпостничество того времени были не чета нынъщнимъ.

Въ Лифляндіи я слыхалъ отъ старожиловъ, что Александръ I, освободивъ крестьянъ въ прибалтійскомъ крат, хоттять-было испробовать эту мтру и въ состедней псковской губерніи; но по прітвут въ эту губернію былъ предувтомленъ рижскимъ генералъ-губернаторомъ Паулуччи о заговорт противъ жизни императора; сбирались, будто-бы, отравить его ядомъ.

Заговоръ устрашилъ, будто-бы, императора, и намерение эманципировать псковскихъ крестьянъ было оставлено.

Какими бы ни были отношенія крестьянъ къ интеллигенцін прибалтійскаго края въ началі и средині 1830-хъ годовъ, то върно, что ни врестьяне, ни горожане, ни интеллигенція остзейсвихъ провинцій въ то время не питали расположенія и симпатін ни въ чему русскому. По-эстонски русскіе и татары имъли одно и то же названіе; русскій языкъ въ школахъ былъ въ пренебреженіи, и имъ, --- конечно, по винѣ самого правительства, -- никто не занимался; русское общество, и безъ того малочисленное, оставалось совершенно изолированнымъ. Только нашъ профессорскій институть какъ будто намеваль на нівкоторую связь прибалтійской интеллигенціи съ нашею отечественною. Край управлялся своими провинціальными законами, ландтагами, ландратами и т. п. Даже деньги были провинціальныя, sui generis, вожаныя и картонныя. Намъ выдавали жалованье изъ убзднаго казначейства пачками кожаныхъ и картонныхъ четырехугольныхъ листковъ, величиною въ обыкновенныя визитныя варточки.

Не знаю, кто—городскія или губернскія власти и общества имѣли право выпускать эту монету; но она не была свыше 2-хъ рублей (четвертаковъ) и ниже 50-ти копъекъ (ассигн.). Не мудрено, что о русскихъ законахъ и русскомъ правосудін имълось въ краї весьма нелестное понятіе.

Мойеръ, проходя однажды со мною по улицъ, увидалъ чухонца, колотившаго напропалую палкою свою лошаденку; она застряла въ грязи съ возомъ дровъ. Смотрю — мой Мойеръ, всегда спокойный и разумный, вдругъ бросается на мужика и даетъ ему нъсколько подзатыльниковъ, что-то крича по-чухонски и, очевидно, заступаясь за несчастную лошадь. Я стою на троттуаръ и смотрю съ удивленіемъ на эту неожиданную сцену.

Мойеръ, возвратившись во мнъ, говоритъ: "So ist mit Gerechtigkeit in Russland!" (Можно безнаказанно драться на улицъ.)

"Значить, — подумаль я, — по твоему, не тоть виновать, кто человека быеть за лошадь, а тоть, кто этого не допустить не въ силахъ".

— "Herr Doktor Wachter, Sie sind dummer, als die russischen Gesetze dieses erlauben",—говориль на своихъ лекціяхъ другой профессоръ.

Это быль оригиналь, закоренвлый немець, остроумный и даровитый, съ необыкновенною памятью (онъ наизусть почти зналь "Оберона" Виланда), но горькій пьяница, профессорь анатоміи Цихоріусь, старый холостякь, день и ночь сидевшій у себя въ дом'в съ закрытыми ставнями. День и ночь гор'яла св'яна. Вм'есто мебели сложены были въ комнатахъ груды порожнихъ бутылокъ. Воть этотъ геній и находиль, что его прозекторь, австріецъ д-ръ Вахтеръ, превзошелъ ту степень глупости, которая допускается русскими законами.

А д-ръ Вахтеръ отвъчаеть ему:

- "Herr Hofrath, ich kenne die russischen Gesetze nicht".

Воть какъ жили при Аскольде наши деды и отцы!

Уже встати о д-рѣ Вахтерѣ. Онъ быль моимъ пріятелемъ, насколько 50—60-лѣтній, стараго покроя, австрійскій подданный могь быть пріятелемъ русскаго юноши, искавшаго прогресса чутьемъ.

И послъ, когда а сдълался профессоромъ въ Дерптъ, я былъ единственный изъ профессоровъ, котораго навъщалъ и

съ воторымъ знакомъ быль д-ръ Вахтеръ. Какъ кажется, именно австрійское Вахтера происхожденіе и католическое вёроисповёданіе и были мотивами нашего сближенія. Протестанты, сёверяне, доктринеры—смотрёли свысока на австрійскаго лекаря-католика, не учившагося въ нёмецкомъ университетъ. "Ізті propheti", —называлъ онъ ихъ мнё на своемъ латинскомъ діалектъ, завидъвъ гдъ-нибудь профессора.

Д-ръ Вахтеръ, после отставки Цихоріуса, читаль анатомію по найму и быль, действительно, чудавъ не малой руки. Онъ выстроиль себь какой-то невиданной архитектуры домь, похожій на восточные дома, съ плоскою крышею, углубленный въ вемлю, одноэтажный, кирпичный, окнами только на дворъ, а сь улицы представлявшійся проходящимъ низкою и глухою кирпичною ствикою. Въ этомъ жилище д-ръ Вахтеръ обиталъ съ своею небольшою семьею; вставалъ очень рано, пилъ вмъсто кофе и чая водку, закусывалъ ячменною кашею, бралъ въ зубы спичку вивсто сигары и отправлялся въ анатомическій театрь, гдё одинь, безь помощниковь, препарироваль и читалъ лекціи громко и внятно, шокируя и сміша слушателей своимъ австрійскимъ діалектомъ. Со мною, гдѣ и кавъ только можно, Вахтеръ говориль по-латыни, отпуская при каждомъ удобномъ случав какой-нибудь латинскій экспромить. Увидить ли докторъ гдъ-нибудь собравшихся на улицъ бабъ, онъ непремвнно скажеть мив:

> Quando conveniunt Catherina, Rosina, Sybilla Sermonem faciunt Et de hoc, et de hoc, et de illa.

Д-ръ Вахтеръ былъ и анатомъ, и врачъ-практикъ; дѣлалъ операціи, на которыхъ я ему обывновенно ассистировалъ; лечилъ, большею частію, въ домахъ внотовъ, ремесленниковъ низшаго разряда.

Студенты пускали въ ходъ множество забавныхъ аневдотовъ изъ практики д-ра Вахтера. Какъ онъ, напримъръ, увърялъ своего больного, что у него солитеръ сталъ поперекъ кишки, а прописанное лекарство непремънно поворотить глисту и распрямить ее въ длину.

Но лекарствъ изъ аптеки д-ръ Вахтеръ не любилъ пропи-

сывать и предпочиталь имъ, гдв только можно, домашнія; изъ нихъ любимымъ для д-ра былъ ромашковый чай. Разсказывають, что, позванный однажды ночью къ трудно-больному, д-ръ Вахтеръ идеть прямо къ постели, стоявшей во мракъ, и прямо даеть больному свой обыкновенный совъть: "Trinken Sie mal Camomillenthee, es wird schon gut werden",—а затъмъ щупаеть пульсъ и, не нашедъ его на похолодъвшей уже рукъ, спокойно извиняется:

- "Ah, so! Verzeihen Sie, Sie sind schon todt".

Таковъ быль Вахтеръ. Но пусть върять или не върять миъ, а я полагаю, что онъ, Вахтеръ, принесъ миъ своими анатомическими демонстраціями пользы не менъе знаменитаго Лодера. Немало изъ слышанныхъ мною въ нъмецкихъ и французскихъ университетахъ приватныхъ лекцій (privatissima) не принесли миъ столько пользы, какъ privatissimum у Вахтера, въ первый же семестръ моего пребыванія въ Дерптъ. Вахтеръ прочелъ миъ одному только вкратцъ весь курсъ анатоміи на свъжихъ трупахъ и сниртовыхъ препаратахъ. Съ тъхъ поръ мы и стали пріятелями.

Я уже сказаль, что нёмцы въ Дерите, въ первое время моего пребыванія, за исключеніемъ, можеть быть, одного только Мойера, произвели отталкивающее впечатлёніе. И прежде чёмъ время, опыть и разсудовъ успёли измёнить мой опибочный и пристрастный взглядъ, неожиданный случай указаль мнё на личность, совершенно непохожую на другихъ и сразу же оказавшую на меня привлекательное дёйствіе.

Въ Дерптв жилъ въ то время богатый лифляндскій помъщикъ Липгардтъ. Сынъ его — молодой Карлъ von Liphardt, получилъ домашнее и, что важно, вовсе не нъмецкое образованіе; — онъ учился у швейцарца. По смерти дъда, Карлъ Липгардтъ получилъ значительное наслъдство и, сдълавшись самостоятельнымъ, захотълъ усовершенствовать свое образованіе университетомъ, но приватно и не поступая въ университетъ студентомъ. Съ этою цълью онъ обратился прежде всего къ профессору математики Бартельсу. Математика интересовала Липгардта, и онъ ею прилежно занимался. Бартельсъ, очень занятый высшею математикою, сначала не повърилъ, чтобы молодой человъкъ домашняго воспитанія былъ въ состояніи

нонимать уроки Бартельса изъ высшей математики, и, чтобы доказать это молокососу, задаль ему для пробы какую-то хитросплетенную задачу. Липгардть тихо и скромно принялся, въ присутствіи же Бартельса, за рѣшеніе. Профессорь изумился. У него и студенты, оканчивающіе курсь, не рѣшали такъ своеобразно, какъ это сдѣлаль Липгардть.

— "Молодой человъкъ, — сказалъ тогда Бартельсъ: — я вижу, у васъ есть талантъ; приходите, я охотно буду даватъ вамъ уроки".

Но талантъ Карла Липгардта былъ не односторонній; его начинала интересовать не одна математива; онъ скоро явился и въ анатомическій театръ, таща съ собою анатомическій атласъ F. Cloquet (тогда самый новый и самый лучшій). Тутъто и было наше первое свиданіе. К. Липгардтъ принялся съ юношескимъ пыломъ за анатомію. Препарированіе на трупахъ, чтеніе Биша, лекціи—заняли все время. Вотъ тогда-то и Мойеръ, познакомившись съ Липгардтомъ, къ удивленію его прежнихъ слушателей, принялъ дѣятельное участіе въ нашихъ работахъ.

Я не зналь въ жизни ни одного человъка, имъвшаго такъ много разнообразныхъ научныхъ и притомъ глубокихъ свъденій, какъ Карлъ Липгардть. Старикъ профессоръ Эрдманъ имълъ тоже весьма многостороннее образованіе, говорилъ полатыни вавъ Цицеронъ, былъ хорошій ботанивъ и физикъ; разсказывали, что онъ ежегодно проходилъ у себя и для себя курсь медицинскихъ и естественныхъ наукъ; но знанія Эрдмана относились все-таки къ одной категоріи наукъ, тогда какъ молодой Липгардть, бывь математикомъ и имъвь, по свидетельству профессора Бартельса, замічательный математическій таланть, съ такимъ же успъхомъ занимался анатоміею, физіологією и хирургією. Въ Берлин'в Липгардть очень сблизился сь Іоганномъ Мюллеромъ, въ Дерптв и Кенигсбергв - съ профессоромъ Ратке, и въ то же самое время предавался изученію изящныхъ художествъ: живописи и скульптуры; потомъ, увхавь въ Италію, посвятиль цвлые годы изученію этихъ предметовъ, а возвратись въ Дерить, - началъ заниматься, какъ мив сказывали, изученіемъ теологіи и древностей. Въ последній разъ я видълъ моего стараго пріятеля, не менъе меня постаръвшаго, въ Штутгардтъ; его интересовало тогда изученіе средневъковыхъ готическихъ зданій, и онъ мнъ съ восторгомъ указывалъ на нъкоторыя изъ нихъ въ Штутгардтъ. За политикою Липгардтъ слъдилъ неустанно, еще учась съ нами въ Дерптъ.

Во всемъ прибалтійскомъ врай никто не иміль такой огромной и многосторонней библіотеки и такого собранія картинъ, гравюрь, статуй и слінсовъ, какъ Липгардтъ. При всемъ этомъ— ни малійшаго педантства и чрезвычайная скромность. Мні казалось только, что женитьба на католичкі въ Бонні нісколько измінила его міровоззрініе.

Я остановился въ моемъ дневникъ на Липгардтъ въ особенности потому, что изъ знакомыхъ мнъ людей Карлъ Липгардтъ всъхъ болъе доказалъ мнъ, какъ различны между собою двъ способности человъческаго духа: ёмкость ума и его производительность (Capacität und Productivität); отъ первой зависитъ способность пріобрътать самыя разностороннія свъденія, отъ второй — способность извлекать изъ пріобрътенныхъ свъденій нъчто свое самодъльное и самостоятельное.

Количество и разнообразіе знаній весьма вліяють на произведеніе, но не на самую производительность.

Емвость и производительность не находятся въ прямомъ отношеніи. Не сведенія, не знанія, пріобретенныя емкостью ума, а вакая-то, не каждому уму свойственная, vis a tergo толкаеть его къ новой работе, извлеченію этого чего-то, своего, изъ запаса знаній. Такъ, Липгардть быль несравненно образованне и по ёмвости ума гораздо умне меня, умне и многихъ ученыхъ, способствовавшихъ ему пріобретать многостороннія знанія; но Липгарду недоставало этой самой vis a tergo. Люди съ умами этой категоріи родятся для умственныхъ наслажденій пріобретаемыми такъ легко для нихъ богатствами сведеній; но уму, кроме огромной ёмкости, необходима еще и большая производительная сила, чтобы сдёлаться Гумбольдтовскимъ.

Моя первая повідка изъ Дерпта въ Москву была задумана уже давно. Вм'єсто двукъ л'єть я уже пробыль четыре года въ Дерпт'є; предстояла еще по'єздка за границу,—еще два года; а

старушка - мать между тымь слабыла, хирыла, нуждалась и ждала съ нетеривніемъ. Я утвшаль, обвщаль въ письмахъ скорое свиданіе, а время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писаль рёдко. У матушки долго хранился цёлый пукъ моихъ писемъ того времени. Денегъ я не могъ посылать, собственно, по совъсти, могъ бы и долженъ бы быль высылать. Квартира и отопленіе были вазенныя; столь готовый, платье въ Дерптв было недорогое и прочное. Но туть явилась на сцену борьба благодарности и сыновняго долга съ любознаніемъ и любовью къ наукъ. Почти все жалованье я расходовалъ на покупку книгъ и опыты надъ животными; а книги, особливо французскія, да еще съ атласами, стоили недешево; покупва и содержаніе собакъ и телять сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязанъ былъ жертвовать всемь для науки и знанія, а потому и оставлять мою старушку и сестеръ безъ матеріальной помощи, то зато ничего не стоившія мнъ письма были исполнены юношескаго лиризма.

Тотчасъ же по прівздв въ Дерпть, подъ вліяніемъ совершенно новыхъ для меня путевыхъ впечатлвній, я распространился въ моихъ письмахъ въ описаніи врасотъ природы, въ первый разъ видвинаго моря, Нарвскаго водопада, освещеннаго луною, прогуловъ въ лодкв по Финскому заливу, характеристики моихъ новыхъ товарищей, произведенныхъ уже мною въ званіе друзей, и т. п. Помню, что не забылъ при этомъ тогда же отправить и письмецо туда, гдв молодое сердце въ первый разъ зашевелилось при взглядв на улыбавшіеся женскіе глаза. Какъ же было не написать и не напомнить о себв, о последнемъ прощальномъ днв, когда я явился въ кандидатскомъ мундирв, при шпагв, и по моей просьбв былъ спёть романсъ:

> Vous allez à la gloire, Mon triste cœur suivra vos pas; Allez, volez au temple de mémoire, Suivez l'honneur, mais ne m'oubliez pas...

Тотъ, къ кому относилось это: "vous allez à la gloire", это, конечно, я, я самъ.

И воть, прошло цёлыхъ четыре года. Какъ не повидать м'єсть, гдё мы "впервые вкусили сладость бытія", и къ тому же какъ

не показать и себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой ладъ я! Пусть-ка посмотрять на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мною прогрессу; пусть во-очію на мнъ убъдятся, что значить культурная западная сила!

Экзаменъ докторскій сданъ, диссертація наполовину уже готова, и предстоять рождественскіе праздники; путь санный.

Надо сначала распорядиться, а для этого надобны деньги. Кое-что наберется, за мъсяцъ впередъ можно взять жалованье, но по разсчету все еще не хватаетъ взадъ и впередъ на дорогу, да и въ Москве не жить же даромъ на счетъ матери. Вотъ и придумываю средства. У меня есть старые серебряные часы, весьма ненадежные, по свидетельству знатока Г. И. Сокольскаго; есть "Илліада" Гибдича, подаренная Екатериною Аванасьевною; есть и еще ненужныя книги, русскія и французскія, кажется; есть еще и старый самоварчикъ. Давай-ка, сдълаемъ лотерею. Предложение принято товарищами. Предметовъ собралось съ дюжину; билетовъ надълано рублей на 70; угощеніе часмъ. Съ вырученными лотересю деньгами набралось болье сотни рублей. Главное есть. Надо теперь пріискать самый дешевый способъ перемъщенія своей особы изъ **Перпта** въ Москву. Случай решаеть. Изъ заезжаго дома Фрея является подводчивъ изъ московской губерніи, привозившій что-то въ Лифляндію и отправляющійся на дняхъ порожнемъ онять въ московскую. Лошадей тройка. А экипажъ? -- Есть кибиточка. Укроемъ и благополучно доставимъ, -- увъряетъ подводчикъ. Цвна? — Двадцать рублей. — По рукамъ.

И воть, въ пасмурный, но не морозный, декабрскій день, въ посльобъденное время, я, одътый въ нагольный полушубокъ, прикрытый сверху вывезенною еще изъ Москвы форменною (сърою съ краснымъ, университетскимъ, воротникомъ) шинелью на ватъ, и въ валенкахъ, сажусь въ кибитку и отправляюсь на-долгихъ въ Москву.

Мой возница спускается на рѣку, и чрезъ нѣсколько часовъ по Эмбаху мы вывъжаемъ на озеро Пейпусъ, направляясь къ Пскову. Между тѣмъ стемнѣло. Мѣсяца не видать. Небо заволовло облаками. Мы все ѣдемъ и ѣдемъ. Раздаются пушсчные выстрѣлы, вакъ будто возлѣ насъ. Это трескается ледъ

на Пейпусв и образуются полыньи. Вдругь — стопъ. Что такое? Громадная полынья; вывороченныя массы льда стоять горою, а возлв нихъ широчайшая полоса воды. Слава Богу, что еще не въвхали прямо въ воду. Что же это такое? Какъ же тутъ быть? Вдали ни зги не видать, подъ ногами вода.

— "Да лѣшій пошутиль: съ съѣзжей дороги сбился, а я по ней сколько разъ ѣзжалъ", — увѣряеть мой возница. — "Да что теперь-то подѣлаешь? Сёмъ-ка я побѣгу, да развѣдаю; дорогато должна быть туть близко".

Я остаюсь одинъ съ лошадьми. Сижу, сижу, — дѣлается жутко; въ ночной тиши раздаются кругомъ выстрѣлы; мнѣ показалось въ темнотѣ, что какъ будто огоньки; думаю, уже не волчьи ли глаза; выскакиваю изъ кибитки, поднимаю крикъ и стукъ палкою о кибитку; бѣгаю вокругъ кибитки, чтобы согрѣться: начинаетъ пробирать. Ничего не видно и не слышно. Ямщика и слѣдъ простылъ. Просто бѣда. Прошло, вѣрно, не менѣе часа, а мнѣ показалось по крайней мѣрѣ часа четыре; наконецъ, слышу гдѣ-то вдали, въ сторонѣ, какъ будто человѣческій голосъ. Я отзываюсь и кричу, что есть мочи. Голосъ приближается. Показались опять и какъ будто прежніе огоньки, напугавшіе меня. Наконецъ, является, едва переводя духъ отъ усталости, и мой возница.

- Ну что?
- "Да что, дороги-то не нашель; а воть мы повернемъ назадъ, да немного вбокъ; тамъ добдемъ до деревушки на берегу".
- На какомъ же это берегу? значитъ, мы уже недалеко отъ Пскова?
- "Куда, баринъ, до Пскова; мы тутъ все илутали по озеру, а далеко отъ берега не отъйзжали. Вонъ тамъ я видиль деревушку; до разсвъта переночуемъ въ ней".

Дълать нечего, ъдемъ. Проходить еще не менъе часа, пова мы доъхали до вакого-то жилья. Пътухи уже давно вакъ пропъли; достучались въ какой-то лачугъ; впустили. Но, Господи, что это было за жилье, и что за люди! Въ Деритъ являлись изръдка въ клинику какіе-то, носившіе образъ человъка, звъри, съ дикимъ, безсмысленнымъ выраженіемъ на желтосмугломъ лицъ, косматые, обвязанные лоскутами и не гово-

рившіе ни на какомъ языкѣ. Это и были обитатели глухихъ и отдаленныхъ прибрежій Пейпуса, финскаго племени; полагали однако-же, что между ними встрѣчались и выродившіеся наши раскольники, загнанные полицейскимъ преслѣдованіемъ съ давняго времени въ самыя глухія и непроходимыя мѣста.

Всѣ занятія этого заглохшаго населенія заключались въ рыболовствѣ; они питались только рыбою; понимали только то, что васалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбѣ и рыболовствѣ. Языкъ ихъ, состоявшій изъ ограниченнаго числа словъ, былъ помѣсью финскаго и испорченнаго русскаго. Вотъ къ этому-то племени судьба, въ видѣ подводчика Макара, и занесла меня на нѣсколько часовъ. Но эти нѣсколько часовъ до разсвѣта показались мнѣ вѣчностью.

На дворѣ начинало морозить, а въ лачугѣ непривычному человѣку невозможно было оставаться; грязь, чадъ, смрадъ; какія-то мефитическія испаренія дѣлали изъ лачуги отвратительнѣйшій клоакъ. Я видѣлъ и самыя невзрачныя курныя чухонскія и русскія избы, но это были дворцы въ сравненіи съ тѣмъ, что пришлось мнѣ видѣть на прибрежьи Пейпуса. Какъ я провелъ часа 4 въ этомъ клоакѣ, я не знаю; помню только, что я безпрестанно ходилъ изъ лачуги на дворъ и дремалъ, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современныя вѣянія измѣнили жизнь въ трущобахъ того давняго времени?

На другой день, при свъть, легко объяснилось наше блужданіе по необозримому озеру, на которомъ зимою, кромъ неба и снъжной поверхности съ огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только цълыя стаи воронъ съ хриплымъ карканьемъ носились надъ прорубями и полыньями, высматривая себъ добычу.

Гораздо труднъе было бы объяснить незнакомому съ русскою натурою, какъ ръшился москвитянинъ Макаръ перевзжать по льду Пейпуса ночью, проъхавъ чрезъ него, какъ я узналъ потомъ отъ самого же Макара, только одинъ разъ въ жизни, и то въ обратномъ направленіи, т.-е. отъ Пскова къ Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днемъ мой Макаръ постоянно у каждаго встръчнаго спрашивалъ о дорогъ въ Псковъ. Но землякъ мой, москвитянинъ Макаръ, ознаменовалъ нашу поъздку не однимъ только геройскимъ перевздомъ чрезъ Пейпусъ.

Избътнувъ неожиданно гибели въ полыньяхъ Пейпуса, Макаръ ухитрился-таки погрувить насъ, то-есть меня, кибитку и лошадей, въ полынью какой-то ръчонки. Это было на разсвътъ, кажется на пятый день моей Одиссеи. Я спалъ, закутавшись подъ рогожею кибитки. Вдругъ пробуждаюсь, — чувствую, что кибитка остановилась; я откидываю рогожу, и что же вижу: лошади стоятъ по шею въ водъ, Макара нътъ, кибитка — также въ водъ, и холодная струя добирается чрезъ стънки кибитки и къ моимъ ногамъ.

Не понимая съ просонья, что все это значить, я инстинктивно бросаюсь изъ кибитки вонъ и попадаю по поясъ въ воду; въ это мгновеніе является откуда-то Макаръ съ людьми съ берега. Вытаскиваютъ и меня, и кибитку, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздёться до нага, вытереться горълкою и сушиться.

Такъ шло время въ путешествіи на-долгихъ съ Макаромъ; оно продолжалось чуть не двѣ недѣли; въ эти дни и ночи я насмотрѣлся на жизнь на постоялыхъ дворахъ.

Случалось ночевать вмёстё съ подводчивами въ томъ же поков постоялаго двора. Всего болве удивляла меня необыкновенная ёмкость желудка этихъ добрыхъ людей. Вли они напропалую, и вда была на-славу. То были рождественскіе праздники, и на столъ подавалась всегда громадная деревянная чаша съ жирными, густыми щами изъ свинины; чаша опростовывалась чуть не залпомъ, когда принимались изъ нея черпать 10 или 12 ложекъ; снова наполнялась, снова опростовывалась; потомъ являлась не менве жирная свинина, а затемъ гречневая ваша съ свинымъ саломъ. При этомъ выпивался штофъ сивухи, и все общество, 10, 12 и более дюжихъ подводчиковъ, вставало изъ-за стола, молилось на образа и укладывалось спать по лавкамъ и на печи. Начиналось громкое и неумолкаемое храпвнье, и вместе съ нимъ происходила поочередно, то тамъ, то здёсь, шумная эксплоатація газовъ, заставлявшая меня невольно просыпаться и громко сменться. На границахъ московской губерніи, Макаръ предложилъ мнъ заъхать на ночлегъ, вмъсто постоялаго двора, къ его отцу, церковному старостъ одного придорожнаго села. Я согласился.

На ночь явились въ старостъ сельсвій попъ, дьячовъ и еще пара врестьянъ. Принесенъ быль штофъ сивухи. Пили, ъли, болтали и пошли всъ спать. Рано утромъ уъхали попъ и дьячовъ, а потомъ и гости-врестьяне. Мы съ Макаромъ тоже снарядились въ путь; только, вижу, мой Макаръ что-то суетится и ищетъ.

- Что пропало?
- "Кнутъ".
- Куда девался?
- "Да гдѣ ему быть, вопить Макаръ, какъ не у попа. Ужъ извѣстно: у поповъ глаза большіе; а кнуть быль новенькій, съ иголочки, только-что въ Торжкѣ купилъ, и то все приберегалъ".

Такъ первое подозрвніе о кражв 20-копвечнаго кнута мужикъ, да къ тому еще сынъ церковнаго старосты, свалилъ на попа, хотя вмёств съ попомъ угощались и мужики. Меня, отвыкшаго въ Дерптв отъ нравовъ родины, поразила глубоко эта исторія съ кнутомъ; я принялся ув'вщевать Макара и наставлять его. Но онъ остался непреклоненъ.

— "Ужъ я знаю, не миновалъ мой кнуть поповскихъ рукъ", — повторялъ Макаръ, не соглашаясь ни на какія разглагольствованія объ уваженіи къ старшимъ и священнослужителямъ.

Наконецъ, я—въ Москвъ, у Калужскихъ вороть, на квартиръ матушки, жившей у отставного коммиссаріатскаго чиновника, называвшаго себя полковникомъ.

Въ то время жизни, когда человъкъ, переставъ быть ребенкомъ, не достигъ еще и полной мужеской зрълости, проявляется неръдко въ несложившемся еще характеръ ръзкая, непріятная черта, портящая много крови и у самого молодого человъка, и у другихъ. Обстоятельства, внъшняя обстановка, темпераментъ и т. п. много содъйствуютъ развитію этой черты.

Всего непріятиве то, что заносчивость незралаго возраста колеть глаза своею безтактностью именно тамъ, гдв ивтъ ни-

какой, ни мальйшей разумной причины ея проявленія. У меня она проявилась именно въ отношеніяхъ моихъ къ матери, послів долгой разлуки, изъ одного только различія въ релягіозныхъ уб'вжденіяхъ, то-есть именно тамъ, гдів я могъ бы и долженъ бы былъ требовать отъ себя сдержанности, тершимости и уваженія къ уб'вжденіямъ старыхъ и достойныхъ уваженія людей.

Этого не случилось, и я долго, долго и горько упрекалъ себя за мальчишескую невыдержанность, безтактность и грубость.

Какое мнъ, молокососу, было дъло до самыхъ задушевныхъ убъжденій моей богомольной старухи-матери и для чего было затрогивать самую чувствительную струну ея сердца?

Мотивъ былъ такъ же нелъпъ и страненъ, какъ и поступокъ. И въ самомъ дълъ, я не узналъ бы самого себя, еслибы сравнилъ то, что я утверждалъ и отчаянно защищалъ предъ всъми, съ моими страстными выходками противъ нъмцевъ, записанными въ моемъ дневникъ три года тому назадъ. Теперь же я явился въ Москву самымъ ревностнымъ защитникомъ всего нъмецкаго, выставляя всякому встръчному и поперечному прибалтійскій край образцомъ культурнаго и благоустроеннаго общества. И вотъ, я превозносилъ предъ архи-православною, дряхлою женщиною нъмецкое протестантство, тогда какъ эта женщина цълую жизнь только и находила утъщенія, что въ своей въръ и въ своемъ сынъ.

Въ жизни юношей, — да и зрълый возрасть не свободенъ отъ странностей этого рода, — неръдко встръчаются ръзкіе переходы отъ одного міровоззрънія къ другому. Неокръпшія убъжденія и увлеченія мъняются и отъ настроенія, и отъ разныхъ внъшнихъ обстоятельствъ.

Одна перемвна мъстности и круга знакомыхъ уже способна замънить въ незръломъ умъ одинъ образъ мыслей другимъ, совершенно противоположнымъ. Притомъ духъ противоръчія, свойственный каждому незрълому уму, у меня былъ замътно выраженъ и склоненъ къ проявленію при всякомъ удобномъ случаъ. Случай и представился.

Москва, то-есть знакомая мит среда въ Москвъ, не могла мит не показаться другою.

Въдь я провелъ четыре года самой впечатлительной поры жизни на окраинъ, не имъвшей ничего общаго съ Москвою; и вотъ, что прежде меня привлекало на родинъ, потому что извъстно было только съ одной привлекательной стороны, то сдълалось противнымъ чрезъ сравненіе, открывшее мнъ глаза.

И пятинедъльное мое пребываніе въ Москвъ ознаменовалось цёлымъ рядомъ стычекъ. Куда бы я ни являлся, вездё я находилъ случай осмъять московскіе предразсудки, прогуляться насчеть московской отсталости и косности, сравнять московское съ прибалтійскимъ, то-есть чисто-европейскимъ, и отдать ему явное преимущество.

Матушку я хотълъ увърить, что нъмцы-протестанты лучше, что въра ихъ умнъе нашей, и какъ, обыкновенно, одна глупость рождаетъ другую,—то я, споря и горячась, перешагнулъ отъ религи въ родительской и дътской любви, и довелъ любившую меня горячо старушку до слезъ.

— "Какъ это ты не боишься Бога—приравнивать материнскую любовь въ собачьей и кошачьей! Развъ собака и кошка могутъ любить своихъ щенятъ и котятъ, какъ мать любить своего ребенка? Значитъ, у васъ теперь мать—все равно, что сука или кошка?"

Тавъ пеняла мнё мать. Наконецъ, мнё стало жаль и стало совъстно. Споры съ матерью я прекратилъ; разгорячившійся духъ противоречія не скоро угомонишь, и я началъ вымёщать его на другихъ, при каждомъ удобномъ случай; а случай представлялся на каждомъ шагу. Сдёлалъ я визитъ экзаменовавшему меня изъ хирургіи на лекаря профессору Альфонскому (потомъ ректору). Онъ начинаетъ спрашивать про обсерваторію, про знаменитый рефракторъ въ Дерптъ, въ то время едва-ли не единственный въ Россіи. Я съ восторгомъ описываю видённое мною на дерптской обсерваторіи, —а Альфонскій преравнодушно говорить мнъ:

— "Знаете что́: я, признаться, не върю во всѣ эти астрономическія забавы; кто ихъ тамъ разбереть, всѣ эти небесныя тѣла!"

Потомъ перешли въ хирургіи, и именно затронули мой любимый конекъ—перевязку большихъ артерій.

— "Знаете что, — говорить опять Альфонскій: — я не върю

всёмъ этимъ исторіямъ о перевязкі подвідошной, наружной или тамъ подключичной артеріи; бумага все терпитъ".

Я чуть не ахнуль вслухъ.

Ну, такой отсталости я себъ и вообразить не могъ въ ученомъ сословіи, у профессоровъ.

- По вашему, Аркадій Алексвевичь, выходить, —замвтиль я пронически, что и Астлей Куперъ, и Эбернети, и нашъ Арендтъ—все лгуны? Да и почему вамъ кажутся эти операціи невозможными? Воть я пишу теперь диссертацію о перевязкі брюшной аорты, и нівсколько разъ перевязаль ее успівшно у собакъ.
 - "Да, у собакъ", прервалъ меня Альфонскій.
 - Пожалуйте кушать!—прерваль его вошедшій лакей.

Отъ Альфонскаго я пошелъ съ визитомъ къ Ал. Ал. Іовскому, редактору медицинскаго журнала, вскоръ погибшаго преждевременною смертью.

Я послалъ изъ Дерпта въ этотъ, тогда чуть-ли не единственный, медицинскій журналъ одну статью,—хирургическую анатомію паховой и бедряной грыжи, выработанную мною изъ монографій Скарпы, Ж. Клоке и Астл. Купера.

Іовскій, принадлежавшій уже къ молодому покольнію, не обнаружиль большой наклонности къ прогрессу по возвращеніи изъ-за границы; вмёсто химіи—принялся за практику, и теперь обнаруживаль предо мною равнодушіе къ наукъ.

Я началь по своему возражать, поставляя ему тотчась же въ примъръ дерптскій университеть.

-- "Да съ нашими подлецами ничего не подълаешь", быль отвътъ.

Пришелъ навъстить одного стараго знакомаго, офицеракохла, бывшаго нашего сосъда по ввартиръ. Нашелъ у него другихъ офицеровъ въ гостяхъ. И тутъ, слово за слово, я перешелъ къ изложенію всъхъ преимуществъ прибалтійскаго края. Прежде всего, конечно, описалъ слушателямъ высокое состояніе науки, отставшей въ Москвъ, по крайней мъръ, на четверть въка.

— "Позвольте вамъ замътить, — остановилъ меня толстъйшій гарнизонный маіоръ: — вотъ я лечился у разныхъ докторовъ, вездъ побывалъ, совътовался съ разными знаменитостями, но толку не было; а воть у насъ, въ Москвѣ, мнѣ одинъ старичокъ посовѣтовалъ принять лекарство Леру. Такъ, я вамъ скажу, оно меня такъ прочистило, что все, что во мнѣ лѣтъ десять уже скопилось, наружу вывело; съ тѣхъ поръ, слава Богу, какъ видите, здравствую".

Возражать было нечего.

Перешли въ сужденію о семейной и общественной жизни. Я опять сталъ распространяться о превосходныхъ сторонахъ общества и семьи въ прибалтійскомъ крав, — коснулся, конечно, и нъмовъ.

— "Зам'вчу вамъ, — заговорилъ опять тотъ же маіоръ, — я достаточно знакомъ съ женскимъ поломъ. Им'влъ на своемъ в'вку д'вло и съ н'вмками, и съ француженками, и съ цыганками. Большого различія не нашелъ: всъ поперечки".

При этомъ замѣчаніи все общество покатилось со смѣху, а я умолкъ, бросивъ презрительный взглядъ на всю эту, не подходившую для меня, компанію.

На другой день меня пригласили также къ старому знакомому моего отца, помъщику Матвъеву, человъку съ большими средствами и получившему отличное образованіе. Пригласили же меня въ особенности затъмъ, чтобы посовътоваться о сынъ Матвъева, подросткъ лътъ 16-ти; его воспитывали дома гувернеры-иностранцы, и надо было ръшить теперь — какъ и чъмъ закончить домашнее воспитаніе.

Я засталь отца (еще очень моложаваго и разбитного) и сына упражняющимися въ фехтовальномъ искусствъ.

Молодой Матвъевъ, изящно одътый, съ цълымъ лъсомъ бълокурыхъ волосъ на головъ, тщательно завитыхъ и припомаженныхъ, свободный въ обращеніи, украшавшій разговоръ цитатами изъ русскихъ поэтовъ, представлялъ собою что-то искусственное, поддъльное, невиданное мною въ Дерптъ. Отецъ Матвъевъ также вставлялъ въ разговоръ стихи изъ "Евгенія Онъгина", изъ "Горе отъ ума", называлъ предразсудкомъ соблюденіе религіозныхъ обрядовъ—и въ то же время крестился, садясь за столъ; онъ сказывалъ, что сынъ его требуетъ только нъвоторой подготовки въ древнихъ языкахъ для вступленія въ университетъ, и восхищался, вмъстъ съ сыномъ, моими разсказами о жизни въ Дерптъ, объ университетской дъятельности и готовъ былъ сейчасъ же летъть въ Дерптъ. Я радовался, что нашель въ Москвъ хотя одно прогрессивно настроенное семейство, и радъ былъ еще болъе тому, что могъ самъ способствовать прогрессу, притянувъ юношу къ серьёзному университетскому образованію.

Едва я, однако-же, покончилъ мою бесъду съ отцомъ и сыномъ, какъ меня позвали на другую половину, къ женъ и матери.

— "Здравствуйте, monsieur Пироговъ! Скажите — вы изъ Дерпта? Вы говорили съ мужемъ? Видѣли сына? Какъ вы полагаете? Неужели вы посовѣтуете отправить сына въ Дерптъ? Вѣдь тамъ студенты всѣ—якобинцы. Это ужасно! Онъ можетъ совсѣмъ пропастъ".

Все это, сказанное залномъ еще нестарою, но, очевидно, взбалмошною дамою, меня крайне раздосадовало, и я принялся доказывать ей всю нелъпость мнънія, составленнаго ею о Деритъ, и, въ свою очередь, не давалъ уже ей раскрывать рта до самыхъ тъхъ поръ, пока не взялся самъ за шапку.

Матвъевы (отецъ и сынъ) потомъ прівзжали на своихъ лошадяхъ въ Дерптъ. Сынъ вступилъ въ университетъ; но много ли изъ него вынесъ, не знаю. Что-то тоже россійское, замалеванное снаружи, проглядывало въ этомъ выровненномъ и вытянутомъ подроствъ. Отецъ же его, обольстивъ какую-то московскую барышню, удралъ съ нею и съ деньгами отъ жены за границу и возвратился оттуда безъ денегъ, безъ барыни и съ ракомъ желудка, чрезъ 12 лътъ, въ Петербургъ, гдъ я его и навъстилъ въ гостинницъ, сильно страдавшаго. Сынъ разсорился съ нимъ и не хотълъ болъе знать отца.

Каждое посвіщеніе моихъ московскихъ знакомыхъ давало только пищу обуявшему меня духу противоръчія. Все въ моихъ глазахъ оказывалось отсталымъ, пошлымъ, смѣшнымъ.

Я попробоваль пойти въ гости въ незнакомымъ.

Мой товарищъ, И. О. Шиховскій, просиль меня непремѣнно навѣстить его закадычнаго пріятеля, какого-то университетскаго бюрократа. Я навѣстилъ, и получилъ приглашеніе на вечеръ. Тутъ все общество и его болтовня показались мнѣ уже до того несносными, что я, не простившись, потихоньку убѣжалъ. Началось съ бесёды съ профессоршею, женою преподавателя Терновскаго, у котораго я цёлый годъ слушаль лекціи остеологіи и синдесмологіи. Это быль не послёдній изъ категоріи забавлявшихъ насъ чудаковъ. Чахоточный, сухощавый до нельзя, черномазый, весь обросшій густыми темными, щетинистыми волосами, съ впалыми, желтобураго цвёта, глазами, тоненькими ногами, въ штанахъ въ обтяжку въ сапоги, въ сапогахъ съ кисточками; зимою на лекціи всегда въ огромной, бураго цвёта, медвёжьей шубъ, крытой истертымъ и полинялымъ сукномъ, Терновскій являлся на лекцію какъ-то исподтишка, скрытно, какъ будто боялся, чтобы его не прогнали, и исчезаль, вмёсть съ десяткомъ своихъ слушателей, въ огромномъ амфитеатрь (на 300—400 мёсть).

Осматриваясь подозрительно вокругъ себя, Терновскій таинственно вынималь изъ-за пазухи лобную или височную кость и, покашливая, потихоньку подходиль къ каждому изъ насъ, демонстрироваль и намекаль по временамъ, какъ трудно ему доставать кости отъ Лодеровскаго провектора.

Воть съ супругою этого-то господина я случайно и встрътился на вечеръ и узналь отъ нея, что мужъ ея, г. Терновскій,—имени и отчества не помню, — есть извъстный всей Европъ ученый.

Я чуть не фыркнуль оть смёха. Откуда это взяла она? Самъ ли онъ такъ отрекомендоваль себя, или она изобрёла изъ любви. Что было отвёчать? Чтобы не ляпнуть какую-нибудь дерзость, я прекратиль бесёду; но, къ довершенію зла, замётиль что-то какъ-бы давно знакомое съ физіономіи одного претолстейшаго господина, сидёвшаго за картами; справившись, кто это, я узналь моего дядю по матери, Новикова, при жизни отца нерёдко посёщавшаго нашъ домъ, а по смерти не преминувшаго забыть досконально о нашемъ существованіи. И какъ скоро все это промелькнуло въ моемъ воспоминаніи, я тотчасъ же и отретировался, чтобы не встрётиться лицомъ къ лицу съ почтеннымъ дядюшкою и не быть заключеннымъ въ его жирныя объятія.

Это быль финаль моего пребыванія въ Москвъ; оно убъдило меня окончательно въ преимуществъ и высотъ нравственнаго и научнаго уровня въ Дерптъ.

Въ Дерптв не водятся профессора, считающіе астрономическія наблюденія пустою забавою; хирургическія операціи, давно вошедшія въ практику—невозможными; всёхъ своихъ коллеговъ—подлецами; нётъ и дамъ, усматривающихъ въ каждомъ студентв якобинца, а въ своихъ супругахъ—европейскія знаменитости!

Передъ отъйздомъ изъ Москвы а старался уничтожить тягостное впечатлине мое, оставшееся въ душт отъ глупыхъ пререканій съ матушкою; но только потомъ, прійхавъ въ Дерпть, я просиль искренно прощенія въ письми къ матери и сестрамъ. Назадъ возвратился изъ Москвы на почтовыхъ, уже на второй недъли великаго поста.

Житье-бытье матушки и сестеръ въ Москвѣ я нашелъ немного лучшимъ прежняго. Одна сестра нашла себѣ мѣсто надзирательницы въ вакомъ-то женскомъ сиротскомъ домѣ; къ другой приходили ученицы на домъ; матушкѣ выхлопотала одна знакомая небольшую пенсію; братъ мой, не имѣвшій чѣмъ заплатить взятыя у матушки когда-то деньги, теперь поправился и уплачивалъ понемногу; я также кое-что прибавилъ. Матушка занимала небольшую квартиру въ три комнаты, вмѣстѣ съ одною сестрою и двумя крѣпостными служанками.

- Я, пробывъ четыре года въ прибалтійскомъ свободномъ краѣ, конечно, не могъ равнодушно смотрѣть на двухъ рабынь, старую и молодую. Я настоялъ у матушки, чтобы ихъ отпустили на волю.
- "Да я и сама уже давно бы ихъ отпустила, свазала мнъ матушка, еслибы не боялась попасть подъ судъ".
 - Какъ? За что?
- "Да просто потому, что у меня нътъ никакихъ документовъ на кръпость. Богъ знаетъ, куда они дъвались, и гдъ ихъ теперь возъмещь?"

И, дъйствительно, дъловые люди не совътовали начинать дъла, а предоставить все времени и воли божіей. Такъ и случилось. Молодая раба, довольно красивая собою, чуть было не попавшая въ руки какого-то московскаго клубничника, вышла благополучно замужъ безъ всякихъ документовъ. Другая, уже старуха, Прасковья Кирилловна, та самая, сказки которой о

быломъ, черномъ и красномъ человычкы и не забыль еще и теперь,—прівхала потомъ съ сестрами ко мны въ Петербургъ въ 1840 году. И тутъ только и, съ помощью 25 рублей, преподнесенныхъ квартальному надзирателю, успыль, наконецъ, дать вольную этой — столько лыть не по найму служившей — личности.

Таково было крвпостное право: и желавшіе горячо оть него отдълаться—не легко этого достигали!

Въ 1833 году довторская моя диссертація была окончена и защищена. Оставалось только дожидаться рішенія изъ министерства о потіздкі за границу.

Эти нёсколько мёсяцевъ были самыми пріятными въ жизни. Къ тому же въ это время у Мойера, или, вёрнёе, у Екатерины Асанасьевны, проживали молодыя дёвушки—Лаврова и Воейкова. Откуда взялась первая—не знаю; но Екатерина Асанасьевна интересовалась ею, занималась съ нею чтеніемъ и женскими работами. Семейство Мойера, а съ нимъ я, жило тогда въ деревнё (Садорфё, верстъ 12 отъ города). Лаврова, лётъ 16—17-ти, брюнетка, смуглянка, имёла что-то странное въ выраженіи глазъ, впрочемъ красивыхъ и черныхъ. Она и въ самомъ дёлё была какая-то странная, почти всегда восторгавшаяся, торжественно и на-распёвъ говорившая о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Она (Лаврова) осталась у меня въ памяти потому, что однажды подралась со мною.

Много тогда смъялись видъвшіе драку, — правда, не на-кулачки, а скоръе борьбу молодого человъка съ молодою, красивою дъвушкою.

Дѣло вышло изъ-за какихъ-то пустяковъ; о чемъ-то заспорили; я сказалъ что-то въ родѣ: "это очень глупо!" — и вдругъ Лаврова кидается на меня съ особеннымъ, почти безумнымъ выраженіемъ своихъ черныхъ глазъ, беретъ меня за плечи и хочетъ повалить. Я защищаюсь, и, видя, что она не унимается, беру ее за плечи и начинаю, что есть силы, трясти; тогда она—въ слезы и навзрыдъ.

Кое-какъ ее успоконваютъ, но она снова бросается на меня.

- "Я женщина! кричить она:—я женщина! вы должны жент уважение ко меть".
- Я мужчина! кричу я въ свою очередь: и вы поступайте такъ, чтобы я васъ могъ уважать.

Следуетъ новая схватка, и тогда уже насъ разводять.

На другой день— какъ будто ничего не бывало; но Лаврова дълаетъ снова глупую выходку: бъжитъ въ переднюю подавать шинель прівзжавшему на прощанье Александру Витгенштейну.

- "Что это ты, матушка, твое ли это дёло!"—замѣчаетъ ей потомъ Екатерина Асанасьевна.
- Да почему же не подать шинель сыну такого знаменитаго полководца, какъ князь Витгенштейнъ!—восклицаетъ восторженно Лаврова.

Другая интересная особа, къ которой нельзя было оставаться равнодушнымъ, Катя Воейкова, была внучка Екатерины Аванасьевны Протасовой, дочь извъстнаго, не съ привлекательной стороны, поэта Воейкова-Вулкана (Воейковъ былъ хромъ), уступившаго свою очаровательную Венеру воинственному Марсу.

Только-что окончившая курсь ученія въ Екатерининскомъ институть, Воейкова перевхала на житье къ бабушкь въ Дерпть. Не красавица, но очень милая и интересная, Воейкова была всегда весела и смъщлива.

До отъёзда моего за границу она нерёдко занимала мое воображеніе, но не производила глубокаго впечатлёнія. Недостатки институтскаго воспитанія и поверхностнаго міровоззрёнія не окупались другими внёшними достоинствами.

Тъмъ не менъе, и я, и многіе другіе, желали нравиться и угождать милой и интересной дъвушкъ. Устроивали домашній театръ; играли "Недоросля"; я представлялъ Митрофанушку, и очень былъ доволенъ: игрою своею вызывалъ смъхъ и рукоплесканія Воейковой.

Въ другихъ семействахъ я не былъ знакомъ; женское общество было мнъ чуждо, и потому появление всякаго новаго женскаго лица въ знакомомъ мнъ домъ не могло не производить на меня весьма пріятнаго впечатлънія.

Въ Деритв былъ въ то время обычай между студентами прінскивать себв, во время университетскаго курса, невъсту

между дочерьми бюргеровъ, чиновнивовъ, профессоровъ. Женихъ и невъста дожидались спокойно нъсколько лътъ. Былъ случай, что женихъ, казенный стипендіатъ, выдержавъ экзаменъ на лекаря, долженъ былъ отправиться куда-то въ кавказскую трущобу. Онъ увъдомилъ невъсту о своемъ мъстопребываніи, и она, 18-лътняя дъвушка, нивуда не выъзжавшая никогда изъ дома, съла на перекладную и, не боясь ъхатъ вмъстъ съ попутчиками, молодыми юнкерами и офицерами, явилась живою и здоровою къ жениху въ захолустъе, гдъ и повънчались.

Зато быль и другой случай.

Одна невъста, долго ждавшая и не знавшая, гів находится ея женихъ, не устояла и сдълалась невъстою другого.

Вдругь является первый женихт, узнаеть объ изм'вн'в и, встр'втивь бывшую свою нев'всту на бал'в въвлуб'в, задаеть ей пощечину и исчезаеть.

Нась, русскихъ, не соблазняль этоть нёмецкій обычай. Только одинь Филмофитскій (профессорь физіологія въ Москвъ) вздумаль жениться, предъ поёздкою за границу, на Марьъ Петровнъ, воспътой Языковымъ:

> Да здравствуеть Марья Петровна, И ручка, и ножка ел!

— слышалось нер'вдко и на улиц'в, и въ сборищахъ русскихъ студентовъ, какъ торжественный гимнъ, восп'вваемый въ честь русской красавицы, и при словахъ:

Блаженъ, кто, заковно мечтая, Зоветъ ее дъвой своей! Блаженнъй избранника рая— Бурсакъ, полюбившійся ей!

Филмофитскій, върно, не причисляль себя и взаправду къ избранникамъ рая.

Да, я забыль еще Степана Куторгу,—тоть влопался въ дочку директора училища, въ доме котораго онъ квартироваль. "Allein kann man nicht sein auf der Erde",— приводиль въ свое извинение Куторга.

И еще одинъ-мой старый пріятель Загорскій (элевъ академіи наукъ)-женился въ Дерпте на дочери г-жи Эксъ и

жилъ съ нею очень долго и счастливо. Итакъ, изъ 23-хъ русскихъ (21 изъ профессорскаго института и 2 эде́вовъ академіи) переженились въ Дерптв 3, а умерло только 2.

Не помню, анализироваль ли я себя передъ отъёздомъ за границу изъ Дерпта; дневника я тогда уже не велъ цёлый годъ и болъе; но мнё кажется мой духовный быть того времени — не внаю, почему — чрезвычайно яснымъ по истечени цёлыхъ 48 лётъ.

Я убъжденъ даже, что теперь, въ настоящее время (1881 г.), мой анализъ будетъ върнъе и отчетливъе того, прежняго, можетъ быть и не существовавшаго. Едва-ли этотъ прежній быль бы такъ безпристрастенъ, какъ теперешній.

Начну съ главнаго, съ моего тогдашнаго міровоззрінія.

Оно,—несмотря на идеализмъ, еще замътно господствовавшій и въ германской наукъ, и въ германскомъ міровозгръніи, —сильно склонялось къ матеріализму и, конечно, самому грубому, вслъдствіе грубаго незнанія самой матеріи. Обрядно-религіозное направленіе, вывезенное еще изъ Москвы, потерпъло полное фіаско. Полное незнакомство съ духомъ христіанскаго ученія и, вслъдствіе этого, незнаніе или нежеланіе знать основъ христіанства изъ евангелія и апостольскихъ посланій; полное отрицаніе загробной жизни, какъ предразсудка и ни на какомъ фактъ неоснованной иллюзіи. Стоицизмъ долженъ быть религіей ученаго.

А между тімъ весь этоть религіозный радикализмъ не даваль душі твердости и стойкости на самомъ діль. Это чувствовалось, котя и не сознавалось. Чувствовалось, что первая же бізда, первое серьёзное испытаніе потрясеть все это зданіе до самаго основанія. Чтобы заглушить въ себі это внутреннее противорічіе, надо было искать самозабвенія въ научныхъ занятіяхъ, такъ накъ для другихъ чувственныхъ наслажденій организмъ быль слишкомъ слабь, слишкомъ нервень, и потому не терпіль пресыщенія и съ отвращеніемъ ощущаль всякій избытовъ въ наслажденіи.

Желудовъ, пріученный въ прѣсной пищѣ, не переносиль ни обжорства, ни пьянства. Только два раза въ жизни я былъ настоящимъ образомъ пьянъ, и оба раза страдалъ нѣсколько дней не на шутку. Мой отецъ также не переносиль спиртныхъ напитковъ, и получалъ сильную рвоту отъ нъсколькихъ рюмокъ вина. Сверхъ этого, въ Дерптъ я началъ періодически страдать катарромъ кишекъ, сдълавшимся потомъ моею постоянною болъвнью.

Въ Деритв къ развитію моей бользни служило еще одно. Я занемогь простудою, и Иноземцевъ вздумаль мив прописать какія-то горькія и, сколько помню, металлическія пилюли. Я принималь это снадобье полгода, и вь одно преврасное утро пожелтёль какь лимонь, почувствоваль тяжесть въ животё, отвращение отъ пищи. Я продолжалъ, однако-же, выходить и заниматься въ анатомическомъ театръ. Дъло было зимою. Навонецъ, пришло не-втерпёжъ: я принужденъ былъ остаться дома и началъ брать у себя въ влинивъ теплыя мыльныя ванны, всякій день на ночь, пить чай съ клюквеннымъ морсомъ, -- и моя желтуха постепенно исчезла. Съ тъхъ поръ кишечный катарръ началъ чаще возвращаться и долее продолжаться, иногда почти целый месяць. Надо заметить, что въ Дерите солитеръ составляеть обыкновенную эпидемическую бользнь; почти не встрвчается ни одного вскрытаго трупа, при которомъ не нашли бы цёлые клубки солитера въ кишкахъ. Поэтому я полагалъ сначала, что эта глиста причиняетъ мнъ катарръ, -- но, ни разу не нашедъ у себя кусковъ солитера, я долженъ быль оставить это мевніе. Впрочемъ, и кромв кишечнаго катарра, я страдаль еще нередко катарромъ бронхій, —а можеть быть и бугорками; тогда, по крайней мірь, я быль убіждень, что страдаю уже началомъ бугорчатой чахотки. При вашль, длившемся иногда по 5, по 6 недёль, я, смотрясь въ зеркало, постоянно следиль за краснымъ пятномъ на левой щеке, принимая его за признавъ изнурительной лихорадки. Мойеръ и товарищи, знавшіе о моихъ подозрвніяхъ, насмвхались надо мною; но мой дневникъ того времени ясно свидетельствуеть (онъ сохранялся одно время у жены), что убъжденія мои были не шуточныя. Въ дневникъ я съ грустью ни о чемъ болъе не мечталь, какъ прожить еще до 30 леть, а тамъ, -- говорю, -- пора востямъ и на место.

Это было писано въ 1831 году.

Этоть дневникъ свидетельствоваль еще и о томъ, что не

одни гастрономическія наслажденія не шли мнѣ въ-провъ, — и половыя возбуждали потомъ отвращеніе и тоску. Въ одномъ мѣстѣ дневника того времени, послѣ одного меданхолическаго пассажа, прибавлено: "omne animal post coitum triste". Наконецъ, и табакъ, какъ средство къ легкому самозабвенію, не переносился въ то время организмомъ.

Имъ́я весьма плохое обоняніе (я могу пронюхать только острыя летучія вещества), я не имъ́лъ никакой потребности курить при моихъ занятіяхъ надъ трупами, и только на 31-мъ году жизни, въ первый разъ послъ тяжкой болъ́зни, почувствовалъ желаніе выкурить сигарку, и съ тъ́хъ поръ сталъ курить, —и по временамъ оченъ сильно.

Итакъ, не имъя отъ природы призванія къ чувственнымъ наслажденіямъ, не перенося пресыщенія, я уже по этой одной причинъ долженъ былъ посвящать себя исключительно научнымъ занятіямъ. А къ этому еще влекло и сильно развитое любознаніе.

Моя, рано развившаяся во мив, любовь въ наукв имвла только ту опасную и худую сторону, что послужила въ раннему же развитію и самонадвянности, заносчивости и самомивнія.

Пріёхавъ, наприм'єръ, въ Дерптъ совершеннымъ невѣждою въ офталмологіи, я, прочитавъ на первыхъ же порахъ одно только руководство Веллера, вздумалъ-было вступить въ споръ съ Мойеромъ объ одномъ глазномъ больномъ въ клиникъ. Мнѣ почудилось, что—по Веллеру—надо было назвать болѣзнь не такъ, какъ ее назвалъ Мойеръ. Потомъ я самъ кръпко смѣялся надъ собою. Въ другомъ случать мое самомнъніе поставило меня въ чистые дураки, не допустивъ меня хорошенько осмыслить и обсудить то, что я предлагалъ.

Случай этоть мив памятень до сегодня и до сихь порь еще бросаеть меня въ враску, когда я вспомню о предложенной мною, въ вругу товарищей и въ присутствии Мойера, безсмыслипъ.

Еще въ Москвѣ я слышалъ мелькомъ отъ кого-то о вырѣзываніи суставовъ и образованіи искусственныхъ суставовъ. Прибывъ въ Дерптъ съ полнымъ незнаніемъ хирургіи, я, на первыхъ же порахъ, нигдѣ ничего не читавъ о резекціяхъ суставовъ, вдругъ предлагаю у одного больного въ клиникъ выръзать суставъ и вставить потомъ искусственный. Предложение это я дълаю одному товарищу.

— "Что такое, что такое?"—спрашиваеть Мойеръ, слыщавшій нашъ разговоръ въ полголоса.

Товарищъ передалъ Мойеру, что я видълъ или слышалъ въ Москвъ, что вставляютъ искусственные суставы изъ слоновой кости на мъсто выръзанныхъ.

Мойеръ покачалъ головою и началъ трунить надо мною, что я повърилъ такой нелъпицъ. А нелъпицу эту я самъ изобрълъ. Я долженъ былъ прикусить языкъ и смъяться надъ собственною же нелъпостью. Тутъ играло главную роль не столько невъжество и грубое незнаніе, сколько безразсудность отъ самомнънія, мъшавшаго разсуждать и всесторонне обдумывать, что хочешь сказать или сдълать.

Послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Дерптѣ, я уже безъ самонадѣянности и безъ самомнѣнія въ правѣ былъ считать себя достаточно приготовленнымъ въ дальнѣйшему самостоятельному образованію наукою. Изъ анатоміи я изучилъ нѣкоторые предметы такъ основательно, что, напримѣръ, въ изученіи о фасціяхъ едва-ли кто-нибудь могъ быть опытнѣе меня. Въ этомъ убѣдились потомъ и въ Берлинѣ проф. Шлемъ и Іоганнъ Мюллеръ. Хирургію я изучилъ по монографіямъ, и всегда при помощи хирургической анатоміи, которую изучалъ на трупахъ.

Недостатовъ труповъ въ Дерптъ былъ, по врайней мъръ, тъмъ полезенъ, что принуждалъ пользоваться тщательно наличнымъ матеріаломъ. Немудрено, что, получая въ свое распораженіе трупъ, возились съ нимъ день и ночь, не бросая ничего даромъ и стараясь сохранить вавъ можно долъе.

Трупы получались большею частью изъ Риги, по почть, зимою почти всегда замерзшіе. Вспоминаю при этомъ забавное происшествіе, случившееся съ однимъ изъ моихъ товарищей. Онъ препарировалъ промежность (perinaeum) на полузамерзшемъ трупъ, загнувъ его бедро къ животу и приподнявъ ноги кверху. Дъло было ночью, и потому на ноги и на животъ трупа поставили нъсколько свъчъ въ низенькихъ подсвъчникахъ. Препарирующій углубился всецьло въ свою работу;

вдругъ онъ получаетъ отъ невидимой руки затрещину, свъчи падають, потухли, и въ комнатъ дълается совершенно темно. Можно себъ представить удивленіе и испугъ оставшагося въ темнотъ и съ болью въ щекъ молодого анатома! Онъ поднимаетъ крикъ, — является аптечный служитель со свъчею, и дъло разомъ объясняется. Полузамороженный трупъ отгаялъ, и тотчасъ же поднятыя вверхъ ноги спустились, столкнули свъчи и даютъ плюху сидъвшему между ногъ съ нагнутою внизъ головою анатому.

Въ май 1833 года ръшено было отправиться намъ за границу.

Всв медики должны были вкать въ Берлинъ, естествоиспытатели—въ Въну; всв другіе (юристы, филологи, историки)—также въ Берлинъ. Во Францію и почему-то и въ Англію никого не пустили.

Я отправился вмёстё съ однимъ дерптскимъ пріятелемъ (потомъ служившимъ врачемъ въ московскомъ воспитательномъ домѣ), Самсономъ фонъ-Гиммельштерномъ, и съ товарищемъ изъ профессорскаго института—Котельниковымъ.

На Котельнивовъ надо остановиться, — въдь онъ не мало былъ предметомъ моего любопытства.

Въ нашемъ профессорскомъ институть было двое чахоточныхъ въ послъднемъ періодъ бользни: Шкляревскій и Котельниковъ. Первый, на видъ здоровый, полный блондинъ, съ хорошо развитою грудью, говорившій всегда громко, началъ харкать кровью и умеръ отъ скоротечной чахотки. Это былъ поэтъ съ прекрасною, высокою душою. Въ стихотвореніяхъ его проглядывалъ мистическій оттьнокъ; въ одномъ изъ нихъ (на новый годъ, напримъръ) Шкляревскій говорилъ собравшимся товарищамъ:

Было время, одиновою Каждый шествоваль тропой Сквозь тумань и глушь, далевою Увлекаемый звёздой; Но грядый незримо съ чадами Слить пути въ единый путь, Взгляды встрётились со взглядами И къ груди прижалась грудь. Пути наши, казавшіеся восторженному юнош'в уже слитыми, не слились, какъ показало время.

Иначе могло ли бы случиться, чтобы объ иныхъ изъ насъ не было лёть 30 ни слуху, ни духу. Воть о Котельниковъ, напримъръ, я 40 лътъ ничего не знаю. Ошибаюсь, впрочемъ: слышалъ, что дочь его (послъ меня—самаго младшаго изъ членовъ профессорскаго института) вышла замужъ за Коргухтроцкаго, воторый, по малой мъръ, лътъ на 7—8 былъ старъе Котельникова. И еще знаю о нихъ обоихъ, что они были профессорами въ Казани, а если не ошибаюсь, кажется, видалъ и визитную карточку Котельникова у себя въ Берлинъ.

Этоть юноша, — такимъ онъ быль 48 лёть тому назадь 1), быль тогда какимъ-то феноменомъ въ моихъ глазахъ. Теперь мнв стало известно изъ опыта, что съ 17—21-лётними юношами совершаются иногда непостижимыя перемёны и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи; но въ 1830-хъ годахъ нашего въка, Котельниковъ, изможденный какъ скелеть, едва переводившій духъ, страдавшій цёлые мъсяцы изнурительною лихорадкою, задыхавшійся отъ кровохарканья и скоплявшейся въ кавернахъ мокроты, и потомъ—тотъ же Котельниковъ, кутившій съ нами въ Ригъ и наслаждавшійся потомъ dolce far піепте въ Берлинъ, для меня, —говорю, —тогда эти два образа не могли умъститься въ одномъ и томъ же Котельниковъ. Это съ физической стороны; а съ духовной—снова два разныя лица.

Одинъ Котельниковъ—больной и хилый, но геніальный математивъ, по увёренію профессоровъ Струве и Бартельса и по увёренію товарищей; онъ день и ночь сидить надъ математическими выкладками, онъ изучиль всё тонкости небесной механики Лапласа; отъ Котельникова всё ожидають, что онъ займеть высшее мёсто (выше самого Остроградскаго) въ ряду русскихъ математиковъ; объ этомъ намекаеть и самъ Штруве. Одна бёда—разстроенное здоровье. Но вотъ здоровье неожиданно поправляется. Котельниковъ воскресаеть изъ мертвыхъ, и что же — чрезъ два года онъ неузнаваемъ въ нравственно-духовномъ отношеніи.

Ежедневно можно было встретить Котельнивова въ конди-

¹⁾ Писано въ 1881 г.

н. н. пироговъ.—т. і.

терскихъ, загородныхъ гуляньяхъ или просто на улицахъ Берлина, или читающимъ какую-нибудь газету, или же, всего чаще, ничего не дълающимъ; книги, лекціи, все оставлено. Я помню, Котельниковъ сознавался мнъ, что еще ни разу не былъ на лекціи одного изъ извъстныхъ тогда математиковъ.

Женскія лица начали дъйствовать на Котельникова обаятельно, но по прежнему платонически, и, несомнънно, Котельниковъ, гуляка и глазъйщикъ, остается дъвственнымъ.

- Что съ тобою приключилось?" часто спрашивалъ я его, когда онъ, отъ нечего-дълать, заходилъ ко мнъ.
- "У меня, воть туть, говориль онь, показывая на лобь, что-то лежить, въ родъ камня, а иногда мив душно дълается; я ночью растворяю окно, становлюсь въ рубашкъ противъ вътра или бъгу, сломя голову, на улицу".

Разговоръ объ этомъ не тянулся и переходилъ на злобу дня. Такъ прошли два года въ Берлинъ. Я любилъ добръйшую душу этого чудака-товарища, и съ нимъ же отправился и обратно изъ Берлина въ Россію.

Я потомъ опишу это путешествіе, а теперь скажу только, что въ Ригѣ я, несмотря на постигшую меня тажелую бользнь, не могъ удержаться отъ смѣха, глядя на чемоданъ Котельникова; глядя, я вспоминалъ о забавной гримасѣ, видѣнной мною на лицахъ нѣмецкихъ почтарей, когда они, перекладывая и перенося чемоданъ Котельникова, замѣчали въ немъ стукъ отъ перекатыванія какого-то твердаго тѣла изъ одного угла въ другой. Въ Ригѣ же я узналъ, что чемоданъ ничего болѣе не содержалъ въ себѣ, какъ старые, поношенные сапоги Котельникова.

Можно себъ представить, какъ пріятенъ быль мнѣ путь изъ Дерпта въ Ригу. Будущее, розовыя надежды, новая жизнь въ разсадникахъ наукъ и цивилизаціи, пріятное общество двухъ товарищей, прекрасная весенняя погода, все веселило и радовало молодую душу.

Ко многимъ моимъ недостаткамъ и слабостямъ того времени я отношу еще неумѣнье и нежеланье вести счеть деньгамъ. Несмотря на мою бѣдность, несмотря на то, что, живя въ семействѣ, я долженъ бы былъ знать цѣну деньгамъ, изъ которыхъ ни одна копѣйка не проходила и не пропадала даромъ, я не хотель и не умёль считать, когда деньги поступали въ полное мое распоряжение.

Получивъ въ началъ мъсяца жалованье, я никогда не могъ свести концы съ концами, и неръдко случалось въ Деритъ, что въ концу мъсяца я сидълъ безъ чая или безъ сахара; въ такомъ случав чай замънялся ромашкою, мятою, шалфеемъ. Когда, при отъвздъ за границу, намъ выдана была впередъ довольно значительная для насъ сумма, — кромъ денегъ на дорожныя издержки мы получили впередъ за полгода наше заграничное жалованье (800 талеровъ въ годъ), то съ этими деньгами случилось у меня то же самое, что и съ мъсячнымъ жалованьемъ въ Деритъ.

Прівхавь въ прибалтійское Эльдорадо—Ригу, всв ощутили какую-то неудержимую потребность покутить; а потомъ, вмісто того, чтобы спіншть къ місту назначенія, кто-то предложиль іхать въ Берлинъ чрезъ Копенгагенъ моремъ, а потомъ на Гамбургъ и Любекъ. Ни мы, ни наше университетское начальство, ни министерство не знали, что отправляться весною въ заграничные университеты для слушанья курсовъ весьма неразсчетливо и непроизводительно.

Лътній семестръ, начинающійся послъ святой, весьма коротокъ и неудобенъ. Надо отправляться за границу для ученья только осенью, въ срединъ октября.

Продливъ время нашего путешествія избраніемъ пути чрезъ Копенгагенъ, мы могли прівхать въ Берлинъ только въ концѣ мая; семестръ же продолжался только до половины августа, а гонораръ за лекціи мы должны были внести все-таки полный, семестральный. Такать въ Берлинъ чрезъ Копенгагенъ, значило въ то время искать случая, то-есть искать паруснаго купеческаго судна въ Ригъ.

На это понадобились еще два дня, что съ двумя другими, проведенными въ кутежъ, хотя и далеко не безшабашномъ, составило уже четыре дня, канувшихъ въ Лету не только безъ пользы, но и со вредомъ для кармана. Нашлось парусное датское судно, отправлявшееся обратно въ Копенгагенъ, сколько помню, почти ненагруженное. Насъ отправилось человъкъ восемь, и всъ въ первый разъ въ жизни дълали путешествіе моремъ.

Оно, конечно, началось прежде всего морскою бользнью.

На другой день всё мы лежали въ-лежку, проклиная тотъ часъ, когда рёшена была эта поёздка. Еще день—и еще хуже. Поднимается штормъ и страшная качка; кажется, что вотъ, вотъ; и наше судно развалится, лопнетъ, разобъется въ щепки. Кто-то изъ насъ выползъ на палубу и умоляетъ капитана воротиться назадъ куда-нибудь въ берегу; другіе, несмотря на плачевную обстановку, смёются вмёстё съ капитаномъ надъ наивнымъ предложеніемъ товарища. Наступаетъ темная, бурная ночь, и мы (кажется, около Борнгольма)—на краю опасности, признаваемой и самимъ капитаномъ. Снасти трещатъ во всю ивановскую; волны играютъ судномъ, какъ мячикомъ; сверху льетъ ливмя, вокругъ туманъ и не видать ни эги. Насъ заперли внизу, всёхъ въ одной большой каютъ, вылъзать на палубу запретили.

Ужасъ да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь; а ночью — трескъ, вой, свистъ, плескъ волнъ кажутся еще страшнъе и зловъщъе! Цълыхъ три дня длилась буря, а потомъ цълый день былъ штиль, и только черезъ недълю мы пріъхали въ Копенгагенъ.

Первый разъ въ жизни—въ заграничномъ городъ. Какое же первое впечатлъніе? Помню ясно, что меня поразила всего болье какая-то невиданная еще мною городская опрятность, а затъмъ—высокіе цилиндрическіе тополи, придававшіе городу также необычайный для меня видъ. Я тотчасъ же отправился по госпиталямъ, сдълавъ предварительно визиты директорамъ госпиталя и клиникъ. Пріемъ былъ очень радушный; видно было, что датскіе профессора еще не скучали отъ наплыва любознательныхъ иностранцевъ. Только одинъ, не профессоръ, а извъстный въ то время въ Копенгагенъ операторъ (именно литотомисть), видимо изумленный моимъ посъщеніемъ, отказалъ мнъ присутствовать при его операціяхъ, сказавъ коротко и ясно, что этого нельзя допустить.

Уже и въ то время явно обнаруживалась ненависть датчанъ къ нѣмцамъ. Очевидно было присутствіе двухъ враждебныхъ лагерей и въ ученомъ сословіи. Нѣсколько докторовъ и прозекторовъ, изъ датчанъ, очень любезно отнесшихся ко мнѣ, при первомъ же удобномъ случаѣ раскрывали мнѣ душу, полную ненависти къ нѣмцамъ. — "Вскат, вскат мы готовы принять по-дружески, только не немцевъ, — нашихъ злейшихъ враговъ".

Мить живо припомнились эти слова, очень живо, въ Берлинт, въ 1863 году.

Я въ почтовой кареть ъду изъ Гамбурга въ Берлинъ. Для чего это я-думаю я по дорогъ-накупиль столько фуляровь въ Гамбургъ? Мнъ нравится утирать нось фуляромъ, и при томъ мой Мойеръ всегда носиль въ карманъ фуляръ. Да онъ нюхаль табавь, и потому не употребляль бёлыхъ носовыхъ платковъ; а тебъ зачъмъ, -- въдь ты не нюхаешь? Ну, да, впрочемъ, что же, развъ много истрачено? Однако-же, давай-ка считать. И воть, едва-ли не въ первый разъ въ жизни, я принялся сводить приходъ съ расходомъ. Вёдь такъ, пожалуй, не хватить и на полгода того, что осталось въ карманъ. Ну, это еще что? Давай-ка, сочтемъ, благо никого нътъ изъ пассажировъ. Начинаю вынимать изъ бокового кармана: во-первыхъ, что это? а, датскій паспорть! Воть подлецы: слупили чуть-ли не 3 талера за наспортъ, а на чорта его! еще, пожалуй, съ нимъ бъды наживешь. Въдь этакое нахальство-навязывать провзжимъ иностранцамъ сбои датскіе паспорты, чтобы содрать 2-3 лишнихъ талера! Туть, стопъ! остановка; дверцы кареты отворяются, влёзаеть офицерь. Милости просимъ. Счеть деньгамъ приходится отложить. Посмотримъ, что за особа. Молчаніе.

- "Вы, върно, русскій?" слышу вопросъ.
- Да, я изъ Россіи.
- "Я узналъ это по запаху".
- Какъ! неужели отъ меня пахнеть?
- "Нѣтъ, не отъ васъ, а отъ вашихъ сапогъ и вашего бумажника, который вы держите въ рукахъ".

Туть я обращаю вниманіе на мой бумажникъ и прячу его скорве въ карманъ.

- "Я познакомился недавно со многими русскими изъ высшаго круга", —продолжаль офицеръ, смотря на меня въ упоръ, чтобы не упустить изъ виду Knalleffect, неизбъжный, по его мнѣнію, для всякаго русскаго, когда онъ слышить отъ нѣмца о знакомствъ его съ высшимъ кругомъ.
- "Да, я танцоваль также съ вашею государынею. Ея императорское величество, дочь нашего короля, была очень

благосклонна въ намъ, прусскимъ офицерамъ, и изъявила желаніе протанцовать съ каждымъ изъ насъ".

Сказавъ это, прусскій офицеръ какъ-то особенно подняль голову, бросиль на меня выразительный взглядъ и, предложивъ мнѣ безъ результата сигарку, закурилъ и погрузился въдуму.

А я, не уситыть счесть содержимое въ моемъ пахучемъ бумажнивъ, принялся считать въ умъ — и постоянно сбивался въ счетъ, задремаль и заснулъ.

Въ Берлинъ мы были поручены нашимъ министромъ, княземъ Ливеномъ, нъкоему ученому піэтисту, профессору Кранихфельду. Это былъ окулисть, завъдывавшій частною глазною клиникою и вмъстъ съ тъмъ профессоромъ, если не ошибаюсь, гигіены или чего-то въ этомъ родъ. Первымъ дъломъ Кранихфельда было приглашеніе насъ въ нему на чай. Мы нашли у него, за чайнымъ обществомъ, кромъ жены, трехъ или четырехъ дамъ и еще двухъ или трехъ пожилыхъ господъ. Тутъ изъ разговоровъ мы узнали, что Кранихфельдъ придерживается гомеопатіи.

— "Представьте себь, — говориль онъ намъ, — какт случайные факты и наблюденія подтверждають иногда ученія, въ глазахъ скептиковь и вольнодумцевъ кажущіяся невъроятными. Мы недавно вечеромъ сидъли въ саду подъ кустомъ цвътущей бузины, и на другой же день всъ получили насморкъ и небольшой катарръ: similia similibus. По моему опыту, нътъ болъе надежнаго средства противъ простудныхъ катарровъ, какъ бузинный цвътъ".

Поговоривъ и напившись чаю, и притомъ чисто нѣмецкаго (русскій чай быль тогда еще рѣдкостью въ Берлинѣ, и продавался дорого, вмѣстѣ съ икрою, сладвимъ горошкомъ, въ одной только русской лаввѣ), мы принялись, по предложенію Кранихфельда, за пѣніе псалмовъ; намъ роздали какія-то брошюрки, одна изъ дамъ сѣла за фортепіано, и всѣ начали подпѣвать, кто какъ умѣлъ.

Это занятіе, съ н'якоторыми паузами, прододжалось безъ малаго часа два и стало намъ прискучивать; но д'ялать было нечего,—пришлось оставаться до конца. Наконецъ мы рас-

простились, съ твердымъ намъреніемъ не приходить болье на чай въ Кранихфельду.

Все, что онъ для насъ сдълалъ, во время своего инспекторства, состояло въ томъ, что онъ познакомилъ насъ съ нъкоторыми изъ профессоровъ. Самый главный изъ нихъ былъ старикъ Гуффеландъ, сроднившійся съ нашимъ извъстнымъ Стурдзою:

Я на Стурдзу гляжу библическаго, Вокругъ Стурдвы хожу монархическаго.

(Пушкинъ.)

Физіономія всёхъ этихъ господъ уже съ перваго взгляда обращала на себя вниманіе выраженіемъ какого-то торжественнаго спокойствія; у иныхъ это выходило съ натяжкою и было болье продуктомъ искусственнымъ, а у другихъ шло изнутри. Къ числу последнихъ принадлежалъ и Гуффеландъ. Высокій, седой, несколько бледный, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, онъ импонировалъ своимъ лбомъ, видневшимся выше зонтика, и подбородкомъ. Онъ говорилъ торжественно и спокойно. Спрашивалъ кое-что о Дерптъ. Гуффеландъ въ то время не держалъ уже клиники и былъ на-поков, въ кругу своей семьи.

Кранихфельдъ водилъ насъ, медиковъ, также въ Русту; но этотъ не принялъ насъ; мы узнали потомъ, что Кранихфельдъ былъ ему непонутру. Впрочемъ жена Руста приняла насъ и объявила, что мужъ, послѣ подагрическаго припадка, лежитъ въ истерикѣ и принять насъ не можетъ; а мы хотъли было испросить у него позволенія посѣщать Charité во время утреннихъ и вечернихъ визитовъ ея ординаторовъ (штабъ-лекарей, Stabsārzte), что никому изъ учащихся не дозволялось.

Вскоръ Кранихфельдъ не преминулъ отличиться слъдующими подвигами.

Во-первыхъ, онъ распорядился втайнъ у хозяевъ нашихъ квартиръ, чтобы они не давали на руки ключей отъ входныхъ дверей, какъ это обыкновенно дълалось, когда квартирантъ отлучался вечеромъ и не надъялся возвратиться рано домой. Всъ ли наши хозяева получили отъ Кранихфельда эту инструкцію—не знаю, но одинъ изъ насъ, Крюковъ (потомъ профессоръ филологіи въ Москвъ), случайно сдълалъ открытіе. Хозяйка его, на требованіе Крюкова выдать ему ключъ отъ улич

ной двери на ночь, сказала, что собственно она не должна бы этого дёлать.

- Это почему? спросиль Крюковь.
- "Да профессоръ Кранихфельдъ запретилъ", отвъчала она, улыбаясь.

Крюковъ не утерпълъ, побъжалъ къ Кранихфельду за объясненіемъ.

- "Я узналъ, говорилъ ему Кранихфельдъ, что вы часто отлучаетесь изъ дома ночью", да потомъ, слово за слово, встръчая противоръчія, вдругъ и бухни:
- "Вотъ такіе-то русскіе, г. Крюковъ, какъ вы, и дошли до самаго страшнаго изъ преступленій: до цареубійства!"
- Цареубійства!—восвлицаеть Крюковъ:—да мы, русскіе, никогда и не слыхивали у нась о такомъ преступленіи.
 - "А смерть....?" возражаеть Кранихфельдъ.
- Какъ! что вы говорите, г. профессоръ! горячится Крюковъ: — да развъ это могло быть? Мы объ этомъ ничего не знаемъ и никогда не слыхали.

Кранихфельдъ оцененель, увидевь, что попаль въ просакъ. Съ техъ поръ онъ оставилъ и Крюкова, и всехъ насъ въ поков.

Я опасался также встретить въ Кранихфельде второго Василія Матвевича Перевощикова, но, напротивь, Кранихфельдъ не могь нахвалиться моимъ прилежаніемъ въ посёщеніи госпиталей, анатомическаго театра и лекцій.

Левціи Кранихфельда даже для того времени, когда еще сильно господствовали въ умахъ разныя философскія бредни, считались допотопными. Разсказывали, напримѣръ, о такого рода пассажѣ.

— "Природа, — утверждалъ Кранихфельдъ на одной лекціи, — представляетъ намъ всюду выраженіе трехъ основныхъ христіанскихъ добродѣтелей: вѣры, надежды и любви. Такъ, цѣлый классъ млекопитающихъ служитъ представителемъ первой изъ нихъ — вѣры; земноводныя какъ бы олицетворяютъ надежду, а птицы — любовь".

Этотъ мистическій сумбуръ въ голов'в Кранихфельда не препятствоваль ему, однаво-же, быть довольно порядочнымъ окулистомъ того времени. Онъ д'алаль отчетливо и довольно хо-

рошо извлеченіе катаракта (хрусталика) и круга глазного зрачка, и т. п.

Владычество Кранихфельда надъ нами продолжалось недолго. Съ отставкою князя Ливена и съ вступленіемъ въ министерство гр. С. С. Уварова, уволенъ былъ отъ насъ и Кранихфельдъ. Мёсто его заступилъ генералъ Мансуровъ; при немъ мы получили прибавку жалованья и освободились совершенно отъ нравственной опеки.

Во время нашего пребыванія въ Берлин'й прійзжаль императорь Николай, остановился у посла Рибопьера и вел'яль явиться туда всімь русскимь.

Я занемогъ въ это время простудою, и не могъ явиться. Явилось много другихъ, и между прочими нъкоторые поляви: на одномъ изъ нихъ остановился взоръ императора.

- "Почему это вы носите усы?" спросиль строго государь, подойдя близко въ свонфуженному усачу.
 - Я съ Волыни, отвътилъ онъ чуть слышно.
- "Съ Волыни или не съ Волыни, все равно; вы—русскій, и должны знать, что въ Россіи усы позволено носить только военнымъ", громкимъ и внушительнымъ голосомъ произнесъ государь.
- "Обрить!" крикнуль онъ, обратясь въ Рибопьеру и показывая рукою на несчастнаго волынца.

Тотчасъ же пригласили этого раба божьнго въ боковую комнату, посадили и обрили.

Въ Берлинъ, прежде всего, мнѣ надо было распорядиться съ домашнею жизнью. Денегъ оказалось, по моимъ соображениямъ, — несмотря на излишнюю покупку фуляровъ въ Гамбургъ, достаточно до вонца семестра, то-есть до новаго жалованья. Я нанялъ квартиру въ улицъ Charité, у едовы какого-то мелкаго чиновника. Помъщеніе мое состояло изъ одной, но весьма просторной комнаты, отдъленной на-глухо забитою дверью отъ хозяйскаго помъщенія. Семейство вдовы состояло изъ подростковъ, одной дочери и мальчика сына, настоящаго

берлинскаго Strassenjunge, подававшаго надежду сдёлаться впослёдствіи настоящимъ Berliner Louis.

Мебель моя состояла изъ вровати, софы, пяти-шести стульевъ, шкафа, стола и коммода, — увы! какъ оказалось послъ — плохо запиравшагося. Въ этотъ злосчастный коммодъ я и положилъ, вмъстъ съ другими вещами, бумажникъ съ прусскими ассигнаціями, пересчитавъ ихъ предварительно не одинъ разъ. Что касается до пищи и питья, то оказалось, что я гораздо легче могъ найти себъ пріютъ, чъмъ отыскать хотя сколько-нибудь сносный способъ питанія моего тъла.

Въ Деритъ, на Мойеровскомъ столъ, простомъ и питательномъ, я отвыкъ отъ трактирной кухни, и одно воспоминаніе о рисовой каштъ съ снятымъ молокомъ, водянистомъ супъ и твердомъ, какъ подошва, жаркомъ, доставлявшихся намъ въ трехъ глиняныхъ судкахъ изъ трактира Гекштетера, въ первый семестръ нашего пребыванія въ Деритъ, — уже одно, говорю, воспоминаніе объ этихъ кулинарныхъ прелестяхъ возбуждало во мнъ отвращеніе въ пищъ и тошноту, и я радъ былъ услышать отъ моей хозяйки, что она бралась приготовлять мнъ объдъ.

Вскоръ, однако-же, оказалось, что Гекштетеръ въ Дерпт былъ, по врайней мъръ, въ томъ отношени добросовъстенъ, что онъ замънялъ малую питательность отпускавшейся имъ неудобоваримой пищи по истинъ огромнымъ количествомъ съъстного матеріала. Хозяйка же моя въ Берлинъ умудрилась такъ распорядиться, что, отпуская для моего объда: а) супъ, еще болъе водянистый, чъмъ Гекштетеровскій, b) мясо вареное и жареное, еще менъе ъдомое и с) блинчики, уже вовсе неъдомые и иногда замъняемые кускомъ угря (Aal) весьма подозрительнаго свойства, — вмъстъ съ тъмъ и количеству не давала выступать изъ самыхъ ограниченныхъ размъровъ.

Промучившись такъ около двухъ недёль на хозяйскомъ столё, утоляя дефицить питанія чёмъ ни попало, но съ двойнымъ ущербомъ для кармана, я наконецъ рёшился, по совёту товарищей, абонироваться на мёсяцъ въ трактирѣ. Предстояла, однако-же, трудность выбора. Въ одномъ изъ нихъ, предназначенныхъ исключительно для учащейся братіи, абонементъ былъ 3 талера въ мёсяцъ, то-есть по 3 Silbergroschen за обёдъ. Въ дру-

гомъ,—Unter den Linden,—абонировались за 5 талеровъ (по 5 Silbergroschen за объдъ); и въ томъ, и въ другомъ абонентъ имълъ право выбирать по картъ 3 кушанья. Послъ многихъ волебаній, я избралъ абонементомъ Unter den Linden.

Отъ водянистаго супа, однако-же, я и тутъ не ушелъ; только онъ тутъ явился подъ французскимъ наименованіемъ: bouillon clair. И вотъ, тарелка этого чистъйшаго водяного раствора, кусокъ bœuf à la mode или Rindenbrust naturel и порція Mehlspeise съ ягоднымъ сокомъ составляли мой объдъ вътеченіе пълаго мъсяна и болье.

Такъ какъ я былъ всегда худощавъ, то не знаю, можно-ли было замътить истощеніе тъла отъ недостаточнаго питанія; я чувствоваль, однако-же, ежедневно къ вечеру,—набъгавшись отъ стараго анатомическаго театра (за Garnison-Kirche) въ Charité и оттуда въ Ziegelstrasse,—неудержимую потребностъ ъды, и удовлетворялъ ее разною дрянью въ родъ лимбургскаго сыра, колбасы и т. п., какъ наименъе бившей по карману. Такъ я разсчитывалъ пробиться до конца семестра; но суждено было не то.

Однажды я иду въ коммодъ за деньгами, вынимаю бумажникъ, смотрю—и не върю глазамъ: начка прусскихъ ассигнацій въ 5 талеровъ, еще не такъ давно довольно пузастая и тъмъ поддерживавшая во мнъ надежду, показалась мнъ необывновенно исхудавшею. Я принимаюсь считать, и—Боже мой, что же это такое? мнъ такъ не хватитъ и на 2 мъсяца, а до конца августа—еще 3, да, сверхъ того, я долженъ еще внести за privatissimum у профессора ПІлемма. Какъ же я могъ такъ ошибиться въ разсчетъ? А считалъ ли я всякій день, что расходовалъ, повърялъ ли отложенныя въ бумажникъ деньги, и когда ихъ повърялъ? Велъ ли хоть какую-нибудь приходо-расходную тетрадъ? Нътъ, нътъ и нътъ. А между тъмъ я навърное знаю или, лучше, чувствую, что обворованъ.

Входя нечаянно въ свою комнату, я не разъ видёлъ, что будущій Berliner Louis шлялся въ ней непрошенный и бывалъ вблизи коммода. Замокъ коммода оказался также незапертымъ хорошо. Я позвалъ хозяйку и объявилъ ей о пропажё денегъ. Она взбуторажилась, разъ десять прокричала: "Kreutz Donnerwetter!", отвергала всякое малёйшее подозрёніе на своего сы-

нишку. Объявили полиціи. Но гдё доказательства, что пропажа дёйствительно существовала? Поговорили, покричали, побранились,—тёмъ и кончилось. Что тутъ дёлать? Я крёпко призадумался, началъ остатокъ уцёлёвшихъ денегъ носить постоянно съ собою, сократилъ еще болёе мелочные расходы; но все это, я видёлъ ясно, не дастъ мнё средствъ къ жизни до конца семестра.

Иду въ Garrison-Kirche, въ анатомическій (старый) театръ, чтобы уплатить, пока еще есть деньги, профессору Шлемму за privatissimum (хирургическія операціи надъ трупами). Смотрю и вижу тамъ нъсколько знакомое лицо, узнавшее и меня.

Это—студенть дерптскаго университета, сынъ богатаго петербургскаго аптекара, старика Штрауха.

Молодой Штраухъ, не вончивъ медицинскаго курса, долженъ былъ оставить университетъ и бъжать за границу. Онъ опасно ранилъ на пистолетной дуэли того студента, о ранъ котораго на шев и уже разсказывалъ прежде. И вотъ, этотъ Штраухъ, получавшій отъ отца большое содержаніе, оставивъ Россію и съ нею невъсту, прівхалъ въ Берлинъ доканчивать курсь.

— "Вотъ встрвча-то вавъ нельзя встати! — говоритъ мнѣ Штраухъ: — знаете ли, мнѣ бы котълось жить и заниматься вмѣстѣ съ вѣмъ-нибудь, вто бы могъ быть мнѣ полезнымъ въ занятіяхъ; не согласитесь ли вы? Я вамъ предлагаю квартиру у себя, особую комнату, содержаніе, удовольствія и развлеченія, которыми я самъ пользуюсь, а отъ васъ ничего другого не требую, какъ помочь мнѣ совѣтомъ или объясненіемъ тамъ, гдѣ не хватитъ своего ума".

Я съ радостью далъ самое задушевное согласіе.

Въ Провидъніе я тогда, — во вреду для самого себя, — не върилъ, и счелъ встръчу съ Штраухомъ за счастливый случай.

На другой же день я перевхаль въ Штрауху, и быль ему исвренно благодаренъ. Я жилъ съ нимъ вмёстё, кажется, более года. И Штраухъ, и я сдержали слово. Онъ мнё ни въ чемъ не отказывалъ; всякое воскресенье водилъ онъ меня въ театръ. Тогда были въ ходу классическія пьесы Шекспира, Шиллера, Лессинга и Гёте, а Штраухъ былъ отъявленный меломанъ. Мы обыкновенно приносили съ собою въ театръ переводъ Шекс-

пира и слъдили по немъ за дивцією актеровъ, между которыми Лемъ, Ротъ, Крелингеръ были любимцами берлинской публиви.

Питаніе моего тѣла также нѣсколько исправилось, — я пилъ каждодневно пиво съ Штраухомъ, до котораго онъ былъ охотникъ. Хотя мы всего чаще объдали по 3-хъ-талерному абонементу, въ чисто-студенческомъ ресторанъ, но кушанья выбирали получше, приплачивая, да къ тому же еще нерѣдко и вечеромъ заходили съъсть порцію чего-нибудь.

Въ этомъ ресторанъ всъ блюда были на подборъ во истину студенческія. Главную роль играла свинина съ тертымъ горохомъ. Это кушанье съвдалось студентами въ ужасающихъ размърахъ, запиваемое берлинскою пивною бурдою (такъ называемое Weissbier или Blonde); немалую роль, но уже какъ деликатесъ, игралъ сельдерейный салатъ (Sellerysalat).

Этотъ деливатесъ мнъ памятенъ еще и потому, что онъ предложенъ былъ однимъ бъднымъ еврейчикомъ какъ нъжное питательное средство.

Это предложеніе, о которомъ и теперь не могу вспомнить безъ сміха, было сділано въ клиникі Грефе.

Знаменитый профессоръ имълъ обывновение иногда спращивать правтивантовъ въ его влинивъ о діэтъ, необходимой для того или другого больного; при этомъ онъ требовалъ иногда отъ правтиванта и довольно подробнаго меню для случаевъ изъчастной правтиви. Ръчь шла о режимъ для вакой-то слабой и безкровной дамы.

- "Какое бы вы предложили нѣжное и вмѣстѣ съ тѣмъ питательное кушанье для этой ослабѣвшей и деликатной особы?"
 спрашивалъ Грефе у практиканта-еврейчика, котораго я нерѣдко встрѣчалъ въ нашемъ ресторанѣ.
- Sellerysalat, отвъчаль онъ, въ полной увъренности, что болъе приличнаго блюда для его больной нивто не предложить.
- Я, съ свой стороны, искренно, отъ души помогалъ Штрауху въ его занятіяхъ, демонстрируя ему изъ хирургической анатоміи, оперативной хирургіи, читалъ съ нимъ и репетировалъ, словомъ,—дълалъ, что могъ. Черезъ два года Штраухъ выдержалъ въ Деритъ экзаменъ на доктора, и я, возвратясь въ

Дерптъ, имътъ еще удовольствіе попотчивать гостей на его докторскомъ банкетъ черепаховымъ супомъ, заставляющимъ меня, не менъе сельдерейнаго салата, смъяться при воспоминаніи о немъ.

Я зналъ слабость Штрауха похвастать и отличиться. А угостить настоящимъ черепаховымъ супомъ въ Дерптв большое общество на званомъ объдъ—это чего-нибудь да стоитъ.

Случилось такъ, что какъ нарочно къ банкету прислали въ анатомическій театръ изъ Гамбурга огромную морскую черепаху, уже, конечно, давно отдавшую Богу душу; при раскупоркъ ящика обнаружился довольно пронзительный запахъ, и прозекторъ поспъшиль очистить скоръе мясо отъ костей, назначавшихся для скелета. Отпрепарированное мясо хотъли уже, за негодностью, схоронить, какъ мысль о черепаховомъ супъ для банкета дала этому матеріалу болъе высокое назначеніе.

Поваръ въ ресторанъ Пашковскаго съумъть придать мноологическимъ останкамъ черепахи такой необыкновенный вкусъ, что всъ гости на банкетъ Штрауха, и всего болъе, конечно, онъ самъ, были восхищены дотолъ невиданнымъ въ Дерптъ деликатесомъ. Мы, я и прозекторъ (ПГульцъ), знавшіе, въ какой степени разложенія мышцы черепахи служили къ изготовленію супа, посматривали только другь на друга и удивлались, какъ это и гости, и мы могли находить вкусною такую дрянь.

1 октября 1881.

Отъ 1-го листа до 79-го, то-есть университетская жизнь въ Москвъ и Деритъ, писана мною отъ 12-го сентября по 1-е октября (1881 г.), въ дни страданій: Dies illae, dies irae...

Влагодарю моего Господа Бога, что страданія не лишили меня способности живо вспоминать старое, думать и писать.

Да будеть воля святая Твоя!

Дотяну ли еще до дня рожденія (до ноября 13-го)? Надо спѣшить съ монмъ дневникомъ.

Наука въ Берлинъ въ 1830-хъ годахъ была въ переходномъ состояни. Послъ смерти Гегеля германская философія

уже не могла найти себѣ подобныхъ, какъ онъ, вожаковъ, заставившаго значительную часть культурнаго общества въ Европѣ смотрѣть на міръ божій не иначе, какъ чрезъ изобрѣтенные имъ консервы. Теперь трудно себѣ и вообразить, до какой степени и въ Германіи, и у насъ вѣровали—именно, вѣровали—въ философію Гегеля.

Ни голосъ такихъ геніальныхъ личностей, какъ Гумбольдтъ, не оправдывавшій господствовавшаго тогда увлеченія, ни примъръ англичанъ и французовъ, слъдовавшихъ чисто реальному направленію въ наукъ, ничто не помогало противъ обаянія и увлеченія гегелизмомъ.

Медицина того времени стояла въ Германіи на распутіи. Самая сущность этой науки препятствовала ей отдаться въ руки Гегелевой философіи, но, тъмъ не менъе, это философское направленіе всъхъ наукъ того времени препятствовало и медицинъ слъдовать спокойно и неуклонно путемъ чистаго наблюденія и опыта.

Трансцендентализмъ былъ слишкомъ моднымъ. Даже во Франціи, и въ такой наукъ, какъ хирургія, Лисфранкъ кричалъ во все горло о себъ, что у него можно найти "cette chirurgie suprême et transcendentale"!

Время моего пребыванія въ Берлин'в было именно временемъ перехода германской медицины—и перехода весьма быстраго—къ реализму; начиналось торжественное вступленіе ея въ разрядъ точныхъ наукъ, празднуемое фанатиками реализма еще до сихъ поръ.

Но я засталь еще въ Берлинъ практическую медицину почти совершенно изолированною отъ главныхъ реальныхъ ея основъ: анатоміи и физіологіи. Было такъ, что анатомія и физіологія—сами по себъ, а медицина—сама по себъ. И сама хирургія не имъла ничего общаго съ анатоміею. Ни Рустъ, ни Грефе, ни Диффенбахъ не знали анатоміи.

Русть, говоря однажды на своей клинической лекціи объ операціи Шопарта, сказаль весьма наивно: — "Я забыль, какъ тамъ называются эти двё кости стопы: одна выпуклая, какъ кулакъ, а другая вогнутая въ суставё; такъ воть оть этихъ двухъ костей и отнимается передняя часть стопы".

Грефе, при большихъ операціяхъ, приглашалъ всегда про-

фессора анатоміи Шлемма и, оперируя, справлялся постоянно у него: "не проходить ли туть стволь или вътвь артеріи?"

Диффенбахъ просто игнорировалъ анатомію и подшучивалъ надъ положеніемъ разныхъ артерій. Опасеніе повредить надчревную артерію при грыжахъ считалъ праздною выдумкою.—
"Das ist ein Hirngespenst!" — говорилъ онъ своимъ ученивамъ про надчревную артерію (а. epigastrica).

Мало этого: Диффенбахъ до такой степени быль чуждъ поверхностныхъ анатомическихъ понятій, что однажды послалъ Іог. Мюллеру кусочекъ, выръзанный имъ изъ языка у заики, прося, чтобы Мюллеръ опредълить, какой это мускулъ?

О профессорахъ терапіи и патологіи, о клиницизм'є по внутреннимъ бол'єзнямъ—и говорить нечего.

Объективный экзаменъ при постели больного почти не существоваль у терапевтовъ; постукиваніе и послупиваніе употреблялось болье какъ decorum.

Вскрытій труповъ сами профессора не дѣлали и не присутствовали при нихъ, да и присутствіе ихъ тамъ ни къ чему бы не повело, при ихъ полномъ незнаніи патологической анатоміи.

Однажды я увидёль въ рукахъ у студента, вскрывавшаго трупъ, довольно замъчательный образецъ аневризмы легочной артеріи, впрочемъ плохо выръзанной изъ трупа; я обратилъ вниманіе студента на ръдкость случая и посовътоваль ему представить препарать профессору терапіи Горну (Horn), въ клиникъ котораго находился предъ смертью страдавшій аневризмомъ.

— "Да что же туть нашь Горнъ пойметь?" — отвъчаль наивно студенть.

Изъ всёхъ занимавшихся стэтоскопомъ быль только одинъ молодой человёкъ, д-ръ Филипсъ, предлагавшій себя и для privatissimum, но охотниковъ не являлось.

Патологическая анатомія, въ современномъ смыслѣ и даже въ смыслѣ тогдашней французской школы, существовала въ Германіи только въ одномъ университетѣ—вѣнскомъ. Во всѣхъ другихъ университетахъ профессора патологической анатоміг ограничивались изложеніемъ и классификаціей разнаго рода уродствъ, и самъ Іог. Мюллеръ въ Берлинѣ, въ первое время,

читая натологическую анатомію, ограничивался этимъ изложеніемъ.

Впрочемъ я засталъ уже Фроріепа въ Берлинъ, недавно сюда приглашеннаго. При такомъ научномъ направленіи, о точной и правильной діагностивъ не могло, конечно, быть и ръчи. Нъщы съ пренебреженіемъ отзывались тогда о французскихъ врачахъ, говоря, что это не врачи, а только діагносты.

Признаюсь, въ этомъ упревъ много правды.

Но нъмцы не предвидъли, что чрезъ нъсколько лътъ этотъ упрекъ можетъ коснуться и ихъ самихъ.

И воть, въ это время являются на сцену: Іог. Мюллеръ въ Берлинъ, братья Веберы въ Лейпцигъ, Шенлейнъ, бъжавшій по политическимъ дъламъ изъ Баваріи въ Цюрихъ, и Рокитанскій—въ Вънъ.

Іог. Мюллеръ даеть новое, или по врайней мъръ забытое послъ Галлера, направленіе физіологіи. Мивроскопическія изслъдованія, исторія развитія, точный физическій эксперименть и химическій анализъ кладутся Мюллеромъ въ основы германской физіологіи.

Владычество Мюллера въ физіологіи, обильное богатыми результатами, потомъ, какъ царство Александра Македонскаго, распадается на нѣсколько областей, управляемыхъ его полководцами. Это и не могло быть иначе; но было время, когда Іог. Мюллеръ властвовалъ почти одинъ въ этой области знанія. Только братья Веберы раздѣляли съ нимъ власть нѣкоторое время.

Цюрихская клиника Шенлейна гремёла тогда на всю Германію славою геніальнаго врача, соединившаго реальное направленіе съ смёлыми теоріями, не даромъ же господствовавшими такъ долго въ умахъ передовыхъ врачей. Не прошло потомъ и двухъ лётъ, какъ Шенлейнъ былъ уже приглашенъ изъ Цюриха въ Берлинъ. Не многіе изъ передовыхъ дёятелей этой науви заслуживали себё такое имя, какъ Шенлейнъ, не оставивъ послё себя ни одного сочиненія, кромё небрежно составленныхъ учениками лекцій.

Братья Веберы въ Лейпцигъ избрали самостоятельно тотъ же самый путь, какъ и Мюллеръ. Но труды ихъ едва-ли не превосходять точностью результатовъ и самыя работы Мюллера. Особливо геніаленъ былъ братъ физикъ (потомъ профессоръ физики въ Геттингенѣ). Никогда я не видалъ человѣка, у котораго высшій умъ и необыкновенныя научныя достоинства вмѣпались бы въ такомъ невзрачномъ тѣлѣ, какъ у этого брата Вебера. Наконецъ, Вѣна была въ 1830-хъ годахъ единственнымъ мѣстомъ въ цѣлой Германіи, въ которомъ патологическая анатомія изучалась на дѣлѣ, т.-е. чрезъ вскрытіе труповъ, подъ руководствомъ опытнаго наставника (Рокитанскаго). Но объ этомъ мало знали или, вѣрнѣе, этимъ мало интересовались въ Германіи, и только иностранцы ѣхали въ Вѣну для изученія патологической анатоміи.

Въ первомъ же семестръ я записался у Шлемма для упражненій надъ трупами (privatim) и для упражненія въ хирургическихъ операціяхъ надъ трупами (privatissimum); у Руста на клинической лекціи въ Charité, у Грефе какъ практикантъ въ его клиникъ (Ziegel-Strasse), въ глазной клиникъ въ Charité и у Диффенбаха privatissimum изъ оперативной хирургіи. Нъкоторыя изъ этихъ лекцій, какъ напр. privatissimum Диффенбаха, я отсрочилъ до слъдующаго (зимияго) семестра. Эти же самыя занятія продолжались и всъ остальные семестры моего пребыванія въ Берлинъ. Только иногда улучалъ я госпитировать, т.-е. быть гостемъ и на другихъ лекпіяхъ.

Съ перваго же раза я, еще молокососъ (23 лътъ), и пожилой проф. Шлеммъ полюбили другъ друга. Онъ видълъ во мнъ иностранца, любившаго его любимыя занятія и притомъ знавшаго многое изъ той части анатоміи, которою онъ мало занимался. Онъ очень хвалилъ мои работы тазовыхъ и паховыхъ фасцій, артеріальныхъ влагалищъ и проч.

Шлемиъ былъ первостепенный техникъ; его тонкіе анатомическіе препараты (сосудовъ и нервовъ) отличались добросовъстностью и чистотою отдълки. Онъ мнъ разсказывалъ о своемъ знаменитомъ споръ съ Арнольдомъ. Шлемиъ не въриль въ открытіе ушного узла (gangl. oticum) Арнольда и считалъ этотъ узелокъ за простую клътчатку. Арнольдъ прислалъ ему свой препарать съ ушнымъ узломъ. Шлемиъ, разбирая этотъ аппаратъ, открылъ своимъ косымъ и острымъ глазомъ на мъстъ узелка тоненькую шелковину, связывавшую его съ

нервною въточкою. Пошли пререканія, и только Іог. Мюллеръ, пользовавшійся полнымъ уваженіемъ Шлемма, уладиль споръ, доказавъ Шлемму микроскопомъ, что узелокъ быль дъйствительно нервный, а шелковинка была употреблена Арнольдомъ для прикръпленія случайно оторвавшейся отъ узелка нервной въточки.

ПІлемть быль не только превосходнымъ техникомъ по анатоміи, но и отлично оперироваль на трупахъ. На живомъ онъ никогда не оперироваль, въроятно, слъдуя Галлеровскому: "пе посегет veritus". Ровный, всегда спокойный и положительный, ПІлеммъ быль очень любимъ. Можно бы было его расцъловать за его спокойное и привътливое: "sehen Sie wohl", которымъ онъ начиналъ каждую ръчь. "Sehen Sie wohl, meine Herren" — еще и теперь пріятно звучить въ моемъ воспоминаніи.

Я, несмотря на близкое знакомство съ Шлеммомъ и проводя съ нимъ ежедневно по нъскольку часовъ, никогда не видалъ его взволнованнымъ и сердитымъ.

Я удивился однажды, съ какою неподражаемою флегмою отдѣлалъ онъ одного молодого щелкопера, сына довольно зажиточнаго торговца виномъ, пріѣхавшаго къ Шлемму съ письмомъ отъ отца изъ провинціи. Шлеммъ прочиталъ письмо и, нисколько не стѣсняясь, преспокойно далъ слѣдующій отвѣтъ: "Sehen Sie wohl—то, о чемъ проситъ вашъ отецъ, я готовъ исполнитъ. Онъ проситъ, чтобы я допустилъ васъ къ слушанію моихъ лекцій безъ гонорара и сверхъ того попросилъ еще и моихъ товарищей, чтобы они дозволили вамъ слушать у нихъ курсы безденежно. Хорошо, я согласенъ; но въ такомъ случаѣ попрошу и вашего батюшку, чтобы онъ мнѣ отпускалъ вино изъ своего магазина даромъ, а сверхъ того попросилъ бы и своихъ товарищей отпускать даромъ".

Шлеммъ и Мюллеръ работали въ одномъ и томъ же зданіи (старомъ анатомическомъ театрѣ), никуда негодномъ, впослѣдствіи замѣненномъ новымъ анатомическимъ театромъ, подъ дирекцією моего хорошаго пріятеля Рейхердта. Я часто видаль тамъ Мюллера и окружавшую его плеяду: Генлэ, Свана и другихъ.

Курсь физіологіи у Мюллера мив не удалось выслушать:

часы совпадали съ клиниками, а я не хотелъ пожертвовать ни одною. Впрочемъ необходимо бы было посётить преимущественно тё лекціи, на которыхъ Мюллеръ демонстрировалъ на животныхъ (преимущественно на лягушкахъ) и подъ микроскопомъ; все другое можно было прочесть потомъ въ его физіологіи.

Изъ его опытовъ надъ лягушками всего болѣе надълалъ въ то время шума опытъ, подтверждавшій несомнѣнно отврытыя ПІ. Беля различныя функціи двухъ нервныхъ корней (передняго и задняго). По мнѣнію Мюллера, никакой опытъ надъ теплокровнымъ животнымъ (разъ это дѣлали до него и другіе) не можетъ такъ ясно показать двѣ различныя функціи (чувствительную и двигательную) спинныхъ нервныхъ корней, какъ опытъ надъ лягушкою. Дѣйствительно, до Мюллера, по крайней мѣрѣ въ Германіи, никто не вѣрилъ положительно въ знаменитое открытіе ПІ. Беля.

Мюллеръ былъ весьма разсчетливъ на своихъ левціяхъ: онъ никого не допускалъ посвіцать ихъ, не внеся гонорара (весьма вначительнаго по тогдашнему времени), и, читая левцію, зорко следиль за каждымъ входящимъ въ аудиторію. Однажды онъ вдругъ встаетъ съ каоедры и, подошедъ къ только-что вошедшему посетителю, громво спрашиваетъ его: "а имъете входной билетъ? покажите!" Билета не оказалось, и посетитель долженъ былъ ретироваться, а служитель у входа, отбиравшій билеты, былъ удаленъ.

Физіономіи Шлемма и Мюллера означали, съ перваго же взгляда на нихъ, два различныхъ характера: — луна и солнце. Круглое, широкое, спокойное лицо Шлемма смотръло на васъ полною луною. Лицо Іог. Мюллера поражало васъ своимъ классическимъ профилемъ, высокимъ челомъ и двумя межбровными бороздами, придававшими его взгляду суровый видъ и дълавшими нъсколько суровымъ проницательный взглядъ его выразительныхъ глазъ. Какъ на солнце, неловко было новичку смотрътъ прямо въ лицо на Мюллера.

Клиники Руста въ Charité считались тогда молодыми нъмецкими врачами едва-ли не самыми образцовыми въ цълой Германіи. И дъйствительно, Рустъ былъ, въ извъстномъ смыслъ, наиболъе реалисть между врачами тогдашняго времени. Онъ хотъть основать свою діагностику исключительно на однихь объективныхъ признакахъ бользни, и потому требоваль въ своей клиникъ отъ практикантовъ, прежде разспроса больного объ анализъ и субъективныхъ признакахъ, изслъдованія того, что можно видъть и осязать собственными чувствами. Принципъ превосходный. Разспросы и разсказы больного, особливо необразованнаго, неръдко служатъ, вмъсто раскрытія истины, къ ен затемнънію. Но медицина, не говоря уже о временахъ Руста, и до сихъ поръ не владъеть еще такимъ запасомъ надежныхъ физическихъ или органическихъ, т.-е. объективныхъ, признаковъ, на который можно бы было положиться, не прибъгая къ разспросамъ больного и не полагая ихъ въ основу распознаванія. И вотъ, Рустъ, въ своей самонадъянности, при маломъ запасъ върныхъ физическихъ признаковъ бользней, поневолъ допускалъ цёлую кучу мечтательныхъ.

Не имъя, по тогдашнему состоянію патологической анатоміи, прочной органической почвы подъ ногами, Рустъ ввель въ діагностику весьма сомнительные признави и различія бользней по дискразіямъ и пом'всямъ дискразій. "Rheumatischer, arthritischer, scrophulöser Natur", —эти эпитеты постоянно слышались при опредъленіи бользней въ клиникъ Руста. Мало этого: Русть, изъ привязанности къ своему принципу-рго majore (non Dei, sed Rustii) gloria, прибъгалъ въ своей клиникъ къ шарлатанству. Его ординаторы (Stabsarzte) доносили ему, до клинической лекціи, о свойств'я болізней вновь поступившихъ больныхъ, а онъ діагностицироваль потомъ передъ слушателями, вавъ будто бы по однимъ объективнымъ признакамъ, и попадаль иногда въ просавъ. Однажды ординаторъ Руста доложиль ему о поступленіи двухь больныхь въ Charité: одного съ переломомъ влючицы, а другого съ онъмъніемъ плеча отъ удара молніей. Вывели обоихъ ихъ въ аудиторію.

— "Что это такое?" — спрашиваеть Русть у практиканта, показывая на одного изъ больныхъ, придерживающаго локоть одной руки другою.

Практиканть хочеть изследовать.

— "Не надо туть изследовать!—восклицаеть Русть:— туть съ перваго же взгляда, par distance, можно верно определить, въ чемъ дело".

Всв напрагли вниманіе, слушають и смотрать.

— "Это переломъ ключицы,— несомненно,— утверждаетъ Ру стъ:— это видно изъ положенія тёла"...

Въ это время тихо подходить къ нему его ординаторъ и что-то шепчеть ему на ухо.

— "Гм... гм...—спохватился Рустъ:—да, это вотъ тотъ больной, другой, а этотъ парализованъ отъ удара молніей".

Еслибы въ то время было дозволено посъщение больныхъ слушателями въ самыхъ палатахъ Charité, то, върно, діагностические промахи всплывали бы гораздо чаще наружу, а то учреждено было такъ, что вновь поступившаго больного присылали въ клиническую аудиторію; здъсь опредъляли бользиь, назначали леченіе, потомъ уносили больного, и о немъ—ни слуху, ни духу. Но, несмотря на эти предосторожности, случалось все-таки не очень ръдко, что язва, опредъленная Рустомъ по всъмъ правиламъ его знаменитой гелкологіи (Helcologie), т.-е. по всъмъ объективнымъ признакамъ, какъ несомитенно артритическая (ulcus arthriticum), изъ разспросовъ больного оказывалась безъ всякихъ другихъ признаковъ артритизма. Это не мъшало, однако-же, признавать такую язву и лечить ее какъ артритическую, на томъ основаніи, что другіе припадки подагры могутъ появиться впослъдствіи.

Ходить, между прочимь, еще одинь забавный qui pro quo изъ Рустовской клиники, въроятно, выдуманный (è bene trovato).

Сынъ Руста, молодой докторантъ, ограниченный до глупости, записанный въ практиканты, получилъ для опредъленія болъзни вновь поступившаго въ Charité старика, страдавшаго большою кровоточивою (въроятно, варикозною) язвою на ногъ.

По Рустовской гелкологіи, такая язва непреміно должна была быть геморроидальною; между тімь молодой Русть ломаеть себі голову; старый Русть хочеть вывести сына изъ затрудненія и помогать ему въ діагнозі разными намеками. Ничто не помогаеть. Наконець, старый Русть говорить сыну:

- "Да вспомни, чѣмъ твой отецъ такъ часто страдалъ въ жизни; по его обычной болезни назови и эту язву на ногъ".
 - Ulcus syphiliticum!-вдругь выпалиль сыновъ.

— "Schaafskopf!" (болванъ!)—пробормоталъ отецъ и вызвалъ другого практиканта.

Несмотря на всё эти недостатки, Рустовъ способъ діагноза, быль въ то время такъ привлекателенъ своею кажущеюся положительностью и точностью, что принять быль и другими клиницистами. Я и самъ, признаюсь, въ первые годы моей клинической дёятельности въ Дерптё, держался этого способа и увлекалъ имъ молодежь. И теперь, когда объективизмъ въ медицинъ сдёлался гораздо точнъе и надежнъе, предварительный діагнозъ по однимъ объективнымъ признакамъ, до разспроса больного, я считаю болъе надежнымъ; никому, однако-же, изъ молодыхъ врачей не посовътую основываться на этомъ одномъ предварительномъ распознаваніи бользии, считая необъективный, послъ разспроса и разсказовъ больного, снова повторить свой объективный діагнозъ, неръдко послъ этихъ разспросовъ требующій еще и новаго разслъдованія.

Рустъ въ помощники себъ въ Charité выбраль Диффенбаха и поручилъ ему оперативную часть. Едва-ли когда самъ Рустъ былъ хорошимъ операторомъ; можетъ быть, онъ былъ смълымъ, но ему недоставало ни ловкости, ни анатомическихъ свъденій. Въ мое время онъ уже не оперировалъ; только однажды какъ-то, въ отсутствіе Диффенбаха, онъ взяль ножъ въ руки для операціи большой ущемленной грыжи.

... "Я вамъ покажу, — сказалъ онъ слушателямъ, — какъ старикъ Рустъ оперируетъ", — и махнулъ смѣло ножемъ по грыжевому мѣшку.

Предполагалъ ли онъ омертвъніе уже вишки и хотъль ли вскрыть ее вмъстъ съ грыжевымъ мъшкомъ,—не знаю; этого не зналъ нивто, смотря на всю процедуру издали; но факть—тотъ, что вслъдъ за смълымъ Рустовскимъ надръзомъ со свистомъ вылетъли вътры и ручьемъ полились испражненія. О больномъ, по обыкновенію, не было потомъ ни слуху, ни духу.

Диффенбахъ, въ то время еще не разсорившійся съ Ру- стомъ, шелъ въ гору. Его пластическія операціи пріобръли ему уже тогда славу и имя. И дъйствительно, это былъ геній-самородокъ для пластическихъ операцій.

Изобрътательность Диффенбаха въ этой хирургическої спеціальности была безпредъльная.

Каждая изъ его пластическихъ операціи отличалась чёмънибудь новымъ, импровизированнымъ. И это необыкновенное искусство—при весьма ограниченныхъ научныхъ свёденіяхъ, при полномъ незнаніи анатоміи и физіологіи! Кромѣ пластическихъ операцій, Диффенбахъ хорошо и счастливо дёлалъ грыжесѣченія; но прочія операціи выходили у него вовсе не мастерски сдёланными. Разсказывали, что Диффенбахъ пріобрёлъ большую ловкость въ сшиваніи ранъ, бывъ долго такъназываемымъ фликеромъ (Fliecker) при студенческихъ дуэляхъ въ Кенигсбергѣ; тамъ же онъ практиковалъ и въ берейторской школѣ. Диффенбахъ отлично ѣздилъ верхомъ.

Съвиду это быль приземистый, широкоплечій мужчина, літь 40, съ умнымъ, красивымъ лицомъ, высокимъ ломъ, римскимъ носомъ, небольшими, изъ глубины смотрівшими, умными глазами, но очень тонкимъ и слабымъ, не соотвітствующимъ широко сложенной груди, голосомъ. Privatissimum Диффенбаха, стоившее дорого (4 большихъ фридрихсдора съ каждаго изъ 7—8 слушателей), было мні только тімъ полезно, что доставило мні случай видіть нісколько замічательныхъ (и тогда еще новыхъ) пластическихъ операцій; а все другое, излагавшеся намъ Диффенбахомъ на этомъ privatissimum, не стоило и выізденнаго яйца. Онъ показаль нісколько своихъ пластическихъ операцій на трупів, мямля по обыкновенію и выпуская изъ горла намъ, и то неохотно, одно слово за другимъ; въ ораторы онъ не годился. Его надо было видіть какъ оператора-спеціалиста, но не слушать, что онъ говоритъ.

Съ Грефе, а потомъ и съ Рустомъ, Диффенбахъ былъ на ножахъ.

Съ Грефе—потому, что это быль человъкъ совершенно другой масти; а съ Рустомъ—потому, что тотъ не даваль ему хода въ Charité; да къ тому еще на консультаціи у барона фонъ-Альтенштейна, болъвшаго карбункуломъ, Русть (самъ) перемънилъ, безъ всякихъ объясненій съ другими ерачами, способъ леченія, сказавъ Диффенбаху, какъ бы въ извиненіе своей неучтивости: "Sie sind doch meine Leute" 1), на что Диффенбахъ замътилъ: "Ich bin kein Leibeigener" 2).

⁴) Вы все таки мон люди.

²) Я вовсе не криостной.

Посл'є ссоры Диффенбахъ при насъ ругаль иногда Charité на чемъ св'єть стоить:

— "Das ist eine Mordgrube!" 1)—и онъ быль правъ.

Charité во все время нашего пребыванія было резервуаромъ госпитальной нечисти (госпитальнаго антонова огня) и гнойнаго зараженія.

Да и долго спустя послѣ того, въ 1864 году, при посѣщеніи клиники профессора Юнгкена въ Charité, госпитальная нечисть не исчезла; Jungken, для предохраненія отъ нея, прижигаль еще свѣжія раны послѣ операцій раскаленнымъ желѣзомъ. При мнѣ, послѣ извлеченія большого секвестра изъ бедровой кости, онъ прижегь все дупло, изъ предосторожности, раскаленнымъ желѣзомъ.

И самому Русту не мало тогда доставалось отъ Диффенбаха. Онъ не женировался насм'яхаться надъ Рустомъ во всеуслышаніе, гдъ только могь.

Наружность Руста, дъйствительно, немногихъ располагала въ его пользу. Это былъ старый подагрикъ, приземистый, низенькій ростомъ, съ съдыми длинными и густыми волосами, ръзко отдълявшимися на красномъ, какъ піонъ, фонъ широ-каго, грубаго лица; глаза только не потеряли своего блеска, и умно и бойко смотръли изъ-подъ съдыхъ нависшихъ бровей и сверху надвинутыхъ на нихъ большихъ серебряныхъ очковъ; голову прикрывалъ зеленый суконный картузъ, въ которомъ Рустъ сидълъ и въ клинической аудиторіи. На ногахъ—неръдко плисовые сапоги, подъ ногами—всегда коврикъ.

Не мудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась вдкимъ сарказмамъ непріятелей. Диффенбахъ на одномъ многолюдномъ вечерв, гдв много говорилось о старинв, на разсказъ одного профессора о томъ, что еще не очень давно называли Руста "Gelbschuabel" (молокососъ), Диффенбахъ замѣтилъ, что гораздо приличнве было бы для Руста названіе "Blauschnabel" ²).

Не одинъ Диффенбахъ, впрочемъ, выбиралъ Руста предметомъ насмъщекъ. Самъ наслъдный принцъ, любившій Руста

¹⁾ Это могила.

²) Зоол, — выпрокъ китайскій.

и пожаловавшій его въ свои лейбъ-медики, издалъ на него презабавную каррикатуру, долго выставлявшуюся на окнахъ магазиновъ Подъ-Липами.

Рустъ быль защитникомъ карантинной системы во время холеры и возбудилъ этимъ противъ себя все народонаселеніе. Воть по этому-то случаю и явилась каррикатура, изображающая большого воробья съ физіономією Руста, запертаго въ клітку съ надписью:

"Passer rusticus". "Der gemeine Landsperling".

Вся острота—въ словахъ rusticus и Sperling. Landsperre — это варантинная система.

Диффенбахъ, во время нашего пребыванія въ Берлинъ, ъздиль въ Парижъ и тамъ дебютировалъ въ клинивъ Лисфранка, передъ парижскою аудиторією, съ своею блефаропластикою (искусственное образованіе нижняго въка). Возвратясь, видимо польщенный хорошимъ пріемомъ у французовъ, онъ разсказываль намъ, какъ любезенъ былъ съ нимъ Лисфранкъ и друг., какъ вся аудиторія рукоплескала ему за сдъланную имъ еще невиданную нигдъ операцію.

Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо и англичане.

- "Вельпо,—сказываль намъ Диффенбахъ, это какой-то anatomicus chirurgicus", по мивнію Диффенбаха, это была самая плохая рекомендація для хирурга,— "а англичане— это настоящіе бифштексы".
 - "Вообразите, говорилъ Диффентахъ: старый Астлей Куперъ, провзжавшій чрезъ Парижъ, полагаль, что я французскій докторъ изъ госпиталя St. Louis; такъ онъ и отнесся ко мнъ, никогда прежде ничего не слыхавъ обо мнъ".

Вельно не остался, впрочемъ, въ долгу у Диффенбаха. Когда я посётилъ его, въ 1837 г., въ бытность мою въ Парижъ, Вельно такъ отнесся о берлинскомъ геніъ:

— "Знакомы ли вы съ значеніемъ нашего слова: gascon 1) и—gasconade?"

¹⁾ Хвастунъ.

— Знаю.

— "Ну, такъ m-r Diffenbach показался мив gascon'омъ, а его разные подвиги—гасконадами".—Въ этомъ замъчании Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.

Проф. Юнгкенъ, окулистъ и клиницистъ Charité, принадлежалъ также къ сторонникамъ Руста; такимъ онъ остался, если не ошибаюсь, до конца. Это былъ настоящій и чистокровный доктринеръ. Онъ представлялъ и своимъ ученикамъ, и, какъ я полагаю, самому себъ современное ученіе, —то-есть до чего дошелъ Рустъ и онъ самъ, —чѣмъ-то законченнымъ, не подлежащимъ сомнѣнію; прогрессъ могъ быть только въ томъ же самомъ направленіи. Такъ, по крайней мѣрѣ, выходило изъ его клиническихъ лекцій. Ни малѣйшаго скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, какъ дважды два—четыре. Глазныя бленорреи должны были лечиться только однимъ противовоспалительнымъ способомъ.

Разбирая однажды передъ нами случай сильнейшей глазной бленорреи, Юнгкенъ, назначивъ свое обыкновенное леченіе—піявки и ледяныя примочки, съ необыкновенною самонадеянностію объявилъ намъ: "Ich breche den Stab über den Kopf desjenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine solche Blenorrhoe zu kuriren!" (Я сломаю палку о голову того врача, который не въ состояніи вылечить такую бленоррею!)

Черезъ три дня оба глаза оказались пропавшими отъ изъязвленія роговой оболочки, и Юнгкенъ, стоя возлѣ постели несчастнаго слѣпда, молча пожималь только плечами. Но Юнгкенъ былъ честный и добросовъстный врачъ,—онъ не скрылъ отъ насъ этого несчастнаго случая, хотя и могъ бы, какъ другіе, легко это сдѣлать.

Національность Грефе едва-ли можно было опредѣлить по его наружности; она свидѣтельствовала настолько же о нѣмецкомъ, насколько и о славянскомъ происхожденіи. Противники Грефе распускали даже слухъ и о семитскомъ его происхожденіи.

Несомитино только—это признаваль и самъ Грефе,—что онъ былъ родомъ изъ Польши и тамъ провелъ свою молодость.

Гораздо характернъе физіономіи была прическа Грефе — ипісит въ своемъ родъ: длинные, почти черные, съ просъдью,

волосы гладко-на-гладко зачесывались и примазывались справа налъво и закрывали значительную часть лба, чуть не до густыхъ черныхъ бровей. Круглому, полному лицу эта прическа сообщала какой-то странный, похожій на куклу, видъ.

Отличительною чертою Грефе была изысканная учтивость со всёми. Къ слушателямъ онъ обращался не иначе, какъ съ эпитетомъ: "meine hochgeschätzte, meine verehrte Herren" (высоко-уважаемые, высокопочитаемые господа); къ больнымъ изъ нившихъ классовъ: "mein liebster Freund" (любезнъйшій другъ).

Но когда дёлалось что-нибудь не по немъ, то онъ легко выходилъ изъ себя. Видно было, что учтивость и кажущаяся невозмутимость были искусственныя.

Человъкъ былъ хорошо выдержанъ. И въ этомъ, и во всемъ остальномъ Грефе былъ полный контрасть съ Рустомъ; недаромъ и жили они какъ кошка съ собакой. Причесанный, какъ прилизанный, всегда элегантно одътый или затянутый въ синій мундиръ съ толстыми эполетами, Грефе входилъ тихо и съменя ногами, походкою табетиковъ, въ аудиторію, раскланивался во всъ стороны и, обводя всю аудиторію глазами, начиналъ пътъ:

— "Meine hochgeschätzte Herren"...

Рустъ являлся въ своемъ старомъ зеленомъ картузъ, съ висъвшими изъ-подъ него по плечамъ растрепанными съдыми волосами, съ тростью, которой не выпускалъ изъ рукъ, и жестикулировалъ ею во все время лекцій. — "А это что за опухоль? а это что за краснота?" — спрашивалъ Рустъ, указывая издали своею палкою на больное мъсто паціента.

Вмѣсто сладкопѣнія и деликатнаго обращенія авлялись на сцену: "Donner Wetter, sind Sie toll!" etc. (чортъ возьми, вы одурѣли! и проч.).

Въ клинику Руста всё шли, чтобы слышать оракульское изреченіе врача-оригинала. Про операціи, дёлавшіяся въ Charité, самые неопытные студенты говорили, что тамъ надо учиться — какъ не дёлать операціи. И Русть имёлъ болёе самыхъ фанатическихъ приверженцевъ между молодыми врачами и слушателями.

Въ влиниву Грефе ходили, чтобы видъть истиннаго маэстро, виртуоза-оператора. Операціи удивляли всъхъ ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства.

Ассистенты Грефе, и именно главный - д-ръ Ангельштейнъ, уже пожилой и опытный практикъ (онъ имълъ и въ городъ значительную практику), знали наизустъ всъ требованія и всъ хирургическія замашки и привычки своего знаменитаго маэстро.

У Ангельштейна везді были натыканы инструменты Грефе, ему не надо было говорить: "сділай то или другое", во время операціи,— все ділалось само собою, безъ словъ и разговоровъ. Грефе для каждой операціи повыдумываль много разныхъ инструментовъ, теперь уже почти забытыхъ, но во времена бны расхваленныхъ и всегда употреблявшихся самимъ изобрітателемъ. Онъ только самъ и умілъ владіть ими. Въ клиникъ Грефе было въ особенности то хорошо, что практиканты всі могли слідить за больными и оперированными и сами допускались къ производству операцій, но не иначе какъ по способу Грефе и инструментами его изобрітенія.

Мнѣ, какъ практиканту, досталось также сдѣлать три операціи: вырѣзать два липома и вылущить большой палецъ руки изъ сустава. Грефе былъ доволенъ, по онъ не зналъ, что всѣ эти операціи я сдѣлалъ бы вдесятеро лучше, если бы не дѣлалъ ихъ неуклюжими и мнѣ несподручными инструментами.

Грефе быль, безъ сомивнія, оть природы ловокъ и сно-✓ ровисть; иначе, — безъ всякаго знанія анатоміи, безъ упражненій надъ трупами, которыя Грефе считаль совершенно неподходящими къ операціямъ на живыхъ, — какъ могъ бы онъ сдёлаться истиннымъ виртуозомъ хирургіи?

Между тъмъ пальцы его — мясистие, закругленные и короткіе — вовсе не свидътельствовали объ особенной ловкости.

Ежегодно, въ день рожденія Грефе, его слушатели и практиканты, большею частію иностранцы, дёлали складчину, покупали кубокъ или другую какую вещь съ приличною надписью и подносили своему маэстро.

Это быль едва-ли не единственный способь изъявленія признательности и уваженія наставнику. Болье задушевнымь сочувствіемь своихь, и именно туземныхь, учениковь маэстро не пользовался. Онь задаваль обыкновенно банкеть въ день своего рожденія, на которомь онь угощаль своихъ гостей разными деликатесами и винами, а гости угощали его льстивыми тостами, называя его "Unser deutscher Dupuytren", и т. п. Послѣ одного такого банкета Грефе позвалъ меня въ кабинетъ, гдѣ, оставшись наединѣ со мною, спросилъ: не знавомъ ли мнѣ одинъ окулистъ въ С.-Петербургѣ, пріобрѣвшій такую знаменитость, что его императоръ Николай рекомендуетъ настоятельно королю для наслѣднаго ганноверскаго принца? Надо знатъ, что во время пребыванія Николая Павловича въ Берлинѣ туда пріѣхалъ для консультаціи и леченія глазной болѣзни наслѣдный ганноверскій принцъ. Грефе, какъ лейбъмедикъ или лейбъ-хирургъ прусскаго короля, назначилъ операцію искусственнаго зрачка, дѣлая ее безъ успѣха, если не ошибаюсь два раза у принца, хотѣлъ было дѣлатъ потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, и въ третій разъ, поѣхалъ съ этой цѣлью въ Ганноверъ, но по дорогѣ занемогъ тифомъ и умеръ.

Я очень удивился, услышавъ отъ Грефе, что нашъ императоръ настойчиво предлагаетъ въ конкурренты съ маэстро Грефе своего върноподданнаго. Въ такомъ случаъ этотъ върноподданный, дъйствительно, уже знаменитость. Кто же это такой быль? Ума не приложу. Въ первый разъ слышу. Наконецъ, я узналъ, что сія знаменитость, рекомендованная императоромъ королю прусскому, былъ не кто иной, какъ с.-петербургскій мъщанинъ Орфшниковъ.

Въ С.-Петербургъ, на Васильевскомъ Островъ, этотъ гражданинъ открылъ, съ разръшенія правительства, глазную больницу для приходящихъ.

Орешниковъ прежде всего запасся огромнымъ увеличительнымъ стекломъ съ длинною рукояткою, и объявилъ себя самымъ ярымъ противникомъ известнаго въ то время петербургскаго окулиста Василія Васильевича Лерхе. Экзаменуя своихъ больныхъ черезъ увеличительное стекло, Орешниковъ спрашивалъ у каждяго, не былъ ли онъ на Моховой у Лерхе, и когда больной отвечалъ утвердительно, то Орешниковъ интересовался знать, какъ определилъ болезнь д-ръ Лерхе. — "Да что, сказалъ, что полуда", — такъ, примерно, разсказывалъ паціентъ. На такой ответъ Орешниковъ вачалъ головою, снова наводя на глаза паціента увеличительное стекло, снова качалъ подозрительно головою и говорилъ во всеуслышаніе: — "Ай, Васильевичъ, опять маху далъ! Какая же это туть по-

луда? Это просто бъльмо. Не безпокойся, дружокъ, будешь видьть; воть тебъ моя примочка".

Грефе, нъсколько, какъ миъ казалось, встревоженный настойчивою рекомендацією какъ будто изъ земли выросшаго конкуррента такою особою, какъ императоръ всероссійскій, потомъ успокоился, когда узналъ, что Оръшниковъ не былъ операторъ, а въ Германіи давно и всьмъ уже было слишкомъ извъстно, что только операцією можно возстановить зръніе принца.

Какъ ни полезны и какъ ни поучительны были для меня занятія у Шлемма и въ клинивахъ Грефе, Руста и Юнгкена, но всего наглядиъе была для меня польза, принесенная миъ упражненіями въ оперативной хирургіи надъ трупами въ Charité.

Однажды я узналь оть студентовь, что въ Charité можно присутствовать иногда при вскрытіи труповь; мнѣ показали и мѣсто, гдѣ производятся эти вскрытія. Я отправился, прихожу—и не вѣрю тому, что вижу.

Въ маленькой комнать, помъщавшей въ себъ два стола, на каждомъ изъ нихъ лежало по два – три трупа, и у одного стола — вижу — стоитъ женщина, сухощавая, въ чещев, въ клеенчатомъ переднивъ и такихъ же зарукавникахъ, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко одинъ трупъ за другимъ. Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическимъ занятіямъ; видя, что меня не гонятъ, и кромъ меня никого нътъ изъ студентовъ, я приблизился къ интересной дамъ и весьма учтиво поклонился.

- "Wünschen Sie was von mir?" (угодно вамъ что отъ меня?) спрашиваетъ она меня.
- Да, мит хотелось бы присутствовать чаще при всерытіяхъ, отвечаю я.
- "Что же! приходите хотя важдый день; вром'в меня до сихъ поръ нивто еще не вскрывалъ. Только недавно назначенъ профессоръ Фроріепъ".
 - A другіе влиническіе профессора Charité?
- "Что вы! да развъ они что понимають въ этомъ дълъ? Воть, еще вчера, никто мнъ не въриль, что при вскрыти одного

трупа я найду огромный экзудать въ груди, а за милю видно было, что вся половина груди растынута. Я имъ и показала".

- Позвольте узнать ваше имя?
- "A-madame Vogelsang".
- Такъ вотъ что, madame Vogelsang: не можете ли вы доставить мив случай упражняться на трупахъ?
- "Почему не такъ. Ко миъ приходили иногда иностранцы, и я имъ показывала операціи на трупахъ. У меня для этого есть и хирургическіе инструменты".
- Такъ потрудитесь объявить мнѣ ваши условія,—замялся я.
- "У меня опредълено 1 талеръ за цълый трупъ тогда вы можете сдълать на немъ какія вамъ угодно операціи и 15 Silbergroschen за перевязку артеріи на конечностяхъ и за вылущеніе изъ суставовъ, но съ тъмъ, чтобы не дълать никакихъ лоскутовъ" (то-есть не обръзывать совсъмъ вылущеннаго изъ сустава члена)...

. Дѣло рѣшено. Я выдаю задатовъ 3 талера. Дни и часы назначаются г-жею Фогельзангъ всякій разъ съ вечера; она будетъ присылать нарочнаго или скажетъ сама въ клинивѣ Руста.

M-me Vogelsang —эта интересная особа прежде была повивальною бабкою, а потомъ изъ любви къ искусству, какъ она увъряла, посвятила себя анатоміи и практически знала ес бойко. Вылущить суставъ по всъмъ правиламъ искусства, найти артерію на трупъ—это было легкое дъло для m-me Vogelsang.

Въ то время Берлинъ былъ экзаменаціоннымъ "rendezvous" для всёхъ врачей прусскаго королевства, и каждый изънихъ, на такъ-называемомъ государственномъ экзаменъ (Staats-Examen), обязанъ былъ демонстрировать предъ экзаменаторами внутренности груди, живота in situ.

Воть эготъ-то экзаменъ in situ и заставляль прибъгать экзаменующихся къ анатомическимъ знаніямъ г-жи Фогельзангъ.

Она достигла совершенства въ разъяснении и наглядномъ опредълении положения грудныхъ и брюшныхъ внутренностей, а также мозга и основания черепа.

Никто не быль такъ вкожъ ко мив, какъ m-me Vogelsaug. И рано утромъ, и поздно вечеромъ она являлась ко мив съ

какимъ-нибудь препаратомъ въ рукахъ или съ извъстіемъ о предстоящемъ упражненіи на трупъ въ "Charité".

Я не зналъ ни одного женскаго лица менъе красиваго и болъе оригинальнаго физіономіи г-жи Vogelsang. Уже лътъ за 40, съ волосами на головъ похожими на паклю, съ сухимъ, изрытымъ глубокими бороздами, но необывновенно подвижнымъ лицомъ, m-me Vogelsang очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мнѣ для упражненій не одну сотню труповъ, и потому я ее считалъ дорогимъ для себя человѣкомъ.

Въ одно время съ нами прибыло въ Берлинъ нѣсколько русскихъ изъ Москвы и Петербурга, впослѣдствіи занявшихъ должности ординаторовъ въ разныхъ столичныхъ госпиталяхъ; изъ нихъ всѣхъ болѣе сблизился со мною Вл. Ав. Караваевъ (родомъ изъ Вятки).

Караваевъ окончиль курсъ въ казанскомъ университетъ. Познакомившись въ этомъ университетъ только по слухамъ съ хирургіею (профессоръ хирургіи въ то время, если не опибаюсь, Фогель, имълъ скорченные отъ предшествовавшей болъзни пальцы и не могъ держать ножа), онъ отправился въ Петербургъ и опредълился ординаторомъ въ Маріинскій госпиталь, гдъ и видълъ въ первый разъ нъсколько операцій, произведенныхъ Буяльскимъ.

Несмотря на такую слабую подготозку, Караваевъ чувствоваль въ себъ особое влечение къ хирургіи; это я замътиль при первомъ же нашемъ знакомствъ. Я посовътоваль ему тотчасъ же заняться анатоміею и отправиться по адресу къ m-me Vogelsang.

Цълый годъ онъ быль моимъ неизмъннымъ спутникомъ при упражненіяхъ надъ трунами, а потомъ по моему же совъту отправился въ Геттингенъ, къ Лангенбеку.

Въ 1837 году Караваевъ явился въ Дерптъ, держалъ еще у меня экзаменъ, до отъёзда моего въ этомъ же году въ Парижъ, дёлалъ вмёстё со мною опыты надъ животными по вопросу, много меня интересовавшему въ то время, —о признакъ развитія гнойнаго зараженія врови (піэміи).

Этотъ вопросъ я и посовътовалъ Караваеву выбрать предметомъ его докторской диссертации. Я могу по праву считать

Караваева однимъ изъ своихъ научныхъ питомпевъ: я направилъ первые его шаги на поприще хирургіи и сообщилъ ему уже избранное мною направленіе въ изученіи хирургіи.

Л'єтнею вакацією 1834 года я воспользовался для пос'єщенія Геттингена и, чтобы застать еще лекціи, отправился изъ Берлина еще задолго до окончанія семестра.

Меня интересоваль въ Геттингенъ, разумъется, всего болъе Лангенбекъ. Ученики его, пріъзжавшіе иногда въ Берлинъ, относились съ искреннимъ энтузіазмомъ о своемъ знаменитомъ учителъ всей Германіи того времени. Лангенбекъ былъ единственный хирургъ-анатомъ. Знанія его анатоміи были такъ же общирны, какъ и хирургіи.

Кромѣ этихъ двухъ категорій хирурговъ-анатомовъ и хирурговъ-техниковъ (которыхъ Лисфранкъ въ Парижѣ очень мѣтко назвалъ chirurgiens menuisiers), — въ 1830-хъ годахъ можно было различить и еще двѣ категоріи, имѣвшія въ то время не менѣе важное значеніе. Въ то время анестэзированіе и анестэзирующія средства еще не были введены въ хирургію, и потому немаловажное было дѣло для страждущаго человѣтества претерпѣть какъ можно меньше мученій отъ производства операцій. Быстротечная, почти скоропостижная смерть постигала иногда оперируемаго вслѣдствіе нестерпимой боли.

Операція, какъ и всякій другой пріемъ, могла причинить смертный shok отъ одной только боли у особъ чрезмѣрно раздражительныхъ. Итакъ, не мудрено, что значительная часть хирурговъ поставила себѣ задачею способствовать всѣми силами быстрому производству операцій. Но какъ усовершенствованіе хирургической техники въ этомъ направленіи (т.-е. съ цѣлью уменьшить сумму страданій быстрымъ производствомъ операцій) весьма трудно, даже невозможно для многихъ, и, сверхъ того, скорость производства нерѣдко можетъ сдѣлать операцію невѣрною, ненадежною и небезопасною, то, понятно, многіе изъ хирурговъ сильно вооружены были противъ всякой спѣшности въ производствѣ, а нѣкоторые дошли до того, что объявили себя защитниками противоположнаго принципа, утверждая, что чѣмъ медленнѣе дѣлана будетъ операція, тѣмъ болѣе она дасть надежды на успѣхъ.

Францувскій хирургъ Ру укоряль всёхъ англійскихъ хирурговъ въ ненужной и мучительной медленности при производств' операцій.

Въ Германіи въ категоріи хирурговъ, по принципу стоявшихъ за быстрое производство операцій, можно было отнести именно двухъ ворифеевъ — Грефе и Лангенбека. Первый достигаль этого врожденною ловкостью и разными техничесвими пріемами; второй — отчетливымъ знаніемъ анатомическаго положенія частей и основанными на этомъ знаніи, имъ изобрътенными, оперативными способами.

Хотя я и отношу Лангенбева и Грефе въ одной ватегоріи, имъя въ виду только одну сторону ихъ искусства, но въ самомъ производствъ операцій существовало громадное различіе, и это не могло быть иначе, потому что не было двухъ людей, менъе сходныхъ между собою.

Грефе оперировалъ необывновенно скоро, ловко и гладко. Лангенбекъ оперировалъ скоро, научно и оригинально.

Грефе отъ природы получилъ ловкость руки; но ни устройство руки, ни строеніе всего тъла не свидътельствовали объ этой врожденной ловкости.

Лангенбевъ, напротивъ, былъ отъ природы такъ организованъ, что не могъ не быть ловкимъ и подвижнымъ. Атлетъ ростомъ и развитіемъ свелета и мышцъ, онъ былъ, вмъстъ съ тъмъ, необывновенно пропорціонально сложенъ. Ни у кого не видалъ я такъ хорошо сложенной и притомъ такой огромной руки. Лангенбекъ на своихъ анатомическихъ демонстраціяхъ укладывалъ цълый мозгъ на ладонь, раздвинувъ свои длинные пальцы; рука служила ему вмъсто тарелки, и на ней онъ съ неподражаемою ловкостью распластывалъ мозгъ ножемъ. По истинъ, это былъ хирургъ-гигантъ. Ампутирая по своему овально-коническому способу бедро въ верхней трети, Лангенбевъ обхватывалъ его одною рукою, поворачивался при этомъ, съ ловкостью военнаго человъка, на одной ногъ и приспособлялъ все свое громадное тъло къ движенію и дъйствію рукъ.

На ero privatissimum я первый разъ видёлъ это замёчательное искусство приспособленія при операціяхъ движенія ногъ и всего туловища въ действію оперирующей руки; и это дълалось не случайно, не вакъ-нибудь, а по извъстнымъ правиламъ, указаннымъ опытомъ.

Впоследствіи мои собственныя упражненія на трупахъ показали мне правтическую важность этихъ пріемовъ.

И Лангенбекъ быль не прочь похвалиться своею силою и ловкостью. Но это было не хвастовство фата, не смёшное тшеславіе.

Къ Лангенбеку кавъ-то шла похвала себъ; такъ, онъ разсказывалъ мнъ, по своему, отрывисто, съ удареніемъ на каждомъ словъ, какъ онъ изумилъ одного англійскаго хирурга во время французской кампаніи. Этотъ сынъ Альбіона никакъ не хотъль върить Лангенбеку, что онъ по своему способу вылущиваетъ плечо изъ сустава только въ три минуты; представился случай послъ одной битвы: раненаго француза (если не ошнбаюсь) посадили на стулъ. Англичанинъ сталъ приготовляться къ наблюденію и надъвать очки; въ это мгновеніе что-то пролетъло передъ носомъ наблюдателя и выбило у него очки изъ рукъ; это нъчто было вылущенное уже Лангенбекомъ и пущенное имъ на воздухъ, прямо въ Оому невърующаго, плечо.

Все, что сообщаль намь на лекціяхь и въ разговорахъ Лангенбекъ, было интересно и оригинально.

Со многимъ нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь, нельзя было не удивляться человъку замъчательному и по наружности, и по особенному складу ума, и по знанію дъла. Лангенбекъ былъ, върно, красавцемъ въ молодости, — такъ пріятно выразителенъ и свъжъ былъ весь его обликъ. За версту можно было уже слышать его громкій и звонкій голосъ.

Къ характеристикъ Лангенбека, какъ хирурга, относится еще одна весьма важная и оригинальная черта. Онъ возводилъ въ принципъ—при производствъ хирургическихъ операцій избъгать давленія рукою на ножъ и пилу.

- "Ножъ долженъ быть смычкомъ въ рукъ настоящаго хирурга".
 - "Kein Druck, nur Zug" 1).

И это были не пустыя слова.

Лангенбекъ научилъ меня не держать ножа полною рукою,

¹⁾ Не нажимъ, а тяга.

кулакомъ, не давить на него, а тянуть какъ смычокъ по разръзываемой ткани. И я строго соблюдаль это правило во все время моей хирургической практики вездъ, гдъ можно было это сдълать. Ампутаціонный ножъ Лангенбека быль имъ придуманъ именно съ тою цълью, чтобы не давить, а скользить тонкимъ, какъ бритва, и выпуклымъ, и дугообразно-выгнутымъ лезвеемъ.

На нашемъ privatissimum случилась однажды бѣда съ этимъ ножемъ. Досадно было Лангенбеву, что предъ иностранцемъ, да еще и пріёхавшимъ изъ Берлина, должна была случиться такая неудача. Дѣло въ томъ, что Лангенбевъ, одётый въ лётнія бланжевыя брюки, башмави и чулви, дѣлая передъ нами свою ампутацію бедра на трупѣ и по обыкновенію приговаривая при этомъ громко и внушительно: "пиг Zug, kein Druck", вдругъ со всего размаха попадаетъ остріемъ ножа себѣ въ икру. Кровь выступаетъ на бланжевыхъ брюкахъ и льетъ въ чулокъ и на полъ. Рана была довольно глубокая, зажила, однако-же, безъ послѣдствій. Лангенбевъ, вѣрно, угадывалъ наши мысли по случаю этого происшествія.

Конечно, мы не могли не думать такъ: уже если самъ маэстро дълаеть съ своимъ ножемъ такіе промахи, такъ, значить, дъло не ладно. И дъйствительно, и Лангенбекъ, и Грефе, по свойственной всъмъ людямъ слабости, изобръли не мало такихъ хирургическихъ процедуръ и инструментовъ, которые оставались употребительными только въ ихъ собственныхъ рукахъ. Но, разумъется, ни Грефе, ни Лангенбекъ не отказывались отъ своихъ изобрътеній и продолжали отдавать имъ преимущество.

Жизнь въ маленькомъ провинціальномъ германскомъ университеть была въ то время довольно, а иногда таки и очень, патріархальная. Сближеніе съ профессорами было гораздо легче, чёмъ въ столичномъ университеть; поэтому не мудрено, что я скоро и легко познакомился съ біографією, міровоззрыніями и даже причудами некоторыхъ изъ геттингенскихъ профессоровъ.

Про самого Лангенбека не трудно было узнать, что онъ вставаль очень рано, занимался почти цёлый божій день, то

въ анатомическомъ театръ, то въ влиникъ, то на дому. Одинъ студентъ, изъ курляндцевъ, жившій недалеко отъ Лангенбека, сказывалъ мнъ, что, по его наблюденіямъ, Лангенбекъ бываетъ въ веселомъ расположеніи духа преимущественно, когда евреймъняла, являвшійся обывновенно по утрамъ, оставался на квартиръ профессора долгое время.

Молодымъ, собиравшимся вокругъ Лангенбека, людямъ онъ любилъ говорить о встръченныхъ имъ въ жизни трудностяхъ, невзгодахъ и препятствіяхъ, побъжденныхъ энергіею и здравымъ смысломъ. "Frisch in's Leben hinein! Frisch in's Leben hinein! — это было его любимымъ афоризмомъ. "Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn" — также было его правиломъ жизни.

Про другихъ, болъе устарълыхъ, профессоровъ разсвазывались разныя легенды. Про знаменитаго Блуменбаха, дожившаго, напримъръ, едва-ли не до 90 лътъ, говорили, что онъ не можеть, безъ вреда для своего организма, не читать левцін, и онъ исполняеть эту, сдёлавшуюся для него уже органическою, функцію чрезвычайно добросовістно; приходить въ аудиторію, садится на ваоедру, вынимаеть тетрадку и читаеть по ней не спеша и съ разстановкою. Слушатели, не профессора привыкшіе къ его лекціямъ, нередко, однако-же, бывали поражены quasi-заметками маститаго ученаго, произносимыми съ обычною медленностью и разстановкою: "hier muss ich ein Witz sagen". Сначала нивто не могъ въ толеъ взять, что означали эти отрывочныя афористическія замътки. Наконецъ, дъло объяснилось. Тетрадки существовали еще съ того давняго времени, когда знаменитый ученый, --- во цвътъ и одаренный юморомъ, -- острилъ на своихъ лекціяхъ и заблаговременно отмечаль на поляхь тетрадки, где и при вавомъ случав острота вазалась ему уместною. Пришла старость. Содержаніе остроть исчело изъ памяти, а указаніе на остроту, оставшееся еще на поляхъ тетралки, передавалось аудиторіи добросов'єстнымъ профессоромъ.

Во время моего пребыванія въ Геттингенъ я познакомился съ племянникомъ Лангенбева, тогда еще молодымъ докторантомъ, ассистентомъ дяди, а потомъ занимавшимъ мъсто Диффенбаха и Грефе въ Берлинъ.

Молодой Лангенбекъ мит памятенъ не потому только, что

н видъть его постоянно при дядъ, но еще по отрывочными воспоминаніямъ.

Въ операціонную залу въ старому Лангенбеву принесли больного съ некрозомъ бедра; профессоръ сталъ отыскивать севестръ и сдёлалъ знакъ племяннику, чтобы онъ подалъ что-то (въроятно, зондъ или корнцангъ и т. п.), и вдругъ, къ моему удивленію, я вижу, что молодой Лангенбевъ подаетъ ампутаціонный ножъ. "Noch zu früh!" (еще рано),—замѣтилъ ему дядя.

Второе воспоминаніе совпадаеть съ моею болёзнью. Я занемогь въ Геттингент сильною жабою, перешедшею въ нарывъ. Но прежде, чтмъ нарывъ вскрылся, ему суждено было, —противъ моего желанія,—пройти черезъ руки хирурга. Опуколь была очень сильная, и я, видёвъ уже не разъ и въ Дерптъ, и особливо въ Берлинт, леченіе жабы рвотнымъ, коттять уже принять его, какъ мой знакомый курляндецъ, струсивъ за меня, увъдомилъ о моей бользни Лангенбека. Оба,—дядя и племянникъ,—были такъ любезны, что тотчасъ же пришли ко мнъ на квартиру.

Старивъ Лангенбевъ, осмотрѣвъ мою пасть, тотчась же взялъ скальпель и всадилъ его почти на одинъ дюймъ въ опухоль; вышло нѣсколько крови, но матеріи не показалось. Ночью на другой день нарывъ лопнулъ самъ по себѣ, и я скоро выздоровѣлъ.

Странно: когда, въ 1864 году, я, по прошествіи 30 лётъ, въ первый разъ свидёлся въ Берлинё съ моимъ старымъ знакомымъ (Лангенбековымъ племянникомъ), то онъ тотчасъ же припомнилъ мнё мою болёзнь, но при этомъ настойчиво увёрялъ, что онъ самъ вскрылъ мнё нарывъ и выпустилъ гной. Мнё кажется, что я обязанъ въ этомъ случаё вёрить болёе моей, чёмъ чужой памяти. Воспоминаніе о причиненной мнё безполезной боли и о брани, которою я внутренно осыпалъ обоихъ Лангенбековъ и моего знакомаго курляндца за ихъ непрошенное вмёшательство, сохранилось слишкомъ живо въ моей памяти, и я, испытавъ на себё хирургическій промахъ, старался потомъ, насколько могъ, предохранять другихъ людей отъ моихъ промаховъ.

Съ тъхъ поръ рвотное служило миъ гораздо чаще ножа

въ вскрытію нарывовъ послѣ жабы. Изъ оперативныхъ способовъ, предложенныхъ Лангенбекомъ, весьма немногіе сохранились еще въ современной хирургіи. Справедливость требуетъ еще замѣтить, что операціи Лангенбека изумляли не только быстротою, но и чрезвычайною, въ то время еще неслыханною, вѣроятностью и точностью производства. Мойеръ сказывалъ мнѣ, что его учитель, старый Ант. Скарпа, услышавъ про вылущеніе матки, сдѣланное успѣшно (безъ поврежденія брюшины), сказалъ:

— "Если это правда, то я готовъ ползти на коленяхъ въ Геттингенъ къ Лангенбеку".

Ко второй категоріи нѣмецкихъ хирурговъ, то-есть къ защитникамъ медленнаго, по принципу, производства операцій, надо отнести, по преимуществу, Текстора въ Вюрцбургѣ.

У Текстора принципъ медленности доведенъ былъ до крайнихъ размъровъ. Его аудиторія неръдко могла наслаждаться такого рода зрълищемъ. Больной лежитъ на операціонномъ столъ, приготовленъ къ отнятію бедра. Профессоръ, вооруженный длиннъйшимъ скальпелемъ, вкалываетъ его, какъ можно тише и медленнъе, насквозь (спереди назадъ) чрезъ мышцы бедра. Вколотый ножъ оставляется въ этой позиціи, и профессоръ начинаетъ объяснять слушателямъ, какое направленіе намъренъ онъ дать ножу, какую длину и т. п.

Потомъ, выкроивъ одинъ изъ лоскутовъ, по мѣркѣ и какъ можно медленнѣе, снова начинается сужденіе объ образованіи второго лоскута. При этомъ профессорь обращается нѣсколько разъ въ своей аудиторіи съ наставленіемъ:

- "So muss mann operiren, meine Herren".

И это все дёлалось безъ анестэвированія, при вопляхъ и кривахъ мучениковъ науки или, вёрнёе, мучениковъ безмозглаго доктринерства!

Что васается до меня, то мой темпераментъ и пріобрътенная долгимъ упражненіемъ на трупахъ върность руки сдълали мнъ, по истинъ, противною эту злую медленность по принципу.

И впоследствіи, когда анестэзированіе, повидимому, д'єлало совершенно излишнимъ Цельсово "cito",—и тогда, говорю, я остался все-таки того митнія, что напускная медленность мо-

жетъ оказаться вредною: продолжительностью анестэзированія и травматизма.

Не одинъ механизмъ въ производствѣ операцій, не одна только техническая часть хирургіи рѣзко отличали клиники главныхъ представителей германской хирургіи.

Мы имъли случай наблюдать, въ этихъ клиникахъ, и разные способы леченія ранъ. И именно, операторы по преимуществу: Лангенбекъ, Грефе и Диффенбахъ—всего болье ставили въ заслугу свои способы леченія ранъ.

Лангенбекъ терпътъ не могъ, когда иностранные и другіе врачи, посъщавшіе его клинику, объясняли ему, думая сказать ему пріятное,— что они издалека прівхали посмотръть на его операціи. Тогда онъ нарочно ждалъ и не дълалъ.

— "Die Kerls wollen,—говариваль онъ потомъ,—dass er schneidet. Er schneidet aber richt".

Въ мое время въ клиникъ Лангенбева почти всъ раны, — и послъ большихъ ампутацій, — лечились чрезъ нагноеніе, и когда вся полость раны была уже устлана мясными сосочвами, края ея сближались и соединялись липкими пластырями.

У Диффенбаха можно было болье, чыт гдынибудь, видыть превосходные образцы заживленія раны первымы натяженіемы. Никто изы современныхы Диффенбаху хирурговы не сыумыть такы отлично вести этоты способы на дылы. Этому способствовали введенный Диффенбахомы шовы и сноровка выпринятіи мырь предосторожности противы сильнаго натаженія частей. Притомы самая рана не завязывалась ни пластырями, ни повязками.

Въ клиникъ Грефе, отличавшейся отъ Рустовской счастливыми результатами леченія послъ большихъ операцій, раны нослъ такихъ операцій лечились своеобразно. За исключеніемъ англійскихъ хирурговъ, едва-ли кто изъ современныхъ Грефе хирурговъ въ Германіи и Франціи лечилъ эти раны такъ, какъ онъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что Грефе болье всъхъ приближался къ современнымъ герметическимъ способамъ леченія большихъ ранъ. Грефе тщательно перевязывалъ при операціи всь кровоточивые сосуды, тщательно соединялъ края раны (то швомъ, то множествомъ липкихъ пластырей) на-глухо, клалъ потомъ на закрытую уже рану корпію и по ширинъ

маленькіе крестики, и все это тщательно укрѣплялъ нѣсколькими бинтами.

Повязки оставались большею частью нёсколько дней и безъ нужды никогда не снимались до нагноенія.

Ассистентъ Грефе, д-ръ Ангельштейнъ, отличался искусствомъ въ наложении повязки. Онъ зорко следилъ за темъ, чтобы матерія не просачивалась чрезъ повязку.

Сидълки, двъ чистовровныя нъмки, знали это, но по неряществу и лъности попадали неръдко въ просакъ.

— "Komm, Grethe, her!" — слышалось бывало: — "Angelstein macht Spectakl".

И дѣйствительно, шелъ спектакль; Ангельштейнъ визитировалъ больныхъ и перемънялъ повязки съ бранью и крикомъ на растерявшихся сидъловъ.

— "Sau bist du!" — ругаль онь, избъгая мужескаго рода: Schwein, такъ какъ его ругань была обращена къ дамамъ.

Результать этого леченія рань въ клиникъ Грефе быль, дъйствительно, весьма счастливый.

Тщательное прикрытіе и закрытіе большихъ и глубовихъ ранъ, съ методическимъ давленіемъ на окололежащія части, считались весьма важными условіями для усиленнаго заживленія раны. Случай съ извъстнымъ тогда актеромъ (кенигштадіскаго театра) Бекманомъ доказалъ преимущество этого способа леченія ранъ и тъмъ не мало причинилъ досады Диффенбаку.

Диффенбахъ приняль огромную опухоль на бедрѣ Бекмана за злокачественный нарость, и побоялся операціи, зная изъ опыта, съ какими опасностями и страхами для больного соединено обыкновенно леченіе глубокихъ междумышечныхъ ранъ. Грефе былъ другого мнѣнія: онъ опредѣлилъ опухоль какъ Lipomosteatom, вырѣзалъ ее и тотчасъ же послѣ операціи тщательно закрылъ глубокую рану, наложивъ методически на всю конечность ad hoc приготовленную компрессивную повязку.

Результать быль блестящій: любимець берлинской публики Бекманъ скоро выздоровъль.

Теперь трудно себѣ вообразить, какъ мало германскіе врачи и хирурги того времени были знакомы—а главное, какъ мало они интересовались ознакомиться—съ самыми основными патологическими процессами.

Между тъмъ въ сосъдней Франціи и Англіи въ это время извъстны уже были замъчательные результаты анатомо-патологическихъ изслъдованій Крювелье, Тесье, Брейта, Бульо и друг.

Такъ, самый опасный и убійственный для раненыхъ и оперированныхъ патологическій процессъ — гнойнаго зараженія врови (руаеміа), нохищающій еще и до сегодня значительную часть этихъ больныхъ, —былъ почти вовсе неизв'юстенъ германскимъ хирургамъ того времени. Во все время моего пребыванія въ Берлинъ я не слыхалъ ни слова, ни въ одной клиникъ, о гнойномъ зараженіи, и въ первый разъ узналъ о немъ изъ трактата Крювелье.

Изъ Крювелье и оперативной хирургіи Вельпо, только изъ чтенія этихъ книгъ, я получилъ понятіе о механизм'є образованія метастатическихъ нарывовъ посл'є операціи и при поврежденіи костей. Правда, Фрике въ Гамбург'є написалъ статью о травматической, злокачественной перемежающейся лихорадк'є (febris intermittens perniciosa, traumatica), но не разъяснилъ сущности этой бол'єзни, см'єшавъ настоящіе травматическіе пароксизмами піэмическими.

Изъ Геттингена я отправился пѣшкомъ чрезъ Гарцъ въ Берлинъ; побывалъ на Броккенѣ, не сдѣлавшемъ на меня особеннаго впечатлѣнія. Гораздо оригинальнѣе показались мнѣ и болѣе понравились: Роострактъ и сталактическая пещера Баумана; растительность на Ростренѣ представляеть осенью – и поражаетъ глазъ - собраніе самыхъ яркихъ цвѣтовъ, начиная отъ ярко-краснаго до самаго темнаго.

Здоровье мое послѣ геттингенской жабы скоро поправилось, но признаки безкровія были еще такъ замѣтны, что проводникъ мой, весьма разговорчивый старичокъ, часто повторялъ мнѣ:

- "Herr, Sie haben eine schwache Constitution".

Это онъ говорилъ каждый разъ, когда мы садились, котя вовсе не я, а онъ самъ предлагалъ отдыхъ, и я каждый разъ опережалъ его при всходахъ и спускахъ.

Я полагаю, что старикъ часто повторялъ мит о моей слабости только для того, чтобы показать мит свое знакомство съ иностраннымъ словомъ, которое онъ произносилъ на разные лады: Constation, Constution, но всегда невпопадъ. Я не помню уже, добхаль ли я или дошель пъшкомъ отъ Гальберштедта до Берлина; знаю только, что возвратился безъ гроша денегь, не разсчитавъ, какъ всегда, аккуратно путевыхъ издержевъ.

Въ Берлинъ въ то время публика, повидимому, вмъстъ съ королемъ, сочувственно относилась къ Россіи, то-есть не къ націи, а въ русскому государю. Портретъ его, сдъланный Крогеромъ и изображавшій въ натуральной величинъ государя и всю его свиту верхами, былъ выставленъ напоказъ, и вокругъ него всегда толпилась публика и слышались хвалебные отзывы объ осанкъ, о мужественной твердости, о семейныхъ его добродътеляхъ, и проч.

Своимъ правительствомъ берлинцы, по врайней мъръ молодое поколъніе, не очень восхищались; впрочемъ одни хвалили скромную жизнь стараго короля и его двора, а другіе возлагали надежды на наслъднаго принца.

Наслёдный принцъ, впослёдствіи король, —романтикъ и ученый, — угощалъ по временамъ будущихъ своихъ подданныхъ остротами, сходными съ тёми, которыми насъ нёкогда награждалъ одинъ изъ покойныхъ князей. Одну изъ остротъ наслёднаго принца я запомнилъ, потому что она касалась косвенно насъ, русскихъ.

Когда прусскіе офицеры, приглашенные по случаю какогото торжества въ С.-Петербургъ, возвратились въ Берлинъ, украшенные орденами и преимущественно моднымъ тогда орденомъ Станислава, наслъдный принцъ предложилъ своимъ придворнымъ вопросъ:

— "Чёмъ отличаются теперь гвардейскіе офицеры отъ рядовыхъ? Хотите, вамъ скажу? — Der gemeine Soldat hat gewöhnliche Laüse, aber die Garde-Officieren haben jetzt Stanis-laüse".

По части остротъ не оставались иногда въ долгу и прусскіе подданные.

Я помню, какъ однажды одинъ магазинъ Подъ-Липами выставилъ новую картину, имъвшую, ничъмъ впрочемъ не мотивированное, названіе: "Lügner und sein Sohn" (лжедъ и его сынъ). Провисъвъ въ витринъ дня три, эта картина была замънена новыми эстампами. Выставлены были два новые портрета короля и наслъднаго принца; но ихъ расположили такъ, что

они оба прикрывали прежнюю картину, за исключениемъ только надписи подъ нею: "Lügner und sein Sohn", красовавшейся теперь подъ портретами короля и наслёдника. Это название имъ присвоивалось за то, что еще не дана была объщанная въ отечественную войну конституція.

Мы, русскіе того времени, имъли почему-то невысокое мнъніе о прусскомъ правительствъ. Даже наши лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, пріъзжавшіе въ Германію, не называли себя нъмцами, а все—русскими, разумъя, конечно, подъ этимъ свое русское подданство. Слышалъ я неръдко и то, какъ пріъзжавшіе въ Дерптъ изъ Германіи профессора, обжившись нъсколько времени въ Дерптъ, называли въ разговоръ наше русское правительство и русскую армію— "unsere Regierung, unsere Armee" (наше правительство, наша армія); когда же дъло шло о наукъ, мануфактурахъ и тому подобное, то "unsere Wissenschaft, unsere Fabrik"—значило у этихъ господъ: наша нъмецкая наука, наши нъмецкія фабрики.

Какъ и жившіе тогда въ Берлпігь смотрыли на прусское правительство—можно заключить изъ следующаго случая.

Товарищъ мой, Гр. Ив. Сокольскій, посланный за границу изъ Петербурга, долго по прибытіи въ Берлинъ не получалъ изъ Москвы жалованья; нуждаясь, онъ обратился, конечно, прежде всего къ Кранихфельду; тогь прочелъ ему нъсколько душеснасительныхъ наставленій, но помощи никакой не далъ.

Сокольскій, узнавшій отъ какого-то нѣмца, что къ королю можно отнестись письмомъ по городской почтѣ, немного думая, взялъ, да и написалъ его величеству письмо, въ которомъ онъ просилъ обратить вниманіе на бѣдственное его положеніе. Положимъ, что Гр. Ив. Сокольскій былъ оригиналъ, но и онъ, вѣрно, не посмѣлъ бы и подумать въ Россіи о перепискѣ съ главою государства по частному дѣлу.

Я отговаривалъ Сокольскаго, но потомъ чрезвычайно удивился, когда услыхалъ, что на другой же день полученъ былъ чрезъ статсъ-секретаря отвётъ короля: Сокольскому предлагалось обратиться къ русскому посланнику, — что было испробовано имъ уже давно, но безъ успёха.

Сравнивая теперь тогдашній до-конституціонный режимъ

прусскаго правительства съ нашимъ, напримъръ, начала 1860-хъ годовъ, я нахожу, что нашъ режимъ того времени, въ одномъ отношени, стоялъ уже гораздо выше, чъмъ прусскій въ 1833-мъ и 1834-мъ годахъ, а въ другомъ оставался по-прежнему далеко позади.

Тавъ, въ 1833—1834-мъ годахъ правительственные органы увъряли всъхъ пруссаковъ, что "beschränkte Unterthanenverstand" (ограниченный умъ подданныхъ) не можетъ имътъ надлежащаго понятія о цъляхъ и намъреніяхъ правительства, а потому и не долженъ разсуждать объ этихъ дълахъ.

У насъ же въ началъ 1860-хъ годовъ разръшено было, въ извъстной мъръ и въ извъстныхъ границахъ, говорить о правительственныхъ проектахъ и обсуждать ихъ. Зато, въ это же самое время, у насъ не было еще отмънено ни одно изъ тъхъ мъстныхъ стъсненій свободы, которыя я сравниваю съ уколами булавовъ: между тъмъ въ 1833 и 1834-мъ годахъ въ Берлинъ никому не запрещалось носить бороду, усы, курить на улицъ табакъ и жить дома безъ полицейскаго надзора.

Не могу еще не упомянуть о неслыханномъ мною кредитъ, которымъ пользовались въ то время мы, русскіе, у нъмецкихъ купцовъ и ремесленниковъ. Мнъ покоя не даваль одинъ портной, отпустившій всъмъ нашимъ новаго платья въ кредить на нъсколько тысячъ талеровъ. Этотъ портной, и вмъстъ содержатель магазина, непремънно хотълъ, чтобы и я у него заказаль въ долгъ платья, хоть бы сотни на двъ талеровъ; книжный продавецъ отпускалъ мнъ также въ кредитъ, на нъсколько сотъ талеровъ, различныхъ книгъ и журналовъ.

Время уплаты долга не опредълялось; вевселя и гарантій нивавихъ не требовалось...

Приближался срокъ нашего пребыванія за границею. Я, кажется, забыль упомянуть, что вийстй съ нами (членами профессорскаго института) присланы были въ Берлинъ и юристы отъ Сперанскаго,—все семинаристы; къ юристамъ гр. Сперанскаго причислялись, впрочемъ, и двое изъ нашихъ: Калмывовъ и Рёдкинъ (не-семинаристы).

Изъ нихъ (числомъ 21) были только трое—Сокольскій, Скандовскій и Филомафитскій—лица духовнаго происхожденія, но оба уже нісколько шлифованные университетскимъ образованіемъ, тогда какъ юристы Сперанскаго (за исключеніемъ Калмыкова и Різкина) были все чистокровные бурсаки; изъ нихъ наиболіве выдающеюся личностью быль, въ мо-ихъ глазахъ, Ник. Ив. Крыловъ. Я любилъ его угловатую оригинальность, и при случай разскажу о немъ кое-что.

За нъсколько времени до нашего отъъзда мы получили отъ министерства Уварова запросъ: въ какомъ университетъ каждый изъ насъ желалъ бы получить профессорскую ваоедру? Я, конечно, отвъчалъ, не запинаясь: въ Москвъ, на родинъ; увъдомилъ объ этомъ и матушку, чтобы она заблаговременно распорядилась съ квартирою и т. п.

Въ мат 1835 года я и Котельниковъ стли въ почтовый прусскій дилижансь, отправлявшійся въ Кенигсбергъ и Мемель. На почтовомъ дворт въ намъ подошелъ какой-то господинъ, весьма порядочный на видъ, съ молодою дтвушкою, и, узнавъ, что мы русскіе, обратился прямо ко мит съ просьбою взять на свое попеченіе до Кенигсберга молодую швейцарку изъ Гренобля, отправлявшуюся на мъсто гувернантки въ Кенигсбергъ.

Я приняль съ охотою предложение. Дъвушка не говорила по-нъмецки и была еще почти ребенокъ, лътъ 16-ти, чрезвычайно наивная и разговорчивая.

Она всю дорогу развлекала насъ своими разсказами, и, върно, понравилась бы мнъ еще болъе, еслибы я дорогою не занемогъ.

Еще дня два до моего отъезда изъ Берлина я почувствоваль себя не совсемъ хорошо, и взяль теплую ванну.

Полагая, что дорога (вакъ это неръдко со мною случалось) благодътельно на меня подъйствуеть, я сълъ въ дилижансъ безъ всякихъ опасеній.

Но спертый воздухъ и духота дилижанса, въ которомъ сидъло насъ шестеро, сильно разстроили меня; я не спалъ цълую ночь, утомился до крайности; сильная жажда мучила меня, и я едва-едва высидълъ въ дилижансъ еще одну ночь, а на утро оказался вовсе несостоятельнымъ для продолженія пути. Меня высадили на станціи въ какомъ-то, не помню, городкъ. Всѣ пассажиры засвидѣтельствовали, что я дѣйствительно заболѣлъ на пути; это было необходимо для того, чтобы имѣть право на безплатный проѣздъ до мѣста назначенія, т.-е. за проѣздъ уплаченнаго уже мною въ Берлинѣ пространства. Котельниковъ не хотѣлъ оставить меня одного на дорогѣ, и высадился вмѣстѣ со мною. На станціи, для утоленія жажды, я просилъ Христомъ Богомъ дать мнѣ скорѣе чаю, и въ забытьи отъ утомленія и безсонной ночи съ нетерпѣніемъ жаждалъ промочить чашкою чая засохшее горло.

Принесли, наконецъ, чайникъ. Я бросаюсь налить себъ чашку, съ жадностью пью, но не успълъ выпить и половины, какъ начинаю чувствовать тошноту и отвратительнъйшій вкусъ во рту.

Оказалось, что вмёсто настоящаго чая мнё подали какоето снадобье, составленное изъ разныхъ травъ и извёстное подъименемъ аптекарскаго чая.

Хозяйка станціи, въ цёлую свою жизнь ни разу не им'вышая случая угощать чаемъ пассажировь и им'вышая вообще смутное понятіе о чаё, какъ напиткі, не могла, конечно, вообразить, что больной пассажиръ можеть требовать другого чая, а не аптекарскаго. Желая быть челов'вколюбивою, благод'тельная хозяйка станціи, услышавъ мое требованіе, тотчась же и послала въ аптеку за чаемъ. Судя по отвратительному вкусу и по тошнотворному д'в'йствію, это была см'ёсь ромашки, бузины, липовыхъ цв'ётовъ, солодковаго корня и другихъ неразгаданныхъ мною веществъ.

Провлязъ это снадобье и замънивъ его, насволько позволяли средства и обстоятельства, теплымъ лимонадомъ, я, наконецъ, вое-какъ успокоился и кръпко заснулъ послъ двухъ безсонныхъ ночей. Сонъ нъсколько возстановилъ меня, такъ что я ръшился продолжать дорогу, на другой же день, съ проходившимъ чрезъ станцію почтовымъ дилижансомъ.

Мъста для меня и Котельникова оказались, и мы добрались до Мемеля и, отдохнувъ тамъ еще разъ, наняли извозчика до Риги. Дорогу до Риги я перенесъ относительно не худо. Но получилъ, въ несчастію, вашель; я почувствовалъ утромъ на разсвътъ какой-то нестерпимый зудъ въ одномъ ограниченномъ мъстъ гортани, съ позывомъ на вашель. Съ этой минуты ва-

шель, не переставая, началь меня мучить день и ночь, притомъ сухой и нестерпимый. Въ такомъ состояніи я добрался ло Риги.

Мы остановились въ какомъ-то завзжемъ домв за Двиною (за мостомъ). Отъ слабости я едва передвигалъ ноги; впрочемъ пульсъ мой не быль лихорадочный. Я чувствовалъ, что далбе мив вхать невозможно, а между твмъ деньги и у меня, и у Котельникова вышли, — вышли всв до последней копейки. Непредвиденныя обстоятельства, какъ известно, не берутся въ соображение въ молодости, или только на словахъ берутся. Но въ Риге жилъ попечитель дерптскаго университета и онъ же остзейскій генераль-губернаторъ. Пишу письмо къ нему и посмлаю съ письмомъ самого Котельникова. Не помню что, но, судя по результату, я, должно быть, въ этомъ письме навалялъ что-нибудь очень забористое. Не прошло и часа времени, какъ ко мив прилетель отъ генералъ-губернатора медицинскій инспекторь, докторъ Леви, съ приказаніемъ тотчасъ принять всё мёры къ облегченію моей участи.

Докторъ Леви привезъ деньги и тотчасъ же послалъ за каретою, лля перевзда въ большой загородный военный госпиталь. Тамъ велвно было отвести для меня особое отдъльное помъщеніе, приставить ко мнъ особаго фельдшера и служителей. Докторъ Леви былъ еврейскаго происхожденія и принадлежалъ къ тому высоко-классическому типу евреевъ, который далъ образы Леонарду да-Винчи для изображенія въ его "Тайной Вечери" одиннадцати върныхъ учениковъ Спасителя.

Это была душа, ръдео встръчающаяся и между христіанами, и между евреями. Холостой и уже пожилой, докторъ Леви, посвящая всю свою жизнь добру, помогалъ всъмъ и каждому, чъмъ только могъ. Кто видълъ хотя однажды этотъ черепъ, гладкій какъ мраморъ и какъ мраморъ сохранившій на себъ черты, намъченныя врожденною добротою души, тотъ, върно, не забывалъ его никогда.

Даже баронеть Виллье, увидъвши однажды доктора Леви при посъщении военнаго госпиталя (въ которомъ Леви служилъ ординаторомъ), не удержался и невольно повелъ рукою по гладко вышлифованному и блестящему, какъ солице, черепу доктора. Погладить что-нибудь, а не ударить рукою, было у

грубаго баронета признакомъ удовольствія и благоволенія, и другіе ординаторы едва-ли не позавидовали тогда классическому черепу.

Меня помъстили въ бель-этажъ громаднаго госпитальнаго зданія, въ просторной, свътлой и хорошо вентилированной комнать; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Еслибы я захотъль, то, я думаю, мнъ прописали бы цълую сотню рецептовъ не по госпитальному каталогу. Но я просилъ только, чтобы меня оставили въ покоъ и дали бы только что-нибудь успокоительное, въ родъ миндальнаго молока и лавровишневой воды, противъ мучительнаго сухого кашля.

Чемъ быль я боленъ въ Риге?

На этотъ вопросъ я такъ же мало могу сказать что-нибудь положительное, какъ и на то, чъмъ я болълъ потомъ въ Иетербургъ, Кіевъ и за границею.

Сухой, спазмодическій, сильный, съ мучительнымъ щевотаньемъ въ горят, кашель; ни малейшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствіе аппетита, съ отвращеніемъ и къ пищѣ, и къ питью; безсонница — цѣлыя ночи напролеть безъ сна нъсколько недъль сряду; запоры, продолжавшиеся по цълымъ недёлямъ. Вотъ припадки. Болёзнь длилась оволо двухъ мъсяцевъ, а облегчение началось тъмъ, что кашель сдълался нъсколько влажнъе; въ ногахъ же появились нестерпимыя боли, такъ что малъйщее движение ноги отзывалось сильнъйшею болью въ подошвахъ; потомъ показался аппетить къ молоку и явились твердыя испражненія, послё простыхъ клистировъ, прежде вовсе не действовавшихъ. Съ каждымъ днемъ аппетитъ къ молоку началь все болье и болье усиливаться и дошель до того, что я ночью вставаль и принимался по нъскольку разъ за молово; аптекарскаго, выписываемаго по фунтамъ, уже не хватало; всв обитатели госпиталя, ординаторы, смотрителя и воммиссары начали снабжать меня молокомъ; къ нему я присоединилъ потомъ, также инстинктивно, миндальныя конфекты; но порой ъть ихъ съ моловомъ по цълымъ фунтамъ. Навонецъ, дошелъ чередъ и до мяса. Мнъ начали приносить кушанья изъ городского трактира. А однажды, когда я быль уже на ногахъ, но еще вашляль (съ мокротою), посътиль меня генераль-губернаторъ.

Я искренно поблагодарилъ его; а онъ успокоилъ меня увъреніемъ, что онъ обо мнѣ сносился уже съ министромъ, и чтобы я не торопился отъъздомъ; къ этому прибавилъ—и самое главное — ассигновку на полученіе жалованья, назначеннаго всъмъ намъ впредь до занятія профессорскихъ должностей.

Мой Котельниковъ уже тыть временемъ давно увхаль, получивъ также на провздъ; а я написаль въ Дерптъ изъ госпиталя къ моей почтеннъйшей Екатеринъ Аванасьевнъ (Протасовой), увъдомивъ ее, что лежу больной какъ собака (не знаю, почему я написалъ такъ). Моя добрая Екат. Аванасьевна, върно, подумала, что я лежу въ госпиталъ какъ собака, и вскоръ прислала мнъ рублей 50 денегъ и бълья.

Какъ только я оправился, является ко мив въ одно прекрасное утро безносый цирюльникъ и просить меня, чтобы я сдержалъ данное ему объщаніе.—Какое?—удивился я. И цирюльникъ припомнилъ мив, что я объщался сдёлать ему носъ. Дело было такъ: кто-то въ госпитале рекомендовалъ мив взять изъ города очень искуснаго клистирнаго мастера.

При моей болъзненной раздражительности миъ, дъйствительно, не всякій могь угодить въ такомъ щекотливомъ дълъ, какъ клистиръ, и я терпълъ по цълымъ недълямъ, и ни за что не согласился припускать къ себъ госпитальныхъ фельд-шеровъ.

Прибывшій же изъ города оказался действительно исполнявшимъ свою обязанность по Цельзу: "tuto, cito et jucunde".

Вотъ ему-то, по его увъренію, я, послъ одного отлично поставленнаго клистира, и объщался сдълать носъ, когда выздоровъю.

Но слабость силъ ослабила, върно, и память; я совсъмъ забылъ объщание и физіономію.

— Ну, что же? если объщаль, такъ надо исполнить.

Носъ не существуеть ех toto; но лобъ превосходный, глад-кій, словно мраморный.

Безносый, плотный, здоровый мужчина, лътъ 40, семейный. Но мит неясно было, что могло побудить человъка женатаго и не совствит молодого принять такъ къ сердцу пущенныя на-вътеръ и въ шутку слова неизвъстнаго больного.

Можеть быть, предчувствіе, но віроятиве то, что этоть

безносый брадобрёй, однако-же, быль вмёстё сь тёмъ и содержателемъ публичнаго дома. А провалившійся нось у козяина такого заведенія—не приманка, а потрясающее memento mori для посётителей.

Изъ прекраснаго лба вышелъ прекрасный носъ; долго хранился у меня портреть моего перваго и самаго удачнаго носа.

Второй носъ, сдъланный вскоръ послъ перваго, въ Ригъ же, у одной дамы, былъ гораздо неудачнъе и наврывалъ дефектъ только отчасти. Затъмъ начали слъдовать оперативные случаи одинъ за другимъ: литотоміи, выръзыванія опухолей, изъ которыхъ одинъ—вылущеніе огромнаго оплотнъвшаго (стеатоматическаго) жировика—произвелъ большую сенсацію въ городъ.

Дама, страдавшая этою опухолью, была многимъ знавома въ городъ. Опухоль росла у нея уже десятки лътъ, и нъсколько лътъ тому назадъ одинъ туземный хирургъ взялся-было за операцію, но, убояхся бездны премудрости, возвратихся вспять; — онъ остановился съ выръзываніемъ, перевязаль кусокъ опухоли почти по серединъ и отръзалъ перевязанный кусокъ.

Мнѣ представилась застарѣвшая болѣзнь уже въ другомъ видѣ. У разжирѣвшей до громадныхъ размѣровъ женщины опухоль, имѣвшая нѣсколько этажей или доль, достигла величины огромной тыввы, занимая всю ягодную область и промежностъ правой стороны; но очевидно было, что наростъ шелъ далеко въ тазъ, между прямою кишкою, влагалищемъ и маткою, а старый рубецъ, послѣ недоконченной операціи, приврѣплялъ въ ней кожу и мышцы. Для новичка это былъ хорошій пробный камень, и ни одна операція не радовала меня столько, какъ эта.

Приступивъ къ ней, я шибко боялся за глубокій рубецъ, лежавшій на дорог'ь; боялся еще бол'ье средняго нароста въ глубин'ь въ тазу съ брюшиною.

Но все обошлось какъ нельзя лучше.

Почти половину опухоли, величиною также съ добрую тыкву, надо было вытаскивать изъ таза. Огромная, глубокая рана зажила еще задолго до отъёзда моего изъ Риги.

Въ военномъ госпиталъ также не оказывалось оператора. При мнъ встрътились два случая: одинъ съ камнемъ мочевого

пузыря, а другой—требовавшій отнятія бедра въ верхней трети. Въ обоихъ случаяхъ никто не різшался въ госпиталів дізлать операцію, и оба предоставлены были въ мое распоряженіе.

Ординаторы госпиталя, познакомившись со мною, стали просить меня показать имъ нѣкоторыя операціи на трупахъ и прочесть нѣсколько лекцій изъ хирургической анатоміи и оперативной хирургіи. Одинъ изъ старыхъ ординаторовъ, нѣмецъ, кончившій курсъ въ Іенѣ, сдѣлалъ мнѣ за мои лекціи слѣдующій комплиментъ, тогда очень польстившій почему-то моему самолюбію и потому оставшійся у меня въ памяти.

— "Вы насъ научили тому, чего и наши учителя не знали". Въ сентябръ мъсяцъ (1835 г.) я собрался, наконецъ, въ дорогу.

Мой добръйшій д-ръ Леви, бывшій во все время моего пребыванія въ Ригъ моимъ геніемъ-хранителемъ, и теперь не хотъль отпустить меня въ дорогу безъ теплой одежды; вечера уже были очень прохладны, и онъ притащилъ мнъ свою енотовую шубу, хотя и старую, но еще довольно благовидную и для ношенія въ столицъ, и требоваль отъ меня, чтобы я ее непремънно взяль и не обижаль его присылкою назадъ изъ Петербурга.

Уговаривая меня, Леви такъ горачился и такъ неосмотрительно бъгалъ за мною по комнатъ, что, наконецъ, зацъпился ногою за что-то и упалъ, растянувшись предо мною. Это было какъ-то такъ и смъшно, и трогательно, что я бросился его поднимать, обнимать, цъловать, и мы разстались оба со слезами на глазахъ.

Я отправился въ Петербургъ хотя и на почтовыхъ, но не спъща. Ночевалъ ночи на станціяхъ и забхалъ на нъсколько дней въ Дерптъ.

Надо было поблагодарить почтеннъйшую Екатерину Аванасьевну (Протасову), повидаться съ Моейромъ и съ знакомыми.

Первая новость, услышанная мною въ Деритѣ, была та, что я покуда остался за штатомъ и прогулялъ мое мѣсто въ Москвѣ. Я узналъ, что попечитель московскаго университета, Строгановъ, настоялъ у министра объ опредѣленіи на каеедру хирургіи въ Москвѣ Иноземцева.

Первое впечатление отъ этой новости было, сколько помию, очень тяжелое. Недаромъ же у меня никогда не лежало сердце къ моему товарищу по наукъ. Недаромъ въ моемъ дневникъ разражался я противъ него разнаго рода жалобами и упреками и вмъстъ съ тъмъ завидовалъ ему.

Это онъ назначенъ былъ разрушить мои мечты и лишить меня, мою бёдную мать и бёдныхъ сестеръ перваго счастія въ жизни! Сколько счастья доставляло и имъ, и мнё думать о томъ днё, когда, наконецъ, я явлюсь къ нимъ, чтобы жить вмёстё и отблагодарить ихъ за всё ихъ попеченія обо мнё въ тажкое время сиротства и нищенства! И вдругъ всё надежды, всё счастливыя мечты, все пошло прахомъ!

Но чёмъ же туть виновать Иноземцевъ?

Да развѣ онъ не зналъ моихъ намѣреній и надеждъ? развѣ онъ не слыхаль отъ меня, что старуха-мать и двѣ сестры ждутъ меня съ нетерпѣніемъ въ Москву? Развѣ ему не извѣстно было, что я отвѣчалъ на послѣдній вопросъ въ Берлинъ изъ Москвы?

Но онъ не могъ устоять противъ требованія и желанія Строганова? Во-первыхъ, это, върно, не такъ: Иноземцевъ умъль сдълать себя пріятнымъ и отъ природы снабженъ быль средствами для этой цъли; а во-вторыхъ, развъ совъсть и долгь чести не требовали отъ товарища, чтобы онъ отказался отъ предлагаемаго, если на это предложеніе имъль гораздо болъе правъ не онъ, а другой?

И какова заботливость начальства!

Оно само выбираеть, само назначаеть человъка, само узнаеть отъ него, что онъ желаеть дъйствовать именно въ томъ университетъ, гдъ онъ получилъ образованіе и гдъ онъ былъ избранъ для дальнъйшаго усовершенствованія,—и что же: лишь только пришла бъда, бользнь, его забывають и спъщать его мъсто замънить другимъ! Да, этоть другой понравился, имълъ счастіе понравиться его сіятельству; а кто знаетъ, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже, —могло быть, что мнъ, и здоровому, и прибывшему въ Петербургъ, вліятельный графъ предпочель бы моего товарища.

"Слава Богу, что еще этого не случилось. Ну, пусть будеть, что будеть.

"Всёмъ управляеть слепой случай; утёшенія искать негде, если не найдешь его въ самомъ себё. Воть сюда, къ себе, и обратись".

Такъ я разсуждаль въ то время. Провидънія для меня тогда не существовало. Идеала Богочеловъка, поправшаго чрезъ воплощеніе юдоль человъческихъ бъдствій, также не существовало.

Оставалось, конечно, одно прибъжище — собственное s. И хорошо еще, что это s было, по милости божіей, не дюжинное и не слишкомъ высокомърное. Оно знало себъ мъру.

Теперь спѣтить было некуда. Одно дѣйствіе на сценѣ жизни кончилось, занавѣсъ опустился. Отдохнемъ отъ испытанныхъ волненій и подождемъ терпѣливо другого.

Я помъстился на квартиръ стараго товарища, всегда ассистировавшаго мнъ при опытахъ надъ животными, помощника прозектора Шульца.

Мойеръ въ это время быль ректоромъ и плохо ладилъ со студентами. Они однажды пустили ему за что-то кирпичъ въ окно и сильно перепугали старушку Екатерину Аванасьевну.

Видно было по всему, что Мойеръ ждаль съ нетерићніемъ срока 25-тильтія, чтобы убхать изъ Дерита въ орловское имвніе; клиники онъ, по служебнымъ занятіямъ ректора, не посыщаль и предоставиль почти всецьло своему ассистенту, молодому Струве (потомъ профессору въ Харьковъ).

Я принялся посъщать ее, и, какъ нарочно, къ этому времени собрались въ клиникъ четыре интересные случая: мальчикъ съ камнемъ въ пузыръ — ръдкая птица въ Дерптъ; огромный саркоматозный полипъ, застилавшій всю полость носа и зъва; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною съ кулакъ, и сухая гангрена, отъ обжога всего предплечія, у эпилептика.

Мойеръ поручиль мив распорядиться по моему усмотреню съ этими больными, а самъ долженъ былъ решиться на литотомию у одного толстаго-претолстаго старика-пастора, по-местившагося также въ клиникъ.

Операція шла не лучше той у деритскаго богача Шульца,

о которой я уже говориль прежде. Пасторь быль еще толице Шульца и кричаль безпрестанно: "wenn ich nur harnen könnte!" Горжереть Скарпы, которымь все еще, какъ и прежде, оперироваль Мойерь, оказался слишкомь короткимь для толстой (въ цёлую ладонь) промежности; побёжали, во время операціи, искать другого инструмента—не нашли; но, наконець, кое-какъ горжереть прошель-таки въ пузырь, и извлечены были три камня (ураты).

Чрезъ нъсколько дней была мон операція (литотомія) у мальчика. Штраухъ, мой сожитель въ Берлинъ, прівхавшій въ Дерпть еще до мая для экзаменовъ, выдержаль уже его и писаль теперь диссертацію; онъ успъль уже разсказать о нашихъ подвигахъ въ Берлинъ и, между прочимъ, о необывновенной скорости, съ которою я дълаю литотомію надъ трупами. Вслъдствіе этого набралось много зрителей смотръть, какъ и какъ сеоро сдълаю я литотомію у живого. А я, подражая знаменитому Грефе и его ассистенту въ Берлинъ—Ангельштейну, поручиль ассистенту держать на-готовъ каждый инструменть между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многіе вынули часы. Разъ, два, три—не прошло и двухъ минуть, какъ камень быль извлеченъ.

Всв, не исключая и Мойера, смотрввшаго также на мой подвигь, были видимо изумлены.

— "In zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, das ist wunderbar!" (въ двъ минуты, даже менъе двухъ, это удивительно!) — слышалось со всъхъ сторонъ.

Я ділаль операцію литотомомъ (lithotome caché), и именно тімь самымъ, единственнымъ тогда въ Дерпті, который я привезъ Мойеру изъ Москвы. Но быстрота операціи зависіла не оть этого инструмента и ни оть чего другого, какъ оть формы и положенія камня въ пузырі. Это быль уро-фосфать въ виді продолговатой сосульки, лежавшей однимъ концомъ прямо въ шейкі пузыря; камень тотчасъ же попаль всею своею длиною между щечекъ щипцовъ и легко извлекся.

Не менъе эффекта для посътителей клиники, уже давно не видавшихъ никакой серьёзной операціи, было извлеченіе громаднаго полипа вмъстъ съ костями (носовыми раковинами и стъною верхнечелюстной пазухи) чрезъ большой разръзъ носа.

Диффенбаха шовъ (Insectennaht), наложенный потомъ на разръзанный носъ, быль также новостью.

Съ этого времени начали почти ежедневно являться въ клинику оперативные случаи, всецёло поступавшіе въ мое распоряженіе. Клиника—по словамъ студентовъ—ожила. Чрезъ нёсколько дней Мойеръ приглашаеть меня къ себъ и дълаеть мнъ нъчто, никогда не думанное и не гаданное мною и потому чрезвычайно меня поразившее.

— "Не хотите ли вы—предлагаеть мнв Мойерь—занять мою каоедру въ Дерптв?"

Я остолбенълъ.

- Да какъ же это можетъ быть? да это немыслимо, невозможно!—или что-то въ этакомъ родъ.
- "Я хочу только внать, желаете ли вы?"—повторяеть Мойеръ.
- Что же, говорю я, собравшись съ духомъ: ваеедра въ Москвъ для меня уже потеряна; теперь мнъ все равно, гдъ я буду профессоромъ.
- "Ну, такъ дъло въ шляпъ. Сегодня я предлагаю васъ факультету и извъщу потомъ министра; а когда узнаю, какъ онъ посмотрить на это дъло, то предложение пойдеть и въ совъть, а вы покуда подождите здъсь въ Дерптъ, а потомъ поъзжайте въ Петербургъ ждать окончательнаго ръшения".

Въ это время домъ Мойера быль очень привлекателень для молодого человъка. Двъ его племяницы (внучки Е. А. Протасовой), Екатерина и Александра Воейковы, и нъсколько русскихъ молодыхъ дамъ, Марья Николаевна Рейцъ (урожденная Дирина), Екатерина Николаевна Березина (моя будущая теща) и др., составляли очень пріятное общество, подъ эгидою почтенной лътами, но чрезвычайно любезной, умной и интересной Екатерины Аванасьевны. Весело было проводить вечера и послъобъденное время въ этомъ привлекательномъ обществъ. Являлись и другіе русскіе и нъкоторые нъмцы, и время шло какъ нельзя лучше.

Я написалъ о случившемся матушкѣ, стараясь ее утѣшить; но самъ я не получалъ ни отъ вого писемъ,—какъ будто меня уже и на свътъ не было. Поъхалъ, молъ, занемогъ на дорогѣ, да такъ и сгинулъ—и концы въ воду. Жалованье, однако-же, котя неаккуратно, а все-таки выдавалось.

Узнаю, наконецъ, что факультетъ выбралъ меня, по предложенію Мойера, единогласно въ экстраординарные профессоры.

Пришло потомъ извъщение отъ министра народнаго просвъщения, что онъ не имъетъ ничего противъ избрания меня на канедру хирургии въ Дерптъ.

Надо было теперь отправляться въ С.-Петербургь, представиться министру и ждать тамъ окончательнаго решенія объизбраніи меня советомъ университета.

Я сшиль себь на заказъ въ Дерптъ какую-то фантастическую теплую фуражку, съ тъмъ намъреніемъ, чтобы она служила мнъ и вмъсто подушки. Это было нъчто въ родъ суконнаго шара, подбитаго ватою на шелковой подкладкъ, съ длиннымъ и мягкимъ (суконнымъ же) козырькомъ и двумя наушниками, такъ прилаженными, что ихъ можно было ad libitum (по благоусмотрънію) и опускать внизъ на уши, и загибать вверхъ.

Я распространяюсь объ этой шапкѣ потому, что къ изобрѣтенію ея, какъ мнѣ кажется теперь (прежде я, вѣрно, не сознался бы въ этомъ и самому себѣ), послужилъ поводомъ зеленый картузъ, постоянно красовавшійся на головѣ Руста и почему-то мнѣ нравившійся; теперь, когда мнѣ предстояло избраніе въ профессора русско-нѣмецкаго университета, мнѣ казалось, — и шапка, подобная картузу Руста, будетъ весьма умѣстна на моей головѣ. И цвѣтъ этой шапки былъ также зеленый.

Впрочемъ это только предположеніе, пожалуй и не совсёмъ вёроятное; но почему-то мнё кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположенію въ моемъ воображеніи.

Уже быль настоящій зимній путь, когда я отправился изъ Дерпта въ С.-Петербургъ. Въ Петербургъ прівхавъ ночью, я не зналь, куда діваться. Ямщикъ возиль меня по разнымъ зайзжимъ домамъ и гостинницамъ часа три, и нигдів не находилось порожняго нумера. Я приходиль въ отчаяніе уже, какъ наконецъ, —не знаю, въ какомъ-то захолустьи на Петербургской

Сторонъ, — нашлась одна комната съ голою кроватью, прикрытою рогожей. Я, какъ вошелъ въ этотъ притонъ, такъ и повалился на кровать, не раздъваясь, въ енотовой шубъ Леви и въ моей зеленой оригинальной шапкъ. Повалился и заснулъ. На другой день, съ помощью д-ра Штра уха, я отыскалъ себъ комнату съ маленькою прихожею, вверху, въ 3-мъ этажъ, въ домъ Варварина, у Казанскаго собора. Помъщеніе было довольно порядочное, но входъ съ улицы отвратительный: лъстница узкая, грязная, залитая замералыми помоями и ночью темная.

Министръ Уваровъ принялъ меня утромъ одного у себя въ кабинетъ и не заставилъ долго ждать. Онъ былъ ужъ совершенно одътъ, за исключениемъ фрака, вмъсто котораго былъ надътъ шелковый халатъ. Время моего представления министру совпадало съ двумя событиями, составлявшими предметъ разговоровъ и сплетенъ въ Петербургъ.

Въ это время быль при смерти боленъ Шереметевъ, и по рукамъ ходили стихи Пушкина; читая ихъ, всякій узнаваль въ умирающемъ Лукуллѣ Шереметева, а въ жадномъ наслъдникъ, крадущемъ дрова и накладывающемъ печати на наслъдство,—С. С. Уварова.

Второе же составляло появленіе Уварова въ дом'в Фандеръ-Флита и основанная на этихъ пос'вщеніяхъ связь съ красавицею-дочерью. Можетъ быть поэтому, а можетъ быть и напрасно, мн'в показался министръ ч'вмъ-то озабоченнымъ и какъ бы разс'вяннымъ. По крайней м'вр'в ръчи его, обращенныя ко мн'в, были несвязны. Не сказавъ мн'в ни полслова о томъ, почему я, воспитанникъ московскаго университета, объявившій, по его же требованію, о своемъ желаніи им'вть профессуру въ Москв'в, остался за штатомъ, —министръ началъ хвалить меня, говоря, что слышалъ обо мн'в съ разныхъ сторонъ хорошіе отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя было н'всколько повременить и не отдавать мн'в назначеннаго м'вста другому? Потомъ Уваровъ началъ бранить студентовъ деритскаго университета и превозносить профессоровъ.

Впослъдствіи я узналь причину и порицанія, и похвалы. Уваровь, поступивь на мъсто кн. Ливена, отправился, едвали не прежде всего, въ Дерптъ, прикинулся другомъ нъмцевъ, говорилъ, что и университетъ, и старая библіотека, и все въ

Дерптъ напоминають ему то незабвенное время, когда онъ штудироваль классиковь въ геттингенскомъ университетъ. Въроятно, восхищению его не было бы конца, и онъ съ нимътакъ и уъхалъ бы въ С.-Петербургъ, еслибы не приключился ночью того же дня студенческий скандалъ, впрочемъ весъма невиннаго содержания.

Уваровъ остановился въ квартирѣ, назначенной для попечителя (котораго еще тогда не было), на рынкѣ. Ночью не спалось министру, и на разсвѣтѣ, услышавъ шумъ на улицѣ, онъ вышелъ на балконъ. Въ это время проходило по рынку нѣсколько подгулявшихъ на коммершѣ студентовъ, и двое изъ нихъ, увидѣвши стоящаго на балконъ господина въ ночной одеждѣ съ лорнетомъ въ рукѣ, вынули ключи отъ дверей своихъ квартиръ, навели ихъ и стали смотрѣть на балконъ черезъ кольцо ключа, замѣнивъ имъ лорнетъ. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его пріѣздъ и расточаемыя имъ похвалы должны были привлечь къ нему всѣ сердца Dorpateuser'овъ.

Воть и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.

А теперь воть и причина, почему онъ такъ возлюбилъ профессоровъ.

Этотъ разсказъ сообщилъ мив впоследствии (въ 1838 г.) Мойеръ.

Астрономъ Струве, знаменитый не по однимъ своимъ наблюденіямъ и открытіямъ въ области астрономіи, но и своими необывновенно чутвими житейскими способностями, хлопоталъ въ началѣ министерства Уварова объ обсерваторіи въ Пулковѣ. Надо было, во что бы то ни стало, расположить Уварова въ свою пользу. Струве воспользовался для этого пріѣздомъ министра въ Дерптъ. Уваровъ посѣтилъ утромъ, по приглашенію Струве, дерптскую обсерваторію. Главнымъ дѣломъ былъ, конечно, знаменитый въ то время рефракторъ дерптской обсерваторіи.

— "Къ сожаленію, — говорить ему Струве, — все это время стоить погода плохая, и потому я не осмелился утруждать васъ посмотреть въ нашь рефракторь ночью; теперь же взглянуть въ него можно разве только для того, чтобы составить себе

понятіе о чрезвычайной чувствительности инструмента къ малъйшему движенію".

Уваровъ остановился и смотритъ.

- Позвольте, однако-же, говорить онъ: я что-то вижу; мнъ кажется, звъзду.
 - "Не можеть быть, Hohe Excellenz!" восклицаеть Струве.
 - Да, воть, посмотрите сами, -- возражаеть Уваровь.

Струве, въ свою очередь, смотрить, молчить, еще смотрить, и, принявъ изумленный и восторженный видъ, громко взываеть:

— "Позвольте принести вамъ мое поздравленіе, Hohe Excellenz: вы сдёлали открытіе. Необыкновенно, непостижимо, какъ это случилось, что вамъ суждено было увидёть въ первый разъ одну изъ неизвёстныхъ еще неподвижныхъ звёздъ; отнынё она будетъ включена въ списокъ ново-открытыхъ неподвижныхъ звёздъ".

И въ этотъ же вечеръ, въ собраніи профессоровъ на ученомъ вечеръ, куда былъ приглашенъ и министръ, Струве читалъ о новооткрытой его высокопревосходительствомъ неподвижной новой звъздъ.

Не знаю только, окрестиль ли ее Струве именемъ Уварова, какъ окрещенъ этимъ именемъ одинъ минералъ (уваровикъ), или новая звъзда осталась безъимянною. Уваровъ, конечно, былъ на седьмомъ небъ, и не воображалъ, да и не хотълъ воображать, что онъ вовсе не былъ случайнымъ открывателемъ, а звъзда была уже прежде подмъчена тонкимъ дипломатическимъ геніемъ Струве.

Послѣ разныхъ прелюдій о необходимости исправленія нравственнаго быта дерптскихъ студентовъ, — оказавшихся въ послѣднее время образцами нравственности для другихъ русскихъ студентовъ, — Уваровъ, ни съ того, ни съ сего, обращается ко мнѣ съ слѣдующей напутственной рѣчью:

— "Знайте, молодой человъкъ, при вступленіи вашемъ на новое поприще, что министръ народнаго просвъщенія въ Россіи— не я, не Серг. Сем. Уваровъ, а императоръ Николай Павловичъ. Знайте это и помните. До свиданія!

Воть тебѣ на! не онъ, а государь—министръ народнаго просвъщенія! Что бы это значило? Къ чему это онъ мнѣ такую штуку всучиль?

Однаво-же, сидъть сложа руки въ С.-Петербургъ свучно, а придется не мало сидъть у моря и ждать погоды, —и я отправляюсь посъщать петербургскіе госпитали.

Всего более я слыхаль объ Обуховской больнице.

Беру Ваньку и ѣду туда.

Вдругъ, проважая по Сънной площади, чувствую, что кто-то меня хватиль преисправно кулакомъ по головъ, то-есть по моей шаровидной веленой шапкв à la Rust. Я быль закутань въ поднятый воротникъ енотовой шубы Леви. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь: вижу уже вдали бъгущаго по тротгуару мастерового парня въ затрепанномъ халать и безъ шапви. На бёгу, — я видёль, — онь, подпрыгивая, дёлаль разныя трели ногами и задуваль прохожихъ. Что же — спрашиваю себя — заставило этого сорванца ударить по головъ, и довольно внушительно, пробажаго незнакомца? А то же самое, я полагаю, что заставило нъкогда баронета Виллье погладить дадонью доснившуюся на солнов и кругло выпяченную плешь д-ра, статскаго совътника Леви. Внъшній видъ, круглость, цвъть, блескъ, т. п., привлекли и обратили на себя глазъ баронета, а отъ глаза непроизвольно и безсознательно перешло рефлективное движеніе и на руку. А такъ какъ "рукамъ воли не давай", "oculis. non manibus" (глазами, а не руками) Лодера и "руки прочь" Гладстона — были неизвестными для баронета правилами нравственнаго кодекса, то рука, побуждаемая рефлексомъ, и дотронулась до соблазнительной плети.

То же самое было причиною и нанесеннаго мет удара кулакомъ. Выбъжавшій изъ мастерской парень, какъ вырвавшійся изъ клітки звърь, пришедъ въ соприкосновеніе съ минмою свободою, собственно же почувствовавъ на себъ дъйствіе одной только уличной (и то петербургской) свободы, заржалъ, запрыгалъ и, завидъвъ на бъгу шаровидный зеленый куполъ на головъ протажаго, непроизвольно и рефлективно сжалъ кулакъ и ударилъ имъ по куполу. "Не давай воли рукамъ" — мастеровому, конечно, было такъ же мало извъстно, какъ и баронету.

Въ Обуховской больницъ я радушно былъ встръченъ ординаторами, особливо же бывшими студентами деритскаго университета. Изъ нихъ докторъ Гете, уже довольно извъстный прак-

тивъ того времени, занимавшійся въ хирургическомъ отдёленіи госпиталя, сблизился со мною, познакомилъ меня съ главнымъ докторомъ Карломъ Антоновичемъ Майеромъ (семитическаго происхожденія), а потомъ и съ главнымъ консультантомъ госпиталя, Н. Ф. Арендтомъ.

Съ каждымъ днемъ — новыя знакомства съ врачами и профессорами. Во-первыхъ, ех officio, надо было познакомиться съ Ив. Тим. Спасскимъ; онъ уже игралъ нъкоторую роль у министра Уварова, впослъдствіи же былъ членомъ отъ министерства по медицинской части въ медицинскомъ совътъ. Добръйшая душа, расположенный ко мнъ и цънившій меня, Иванъ Тимооеевичъ не имълъ твердыхъ убъжденій и былъ притомъ разсъянъ. О немъ придется мнъ еще говорить впослъдствіи.

Медицина и хирургія того времени въ С.-Петербургів имівли весьма діяльныхъ представителей: Бушть, Арендтъ, Саломонъ, Буяльскій, Зейдлицъ, Раухъ, Спасскій пользовались заслуженною репутацією и въ публиків, и между врачами того времени.

Конечно, въ полномъ смыслѣ научными врачами, то-есть знакомыми съ современною медицинскою литературою и современнымъ направленіемъ науки, были только немногіе изъ нихъ. Но въ то время слѣдить за современнымъ направленіемъ науки не такъ легко было, не только у насъ, но и на Западѣ. Я уже сказалъ объ отсталости медицины этого времени въ самой Германіи. Поэтому я ужасно удивился, когда узналъ, что въ С.-Петербургъ приглашенъ былъ ко двору ея императорскаго высочества Елены Павловны профессоръ (одного небольшого университета), докторъ Мандтъ.

Надо не забыть того, что годъ тому назадъ профессоръ Шлеммъ въ Берлинъ привелъ на мою квартиру въ Dorotheen Strasse неизвъстнаго мнъ высокаго и худощаваго господина и, назвавъ его профессоромъ докторомъ Мандтомъ, объявилъ мнъ, что этотъ господинъ, получивъ приглашение ъхать въ Россію, желаетъ познакомиться со мною и проситъ меня сообщить ему нъкоторыя свъденія о Россіи.

У меня въ это время былъ какой-то анатомическій препарать подъ руками; я извинился предъ незнакомцемъ, вымылъ руки и предложилъ себя къ услугамъ. Мандтъ вынулъ записную книжку, и первый его вопросъ ко мит былъ о чинахъ въ Россіи. Я могъ ему перечислить классное значеніе только итвьеоторыхъ чиновъ. Мандтъ записалъ.

- "Мит предлагають чинъ Hofrath'а, спросилъ онъ: имтеть ли онъ значение въ Россия?"
- Какъ вамъ сказать? отвъчалъ я: конечно, статскій совътникъ выше и почета больше.
 - "Ну, а касательно содержанія?"
- Жизнь въ Петербургъ мнъ совсъмъ незнакома, и я ничего не могу вамъ сообщить положительнаго объ этомъ дълъ.

Потомъ, разсказавъ мнъ нъсколько о своей хирургической дъятельности въ Грейфсвальдъ, Мандтъ раскланялся и ушелъ.

Не прошло и года съ тъхъ поръ, какъ я неожиданно для меня встръчаю Мандта за объдомъ у аптекаря Штрауха (брата доктора Штрауха). Мандтъ познакомилъ меня съ своею красивою женою, бывъ уже объявленъ лейбъ-медикомъ ея высочества великой княгини Елены Павловны, и за объдомъ, сидя возлъ меня, имълъ безстыдство сказать во всеуслышаніе, что врачи въ Россіи гоняются за чинами; о своей записной книжечкъ онъ уже забылъ, о нашемъ знакомствъ въ Dorotheen Strasse — ни слова.

— "Представьте, — разглагольствоваль онь за объдомъ: — я сегодня прітівжаю въ доктору Арендту, спрашиваю у швейцара, дома ли докторъ, а онъ мнт въ отвъть: "генерала нт дома". Ха, ха, ха, генерала!"

Скоро послѣ того о подвигахъ Мандта увналъ Петербургъ. Еще не разъ придется говорить и объ этой, впрочемъ, недюжинной личности.

Н. Ф. Арендтъ былъ человъкъ другого разбора. Образованіе Арендта было весьма недалекое. Онъ, кромѣ медикохирургической академіи еще Павловскихъ временъ, не посъщалъ никакого другого высшаго научно-медицинскаго учрежденія; почтительный, но, какъ нѣмецъ (собственно, финляндецъ), нелюбимый вздорнымъ баронетомъ Виллье, молодой Арендтъ прокладывалъ самъ себѣ дорогу на военно-медицинскомъ поприщѣ, во времена Наполеоновскихъ войнъ въ Россіи, 1812—1814 гг. Въ молодости и среднихъ лѣтахъ онъ былъ предпріимчивымъ и смѣлымъ хирургомъ; но искусство его, не основанное на

прочномъ анатомическомъ базисъ, не выдерживало борьбы съ временемъ.

Стремленія ненаучнаго свойства еще задолго до старости взяли верхъ, и во время моего пребыванія въ Петербургѣ Н. Ф. Арендта уже никакъ нельзя было назвать научнымъ дъятелемъ. Это былъ очень занятый практикъ, дъйствовавшій на-легу и любимый за доброту души. Что касается до меня, то я, ни тогда, ни послъ, ни разу не слыхалъ отъ Н. Ф. Арендта научно-дъльнаго совъта при постели больного.

По всему видно было, что Арендтъ не получилъ серъёзнаго научнаго образованія, и мысль всегда оставалась на поверхности. Иной разъ, видя его д'яйствія при постели больныхъ и выслушавъ н'ясколько его мн'яній, невольно приходило въ голову, что Арендтъ есть представитель врачебнаго легкомыслія.

Когда я быль ему представлень въ первый разъ въ Обуковской больницъ, то онъ пользовался еще довъріемъ государя накъ лейбъ-медивъ.

Извъстно было, что этого довърія Арендтъ достигъ вровопусканіемъ, но недостаточно быль хитеръ и пронырливъ, чтобы удержать до конца нравственную власть въ своихъ рукахъ. Мандтъ показалъ всъмъ лейбъ-медикамъ, какъ они должны поступать, чтобы имъть прочное и мощное вліяніе на коронованныхъ паціентовъ и ихъ царедворцевъ...

Въ Петербургъ, какъ и въ Ригъ, госпитальные врачи, при первомъ же нашемъ знакомствъ, изъявили желаніе выслушать у меня курсъ хирургической анатоміи. Наука эта, у насъ и въ Германіи, была еще такъ нова, что многіе изъ врачей не знали даже ея названія.

— Что это такое, хирургическая анатомія?—спрашиваеть одинъ старый профессоръ медико-хирургической академіи своего коллегу:—никогда-съ не слыхалъ-съ, не знаю-съ.

Но въ русскомъ царствъ нельзя, бывало, прочесть и курса анатоміи при госпиталь, не доведя объ этомъ до свъденія главы государства, и Н. Ф. Арендтъ взялся испросить разрышенія государя.

Оно было дано съ тъмъ, чтобы употреблять для демонстраціи трупы только тъхъ больныхъ, въ воторымъ при жизни не

являлись никакіе родственники дъ больницу. Это, конечно, разумълось само собою.

Лекціи мои продолжались недёль шесть.

Слушателями были, кромѣ врачей Обуховской больницы, самъ Н. Ф. Арендть, не пропускавшій, къ моему удивленію, буквально ни одной лекціи, профессоръ медико-хирургической академіи Саломонъ, многіе практики-врачи. Обстановка была самая жалкая.

Покойницкая Обуховской больницы состояла изъ одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освъщение состояло изъ нъсколькихъ сальныхъ свъчъ. Слушателей набиралось всегда болъе двадцати. Я днемъ изготовлялъ препараты, обыкновенно на нъсколькихъ трупахъ, демонстрировалъ на нихъ положение частей какой-либо области и тутъ же дълалъ на другомъ трупъ всъ операции, производящияся на этой области, съ соблюдениемъ требуемыхъ хирургическою анатомиею правилъ. Этотъ наглядный способъ особливо заинтересовалъ слушателей; онъ для всъхъ нихъ былъ новъ, хотя почти всъ слушали курсы и въ заграничныхъ университетахъ.

Изъ чистокровныхъ русскихъ врачей никто не являлся на мой курсъ. И я читаль по-нѣмецки. Да въ то время въ с.-петербургскихъ больницахъ между ординаторами рѣдво встрѣчался русскій: всѣ были или петербургскіе, или остзейскіе нѣмцы. Да и откуда было взяться русскимъ? Русскіе студенты медико-хирургической академіи того времени (единственнаго, какъ и теперь, высшаго учебно-медицинскаго учрежденія) были почти всѣ казенно-коштные, бѣдняки и поновичи; окончивъ курсъ, они поступали тотчасъ на службу, въ полки, уѣздные города, и т. п. Въ Петербургѣ же оставались только сыновья петербургскихъ обывателей, а изъ петербургскихъ обывателей только нѣмцы посылали сыновей своихъ учиться въ академію, и это были дѣти докторовъ, чиновниковъ, учителей, ремесленниковъ, вообще изъ болѣе культурныхъ классовъ.

И между правтиками-врачами въ С.-Петербургъ того времени нельзя было насчитать болъе дюжины извъстныхъ русскихъ именъ, включая сюда и имена нъкоторыхъ профессоровъпрактиковъ медико-хирургической академіи.

Время мое все уходило на посъщение госпиталей и при-

готовленія въ лекціямъ. Не мало операцій въ госпиталяхъ Обуховскомъ и Маріи Магдалины было сдёлано мною въ это время, и я, — какъ это всегда случается съ молодыми хирургами, — былъ слишкомъ ревностнымъ операторомъ, чтобы отказываться отъ сомнительныхъ и безнадежныхъ случаевъ. Меня, какъ и всякаго молодого оператора, занималъ не столько самъ случай, то-есть самъ больной, сколько актъ операціи, — актъ, несомнѣнно, дѣятельнаго и энергичнаго пособія, но взятый слишкомъ отдѣльно отъ слъдствій.

Мнъ казалось въ то время несправедливымъ и вреднымъ для научнаго прогресса судить о достоинствъ и значеніи операціи и хирурговъ по числу счастливыхъ, благополучныхъ исходовъ и счастливыхъ результатовъ.

Что дълать, когда сужденіямъ молодыхъ людей суждено быть иными и отличными отъ сужденій эрълаго возраста и стариковъ!

Несмотря на усиленную дѣятельность съ ранняго утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь; мнѣ жилось привольно въ своемъ элементѣ. Цѣлое утро въ госпиталяхъ—операціи и перевязки оперированныхъ, потомъ въ покойницкой Обуховской больницы—изготовленіе препаратовъ для вечернихъ лекцій.

Лишь только темнёло (въ Петербурге зимою между 3—4 час.), бёгу въ трактиръ на углу Сённой и ёмъ пироги съ подливкой. Вечеромъ, въ 7—опять въ покойницкую и тамъ до 9-ти; отгуда позовуть куда-нибудь на чай, и тамъ до 12-ти.
—Такъ изо дня въ день.

Однажды вто-то изъ довторовъ (кажется, Задлеръ) пригласилъ меня посътить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. И госпиталь, и, въ особенности, завъдывавшій имъ главный докторъ представились миъ чъмъ-то фантастичесвимъ, изъ "Тысячи и одной ночи".

Старое зданіе госпиталя показалось миѣ цѣлымъ городомъ; туть были и огромныя каменныя постройки, и деревянные дома, и домики, занимавшіе цѣлыя улицы, и все это было переполнено больными, фельдшерами, служителями; по корридорамъ каменныхъ зданій и изъ одного дома въ другой шмыгалъ безпрестанно этотъ многочисленный персоналъ, носилъ, приносилъ, переносилъ, шумѣлъ, бранился. Но главный curiosum быль самъ главный довторъ. Откуда у насъ вывопали такое допотопное, — нѣтъ, не допотопное, а просто невозможное животное, какимъ представлялся мнѣ докторъ Флоріо, — едва-ли кто рѣшитъ путемъ историескаго дознанія.

Мит извъстно было только, что Флоріо, родомъ итальянецъ, принятъ на русскую службу, въроятно, еще въ 1812 — 1813 гг. любимецъ баронета Виллье, дъйствительный статскій совътникъ и кавалеръ.

Постороннія лица, входившія во время докторскаго визита въ одну чизь огромных в палать сухопутнаго госпиталя, нерёдко могли быть свидётелями слёдующей сцены.

Между рядами коекъ съ больными идетъ задомъ напередъ фельдшеръ, немного останавливается предъ каждою койкою и скороговоркою, на-распъвъ, рапортуетъ названіе болъзни и лекарство, въ такомъ родъ, напримъръ:

Pleuritis—Tartarus emeticus gr. jjj, infus... Unc. sex; febris cattarrhalis—Sles ammoniaci drach. unam, decocti altheæ unc. sex, и т. п.

Обращенный лицомъ къ лицу фельдшера (идущему, какъ сказано, задомъ напередъ), идетъ главный докторъ; онъ держитъ въ рукъ палку; на палкъ надъта его форменная фуражка; докторъ вертитъ палкою, съ которою вертится и фуражка, ногою притопываетъ въ тактъ и припъваетъ громкимъ голосомъ съ итальянскимъ акцентомъ: "Съю, въю, Катерина! Съю, въю, Катерина!"

При каждой встръчъ съ ординаторами и съ посторонними, докторъ пускается въ разсказы разныхъ сальностей на ломаномъ русскомъ языкъ, съ постояннымъ повтореніемъ кръпкаго русскаго словца.

Къ намъ, новымъ посътителямъ, докторъ Флоріо былъ, по своему, очень любезенъ и безпрестанно старался выказать свои научныя знанія. "C'est une fièvre, une inflammation de la membrane gastrointestinale". Это "inflammation de la membrane gastrointestinale", долженствовавшее свидътельствовать о принадлежности доктора Флоріо къ бруссэистамъ, повторялось на каждомъ шагу, и на каждомъ шагу слышалась ординація: "venaesectio... ad libram unam, десять піявниъ".

Проходить мимо старивъ-ординаторъ, въ мундирѣ и безт носа.

— "Остановитесь! — кричить Флоріо: — воть, рекомендую вамъ, господа, — обращается онъ къ намъ: — статскій совътникъ Сим.....; думаеть еще жениться и увъренъ, что въ первую ночи исполнить свои обязанности; но это онъ, увъряю васъ, напрасно такъ думаеть. А! кстати, воть и другой, какъ видите, молодой, красивый человъкъ, господинъ К....; этоть ничего лучшаго не знаетъ, какъ проводить все время въ Большой Мъщанской съ прекраснымъ поломъ".

И все это скороговоркою на ломаномъ русскомъ языкѣ. Приходитъ въ женское отдѣленіе Флоріо, подходитъ прямо къ одной женщинѣ, солдаткѣ.

— "Что, еще не выздоровела? а?"—и затемъ, обращаясь къ палатному дежурному (унтеръ-офицеру):— "а зачёмъ ты съ нею ночью не спишь, а?... Сейчасъ выздороветь!"

Ничего подобнаго я, върно, не увижу никогда и видълъ только разъ въ жизни; поэтому и считаю необходимымъ со-хранить воспоминание о такомъ чудъ-юдъ въ моемъ дневникъ.

Петербургскій влимать и мои занятія не преминули-тави повліять на мой организмъ. И я опять занемогъ, но, слава Богу, другою, не рижскою, бол'єзнью и не надолго. Это была нав'єрное сврытая перемежающаяся лихорадка, продержавшая меня дня четыре въ постели.

И. Т. Спасскій, навъщавшій меня съ другими врачами во время бользни, извъстиль меня отъ министерства, что чрезъ недълю назначено мнъ чтеніе пробной лекціи въ академіи наувъ; я долженъ быль самъ выбрать тэму. Я выбраль ринопластику; купиль у парикмахера старый болванъ изъ раріег шасhé, отръзаль у него нось, обтянуль лобъ кускомъ старой резиновой галоши и отправился съ этимъ сокровищемъ въ академическую залу, чтобы демонстрировать ринопластику по индъйскому способу, модифицированному Диффенбахомъ.

Искусственный нось быль выкроень мною изь резины на лбу и пришить lege artis. Я цитироваль мои случаи въ Ригѣ и Дерптѣ, и ссылался на Диффенбаха.

Впечатленіе, произведенное моею лекцією на молодыхъ и

старыхъ посътителей, было, повидимому, различное. Молодые всъ отзывались съ большимъ сочувствіемъ и похвалою; нъвоторые же изъ старыхъ отнеслись, какъ мит казалось, недовърчиво въ сообщеннымъ мною фактамъ.

Рътенія изъ Дерита о выборъ меня въ совъть все еще не было. Я началь терять теритніе и написаль къ Мойеру. Мойеръ долго не отвъчаль, а потомъ съ обычною своею флегмою объявиль миъ, что "Gutes Ding will Weile haben", и извъщаль, что скоро самъ пріъдеть въ Петербургъ. Онъ, дъйствительно, вскоръ пріъхаль, но этимъ дъло не ускорилось.

Уваровымъ Мойеръ остался очень недоволенъ, и, странно, почему-то ему болъе пришелся по сердцу Ширинскій-Ших-матовъ, тогдашній директоръ департамента министерства народнаго просвъщенія.

Впослъдствіи я слышалъ, что и государь Николай Павловичъ былъ очень доволенъ направленіемъ Ширинска го-Шихматова и за это сдълалъ его министромъ.

И Мойеръ сказалъ мнъ однажды въ Петербургъ, что Уваровъ "ist ein Katzen-Schvanz, mann kann sich nicht auf ihn verlassen" (льстецъ, на него нельзя положиться); а про Ширинскаго сказалъ: "das ist ein positiver Mann, er ist reel" (это человъкъ положительный, человъкъ дъла).

Прошло еще два мѣсяца, и я началъ уже бомбардировать Мойера письмами, объявивъ ему, наконецъ, что рѣшаюсь принять канедру въ Харьковъ, предложенную мнѣ черезъ Арендта попечителемъ, гр. Головкинымъ.

Около этого времени (это было на масляницѣ) разыгралась въ Петербургѣ извѣстная катастрофа съ балаганомъ Лемана; я побѣжалъ въ Обуховскую больницу, куда свезли до 150 обгорѣлыхъ, большею частію, уже труповъ. Изъ нихъ сдѣлали выставку въ покойницкой и на дворѣ госпиталя, для родственниковъ погибшихъ. Привезенные въ больницу живыми были въстрашномъ видѣ. Ни прежде, ни послѣ мнѣ не приходилось видѣтъ у живыхъ еще людей ожоги, достигшіе такой степени разрушенія. Нѣкоторые, съ совершенно обуглившеюся отъ огна головою, жили еще по цѣлымъ недѣлямъ. У нѣкоторыхъ вся голова до самой шеи представляла громадный кусовъ угля; отъ

него можно было отнимать цёлые пласты обугленных тканей, и странно было слышать голосъ и произносимыя слова, выходившія изъ куска угля.

Между тімь до меня доходили слухи, что выборь меня въ совітті быль бурею въ стакані воды.

Противъ меня возстали преимущественно теологи. Говорили, что деритскіе богословы открыли какой-то законъ перваго основателя деритскаго университета, Густава-Адольфа шведскаго, по которому одни только протестанты могли быть профессорами университета.

Существовалъ ли такой законъ, или нътъ, Богъ его знаетъ; но при Николаъ Павловичъ на него нельзя было ссылаться. Это понимали, въроятно, не хуже другихъ и дерптскіе богословы.

Тъмъ не менъе, однако-же, яблоко раздора было кинуто, и совътские споры длились до конца февраля 1836 г. Наконецъ, въ мартъ я получилъ извъстие о моемъ избрании въ экстраординарные профессоры.

Матушку и сестеръ я не ръшался перевезти изъ Москвы въ Дерптъ. Такой переходъ—мнъ казалось—былъ бы для нихъ впослъдствіи непріятенъ. И языкъ, и нравы, и вся обстановка были слишкомъ отличны, а мать и сестры слишкомъ стары, а главное, слишкомъ москвички, чтобы привыкнуть и освоиться.

Святую 1836 г. я уже встречаль въ Дерите. Незадолго до моего прибытія прибыль туда и вновь назначенный изъ Петербурга попечитель, гвардейскій генераль-маіорь Крафтитремь. Я предсталь предъ этого сына Марса и быль имъ очень любезно принять. Онъ приветствоваль меня, какъ перваго русскаго, избраннаго университетомь въ профессоры чисто научнаго предмета. До сихъ поръ русскіе профессоры въ Дерите избираемы были только для одного русскаго языка, и то за неименны немцевь, знакомыхъ хорошо съ русскою литературою.

На этомъ указаніи, что я первый изъ русскихъ и что этотъ первый прим'єръ совпадаеть съ попечительствомъ его, Крафтштрема, все это и было предметомъ нашего разговора

въ теченіе добрыхъ получаса. Не надо было болье получаса, чтобы узнать, какого духа новый дерптскій попечитель...

Фронтовивъ до мозга костей, Крафтштремъ, вообще канъ попечитель, оказался не худымъ человъкомъ; могъ бы быть гораздо хуже, поступивъ съ съдла на попечительство.

Онъ былъ поэтому и предметомъ постоянныхъ насмѣшекъ, въ видѣ юмористическихъ анекдотовъ, изобрѣтавшихся на его счетъ студентами и отчасти и профессорами. Міровоззрѣніе Крафтштрема было, дѣйствительно, невозможное. Наука въ его воззрѣніи была трехъ сортовъ: полезная до извѣстной степени, вредная,—если не унять, то пожалуй и очень вредная,—и годная, и даже необходимая, для препровожденія времени и для забавы людей со средствами.

Воть вакъ однажды Крафтштремъ отнесся, съ-глазу-наглазъ, объ астрономіи. Это было по дорогѣ изъ Дерпта въ Петербургъ; Крафтштремъ ѣхалъ вмѣстѣ съ профессоромъ русскаго языка Росбергомъ, къ которому имѣлъ особое довѣріе
въ то время. Лунная, прекрасная ночь; Росбергъ смотритъ на
луну, припоминаетъ видѣнное имъ чрезъ рефракторъ въ дерптской обсерваторіи и начинаетъ объяснять Крафтштрему видѣнныя имъ горы и пропасти на лунѣ.

Слушаль, слушаль его Крафтштремь, да потомъ и говорить:

- Послушайте, любезный другъ: неужели вы върите всъмъ этимъ бреднямъ?
- "Какъ!—восклицаетъ удивленный Росбергъ:—да въдъ это все неоспоримые факты, дознанные наукою!"
- -- Полноте, пожалуйста, усповоиваеть Крафтштремъ, какіе тамъ факты, когда никто еще не бывалъ на небъ, и никто поэтому ничего и знать не можетъ.

Росбергъ, видя, что съ научной стороны Крафтштрема не проймешь, началъ съ другого бока.

- "Да вавъ же это, ваше превосходительство: стать бы самъ государь тавъ заботиться о постройвъ пулковской обсерваторіи и отпускать тавія громадныя суммы, еслибы онъ не былъ увъренъ, что астрономы дъйствительно сдълали чрезвычайно важныя открытія?"
 - Э, любезнъйшій!— замътиль на это Крафтштремъ: развъ

вы не знаете, что у государей, какъ и у насъ всъхъ, есть свои забавы? У насъ—небольшія, по средствамъ, а у царей, конечно, не по нашему, дорогія. Почему же и нашему царю не потышить себя громадною, дорого стоющею обсерваторією?

Обстановка моя въ Деритъ продолжалась недолго и обошлась мнъ депіево. Рублей 200 за квартиру въ 4 комнаты въ годъ и по 10—12 рублей въ мъсяцъ за столъ. Можно было за столъ платить и дороже, и я это дълалъ, но за увеличенную плату увеличивалось только количество отпускаемой пищи, а не качество. Для прислуги явилась ко мнъ опять моя добрая латышка Лена, прослужившая мнъ цълыхъ пять лътъ.

Воть я, наконедъ, профессоръ хирургіи и теоретической, и оперативной, и клинической. Одинъ, нёть другого.

Это значило, что я одинъ долженъ былъ: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мъръ, $2^{1/2}$ —3 часа въ день; 2) читать полный курсъ теоретической хирургіи 1 часъ въ день; 3) оперативную хирургію и упражненія на трупахъ—1 часъ въ день; 4) офтальмологію и глазную клинику—1 часъ въ день; итого—6 часовъ въ день.

Но шести часовъ почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо болъе времени, и приходилось 8 часовъ въ день. Положивъ столько же часовъ на отдыхъ, оставалось еще отъ сутовъ 8 часовъ, и вотъ они-то, всъ эти 8 часовъ, и употреблялись на приготовленія къ лекціямъ, на эксперименты надъ животными, на анатомическія изслъдованія для задуманной мною монографіи и, наконецъ, на небольшую хирургическую практику въ городъ.

Въ теченіе пяти лѣтъ моей профессуры въ Дерптѣ я издалъ:

- 1) Хирургическую анатомію артеріальныхъ стволовъ и фасцій (на латинскомъ и нѣмецкомъ).
 - 2) Два тома клиническихъ анналовъ (на нѣмецкомъ).
- 3) Монографію о перерѣзаніи ахиллесова сухожилія (на нѣмецкомъ).

И сверхъ этого — цълый рядъ опытовъ надъ живыми животными, произведенныхъ мною и подъ моимъ руководствомъ; до-

ставиль матеріаль для нескольких диссертацій, изданных во время моей профессуры, а именно:

- 1) О скручиваніи артерій.
- 2) О рапахъ кишекъ.
- О пересаживаніи животныхъ тканей въ серозныя полости.
 - 4) О вхожденім воздуха въ венозную систему.
 - 5) Объ ушибахъ и ранахъ головы.

Диссертаціи на последнія две тэмы при мне не были еще окончены.

Справедливость требуеть замѣтить, что все сказанное совершено не въ 5 лѣть собственно, а въ 4 года, потому что я цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ оставался (въ 1837—1838 гг.) въ Парижѣ и потомъ въ Москвѣ, и цѣлыхъ 3 мѣсяца проболтался, такъ что не могъ ничѣмъ серьёзно заняться.

Итакъ, неоспоримо, существують доказательства моей научной дѣятельности съ самаго же начала вступленія моего на учебно-практическое поприще.

Но другое дѣло—вопросъ: быль ди я тогда дѣйствительно тѣмъ, кѣмъ вазался, или, вѣрнѣе, кѣмъ долженъ былъ быть, то-есть, былъ ли я настоящимъ, дѣйствительнымъ — не кажущимся—профессоромъ хирургіи?

У насъ, въ Россіи, кандидатами на канедру бываютъ только два сорта ученыхъ: во-первыхъ, заслуженные профессоры, тоесть, большею частію, старые или очень пожилые люди; вовторыхъ, молодые люди, только-что окончившіе курсъ наукъ. Людей, подготовлявшихся довольно продолжительное время къзанатію канедръ, у насъ или вовсе нътъ, или они такъ ръдки, что почти никогда не являются конкуррентами на занатіе канедръ.

О первомъ сортѣ кандидатовъ на каеедры нечего распространяться; изъ 10-ти случаевъ въ 9-ти заслуженный профессоръ, остающійся на новое 5-тилѣтіе, дѣлаетъ это вовсе не изъ любви и не изъ привязанности къ наукѣ, а для полученія увеличеннаго вдвое оклада. Другой же сорть кандидатовъ, къ которому принадлежалъ и я грѣшный, при вступленіи моемъ на каеедру хирургіи въ Дерптѣ, по истинѣ не соотвѣтствуетъ, да и не можетъ соотвѣтствовать, своему призванію.

Отвуда могла взяться та опытность, воторая необходима для влиническаго учителя хирургіи? Правда, я за 4 года до вступленія на канедру перешель за хирургическій Рубиконь, сділавь мои дві первыя операціи въ клиникі Мойера: вылущеніе руки и перевязку бедряной артеріи (въ одно и то же время). Но ловко сділанная хирургическая операція еще не даеть права на званіе опытнаго клинициста, которымь должень быть каждый профессорь хирургіи. Мало того, что молодой человікь, какъ бы онь даровить ни быль, не можеть иміть достаточныхь знаній, ему еще трудніве пріобрісти добросовістную опытность.

Молодость, и именно даровитая, еще болье, чъмъ посредственная, заносчива, самолюбива, а еще чаще—тщеславна.

Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутаціи,—и это естественно и даже по-хвально,—но она заботится не такъ, какъ следуетъ: не хлопочетъ пріобрести имя и почетъ внутренними своими, настоящими достоинствами, а только внешнимъ образомъ, лишь бы хвалили и удивлялись, а за что — это не главное.

Воть этоть зудь похвалы и тщеславія и портить все въ молокости.

Служеніе наукъ, вообще всякой—не иное что, какъ служеніе истинъ.

Но въ наукахъ прикладныхъ служить истинъ не такъ легко. Тутъ доступъ къ правдъ затрудненъ (для насъ) не одними только научными препятствіями, то-есть такими, которыя могуть быть и удалены съ помощью науки. Нътъ, въ прикладной наукъ, сверхъ этихъ препятствій, человъческія страсти, предразсудки и слабости съ разныхъ сторонъ вліяють на доступъ къ истинъ и дълають ее неръдко и вовсе недоступною.

Бороться за истину съ предразсудками, страстями и слабостями людей невовможно. Можно только лавировать; но не менте трудно бороться и съ собственными страстями и слабостями, если мы въ юности, съ самаго детства, не развили въ себт способности владеть собою, а владеть собою иначе нельзя, какъ чревъ познание самого себя.

Итакъ, для учителя такой прикладной науки, какъ медицина, имъющей дъло прямо со всъми аттрибутами человъче-

свой натуры (какъ своего собственнаго, такъ и другого, чужого я), для учителя—говорю—такой науки необходима, кром'в научныхъ свъденій и опытности, еще добросовъстность, пріобрътаемая только труднымъ искусствомъ самосознанія, самообладанія и знанія человъческой натуры.

Дѣло ли это молодости? "Chirurgus debet esse adolescens" (хирургомъ долженъ быть взрослый), по словамъ Цельза.

Конечно, старость, притупляющая чувства, дълаеть хирурга неспособнымъ.

И ничто не препятствуеть молодымъ людямъ быть хирургами, но не учителями хирургіи. Это не одно и то же, и напрасно думать, что всявій ловкій и искусный хирургъ можеть быть и хорошимъ наставникомъ хирургіи.

> Есть время для любви; Для мудрости—другое.

Какъ самовдъ, я не могъ не видъть и не чувствовать, вакъ много мнѣ недостаетъ знанія, опытности и самообладанія, чтобы быть настоящимъ наставникомъ хирургіи. Я не быль такъ недобросовъстливъ, чтобы не понимать, какую громадную отвътственность предъ обществомъ и предъ самимъ собою (Бога и Христа у меня тогда не было) принимаетъ на себя тотъ, кто, получивъ, съ дипломомъ врача, нъкоторое право на жизнъ и смерть другого, получаетъ еще и обязанность передавать это право другимъ.

Но молодость легко устраняеть нравственныя затрудненія и мирить противорічія въ себі.

Я сознавалъ свои недостатки, но не могъ ихъ сознавать такъ, какъ теперь, когда я пережилъ ихъ и всё ихъ слёдствія.

Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, какъ трудно рѣшить, что было въ томъ или другомъ случав главнымъ мотивомъ моихъ дѣйствій: суетность или истинное желаніе помочь и облегчить страданіе.

Ахъ, какъ это трудно рѣшить для человѣка, преданнаго своему искусству всею душою, когда вся цѣль этого искусства состоить въ леченіи и облегченіи людскихъ страданій!

Какъ ни мало въроятенъ успъхъ операцін, какъ ни опасно для жизни ея производство, если оно васъ интересуетъ, какъ искусство, вы уже не можете совершенно безпристрастно взвъсить шансы и опредълить, что въроятнъе въ данномъ случаъ: успъхъ или гибель.

И чёмъ моложе, чёмъ ревностиве двятель, чёмъ болве приверженъ онъ къ своему искусству, тёмъ легче онъ упускаеть изъ виду цёль искусства и тёмъ болве расположенъ двиствовать искусствомъ для одного искусства.

Да, да, "ne nocerim veritus" (да не поврежу сознательно) Галлера, запрещавшее ему—опытнъйшему анатому и физіологу—дълать операціи на живыхъ людяхъ,—это есть выраженіе во-очію нравственнаго чувства.

Каждый хирургъ долженъ бы былъ со своимъ "ne nocerim veritus" приступать къ операціи.

Но это значило бы подчинить интересъ науки и искусства всецало высшему нравственному чувству.

Да, такъ должно бы быть; но тутъ являются другія соображенія, дѣлающія невозможнымъ рѣшеніе вопроса: какъ поступить въ сомнительномъ случаѣ; а такихъ случаевъ не десятки, а сотни.

Старивашка Рюль быль правъ, когда онъ требовалъ отъ госпитальныхъ хирурговъ, чтобы они не иначе предпринимали операціи, какъ съ согласія больныхъ. Онъ раздосадовалъ меня однажды, явившись въ Обуховскую больницу въ тотъ самый моментъ, когда я приступалъ къ операціи аневризмы, и спросиль больного, желаетъ ли онъ операціи.

- Неть, отвечаль онъ.
- "Въ такомъ случав, ръшилъ Рюль,—нельзя оперировать противъ желанія".

Всв мы, молодые врачи, смвались надъ пуританствомъ Рюля, называли его козодоемъ, caprimulgus europensis, на котораго онъ былъ двиствительно похожъ, hosentrompetr'омъ; говорили также про него, что онъ пріобрвлъ себв почеть въ петербургскомъ медицинскомъ мірв только твмъ, что умвлъловко ставить промывательныя; — все это говорилось и болталось только потому, что отжившій старикъ осмвливается вмвшиваться въ двла науки и искусства и вредить научнымъ интересамъ.

— Такъ, — говорили, — дойдеть, пожалуй, до того, что у больныхъ въ госпиталяхъ надо будетъ испрашивать согласія на кровопусканіе, ставленіе банокъ и мушекъ.

Но всё понимали, однако-же, что нивто бы изъ насъ не захотёль, чтобы его безъ спроса подвергли какой-либо опасной процедурё, хотя бы и съ цёлью спасти жизнь. А съ другой стороны, разв'є кто-нибудь быль бы въ претензіи за то, что спасли ему жизнь безъ его спроса, подвергнувъ его опасной процедурё?

Я предвижу, что больной непремънно, не нынче—завтра, изойдеть отъ кровотеченія изъ аневризмы, подвергаю его, не спрося его согласія, операціи—и спасаю.

Такъ я и разсуждалъ, приступая къ операціи, отмѣненной Рюлемъ за то, что не спросилъ сначала согласія больного.

Кто правъ, кто виновать?

Въ такихъ случанхъ только голосъ собственной совъсти можетъ ръшить вопросъ для каждаго, и, конечно, для каждаго ръшить по своему.

Рюль быль несомивно правь, ибо двиствоваль несомивно по глубокому убъждению въ томъ, что никто—больше самого больного,—не имветь права на его здоровье.

Я, можеть быть, быль также правь. Можеть быть, — говорю, — потому что не знаю теперь, быль ли я тогда убъждень въ неминуемой опасности для больного потерять жизнь оть кровотеченія, и притомъ быль ли я убъждень, что опасность для жизни больного оть кровотеченія изъ аневризмы превышаеть опасность оть операціи.

Да, собственная совъсть—другого средства нътъ — должна ръшать для истинно-честнаго хирурга вопросъ объ операціи, когда опасность, съ нею соединенная, для жизни кажется ему столько же значительною, какъ и опасность отъ болъзни, противъ которой направлена операція. Но хирургъ въ этомъ случать не всегда можеть полагаться и на собственную совъсть.

Научныя, не имѣющія ничего общаго съ нравственностью, занятія, пристрастіе и любовь къ своему искусству—дѣйствуютъ и на совѣсть, склоняя ее, такъ сказать, на свою сторону. И совѣсть, въ такомъ случаѣ, рѣшая вопрось о степени опасности, становится на сторону научнаго предубѣжденія. Совѣсть играетъ тутъ роль судьи или присяжнаго, основывающаго свое сужденіе на мнѣніи эксперта, а экспертъ тутъ— научныя свѣденія того же самаго лица, совѣсть котораго призвана

быть судьею. Туть предубъжденію дорога открыта съ разныхъ сторонъ.

Съ одной стороны, предубъждение легко проникнетъ въ запасъ свъдений; съ другой стороны, чрезъ это и самая совъсть легко предубъждается.

Современная наука нашла, какъ будто, болье надежное средство противъ предубъжденій въ практической медицинъ,— это медицинская статистика, основанная на цифръ. И совъсти хирурга какъ будто сдълалось легче ръшать безъ предубъжденій.

Воть бользиь; отъ нея умирають, по статистикъ, $60^{\circ}/\circ$; воть операція, уничтожающая бользиь; отъ нея умирають только $50^{\circ}/\circ$.

Совъсти не трудно, значить, ръшить по совъсти, что опаснъе: болъзнь, предоставленная самой себъ, или операція. Но воть загвоздка.

Во-первыхъ, эта статистика не есть еще нвито вполнъ опредъленное и не подлежащее ни сомнънію, ни колебанію; а во-вторыхъ, почемъ же я буду знать, что въ данномъ случаъ мой больной принадлежить именно къ числу 60 умирающихъ изъ 100, а не къ числу 40, остающихся въ живыхъ? И кто мнъ сказалъ, что въ случаъ операціи мой больной будеть относиться къ числу 50°/о выздоравливающихъ, а не къ 50 умирающихъ?

Въ концъ концовъ, не трудно убъдиться, что и эта, повидимому такая върная, цифра только тогда будетъ имъть важное практическое значеніе, когда ей на помощь явится индивидуализированіе—новая, еще не початая отрасль знанія.

Когда изученіе человіческих особей настолько подвинется впередъ, что каждую особь можно, по надежнымъ признакамъ, отнести къ той или другой різко обозначенной категоріи, а свойства каждой категоріи противостоять внішнимъ и органическимъ (внутреннимъ) вліяніямъ будуть извістны, — тогда и статистика съ ея цифровыми данными получить иное значеніе.

Могъ ли же я, молодой, малоопытный человыкь, быть настоящимъ наставникомъ хирургіи?!

Конечно, нътъ, -- и я чувствовалъ это.

Но, разъ поставленный судьбою на это поприще, что я могь сдёлать? Отвазаться? Да для этого я былъ слишкомъ молодъ, слишвомъ самолюбивъ и слишкомъ самонадъянъ.

Я избраль другое средство, чтобы приблизиться, сволько можно, въ тому идеалу, который я составиль себъ объ обязанностяхь профессора хирургіи.

Въ бытность мою за границей я достаточно убъдился, что научная истина далеко не есть главная цъль знаменитыхъ клиницистовъ и хирурговъ.

Я уб'йдился достаточно, что нер'йдко принимались м'йры въ знаменитыхъ клиническихъ заведеніяхъ не для открытія, а для затемнійнія научной истины.

Было вездъ замътно стараніе продать товаръ лицомъ. И это бы еще вичего. Но съ тъмъ вмъстъ товаръ худой и недоброкачественный продавался за хорошій, и кому? — Молодежь — неопытной, незнакомой съ дъломъ, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видъвъ все это, я положилъ себъ за правило, при первомъ моемъ вступленіи на кафедру, ничего не скрывать отъ моихъ учениковъ, и если не сейчасъ же, то потомъ и немедля открывать предъ ними сдъланную мною ошибку, —будетъ ли она въ діагнозъ, или въ леченіи болъзни.

Въ этомъ духѣ я и написалъ мои клиническіе анналы, съ изданіемъ которыхъ я нарочно спѣшилъ, чтобы не дать повода моимъ ученика мъ упрекать меня въ намъреніи выиграть время для скрытія правды.

Описавъ въ подробности всё мои промахи и опибки, сдёланные при постели больныхъ, я не щадилъ себя, и, конечно, не предполагалъ, что найдутся охотники воспользоваться моимъ положеніемъ, и въ критическомъ разборё выставить снова на видъ выставленные уже мною грёхи мои. Охотники, однакоже, нашлись. Мой хорошій петербургскій пріятель, д-ръ Задлеръ, написаль огромную критическую статью въ одномъ нёмецкомъ журналё.

Въ этой большой стать в нашлось для меня одно полезное замъчаніе,—это русская пословица, приведенная Задлеромъ въ концъ его критики:

"Терпи, казакъ, -- атаманомъ будешь".

Старикъ Хеліусъ въ 1862 году напомниль мив объ этой

пословицъ, переведенной Задлеромъ для нъмцевъ такъ: Geduld, Kosak, wirst Ataman werden.

Черезъ годъ, вскоръ послъ выхода первыхъ выпусковъ моей "Хирургической анатоміи", я былъ уже избранъ въ ординарные профессоры.

Для изданія этого труда миѣ нужны были: издатель-книгопродавецъ, художникъ-рисовальщикъ съ натуры и хорошій литографъ.

Не легко было тотчасъ же найти въ Дерптъ трехъ такихъ липъ.

Къ счастю, какъ нарочно къ тому времени, явился въ Дерптъ весьма предпріимчивый (даже слишкомъ, и послъ обанкротившійся) книгопродавецъ Клуге. Ему—конечно, безденежно — я передаль все право изданія, съ тъмъ лишь, чтобы рисунки были именно такими, какіе я желаль имъть. Художникъ-рисовальщикъ — этотъ рисовальщикъ былъ тотъ же г. Шлатеръ, котораго нъкогда я отыскалъ случайно для рисунковъ моей диссертаціи на золотую медаль. Это былъ не геній, но трудолюбивый, добросовъстный рисовальщикъ съ натуры. Онъ же, самоучкою, работая безъ устали и съ самоотверженіемъ, сдълался и очень порядочнымъ литографомъ. А для того времени это была не шутка. Тогда литографовъ и въ Петербургъ былъ только одинъ, и то незавидный. Первые опыты литографскаго искусства Шлатера и были рисунки моей "Хирургической анатоміи". Они удались вполнъ.

Съ попечителемъ Крафтштремомъ, вначалѣ ко мнѣ весьма благоволившимъ, я не долго жилъ въ ладу, впрочемъ не по моей винѣ.

То было время дуэлей въ Дерптв. Періодическія дуэли то усиливались (и едва-ли не тогда, когда ихъ преследовали), то уменьшались.

Крафтштрему и ректору дуэли, разумъется, были не по сердцу, особливо случившіяся вскоръ одна послъ другой: одна мнимая, другая—дъйствительная.

Русскій студенть, сорви-голова, Хитрово безнадежно вляпался въ одну прівзжую замужнюю женщину. Желая всеми силами обратить на себя вниманіе этой дамы, Хитрово придумаль такую штуку: увидѣвь предметь своей любви на одномъ концертѣ, онъ бросился стремглавъ къ ректору съ донесеніемъ, что убилъ одного студента на дуэли въ лѣсу, и предаетъ себя произвольно въ руки правосудія.

Ректоръ отправилъ Хитрово въ карцеръ, а самъ съ фонарями, педелями и полиціей отправился въ лёсъ отыскивать трупъ убитаго.

Проискали цълую ночь, и ничего не нашли.

На другой же день оказалось, что вся эта исторія—выдумка взбалмошнаго влюбленнаго.

Другая же, дъйствительная, даже надълала много хлопотъ Крафтштрему.

Нашли, дъйствительно, убитаго студента въ лъсу и, несомнънно, убитаго на пистолетной дуэли. Разысвивали не мало, но все оставалось шитымъ и крытымъ.

Въ это самое время вхалъ чрезъ Дерптъ за границу государь Николай Павловичъ. Можно себв представить, какъ струсилъ Крафтштремъ! Онъ явился съ докладомъ государю на почтовую станцію; государь не выходилъ изъ кареты и когда Крафтштремъ донесъ ему о случившемся, то государь прямо объявилъ ему:

- "Ну, что же; такъ разгони факультеть".

Воть теб'я разъ! Что туть под'ялаеть? Разгони факультеть! да какой, —ихъ ц'ялыхъ четыре, — и какъ его разгонить?

Воть въ это-то тревожное время и случилась еще одна дуэль на студенческихъ геберахъ.

Рана была грудная и опасная. Меня позвали на третій день, когда уже развилось сильное воспаленіе плевры. Я дня два посвіщаль раненаго, вскор'в затімъ отдавшаго Богу душу.

Меня призывають къ Крафтштрему.

- "Вы лечили раненаго на дуэли?" спрашиваеть онъ мена.
- "Вы знали, что онъ былъ раненъ на дуэли?"
- Я могь бы вамъ отвътить, что не зналъ, тавъ кавъ нивто мнъ не докажеть, что я зналъ; но я не хочу вамъ лгать, и потому говорю: зналъ.
- "А когда знали, то почему не донесли по закону? Вы будете отвъчать"...

— "Назначается судъ, не университетскій, не домашній, а уголовный. Затъмъ, прощайте",—прибавиль онъ.

Судъ, дъйствительно, начался, и меня притянули въ нему. На судъ я сказалъ то же самое, что миъ нивто не докажеть, что я зналъ о дуэли, но я сознаюсь, что зналъ; а не донесъ потому, что, во-первыхъ, твердо былъ увъренъ въ существовани доноса о дуэли и помимо меня; а во-вторыхъ, считалъ для раненаго вреднымъ судебное дознаніе, неизбъжное, еслибы я донесъ при жизни больного, находившагося въ опасности; по смерти же я, дъйствительно, доносилъ по начальству о привлючившейся отъ грудной раны смерти, вслъдствіе воспаленія въ плевръ.

Итакъ, эта дуэль разстроила меня съ Крафтштремомъ. Я пересталъ посъщать его. Встръчаясь на улицъ, мы не кланялись другъ другу. Я получилъ черезъ совъть выговоръ отъ министра.

Натянутыя мои отношенія къ попечителю продолжались нъсколько мъсяцевъ.

Появленіе на свёть 1-й части моихъ клиническихъ анналовъ доставило мнѣ, почти въ одно и то же время, пріятность и выгоду. Пріятны, чрезвычайно пріятны были для меня привѣть и дружеское пожатіе руки профессора Энгельгардта.

Энгельгардтъ (профессоръ минералогіи), цензоръ и ревностный піэтисть, неожиданно является ко мив, вынимаеть изъкармана одинъ листь моихъ анналовъ, читаеть вслухъ, взволнованнымъ голосомъ и со слезами на глазахъ, мое откровенное признаніе въ грубъйшей ошибкъ діагноза, въ одномъ случать причинившей смерть больному; а за признаніемъ слъдовалъ упрекъ своему тщеславію и самомнънію. Прочитавъ, Энгельгардтъ жметъ мою руку, обнимаеть меня и, разстроганный донельзя, уходитъ.

Этой сцены я никогда не забуду; она была слишкомъ отрадна для меня.

Выгода, доставленная мит анналами, получена съ другой, почти противоположной, стороны.

Въ то время, когда я писалъ свои анналы, въ Дерптъ былъ

распространенъ сифилисъ въ значительныхъ размѣрахъ между студентами и бюргерскою молодежью.

Полицейскихъ санитарныхъ мёръ не существовало. Я, въ статъй о сифилисй, настаивалъ на безотлагательномъ введеніи этихъ мёръ, говоря, что если предохранить слабыхъ дётей отъ паденія, то надо, по крайней мёрй, сдёлать паденіе это какъ можно менёе вреднымъ.

Пошли толки, и я услышаль, что Крафтштремь читаль эту статью нъвоторымь изъ вліятельныхь городскихъ людей, причемь хвалиль меня за правду и нелицемъріе.

Это случилось, именно, въ то время, когда я намъревался воспользоваться университетскою суммою, назначенною для ученыхъ экспедицій,—повхать въ Парижъ для осмотра госпиталей. Это дъло должно было идти черезъ попечителя. Я и отправился въ нему, обнадеженный слухами о расположеніи его ко мнъ.

Пріемъ былъ, дъйствительно, очень радушный; Крафтштремъ объщалъ мнъ полное содъйствіе въ министерствъ.

Въ январъ 1837 г. я и отправился въ Парижъ, получивъпособіе отъ университета на путевыя издержки.

Тринадцать дней и ночей я вхаль, не отдыхая ни разу, изъ Дерита до Парижа на Полангенъ, Франкфуртъ-на-Майнъ, Саарбрюкенъ и Мецъ. И несмотря на 13 ночей, проведенныхъ въ экипажъ, я, по прівздъ въ Парижъ, тотчасъ же отправился осматривать горолъ.

Парижъ не сдълалъ на меня особенно благопріятнаго впечатлънія въ хирургическомъ отношеніи. Госпитали смотръли угрюмо; смертность въ госпиталяхъ была значительная.

Самое пріятное впечатлівніе произвель на меня изъ всіхъ парижскихъ хирурговъ Вельпо. Можеть быть, нравился онъ мні и потому, что на первыхъ же порахъ сильно пощекоталь мое авторское самолюбіе. Когда я пришель къ нему въ первый разъ, то засталь его читающимъ два первые выпуска моей "Хирургической анатоміи артерій и фасцій". Когда я ему рекомендовался глухо:— Je suis un médecin russe (я русскій врачь), —то онъ тотчась же спросиль меня, не знакомъ ли я съ le professeur de Dorpat, m-r Pirogoff, и когда я ему объявиль, что

я самъ и есть Пироговъ, то Вельно принялся расхваливать мое направленіе въ хирургіи, мои изследованія фасцій, рисунки, и т. д., и тогда же познакомилъ меня съ англійскимъ спеціалистомъ въ науке о фасціяхъ и, по мненю Вельно, весьма компетентнымъ въ этомъ деле. Это быль невто Томсонъ, участвовавшій въ заговорахъ чарлистовъ и бежавшій изъ Англіи въ Парижъ.

Дъйствительно, весьма дъльный анатомъ, онъ называлъ себя, по своей спеціальности, "fascia Tom", но чудавъ преоригинальный пій. Всю жизнь свою въ Парижъ онъ посвятилъ двумъ спеціальностямъ: изслъдованію фасцій, съ изготовленіемъ превосходныхъ препаратовъ, и преслъдованію профессоровъ. Для этой послъдней цъли онъ предпринялъ публикованіе разныхъ брошюръ, выходившихъ почти ежедневно въ свътъ съ литографскаго станка. Брошюры были составляемы самимъ Томсономъ и нъкоторыми весельчаками-студентами и разносились ими же самими но знакомымъ.

Мнъ онъ надаваль ихъ цълую груду, одну забористве другой: "L'art d'engraisser les professeurs" (искусство отвармливать профессоровъ), "Soi pour soi et chacun pour soi" (всъ для себя и каждый тоже), etc. etc. Въ каждой изъ нихъ было собраніе свандаловъ, случившихся съ профессорами. Тутъ фигурировали особенно Бретгардтъ, анатомъ Бреше, молодой Шассеньякъ, получившій однажды пощечину отъ Томсона и судившійся съ нимъ въ police correctionnelle.

Послѣ Вельно, нѣсколько молодыхъ хирурговъ (учениковъ Дюпюитрэна) могли считаться настоящими представителями современной хирургіи: Бландэнъ—Hôtel Dieu; Жоберь—Hôpital St. Louis; Robert. Спеціалисты по литотрипсіи—Амюсса, Сивіаль и Леруа d'Etoile—составляли истинную славу тогдашней французской хирургіи (Heutereloup фигурировалъ въ то время въ Лондонѣ). Амюсса пригласилъ меня на свои домашнія хирургическія бесѣды. Онѣ были весьма интересны, но на французскій ладъ, какъ всѣ курсы въ Парижѣ: привлекательны, но фразисты и нерѣдко пустопорожни.

Услыхавъ на этихъ бесъдахъ, куда приглашались Амюсса всъ пріъзжавшіе въ Парижъ иностранные врачи (между прочими Астл. Куперъ, Диффенбахъ), что Амюсса все еще поддерживаеть свое ложное мевніе о совершенно прамомъ направленіи мочевого канала (у мужчинъ), я заявиль ему о результать моего изследованія направленія мочевого канала на замороженныхъ трупахъ, совершенно противоречащихъ мевнію его; и когда онъ голословно отвергъ результаты моихъ изследованій, то я предложиль ему состазаніе на следующей лекціи, для которой я взялся и изготовить препараты, которые должны доказать справедливость моего уб'ежденія. Я и притащиль на следующую лекцію разр'езы таза, которыми я доказываль ему нел'єпость его воззр'еній на отношеніе мочевого канала къ предстательной железъ.

Конечно, Амюсса, несмотря на всю наглядность моихъдоказательствъ, не соглашался. Люди, а особливо ученые в еще особливъе тщеславные французы, съ предвзятымъ миъніемъ, никогда не сознаются въ ошибкахъ и заблужденіяхъ. Но для меня довольно было и того, что я видълъ, какъ новъ былъдля Амюсса мой способъ изслъдованія. Я доволенъ былъ еще и тъмъ, что остальная часть присутствовавшихъ на этомъ состязаніи молодыхъ врачей не была на сторонъ его.

Не отрадное впечатлъніе произвели на меня и двъ другія хирургическія знаменитости—Ру и Лисфранкъ.

Лисфранкъ, какъ профессоръ, былъ, въ полномъ смыслъ, французскій нахалъ и благёръ-крикунъ, рослый, плечистый, одаренный голосомъ такимъ, который можно слышать за версту. Лисфранкъ тъмъ только и привлекалъ на свои клиническія лекціи, что кричалъ во все горло, въ самыхъ грубыхъ выраженіяхъ, противъ всёхъ сеоихъ товарищей по ремеслу.

— "Сев per-г-roquets de la médecine" (обезьяны медицины), — раздавалось безпрестанно въ его аудиторіи, когда онъговорилъ не о себъ, а о другихъ. — "Се brigand du bord de l'eau" (береговой разбойникъ), — это было прозваніе, данное имъ нъкогда Дюпюнтрэну. — "Се chirurgien menuisier" — это былъ Ру; Velpeau назывался на языкъ Лисфранка "vil-peau" (подлая шкура) и т. п.

Несмотря на все это, Лисфранкъ былъ, дъйствительно, замъчательный хирургъ и клиницисть своего времени, хотя и скрывавшій зачастую свои промахи и ошибки.

Что касается до Ру, —данное ему Лисфранкомъ прозвище

"столяра" было, надо сознаться, весьма мътко. Огромная, полувъковая опытность не сообщала знаменитому оператору никакого строго-научнаго авторитета.

Гораздо выше стояла въ то время научная дъятельность французскихъ діагностовъ и клиницистовъ по внутреннимъ болъзнямъ: Андраль, Луи, Шомель, Рустэнъ, Крювелье и даже увлекавшійся до крайности Бульо — были истинными представителями научной медицины того времени.

Всѣ privatissima, взятыя мною у парижскихъ спеціалистовъ, не стоили выъденнаго яйца, и я понапрасну только потерялъ мои луидоры.

Лица, дававшія privatissima, большею частію agrégés (адъюнкть-профессоры), не имѣли нивавого права на доставленіе своимъ слушателямъ разныхъ демонстративныхъ пособій—труповъ, препаратовъ, клиническихъ случаевъ, и всё лекціи ихъ заключались въ одномъ говореньи или нелѣпыхъ упражненіяхъ на какомъ-нибудь импровизированномъ фантомѣ, какъ, напримѣръ, у литотритэра Labut, на сухомъ бычачьемъ пузырѣ, со вложеннымъ въ него кускомъ мѣла; а одинъ изъ этихъ господъ (m-г Beaux) ухитрился читать мнѣ свое privatissimum о стэтоскопіи у себя на квартирѣ, предъ пылающимъ каминомъ. Я не докончилъ слушанія ни одного privatissimum и не имѣлъ терпѣнія выдержать болѣе половины назначеннаго числа лекцій.

Мои занятія въ Парижѣ состояли исключительно въ посѣщеніи госпиталей, анатомическаго театра и бойни для вивисекцій надъ больными животными (лощадьми).

Это былъ единственный privatissimum Амюсса съ демонстраціями на живыхъ животныхъ. Но самъ Амюсса рѣдко являлся на живодерню. И вотъ, чтобы воспользоваться рѣдкимъ у насъ случаемъ вивисекцій на больныхъ животныхъ, я и нѣсколько молодыхъ американскихъ врачей устроили между собою маленькое общество, съ тѣмъ, чтобы производить вивисекціи въ живодернѣ на общій счетъ.

Тутъ я имътъ случай, въ первый разъ въ жизни, присмотръться къ разнымъ, для насъ невъдомымъ и чуждымъ, свойствамъ американцевъ.

Ъдемъ мы, напримъръ, вмъсть на живодерню, мимо какой-

нибудь мясной лавки. "Стой!" — кричать извозчику американцы, и выскакивають смотрёть на сегодняшнюю таксу на мясо, начинають торговаться, спорить съ мясникомъ. Пріёхали мы на бойню, начинается спорь изъ-за таксы съ извозчикомъ, и миѣ никакъ не позволялось уплатить что-нибудь лишнее, лишь бы отдёлаться поскорёе отъ извозчика.

А воть однажды, такъ и со мной заводить исторію одинь американець изъ-за кроваваго пятна, которое я нечаянно сділаль на рукаві его байковаго пиджака. Едва я могь укротить взбішеннаго моєю неосторожностью янки, клянясь ему, что не иміль ни малійшаго намібренія его оскорбить или причинить ему изъянь, и готовь тотчась же вознаградить его за причиненный ему убытокь, —такъ называю я кровавое пятно на рукавів поношеннаго темно-бураго байковаго пиджака.

Кром'в Парижа, я д'влалъ н'всколько разъ экскурсін изъ Дерита въ Москву (три раза), Ригу и Ревель.

Побывавъ въ Москвъ, я имълъ случай сравнить мое дерптское житье-бытье съ житьемъ въ Москвъ старыхъ товарищей.

Разумъется, всего болье интересовала меня жизнь моего прежняго товарища по хирургіи, Иноземцева, тыть больс, что ему суждено было занять назначенное для меня мъсто. Оказалось, что Иноземцевъ пошель въ гору по практикъ и дъзался однимъ изъ первыхъ врачей-практиковъ Бълокаменной. Разсказывали потомъ, что онъ учредилъ у себя на Ипкитской (гдъ онъ жилъ) товарищество изъ молодыхъ врачей, раздълявшихъ съ нимъ практику въ городъ; а по случаю этого товарищества сказывали, какъ относилась къ нему публика гостинаго двора и Охотнаго ряда. Одинъ гостинодворецъ, повъствовали мнъ, — страдавшій весьма упорною язвою на ногъ, обратился въ клинику профессора Овера, который и отнесся съ вопросомъ къ больному, гдъ онъ до сихъ поръ и какъ лечился, на что и получилъ весьма характерный отвъть:

— "Да были у меня разъ нъсколько молодцовъ съ Никитской, а потомъ и хозяинъ самъ былъ".

Иноземцевъ не быль научно-раціональный врачъ, въ современномъ значеніи, хотя онъ и толковаль постоянно о раціонализмѣ, мыслящихъ врачахъ, и т. п.

Но Иноземцевъ отъ природы былъ корошій практикъ, имълъ тактъ, сноровку и смъкалку. Иноземцевъ былъ терапевтическій діагностъ; я послъ когда-нибудь скажу, что подъ этимъ названіемъ разумъю я.

Особливо одинъ, дъйствительно, замъчательный случай возвысилъ Иноземцева въ медицинскомъ практическомъ міръ. Это было всъмъ извъстное лицо, прошедшее черезъ руки всъхъ петербургскихъ и большей части московскихъ врачей. Больной страдалъ кровавою рвотою, съ болями подъ ложечкою и слабостью.

Профессоръ Бушъ и другіе врачи въ Петербургі считали болівнь за ракъ желудка. Иноземцевъ узналь изъ тщательнаго анализа, что больной страдаль прежде болями и припухлюстью большого пальца ноги, приняль болівнь за arthritis, поставиль мушку на большой палецъ ноги, прежде болівшій, и хроническая рвота прекратилась; больной выздоровіль.

Второй случай, доказавшій способность Иноземцева находить правильныя показанія въ употребленію того или другого способа леченія, встретился у него въ клинике и описанъ быль въ невоторыхъ журналахъ.

Это былъ громадный модулярный саркомъ глаза, постепенно атрофировавшійся при употребленіи амигдалина (?) (внутрь) въ теченіе нісколькихъ міссяцевъ. Гипсовый слівнокъ съ этого больного я виділь при посіншеніи мною клиники Иноземцева.

Въ первое время своей профессуры въ Москвъ Иноземцевъ не былъ счастливъ. Спустя два года послъ занятія этой канедры, Иноземцевъ проъзжалъ за границу, черезъ Петербургъ, гдъ мы и встрътились; онъ до такой степени показался мнъ тогда жалкимъ и убитымъ, что я искренно пожалълъ о немъ, котя въ глубинъ души невольно думалось: "вотъ, ништо тебъ, это за то, что отбилъ мъсто и пошелъ не на свое!"

Право, мит казалось тогда, что Иноземцевъ былъ не въ своемъ умт, — до того странны были его разсказы о причиняемыхъ ему каверзахъ; оперированные у него умирали въ клиникт оттого, что ассистенты нарочно портили раны и отравляли больныхъ, и т. п. Потомъ вся эта мономанія прошла безслёдно, но онъ остался такимъ, какимъ и прежде былъ, — фанатикомъ разныхъ предположеній, и этотъ-то фанатизмъ онъ

и считаль медицинскимь раціонализмомь. Этоть фанатическій раціонализмь и заставиль Иноземцева быть періодическимъ приверженцемь различнъйшихъ способовь леченія. Одно время онь восторженно превозносиль lapis haemostriticus противь всёхъ возможныхъ вровотеченій; а другое время—amygdalin (?) дёлался панацеею противъ раковь; а во время холеры нашлись капли, извёстныя и до сихъ поръ подъ именемъ "Иноземцевскихъ", которыми онъ, по его мнънію, спасалъ всёхъ больныхъ отъ холеры, если только успъвалъ во-время захватить болъзнь.

Этими знаменитыми каплями снабдиль онъ и меня при нашемъ послъднемъ свидании въ Москвъ въ 1854 году.

Я заёхаль тогда въ Иноземцеву проёздомъ черезъ Москву въ Севастополь; обёдаль у него, послё обёда почувствоваль схватки въ животё, вслёдствіе чего и получиль на дорогу драгоцённую панацею съ наставленіемъ, какъ ее употреблять противъ холеры. Иноземцева съ тёхъ поръ я не видаль уже болёе ни разу, а бутылку съ его каплями привезъ нетронутою изъподъ стёнъ Севастополя.

Однажды, въ бытность мою въ Москвъ, товарищи посовътовали мнъ сдълать визитъ попечителю Строгонову, увъривъменя, что это будетъ ему очень пріятно. Я ръшился; но Строгоновъ принялъ меня, профессора другого университета, такъ, какъ будто онъ стоялъ предо мною на высотъ трона, — стоя, не пригласивъ състь, — за что я и самъ сталъ на дыбы, отвъчалъ отрывисто, прекратилъ разговоръ почти на серединъ, раскланялся и ушелъ.

Нашъ дерптскій Крафтштремъ, хотя и неотесанный фронтовикъ, не пріучилъ насъ къ такому пріему.

О моихъ ежегодныхъ экскурсіяхъ въ вакаціонное время въ Ригу и Ревель я долженъ упомянуть, что онъ оставили у меня много разнаго рода воспоминаній. Одинъ изъ моихъ пріятелей называлъ эти экспедиціи, по множеству проливавшейся въ нихъ крови, Чингисханскими нашествіями. Но оставшіяся у меня воспоминанія вовсе не кровавыя, — кровавыя поміщались въ хирургическихъ анналахъ. — а тихія и пріятныя.

Впрочемъ потядка въ Ригу могла бы сдълаться памятною на цълую жизнь; но тихою ли и пріятною, это одному Богу извъстно.

Дѣло въ томъ, что въ Ригѣ, въ 1837 году, я чуть было не сдѣлалъ предложенія одной дѣвушкѣ, вовсе еще не расположенный такъ рано жениться. Тотчасъ по пріѣздѣ въ Ригу, я познакомился съ семействомъ главнаго доктора военнаго госпиталя (родомъ серба). Семейство его состояло изъ жены доктора, очень умной и образованной нѣмки, и трехъ дочерей.

Однажды, подгулявь за объдомъ, данномъ мив рижскими врачами, мы съ главнымъ докторомъ отправились къ нему въ госпиталь; расположенный после шампанскаго къ болтовив, я вдругъ задаю моему спутнику вопросъ: какъ онъ думаетъ, хорошо ли я поступлю, сдълавъ предложение одной мив знакомой и ему извъстной барышиъ?

Конечно, онъ не могъ не зам'втить, о комъ шла р'вчь. Но отв'вчалъ весьма уклончиво, въ такомъ родѣ, что, молъ, такъ, чрезъ годъ, когда вы опять сюда прівдете, будеть удобн'ве.

Я прикусиль языкъ и тотчасъ же перемениль разговоръ. Съ той минуты не было и помину о предложении.

На другой годъ, проважая черезъ Ригу въ Парижъ, я сдвлалъ визитъ этому семейству, и отецъ, старый докторъ, замѣтно употреблялъ разные маневры, чтобы снова возбудить во мнв охоту сдвлать предложеніе. Но было поздно; я притворился, что ничего не замвчаю, отобъдалъ, распростился и увхалъ. Богъ знаетъ, кто изъ насъ двоихъ былъ глупъе: отецъ невъсты или я.

Мои л'єтнія экспедиціи въ Ревель продолжались и тогда, когда я пере'єхалъ изъ Дерпта въ Петербургъ. Я любилъ Ревель; въ немъ и посл'є Дерпта, и посл'є Петербурга я отдыхалъ и теломъ, и душою.

Я цёлыхъ 30 лёть, не пропусвая почти ни одного года, купался въ морё (прежде въ Балтійскомъ, потомъ въ Черномъ и, наконецъ, въ Средиземномъ), и чувствовалъ себя всегда укрёпленнымъ и поздоровёвшимъ послё купаній; только въ Сорренто, около Неаполя, морскія купанья подёйствовали на меня неладно и взволновали мой кишечный катарръ, можетъ быть, и оттого, что они были соединены съ непривычнымъ режимомъ (горячительнымъ виномъ, пищею на прованскомъ маслё. съ разными итальянскими приправами).

Но, кром'в купаній, Ревель оставиль во ми'в пріятныя воспоминанія на цізую жизнь тімь, что я проводиль въ немъ время и какъ женихъ съ нев'єстою, при первой моей женитьб'є, и съ молодою женою и дітьми, послів моего второго брака.

Въ Ревелъ жило семейство моего хорошаго пріятеля по университету, д-ра Эренбуша. Мы проводили пріятно время вмъсть въ его загородномъ домъ (въ Екатериненталъ); въ Ревелъ знакомился я ежегодно съ интересными личностями, прівъзжавшими изъ Петербурга.

Такъ, однажды, я познакомился въ Ревелъ съ графиней Растопчиною (поэтомъ), и у нея же узналъ князя Вяземскаго и Толстого.

Это быль весьма замѣчательный годь наплывомъ разныхъ знаменитостей изъ Петербурга, между прочими одного богача-откупщика, страшно безобразнаго, съ какимъ-то жирнымъ, лоснящимся, отвратительнымъ лицомъ, и г-на III....., директора или инспектора одного изъ военныхъ учебныхъ заведеній и любимца Ростовцева, также пріѣзжавшаго въ тотъ годъ въ Ревель.

Растопчина весьма изумила меня своею привычкою жевать бумагу. Передъ нею на столъ ставилась всегда коробка съ длинными полосками тонкой почтовой бумаги, и графиня, никъмъ и ничъмъ не стъсняясь, постоянно несла одну бумажку въ ротъ вслъдъ за другою. Мы разговорились за столомъ объ этой оригинальной страсти жевать бумагу, и каждый сталъ предлагать средства противъ этой страсти.

— Я вамъ скажу самое върное, — замътилъ Толстой: — попросите откупщика NN, чтобы онъ вашею бумагою вытеръ себълицо, и я увъренъ, что тотчасъ же отвыкнете жевать ее.

III...... съ откупщикомъ не ладили; послѣ объяснилась причина: и III....., и откупщикъ были очень уродливы. И тотъ, и другой, взятые вмѣстѣ, составили бы одного порядочнаго Квазимоду.

Уроженецъ Кавказа, III..... усвоилъ себъ тамъ нъжное обращение съ мальчивами, и потому не любилъ женскаго пола. Откупщикъ, напротивъ, какъ телецъ упитанный, живущій себъ въ сласть, постоянно болталъ о женскомъ полъ и позволялъ себъ всякаго рода сальности. Ему не могло не казаться стран-

нымъ это отвращение отъ женщинъ, и онъ върно догадывадс: о причинъ. Съ другой стороны, и III..... была не по нутру догадливость откупщика.

Могь ли я, находясь ежедневно въ обществъ этихъ двухъ господъ и проводя съ III...... цълые часы въ прогулкахъ, подозръвать, что этотъ умный, талантливый и весьма образованный уродъ чрезъ нъсколько мъсяцевъ будеть уличенъ въ самомъ безиравственномъ уголовномъ преступлении!

Любимецт Ростовцева, любимецт вел. вн. Михаила Павловича, III..... вт одно преврасное утро попался еп flagrant délit и былт уличент своими питомцами вт половых сношеніяхт ст ними, систематически имт организованныхт. Итакт, родители будущихт сыновт Марса узнали вт одно преврасное утро, что архипедагогт учебных заведеній, фаворитт великихт міра сего, посвящалт, вт теченіе многихт літь, цілыя поколітнія своихт питомцевт вт мистеріи греческой любви.

И какъ обворожителенъ, остроуменъ, любезенъ онъ былъ въ обществъ – только не дамъ; о чемъ вамъ угодно, о всъхъ возвышенныхъ предметахъ говорилъ умно, отчетливо и горячо этотъ замъчательный рахитикъ. У III....., кромъ искривленія волънъ, и голова, и позвоночный столоъ носили на сеоъ явные слъды англійской бользни.

Дѣло III....., надѣлавшее столь много шума, вскорѣ заглохло...

При Ниволав Павловичв не любили долго распространаться о скандалахъ съ участіемъ лицъ отъ правительства. Я долго послв этой исторіи вспоминалъ загадочныя циническія усмёшки и подмигиванія откупщика при взглядв на ІІІ....., такъ злившія его въ Ревелъ.

Федоръ Моллеръ (сынъ бывшаго морского министра), сначала военный (адъютантъ Паскевича), потомъ художникъ (живописецъ), замъчателенъ былъ для меня тъмъ, что правая рука, владъвшая такъ прекрасно кистью, была поражена давно костянымъ наростомъ (osteide), занявшимъ все запястье и всю пясть этой руки. Сверхъ этого, Моллеръ, впрочемъ крѣпкій на видъ, здоровый и красивый мужчина, пріёхавъ изъ Италіи на сѣверъ, схватилъ сильную невральгію сѣдалищнаго нерва (ischias); я помогъ ему холодными душами, послѣ того какъ онъ перепробовалъ безъ пользы множество другихъ средствъ.

При этомъ-то случав я познакомился и съ сестрою Моллера, Эмиліею Амосовною Глазенанъ. Въ этотъ годъ скончался старикъ Моллеръ, министръ,— и Эмилія Амосовна, очень
любившая отца, внала въ нервно-истерическое состояніе, заставлявшее ее поминутно, безъ всякой видимой причины, плакать; сверхъ этого, это была особа отъ роду необыкновенно
внечатлительная и притомъ увлекающаяся до-нельзя и разсвянная. Примъры ея увлеченій и разсвянности встрвчались
на каждомъ шагу. То вдругъ, при самомъ обыкновенномъ разговоръ, она вскакивала и всирикивала: нътъ, "нътъ, с'еят ітрояsible, с'еят plus qu'impossible!", то восхищалась также неожиданно вакимъ-нибудь выраженіемъ.

Э. А. Глазенапъ страстно любила музыку, сама играла и пъла; но въ пъніе она вкладывала, увлекаясь, столько чувства, что искусство ея казалось для посторонняго человъка чъмъ-то напускнымъ, неестественнымъ, пересоленнымъ.

Такъ во всемъ. Брать ея мив разсказываль, что Эмилія Амосовна однажды, на большомъ домашнемъ концертв, стоя за стуломъ піаниста, до того увлеклась гармонією, что, забывшись, начала пальцами водить по головв артиста, потомъ зацвилась чвмъ-то за длинные его волосы и, къ ужасу всвхъ присутствующихъ, обнажила его плешивую голову. Приподнятый съ головы парикъ виселъ на крючке платья Эмиліи Амосовны.

Прибывъ вмёстё съ больнымъ еще братомъ въ Ревель, Эмилія Амосовна хотёла полечить и себя отъ несносной истерической тоски; мужъ, капитанъ-лейтенантъ Богданъ Александровичъ Глазенапъ, былъ гдё-то при флотё за-границею. Я ей посовётовалъ морскія купанья и какъ можно более движенія на чистомъ воздухё. А между пріёзжими я считался знатокомъ по части ревельскихъ прогулокъ, и действительно, я исходилъ пёшкомъ всё ближнія окрестности и зналъ всё хотя

сколько-нибудь живописныя мѣста. Такимъ образомъ мы и составляли ежедневно trio (Е. А. Глазенапъ, Федоръ Моллеръ и я) для прогулокъ за городомъ. Къ намъ присоединялся иногда и докторъ Н. Ф. Здека у еръ.

Прогудки приносили очевидную пользу: истерическіе припадки и грустное настроеніе духа прошли; а между тёмъ ревельскіе и петербургскіе сплетники и сплетницы подсмѣивались
надъ нашими прогулками, называя ихъ, въ насмѣшку, "ботаническими экскурсіями доктора Пирогова и м-те Глазенапъ".
Это глупое хихиканье дошло и до двора. Въ то время провъжала чрезъ Ревель одна изъ княгинь; встрѣтивъ Богдана
Александровича на пароходъ, она обратилась съ усмѣшкою къ
нему и спрашивала: слышалъ ли онъ, что его жена занимается
ботаническими экскурсіями съ докторомъ Пироговымъ? Хорошо,
что Богданъ Александровичъ зналъ отлично правы и обычаи
жены, и потому, нисколько не сконфузясь, отвѣчалъ какою-то
шуткою.

Семейство Глазенапъ (мужъ и жена) оставались долго нашими добрыми пріятелями все время, пока мы жили въ Петербургѣ; потомъ пространство раздѣлило насъ. Архангельскъ (гдѣ Глазенапъ былъ губернаторомъ) и Одесса или Кіевъ (гдѣ я былъ попечителемъ, потомъ Германія, гдѣ я жилъ четыре года), Николаевъ, гдѣ Глазенапъ былъ военнымъ губернаторомъ; наконецъ, подольская губернія (мое имѣніе) и Петербургъ, гдѣ Глазенапъ и теперь еще (октябрь 1881 г.) служитъ, — это все такая даль, такія разстоянія, что давно уже, лѣть 15, мы не видались.

Въ Ревелъ же, навонецъ, возобновилъ я старое знакомство съ моимъ товарищемъ по Берлину, и вмъстъ съ нимъ завелъ новое съ лицомъ не менъе интереснымъ, какъ и мой старый товарищъ, но крайне подозрительнымъ.

Какъ-то нечанно я встръчак въ морскихъ купальняхъ знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н. Ив. Крыловъ, профессоръ римскаго права въ московскомъ университетъ.

- Ба, ба, ба! ты зачёмъ здёсь очутился? спрашиваю я его.
- "Да, воть, проездомъ изъ Петербурга, хочу попробовать выкупаться въ море. Я чай, вода-то туть у васъ холодная,

прехолодная? А? (Эта частица "а" прибавлялась Крыловымъ къ каждому періоду).

- А, воть, рекомендую моего друга, главнаго врача при морскихъ купальняхъ и ваннахъ, доктора Эренбуша. Позна-комьтесь, господа: мой старый товарищъ—профессоръ Крыловъ.
 - "Очень рады".
- Ну что, Эренбушъ, сегодня вода въ моръ: спросилъ я, подмигнувъ Эренбушу, холодна?
- "O, нътъ! отвъчаеть Эренбушъ: очень пріятная, въ самую пору".

Мы раздёваемся и идемъ вупаться. Первый входить въ воду Крыловъ; но какъ только окунулся, такъ сейчасъ же благимъ матомъ назадъ; трясись, какъ осиновый листъ, посинъвъ, Крыловъ бъжить изъ воды, крича дрожащимъ голосомъ:

-- "Подлецы-нѣмцы!"

Мы хохотали до упаду при этой суеть. Это было такъ порусски, и именно по-московски: "нъмцы подлеци" — зачъмъ вода холодна! — нъмцы подлецы, жиды подлецы, всъ подлецы, потому что я глупъ, потому что я неостороженъ и легковъренъ.

Потеха продолжалась цёлый день потомъ.

Съ Крыловымъ нельзя было не смъяться. Онъ сталъ разсказывать намъ свое похожденіе съ генераломъ Дубельтомъ. Крыловъ былъ цензоромъ, и пришлось имъ въ этотъ годъ цензировать какой-то романъ, надълавшій много шума. Романъ былъ запрещенъ главнымъ управленіемъ цензуры, а Крыловъ вызванъ къ петербургскому шефу жандармовъ, Орлову. Вотъ объ этомъ-то дѣлѣ и надо было подсунуть представленіе. Крыловъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ, разумѣется, въ самомъ мрачномъ настроеніи духа и является прежде всего къ Дубельту, а затѣмъ, вмѣстѣ съ Дубельтомъ, отправляются въ Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.

- Проважая по Исаакіевской площади, мимо монумента Петра Великаго, Дубельть, закутанный въ шинель и прижавшись въ углу коляски, какъ будто про себя,—такъ разсказывалъ Крыловъ—говоритъ:
- "Воть бы кого надо было высёчь, это Петра Великаго, за его глупую выходку: Петербургь построить на болоть".

Крыловъ слушаеть и думаеть про себя: "понимаю, понимаю, любезный, не надуешь нашего брата, ничего не отвѣчу".

И еще не разъ пробоваль Дубельть по дорогѣ возобновить разговорь, но Крыловъ оставался нѣмъ, яко рыба. Пріѣзжають, наконецъ, къ Орлову. Пріемъ очень любезный.

Дубельть, повертвышесь нъсколько, оставляеть Крылова съ-глазу-на-глазъ съ Орловымъ.

- "Извините, г. Крыловъ, говорить шефъ жандармовъ, что мы васъ побезпокоили почти понапрасну. Садитесь, сдълайте одолжение, поговоримъ".
- А я,—повъствоваль намъ Крыловъ,—стою ни живъ, ни мертвъ, и думаю себъ, что тутъ дълатъ: не състь—нельзя, коли приглашаетъ; а сядь у шефа жандармовъ, такъ, пожалуй, еще и высъченъ будешь. Наконецъ, дълать нечего, Орловъ снова приглашаетъ и указываетъ на стоящее возлѣ него кресло. Вотъ я,—разсказывалъ Крыловъ, потихоньку и осторожно сажусь себъ на самый краешекъ кресла. Вся душа ушла въ пятви. Вотъ, вотъ, такъ и жду, что у меня подъ сидъньемъ подушка опустится и извъстно что... И Орловъ, върно, замътилъ, слегка улыбается и увъряетъ, что я могу бытъ совершенно спокоенъ, что въ цензурномъ промахъ виноватъ не я. Что ужъ онъ мнъ тамъ говорилъ, я отъ страха и трепета забылъ. Слава Богу, однако-же, дъло тъмъ и кончилось. Чортъ съ нимъ, съ цензорствомъ!—это не жизнъ, а адъ.

Въ этотъ же день познакомилъ насъ мой пріятель Эренбушъ и еще съ двумя личностями, оставшимися у меня въ памяти. Почему?

Одна изъ этихъ личностей, германскаго происхожденія, обязана горошинъ тъмъ, что я ее еще помню, хотя другіе, болье меня интересующіеся влассицизмомъ и царедворствомъ, вспоминають о профессоръ д-ръ Гриммъ по его, нъвогда весьма извъстной у насъ, учебно-придворной дъятельности. Гриммъ былъ учителемъ вел. вн. Константина Николаевича, а потомъ и наслъдника вел. вн. Николая Александровича; этотъ знатовъ древнихъ языковъ и біографъ покойной императрицы Александры Өеодоровны, глухой на одно ухо отъ роду (какъ онъ самъ полагалъ), прівхавъ съ государынею въ Ревель, обратился въ

довтору Эренбушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.

Но какъ же и Гриммъ, и всё мы были удивлены, когда, послё нёсколькихъ спринцовокъ теплою водою, изъ глухого отъ роду уха выскочила горошина! А съ появленіемъ горошины на свёть Гриммъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ онъ, еще неразумный ребенокъ, играя въ горохъ, засадилъ себе одну горошину въ ухо.

Другая личность, такъ же болье или менье патологическая, только въ другомъ родь, быль графъ Гуровскій, присланный въ Ревель изъ С.-Петербурга по распоряженію шефа жандармовь, чего мы, однако-же, тогда еще не знали. Гуровскій съ жадностью, можно сказать, приняль знакомство съ нами, и, частью на французскомъ, частью на ломаномъ русскомъ языкъ затянуль съ нами нескончаемую канитель о могуществъ Россіи. ея богатствахъ, открытыхъ соплеменникомъ Гуровскаго, Тенгоборскимъ, и т. п.

При этомъ онъ утверждалъ, что правительство наше не должно допускать слишвомъ интимнаго сближенія русской молодежи съ польсвою. Были случаи, впослёдствіи напомнившіе мнѣ это правило Гуровскаго.

Послѣ діарреи словъ, продолжавшейся нѣсколько часовъ сряду, мы разошлись, и первое, что мнѣ и Крылову пришло въ голову—что съ Гуровскимъ намъ надо быть осторожнымъ. Одно только насъ озадачило: какъ полякъ Гуровскій, замѣшанный въ революціонной пропагандѣ, могъ сдѣлаться нашимъ русскимъ пресмыкающимся?

Впослёдствіи это объяснилось: Гуровскій имѣлъ родственницу, чуть-ли не сестру, замужемъ за шталмейстеромъ Фридрихсомъ, очень приближенную въ государынъ императрицъ Александръ Өеодоровнъ и очень ею любимую.

Ревель, вийсто или подъ видомъ ссылки, послужилъ Гуровскому містомъ службы, да еще какой—основанной на обширной довіренности къ вірноподданническимъ чувствамъ и патріотизму служащаго. Гуровскій, по-свойски, по-польски, позволяль себі иногда зазнаваться.

Мнѣ, напримѣръ, и Крылову онъ прямо объявилъ, что писалъ уже о насъ, куда слѣдуетъ, въ Петербургъ и очень радъ былъ найти въ насъ людей вполнѣ благонадежныхъ.

"Вотъ шельма-то!" — думаю я: — "сдва только самъ съ висълицы сорвался, а береть уже на себя смълость быть судьею другихъ, ничъмъ не провинившихся предъ правительствомъ".

И что же? Къ моему удивленію, Гуровскій получиль предлинное посланіе оть одного изъ главныхъ рептилій, въ которомъ, сверхъ благодарности Гуровскому, заключались еще отеческія наставленія разнаго рода. Письмо это Гуровскій показываль, и не оставалось никакого сомнёнія у меня, что кривой, никогда не скидающій своихъ синихъ очковъ, польскій аристократъ-революціонеръ (впослёдствіи родственникъ, если не ошибаюсь, испанской королевской фамиліи) принадлежаль, по волё судебъ, къ классу пресмывающихся нашего обширнаго государства.

А графъ Гуровскій покончиль свое пребываніе въ Ревель тъмъ, что набраль разныхъ вещей въ лавкахъ, за поручительствомъ Эренбуша, и въ одно прекрасное утро безъ въсти исчезъ.

Потомъ, какъ слышно было, этотъ высокорожденный авантюристь и рептилія появился въ Испаніи.

Въ мою послъднюю экскурсію въ Ревель я вдругъ зане- могъ тогда непонятною еще для меня бользнью.

Однажды, сидя за объдомъ въ Екатериненталъ, я вдругъ почувствовалъ какую-то страшную, никогда небывалую, боль въ лъвой чревной области. Сначала это была скоръе какая-то неловкость при движеніи всего тъла, чъмъ боль; но потомъ непріятное чувство дълалось все сильнъе и сильнъе и превратилось въ нестерпимую боль, не позволявшую мнъ разогнуться; кое-какъ я всталъ изъ-за стола и, въ сопровожденіи Эренбуша, поъхалъ къ нему на квартиру; по дорогъ мы заъхали въ заведеніе ваннъ, поставили мнъ сухія банки и положили на больное мъсто горячіе компрессы.

На ввартиръ у Эренбуша я почувствовалъ тошноту, потомъ и рвоту; принялъ рицинное масло, положилъ теплую припарку, заснулъ и всталъ совершенно здоровый.

Но по прівздв въ Дершть боль по временамъ стала навъщать меня и не давала мив покоя твмъ, что я никогда не могъ быть увъренъ, что не почувствую внезапно боли и не буду принужденъ бъжать домой. Это мъшало моимъ занятіямъмъсяца два и болъе, пова я не слегъ отъ слабости.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что боль прошла и въ то же самое время повазался corpus delicti: чрезвычайно острый, величиною съ ячменное зерно, почечный камушекъ и, какъ показаль анализъ, чистый оксалать.

Образованіе его я приписаль тогда постоянному употребленію сввернъйшаго поддъльнаго французскаго вина. Воды эмбахской я не переносиль, колодезная разстроивала также мой желудовъ, къ пиву я никогда не могь привыкнуть, и поневолъ пиль прокислое, дешевое вино.

Не прошло и двухъ мъсяцевъ послъ моего выздоровленія, какъ началась другая напасть: это мой прежній кишечный катарръ, уже нъсколько льть оставившій меня въ покоъ.

Оттого ли, что я, опасаясь вина, началь опять пить воду, или же отъ патологической связи страданій двухъ органовъ—почекъ и кишечнаго канала,—только никогда еще разстройство желудка не обнаруживалось у меня съ такою силою и упорствомъ, какъ послѣ страданія почекъ... Я пересталь лечиться и держать діэту.

Научныя занятія мои продолжались по прежнему; имъ суждено было, однаво-же, принять другое направленіе и другіе разм'єры.

Отдаленною тому причиною быль случившійся въ с.-петербургской медико-хирургической академіи казусь, заставившій ее перевернуться верхь дномъ.

Положеніе этого единственнаго въ С.-Петербургѣ учебномедицинскаго высшаго учрежденія было весьма странное: оно состояло въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ; президентомъ его былъ главный военно-медицинскій инспекторъ, баронетъ Виллѣе, а назначеніе заключалось преимущественновъ приготовленіи военныхъ врачей. Вслѣдствіе этого назначенія, превидентъ академіи Виллье счелъ даже ненужнымъ учрежденіе женской и акушерской клиникъ.

— "Солдаты не берементить и не родять, — говорилъ

баронетъ, — и потому военнымъ врачамъ иётъ надобности учиться акушерству на практикъ".

Всв профессоры медико-хирургической академіи были изъ воспитанниковъ этой же академіи, что, конечно, не могло не способствовать развитію непотизма между профессорами, и, какъ это неръдко случается, непотивмъ дошелъ до такихъ размъровъ, что въ профессоры начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губерніи.

За исключеніемъ нѣсколькихъ немногихъ профессоровъ, пріобрѣвшихъ себѣ почетное имя въ русской наукѣ, остальная, большая часть, ни въ научномъ, ни въ нравственномъ отношеніяхъ, ничѣмъ не опережала золотую посредственность.

Въ послѣднее время, однако-же, небольшая нѣмецкая партія профессоровъ медико-хирургической академіи, поддерживаемая немногими русскими, причислила въ профессоры терапевтической клиники завѣдывавшаго морскимъ госпиталемъ, доктора Зейдлица, ученика деритскаго университета и бывшаго ассистента Мойера, сдѣлавшаго себя уже извѣстнымъ въ наукѣ весьма дѣльнымъ описаніемъ первой холеры въ Астрахани, монографіей о скорбутномъ воспаленіи оволосердечной сумки и пріобрѣвшаго себѣ извѣстность въ медицинской петербургской публикѣ своими глубокими практическими свѣденіями. (Зейдлицъ первый въ Россіи началъ примѣнять перкуссію и аускультацію въ госпитальной и частной практикѣ).

Но одна—а я полагаю: и двѣ, и три—ласточка еще не дѣлаетъ весны.

Научный и нравственный уровень петербургской медикохирургической академіи, въ концѣ 1830-хъ годовъ, былъ, очевидно, въ упадкѣ.

Надо было потрясающему событію произвести переполохъ для того, чтобы произошель потомъ повороть въ лучшему.

Кавой-то фармацевть изъ полявовь, провалившійся на экзамент и приписывавшій свою неудачу на экзамент притъсненію профессоровь, принявъ предварительно ядъ (а по другой версіи—напившись до пьяна), вбъжалъ съ ножемъ (перочиннымъ) въ рукахъ въ засъданіе конференціи и нанесъ рану въ животъ одному изъ профессоровъ.

Началось следствіе, судъ; приговоръ вышель такого рода:

собрать всёхъ студентовъ и профессоровъ медико-хирургической академіи и въ ихъ присутствіи прогнать виновнаго сквозьстрой, а академію, для исправленія нарушеннаго порядка, передать въ руки дежурнаго генерала Клейнмихеля.

Воть этотъ-то генералъ, по понятіямъ тогдашняго времени, всемогущій визирь, и вздумалъ передълать академію по своему.

Какъ ученикъ и бывшій сподвижникъ Аракчеева, — Клейнмих ель не любиль откладывать осуществленіе своихънамітреній въ долгій ящикъ, долго умствовать и совіщаться.

Несмотря на это, одна мысль въ преобразованіи академіи Клейнмихелемъ была весьма здравая. Онъ непремѣнно захотѣлъ внести новый и прежде неизвѣстный элементъ въ составъ профессоровъ академіи и замѣстить всѣ вакантныя и вновь открывающіяся канедры профессорами, получившими образованіе въ университетахъ.

Подсказалъ ли кто Клейнмихелю эту мысль, или она сама, какъ Минерва изъ головы Юпитера, вышла въ полномъ вооружени изъ головы могущественнаго визиря, — это осталось мийнеизвёстнымъ. Только въ скоромъ времени въ конференциовитело одного профессора, получившаго университетское образованіе, явилось цёлыхъ восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля.

Безъ него академія и до сихъ поръ, можеть быть, считала бы вреднымъ для себя доступъ чужаковъ въ составъ конференціи.

Но къ здравимъ понятіямъ такой начальнической головы учебнаго учрежденія, какъ Клейнмихеля, не могло не присоединиться и безсмысліе. Клейнмихель объявилъ, что въ самомъ цвётущемъ состояніи академія будеть находиться тогда, подъего начальствомъ, когда онъ сдёлаеть всёхъ студентовъ казенно-коштными; чтобы ни одного своекоштнаго не было въ академіи. Задавшись этою мыслью, Клейнмихель разослалъ по всёмъ семинаріямъ имперіи приглашеніе—высылать желающихъ вступить въ академію семинаристовъ, на казенный счеть, съ тёмъ, чтобы они подвергались при академіи пробному экзамену, а которые не выдержать его, то будутъ отсылаться, на счетъ же академіи, обратно.

Можно себъ представить, изъ какихъ элементовъ состоялъ этотъ матеріалъ для казенно-коштныхъ студентовъ. Все, что только было плохого въ семинаріяхъ, монахи и попы сбывали съ рукъ въ академію, благодаря казеннымъ прогонамъ и суточнымъ. Мало этого: когда начальство академіи, — какъ оно дрябло ни было, — наконецъ, убъдилось, что изъ наплыва семинарской дряни ничего не выйдеть, если ее хотя сколько-нибудь не подготовять къ принятію человъческаго образа, то ръшено было учредить въ академіи приготовительный классъ для обученія семинарскихъ новобранцевъ грамматикъ, ариометикъ и, если не ошибаюсь, даже и закону божію.

Для такого новаго попечителя академіи, какимъ быль сдёланъ Клейнмихель, конечно, нуженъ былъ и другой президентъ. Профессоръ Бушъ, бывшій вице-президентомъ, вышелъ въ отставку; на мъсто его, хотя и съ именемъ президента (которое носилъ Виллье), назначенъ былъ самимъ государемъ И.Б. Шле гель; а на каоедру хирургіи, сдълавшуюся свободною по выходъ въ отставку профессора Буша, Зейдлицъ пригласилъменя.

Я не согласился занять канедру хирургін безь хирургической клиники, которою зав'ядываль не Бушь, а профессорь Саломонъ. Но, отказываясь, я въ то же время предложиль новую комбинацію, съ помощью которой я могь бы им'ть соотв'ютствующую моимъ желаніямъ канедру въ академіи. Комбинацію эту я предложиль въ вид'в проекта самому Клейнмихелю.

Я указалъ въ моемъ проектв на необходимость учрежденія при академіи новой канедры: госпитальной хирургіи.

Молодые врачи, — говориль я въ моемъ проектѣ, — выходящіе изъ нашихъ учебныхъ учрежденій, почти совсѣмъ не имѣють практическаго медицинскаго образованія, такъ какъ наши клиники обязаны давать имъ только главныя основныя понятія о распознаваніи, ходѣ и леченіи болѣзней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и дѣлаясь самостоятельными при постели больныхъ, въ больницахъ, военныхъ лазаретахъ и частной практикѣ — приходятъ въ весьма затруднительное положеніе, не приносятъ ожидаемой отъ нихъ пользы и не достигаютъ цѣли своего назначенія. Имѣя въ виду устранить этотъ важный пробѣтъ въ нашихъ учебно-медицинскихъ

учрежденіяхъ, я и предлагалъ, сверхъ обывновенныхъ влиникъ, учредить еще госпитальныя.

Для казенно-коштныхъ воспитанниковъ, поступающихъ потомъ на военную службу, учреждение госпитальной клиники я считалъ уже совершенно необходимымъ.

Въ с.-петербургсвой медиво-хирургической академіи я видълъ возможность тотчасъ же приступить въ этому нововведенію, такъ какъ при академіи, почти въ одной и той же мъстности, находится 2-й военно-сухопутный госпиталь, и оба заведенія—и медико-хирургическая академія, и 2-й военно-сухопутный госпиталь—принадлежать одному и тому же военному въдомству. Весь госпиталь, съ его 2,000 кроватями, могъ бы. такимъ образомъ, обратиться въ госпитальныя клиники (терапевтическую, хирургическую, сифилитическую, сыпную, etc.).

Проекть, какъ меня извъстили, былъ принять Клейнми-

Между тъмъ наступали рождественскія вакаціи, и я ръшился воспользоваться ими и отправиться чрезъ Петербургъ въ Москву, навъстить матушку.

Прівхавъ въ Петербургъ, я первымъ деломъ отправился на поклонъ къ новому президенту академіи, Шлегелю.

Иванъ Богдановичъ Шлегель быль человъкъ нъмецкаго происхожденія, вступившій въ русскую военную службу во времена Наполеоновскихъ войнъ. Когда я быль въ Ригъ, то русскій военный госпиталь быль еще полонъ воспоминаніями объ энергической дъятельности Ивана Богдановича. Въ Москвъ, куда онъ быль переведенъ изъ Риги, повторилось то же самое, и въ московскихъ госпиталяхъ онъ оставилъ по себъ также хорошую память. Ему бы и оставаться тамъ главнымъ докторомъ большого военнаго госпиталя. Это было истинное призваніе Ивана Богдановича.

Шлегель состояль вогда-то при сыновьяхь Витгенштейна (Алексъв и Николав) врачемъ и гувернеромъ; онъ и привезъ обоихъ Витгенштейновъ и Тутолмина въ Дерптъ, когда мы были студентами профессорскаго института.

Къ несчастью для себя, И. Б. Шлегель перемениль свое призваніе и попаль въ военно-учено-учебное болото. Аккуратнейшій изъ самыхъ аккуратныхъ немцевъ, плохо говорившій по-руссви, И. Б. всегда быль на-вытяжкъ. Какъ бы рано кто ни приходиль къ Шлегелю, всегда находилъ его въ военномъ вицмундиръ, застегнутомъ на всъ пуговицы, съ Владиміромъ на шев. Въ такомъ нарядъ и я засталъ его. Онъ и подъйствовалъ на меня всего болъе своею чисто-внъшнею оригинальностью, военною выправкою, аккуратною прическою волосъ, еще мало посъдъвшихъ, огромнымъ носомъ и глазами, болъе наблюдавшими, чъмъ говорившими.

Шлегель быль довольно сдержанъ со мною, и посовътовалъ непремънно представиться Клейнмихелю, что я и сдълалъ.

Клейнмихель быль очень любезень со мною, уже слишкомъ, что къ нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лицъ, оловянные глаза такъ и говорили смотрящему на нихъ: "ты, молъ, смотри, да помни, не забывайся!"

Клейнмихель пригласилъ меня къ себъ въ кабинеть, посадилъ и очень хвалилъ мой проекть. Потомъ прямо объявилъ, что все будетъ сдълано; препятствіе можетъ встрътиться только въ министерствъ Уварова, которое онъ, Клейнмихель, надъется, однако-же, уладить.

Я отвланялся, вполн'в довольный, и повхаль въ Ив. Тимов. Спасском у, въ это время весьма дов'вренному лицу у С. С. Уварова.

Отъ Спасскаго я узналъ, что мои намъренія уже извъстны въ министерствъ народнаго просвъщенія, и что Уваровъ ни за что на свътъ не отпуститъ меня. Я просилъ Ив. Тимооеевича содъйствовать моему плану, объяснилъ ему мои главные мотивы и, казалось, довольно убъдилъ его; но я узналъ, что эти убъжденія непрочны. Между тъмъ Спасскій, узнавъ, что я на другой день отправляюсь въ Москву, предложилъ мнъ поъхать отгуда въ тульскую губернію, въ одно имъніе, адресь котораго онъ мнъ сообщитъ, для операціи у одной дъвочки. Я согласился; мы уговорились о времени и поъздкъ.

Пробывъ въ Москвъ около 9—10 дней, я отправился на сдаточныхъ въ имъніе, —имени помъщика теперь не помню навърное: Націпина, Еропина или Полуэхтова, котораго-то изъ столбовыхъ; имъніе находилось на границахъ тульской губерніи съ орловскою. Послъ разныхъ продълокъ сдаточныхъ ям-

щиковъ, я къ вечеру на другой день въбхаль въ огромное, барское помъстье.

Великолѣпный старинный дворецъ въ огромномъ паркѣ. Въ домѣ, гдѣ мнѣ отвели помѣщеніе, было 150 нумеровъ, въ каждомъ не менѣе 2-хъ комнатъ, и одна изъ нихъ съ большущею 2-хъ-спальною кроватью, изъ краснаго дерева, съ золотыми украшеніями.

Надъ вроватью — широкая висейная розово-зеленоватаго цейта палатка; вмёсто досокъ въ головахъ и ногахъ у кровати— по большому зеркалу.

Пара, ложившаяся въ постель, могла созерцать свои тълеса въ разныхъ положеніяхъ отраженными на зеркальныхъ поверхностяхъ и притомъ отсвъченными зеленовато-розовымъ волеромъ.

Можно представить себъ, что творилось во времена оны въ этихъ 150 нумерахъ, когда съвзжались сюда на охоту и на барскія оргіи разнаго рода пары. Теперь, т.-е. не теперь, когда пишу, а когда посъщаль этоть домъ, остались только нумера и кровати, но пары уже не съвзжались болье.

Я провель ночь въ этой, никогда еще не испытанной мною, обстановив; признаюсь, мив вовсе не было пріятно видёть себя поутру отражающимся въ двухъ зеркалахъ.

Въ этотъ же день операція, выръзываніе миндалевидныхъ желёзь у 8-лътней дъвочки, была сдълана, и я остался еще на одну ночь у гг... ...

Вечеромъ за чайнымъ столомъ насъ было только трое: хозянтъ (еще довольно бодрый господинъ), хозяйка (очень милая и пріятная дама, л'єтъ около 40) и я. Зашла річь о старині, о томъ, что бывало и чего не стало. И тутъ услыхалъ я отъ хозяина два разсказа, памятные мні и до сихъ поръ, — такъ были необывновенны для меня тогда событія, составляющія предметь этихъ разсказовъ.

Въ обоихъ дъйствующимъ лицомъ былъ самъ разсказчивъ, и потому надо было ему върить на-слово, что я и сдълалъ.

— "У меня не было и ни у кого не будеть такого вернаго друга, каковь быль Толстой (американець),—передаваль мнв разсказчикь-хозяинь.—Однажды, подгулявь, я поссорился у него за обетомъ съ однимъ товарищемъ, дувлистомъ и забіжкою; ссора кончилась вызовомъ. Толстой взялся быть нашимъ секундантомъ на другой день рано утромъ.

"Я не спаль цёлую ночь и, вставь съ постели чёмъ свёть, пошель пройтись; а въ назначенный чась отправился звать Толстого, по уговору.

"Къ удивленію, нахожу ставни и двери его квартиры запертыми; стучусь, вхожу, бужу моего секунданта. Насилу онъ просыпается.

- "— Что тебъ?
- " Какъ что мнъ! развъ забылъ? а дуэль?
- "— Какой вздоръ!—отвъчаетъ Толстой:—развъ я могъ бы, какъ честный хозяинъ, позволить тебъ драться, съ этимъ забіякою и ярыжникомъ! Я вчера же, какъ ты ушелъ, самъ вызвалъ его на дуэль, и вчера же вечеромъ мы дрались. Дъло поконченное.
- "Съ этими словами Толстой повернулся отъ меня на другой бовъ и заснулъ.

"Такихъ людей, какъ Толстой, немного на свътъ".

Затыть послыдоваль—уже не помню, à propos de quoi — второй разсказъ.

— "Мы стояли въ Персіи. Скука была смертная, а денегъ было много; придумывали разныя забавы. Я жилъ у одного персіянина, отца семейства, и, узнавъ, что у него есть дочь - невъста, вздумалъ посвататься. Сначала, разумъется, отецъ и слышать не хотълъ; но когда онъ провъдалъ чрезъ одного армянина, что я — обладатель пълой груды червонцевъ, то мало-по-малу началъ сдаваться и торговаться.

"Наконецъ, дъло сладили: уговорились, что я женюсь формально, по русскому обряду, при свидътеляхъ, и что невъста сниметъ свое покрывало передъ вънчаніемъ. На этомъ въ особенности я настаивалъ, надъясь покончить все дѣло вздоромъ, если окажется рожа. Я пригласилъ товарищей всего полка на свадьбу. Былъ между ними и подставной попъ, и подставные дъячки. Когда невъста сняла покрывало, то оказалась такою восточною красавицею, какой никто изъ присутствующихъ никогда еще не видывалъ. Всъ такъ и ахнули. Послъ импровизированной свадьбы я зажилъ съ моею красавицею-женою въ домъ тестя. Жили мы болъе года, прижили ребенка. Вдругъ—

походъ. Жена моя собралась-было со мною, и ни за что на свътъ не хотъла оставаться у отца. Но я и товарищи, знакомые принялись тавъ сильно ее уговаривать, что она, наконецъ, ръшилась остаться дома и ждать, пока я самъ пріъду за нею".

Въ это время разсказа я невольно посмотръть пристально на хозяйку, жену повъствователя. Смотрю, — кажется, непохожа на персіянку, чисто русскій типъ. Повъствователь замътиль мой пристальный взглядъ, и сейчась же обратился ко мнъ съ объясненіемъ:

— "Это не она, не она; та далеко, Богъ ее знаетъ гдѣ; съ тѣхъ поръ о ней—ни слуху, ни духу!"

А наша хозяйка спокойно продолжала въ это время разливать намъ чай...

Черезъ сутки я былъ уже въ орловскомъ имѣніи Мойера. Уже давно думалъ я, что мнѣ слѣдовало бы жениться на дочери моего почтеннаго учителя; я зналъ его дочь еще дѣвочкою; я былъ принятъ въ семействѣ Мойера какъ родной. Теперь же положеніе мое довольно упрочено, — почему бы не сдѣлать предложеніе?

Въ имъніи Мойера я пробыль дней десять. Екатерину Ивановну (дочь Мойера) нашель уже взрослою невъстою, и ръшился, по возвращеніи въ Москву, отнестись съ предложеніемъ письмомъ къ Екатеринъ Аванасьевнъ, всегда мнъ благоволившей. Прощаясь со мною, и Екатерина Аванасьевна, и все семейство Мойера просили меня заъхать въ Москвъ къ племянницъ ея, г-жъ Елагиной.

Прівхавь въ Москву и запасшись письмомъ въ Енатеринъ Аоанасьевнъ (письмо было длинное, сентиментальное и, какъ я теперь думаю, довольно глупое), я отправился въ Елагиной. Домъ ея былъ извъстенъ всей образованной Москвъ. Я былъ принятъ очень любезно. Начались разспросы и разсказы о семействъ Мойера, Буниной, Воейковыхъ и Жуковскомъ, и при этихъ-то разсказахъ я услышалъ отъ самой Елагиной ея чудное свиданіе съ женою Мойера. И Елагина, и жена Мойера (урожденная Протасова, дочь Екат. Ао.) были подругами дътства, необыкновенно привязанными другъ въ другу. Объ онъ вышли почти въ одно время замужъ. У Елагиной

быль грудной ребенокъ, и она только-что успѣла покормить его грудью и сдать на руки кормилицѣ, какъ увидала вошедшую къ ней жену Мойера. Елагина бросилась въ объятія нежданной гостьи и туть же почувствовала, что падаетъ въ обморокъ. Придя въ себя, она узнала, что никто не пріѣзжалъ и никто въ комнату не входилъ, а чрезъ нѣсколько дней узнала также, что жена Мойера на дняхъ скончалась, и, какъ оказалось по справкамъ Жуковскаго, скончалась именно въ этотъ день и часъ, когда ее видѣла у себя Елагина.

Прощаясь, я попросиль Елагину на минуту переговорить со мною однимъ, безъ свидътелей, и тутъ же вручилъ ей мое письмо къ Екатеринъ Аоанасьевнъ, объяснивъ притомъ и его содержаніе. Я замътилъ, что Елагина, принимая мое посланіе, улыбнулась, и улыбка ея мнъ показалась, почему-то, сомнительною.

Черезъ мъсяцъ я получиль въ Дерпть отвъть оть Екатерины Аванасьевны и отъ самого Мойера.

И отецъ, и бабушка Екатерины Ивановны весьма сожальци, что доджны отказать мыв.

Ката ихъ-объяснили они оба мнъ-уже объщана давно сыну Елагиной. Всъ обстоятельства и родственныя связи благо-пріятствовали этому браку.

Прочитавъ отказъ, я вспомнилъ про улыбку Елагиной.

Черезъ годъ после этого отказа одна мною высокочтимая лама (Екат. Ник. Дагоновская),—никогда не лгавшая,—разсказывала мне о разговоре, который она имела съ Екат. Иван. Мойеръ на пароходе, при отъезде за границу.

— "Женъ Пирогова—говорила Е. И. Мойеръ, ъхавшая за границу виъстъ съ Елагиной—надо опасаться, что онъ будеть дълать эксперименты надъ нею".

Говоря это, Е. И. Мойеръ конечно, не знала, что черезъ годъ придется ей писать въ лестныхъ выраженіяхъ поздравительное письмо къ подругѣ своего дѣтства, Екатеринѣ Дмитріевнѣ Березиной, не побоявшейся мучителя дерптскихъ собакъ и кошекъ и выходившей за него безтрепетно замужъ.

Мъсяцевъ десять прошло въ перепискъ между министерствами народнато просвъщенія и военнымъ и между департаментами военнаго министерства о моемъ перемъщении и объ учреждении новой должности при военномъ госпиталъ.

Я, между тъмъ, переписывался съ министромъ Уваровымъ и директоромъ Спасскимъ. Наконецъ, наша взяла.

Уваровъ долженъ былъ уступить Клейнмихелю.

Тъмъ временемъ произошло и еще новое преобразованіе въ министерствъ внутреннихъ дълъ и въ министерствъ народнаго просвъщенія.

Въ первомъ изъ нихъ произошло перерождение медицинскаго совъта, а во второмъ—учреждение особой коммиссии по дъламъ, касающимся медицинскихъ факультетовъ.

Прежній медицинскій совъть министерства внутренних дъль быль такое странное учрежденіе, что члены его имъли право дълать докторами медицины, безъ экзамена, другь друга и другихъ лицъ, имъ нравившихся.

Говорять, что при учрежденіи этого совъта, когда его предсъдателю удалось выхлопотать новыя права, происходиль іп pleno (въ полномъ засъданіи) слъдующій наивный обмънь мыслей:

- "Василій Васильевичь, честь имію вась поздравить со степенью доктора медицини!"
- A вамъ, Өедоръ Өедоровичъ (примърно), желательно быть медико-хирургомъ?
- "Нѣть, еслибы угодно было вашему превосходительству выхлопотать мнѣ землицы, то я предпочель бы это награжденіе наградѣ ученою степенью", и т. п.

Въ началъ же 1840-хъ годовъ все перемънилось подъ нашимъ зодіакомъ.

Лейбъ-медикъ государыни императрицы сталъ предсъдателемъ медицинскаго совъта (Мерк. Алекс. Маркусъ), а совътъ. лишась прежняго своего права дарить (безъ экзамена) ученыя степени, сдълался чисто лишь административно-и судебноврачебнымъ учрежденіемъ.

Въ это время и я былъ выбранъ въ члены медицинскаго совъта.

Медицинская коммиссія при министерств'в народнаго просв'єщенія состояла подъ предс'ядательствомъ также Маркуса, изъ четырехъ членовъ: Спасскаго, лейбъ-медика Рауха, профессора Зейдлица и меня.

Всё дёла и даже выборы медицинскаго факультета всёхъ русскихъ университетовъ проходили чрезъ наши руки. Особливо же вновь учреждавшійся въ то время медицинскій факультеть кіевскаго университета (св. Владиміра) почти всецёло учреждался и избирался въ нашей коммиссіи. Наконецъ, самымъ важнымъ дёломъ нашей коммиссіи былъ пересмотръ статута объ экзаменё на медицинскія степени.

Въ старомъ экзаменаціонномъ статутѣ допускались цѣлыхъ шесть медицинскихъ степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отдѣленія), докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи и медико-хирургъ.

Я предложиль сокращение на двъ степени: лекаря и доктора медицины; но мой проекть не прошель, и вмъсто двухъ приняты были три степени (лекарь, докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи).

Я настаиваль, чтобы при факультетскихь экзаменахь на степень требовались отъ экзаменующихся—вмѣсто разныхъ дробей или отмѣтокъ въ родѣ: "удовлетворительно", "посредственно", "хорошо", "отлично" и т. п.—только двѣ отмѣтки или двѣ поправки: отвѣта "да" и "нѣтъ" на вопросы по каждому предмету: достоинъ степени, на которую экзаменуется, или недостоинъ?

in.

.

ci .

المرازع

1.09

1197-

gr'

1778.2

je Afri 1980a. I Введеніе демонстративных в испытаній изъ анатоміи, терапіи и хирургіи предложено было также мною, и принято единогласно.

Новая каоедра <u>госпитальной</u> хирургіи и терапіи, учрежденная по моему проекту въ с.-петербургской медико-хирургической академіи, была принята нашею коммиссіею и утверждена министерствомъ народнаго просв'ященія для в<u>с'яхърусскихъ</u> университетовъ.

Вотъ мои заслуги по дъламъ медицинской коммиссіи министерства народнаго просвъщенія.

Время моего отъвзда изъ Дерпта въ Петербургъ мив памятно.

Я не могу назвать себя робкимъ, но есть случаи, повиди-

мому, весьма маловажные, которые могуть привести въ сильнъйшее волнение мои нервы, — до того сильное, что я невольно начинаю трусить чего-то, самъ не понимая, чего. Это случалось со мною вообще ръдко. Но два случая я живо помню.

Одинъ изъ нихъ былъ въ Деритъ. Когда я приготовился совсъмъ въ отъйзду и опорожнилъ мою ввартиру (4 комнаты) отъ всей подвижной собственности, и остался совершенно одинъ, отъ свуки, предстоявшей мнъ въ теченіе 2 — 3 дней, я началь читать романы Гофмана; и лишь только начинался вечеръ, невыразимый страхъ овладъвалъ мною, и до того сильно, что я не могъ преодолъть себя, чтобы выйти въ другую комнату. Мнъ все казалось, что тамъ кто-то сидитъ или стоитъ. Между тъмъ я уже не разъ читалъ романы Гофмана и другія повъсти въ этомъ родъ, и никогда не замъчалъ надъ собою ничего подобнаго.

Во второй разъ я замѣтилъ надъ собою невыразимый страхъ однажды при путешествии по Швейцарии. Я шелъ ночью, часовъ въ 10, въ Интерлакенъ.

Ночь была превосходная, лунная, тихая. На шоссе, по которому я шель, мив не повстрвчался ни одинь человысь; все было тихо и уединенно. Слышался только шелесть листьевь и журчаніе ручейковь. Сначала я шель бодро и весело, но мало-по-малу меня началь одолівать страхь; мив начало мерещиться, что кто-то идеть сзади меня вы нівоторомъ разстояніи. Это казалось мив до того ясно, что я невольно останавливался и ворочался назадь. Наконець, не вытершівь, оть страха почти побіжаль бізомь, такъ что вы Интерлакенъ пришель запыхавшись и весь въ поту.

Прівхавъ после праздника (1841 г.) въ Петербургъ, я долженъ былъ представиться, уже какъ подчиненный, Клейнмихелю.

Теперь онъ уже считалъ себя не въ правъ быть любезнымъ со мною по прежнему, — и принялъ меня уже не въ кабинетъ, а въ общей пріемной залъ, вмъстъ со многими другими лицами. Оловянные глаза уже смотръли иначе, и когда и имълъ глупость напомнить имъ объ объщанной мнъ, яко-бы, кваргиръ, то они посмотръли на меня не по прежнему. Съ этого

дня я уже не видаль болъе ни разу оловянныхъ глазъ моего начальника и, конечно, ни мало не сожалъю объ этомъ.

По присланной мив инструкціи, я назначался завъдывать самостоятельно всъмъ хирургическимъ отдъленіемъ 2-го военносухопутнаго госпиталя, съ званіемъ главнаго врача хирургическаго отдъленія.

Врачебныя и учебныя мои действія по этому отделенію госпиталя, заключавшему въ себе до 1,000 кроватей, были совершенно независимы отъ госпитальнаго начальства, и только по деламъ госпитальной администраціи я обязанъ былъ сноситься съ главнымъ докторомъ госпиталя.

Вмъстъ съ этимъ я назначался профессоромъ госпитальной хирурги и прикладной анатоміи при медико-хирургической академіи.

Осмотръвъ все хирургическое отдъленіе госпиталя, я убъдился въ его по истинъ ужасъ наводящемъ положеніи. Вся вентиляція огромныхъ палатъ (на 60—100 кроватей)

Вся вентиляція огромныхъ палать (на 60—100 кроватей) въ главномъ каменномъ корпуст основывалась на длинномъ корридорт, а вентиляція корридора—на ретирадникахъ. Дъйствительно, въ корридоръ несло постоянно изъ ватерклозетовъ. Другія отдёленія госпиталя, въ нтьогоромъ отношеніи еще лучшія, помъщались въ деревянныхъ отдёльныхъ домахъ, въ каждомъ до 70 и болье кроватей. Вентиляція въ нихъ была натуральная, безъ корридоровъ; сырость неисправимая. Въ гангренозномъ отдёленіи, содержавшемъ въ себъ еще больныхъ, остававшихся послъ леченій доктора Флоріо громадными меркуріальными втираніями, сердце надрывалось видомъ молодыхъ, здоровыхъ гвардейцевъ съ гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стънку. Палаты госпиталя были переполнены больными съ рожистыми воспаленіями, острогнойными отеками и гнойнымъ зараженіемъ крови.

Для операціонныхъ не было ни одного, хотя плохого, помъщенія.

Тряпки подъ припарки и компрессы переносились фельдшерами, безъ зазрвнія совъсти, отъ рант одного больного къ другому. Лекарства, отпускавшіяся изъ госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вмъсто хинина, напримъръ, сплошь да рядомъ отпускалась бычачья

желчь, вм'всто рыбьяго жира—какое-то иноземное масло. Хл'воъ и вся вообще провизія, отпускавшіеся на госпитальныхъ, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и коммиссары проигрывали по нѣскольку соть рублей въ карты ежедневно. Мясной подрядчикъ, на виду у всѣхъ, развозилъ мясо по домамъ членовъ госпитальной конторы. Аптекарь продавалъ на сторону свои запасы уксуса, разныхъ травъ и т. п. Въ послъднее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые съ ранъ: корпію, повязки, компрессы, и проч., и для этой торговой операціи складывало вонючія тряпки, снятыя съ ранъ, въ особыя камеры, расположенныя возлѣ палатъ съ больными.

Главный докторъ госпиталя быль ст. сов. Лоссіевскій, именуемый у своихъ товарищей Буцефаломъ или Букефаломъ. Хотя извъстная французская поговорка: "grande tête, grande bête"—и гръшитъ противъ физіологіи, но нътъ правилъ, даже и физіологическихъ, безъ исключенія. Въ отношеніи къ головъ Лоссіевскаго, физіологія оказалась, дъйствительно, неправою, какъ это окажется впослъдствіи.

Такъ какъ госпиталь, вслъдствіе новыхъ учрежденій, подчинился теперь въ учебномъ отношеніи медико-хирургической академіи, то и Лоссіевскій очутился между двухъ начальниковъ: между президентомъ медико-хирургической академіи (Шлегелемъ) и директоромъ военно-медицинскаго департамента (Лм. Клем. Тарасовымъ).

По осмотрѣ госпиталя, я нашелъ множество больныхъ, требовавшихъ разныхъ операцій, особенно ампутацій и резекцій, вскрытія глубокихъ фистулъ, извлеченія секвестровъ, и т. п.

Это были все застарвлые, залежавинеся въ худомъ госпиталъ больные, зараженные уже піэміей или пораженные цингою отъ худого содержанія...

Я сдёлаль огромный промахь и грубую ошибку, сильно отразившуюся потомъ на моей практической дёятельности. Еще болёе, чёмъ промахъ, быль проступокъ противъ нравственности. И промахъ, и проступокъ, состояли въ моемъ приступё къ энергическимъ хирургическимъ производствамъ, — не разсмотрён-

нымъ и не анализированнымъ достаточно ни съ научной, ни съ нравственной стороны, — множества изъ случаевъ, подвергнутыхъ мною операціи. Съ научной стороны былъ большой промахъ то, что я сообразилъ приняться съ нъмецкимъ усердіемъ за этихъ больныхъ, не обративъ вниманія на ту неблагопріятную обстановку госпитальной конституціи, при которой я подвергалъ больныхъ операціи.

22-го октября 1881.

Ой, скорве, скорве! Худо, худо! Такъ, пожалуй, не успъю и половины петербургской жизни описать...

Начну съ Букефаловой глупости. Это не по порядку.

Прошло уже года два моей госпитальной службы, какъ вдругъ однажды Букефалъ Лоссіевскій призываеть моего ассистента и ординатора госпиталя, Неммерта, и спрашиваеть его: не замътилъ ли онъ чего особеннаго въ моемъ поведеніи?

Неммерть говорить, что-нъть.

I E E6:

112

1100

1 :47

l li idlig Diji

Tep:

· Ed

T.

- А почему же онъ (т.-е. я) прописываеть въ такихъ большихъ пріемахъ наркотическія средства; онъ однажды прописаль: extract. Hyosciami до 5 гр. pro dosi?
- "Я не знаю", отвъчаеть Неммерть: "спросите сами у г. профессора".

Тогда Лоссіевскій призываеть Неммерта въ госпитальную контору и приказываеть ему, какъ подчиненному, расписаться въ принятіи запечатаннаго пакета съ надписью: "секретно", подъ №...

Неммертъ беретъ. Въ секретной бумагѣ значится:

"Замѣтивъ въ поведеніи г. Пирогова нѣкоторыя дѣйствія, свидѣтельствующія объ его умономѣшательствѣ, предписываю вамъ слѣдить за его дѣйствіями и доносить объ оныхъ мнѣ. Гл. д-ръ Лоссіевскій".

Но прежде, чъмъ вся эта исторія произошла, я получиль отъ Лоссіевскаго однажды бумагу, въ которой онъ мнъ писалъ слъдующее:

"Замътивъ, что въ вашемъ отдъленіи издерживается огромное количество іодовой настойки, которою вы смазываете напрасно кожу лица и головы, я предписываю вамъ пріостановить употребленіе столь дорогого лекарства и зам'внить его бол'ве дешевыми. Лоссі евсвій."

Я взялъ эту бумагу, да и отправилъ ее назадъ Лоссіевскому съ следующимъ объясненіемъ:

"На ваше отношеніе №...... честь им'єю ув'єдомить ваше высокородіе, что вы не въ прав'є д'єлать мн'є никакихъ предписаній относительно моихъ д'єйствій при постели больныхъ.

"Если же вы находите, что я расходую лекарства не по госпитальному каталогу, то вамъ следуетъ обратиться съ извещениемъ о томъ къ нашему общему начальнику, г. президенту медико-хирургической академіи."

Вотъ эта-то бумага, а не экстрактъ бълены, и была причиною секретнаго предписанія Неммерту. А про extractum Hyosciami я сказалъ Лоссіевскому: "велите-ка ваши экстракты приготовлять дъйствительно изъ наркотическихъ средствъ, а не изъ золы разныхъ растеній".

Когда Неммертъ получилъ бумагу, то онъ принесъ ее во мнѣ и спрашивалъ: что дѣлать? Я отвѣчалъ: "ступайте въ президенту Шлегелю и спросите его".

Шлегель же, по словамъ Неммерта, спросилъ его, улыбаясь: — "Въдь вы, однако, ничего не замътили?—Ну, любезнъйшій, такъ оставьте бумагу при васъ и никому не показывайте".

Когда я узналь этоть отвёть, то я просиль Неммерта одолжить мнё бумагу на одинъ часъ времени, об'єщаясь ему. что это нисколько не повредить его служебной д'ятельности.

Неммертъ мнѣ далъ, и я съ этою бумагою въ рукахъ тотчасъ же отправился въ нашему попечителю, дежурному генералу Веймарну, объявивъ ему, что я подаю сейчасъ просъбу объ отставкѣ, если всему этому вопіющему дѣлу не будетъ дано хода.

Веймарнъ былъ видимо смущенъ, но успокоилъ меня объщаніемъ, что завтра же будетъ имъ все улажено, и если я и тогда останусъ недоволенъ, то могу дать всему законный ходъ.

Сейчасъ за моимъ уходомъ Веймарнъ послалъ фельдъегери за Лоссіевскимъ, и его, раба божія, привезъ фельдъегерь съ собою въ штабъ. На другой день въ госпиталъ была получена бумага, въ которой предписывалось Лоссіевскому, въ присутствіи президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшаго бумагу, и всёхъ видёвшихъ ее членовъ госинтальной вонторы—просить у меня прощенія въ убёдительнёйшихъ выраженіяхъ, и если я (Пироговъ) не соглащусь извинить дерзкій поступокъ Лоссіевскаго, то йсему делу будеть данъ законняй ходъ.

На другой день, утромъ, меня пригласили въ контору госпиталя, и тамъ разыгралась истинно позорная, и притомъ дътски-позорная, сцена.

Лоссіевскій, въ парадной форм'в, со слезами на глазахъ, дрожащимъ голосомъ и съ поднятіемъ рукъ къ небу, просилъ у меня, извиненія за свою необдуманность и дерзость, ув'вряя, что впредь онъ мнъ никогда не дастъ ни малъйшаго повода къ неудовольствію.

Туть жè, въ присутствіи президента, я ему показаль на мерз'вішій хлібов, розданный больнымъ, и замітилъ, что это его прямая обязанность въ госпиталів— наблюденіе за порядкомъ, пищею и всею служебною администрацією.

Темъ дело о моемъ умономещательстве и кончилось.

Съ тъхъ поръ Лоссіевскій сдълался тише воды, ниже травы, да впрочемъ чрезъ нъсколько мъсяцевъ онъ былъ перемъщенъ въ Варшаву.

Друзья Лоссіевскаго, такіе же, какъ и онъ, protégés баронета Виллье, упросили этого медицинскаго сановника замолвить слово о Лоссіевскомъ у фельдмаршала Паскевича.

Когда Паскевичъ прітхаль въ Петербургъ, то ему выслали на показъ двухъ главныхъ довторовъ для Варшавы. Паскевичъ, проходя чрезъ пріемный покой, мимоходомъ указаль на Лоссіевскаго, сказавъ: "воть этого".

Лоссіевскій угостиль за это своихъ протекторовъ хорошимъ об'вдомъ, на который позванъ былъ и баронетъ. За об'вдомъ Виллье сид'влъ возл'в Лоссіевскаго и, во время медицинской бес'вды о трудности въ прощупываніи зыбленія, подставиль свою заднюю часть т'вла Лоссіевскому, съ громкимъ вызовомъ: "ну-ка, ты, прощупай-ка зд'всь зыбленіе".

Всв, разумвется, засмвялись остротв баронета, а Лоссіевскій увхаль на лучшее мвсто въ Варшаву.

Въ Варшавъ, однако-же, не посчастливилось Буцефалу. Върно, онъ слинтомъ разворовался.

Императоръ Николай, разъ навхавъ въ варшавскій госпиталь ненарокомъ, разомъ открыль целую массу злоупотребленій и дневного воровства. Лоссіевскаго засадили на гауптвахту и отдали подъ судъ. Потомъ онъ, разжалованный въ ординаторы, овончидъ жизнь въ Кіевъ, какъ я слышалъ, отъ запоя.

Моему ассистенту Неммерту пригрозиль-было при мив ПІлегель, посль того какъ Лоссіевскій извинился. Но и остановиль президента словами: "Профессорь Неммерть поступиль туть какъ честный и благородный человыкь, и я не вижу, за что вы такъ несправедливо относитесь съ выговоромъ къ Неммерту; я могь бы принять вашъ неумъстный выговоръ на мой счеть—и не согласиться, въ такомъ случав, на извиненіе Лоссіевскаго".

Шлегель прикусиль языкъ, и съ тѣхъ поръ я∢не замѣчалъ никакихъ притѣсненій по службѣ.

Неммерта Лоссіевскій зваль даже тхать въ Варшаву! Кстати стажу нъсколько словь о моемъ свиданіи, единствентомъ и непродолжительномъ, съ баронетомъ Виллье.

По случаю изданія моей прикладной анатоміи (на русскомъ и на нёмецкомъ языкахъ—изданіе Ольхина, не окончившееся по причинѣ его банкротства), я въ одинъ и тотъ же день посётилъ двухъ нужныхъ людей: министра Канкрина, у котораго надо было испросить разрёшеніе на ввозъ безпошлинно веленевой бумаги для литографій, и у Виллье, который могъ способствовать распространенію изданія въ военныхъ библіотекахъ.

Для обоихъ этихъ господъ а принесь иллюминованные экземпляры атласа.

Графъ Канкринъ, поглядъвъ на нихъ, тотчасъ же разръшилъ безпошлинный провозъ бумаги, замътивъ только о моихъ анатомическихъ рисункахъ: "Es sind sehr schöne, aber auch sehr traurige Dinge".

Это замъчаніе было если и не умно, то, по врайней мъръ, не глупо.

Виллье же, посмотръвъ на мои рисунки, началъ что-то тараторить скороговоркою, чего я никакъ понять не могъ; слышалъ только на ломаномъ русскомъ языкъ слова: "оксигенъ, артеріальная и венозная кровь", и т. д.

Что хотълъ выразить своимъ страннымъ діалогомъ баронеть, того я ни тогда, ни послъ, никакъ не могъ себъ объяснить. Тъмъ дъло и кончилось.

Я, видя, что конца не будеть этой болговив, поблагодарилъ баронета за его привътствіе и ушелъ.

Согласіе на покупку атласа для военныхъ библіотекъ последовало.

А о баронеть Виллые самое послъднее извъстіе, полученное мною, состояло въ томъ, что кто бы къ нему въ послъднее время ни являлся, всъ заставали его, вмъстъ съ однимъ старымъ ординаторомъ, читающимъ послужной списокъ баронета, причемъ всякій разъ, при прочтеніи какой-либо награды, Виллые заставляль это мъсто прочесть еще нъсколько разъ, приговаривая при этомъ:

— Это удивительно! Какъ, напримъръ, Анну 2-й степени за сражение подъ Аустерлицемъ? Прочитай-ка мив еще разъ. Это удивительно!

Что старики удивляются и хотять удивить другихъ полученными ими орденами, это вовсе неудивительно. Когда, въ 1838 г., я навъстилъ (вмъстъ съ докторомъ Амюсса) стараго Ларрея въ Парижъ, то онъ намъ также тотчасъ показалъ свой орденъ съ золотомъ вышитыми на лентъ словами: "Bataille d'Austerlitz".

Но Ларрей скрыль, по крайней мъръ, свое удивленіе, а сказаль только: "vous voyez, m-r, ce n'est pas dans les antichambres que j'ai reçu mes décorations", намекая этимъ, разумъется, на современные гражданскіе ордена Франціи.

Въ теченіе цёлаго года, по прибытіи моемъ въ Петербургъ, я занимался изо дня въ день въ страшныхъ пом'вщеніяхъ 2-го военно-сухопутнаго госпиталя, съ больными и оперированными, и въ отвратительныхъ до невозможности, старыхъ баняхъ этого же госпиталя; въ нихъ, за неим'вніемъ другихъ пом'вщеній, я производилъ вскрытія труповъ, иногда по 20 въ день, въ лътніе жары; а зимою, во время ледохода (ноябрь, декабрь), перевзжаль ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

Въ концъ лъта я началь замъчать небывалыя прежде явленія послъ каждаго госпитальнаго визита. Я сталь чувствовать то головокруженіе или легкую лихорадочную дрожь, то схватки въ животъ, съ желчнымъ, жидкимъ испражненіемъ.

Тавъ длилось до февраля 1842 г. Въ этомъ мъсяцъ я вдругъ тавъ ослабълъ, что долженъ былъ слечь въ постель.

Что ни дёлали д-ра Лерхе, Раухъ и Зейдлицъ—ничто не помогало. Никто изъ нихъ не могъ опредёлить мою болёзнь. Одинъ Раухъ еще более другихъ, должно быть, угадалъ, приписавъ ее моимъ госпитальнымъ и анатомическимъ занятіямъ. Трудно, въ самомъ дёлё, сказать, что это было за страданіе и какого органа.

Жара почти не было. Пульсь быль скорве медленный, чвиъ учащенный; полное отвращение въ пищв и питью; продолжительные запоры, безсонница, продолжавшаяся цвлый мвсяцъ, слабость.

Вся бользнь продолжалась ровно шесть недыль. Я лежаль, не двигаясь, безъ всякихъ лекарствъ, потерявъ къ нимъ всякое довъріе.

Наконецъ, хотя не имѣя бреда, но съ головою не совершенно свободною, я потребовалъ теплую ароматическую ванну. Мои домашніе не посмѣли мнѣ отказать, а дѣло было уже вечеромъ.

Послѣ ванны со мною сдѣлалась какая-то пертурбація во всемъ организмѣ; бреда настоящаго не появилось, но мнѣ казалось, что я леталъ, и что-то постоянно говорилъ. Черезъ нѣсколько часовъ у меня сдѣлался необывновенно сильный ознобъ. Я чувствовалъ, какъ меня во время сотрясательной дрожи всего приподнимало съ кровати. Затѣмъ вдругъ и сердце начало замиратъ; я почувствовалъ, что обмираю, и закричалъ, что есть силы, чтобы на меня лили холодную воду. Вылили ведра три и оченъ скоро. Обморокъ прошелъ и съ тѣмъ вмѣстѣ послѣдовало непроизвольное и чрезвычайно сильное желчное испражненіе, послѣ котораго явился потъ, продолжавшійся

цълыхъ 12 часовъ. Тогда наступило быстрое выздоровленіе при помощи хинина и хереса.

Нъсколько времени послъ этой болъзни, когда я купался уже для укръпленія въ моръ (въ Ревелъ), у меня появился мой прежній (дерптскій) черножелчный поносъ, причемъ ни аппетитъ, ни общее здоровье нисколько не были нарушены.

Кавъ только наступило выздоровленіе, такъ появился вдругъ позывъ къ куренію табаку. До 30-ти лѣтъ я ни разу ничего не курилъ; цѣлые часы проводилъ въ анатомическомъ театрѣ, и ни разу не чувствовалъ позыва къ куренью. А тутъ, вдругъ, захотѣлось, и я началъ куритъ тотчасъ же довольно крѣпкія сигары.

Во время этой бользни мнъ въ первый разъ въ жизни пришла мысль объ упованіи въ Промыселъ.

Что-то вдругъ, во время ночныхъ безсонницъ, какъ-будто озарило сознаніе, и это слово — "упованіе" — безпрестанно у меня вертълось на языкъ.

И вмёстё съ упованіемъ зародилась въ душё какая-то сладкая потребность семейной любви и семейнаго счастія. И все это при концё моей болёзни.

Я счель это за призывъ свыше, и какъ только совствиъ оправился, то и поситиль освъдомиться, гдъ живетъ теперь пріятельница дътства Екатерины Мойеръ, ея однольтва Екатерина Березина. Въ Дерптъ я видълъ семью Березиныхъ— мать, дочь и сына (Сережу)—почти еженедъльно у Мойера. Дъти приходили играть, взрослые—говорить. Потомъ, черезъ нъсколько лътъ, я встрътилъ Екатерину Николаевну (мать) съ дочерью въ С.-Петербургъ. Онъ жили уединенно на Васильевскомъ Острову и потомъ уъхали въ деревню. Съ тъхъ поръ прошло уже нъсколько мъсяцевъ. Я узналъ, наконецъ, что онъ объ въ деревнъ у брата Екатерины Николаевны, графа Татищева.

Я сдёлаль письменное предложеніе. Получиль согласіе, но съ тёмъ, чтобы я испросиль также согласіе отца, Дмитрія Сергъевича. Его я вовсе не зналь. Это быль человъкъ особенной породы. Вышедъ въ отставку гусарскимъ ротмистромъ послъ Отечественной войны, Дмитрій Березинъ страстно влю-

бился въ свою кузину, графиню Екатерину Николаевну Татищеву, и женился на ней тайно и незаконно. Страстная любовь продолжалась, пока не вышло на свёть двое дётей (Ката и Сережа). Послё этого началась какая-то уродливая борьба съ любовью. Березинъ сталъ сильно ревновать къ жент и вмёстё съ тёмъ вести жизнь игрока.

Онъ просадиль въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ три большихъ имѣнія: 2,000 душъ, доставшихся ему отъ отца, и 4,000 душъ, доставшихся отъ двухъ братьевъ. (Куда дѣвалось все это состояніе?) Кромѣ картежныхъ имѣлъ онъ еще и другіе долги, но самъ жилъ менѣе чѣмъ роскошно, а жену и дѣтей содержалъ менѣе чѣмъ пристойно. Жена и дочь занимали ввартиру въ три комнаты, съ одною служанкою. Правда, сыну, когда онъ подросъ и учился въ школѣ, Березинъ позволялъ дѣлатъ долги у пирожниковъ, пряничниковъ и у другого люда, навѣщавшаго съ своимъ товаромъ школу; но это дѣлалосъ изъ какого-то страннаго тщеславія и, именно, когда послѣднее, третье имѣніе не было еще прокучено. И это все дѣлалось человѣкомъ вовсе не худымъ и не злымъ въ сущности. Жену же онъ имѣлъ какую-то манію преслѣдовать и прижимать безъ всякой къ тому причины.

Екатерина Николаевна Березина была женщина добрая, любившая сына более дочери; а между темъ мужъ ея полагалъ, напротивъ, что она, на зло ему, любитъ дочь более сына.

Отъ этого терпъла всего болъе дочь, особливо въ послъднее время, когда здоровье матери сильно разстроилось, и раздражительность доходила до того, что она толкала и нихала бъдную дъвушку, считая ее причиною, почему отецъ не даетъ имъ приличнаго содержанія. Дочь же, напротивъ, не хотъла оставлять мать.

Существовали забавные разсказы про разныя выходки ревнивца. Жилъ-быль въ Дерпте Александръ Дмитріевичъ Хрипковъ. Кто изъ жившихъ въ наше время въ Дерпте не зналъ Хрипкова? Это былъ человекъ, въ известномъ отношеніи, не отъ міра сего. Онъ—орловскій помещикъ, роздаль свое именіе родственникамъ, сделался артистомъ; убхаль въ Дерптъ на несколько времени и оставался туть 20 летъ; доходилъ иногда

до того, что нуждался въ мелочахъ, но быль со всёми знакомъ, всёми любимъ, хотя ни у кого не заискивалъ и всёмъ за взятое отплачивалъ или своими артистическими произведеніями, или своею дружескою компаніею.

N 5.

16

(v)

rgi

1.1

Правда, все это не удержало такого с—та, какимъ былъ Өаддей Булгаринъ, показывать на улицъ пальцемъ на Хрипкова, говоря: "посмотрите, вэтъ идетъ господинъ, котораго я, начиная съ шапки, всего экипировалъ, а онъ и ту шапку, которую я ему сшилъ, снимать не хочетъ".

Но всё знали, что это Булгаринскія враки, и что Булгаринъ даромъ ничего не сдёлаеть. Но всего страннёе было въ низкомъ, некрасивомъ и калмыкообразномъ Хрипковё то, что онъ влюблялся поголовно во всёхъ ему знакомыхъ дамъ. Любовь же эта была выше платонической, какая-то уже совершенно отвлеченная, даже не артистическая.

Иногда Хрипковъ былъ влюбленъ и въ нѣсколькихъ въ одно и то же время; а когда изъ города большая часть ему знакомыхъ уѣзжала, то говорили, что, за неимѣніемъ другихъ, онъ снова влюбленъ въ Екатерину Николаевну.

Воть съ этимъ-то невиннымъ любовникомъ всёхъ дамъ вообще и суждено было сразиться Дм. Серг. Березину.

Еватерина Николаевна повхала съ двтъми къ одной изъ родственницъ своихъ гостить въ губернію (кажется, псковскую); туда же отправился и Хрипковъ, и засталъ тамъ самого Березина. Это уже было для последняго непріятно.

А за ужиномъ маленькій Сережа, почти всегда сонный къ вечеру, вышедъ изъ-за стола, простился сначала съ матерью, а потомъ съ Хрипковымъ. Это былъ ножъ острый для Дм. Серг. Онъ разсвирѣпѣлъ, велѣлъ сыну сначала проститься съ нимъ самимъ,—и началась баталія. Она могла бы, пожалуй, кончиться и дуэлью, но, къ счастію, благоразумная родственницахозяйка облила Сергѣя Дмитр. водою, а Хрипкова увели въ другую комнату, и тѣмъ покончили войну.

Къ этому-то господину, отцу моей будущей невъсты, я долженъ былъ ъхать, испрашивать его согласія. Онъ жилъ у себя въ лужсвомъ имъніи, заложенномъ и перезаложенномъ.

Принялъ онъ меня очень любезно, потому что не ожидалъ отъ меня прівзда, а думалъ, что только напишу. Онъ упро-

силь меня ночевать, для того, — говориль онь, — чтобы "я могь распорядиться по денежнымъ дёламъ, касающимся вашего брака".

Это было время, когда Дмитрію Сергвевичу следовало получить остальныя деньги оть братнина наследства изъ банка.

На другой день мой будущій тесть, давшій полное свое согласіе на бракъ съ его дочерью, сверхъ того преподнесъ мив еще роспись слёдующаго за нею приданаго и деньгами.

Выходило болбе 150 тысячь рублей, съ условіемъ, однако-же, чтобы мать невъсты отказалась оть следуемой ей части изъ мужнина капитала.

Это, очевидно, была пика противъ жены; съ какой стати ей, слабой, хилой и постоянно больной женщинъ, ожидать, что мужъ умретъ прежде?!

Невъста моя и мать проживали въ деревнъ у дяди, верстъ за двадцать. Посланъ былъ нарочный, чтобы онъ ъхали въ имъніе Березина, и чтобы на срединъ дороги встрътились въ одной корчмъ съ нами.

А мы вывхали утромъ къ нимъ на-встрвчу и застали ихъ въ корчив.

Я, по настоянію Березина, должень быль прочесть вслухь роспись, услышавь которую, Екатерина Николаевна ахнула оть удивленія, а можеть быть и невёрія. Березинь опредёлиль. что жена и дочь останутся сь нимь до свадьбы дочери. Но всё знали, что не пройдеть и двухь дней безь ссоры.

Я предложиль отправиться моей невесте съ матерью въ Ревель, на морскія купанья, куда и я долженъ быль прибыть черезъ месяцъ. Березинъ согласился.

Этоть місяць разлуви быль для меня тімь замічателень, что я въ первый разь въ жизни почувствоваль грусть о жизни. Въ первый разь я пожелаль безсмертія — загробной жизни. Это сділала любовь. Захотілось, чтобы любовь была вічна, — такъ она была сладка. Умереть въ то время, когда любищь, и умереть навіви, безвозвратно, мит показалось тогда, въ первый разь въ жизни, чімъ-то необыкновенно страшнымъ. Потомъ это грустное чувство, это желаніе безпредільной жизни, жизни за гробомъ, постепенно исчезло, несмотря на то, что я про-

должалъ любить жену и детей. Со временемъ я узналъ по опыту, что не одна только любовь составляетъ причину желанія вёчно жить...

Въра въ безсмертіе основана на чемъ-то еще болье высшемъ, чъмъ самая любовь. Теперь я върю, или, върнъе, желаю върить въ безсмертіе не потому только, что люблю жизнь за любовь мою—и истинную любовь—ко второй женъ и дътямъ (отъ первой); нътъ, моя въра въ безсмертіе основана теперь на другомъ нравственномъ началъ, на другомъ идеалъ.

конецъ,



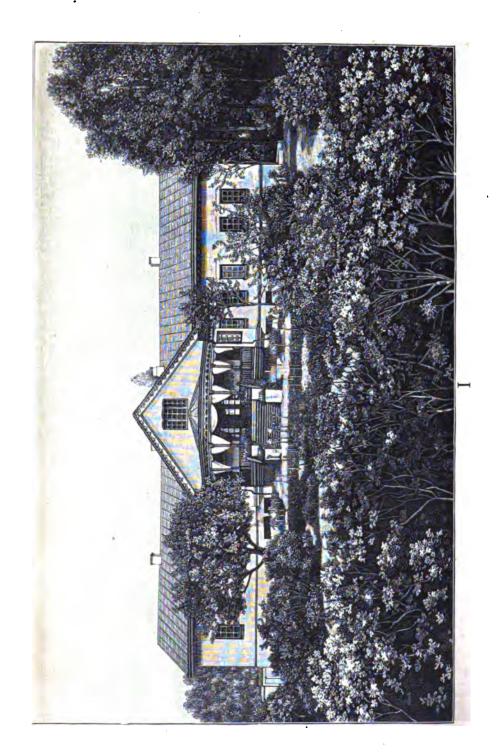
.

,

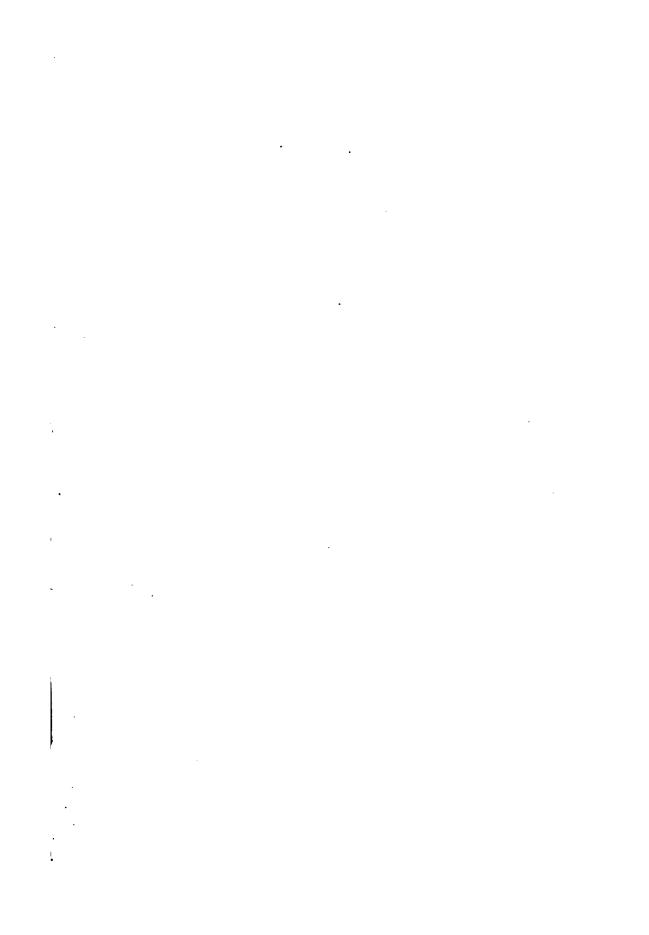
ПРИЛОЖЕНІЯ:

- І. Домъ, въ которомъ жилъ и скончался Николай Ивановичъ Пироговъ въ селѣ Вишнѣ, близъ г. Винницы, въ Подольской губ.
- II. Часовня на могилѣ Николая Ивановича Пирогова въ г. Винницѣ, Подольской губ.

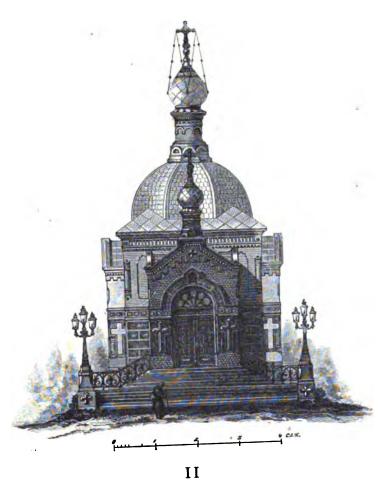




	,				
		•			
					·
· .				•	•
					T.
	•	•		•	
		•	•		. 1



.

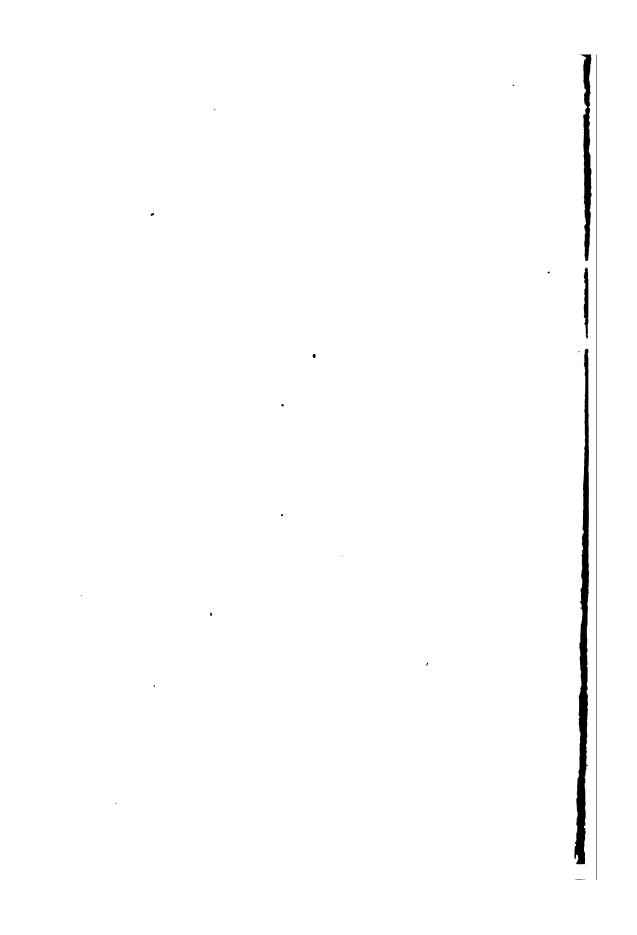


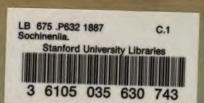
•

•

() ·

	•		
	·		
		•	
	,	•	•
		·	
•			
	•		





LB 675 .P632 1887 v.1

	DATE					

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

